А.М. Ремизов

Сочинения

Алексей Ремизов

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



ПЕТЕРБУРГСКИЙ БУЕРАК

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2003

УДК 882
ББК 84Р
Р 38

Федеральная программа книгоиздания России

Руководитель программы М. Ф. Ненашев

Издание подготовлено при содействии
Б. Б. Бунич-Ремизова, Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова

Подготовка текста «Мышкиной дудочки», «Петербургского буерака», приложения, аннотированного именного указателя, статья, комментарии **А. М. Грачевой**

Подготовка Алфавитного указателя книг, циклов и произведений, включенных в Собрание сочинений А. М. Ремизова (т. 1–10), **О. А. Линдеберг**

Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**

Ответственный редактор тома **О. П. Раевская-Хьюз**

Оформление **Г. Л. Шацкого, Е. В. Полякова**

ISBN 5-268-00498-0
ISBN 5-268-00482-X

Мышкина дудочка

Я называю «Мышкину дудочку» интермедией – смешное действие среди бурь трагедии. Идет война, Париж оккупирован, алерты и бомбардировка – нельзя привыкнуть и наладиться, а изволь! Место действия наш дом на улице Буало, квартиры без отопления и темно – четыре года (1939–1944) и с каждым годом вихрь и убыль. Действующие лица наши соседи – народ мирный, четыре года хвостя, ведем оборонительную войну с пушным зверем видимым и невидимым, и прячемся. Дни Освобождения откроют нам ночь со звездами: не надо лазить, черным прикнопывать окна и в любой час выходи на улицу без опаски попасть в комиссариат – награда за наше, за все наши военные тиски.

Интермедия сложена из коротких сцен – «курметраж», чего мне в душу выблескивает из хлыва вещей, слов и поворотов. Начинаю запевом о себе – «Муаллякат», а в заключение о человеческой судьбе: и дудочке конец.

МУАЛЛЯКАТ

Мой[1] «наперекор» начинается в немыслимой вечности, когда в мировой туманности вспыхнула огненная звездочка моего духа И это «наперекор» я пронес через все формы моей жизни и несу в вечность; во всех моих превращениях «непокорность» – неукротимая поперечная сила моего «я». Я отстаиваю свою свободу в своеволии и, никому не повинуясь, иду своим путем

И вдруг земля выскользнула из-под ног и я в воздухе повис – «Муаллякат!» В Мекке древние арабские манускрипты подвешены в воздухе, «муаллякат».

Над землей что от меня зависит на земле? Ничего. А стало быть, никакой власти. Моя воля со мной.

*

Подвешенному в воздухе легче смотреть в себя и судить о себе.

Я никогда не был одержим самомнением, несчастьем дураков. Я всегда чувствовал свою ограниченность. Все, с кем я встречался, я говорю о памятных встречах, казались одареннее меня. И когда я попадал на первое место, меня это стесняло, все существо во мне выворачивалось: нет, не по праву А загнанный я чувствовал себя на месте, и это мое чувство пронизывалось болью Я понял, что только загнанный я живу и для меня стало «жить» и «боль» одно и то же. И когда не было боли, я как бы не жил на свете.

Я подвешен, в воздухе вижу себя, но какая-то частица моего существа осталась на земле. Иначе я бы не думал и не записывал.

---

[1] В публикусмых кингах «Мышкииа дудочка» и «Пстербургский бусрак» сохраисны авторские особеииости орфографии и пунктуации, ииогда различающисся в обоих произведсиях (иапример Малармэ – Малларме, Гофмаии – Гофман и т д)

Есть и пить, мерзнуть и искать тепла и покоя, кругом беззащитный И в беззащитности боль. Стало быть, и эта частица моего существа живет заживопогребенная.

*

Я заживопогребенный

От моей доверчивости к слову меня легко соблазнить. Нет пустых слов, всякое живет И я мерю и вешаю слова. Это мое ремесло: «счетчик слов». Не представляю, как можно говорить «как попало» и что значит: «слова перепутаны и обесценены».

Моя доверчивость от моего забвения, что оценка слов это мое, а не всеобщее.

*

Что говорит заживопогребенный?

«Я готов ко всему, говорю, все принять, все приму. И ни о чем не прошу».

Но мне отсюда чутко, какая буря под этим покорным молчанием и готовность на все.

И я понимаю, в моей природе все до корней непокорно. И пусть я обречен, я никогда не покорюсь моему концу.

*

«Глаза мои, что вы смотрели, что вы видели, когда я ходил по земле?»

Больше не глядя, отвечали глаза:

«Глядели мы, не нагляделись, так хорошо в Божьем мире. Сколько чудес, сколько любви! Видели мы и боль: она кричит и затаена. И с немою болью ослепленные нездешним светом мы беспомощно закатывались и погасали».

«А вы, мои уши, что слышали?»

«Вся земля полна звуками, отвечают уши, летит песня к звездам и со звездным блеском спускается на землю Все звуки земли напоены горечью. Земля ли горька или звезды безрадостны? Или не земля и не звезды, а само существо жизни отравлено?»

*

Я подвешен в воздухе над землей и я на земле заживопогребенный. У меня две пары глаз и четыре уха, одно сердце и один ум.

Вот он выговорился – вызанозился – выкрикнул и затих со своим задушенным «принимаю»

«Покорно принимаю судьбу. Значит, так мне и надо. Еще надо, значит, какой-то срок прожить на земле “загнанному”».

Я ее сверху вижу свою заживопогребенную частицу, свою тень, а ведь он убежден, что я его тень. Ну, пускай себе, этим ничего не поправишь Вижу, копошится – замкнутый круг, заживопогребенный без выхода: руки отхлещены, исцарапаны

«Побираться надоело, говорит, принесет кто, хорошо, а забудут или некогда, ну как-нибудь, неважно».

А я готов, я взял бы и прихлопнул его, себя заживопогребенного.

«Самое глубокое, говорит он, это мое неверие. И оно непробывно И моя ненасытная природа· все или ничего, все до слова, до мыслей, до сновидений и неизменно. А живое тем ведь и живо, что всегда переменяется, разве я этого не знаю. И я в отчаянии одного хочу: уничтожили б меня!»

Мои слова он повторяет, только у него они из его расплющенного сердца.

«Что?»

«Верю в чудо, люблю все живое».

*

Она приходит поздно вечером. Она усаживается на диване против меня под серебряную змеиную шкуру, вынимает из сумочки железную просвиру и, не спуская с меня глаз, гложет.

В поле моих калейдоскопических конструкций она живое черное пятно, а моя зеленая лампа смертельно белит ее лицо

Отрываясь от рукописи или от книги, я невольно слежу: она про меня все знает и может больше, чем я сам о себе. Встречаясь глазами, не различаю себя от нее – так слитно все наше.

Ее работа – никогда не кончится: просфора железная, а мне .. о концс и думать нечего. И мы покинем друг друга только враз

Какой у нее голос? Ни слова она не произнесла со мной. Или немая?

Сны после нашего свидания всегда «кровельные» (от «кровь» и «кров») весь день потом под их сетью и выхода мне нет и нет ничего, что бы вывело меня на свет.

Цветы она любит, это я заметил, яркие, по моим тоскующим по краскам глазам. А живого ничего не переносит, стоит кому войти в комнату, и ее уж нет.

Кроме меня ее никто никогда не видел. И она редко не со мной. Войду ли я на кухню вскипятить воды и она без шелеста, как воздух или сидит на табуретке или прячется в углу за щетками.

И когда она гложет свою железную просвирку, я чувствую, что это кусок моего сердца.

ЧУДЕСА В РЕШЕТЕ

СЕСТРА-УБИЙЦА

Наш дом громкий – в улицу: БУАЛО! А по налогам «люкс». Правда, одна лестница. . но на лестнице ковер с медными прутиками, правда и то, что прутики не везде крепко держатся и который-нибудь непременно отвалится и оттого образуются пропалые места, особенно чувствительные, когда выносишь «ордюр» («поганое ведро» или «мусорный ящик с объедками»), но для налога это не в счет: написано – «люкс». На каждой площадке по семи квартир – очень тесное соприкосновение, и не мудрено, что все так громко и всякому вслух и на разумение. У всех на глазах и в памяти две сестры итальянки, с них и начинаются чудеса.

Там, где потом Мириманова, мать с дочерью скрипачкой Иолантой, жили две сестры итальянки: старшую звали Рыжий Дьявол, хотя она была чернее чернослива, а младшую, она была просто сестрой Дьявола, и такая тихая, голоса не подаст, подлинно, «безглагольная», так, больше руками, и все только для сестры старается. Она купила кусок телятины и разрезывала для какого-то итальянского кушанья тоненькие ломтики На кухню вошел Дьявол и сразу же напустился: чего-то не так в ее комнате, кто-то трогал, она найти не может – и одно это повторяла, как самая зверская баба, и еще повторяла бы, пиля, но кроткая, «безглагольная» – она в комнату не входила, она ничего не трогала! – не выпуская из рук ножа, так, как был в телятине, резко обернулась и ножом ударила сестру в грудь. И крик, как взрыв, полыснул наши тонкие стены, голос итальянский: «зарезала!» И это кричал не зарезанный Дьявол, рыжая душа его вылетела, не замедлила и безгласно, а «безглагольная» на крик: «за-резала!»

В вечернем «Paris Soir» в тот же день появилась картинка: наш осьмиэтажный «люкс», на фотографии верх срезан, и у дверей консьерж с консьержкой, и подпись: «Сестра-убийца».

Одни говорили, что служить дьяволу до добра не доведет, и вспоминали всякие примеры из житий святых угодников и подвижников, припомнили сказание о новгородском старце – который старец задумал «облагородить» дикого злого беса, и как бес чуть не сожрал старца в «благодарность». Другие же, как Иван Павлыч Кобеко, возражали на эти бесовские действа:

«Не в служении дьяволу гибель человеку, говорил Иван Павлыч, а в природе человека: оно рано или поздно прорвет и никаким молчаньем и смиреньем не заглушить: ведь этакий голос впору только дьяволу, так крикнула».

«Да и немой заорет: сестру полыснула!» заметил Овчина, молчальник из неговорилова полку Резникова.

«Пупыкин, небось, не заорет, хоть бы и брата!» сказал Иван Павлыч и пошел доказывать: Иван Павлыч на язык речист, породы московских говорунов «кучковичей» – от Бакунина, Хомякова и Герцена до Рачинского, Степуна и Гершензона.

Уж начинали ссориться, как всегда при обсуждении «дел человеческих». Помирила картинка из «Paris Soir».

И с тех пор нашу консьержку переименовали, как переиначивают улицу: сколько лет была мадам Дализон, теперь «Сестра-убийца», а я с тех пор настороже. В тонкости я не вдаюсь: ни как произошло, ни почему – сестра кокнула сестру! – но на людей, кто мне делает добро или, правильнее, кого я вынуждаю на добро, я смотрю и «вторым глазом»: не ровен час...

Следующий затем случай меня еще больше заострил, – а произошло в нашем доме и невероятно и неожиданно, как с Рыжим Дьяволом.

СШИБИРОГ

Вечер провели у Паскалей в Нейи. Сначала ели довольно, а потом пошла музыка. Битый час ревел граммофон из любимых опер и щемительные романсы, цыганские и по-испански.

Петр Карлович Паскаль тихонечко напевал духовные стихи. Я подслушал: это были о Алексее, человеке Божь-

см, Паскаль пел и Лазаря... Как исследователю, толмачу и переводчику «Жития протопопа Аввакума», ему никак ни мирское козлогласование, ни бесовский горлобуй, – тяни Лазаря!

Были Унбегауны, Замятин, Иван Павлыч и еще какие-то, мужские и женские, под общим именем «Козлоки». Ждали Фараона («Фараоном» окрестила одна из поклонниц Артура Сергеевича Лурье), Фараон обманул. А жаль: человек высокого ума, знающий, а по инструменту едва ли в Париже другой найдется композитор, пианист, виртуоз. когда в войну при освидетельствовании русских, годных для отбывания воинской повинности, Фараон выступил во всем своем откровении, вся комиссия – все доктора и все дозорные – как один, повскача со своих мест, воскликнули единым гласом со воодушевлением: «апт!» (Что значит: «способен»).

Для подбодрения хозяева угостили нас Марсельской варенухой, такая из «горячих» наливка «сшибирог», и не то она на косточках, не то она на орешках Отведав по перстику – пьется не в рюмках, а маленькими горчишными стаканчиками «перстиками», сейчас же заспорили. Известно, где сойдутся ученые, там обязательно спор или просто говоря, где человек, там драка

Начал, как всегда, Иван Павлыч.

Иван Павлыч, не на песках, на щере стоит («щера» – каменная почва), его отец, дед, прадед и все дяди родные и двоюродные, люди ученые и учительные, – Петровские документы и Новиковские, культурная хроника русского быта и литературы ему сызмала: «о душе русского народа», – вот куда он загнул Есть о чем разговориться.

27-го марта 1849 года приезжал в Москву на Пасху Николай I-ый торжественный выход в Кремле и освящение Николаевского дворца с маскарадом – все народы Русского царства во всем великолепии и благообразии бородатой старины (потом последует указ обрить всех чиновников) Летописцем события был Погодин – «Царь в Москве», отчет в «Москвитянине». Погодину отвечал Герцен: весь этот московский народный энтузиазм Герцен обозвал «раболепством». Герцену ответил Прудон: «а нет ли, спрашивает Прудон, в русском самодержавии сокровенных основ и тайных корней в самом сердце русского народа?» За Прудоном

отозвался Карлейль· по Карлейлю у русского народа «талант повиновения» и этим все объясняется.

«А стало быть: “православие, самодержавие, народность” – не “арзамасский” Уваровский выплевыш, а подлинная основа русского царства!»

По замечанию Ивана Павлыча с «русским» нельзя соединять «империя», как не говорится про Бога «император», а «царь небесный», так и про Россию – русское царство

«Революции, говорил Иван Павлыч, могут взв*и*хрить русское царство, песком разнести Сухареву башню (“Сухарева” звучало у него, как Вавилонская) и взвихр*и*ть душу русского народа, но сердце народа непоколебимо и, как ни зови, все едино: “православие, самодержавие, народность”».

— Тут-то и поднялся такой барабош, – заводи граммофон: о «самодержавии» речи нет, а как понимать «православие» и «народность»? По Хомякову, по Филарету или по-своему?

Но, как однажды в споре о «делах человеческих», выручила безобидная картинка из «Paris Soir», тут предусмотрительность хозяина со своим «сшибирогом»· «на косточке или на орешках?»

Петр Карлович Паскаль, профессор русского языка в Школе восточных языков в Париже, а в Москве он прожил шестнадцать лет в самый взлет, кипь и тиск революции, человек – ученый.

И после десятого перстика, когда загадочная бутылка обидно спустилась к донышку, «косточка и орешек» вытеснили «православие, самодержавие и народность» без остатка. И подал голос молчаливый Борис Генрихович Унбегаун, склоняя слова XVI-го века – недаром и книга его так называется: «La langue russe au XVI siècle (1500–1550)». (Нынче я бы не сказал «молчаливый»: после Бухенвальда Борис Генрихович разговорился; верю, что пройдет: от нервности это, много претерпел, много и перемучился) Унбегаун приводил слова Курбского (1583): Курбский извинялся, что не твердо знает правила церковнославянского языка и просит прощения, если он употребил где-нибудь простонародные слова и выражения, слова и лад слов.

«Забудь, Курбский, ученость – книжную церковнославянскую речь и пиши, как ему подсказывала его словесная душа живого языка, да ведь это был бы второй Аввакум – природной русской речи!»

Я же ссылался на Вельтера – Густав Генрихович Вельтер, переводчик Котошихина: у Котошихина о винах доволь-

но сказано – как и что пили и послов напаивали в XVII веке А Елена Ивановна Унбегаун нашла лазейку, ссылаясь на Милюкова. И хотя Вельтер, Милюков, Курбский и Котошихин мало чего решали о марсельских косточках и орешках, но были доброй крутой заваркой Для путаницы, а точнее для «безобразия», я несколько раз упомянул имя Мазона, его исследованье о Китоврасе. Иван Павлыч с яростью схватился за Мазона, и все пошло врасстягай!

Профессор Collège de France Андрэ Мазон, последователь «скептической школы» Каченовского и Строева, написал в их духе книгу о «Слове о полку Игореве». А Иван Павлыч, ему плевать на норманнов и всяких варягов, русских он производит от аланов, Москва – Третий Рим, а Слово несомненно и... неприкосновенно: «Руки прочь!»

И как повелось, Замятин, таинственно помалкивавший в свою искусственную трубку, он не курит, вставлял в «Мазона», «Слово» и «Китовраса» свои скупые, но полные каких-то намеков, подзуживающие замечания: не знай, и так понять, и этак

И что же оказывается – и это когда бутылка приняла свое девственное состояние стеклянной пустоты – наливка-то «сшибирог» настояна не на косточках, не на орешках, а на цветочках!

«На каких цветочках?» поддел Иван Павлыч и не без задора, тут бы и разгорелся самый жаркий спор, Козлокам раздолье, да пора было по домам.

Хозяин, вовсе не питок, после компанейского перстика, десять перстиков, заметно осоловел и, превратившись в «благопромыслительного» муравья, беспомощно тыкался, собирая со стола «загаженную» посуду, он уже мечтал, с какой жадностью бросится в объятия Морфея (ударение не Паскаля, а Суханова, в лавку к которому Паскаль заходит освежить московскую речь), и забыв всякое благочестие, напевал он и не без выражения: «Очи черные, очи страстные, *очи* – ж г у ч и е...» (ударение не цыганское, а Шаляпина).

А кончился вечер, как полагается, стихами. Иван Павлыч, вдруг присмирев, вспомнил Лермонтова-Гейне и, мрачно устремляясь на Вельтера, с которым в первый раз он встретился на этом «сшибироге», читал глухо и жутко, и чувствовал, как вырастет у него борода Аполлона Григорьева, и чего-то он хочет вернуть, но перед ним неперескочимая стена.

А читает он не Лермонтова, не Гейне, а Панаева:

В одни трактир онн оба ходили прилежно
И пнлн с отвагой н страстью безумно мятежной,
Враждебно кончалися их биллнардные встречи
И былн дикн н буйны их пьяные речи.
Сражались онн меж собой как врагн н злоден
И даже во сне все друг с другом игралн
И вдруг подралися . хозяин прогнал их в трн шен,
Но в новом трактире друг друга онн не узналн

– Не правда ли?

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ БРИЛЛИАНТЫ

Час поздний, тискаться в метро не рука, взял такси. Едем с нетерпением: из гостей всегда возвращаешься, поскорее б до дому. Да не тут-то. Вот и дом, а изволь вылезать у съестной – такая соседняя с нами мелочная лавка об одно окно (после бомбардировки досками заколотят), хозяйка хорошая – всегда навеселе. Что за чудеса: пожарный обоз, а ни огня, ни дыму и с кишкой пожарные не бегут воду приноравливать, и мотор не стрекочет, тихо, даже больше, чем полагается в час разъезда. И в доме, как вымерло, ни огонька, только черные – без блеска пустые окна. И пожарные в своих сапожищах, а как балетчики, на носках подтянулись. Мы было в подъезд, и вошли, но дальше консьержки нет ходу.

«Дайте, говорят, выветриться: старуху из четвертого газом пугнули».

Я встречал эту старую даму Madame Bonville: всякое воскресенье, со своей родственницей шла она к обедне в Eglise d'Auteuil, маленькая, темная, очень худая, черной ленточкой подбородок перевязан. Такие ходят по мессам и молитвы шепчут, таких мне всегда очень жалко, а почему, не знаю; а когда задумаюсь, начинается игра словами· «жалеть» – «жалить» – «жаль» – «жало». Она жила с дочерью и зятем: недавно поженились. И были у нее – про это все знают – замечательные бриллианты. Дочь и зять, как ни просили, не могли уговорить – «после моей смерти все будет ваше!» Так и не отдала. А какие замечательные бриллианты!

А случилось в субботу. Дочь уехала в деревню, недалеко, а зять очень торопился, тоже куда-то уехал, и как на грех, родственница, она прислуживала за старухой неотлуч-

но, «верный человек», и вот такой поздний час, а она зачем-то вышла из дому и не возвращается.

Едрило, наша достопримечательность. Но что Едрило, что Мамочка, как их по-настоящему неизвестно, все их называют по-разному, и одно известно, что у Мамочки паспорт турецкий Едрило вернулся с какого-то свиданья, о чем завтра он будет всем хвастать и завираться, почему и зовется Едрило. Он подымался к себе на 8-ой, лифт у нас неисправный, и чувствует, на лестнице несет газом. Ноздрею в нюх добрался он до 4-го, нюхнул: крепко! – и назад.

Консьерж с консьержкой, завалясь, спали Едрило достучался: «кто-то из квартирантов пустил газу!» А консьерж не соглашается. «поздний час, неудобно, говорит, по квартирам лазить, под дверями обнюхивать!» И все-таки вышел из-за перегородки· Едрило его напугал взрывом· «дом, сказал Едрило, вспыхнет, как спичка». И захватив плоскогубцы и отвертку, пошли шагать по лестнице, от дверей к дверям, как жулики, впритишку Да нелегко донюхаться: «Летнее время, жаловался потом консьерж, везде дух какой-то ненормированный» (он хотел сказать «ненормальный») И не сразу обнаружили задохнувшиеся бриллианты.

Все мы, запоздалые, толклись у подъезда. Тут был и Евреинов и Половчанка, Никитин и Пупыкин, Мамочка с лягастой собачонкой на руках, как самых маленьких носят, оттого и зовется «мамочка», Анна Николаевна – «Жар-птица» с манухинской сорокой – об одной ноге, Софья Семеновна – «Гретхен» без парика, как на ночь приготовилась. С пожарными стоял «амбюланс» (санитарный автомобиль), и все в него заглядывали, дожидаясь. А тут и задержавшаяся в гостях родственница старухи вернулась; она хлопотала с одеялами.

И вижу – выносят: вроде как спит, лицо серое из серого картона. Говорили: «мало надежды привести в чувство». И я, глядя на блестящие каски пожарных, подумал: «Если и они отступились, ей никогда не проснуться. Да оно и спокойнее: бриллиантов ей не видать уж!» А ее «неукоризненная совесть» осталась с нею, чего же лучше – не то ведь, вспоминая, замучилась бы: «пропали! – зачем не отдала?»

Старинный русский обычай· под голову умирающему кладут камень – каждый уносит с собой в могилу свой камень! Вот бы когда бриллианты нашли свое место. Но береженые замечательные бриллианты, конечно, испарились с газом.

«Тесная душа, сказал сосед-сапожник, его загончик на углу, все знает, – тесная, – повторил с раздумием, – из блохи голенище выкроит!»

Madame Bonville его клиентка, и постоянно из-за мелочей торговалась, вот ему и последнее слово, и это слово было, как камень.

И когда ее втащили в «амбюланс», а за ней влезла ее родственница и, стараясь укутать ее одеялами, подтыкнув под ноги, под голову и под спину, – руки ее не слушались – тыкала она мимо и все в одно место, а лицо дергалось. И я опять подумал, но не сказал, как сапожник, моего последнего слова: «неукоризненная совесть» – мне было странно и себе произнести это слово, мне так далекое и нам, после Бодлера и русских «исповедей», не чуждое, но совсем чужое· «неукоризненная совесть» – какая это тишина, покой, уверенность и безмятежность!

А кто был в эту ночь на высоте величия и счастья – так это Едрило. Если бы вовремя не заметил, «весь дом вспыхнул бы как спичка!» – повторял он, пропуская жильцов, как контролер, на лестницу по квартирам. И все его благодарили. Скажу про себя: я трижды подходил к нему поблагодарить, а Евреинов, – Евреинову некуда подыматься, он внизу, – так по крайней мере раз десять и как актер, «рассыпаясь» в благодарности, величал Едрилу не просто «Едрилой», а «Едрило Иваныч». Кто-то подал мысль привести фотографа; завтра же увековечат в Paris Soir. Фотограф в нашем доме, его и звать нечего – да ведь уж ночь! Пожалуй, так и лучше: у всех на глазах стояла заспанная «Сестра-убийца», бывшая Madame Dalison. Поднявшиеся к себе «домой», и проверив, все ли в порядке: «газом несло-таки!» – снова спускались по лестнице к Едриле и снова благодарили.

Всю ночь все окна настежь, дом освещен, как бывает в Париже в сочельник. Или это бриллианты, испаряясь, переливались огнями? Ложиться спать никто не решился.

Я дежурил на кухне. Мне очень хотелось спать. И вдруг слышу: по лестнице робко кидающиеся шаги – кому бы это? Родственница старухи, конечно, это она, неотлучный страж ее, она вернулась из госпиталя: «Madame Bonville est décedée» (скончалась). А за родственницей грузно, – шаг за шагом – Едрило тихоход, его походка. И я не утерпел, приотворил дверь («поблагодарить»?). На лестнице не было свету, но и впотьмах я не ошибся – но и не узнать было Едрилу: его глаза горели самоцветом. Или нынешняя ночь

единственный случай, когда он не хвастал? Или понял он – сейчас он богатый – всю нищету свою и всю бездарность: богатому просто незачем хвастать!

*

Но этим чудеса не кончились· вскоре среди бела дня и такой случай, опять моим глазам наука, но не для «вторых глаз».

СОБАКУ МЫЛА

Все очень обыкновенно – будни. Даже сна не припомню, а мне всякую ночь снится. Повторялись слова из московской баллады 30-го года «Двенадцать спящих будочников» – эта чудн*ая* баллада оказалась роковой для цензора, Сергея Тимофеевича Аксакова. Тут бы мне и схватиться за «роковое». Жарил я картошку, и не ломтиками, на это мастер Петр Петрович Сувчинский, а варёную· по моей слепоте у меня все пригорает Эти подробности я рассказываю, чтобы представить, с каким вниманием я следил за сковородкой. И вот откуда-то с верхнего этажа брякнула во двор бутылка, а может и целая четверть, и жалобно с встряском, прямо о камень – значит, не пустая, и мне показалось, кто-то крикнул.

Я думал с окна скувырнулась – я всегда боюсь и ничего за окно не выставляю, только тряпки для просушки кладу. И слышу, пожарные. И я скорее из кухни в «кукушкину» (комната, где часы с кукушкой). А пожарные никуда не проехали, а у нас под окнами: один кишку развертывает, другой бежит по тротуару, кран ищет, кишку наставляет, – медные каски на солнце поблескивают.

Есть для меня что-то трепетное в этом блеске· мне всегда представляется грозный и неизбывный конец – «светопреставление», и я оторопеваю под гул моей извечной горькой памяти.

Слышу, топают по нашей лестнице. Я к дверям. А пожарные выше бегут – на 3-ий. И один с кишкой бежит, очень страшный.

Все ближайшие соседи, кто только был в этот обеденный час дома, все вышли на площадку: и жена доктора (собаки не вышли) и от «Николя» Годфруа сосед со штопором и его жена в сапогах и пришлепнутая дама с девочкой в белом, два «истукана» – на один манер и лицом и плать-

ем – «несчастные» (по моему чувству), конеобразные сестры – тоже сестры, но ничего общего с итальянками.

Стали спускаться с верхних этажей, вон и Мамочка с лягастой собачкой, и Пупыкин, лицо удивленного разбойника.

Понемногу все и узналось.

А много ль человеку нужно, когда придет срок, пропасть? Madame Simon, живой я ее смутно представляю, затеяла спиртом свою собаку вымыть. А ведь и так «Сахара», да еще и от плиты – обед готовился, кухня тесная, спирт и вспыхнул. И ее и собаку полыхнуло. И все-таки она успела горящий бидон выбросить за окно и, задыхаясь, крикнула.

Я смотрел, как несли ее: она была без сознания, лицо лимон И что удивительно: голая голова – все сгорело. А собака бежит и кружится: ей в глаза попало.

К вечеру узнали: померла через пять часов, а собака – ничего.

Напуганные, по всем квартирам истребляли все горючее бензин и спирт и что еще было· вспыхнет! И по дому такой дух стоял, как в гараже. Я целый непочатый бидон в уборную вылил

А собака ничего. Собака понемногу поправилась. И долго жила у «Сестры-убийцы»· консьержка приютила

Проходя, все мы с собакой разговаривали чудн*ая*, вся в лохмах, и что-то человеческое раздумывалось в ее подслеповатых, но очень живых глазах: очень тосковала.

*

Был еще случай и тяжелый, но все обошлось тихо, без криков и без пожарных: «веронал».

НО СЕРДЦЕ НЕ ОТПУСКАЕТ

На воле дождик прошел, но очень дуло – где-то на Ла-Манше буря И я попал в полосу ветра и почувствовал, как все во мне вдруг оледенело, и вязаная шкурка не защитила меня. Я шел, увертываясь, поворачивая головой из стороны в сторону, но из полосы ветра не выходил.

Подойдя к дому, я заметил, что входная дверь и лестница освещены, точно только что кто-то вышел, и в свете фонаря на тротуаре какие-то женщины: они говорят между собой, не то совещаясь, не то сообщая подробности о известном только им И когда я поравнялся, они не обратили на меня никакого внимания, точно меня и не было, и продол-

жают разговор о своем. И я вдруг вспомнил, что однажды я видел этих женщин, и так же они что-то говорили, занятые своим, и это было в такой же поздний час – на Eglise d'Auteuil пробило полночь. Но когда это было и что это значит, я не мог припомнить.

Я поднялся к себе, поставил кипяток и за чаем опять раздумался, но не о словах и книгах, а где и когда я видел этих странных женщин. И невольно стал прислушиваться.

Все наши соседи разъехались, пустые квартиры, уехал учитель-музыкант, ложившийся в десять и не допускавший после этого часа никаких признаков жизни у своих живых соседей; сгинули и беспокойные «венгерцы», в Будапеште ли, здесь ли, только уж в другом «картье», безобразничать. И по ночам было очень тихо и только со двора от переполненного ордюрами «пубеля» вдруг развизжатся крысы, и опять затихнет, как вымерло.

А в эту ночь и крысы примолкли и, кажется, спать бы да спать А вот – не спалось. Думал я длинными фразами, но которые никак не могли окончиться и снова начинались, и так же, не заключенные, выговаривались сначала Только под утро я заснул, и поднялся мутно с тяжелой головой и в глазах режет

«После театра, после духоты, после всякого басаврючья[1]» подумал я.

В таком состоянии я не смотрю, и только под ноги, чтобы не оступиться. Так спустился я с лестницы. И когда растворил дверь – меня вдруг залило черным. И я проснулся.

Я сразу вспомнил, где и когда я однажды видел вчерашних странных женщин у дома: «в доме покойник!»

Трепетно прошел я мимо катафалка, на котором лежал серебряный крест и кропильница, мимо завешенных стеклянных дверей консьержки. Я перебрал всех знакомых: кто же? И подумал, что у консьержки, которая неделю, как не показывается, грипп.

В бистро я купил себе папирос и скорее домой – мне показалось, очень холодно, и накрапывает. У дверей я прочитал траурное объявленье: «Мадам...» имя незнакомое, «урожденная...» тоже не знаю, 32-х лет, и все, что полагается, перечисление рода и родственников, вынос в 3 часа дня.

И как странно, минуту назад... а теперь совершенно безразлично прошел я мимо катафалка, точно всегда он стоял, черный с серебряным крестом и кропильницей, и распахнул черную с серебром тяжелую портьеру, как обыкновенную штору.

На лестнице я встретил консьержку, и она со своей всегдашней печальной улыбкой – загадка, которую я не могу разгадать, такая печаль, а может быть, с тех пор, как зуб выдернули, Бог знает, от чего такое бывает? – и она повторила незнакомое мне имя «Мадам...».

«Очень жалко: остались дети, мальчик и девочка».

– Отчего же это? спросил я.

И она как-то особенно подчеркнуто, громко:

«В три дня от гриппа».

И опять повторила, что жалко: остались мальчик и девочка.

И я вспоминаю, я встречал даму на лестнице с девочкой, и девочка всегда со мной здоровалась, беленькая, вся в белом, маленькие такие ручки. «бонжур»[1] – и мальчик, лет шести, в сером, часто он обгонял меня и тоже всегда остановится, и только на этих днях, вспоминаю, я встретил его, он подымался и мне показалось, чем-то встревожен и озабочен.

Весь день я не мог спокойно присесть к столу, я все слежу за часами. Я подходил к двери и прислушивался: понесут по лестнице мимо наших дверей. А от двери я перехожу к окну и стоял у окна.

Идет дождь и после двух стало сумрачно, как вечерние сумерки. Я видел: подъехало несколько автомобилей, и вынесли венки. Прохожие приторапливались, мужчины снимали шляпу, женщины крестились. Против гараж. Старик и с ним дама, перейдя улицу, стали у выхода в гараж. Старик утирал платком глаза. И я подумал: «это отец». И еще в сером появился в гараже, и отец вынул из кармана письмо и передал ему, и я видел, как серый, читая, заволновался. И я подумал: «да и она была высокая! – это ее брат». И увидел, как по той стороне медленно и важно идет главный «крокмор» в треуголке. И точно из-под земли перед домом появился большой черный автомобиль с черным флажком. Я подошел к двери и стал прислушиваться. Но никаких шагов, и только гудит. И я вернулся к окну. Развешивали на автомобиль венки. А в гараже появился, как сосед-гаражист, нет, еще выше, он – размахивал руками и, видимо, был недоволен, и ему отец не показал письма. Это муж: – «мосье...».

И вынесли гроб – его вынесли и несли к автомобилю с той поспешностью, как убирают леса на стройке, когда окончен дом, – очень узкий показался мне. Легко вдви-

нулся в автомобиль, закрыли дверцу. Гаражист-муж – «мосье» сделал знак, и все пошли из гаража на улицу к автомобилю. Автомобиль тронулся.

Я приоткрыл окно. Я видел, как тот самый мальчик в сером, я узнал его, без шапки шел впереди за автомобилем и почему-то делал большие шаги, точно скакал или боялся не поспеет.

Улица опустела. Затихший было дом наполнился звуками. А сумерки с дождем, вычеркивая еще день жизни, впустили ранний вечер. Я зажег лампу. Присел к столу.

И мне почудилось, будто гудит сирена, но я спохватился, нет, это водопровод, дом у нас «сонорный» – каждый звук отчетлив, а с водопроводом часто бывает, гудит. Но это был не водопровод и не сирена, гул совсем близко. Я встрепенулся и увидел: сидит против меня немного сбоку у стола – – – –

Она была так же одета, какой встречал я ее с девочкой на лестнице, вся в черном, но лицо – должно быть, сильный жар! – лицо ее светилось и свет, как капельки воды, собирался вокруг лица и таял, отливаясь кровью.

«Сколько ни заработаешь, все равно налог!» сказала она спокойно.

А я подумал, ведь это я только что подумал... вернулась! детей жалко: мальчик и девочка; своя жизнь пропала – туда и дорога, но с ними-то как ей расстаться!

«А денег нет», сказала она, опять выговаривая мои мысли, и мне ее стало жалко.

– Вы, может быть, чаю хотите? спросил я.

Но она ничего не сказала, и не уходит. Вижу, не хочется ей уходить. Да, с собою она кончила, но сердце не отпускает.

– Я пойду, сказал я за нее.

Она поднялась через силу – не хотелось!

Я сижу у стола к окну; в незавешенном окне мне ясно виден зеленый абажур. И только где-то в голове гудело: это гул непокорливого сердца, которое не знает никаких судеб и никаких решений.

*

А дальше пойдут дела семейные, но также не без знайнаших: наш дом громкий – в улицу: Буало!

ЧАРОМУТИЕ

Не по нашей, а по загонной стороне, если подниматься по лестнице без загиба налево, маленькие квартиры. И жильцы этих квартир жаловались, что, неизвестно откуда, появились белые муравьи и кладут яйца, как попало, их находили в самых непоказных местах, и не только в шляпах, галстуках и под подушкой, но и в глубоких карманах, в искусственных подкладках и подмышниках.

Но кто это знает, чем гнать белых муравьев или чего они не любят?

В одном были уверены, что муравьи не парижские, а завезли их в Париж из Алжира. И стали искать, кто из Алжира?

Но никого не оказалось, и даже по соседству с Алжиром, и самое дальнее путешествие – Марсель, только что вернулся муж шляпницы.

А я про себя помалкиваю.

*

На Рождество В. В. Торский, заведующий сахарским питомником ручных рабочих обезьян, прислал мне из Алжира экзотические елочные украшения. Это были изумительные по тонкости работы, что-то вроде фарфоровых гнезд. Елка у нас не до Богоявления, как обычно бывает, а стоит во всем своем серебре до Прощеного дня· жалко разбирать. И до марта красовались на елке гнезда, и я нарочно около каждого гнездышка каждый вечер укрепляю по свечке: освещенные, они кажутся совсем как волшебные домики, и в домиках живут блестящие человечки «лапыки», рыльце хоботком.

И вдруг в марте неожиданно получаю из Алжира посылку: финики и постный сахар – как раз пост начался: ко вре-

мени. А в финиках торчит записка, я думал кабильский заговор, но оказалось письмо от Торского. Бумага склеилась раздавленным фиником: гвоздь, как забивали посылку, врезался в финики. Много я трудился – не все, а кое-что разобрал.

Наверху финикового листка: «Юржан», по-французски, и в скобках: «Самонаинужнейшее», а ниже: «Пишу карандашом, хочу предупредить: Мушиные (?) гнезда не держать в теплом месте, а надежнее – истребить без остатка: в конце февраля, самое крайнее в начале марта, повылетят из гнезда мухи; мухи – не ядовитые и кусаются не очень больно, чаще сами нападают друг на друга и грызут друг дружку по целому часу, а жужжат препротивно, но главное: плодоразмножение феерическое, триста мух в час, бесплодных не бывает».

И я представил себе, какая это будет музыка, и притом воздушная – по потолку, на окнах, на лампах, в столах, в плякарах (стенной шкаф), заберутся и в «гардманже» (подоконный шкап) – триста мух в час! Два гнезда я подарил на Новый год Поляну (редактор «Нувель-ревю-франсэз»), гнезд пять – Т М. Лурье, три она послала сестре в Брюссель, а два красуются у нее на радиаторе; и два гнезда спрятал я в серебро – до следующей елки.

И вот когда я хватился уничтожать без остатка, к ужасу моему, в коробке, среди ведьминых кудрей, никаких гнезд не вижу: или мухи вылетели или сунул в другое место, а куда не помню.

И пока я разбирал елочные игрушки, выворачивая с самого дна серебряные и золотые коробки, слышу, и все те же квартиранты, и все так же жалобно поминают, но уж не «белых муравьев», а о клопах, почему-то называя их белыми: «Белые клопы» (а это были мушиные яйца!).

Белый клоп не белый муравей, и пусть он белее молока, на него есть управа. И решено было напустить серного духу и извести в доме африканскую белую нечисть без остатка.

У учительницы Семякиной, соседки Едрилы и шляпницы, пишущая машинка. Семякиной не было в Париже, когда серой морили белых клопов. Только через месяц она вернулась домой и не узнала свою машинку; при чистке машинку не спрятали: из блестящей и легкой она превратилась в черную, а тяжесть – одному не под силу перенести со стола на стул в угол. Но беда пришла настоящая, когда Семякина

взялась переписать самое несложное прошение о поступлении в русскую гимназию: машинка русская, а получился не русский шрифт и не латинский, а Бог знает что – целая страница каракулей.

Муж консьержки «Сестры-убийцы» надзиратель в Сантэ, прошел всю тюремную грамоту, знает все арго и в цыганском не ошибается, но сколько ни бился, ничего разобрать не мог.

Семякина носила листок в этнографический музей (Мюзэ де л'Омм), но и там, а уж все знают, не могли сказать наверно. И только думают, что скорее всего архаическое обезьянье начертание: дикий обезьян неопрятным хвостом ширял по листу:

Животные четвероногие,
птицы, рыбы и гады,
– от небесной лазури до полевой зелени:

Переступая порог обезьяньего притона – горнила закоснелого преступления и поджига, намотайте на ус и вбейте себе в голову царя обезьяньего Асыки слово:

(перевод с обезьянского)

1) говорит один обезьян – другому обезьяну хранить гарпократическое молчание;

2) Простор мысли и никогда не стоячесть, и без всяких задних мыслей, без нашептов, заплёвок и намеков;

3) Дверь не заперта – входить без зова, но не вертеться без толку около моего стола;

4) Ничего не просить насильственно;

5) Не ершиться и не наскакивать друг на друга по пустякам. Пример со свиньей: чем свиньям теснее, тем ближе они жмутся друг к другу гузнами;

6) Лучи прошлого – воспоминание. Но только, пожалуйста, без повторений;

7) Более надежды, чем сомнения, больше желаний – неосуществимых и неосновательных;

8) Не под-*так*-ивать;

9) Самое простое никогда не прямо, прямой в природе не существует, а только в воображении, и только обходами, крюками и кривизнами достигается простое;

10) Не затевать неугомонной возни,

11) Проверяйте «факты» живой жизнью;

12) И доброе слово чтобы в горле не останавливалось!

*

Но какое отношение это обезьянство к русской гимназии? Да никакого отношения, Семякина сложила липкий каракулевый листок сжечь

И опять горе· у нас в доме каминов нет. А машинка стоит чернющая, страшно притронуться.

И когда Едрило – он все знает – для проверки опустил свои лапища над машинкой и наманикюренным розовым пальцем стукнул по клавишам, совершилось самое мрачное колдовство, не отмеченное ни в каком «Черном драконе»: у всех на глазах черная, а когда-то блестящая, машинка вдруг развалилась, как картофельная, на мелкие крошки, а из крошек повылетели маленькие серые мухи. Мух было с дюжину, а серного духу напущено за одну минуту, считай, сотня: мухи, вылетая, на глазах размножались.

Едрило струсил, как потом сам признавался, от шиворота до пяток, он тыкал в картофельные крошки розовым пальцем, невольно помогая мутной игре плодящихся мух.

И до глубокой ночи по всему дому препротивно жужжало – мухи грызли друг друга, и грызня их отдавалась в ушах, как будто кто-то сверлом работал, не покладая рук. Их была уже не сотня, не тысяча, а миллионы, и вот от нечего делать они, жужжа, грызли друг друга.

И когда наутро, как подметать лестницу, «Сестра-убийца» не без опаски заглянула на столик к Семякиной, где стояла машинка, на месте машинки не оказалось и самой завалящей картофельной крошки, а вокруг, где жужжали несметные полчища мух, незаметно было не только крылышек и лапок, а так, как бы ровно ничего никогда и не было: за ночь мухи, не оставя живого ребра, сгрызли друг дружку без остатка

Тут только она сообразила, что картошки вообще никакой и не было, и нечего было искать, а были спрессованные серные мухи – «компактная масса», как повторял потом муж «Сестры-убийцы», надзиратель в Сантэ.

Африканский доктор, которому я рассказал о нашем чаромутии с алжирскими мухами, – конечно, это были мухи из фарфоровых гнезд Торского, – не нашел тут ничего противоестественного и вспомнил из своей дагомейской практики историю не менее чудесную.

На его глазах, когда он сидел у черного короля, и они пили королевскую пальмовую водку, тамошние дагомейские

мухи за какой-нибудь час сгрызли непроходимый пальмовый лес

– К королю я шел, – говорил африканский доктор, и как всегда, кого-то пугая, – я продирался через колючки, а после приема выхожу от короля, осмотрелся, и не узнаю местности: там, где был лес, голая голодная степь.

И уж раздумчиво, не пугая, прибавил:

«Мухи – лютые животные».

Хотел ли он этим сказать о разрушительной королевской пальмовой водке или без всяких таких «горячих» мыслей просто о природе африканской грызучей мухи: не даст спуску даже и самому черному королю.

Иван Павлыч, сосед, постоянный наш гость, горячо принимавший к сердцу судьбу нашего громкого дома, отозвался и на чудесное превращение металлической пишущей машинки в «компактную массу» алжирских мух.

«Только в России и возможно такое чаромутие», сказал он.

Но какая ж Россия улица Буало?

«Все равно, где русские – там Россия».

И как всегда, не обошел свое любимое – историю. Он вспомнил знаменитое письмо Погодина с обращением к Николаю I: «Восстань, Русский царь! Верный народ твой тебя призывает! Терпение его истощается». Письмо написано в декабре 1854 года, в Турецкую войну, о Европе и России, – для которой закон не писан.

«Сама Европа – мы себе. У нас свой ум и свой рассудок и свой язык, которого Запад, а за ним и наши поклонники и воспитанники его, правые и левые, красные и белые, не понимают сугубо, ни по форме, ни по духу Россия есть, и будет, и должна быть не красным, не консервативным, не революционным, не аристократическим, не демократическим, не республиканским государством, а Русским...»

И кто-то из слушателей договорил:

– *Советским.*

Ни о «белых муравьях», ни о «белых клопах» больше не было речи, забыли и алжирских мух, как забыли «Сеструубийцу», газовые бриллианты, пожар, и как уничтожали «поголовно» горючий спирт, и про тихий веронал забыли и, может быть, во всем доме один я все помнил, все помню и не могу забыть.

*

Стогом мыши не задавишь, а на крысу и подушка обух.

Когда-то по ночам крысиный крик стоял на весь двор: крысы собирались около «пубелей» (у нас все валят в помойку, а здесь поганые ведра с вечера опрастываются в особые чаны – «пубели», а завтра из них развезут на свалку). Крысы первые разрывали отбросы, загребая себе еду в этот их ночной обеденный час; днем они как вымирают. И шла у них самая беззастенчивая потасовка: мать – наотмашь лупила дочь, а та родную сестру с пырьем, хватом и кусом, сын пырял отца, отец бабушку, ну все как у нас, промеж людей, соблюдается, все на всех и всяк на всякое. Наутро от переполненных «пубелей» одни клочки, обрывки и косточки и непременно чей-нибудь отгрызанный или выдернутый с мясом хвост – матери, дочери, сестры, сына, отца или бабушки. Но вообще крысы были довольны, двор съедобный, в дом им зачем?

И только к Евреинову

Евреинов в самом низу (по-нашему в первом, а тут – «рэдешоссэ», в подпервом) Окна его низко во двор. Вздуют в «пубели» которую-нибудь племянницу или младшую молочную сестру, куда ей деваться? упрется «пятой ногой» в землю и вскочит в окно

Пятилапая (пятая лапа у крыс мускул на брюхе) плюхнется она на стол, на книгу или рукопись, разбежится глазами и судорожно вздрогнув, крысы очень трусливые, назад через окно. И только блестящий хвост да приторно-розовый подхвостник, – и долго потом рябит в глазах.

Евреинов сидел по ночам, пишет Записки – «Из петербургских встреч» – весь тогдашний литературный мир живописно подымался в памяти его глаз.

Имена Осип Дымов, П. Потемкин, Андрусон, С. Городецкий, Грин, Олигер, Вл. Ленский, Яков Гордин, Вл. Гордин, Муйжель, Розов, Кондурушкин, Свирский, Д. Цензор, Галина, Рославлев, Рафалович, Лазаревский, Чуковский, Василевский, П Пильский, – ни одного альманаха без этих имен не выходило в Петербурге, а бывало и так: «компактной массой» выходили они из какой-нибудь газеты, заявляя о прекращении сотрудничества жирной колонкой знакомых имен.

Евреинову было что рассказать, работа кипела, и только крысы, встреваясь, докучали ему.

Я подсмотрел в окно – Евреинов почувствовал, подумал на крысу и остановился. Его последнее слово, отчетливо и ясно: «ничего».

И я подумал: какой-нибудь двоюродный правнук Евреинова, в честь знаменитого прадеда Николай, затеет написать: «Русская литература 1905–1917, Петербург», и я увижу свое имя в этом же столбце – Рафалович, Ремизов, Розов, Рославлев – где рукой Евреинова написано: «ничего». И я спрашиваю: «Это по правде?» Я вижу Евреинов в раздумьи зачеркнул было, и опять пишет: «ничего»! – «Ну и пусть ничего, говорю неспокойно, и не надо, но... да, конечно, ничего: но когда я писал, мне было чего – на мгновение, а этот миг – моя жизнь».

И мысленно я начинаю «Последнее слово»; я напишу его позже, но оно вышло тогда из моего сна под крысиный крик

*

«Праздник слова!»

Узнàю по тому морю гула – его донесло до меня в мой затвор.

И еще узнал я, что со всех концов мира съехались писатели и поэты: и те, о которых память жива, и те, только именем вечные, но и те забытые, живые в книгах, – они тоже явились на этот праздник.

Париж еще громаднее, улицы раскинулись еще дальше, и нет предместий – один Париж.

Я в моем затворе, где-то на самом краю, у какой-то в бесконечность уходящей черты. Моя стеклянная комната в саду, опаловый свет мне сверху: помню, в больнице и в тюрьме такое – с замазанным известью окном.

Не спуская глаз василиска, опаловых, как этот единственный свет, наблюдает за мной Костяная нога. Но я делаю неимоверное усилие воли – гляжу в опаловые глаза и уже скрылся из ее глаз.

Улица – не протолкнешься, площади запружены – вышли все на этот праздник: одни стоят, ожидая, другие идут. У Трокадеро я совсем потерялся – стоял беспомощно, но воля и желание мое дойти – и мне указали дорогу.

Слепой, уверенно шел я – и вот: дворец на Мон-

мартре – на той же высоте, как Святое Сердце. Это книжная Палата· полно книг, и витрины с рукописями.

Уже собралось много и входят, как я. Вижу знакомые лица, и со старых портретов знакомые. Тут все наши наставники и учителя нашего Парнаса: Мольер, Корнель, Расин, Буало, и «властители дум» – Стерн, Шиллер, Гете, Байрон, Тик, Бальзак, Стендаль, Диккенс. А вон и Достоевский ..

Я отошел к сторонке, разглядываю рукописи, – эти листки, сохранившие боль и восторг человека, неизбывное, незабываемое и трепет.

И вдруг, как по искре, все метнулись к высокому в стену окну: из окна весь Париж – волнующееся, черное от голов.

И покатился колокол беспредельно полного звука. Под его мерные раскаты, выбивавшиеся из металлической, согретой, как выстланной бархатом, глуби, чьи-то руки, миря и утишая, собирали растерзанную душу, уносили воздушно ввысь.

Зачарованный, я слушал. И все, вся зала с насторожившимися книгами, все, кто были тут, знакомые и неизвестные, странные, древние – замерли в очаровании

Слушаю, – я вслушивался, я его помню – впервые я услышал его там – в августовский вечерний час под Успенье в Москве – Большой кремлевский колокол.

И все, все на площади, все то черное застыло в слухе, не шевелясь.

И под колокол с распространяющимся звуком, наполнявшим собой от края и до края, свет в глазах переменился не серое, не муть, не обреченное опаловое, синял над черной площадью голубой купол. И это было больше чем солнце, не яркостью, а трепетом – невечерняя голубь.

* .

На росстани дорог – прощаясь с любимыми цветами, музыкой, узорчатым письмом и всею чередою дней: крещенская крестящая метель и первый весенний гром – мечта и трепетность июльских на-

грозившихся зорь, один-одинокий покинутый ветер сказывает сказки – поздняя осень, прощайте! Я знаю и теперь могу сказать: в этой жизни я был зачарован словом.

Слово! когда говорят – Европа, Азия, Египет, о чем говорят? О слове. Все памятники искусства рушатся: смотрите, песок пустыни и дикая степь. Но слово.. И я представляю себе ту последнюю минуту, когда слово осталось без уст – его нельзя сжечь, его нельзя отравить – и оно подымется и отлетит, трепетом самозвуча, со своим последним горьким словом:

«Так зачем же все это было дано человеку на проклятой Богом земле?»

*

Муж «Сестры-убийцы», надзиратель в Сантэ, смастерил загоны и клетки у «пубелей»: завел кроликов, кур, поросят, уток, индюшку и еще каких-то кактусовых мордастых зверьков, не для еды, а себе для забавы – и крысы все до одной ушли· беспокойно. Куда ушли крысы не могу сказать, а было, значит, совещание, и найдено место, и произведена «эвакуация» (в этом слове для русского что-то лягушачье и скажу: принудительное переселение на новые места).

Никаких ночных криков, и Евреинов не жаловался. Хрюк, писк и пение – занятие не ночное, а петуха не в счет, да и помеха не большая: наша сонная ночь начинается с третьих, всего раз, значит, за ночь и вздрогнешь. А кроме того, ни поросенок, ни кролик, ни утка, а тем более индюшка, в Евреиново окно ни под каким видом не будут соваться – животные не так бессмысленны, как о них смышленые люди судят. – В самом деле, сунься-ка, попробуй, живо в кастрюлю или на сковородку угодишь – и из индюшки зажарится индейка, и жертвовать крылышком или задней ножкой тоже не очень приятно.

А время идет: позади хвосты, впереди петля С оккупации уж третьего стащили на кладбище – темная работа шакалов: Мамочки мужа и еще какого-то старичка, которого никто никогда не видел, и соседа его – про него ничего я не знаю, и только слышу: вдруг и неожиданно – точно в этих делах, в эти темные дни, можно что-то считать и рассчитывать. И

уж третья консьержка («Сестра-убийца» – Роза – «Костяная нога») собирает в «терм» (в срок) дань с квартирантов, как до войны, в войну и в оккупацию, всегда в чем-то ошельмованных и виноватых. А от живности давно и помину нет – все съедено до последнего кролика, а клетки и загородки на растопку пошли.

На дворе пустынно и чисто – какая тишина и какой простор! – без щепочки, без стеклышка, и не кольнет глаз валящая зеленая бутылка, украшение дворов. Не те времена, нынче из-за порожней, даже поганой бутылки готовы друг другу глаза выцарапать, а сколько ссор из-за этих бутылок!

А вот крысы так и не вернулись: или крысиным знаком наш дом отмечен?

И постные «пубели» ночуют на дворе неприкосновенно и никем не обнюханы: наутро их будут разбирать на улице, и уж не лапы, не зубы, не нос, а руки. В этом голодном выеденном выбросе глаз разглядит, а пальцы нащупают и подцепят что кому нужно. Ведь и заваль, и падаль – крысиная доля – стали долей окрысившегося, воистину несчастного человека.

А мышь во двор зачем заглянет, ей что? Продовольственными карточками ей корм обеспечен. Во всякой квартире непременно что-нибудь найдется у каждого квартиранта, пошарьте, есть: и макароны, и вермишель, и звездочки, и бабочки, и приевшаяся «нуй» (наша лапша). Горы не горы, а уголок завален, припрятано, как берегли когда-то душистые ананасы, но держится не для праздника и даже не про черный день – дни все одинаковые, неверные дни, – а на завтрашний день.

Правда, в газетах, и довольно часто, объявляется о самых завлекательных выдачах, сулят и курицу, ну, не целую, а крылышко, и кролика заднюю ножку, но за эти годы понемногу все узнали, что в газетах – так было всегда и останется на навсегда – пишут для «пропаганды», или как прежде выражались, «чтобы очки втирать». А стало быть, рассчитывать приходится только на свое благоразумие: сумел приберечь – сыт, а проел, понадеясь, – языком щелкай.

А мышам не надо и «пропаганды», слава Богу, корм обеспечен, да кроме того под голодной грозой, в тесноте – все ведь сжались от холода без отопления, а чистота сомнительная, который уж год без ванн, – мыши свое найдут.

В нашем доме мыши. И у нас.

ЧАРОДЕИ

Наш дом громкий – в улицу – *Буало*! Богат чудесами, завеян чаромутием, напыщен чародеями. И первый чародей из первых чародеев – Николай Николаевич Евреинов.

Евреинов делает знак шляпой – фессалийская шляпа Исмены!

Я понял, начну скромнее, из чародеев первый – сосед по площадке, заведующий винным магазином «Николя». «Мамочка» из уважения величает его «Николо», а за ней и другие «клиенты», обладатели штемпелеванных бутылок от «Николя», а на самом деле он никакой Николя, а Годфруа – Годфруа Буалонский, прямой потомок первого Иерусалимского короля Годфруа Бульонского, прославленного в «Освобожденном Иерусалиме» безумным Тассо. На его лице печать твердости штопора, а тяжелая бутылка в его руке, как невесомая, дорогая нынче, пробка. С ним все здороваются и он со всеми: пятьдесят четыре квартиры – сто восемь литров в неделю, по крайней мере! А до «карточек» каждый квартирант на Елку имел у себя великолепно изданный прейскурант вин «Николя»: какие заманчивые названия – не то что пить, а вчитываясь, хмелеешь

На Рождество у нас по лестнице и самые трезвые шатались – так и знаешь: по прейскуранту!

Единственный магазин в нашем доме: цветочный.

«Цветы и вино, да это рай Божий!» подумал я, в первый раз переступая порог дома· как далек был от мысли, что этот дом своею болью станет мне памятен до смерти.

Еще год не кончился в этом раю, как произошло у всех на глазах чудесное превращение: цветы со своим тайным словом – они говорят глазами, тихие цветы, звучащие лишь там – в звездах, вдруг переменились в суетливый звонкий

цветник Вчера еще была цветочная лавка, а в обед, гляжу, выходит Жанина «Парикмахерская Жанины» звонко выцветила дом: Жанина, Одетт, Симона, Сюзанна, Жаннет.

Жанина – первая, отмеченная бомбардировкой 3-го июня 1940 года· в ее цветник саданула первая бомба – и от ее зеркал и флаконов одна стеклянная пыль. Когда сирена торжественно провыла отбой, Жанина выскочила из «абри» (убежища) и побежала с ключом – до парикмахерской два шага – все-то ноги себе стеклом изрезала и за эти два шага – и у входа в парикмахерскую все совала ключ, и никак не могла попасть отпереть Да в том-то и дело, что отпирать нечего дверей и помину не было, их только к вечеру нашли· закинуло через улицу во двор госпиталя. Она еще раз повертела в воздухе ключом и потом в руке повернула – и кинула ключ в груду стеклянной пыли.

И я себя спрашиваю: пришло ли бы в голову хоть комунибудь, и не только при трезвом свете дня, но и в безумии «безобразной» ночи, превращать здорово-живешь Жанинино хрупкое добро в стеклянную пыль? Нет, такого на свете нет человека Чья же это работа? – – – Все преступления против «человека», необъяснимые живым чувством, от Всемирного потопа до Голгофы и от Голгофы до .. совершались ради «блага человечества». Но поздоровилось ли когданибудь хоть одной живой душе от этого «блага»? «Так нате вам ключ! ваше благо – одна стеклянная пыль!»

И еще я спрашиваю себя: и как же быть человеку «живому, страждущему и попранному» на Богом проклятой земле без мечты о какой-то человеческой, не таковской жизни?

За годы германского нашествия все переменилось – Париж ушел за Рейн, «прямые» сделались «кривыми», а «кривые» «прямыми», как на Руси бывало в смуту в XVII-м веке

И переименовалось африканский доктор в Опус (ничего общего с Н А Оцупом), Чижов – в Холмского, Пантелеймонов в Иерусалимского, а Евреинов в Сюпервизию: так и стояло на афишах. «комедия Шаховского, постановка под сюпервизией...»

*

Как тысяча лет тому назад... *Петербург.* Никакой «сюпервизии». Евреинов под кличкой «Остервенелый».

В первый раз я увидел Евреинова на репетиции в театре Коммиссаржевской. Репетировали «Ваньку Ключника» Ф. К. Сологуба. Походя, у кого-то из театральных: «кто это?» – я показал на Евреинова. «Остервенелый!» восторженно ответил Семен Иваныч.

(С. И. Козаков костюмер, большой выдумщик в своем портняжном, он же и улыбающийся актер, без слов; за выступление ему двугривенный, а сколько волнений! – «На подмостках все тело шевелится!» – Я понимаю)

Для поэтичности к «остервенелому» прибавляли «демон» – «демон остервенения». Но это дамское – отголосок постановки «Демона» на Мариинском с Тартаковым.

И с лица, как теперь вспоминаю, и по судорожным движениям и внезапности – название подходило.

Большой знаток и ценитель античного искусства, Monsieur Jean Chuzeville, залюбовался на тогдашнюю карточку Евреинова. «Что-то античное!» растроганно сказал старый «шануан» (каноник), и в его «античном» прозвучало мне «Антиной». Карточка, которую я показывал «шануану», была, конечно, не Евреинова – но ведь важно мое желание, чем показаться или что показать· рабом Антиноем или вольным стрепетом, все равно.

За столом нам случилось сидеть рядом. Я осторожно вглядывался в него, а он, занятый своими представлениями, не замечал меня. Оттого-то, видно, и мелькнула у меня опасная мысль.

«По Петербургу, думал я, ходит с отравленным шприцем тихий доктор Панченко, а Евреинов, никакой не тихий, только его один голос и слышен, и вот повернется ко мне: заметил! – и с прикусом острейшей иглой – и прямо в сердце, и за-хи-ха-га-чет».

(Евреинов бесподобно читал на вечерах «Кикимору» из моей «Посолони», передавая задор и жуть ее «га» и «ха».)

Черномаз не по-нашему, ясно, не татарского кореня, не сродни и «искателям новой воды», не ушкуйник и никакой стригольник, а из Белой вежи ведет Евреинов свое родословие по прямой от черного хазарского кагана – царя Иосифа.

Так, вопреки всяким Лукомским геральдическим изысканиям, определил Евреинова П. Е Щеголев. А Щеголев прошел все книги и все языки; и сам Л Н Толстой ему еще в гимназическую его тетрадку написал на память: «Думай сам». И Алексей Александрович Шахматов высоко ценил

его, помню, присылал ему в Вологду из Академии подлинники писем Гоголя для занятий.

Это было на одном юбилейном собрании на Петербургской стороне – устраивал такие собрания у себя на Большой Дворянской П. Е. Щеголев в воспоминание о нашем скромном вологодском «клубе свободных алкоголиков». Я пришел поздно. Аничков и Бороздин уже сидели перед прозрачной бутылкой, с упреком глядя в дразнящую мигающую точку – есть такая хмельная посадка, а Переверзев с Аничковым молча, не глядя, как-то враждебно чокались.

Клюев, попавший на это собрание случайно, он всегда попадал «случайно», куда ему нужно было, представлял «святого человека». Он одинаково мог представлять и не «святого», появляясь в смокинге с подводкой глаз в «Бродячей собаке». А в этот вечер «святой» человек предстоял на пиру у «мытарей и грешников»: скорбно потупив глаза, правой рукой касаясь своего старинного серебряного наперсного креста – крест поверх синей поддевки – умильно и проникновенно, побеждая свою голосовую сушь, «вопрошал», подобно Кирику, мужа премудра и своязычна: П. Е. Щеголев переходил на персидский – таков уж обычай в конце юбилейных да и не юбилейных вечеров.

«А скажите, Павел Елисеевич, – *о*кая вопрошал Клюев, – Евреинов Николай Николаевич из евреев будут?»

Щеголев потупился, как бы раздумывая и протомив Клюева – Клюев уж начал было: «и фамилия такая»... – разразился неудержимым смехом – он хохотал от всей души и от всего сердца с воронежским крупчатым раскатом.

Тут вот в первый раз я и услышал о хазарском царе – черном кагане Иосифе Беловежском. Сказано было Щеголевым по-персидски.

По природе непокорный хазар, «остервенелый», Евреинов пользовался всеми правами и преимуществами благонамеренного и благонадежного. И в «Бродячей собаке» среди паскудства рож и рыл и всякого прожига выступал «благородным отцом»

Его имя не «мелькало» ни в каких «Жупелах» и «Понедельниках», он не знался ни с каким каторжным людом, слава Котылева, Маныча, а впоследствии Регинина, прошла мимо него, он участвовал в чинном европейском «Аполлоне», куда с вихрами не пускали (печальная участь моего «Неуемного бубна» – грех мой, по недуманию, сунулся – и мне изысканно показали на дверь).

«Аполлон» не «Журнал для всех» с редактором В. С. Миролюбовым, прозванным Сенекой: поправил в статье Лундберга Аристотеля на Сенеку (учитель Александра Македонского), и с секретарем Андрусоном – штаны на одной пуговице и та с мясом. «Аполлон» (его литературный отдел) – это Ин. Ф. Анненский, «Кипарисовый ларец», в застегнутом сюртуке и туго завязанном галстуке; Брюсов в «Весах» тоже всегда застегнут, но как-то по-московски, неприлично, словно бы вместо сорочки приставная искусственная манишка, и без жилетки. «Аполлон» – это Вяч И. Иванов – петербургский Момзен, и Ф. Зелинский – наш Эсхил, Рим и Афины. «Аполлон» – это Максимилиан Волошин, восторженный антропософский маг, Villier de l'Isle Adan. «Axel» звучало у него, как «Макс» – Париж! «Аполлон» – это Мих. Алекс. Кузмин, «Александрийские песни», ярославский Брюммель, в петербургскую осень и зиму из щегольства без калош и никогда в шубе, подмалеванный, заикающийся, стеснявшийся своей очень уж простоватой фамилии, он писал ее, по старине, без «ь», а по-французски с «de», что звучало так же чудно, как Чижов, титулованный графом в романе А. П. Осипова (1781–1837) «Постоялый двор»; Куприн никогда не мог равнодушно вспоминать, как в «Вене» после театра он попросил себе свиную котлету, а тут же за соседним столиком Кузмин – апельсин. «Аполлон» – это Н. С. Гумилев – огумиленный Анненский – и Брюсов, как-то выхаркивающий слова: «искусственный (изысканный) бродит журавль (жерав)». «Аполлон» – это Johannes von Günther из Митавы – когда он читал свои немецкие стихи, не отличить было – манера, голос – да это сам Стефан Георге!

Стиль «Аполлона», да то же, что «Весы» (без акарабазы Андрея Белого) – стиль Ауслендера, ученика Кузмина, – под знаком пушкинской традиции, как говорилось, или «прекрасная ясность». Брюсов, возвращая мне из «Весов» мою «Посолонь», польстил мне своим чересчур красным ртом: «Ваше – как парчовая заплатка на нашем сером сукне» К «серому сукну» присоединялась – дань времени – необыкновенная высирь, «слякостание костей»: напечатает Евреинов «Реализм монодрамы», а ему в ответ Мейерхольд – поднимай выше: «Театр – здание».

«Аполлон» – это... и тут я себя ловлю: со мной произошел известный анекдот, как в Академическом словаре пропустили «Академию», а Исторический оказался без Цице-

рона, или со мной повторился досадный случай с Погодиным: Бартенев сделал указатель к Погодинскому «Москвитянину», не забыл и авторов с буквенными подписями, такая тщательность, а самого Погодина нигде не упомянул; пропустил; поправляюсь – «Аполлон» – это С. К. Маковский, «Копытчик», душа и вдохновитель. И не счесть, сколько прошло, а он все тот же – что в Петербурге, что в Париже – «не стареет, не молодеет», как заклятый ведьмой месяц, и на одно только жалоба: «нападает, говорит, дремота непомерная и клювование», – второй Боборыкин, сохранивший молодость ровно сто лет.

Хорошо, пусть будет Евреинов «остервенелый» – «остервенелый Антиной», но никак не «демон». У нас все ведь так: если с носа приставка или мурином торчат волосья, непременно запишут тебя в лешие или в демоны, а у Евреинова от рожденья черные локоны благопристойно по плечи, как у отца дьякона, при чем же тут демон? Но в остервенении ему никак не откажешь, с этим он тоже родился и кончил Правоведение.

Я играл в Петербурге на любительском театре. Этот мой театральный выход в первый раз и единственный после моих пензенских трагических выступлений на настоящем театре (сослепу сбил кулису), когда я дал себе слово близко и носа не совать к занавесу. А был этот любительский спектакль по преимуществу писательский. И было это в годы между революциями – когда на всех собраниях и вечерах гремели три имени на «А»: Аничков, Арабажин и Адрианов – они говорили, когда угодно, о чем угодно и сколько влезет, когда в русской литературе первым писателем был Леонид Андреев, затмивший славой и гонораром других первых: Горького, Куприна и Арцыбашева; когда Лев Толстой доживал свои последние дни на земле, а Розанов, по примеру Погодина, копил «короб», записывая искры вспыхнувшей мысли на подвернувшиеся под руку клочки и обрывышки; когда о «кошкодавах» – громкая история из хроники литературных происшествий – забыли, а у всех был в памяти «оборванный обезьяний хвост» из звериного собрания абиссинского доктора Владыкина – ценнейший дар Негуса. (Все, кто писал о том времени, конечно, единогласно обвиняют меня – и мне бы теперь ничего не стоило сказать «да, виноват», но говорю чистосердечно, в хвосте неповинен, а кто у доктора оборвал хвост, не знаю.)

Спектакль устраивали: Ан. Н. Чеботаревская, жена Ф К Сологуба, и А. М. Коллонтай. Весь чистый сбор – на партию большевиков

А помогала в устройстве и распространении билетов Нащекина, известная на весь Петербург не столько своими маленькими рассказами – она служила у А. А. Суворина в «Руси», – а своим необыкновенным, единственным способом носить свой завтрак неприкосновенно. Завернув в салфетку, она складывала провизию не в портфель с рукописями, а себе за лиф: цыпленок, несколько ломтиков хлеба, сыр, икра, масло. И с таким сверхъестественным «бюстом» шла по утрам с Надеждинской по Невскому в редакцию: царские кормилицы ей завидовали.

В пьесе «Ночные пляски» – ее сочинил для такого случая Ф. К. Сологуб – Нащекина играла «Светлого духа», вроде Ангела, а я изображал «Кошмар». И должен сказать, ничего особенного я не заметил: или для предосторожности весь завтрак съеден был до спектакля, или светлые одежды духа волнами складок скрывали всякое выступление и даже естественное, или просто я всегда очень плохо видел.

А режиссером был Н. Н. Евреинов.

И без всяких «сюпервизий» могу засвидетельствовать все его исподнее остервенение. Мы, актеры-любители – или малоголосье или скороглаголивые: птичье что-то выпискивалось вместо слов и какой-то дополнительный горловой вылет или вызвук ни-с-того, ни-с-сего, и притом неуместно. И как раз главная актриса и была подвержена этому птичьему повреждению. И вот, несмотря на все наше убожество и безнадежность сделать нас, непутевых, путными, какой был громовой налет и растерзание у режиссера – а что же, представляю себе, когда под его рукой играли не такие, а настоящие актеры, – да прямо сказать: не лез, а вылезал из кожи.

*

Годы свое берут, терпеливое время все ровняет. От черных дьяконских локонов – собачьи лохмы, от Антиноя – одно божественное имя, остервенение остыло – и только отпечаток уже «избитых» приемов, напускных, без сердца. Осталось благочестие Теофила: с постановки «Чуда о Теофиле» в Старинном Театре началась когда-то слава Евреинова. Всякое воскресенье за обедней у Знамения на Микель-Анж вы

можете встретить Евреинова: с каким смирением выстаивает он долгую службу с истовым крестом и поклонами. А среди недели бегает в какую-то «скопческую» церковь и там подпевает. Благочестие – это его крепкая поддонная память и еще осталось – неподражаемая шляпа, фессалийская!

Во всем нашем Отой такая фессалийская полнолунием у Евреинова и у «придворного» фотографа Лиже, а на той стороне Сены у Гротхойзена, известного под кличкой «проводника покойников» по судьбе трех самых блестящих за последнее двадцатилетие парижских журналов: «Navir d'Argent», «Commerce», «Mesures», в которых принимал он самое близкое участие.

Но никто не умеет обращаться со шляпой (Гротхойзен вообще не снимает и не выделывает ею никаких двусмысленных знаков за ветхостью матерьяла), никто не снимет и так не покрутит, как Евреинов и Лиже. Это целая наука, как с веером И за особенный изысканный жест и воздушные «па» со шляпой Евреинова принимают за фотографа: «portraitiste hors concours».

Среди знатных особ «обоего пола» русских парижан имя Евреинова всем известно по его «Самому главному». И особенно среди дам. «В Бозе почившая» Елена Николаевна (простые смертные если умирают, так безо всякого и отмечается «помер», а знатным – «в Бозе»), Елена Николаевна, когда говорила о Евреинове, не допускала ни малейшей критики. все, что Евреинов, все «хорошо и лучше быть не может». «Холопское» направление в литературе тянет ту же песню, но Елена Николаевна не писательница и притом никакой корысти. И Боже упаси какой-нибудь намек или сомнение, она впадала в неистовство, все самое оскорбительное падало на вашу голову и ничего не оставалось, как только позорно вставать и раскланяться. Я уверен, что тут тоже не без шляпы: невесомая магия движущегося плотного вещества.

Тоже знатная – из «обоего пола», лицо духовное, както в разговоре о общих знакомых заметил и не без добродушия и даже с каким-то неподходящим умилением: «А когда я встречаю на улице Евреинова и как он со мной здоровается, я перерождаюсь: я чувствую себя балериной! – и он конфузливо приподнял свою рясу, – да воистину, чародей!»

Если не по имени, то по зримому существу, пусть под кличкою «фотографа», знает Евреинова не только весь наш

громкий дом, а и вся улица с первого и до последнего дома, как четного, так и нечетного, и наше Шан-з-елизе – улица Отой – от церкви Отой до улицы Эрланжэ, где на одном углу книжный справщик А. П. Струве, а на другом доктор С. М. Серов, а в середке Филипп Супо, в незапамятные времена «дадаист», или просто сказать, от Кобла до Морского царя.

*

Ни «кобл», ни «морской царь» – это не мое, в этих прозвищах я неповинен, они принадлежат тому вон голландцу, шляпа с пером: всякое утро идет он у всех на виду проверять народонаселение от церкви Отой до Струве и от Струве до Суханова.

Кто у него под именем «кобла» не могу сказать. «Кобл-кобель-коблы» в сказках существа сторожевые с песьими мордами – у кого из нас песья морда? А может, это тоже какой-нибудь голландец с песьей мордой.

Превращение же Суханова в Морского царя произошло с того времени, как вместо голландских сыров и всяких колбас, от маленьких колбасок до размера – не влезает, он вынужден был заняться селедками и развел в своей лавке такой рыбный дух, – «слова немеют, а рыбаку ложная приманка» по замечанию того же самого голландца, шляпа с пером.

Кто он и откуда этот голландец? Имени его, как и имени Евреинова, никто не знает, а в лицо всякий. Говорят, что он австриец, а другие говорят, сумасшедший голландец, но что у него турецкий паспорт. У Мамочки тоже турецкий, но деревянная челюсть Мамочки и деревянные ноздри, что тут турецкого? А в голландце есть что-то – хотя бы это спокойствие, – это не наше. А деньги держит голландец в Индийском банке и любит ими пыльнуть: сколько раз я видел, как в метро, стоя у кассы и задерживая очередь, вынет он бумажник и медленно перебирает индийские доллары.

Всякое утро, обходя свои парижские владения, голландец норовит идти не по тротуару со всеми, а около тротуара: так и виднее, а главное, почетнее. И правда, простому человеку едва ли на ум придет такое направление мыслей: перед ним, значит, уже не люди расступаются, а улица.

Все и всех пересмотря, голландец отправляется в подводное капище «Морского царя» с докладом о сухопутном своем обозрении.

Суханов, обычно в шляпе, как в царском венце, – у виду восседает на своем престоле за кассой. При и голландца он легко, необычно, подымается и стоев Барклаем. (Беру образы из «Отечественной войзанской площади, памятные мне по Петербургу) проникновенно смотрят друг на друга.

ландец начинает свой доклад. Доклад его без слов, быкновенными церемониями и театрально – теать выражается в жестах: руки его то парят, то низя, и сам он как бы падает со стелющимся широахом.

ов, из Барклая превратившийся в Кутузова, одобкивает.

*

ндец убежден, что подвал, откуда выносят ему морское дно. В подвале же стоят, прикованные, на ых цепях, крылатые морские кони. На этих конях колночь Морской царь (Суханов) в жемчужной ко- 1 шпанов, чтобы не замочиться, разъезжает, ловя о селедку Тут же она и солится в серебряных эенных» чанах под коралловым навесом, а все рассолом раскладывается в промасленные бочэдводными путями отправляется при особых водяах, заменяющих фактуру, во все концы света, превенно же в Индию.

андр Александрович Вознесенский и Андрей Лавч Ермолов, служащие у Суханова, морские конюха ы» (рыбосолы). Был и третий, морской же конюх, Иваныч, но его в весеннее половодье, по неостоі, проглотил арктический кит... «шныряя на Gare de миный час, когда не полагается выходить из дому». ние не совсем ясно· тут или пробел в мыслях и или с чем-нибудь путается посторонним.)

злучится в магазине брат Морского царя (Мих. Н. , голландец соблюдает особенную осторожность – сего боится встретиться глазами. Голландец убеж-Мих Н Суханов – морской пардус: в чем-нибудь фишь или «пардус» не в духе, сграбастает и съест ками, не пощадит и шляпу с пером – «и ног не » Отводя глаза от морского пардуса, голландец ывает у себя ноги – «раз-два, раз-два...»

Анна Ивановна Суханова, жена Михаила Николаевича, – пленная персидская принцесса, похищена «пардусом» на Цейлоне: она приплыла на «дно морское» (в Сухановский подвал) подводными путями в жемчужной раковине, установленной на чайном подносе при водяных знаках, на подносе несколько пакетиков чаю по 100 грамм – «Липтон».

Семен Лазаревич Кугульский, завсегдатай в магазине у Суханова, бывший Великий Муфтий, подосланный царем обезьяньим Асыкой «наводить беспорядок» и развлекать Морского царя сказками из «Тысяча и одной ночи» на русалочьем языке и обезьяньем по выбору. Анна Николаевна, поставщица замечательных пирожков со случайной начинкой (не такое время, чтобы разбираться и пальцами тыкать, бери, что дают и за то спасибо), Анна Николаевна – Жар-птица, ее голландец тоже побаивается: ему все кажется, что она склюет его, как «горчичное зерно», и когда он встречает ее, он надувается и вертит головой шмелем.

И когда Шура, младший служащий, подал кетовую икру, голландец не без робости принял сверток: он убежден, что Шура мечет икру в подвале – на дне морском.

С селедкой или с икрой, зачарованный рыбьим духом, пятясь к двери, голландец прощается с Морским царем, выделывая своей шляпой с пером выразительные фигуры под Евреинова.

«В святой час – в святой час!» напутствуя, бормочет Суханов ему вслед.

Как-то голландец зашел к Суханову из соседних бань. Час был не для доклада, но голландцу по дороге: магазин на углу.

— Изволили освежиться дарами Нептуна? – забывшись, обратился к нему Суханов по-русски.

И эти слова, впервые прозвучавшие голландцу, – обыкновенно делает ртом какие-то немые рыбьи знаки, – и из всех единственно понятное «Нептун», произвели потрясающее впечатление.

Голландец опустился на колени, молебно простер руки и смотрел на Морского царя с умилением и восторгом· перед ним был живой говорящий Нептун.

Прошло по крайней мере с час, а голландец все стоял на коленях в сиянии Нептуна и на все уговоры подняться, урча, отпихивался «солеными» руками. И только всей артелью – все морские конюхи с серебряными подковами, Морской

пардус и Цейлонская принцесса, случившийся бывший Великий Муфтий, и Жар-птица с пирожками – надсадясь, восстановили его.

И как всегда, зачарованный рыбьим духом, пятясь к двери, голландец простился с Морским царем, наиграв своей шляпой с пером – под Евреинова.

«В святой час – в святой час!» напутствуя, бормотал Суханов.

А какая разыгрывается пантомима приветствий и расположения, когда где-нибудь около кафэ встречаются наши светила – достопримечательность Отой· Евреинов, Лиже и голландец.

По теперешним временам, когда только и видишь, как страх и тревога корчат человека, увидеть такое – да и на театре едва ли, а только приснится.

На углу Лафонтен кафэ – с видом на кинематограф и наш базар. За столиком, выдвинутым на тротуар, в прежние времена можно было увидеть Мамочку и Надюшу.

Мамочка с грудным щенком она его носит с собой, как Нащекина свой исторический завтрак; конечно, не совсем за лифом, мордочка торчит из-под лифа, чтобы и ей самой и кому-нибудь из знакомых можно было погладить. Она с ним всегда разговаривает, когда он беспокоится, а беспокоится он, когда, бывало, ест она и чаще всего не в кафэ, еда там не очень соблазнительная, а у Суханова. Обыкновенно стоя, она уписывала жареные «чуевские» пирожки и всегда уговаривала щенка слушаться свою «мамочку» – отсюда и пошло прозвище «мамочка». А зовут ее не то Офелия, не то Медея, но чаще ее называют просто Мимоза

Надюша – неизменная спутница, про нее только и скажешь, что она вся прокурена. и лицо и руки, она всегда с папиросой Этим только она и была известна, и никто и никогда не подозревал в ней никакой музыки. И только совсем недавно оказалось, что она певица. по вечерам поет в кафэ на Мюэт и пользуется большим успехом. И если в кафэ она сидит одна без Мамочки, все равно ее из всех сразу узнаешь. С каким мечтательно-жадным взглядом она курит свою папиросу, – она зачарована своим пением· она мечтает не о том, как вечером будет петь, а как пела вчера, она слышит свой прозвучавший голос – отзвук вчерашнего вечера.

Тут-то на перекрестке Лафонтэн и Отой под очарованный взгляд Надюши и происходит незабываемая единственная встреча голландец, Евреинов, Лиже. Голландец, очарованный Морским царем, гордо выступает в своей шляпе с пером от Суханова; Евреинов в очаровании самим собой стремится к Суханову; Лиже идет, раскланиваясь с прохожими (первое время я его считал за собачьего доктора), он идет, подпрыгивая, – так в Петербурге на глазах Пушкина и Бестужева-Марлинского подпрыгивали великосветские «львы» и «денди» на Невском и в гостиных, зачарованные Вестрисом и Дюпором.

Эта встреча – игра шляп, перекрещивающихся взглядов и улыбки, какой улыбки! Тень Кальдерона подымалась среди нас, зрителей, всегда в чем-то виноватых и ошельмованных.

Как призрачна наша действительность. Голландец, зачарованный Сухановым – Суханов ни душой, ни телом не повинен, и в голову ему не приходило употреблять какое-нибудь колдовское приворотное, а между тем, голландец чувствует себя во власти Суханова, он только «раб рыбий», подчиненный Морскому царю, и в чем-то рыбоподобен, а за последнее время и безгласный, в самом деле, кто из знакомых слышал голландский голос? А зовут его Фердинанд, моя догадка.

Лиже с походкой Вестриса и Дюпора, чародеев и мастеров танца... Я снимался у него. Самая старая фотография в Отой: и дед, и отец фотографы; лучший в Париже фотографический аппарат с каким-то особенным стеклом – такого стекла теперь не делают и не найти; с детства наука отца – золотые и бронзовые медали и свои и отцовские – целая коллекция, дипломами завешены все стены, насиженные кресла, испытанный свет, освещение на любую погоду, а час безразличен – дедовские занавески сообразуются и с солнцем и с дождем. Зачарованный «головками» и «позами» он всегда в немом восхищении и только какие-то звуки, похожие на всхлип, этими всхлипами прорывается его восторженность и все перелентивается хихиканьем. Весь наш Отой живет в его опоэтизированных фотографиях: от бабушки до внучек.

И почему голландец – сумасшедший, а с Лиже можно иметь дело? То же и про Евреинова.

Евреинов, завороженный собой – ни «Суханов» и никакие «бабушки и внучки», это не его! его душа заверень игры – неудержимая речь и представление. Тема – воспоминания о встречах с театральными знаменитостями и про Америку. За двадцать лет от этих знаменитостей ничего не осталось, но под его чарами и безымянные блистают живыми именами. Другой раз и понять невозможно, о ком это? и все-таки, не вникая, развесишь уши – так льется-заливается речь и ходят руки. А еще и то очень ценно, что никакого ответа от тебя не требуется: и вопросы и ответы в нем самом – в его самозачарованности. Он актер, он же и зритель. Евреинов – театр.

ОРАКУЛ

Наш дом – оракул: Буалонский оракул. Под «бурею бед» на опасных путях: дорога к заводу Рено и другая – к заводу Ситроена. Только чары охраняли его сотрясенные бомбардировкой стены. И за все эти годы всего раз сплошал, но тут уж судьба, с чарами или без чар, все равно, терпи.

Евреинов не согласен – и все-таки скажу: из всех чародеев нашего оракула Евреинов первый. А все мы, остальные, «провизуарные» – временные, пусть и кудесники и волшебники.

*

Пупыкин – с лица выплывок или кап (от «капать») – такое утолщение на стволе, а глаза вытаращены до исступления, известен своей повадкой задерживать разговорами.

Евреинов тоже. Но с Евреиновым полная свобода, только хлопай глазами и ушами – без этих изнутри-исходящих аплодисментов не обойтись – перед Евреиновым весь мир онемел. А Пупыкин с назоем: ему непременно надо что-то ответить. А главное, все впустую, только для разговору. И канитель. Вот хотя бы с табаком: вместо «продаю» сказать, он начинает о каком-то своем знакомом – «приезжий и опять завтра уезжает, у него есть табак, и по случаю отъезда...» Табак мне как нужен, но я боюсь, нет, я готов даже после второго «предупредительного» алерта (и такая была мода) стоять и терпеливо слушать Евреинова, хлопая глазами и ушами, а с Пупыкиным и без алерта, нет.

Пупыкин – газодёр, такая пошла о нем слава в первые месяцы войны при всеобщем газовом перепуге.

В газетах печаталось: «что надо знать во время алерта (тревоги)» – умные люди указывали всякие предупреди-

тельные меры, а против газов рекомендовалось: хорошенько намочив простыни, завесить все окна. Наш Едрило раздавал знакомым под большим секретом – «еще будут все приставать и у него недостанет запаса» – какие-то касторовые капсюли: «стоит только успеть проглотить, и газовый задох моментально прекратится».

Я долго берег эти капсюли, держал в спичечной коробочке, и все думал, отдам вместе с искусственной маской в «Музей Войны». В маске – такая набитая трухой подушечка, на глаза и нос, с четырьмя завязками на затылке (цена 5 фр) – и в ней развелась моль, а знаменитые газовые капсюли, их исследовал в своей лаборатории Б. Г. Пантелеймонов: рвотное.

Первое время Пупыкин распоряжался в «абри» – эту власть начальника он взял «революционным порядком» или, по старине, «самочинно». Он изобрел против газов, отсюда и «газодёр», свое средство – «и все газы отскочат обезвреженные».

Обыкновенно, когда все мы, загнанные сиреною в «абри», начинали обвыкать – Д. С. А. больше не доносит и все, кажется, успокоилось или, как принято было говорить не без хвастовства, «отогнали», и вот сейчас загудит отбой, врывался зверски-выпученный Пупыкин с раздирающим: «газы!» Тут же появлялось и ведро с каким-то раствором: бура и еще чего-то подмешивалось – секрет Пупыкина. Ведро разносила тоже выплавка и все мы с перепугу, у кого что случится, кто платок, кто тряпку, окунешь в это поганое ведро и мокрым по лицу себе мажешь. Со всех течет, а утираться нельзя – противогазовая сила пропадет. И как после такой купели не запаршивел никто, подлинное чудо! Верили, вот что.

А когда с газами поутихло и на ведро никто не обращает внимания, Пупыкин, одиноко прокричав «газы», один, непризнанный, помочится и мокрый, стоит и смотрит – сколько упречного было в его взгляде!

Он должен был уступить свое распорядительское место назначенному «chef d'Ilot» (ячейному старосте), но имя за ним осталось: «газодёр». И то хорошо: все-таки не «безызвестный». И войдет в историю, как мы защищали Париж в 1939–40 году, когда тщательно заклеивали бумагой окна – верное средство от бомбардировки! – а клеевые мастера и наклейщики (тоже профессия) подняли нос – чем крепче, тем безопаснее. Когда на воющий клич сирены мы с трепе-

том бросались в «абри», а кое-кто (таких дураков среди нас, одурелых, наперечет), рискуя задохнуться, появлялся в маске – маскированного, как известно, никакая пуля не возьмет! – и тут же суетились охотники, высматривая наиболее «солидных» чтобы помогать спуститься в «абри» и потом подобающе извлечь, – «Морской царь», подводя итог военным издержкам, говаривал бывшему Великому Муфтию (С. Л. Кугульскому), что «эти помощники не то, чтобы ударили по карману, но все-таки ему в копейку стали». Блаженные времена, но возвращения их я не хочу.

*

От Евреинова по прямой вверх – на восьмом этаже Гретхен, так величают Софию Семеновну. В допотопные времена, а в самом деле, сколько это годов прошло? – она пела в Большом Театре с Фаустом-Донским Из моей ранней памяти я вижу сцену в саду. Фауст, он был очень тучный, и когда ему подходило взять верхнее «до» – «здесь все твердит душе моей», из-за кулис выскакивали два щелкоперых бесёнка, ясно подосланные Мефистофелем, подсовывались ему под руки, и он, упираясь о их плечи, пускал «душе моей!» – звук серебряно-фонтанный в слезо-лиловом нимбе. А Гретхен... вот никогда бы не подумал, что встречу тут, в Париже, и знаете, если взглянуть на расстоянии, все та же, и вы улавливаете знакомые черты: «чистота и ясная наивность».

Она пела в церкви в хоре, но когда помер дьякон, голос у нее пропал. Она была в отчаянии и носила на могилу цветы – дьякон не очень разбирался в цветах, но для нее с цветами нераздельна Гретхен.

И тут с ней случилось не иначе, как чудо, – много потом будут говорить в доме, как когда-то о Сестре-убийце, газовых бриллиантах, обгорелой собаке и тихом веронале.

*

Анна Николаевна «Жар-птица» – соседка Евреинова, в прошлом связана с петербургским литературным кругом. Есть у нее и книги с автографами – надписи не безразличные: на одной (забыл автора) неровно (волнение). «на вечную память», а еще запомнил: «от бесконечно преданного». У Сыромятникова-Сигмы, такой был философ из «Нового Времени», она встретила

однажды Владимира Соловьева И это было, действительно, не меньше, как тысяча лет тому назад. И казалось бы, от философии и следов нечего искать философия, как музыка, требует постоянных упражнений – «тренировки». Никто не испечет таких прозрачных невесомых блинчиков, а какие чудесные пирожки, но в нашем домашнем обиходе Анна Николаевна известна как исключительная терёха – вот она где, философия-то, обнаружилась! Потеряла хлебную карточку, а теперь «текстильную», а вы понимаете, что это значит? – ведь по хлебной, кроме хлеба, муку можно достать, а это ее ремесло, а без текстильной и прелую нитку не купишь, я не говорю о ботинках, их и с карточкой не получишь, ну нету! – а перед Рождеством кокнула бутылку с ромом – «и хоть бы столечко попробовать осталось, жаловалась, все на пол». И часто, уходя из дому, забывает ключ. Так и на этот раз, она вернулась домой без ключа. Уж вечер, найти слесаря и думать нечего, а если и согласится, жди через месяц, правда, можно попытаться через окно, – если не заперто.

А проходила Софья Семеновна, несла «ордюр» (поганое ведро), а за ней Пупыкин, с «ордюром» же. Наша Гретхен услужливая, вызвалась помочь. Зашла она во двор, кстати и «ордюр» опростать. К счастью, окно не заперто И совсем не высоко, – а все-таки без подсадки ей трудно: и годы не те, да и не сад Маргариты, где все ей было легко.

«И тут совершилось»... как потом будет рассказывать Анна Николаевна чудесную историю – а совершилось такое, что и не во всяких «Житиях святых» найдешь.

И только что Пупыкин поддел Софью Семеновну под мышки, как позабывшая, что такое собственный ее голос, Софья Семеновна вдруг запела[1] – и весь дом от меховщика, «который меховщик съел своего кролика», до шляпницы, соседки Едрилы, затаился во внимании.

Евреинов думал это по радио. И только не мог сказать себе, какая из его знакомых знаменитостей.

И пока Пупыкин поддерживал Софью Семеновну, голос ее звучал, как там – тогда – тысяча лет назад в Москве в Большом Театре: это пела свою нежную и печальную песню из старины своей родины Гретхен:

Es war ein König in Thule,
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldenen Becher gab

Но как только руки Пупыкина от нее откачнулись и она спрыгнула с подоконника на пол, чары рассеялись – и она онемела.

И уж ей теперь, после лебединой ее песни, и самая несложная детская «Птичка» – «Ах, попалась птичка, стой» – не по горлу. И что странно, Пупыкин поддерживал ее сзади под мышки, лица его в минуту восторга она не видела, а между тем выпученные глаза его как бы закинулись за звезды и из звезд только они, без выпловка, иже-херувимы, пучились на нее неотступно. И когда она жаловалась на бесцельность и бесполезную жизнь, что без голоса она чувствует себя «лишним человеком», где-то помимо ее воли выговаривалось в ней из самой глуби ее предмыслей, повторяясь: «Пупыкин».

Не свое, Софья Семеновна, словами Тургенева скажу вам о «лишнем человеке». Вы помните Тургенева? – «Во все продолжение моей жизни я постоянно находил свое место занятым... может быть, оттого что искал это место не там, где бы следовало».

И сам подумал:

«Гретхен без песни... и это правда, она не найдет себе места на свете». И я вспомнил нашу берлинскую хозяйку Frau Delion, в молодости конечно, Гретхен, и вот на наших глазах, безголосая, а вернее, на наших боках, расчетливая до невообразимости, превратилась она в «Hexe» (ведьму).

«Надо отыскать применение... та песня спета, на что-нибудь другое, но вы не можете быть “лишней”».

Она слушала, нет, она не понимала, но в ней выстукивало, в виске так дрожит: «Пу-пыкин – Пу-пыкин – Пу-пы-кин...».

Как-то на «алерт», спустившись в «абри» с Половчанкой, это уже при «расчистке», и оглянув «сидячих и стоячих», вдруг вспомнилась Гретхен: давно что-то не видно?

— Софья Семеновна, сказала Половчанка, в большой деятельности: продает масло и, представьте, с Пупыкиным! Я спрашиваю ее, когда будет всенощная, она такая богомольная, все знает. «Ничего не знаю, совсем в церковь не хожу, мне некогда!» И показала на сверток.

После отбоя я шел по нашей улице в русский ресторан за супом, навстречу Софья Семеновна... легка на помине! И узнать нельзя: шаг крепкий, уверенный, оживленная, – куда там, никак не скажешь: «лишний человек». И по два больших свертка под мышкой, в синюю сахарную бумагу завернуты. Я догадался: Пупыкино масло!

Wie anders, Gretchen, war dir's,
Als du noch voll Unschuld
Hier zum Altar tratst,
Aus dem vergriffenen Buchelchen
Gebete lalltest,
Halb Kinderspiele,
Halb Gott im Herzen
Gretchen!

На пятом этаже Половчанка. «Половчанка» прозвище, пошло от Евреинова. Евреинов – хозар: ему виднее – половцы ближе к хозарам, на исторических перепутьях встречались. Чернявая, но не Евреинской чернотой, а именно половецкой – с синью.

Она певица, но не Гретхен, а Кармен. Объехала всю Россию, побывала и в таких городах, где и показаться-то негде и в театр ходить считается грехом, на родине о. Матвея Константиновского и книгочея Якова Петровича Гребенщикова, во Ржеве и в соседнем Торжке известном по «Тарантасу» гр Соллогуба Много хранилось у нее всяких напетых пластинок и дисков, а как поедет из Полтавы в Париж, все растеряла. И остался один Шаляпин, да и того в починку не принимают, только что для покрышки.

Ученые историки и с ними наш медонский историограф Петр Евграфович Ковалевский думают так, что Андрей Боголюбский половчанин по матери, не без половецкого зуда разрушил Киев (1169 г.): придут татары, а брать будет нечего – камень на камне – хорошо распорядился.

У нашей Половчанки никаких разрушительных инстинктов, всякий знает: если нужно прошение в мэрию, в префектуру, к персептеру или в контроль, а также в газовое и электрическое общество, и вообще деловое письмо, и даже любовное (не слишком требовательное), подымайся на пятый, стучи к Половчанке, никогда не откажет.

Едрило хвастал. есть у него машинка – «сама сочиняет письма». Казалось, чего бы проще, зачем и беспокоить Половчанку, но смельчаков на такое механическое письмо не оказалось. Еще рассказывал Едрило о своем попугае: попугай «бегло» говорил по-французски и «наизусть» скажет без заминки «Выхожу один я на дорогу», а когда пришлось Едриле бежать из Петербурга от большевиков, попугай повесился над его покинутым письменным столом – в таком виде и нашли его при обыске. Возможно, этим попу-

гаем Едрило и отпугнул: «пускай уж на простой машинке, но дело будет вернее!» – так рассуждая, подымались не под небеса к Едриле, а на пятый, к Половчанке.

И еще известна Половчанка по своему знаменитому брату. Он жил в нашем доме и только незадолго до войны переехал. А называется он «Железный» – определение одной из бесчисленных его поклонниц. Однажды за чаем у Половчанки, присоединившись к нему и так, что «утеснение» между ними оказалось самое пронзительное, она не могла тронуть его железное сердце. Железный поднялся и даже по-чижовски не переложил в кармане ключ. Он продолжал говорить тем точным бесстрастным голосом, каким говорят только юристы, объясняя и самые запутанные дела.

И до чего это странно: когда послушаешь такого, как Железный, все кажется так ясно и просто, на деле же всегда оказывается необыкновенно сложно. А объясняется это очень просто: есть юридические аксиомы – всегда какие-то само-собой-разумеющиеся условия – но кто же и когда говорит о самоочевидности. И вот эта недоговоренность для нас простых, не юристов, потерпевших или могущих потерпеть, отсекает всякие пути к цели, если попробовать действовать на свой страх, или запутывает дело и там, где и путать-то, казалось бы, нечего. Без всякого дела, я люблю слушать юристов: их рассуждения всегда действуют успокоительно, как решение задач и рисование.

«Железный» – если подвязать ему бороду, а на голову островерхий в звездах колпак, его можно поместить в любом Оракуле, Календаре и Соннике, лучшего Волшебника не нарисуешь. В нем ничего от половецкого стана, а между тем Половчанка его родная сестра.

«Природа идет по-своему, а не по-нашему!» – вот что сказал бы небезызвестный Кузьма.

А прославился Железный на весь Отой «зажигательным» студнем, подлинно Волшебник.

Затеял Железный с П. Н. Переверзевым хозяйством заняться и взялись они студень варить. Бухнул Железный в «бучило» – другой подходящей посуды нет в хозяйстве – двенадцать бычачьих ножек, а меры и не знает, сколько на варку. Понадеялся на Переверзева: министр! А Переверзеву тоже впервые. «Да, долго, говорит, варится, не одна ножка, а дюжина» Да еще и поспорили. Переверзев по-московски «студень», а Железный – полтавский, «холодцом» называет. По Железному, – и откуда он это взял? – «нормальный хо-

лодец» вываривается в неделю. «У вас, Константин Данилыч, ваш нормальный холодец вываривается в неделю, Переверзев нетерпеливо поправил очки, а наш обыкновенный московский студень, по крайней мере, с месяц, помню с детства, каждый вечер к ужину подавали студень с хреном». – «А почему вы, Павел Николаевич, все говорите бычачьи ножки, хороши же у быка ножки!» поддел Железный. Но Переверзев ничего не ответил в самом деле, неужто он сказал «ножки»? Бучило поставили на радиатор. Прошла неделя. Видят готово. все косточки и хрящики выварились, пальцем не поддеть никакую бабку. Дали остыть. И получилось – что-то вроде лошадиного клею. На тарелку попробовали – не вылезает; взялись ножом – нож не берет. Хоть молотком впору. И какой-то дух пошел копытный и еще чем-то, «неразложимым» – «неподдающееся никакому химическому анализу», как выразился сосед по проникновению «Ешьте сами, Константин Данилыч, сказал Переверзев, а я ваш этот холодец есть не буду Двенадцать пар бычачьих ног ухлопали!» И когда Железный остался один, он вынул из бучила несколько кусков – тверже камня, такая крепость! – завернул в газету, взял секачку и принялся рубить, и рубил кусок за куском, разрубая на мелкие кусочки – миллионы блестинок сверкали под секачкой. И вдруг, как от спички вспыхнула газета.

К вечеру бучило опустело, ни холодца, ни студня, больше рубить нечего.

Завтра, когда заглянет Переверзев, конечно, он принесет хрену, вот удивится. «Из двенадцати пар бычачьих ног, скажет, миллион камушков для зажигалки!» – «Какой миллион, мы весь Париж завалим!» И правда, пол и все стены и знаменитый «полубобрик» в осколках сверкают, сверкал и сам Железный: камушки для зажигалки – поди-ка купи – на вес золота!

*

И еще Половчанка известна по необыкновенному подбору жильцов: Анна Безумная, Аксолат, Утенок – одни имена говорят за себя.

По замечанию Льва Исааковича Шестова, на глазах которого прошла вся наша жизнь, к нам приживаются или сумасшедшие или обездоленные; а чуть человек образумится или выйдет на дорогу, он нас непременно покинет. Так было всегда и ни одного исключения я не помню.

Утенок обездоленный. Поселившись у Половчанки, большую часть времени проводил он у нас. Он и появился у нас по обездоленности – раньше, когда был устроен в жизни, ему и в голову не приходило познакомиться. Странная судьба этого Утенка. С половины зимы он перекочевал от Половчанки к Железному и все-таки каждый вечер забежит к нам: сначала ко мне, на кухню, а потом мы вместе переходим в комнату к Серафиме Павловне, где и пили чай и я читаю – за чтением Утенок спит: за день-то намается. Утенок у Железного присматривал за хозяйством и так надоел, Железный и решил под каким-то «благовидным» предлогом пристроить его в другое место. Слава Железного начинается без Утенка, когда станет очень трудно достать спичек, а о камушках для зажигалки и думать нечего. Утенок очутился в квартире у Лягушки. У Пришвина кошка кормит покинутого лисенка. Очень это странно, но такого, сколько ни думай, не придумаешь и поверишь в слепые (для нас «слепые») силы, соединяющие, как живое, так и мертвое. Про мертвое я на кладбище подумал: «к кому под бок тебя под землей подсунут?» А среди живого: лягушка и утенок – из какой-то сказки, так это звучит неправдоподобно. Утенок может съесть лягушку, всего можно ждать и не в сказке. А лягушка... И от Лягушки, как от Железного, вечерами Утенок прибегал к нам. А кроме того, Утенка звали Ольгой. Тайна ее имени. Я не совсем понимаю, но это имя собиралось вокруг имени Серафимы Павловны – второе имя ее Ольга: отпустить ее из этой жизни.

*

Анна Безумная, потому что безумная, ей и было место у нас. На нее нападала черная тоска – беспредметная – «душа болит'» – и она сидела с Серафимой Павловной. Она с трепетом слушала мое чтение. Но не все на нее действовало, надо было такое, чтобы «хватало» за сердце. Человек перед стеной – не проломишь и обойти невозможно – «тьма неисходная». Письма Аполлона Григорьева, сцены из Достоевского. Она заходила и ко мне, на кухню. Я выдумывал всякие «без-образия» Это мое – и при всяких обстоятельствах – засупленный, сурьезный или трезвый, но не мудрый, непременно остановит меня и даже может обидеться. Но ведь Анна Безумная – безумная, у нее самое что-то не так, только я все сознаю, а у нее влечение из ее темной рас-

строенной души. И сколько бывало чудачества, как жила она у Половчанки, всего не пересказать. Помяну случай с «контролем».

Обжившись, она потребовала от хозяйки, чтобы та ежедневно в «письменной форме» давала ей точные о себе сведения, когда выходит из дому: «куда? к кому? и когда вернется?» (Адреса и телефоны). Для «безобразия», я посоветовал прибавить и «по какому делу».

Я помогал Анне Безумной в составлении этих опросных листов, написал ей пример, расположив вопросы графически ясно, просто и стройно. И бумаги ей нарезал такую вот стопку (бумага еще водилась) для подкладывания и для «упрощения делопроизводства». А чтобы убить время – время ее враг – одновременно с «контролем» я сочинил ей «литературную» работу. Она была в восторге. И с месяц мы разбирали старые газеты – но не по содержанию, а по размеру· в коридоре вывели целую колонку под потолок. А в часы ожесточения, когда руки ее тянулись царапать что-ни-попало, она под мою диктовку старательно писала любовные письма знакомым и незнакомым . Она и сама любила сочинять, но всегда напишет карандашом так неразборчиво, понять ничего нельзя, как ни старайся. Свои письма она подсовывает под дверь – верный способ. не пропадет

Бедная Анна Безумная! Душа у нее ласковая, мученица! – нет, не вернется, за что и куда ее угнали?

*

А до Анны Безумной в ее комнате жил Аксолат. Очень смирный, занимался графологией – изучал почерка – так и проводил время в тихом занятии. Он тоже спускался от Половчанки к нам: ей была любопытна моя графическая китайщина Конечно, если человек на почерках сосредоточится, и пусть он самый растихий, а уж какая-нибудь странность в нем таится. Да так оно и оказалось.

При всеобщем перепуге после 10 мая (1940 год), когда правители наши, вдруг сделавшись людьми верующими и богомольными, отправились в Нотр-Дам служить молебен, а в речах и газетах зачастило слово «чудо»: все надежды возлагались на чудеса. Но, как известно, береженого и Бог бережет, и благоразумные бросились кто куда из Парижа. Побежал и Аксолат, забрав от Половчанки все свои вещи –

до перьев и карандашей, и одно забыл, – не думаю, чтоб преднамеренно, горшок. А горшок был единственный во вселенной, как стали его величать механики и водопроводчики, подлинно, чудо искусства· «самосветящийся урыльник».

Устройство урыльника не сложное, но механизм хитрый: стоит только усесться поудобнее, как тотчас внутри горшка зажжется электрическая лампочка, кроме того, если надавить кнопку, горшок можно поднять по желанию – он был установлен на складных металлических прутьях, вроде гармоньи, – и на корточки садиться вовсе не обязательно.

Про этот диковинный нужный «аппарат» скоро стало всем известно и не только в доме, а и кругом до Тоненькой шейки, булочницы, и Бешеных баб, зеленной рынок, соседний с Иваном Павловичем Кобеко.

«Сору, говорите, из избы не выносить! – говорил Иван Павлыч, – хороша была бы изба, если бы копить в ней такую драгоценность».

Горшок Аксолата сделался популярен не менее, чем голландец, Евреинов и фотограф Лиже, и на время затмил камушки для зажигалки, изобретение Железного.

И не редки случаи, зайдет к Половчанке какой-нибудь по делу, больше дамы, а из разговора выясняется, что пришел человек «горшочек посмотреть».

Бедный Аксолат, его судьба – горькая участь Анны Безумной: не вернулась – где-то по дороге зацапали и увезли.

Так и остался горшок бесхозяйственный владеть Половчанке.

*

Пупыкин, как Едрило, за все берется: сфотографировал горшок и делал над ним всякие опыты, но секрет механизма разгадать не мог. И только думает, что горшок – персидский, «тайна востока».

В судьбе этого персидского горшка было что-то похожее на историю с пишущей машинкой учительницы Семякиной. Только без всякого чаромутия: ни загадочных персидских начертаний, ни разварной картошки и никакой «компактной массы» из алжирских мух.

Делая опыты над горшком, Пупыкин свинтил винтик, а где новый винтик достанешь? – и погасла электрическая лампочка; а садясь на горшок без надобности, расшатал

самодвижущуюся подставку – она оказалась не металлическая, а из картона, оклеена серебряной бумагой; и вот кнопка не действует. И ничего персидского – горшок, как горшок – «до-военный»!

Нынче нет ненужных вещей, все пригодится. И Пупыкин, завладевший горшком «революционным порядком», приспособил его к хозяйству: вымачивает в нем бобы, чечевицу, сейчас мочится «Вельтеровская»* овсянка, по крепости ореху не уступит, «персидская».

*

Я люблю Восток, а Персию особенно: мое пристрастие к каллиграфии – «Тысяча и одна ночь» – Огонь – Заратустра – Мани. В детстве из первых встреч куда больше, чем московских немцев и обмосковившихся англичан, мне попадали на глаза черные носатые персы и желтые с косами китайцы с косьими глазами. Москва тянет к себе все пестрое, цветное и яркое, как нас тянет к ним за «три моря».

Где-нибудь в Юшковом переулке – каменные амбары, склады и тесные «конторы», живой души не увидишь и вдруг важно выступает Кашемирский купец – одна борода чего стоит! Земля полнится о таком, о Кашемире – держи ухо востро, на глазах перевернется. то он барс, а из барса в коня, а из беркута кречет, а из щуки пескарь, он и лапчатый гусь, колкий еж, сокол, петух, а раскатится в мелкий жемчуг, хочешь схватить, а он черной жемчужиной и был таков.

Юшков переулок известен не только большими купцами, из него вышел «Скорпион» – Сергей Александрович Поляков, издатель журнала «Весы» – русский символизм.

В Казани в мечетях меня принимали за своего и я обряжался в туфли, как правоверный, с тибетскими ламами я не чувствую себя «иностранцем». В революцию все народы Великой Сибири сошлись на Васильевском Острове в моей серебряной «кумирне» (на стене серебряные бумажные гнездышки – приютились сучки, обрывышки, корни – «нежить и нечисть» для простого глаза – потай-

* Г Г Вельтер, по словам Ивана Павлыча, когда писал свое исследование о русском ударении, питался, по каким-то своим соображениям, исключительно овсянкой, а закончив труд, раздал, что осталось, приятелям на корм, вот почему и название «вельтеровская», а не то чтобы такой сорт крепкий [Примеч Ремизова – *Ред*]

ные существа с полей и лесов русской земли). Бывал и я в их кумирне.

Мое восточное соединяет меня с нашим востоковедом «эмиром» Василием Петровичем Никитиным, кудесником нашего Оракула и чернокнижником (Черными книгами весь его подвал забит).

Жил «эмир» на четвертом под Половчанкой и над той, «собаку которая мыла», а теперь на восьмом, выше некуда. В светлые ночи, после трудов, любуется он на Париж, вышептывая любимые стихи Мохамеда Икбаля, из Лагора:

> Долина любви очень далеко, дорога длинная, но
> свершение столетнего пути в одном вздохе мгновенно
> В поисках трудись и не выпускай из рук полы надежды,
> богатство там, ты обретешь его в конце пути мгновенно.

Эмир в ореоле славы и нимбе величия – эмир! проходя по долгой лестнице из своего улуса, ни с кем не заговаривает и ни на кого не смотрит – из чародеев он выше всех чародеев на голову, пожалуй, только под Едрилу. А если бы кому пришло на мысль спросить его невзначай даже такое домашнее и нетерпеливое: «будут ли топить?» – он ответит, но ответ его зазвучит или по-арабски или по-персидски.

Его называют марид – «дух отречения и изгнания», возможно, что он и есть «марид», но только добрый из маридов – «инфрид», я замечал, сколько нежности в его словах с детьми и дети идут к нему, нисколько не боятся и не стесняются.

Консьержка уже не та, что любила тепло, и в доме у нас круглый год топили, не «Сестра-убийца», и не веселая Роза, а василиско-глазая Костяная-нога, – когда проходит эмир, Василиск «салютует» перед ним щеткой, как солдат ружьем: эмир здоровается с ней не по-арабски, не по-персидски, а на ее родном языке – басков.

По воскресеньям наши персидские встречи.

Когда-то эмир занимался курдами, а теперь пишет историю о вольном казачестве. Кроме персидской науки, он дает мне свои русские выписки из жизни Донских казаков, особенно важные он делает по афинскому способу на раковинах. Он знает мое пристрастие к словам и чудесному – к тому, чего не бывает, а только живет в человеческом желании – к легендам, сказкам, вымыслам. Из каждого нашего свидания я всегда что-нибудь получаю чудесное и всегда жду персидской субботы.

От Евреинова до Никитина – какой наш Оракул богатый. А сколько прошло и проходит чародеев – они от Евреинова вверх до Никитина, как летучие мыши на белое.

*

Очередь за мной. Но я не чародей, не волшебник, не волхв и не кудесник· я только в стенах Буалонского Оракула и зиму и лето мерзну. Рассказать о себе нечего – я весь в моих рассказах о других, мне нечем похвастаться.

Когда-то в Москве остановишься около шарманщика с птичкой или попадется по дороге который-нибудь из неговорящих ни по-каковски с обезьянкой – у обезьянки юбка, как теперь носят, и лапками она себе коленки прикрывает, посмотришь, послушаешь и за «судьбу». А на счастье вынет тебе билетик или птичка или обезьянка без обману.

Попробую-ка своей рукой вытяну на счастье себе из «остракических» расписных раковин эмира – о «казаках».

*

Ну, вот и приговор.

Говорит устрица.

«Поезжай и спроси, где живет казак Тит Ремизов. *Ни к кому не обращайся*, а вызови непременно его. А когда его вызовешь, то скажи: “Я ищу корову, не приблудилась ли к вам: у нас пропала?” Он сейчас же поймет, что это шутка, – он хоть и слепой, но хитрый, как идол, смолоду на обухе горох молотил».

МЫШКИНА ДУДОЧКА

У нас три мыши. Старшая, самая большая, с голубец, в покинутой измерзлой «кукушкиной» комнате; она не серая, она темная с рыжой, питается «Последними Новостями»: за месяц изгрызаны в лохмы десять номеров, меня пощадила и только о Чехове («Баррикадный», Оля, IV ч.) начало рассказа подъедено, но Алданов, Цвибак, Словцов – без остатка. Средняя мышь у Серафимы Павловны в комнате, серая, с живыми усами, все-таки сравнительно тепло, и потому, верно, сохраняет мышиное благообразие; Серафима Павловна мышей пугается и, увидя невзначай, вскрикивает, а у мышки и намерения в мыслях нет ее трогать, корм этой серой мыши – мое шерстяное вязаное одеяло – брусника по зелени – «брусничное», ночью в мой урывчатый и, как камень, убитый сон она на мне зубом и упражняется. А третья – самая младшая, она не серая и не темная, а как грецкий орешек, пришла от соседей и поселилась на кухне.

*

Как переехали мы из Булони, десять лет в октябре было, нашими соседями гремели венгерцы. Венгерцы народ отчаянный, те же самоеды, одно название говорит за себя: само-еды, – и что у них по субботам за стеной творилось, уму непостижимо; или язык их такой, самоедский, ничего потихоньку, и самое пустое в крик и с визгом.

Дом наш из всех домов самый звучный, про это всем известно, стены такой легкости, гвоздя не вбить: стукнешь молотком, а его как и не было, пропал, а костыль и не думай, только стену расковыряешь; вешалку у нас укреплял Резников на каких-то особых шарнирах с «плинтусом», как он выражался технически; на вешалку ничего не вешаем.

В первые месяцы войны, когда пугали газами и «порядочные» люди носили через плечо цилиндрические футляры с масками, этих пугающих масок русским не полагалось, бывало, «угрешится» ночью который из квартирантов, – не ангельский чин, да во сне и монаху извинительно, – и что только тут подымалось, какая суетня и оторопь, и уж по лестнице бегут в «абри» (убежище)· послышался «алерт» (тревога) – вот какая наша звучность.

А другой раз Едрило самостоятельно, тоже «грехи» человеческие несет на себе, как и все мы, и, как всякий из нас, верует в воздушную колбасу, защиту непоколебимую беззащитного Парижа. Случится среди ночи крикнет кто из детей – у той шляпницы двое, соседка Едрилы, – а ему свой ли «грех», крик ли посторонний, все принимает за «алерт» и всех взбаламутит.

Едрило таскал с собой в «абри» огромный чемодан – такие для дамских платьев, «кофр» (сундук), на вокзалах в старину два носильщика тащут, отдуваются, а ему – на плече несет, не поморщится. А чего только в этом «кофре» не было. и провизии всякой на неделю, по крайней мере, консервы, копченая колбаса, сало, солонина, пармская ветчина (у нас она вестфальской называлась), термос с кофием и другой с чаем, бутылка рому и какие-то противогазовые капсюли, желтые, похожи на касторку, две смены белья, гуттаперчевая надувная подушка и трусики «на случай наводнения» И когда он спускается с 8-го со своим грузом, при нашей-то звучности, не хочешь, проснешься: «алерт»!

Ужасные были венгерцы и я, совсем не стеснительный (так, по-русски, вместо «стесняющийся»), а на их субботние «алерты» терял терпение. И что удивительно, встречаясь с ними, – наши двери под углом – я никак не мог понять: откуда? – кротко, застенчиво здоровались они со мной, совсем еще молодые, их двое; и приходили к ним еще двое – но чтобы ночью поднять весь дом, а ведь всякую субботу из всех пятидесяти четырех квартир всю ночь стучали, какую надо голосовую силу, воловью глотку и жеребячьи легкие, нет, это не венгерцы, это секрет нашего дома, его необыкновенная звучность.

В один прекрасный день венгерцы пропали. И случилось так невероятно и неожиданно, без всякого колдовства и префектуры.

Наш меховщик – кроме живого кролика, никаких подозрительных шкурок в окне незаметно, аккуратный; у Чехова

кошка огурцы ела, а кролик – крысиные хвостики, меховщику не по зубам – из студня повыберет, бросать жалко, и все отдаст кролику. В субботу среди ночи меховщик по привычке вышел к лифту, меховщик в самом низу, не к кому стучать, а обычно стучат к соседям, и палкой, ну лупить в лифт, но ему никто не отозвался. В эту ночь было как-то особенно пусто и «скучай»: туда, где «полевали» венгерцы, переехал доктор с женой и двумя собаками.

Сами ли скрылись венгерцы – «инстинктом», как крысы, или их «укрыли», так я и не мог дознаться, и доктор, я спрашивал, ничего не знает: ему сдали пустую квартиру, и добавил:

«Из-под спирту, но не жалуюсь: моль пропала».

Пожаловаться не на что, доктор, хоть и хирург, а тихий, как внутренний. И жена его – Бог ростом не обидел, но лишил права голоса, на все молчок. А после венгерцев, да ведь это рай, благодать, – но собаки...

И уж к нам в вечерний час не подымались гости как-нибудь безалаберно, вразмашку, по-обезьянски, а все с оглядкой и опаской: распахнется соседняя дверь – ам! Не успеешь и за платком в карман руку опустить, нос вытереть, схамкает – и готово: полицейские собаки – волки.

Первым пострадал Евреинов: ему и на роду написано: «зверя – бойся!» Выпускаю его, прощаюсь, а он за часы, проверить – заходил он ровно на семнадцать минут, – а известно, у человека делового каждая минута на счету, и надо ж такой беде, как раз собаки под дверью, выпущены. И без всякого ама в потемках прямо на него и облапали – часы на лестницу, шляпа с лестницы, хорошо еще догадался, сам под собак орлом присел.

То же и с Лоллием. Не будь в руках у него туго набитого портфеля с стихами, – а им написано, по его словам, стихов много больше, чем у Блока, – не отвертеться б ему так легко, как Евреинову. Лоллий позорно на корточки не присел, орла не вытворял, но, прикрываясь стихами, как рыцари щитом, не мог, конечно, заметить, как собаки с надрыва открыли против него свой горячий, пенящийся водопровод.

Нападение на Лоллия и «живоносный источник» скоро облетели нашу улицу до Полонских и Шмелева, а через «африканского доктора» достигли Чижова и Гаврилова, XV-ый аррондисман. И кое-кто из знакомых, я заметил, стали появляться у нас вечерами не иначе, как с зонтиком, хотя о дожде и звания не было: «на всякий собачий случай!»

Б. Г. Пантелеймонов, «князь-епископ обезьянский», завел себе клетчатый «синтетический», учитель музыки П. М. Костанов без зонтика, но неизменно в непромокабле защитного цвета, Тамара Ивановна, входя и выходя от нас, благоразумно прикрывалась «Пари-Суаром». А я, выпуская, всегда держал наготове «подержанный» раскрытый. Много забытых зонтиков сохранял я в «плякаре» (в стенном шкапу) и только нынче осенью выбросил: все-то до одного просетились, и не дождь из них – а сколько над ними пролилось дождя парижского зимнего хмурью и весеннего весело – пензенская пыль летит!

А меня собаки не трогали, меня собаки сторожили, как ближайшего соседа их хозяина: бывало, ночью, за полночь, так и знаю, часа в три стук в стену – хвостом или лапой: «спать пора!» Так по собакам и ложился. А у дверей столкнемся, поздороваемся, (я с ними говорил по-русски) и не скажу, чтобы посторониться, на это они не очень, и я всегда смотрю на хвост – у зверя хвост знак восклицательный, и не раз мягким взмахом хвоста они срывали с меня мой тесный берет

Как-то поутру вышел доктор с собаками прогуляться – и больше не вернулся. На другой день вижу, у крыльца подвода – от соседей вещи выносят, хотел спросить о собаках, да постеснялся: если бы еще по-русски .. Куда исчез доктор, догадываюсь, но справиться нет никакой возможности.

Я только спрашиваю себя, неужто это правда, и кто-то сурьезно верит, что от исчезновения доктора станет счастливее человечество? А может быть, когда-нибудь и встретимся... И еще я спрашиваю себя, стала счастливее Испания после 1609-го года, когда совершилось беспримерное в истории· не пришельцев, а с насиженной земли выгнали всех мусульман-мавров? Человек не может помириться со своей долей, хочет, ищет счастья .. И вот стали поперек дороги мавры И не осталось на полуострове ни одного мавра, а счастье? И я отвечаю а счастья нет и нет.

И наступила в доме свобода· ни Евреинову, ни Лоллию нечего бояться – путь чист А мне без собак скучно: уж никто по ночам не хвостнет в стену. И стал я засиживаться до рассвета. И долго не мог сообразить, почему днем мне так спать хочется.

Долго стояла квартира пустая, про нее говорилось: «там, где собаки жили». И только что стал я отвыкать от хвостов и вовремя ложусь по соседским часам – бой очень прият-

ный, ничего общего с хрипо-урчащими часами Коробочки «Мертвых Душ» и сложнейшим часовым механизмом барона Брамбеуса (О. И. Сенковского), сто лет назад подымавшим ни свет, ни заря сиреневым ревом («сирена» в русском произношении. «сирень») Стеклянный переулок в Петербурге...

На место доктора и собак поселилась необычайно оживленная дама, одинокая, и только при ней телефон. Она и в собственную квартиру не входила, как входишь, а влетала, как и по лестнице, не подымалась, а взлетала, летучая, не в смысле мази, не человек, а птица с телефоном. И что у нее внутри было, боюсь сказать, только с утра и до вечера телефоны.

Месяца два привыкал я к новой музыке – телефон, не хвост, ко мне никаким концом и приспособить его к порядку жизни я не знал ходов. большая от него была докука. И вдруг все кончилось Несколько дней еще слышу, как безнадежно звонят, а ответ не слышу, а вскоре пришли с телефонной станции, это я знаю, потому что всегда путаю дверь, и сняли птичий телефон.

Куда улетела птица, не знаю.

Консьержка у нас уж не та, не «Сестра-убийца», муж которой консьержки служил надзирателем в Сантэ, живновод и строитель клеток, наша новая консьержка – хохотунья, может чинить электрические лампы, может поставить «банки», итальянка Роза. Едрило, встречаясь на лестнице, здоровается с ней не за руку, а за грудь.

Я о соседке спросил Розу.

Она озирнулась – кроме нас никого? Никого. Она сжала губы и, покачав головой, высунула язык и тотчас пальцами назад его впихнула в свой красно-смородинный рот, беззвучно что-то шепча по-итальянски.

Слов я не понял, но я догадался, я только не мог догадаться: в чью пользу?

С Розой все было можно и все, что угодно, можно «рискнуть», как с Клеопатрой Семеновной в «Скверном анекдоте» Достоевского, так и рисковали в нашем гараже в медовые недели оккупации, уча, под взвизгивающий смородинный хохот, держаться прямо на велосипеде, и за одно уча русскому языку – из страха на ночь переселялась она спать в гараж. В доме большой был беспорядок и запустение – наш знаменитый лестничный восьмиэтажный ковер вздохнул свободно. жесткая щетка больше не беспокоила его. Но в этом беспорядке все сходило легко; ведь очень важно:

живой и приветливый человек, – а все остальное, ей-Богу, ерунда. Муж ее работал на заводе под Парижем, в доме появлялся через субботу, и тоже ладный, а тихий и молчаливый, ну, Пселдонимов, только в римском обличье. От Розы я дознался и о собаках: собаки – полицейские – волки, жена доктора – француженка или, как она выразилась на русский лад· «иностранка», а доктор – еврей.

Теперь опять соседи, ничего общего с венгерцами и никак не похожи на доктора или, вернее, на докторских собак, и никакого взлета телефонной птицы, затихшие, приплюснутые, невесомые, как тень, и очень жалкие, муж и жена, – без телефона, без собак, без TSF, не поссорятся, не засмеются. И никогда никаких гостей, муж с вечера подымается к знакомым на 6-ой и там, я не знаю, что он там делает, ровно в полчаса двенадцатого он стучит к себе: вернулся. А жена, дожидаясь, вздремнет, а может, из экономии электричества, сумерничает, мечтая – о чем? Так всякий день. А ведь оба молодые. Не могу представить И, должно быть, у них очень скучно.

Мышка терпела-терпела и говорит себе: «здесь от скуки помрешь, чего я?» Мышь еще не знает, она только чует, как за стеной, у нас – наш дом печали, а по вечерам все-таки на кухне пение, и среди скорбей и боли вдруг беззаботный смех; всякий вечер я вслух читаю и что-нибудь рассказывается – человеческий живой голос. И решила мышка перебраться к нам от Ариелей.

*

Я слышал, как днем и ночью мышь грызет стену в коридоре под вешалкой у ящиков с газетами. Чудно было слышать, что так открыто и без всякой предосторожности, среди бела-дня ломится в дом. И прогрызла. Конечно, наша стена .. а все-таки, стена. стало быть, большое было желание и твердое намерение. И вышла.

И совсем это не мышь, а вроде паука, крохотная, серенькая, еще мышонок. Вышла из подстенной норки да шарасть в холодющую кухню.

В прежние-то годы разве можно было отзываться так – «холодющая» – и о самой бедной «теплой» кухне! – да и есть-то «абсолютно» нечего, приходится выразиться математически, простого, обиходного слова недостаточно.

Думала-думала мышка и надумала: решила мне помогать в моих кухонных делах – мне будет польза и ей коечто перепадет; так всегда бывает и не с мышами и не в одних кухонных делах, а называется содружество.

Я всегда вымою тарелку, но никогда не вытру. А стал я замечать, что наутро все сухо и гладко, ровно б через пар прошло. В чем дело? Долго я думал и, наконец, додумался: мышка! – она язычком недомытое слижет, а потом хвостиком по тарелке пройдется и подчистит, вот почему, как через пар прошло. Я Слизухой ее и стал кликать.

Мышке понравилось. Вижу, нисколько меня не боится, покличешь – я очень плохо вижу – так совсем подойдет близко, рукой взять. И у меня такое чувство: если бы я захотел, она вспрыгнула бы ко мне на колени.

Чем-то, не знаю, я ее очаровал: или в имени «слизуха» таились мышиные чары или в моем голосе, как в первый раз прозвучало это имя, или от ее желания, освободясь от скучных соседей, жить под моим слепым «подстриженным» глазом или наши общие тарелки – содружество?

Однажды Иван Павлыч, когда очарованная мышка притаилась у моих ног, просто взял и сгреб ее в кулак, – и держит, как орешек.

А известно, руками мышей кто ж ловит, и только одному коту враз: сшаркнет лапкой и готово, не выскочишь. Иван Павлыч, человек ученый, книжный и письменный, но таких ловильных замашек природой ему не дано, стало быть, все дело в мышке.

– Времена шатки – береги шапки! – сказал Иван Павлыч и разжал кулак с мышкой, – не правда ли?

Мышка встряхнулась, как птица, я думал, запрячется в «ордюр», нет, вон она – и лапочкой себе что-то делает мелко-мелко.

Мышка ко мне привязалась. Я вижу и чувствую, как она на меня смотрит. Да некогда мне с ней разговаривать.

Но бывает, среди ночи я выхожу на кухню, присяду к столу, курю мою горькую полынь с одной отупелой пропащей мыслью. Мышка спит за ящиками в коридоре в своей норке, но на мои осторожные шаги непременно проснется и незаметно, как тень, она уже тут, на кухне. Я ее вдруг вижу: не отрываясь, она смотрит.

«Мышка, говорю, что нам делать, как поправить?»

И вижу далеко вперед – и это далекое мучает безысходностью и своим непреклонным решением. И вдруг из мучительной сверлящей тьмы взблеснут глаза.

Я понимаю, глаза нечеловеческие, но что они хотят сказать мне о человеческой судьбе? Где-то что-то я уже чую, но не хочу, *я не хочу понимать*. И наперекор *я все понимаю* и ужасаюсь перед беспощадной правдой, я, бессильный повернуть и поправить, но сердце – мое человеческое сердце не отпускает и только сказать не может, не говорит, как и эта мышка.

И пока я сижу на кухне, мышка не покинет меня.

Приходил от консьержки, я думал, водопроводчик.

«Я не водопроводчик, я крысомор!» – сказал он.

Я представляю себе крысомора совсем по-другому, впрочем, какая разница: прочищать трубы или морить мышей? Ломтики черствого хлеба и по ним размазан, как повидло, «до-военный» яд. Эти оловянные ломтики «водопроводчик» разложил по чувствительным, необходимым местам: на «Последние Новости», на мое вязаное брусничное одеяло и в коридоре около ящиков с газетами, у мышиной норки. Уходя, крысомор сказал, что зайдет через неделю, он уверен: яд «до-военный», и не останется в доме ни одной мыши.

Я поверил. И пожалел мышку.

«Не ешь, говорю, не ешь! – и пальцем ткнул в отравленный ломтик, – мало тебе тарелок!»

Мышка, как всегда, смотрела на меня, а не на отраву.

А сам я, когда мыл тарелки, не очень внимательно старался, думаю, побольше останется на мышкину долю.

И наутро первым делом прошелся по моровому полю – а мору-то нигде не вижу: все дочиста подобрали за ночь: и на «Последних Новостях» и на моей вязаной «бруснике» и у мышкиной норки в коридоре хоть бы завалящая крошка, чисто, как тарелка.

«Ну, думаю, пропала мышка! А ведь как остерегал, не послушала глупая мышка».

Но я не укорял ее, я о себе думал, о нашей общей доле: «для мышки повидло, а для меня что? – мне очень спать хочется, – а знаю, мышка не знает: сон для меня отрава».

И ни одной из них не слышно – или вправду, сгинули, как предсказывал крысомор-водопроводчик.

Вечером взялся я за тарелки и уронил полотенце – все-то у меня из рук валится – а без мышки теперь мне будет

работа[1] – нагнулся поднять и что же: около «ордюра» сидит себе мышка, как ни в чем не бывало, и мне показалось, смотрит с упреком: зачем я взял полотенце, отнял ее долю? Очень я тогда обрадовался мышке.

Ждем другого крысомора и без всякого яда. А того водопроводчика засмеяли с его «довоенным»: для проверки ел меховщиков кролик и которые еще остались в доме собаки – «нет, таких нам не надо!» Новый крысомор явится, только неизвестно когда, – его секрет для мышей, не яд, а дудочка; подудит он в свою волшебную дудочку и на плывучий клик ее – печальной дорогой потянутся мышиные струйчатые хвостики, все мыши до одной покинут дом.

Так было обещано консьержкой извести дудочкой в нашем доме мышей; консьержка теперь не Роза, Розу прогнали за «безобразие», а Костяная-нога с глазами василиска, дело сурьезное.

И стали ждать мышиную дудочку с нетерпением, как ждут исчихавшиеся, обмерзлые и продрогшие грузовик с углем.

Посудите сами: пятьдесят четыре квартиры и в них ютится, по крайне мере, две сотни мышей, а по весне их надо будет считать до двух тысяч. От «довоенного» яда и тут, конечно, не без повидлы, мыши вошли в раж: они безостановочно «размножались», как днем, так и ночью, не обращая внимания.

«Пустить кота, говорили, и ни одной мыши не останется: от одного духа мыши чумеют»! Легко сказать: кота. Кот получить по счету не ходит, не консьержка, ни в какой «тэрм» не явится, да и кормить надо, без говядины ни один кот не согласится.

И у каждого из нас в ожидании мышиной дудочки завелся в голове кот, и вертелся.

*

Под нами жил учитель из лицея, математик и большой музыкант. Редкий день я не получал от него писем.

«После десяти прошу, – выводил он мелкими алгебраическими буквами, – не ходить по комнате и вообще не передвигаться и водой не шуметь (он выражался очень тонко) и дверями не хлопать, ничего не перекладывать и не переставлять».

Себя он ставил в пример: вот он от восьми до десяти – два часа ежедневно упражняется на скрипке и, чтобы не

беспокоить соседей, переходит со скрипкой, в неслышных туфлях, из комнаты в комнату, пиля

Помню, я не сразу ответил, я не находчив, и только после десятка подобных писем пришли слова.

Со скрипкой путешествуя из комнаты в комнату, учитель оскрипил всю нашу квартиру, нельзя было и уголка найти без скрипки, и другой раз пойдешь в уборную и сядешь, не по нужде, а просто чтобы где-нибудь укрыться и передохнуть ушами – так и он и туда зайдет и там пиликает, слышу. И каждый раз на скрипку непременно отзовутся соседские собаки: одна воет толсто, другая воет тонко. За стеной собаки, под полом скрипка – от восьми до десяти – два часа ежедневно.

«Но живому человеку, – так ответил я учителю, – ваше требование сверхъестественно, потому что все живое непременно в ходу и в звуке».

Я советовал ему, единственный выход, поселиться где-нибудь на старом Пэр-Лашезе, там только и можно быть уверену, что ни водой, ни дверьми, ни... скрипкой, никто не зашумит и не хлопнет.

Послушался ли меня учитель или срок пришел, зиму пропиликав на своей скрипке, отдал он Богу свою математически-скрипучую душу.

После покойника долго квартира пустовала. По ночам я слышал, да верно, не я один, как кто-то тонко плачет – и я узнаю скрипку: *туда* со скрипкой не пускают, а тут, в покое, все выпиленные за вечер звуки, без помехи неискусной учительской руки, изливались тонко в плаче.

Совсем недавно, с первыми холодами, квартиру заняли: мать, двое детей и старуха нянька, бретонка. И ночная скрипка развеялась. Потому я и догадался, что новые жильцы. А скоро вернулись времена скрипичного учителя, только на живой скрипке пилила старуха-нянька: благозвучнее, не знаю.

Всякое утро, когда выхожу невыспавшийся, весь издерганный, и в полутьме тычусь по лестнице, меня неизменно на площадке перехватывает нянька. И каждый раз выговорит мне, что по ночам я топаю, и, для убедительности, представит, как я топаю: «топ-топ-топ!» – старуха это скажет толстым голосом, как в сказках детей пугают Крокмитэном или нашей Буробой.

Я выслушиваю молча: что могу ей ответить? – ночью я встаю и часто, а значит, топаю. И я ей показываю, как я

осторожно ступаю, топая: «топ-топ-топ»! – говорю, но не волчьим голосом, а по-козьему.

И все домовые беды и напасти валятся на меня. И когда засорились трубы и потекло у нас, а к ним стало проникать и капать с потолка, и когда замороженные лопнули трубы и воду в доме остановили, ходи за водой в соседний, все равно, нянька убеждена, что все от меня и без меня ничего б не стряслось.

– У вас и водопровод гудит, ровно сирена воет! – и для убедительности старуха делает трубкой свои птичьи палевые губы: – у-у-у... – представляет она сирену.

– У-у-у... – повторяю я за ней, но мои губы дергаются.

Я готов взять на свою совесть сирену, но осьмиэтажную просачивающуюся мочу я не согласен: одному человеку собрать такое количество на всю жизнь не хватит и никакой тряпкой не выжмешь... тоже и мороз не от меня: я так люблю тепло и никого б не заморозил, и, конечно, трубы.

Старуха не сразу, а что-то поняла: я вижу, она не так смотрит. Но она говорит не за себя: ее хозяйка очень недовольна мною и примет меры.

Но какие может она принять меры?

На мышей – мор, а вот не подействовал и до-военный мор; волшебная дудочка? – ждем мышиную дудочку с нетерпением, но против звучности нашего дома? и против мороза?

И я успокоился. Я совсем забыл, что есть Префектура: Префектура обязана принять меры, если и не против мороза, то против меня, замешанного во все беды дома с морозом и звучностью.

Пройдя через няньку, обвиноватый, я, готовый на все, начинаю трудный, упорный, насущный день.

Много ли человеку надо для его счастья или какое там счастье! – а чтобы только вынести черные дни скота?

Теперь свободный от всяких очередей – я один: мне ничего для себя не надо – ничего такого, чтобы непременно, могу всегда подождать, могу перетерпеть, – я даже не всякий день выхожу на волю, выйду – хорошо, не выйду, и то ладно – мои заботы кончились. И только теперь я понял, что мои заботы были тем, что держит человека, несмотря ни на что.

Забота: забота не о себе. Это всем понятно. И еще скажу: веселость духа. А это не всякому в толк.

И никогда не поймут, что такое веселость духа, та порода людей – эти окостенелые, эти сухари, эти скелеты, насупленные, безулыбные – все эти подлинно несчастные и обездоленные здесь, на земле, где цветут цветы, цветет и слово и цвет рассвечает улыбку человека. Они подозрительны, их это беспокоит, они все ведь всурьез. Вот кого мне жалко – как нищих, как обиженных зверей, как сломанную ветку, как затоптанную траву, как падающую с неба звезду. Я вижу эти холодные лица и на мою улыбку они отвечают мне презрением. Я узнаю их и в книгах – в этой сухой безжизненной литературе, где все ровно, все в шаг, «логично», ну, хоть бы раз кто-нибудь из них да поскользнулся! – окаменелое сердце и окостенелое слово. «Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры!» Эти слова из веков звучат мне, когда я смотрю на вас из моего затвора.

Забота не о себе и веселость духа и еще есть, чем жив человек на земле: очарование. Без очарования – только труд и печаль.

А чаровать может не только живое, а и вещи, и совсем не бьющие в глаза – если хотите, простая бумага, те же «тикетки» продовольственных карточек: они дают право на еду, ограниченно, не до насыщения, и всегда приходится напихиваться чем-то «подозрительным» – бестикеточным, разрешенным к вольной продаже, но и эта только видимость – студень с мышиными хвостиками – но тоже притягивающая к себе, чарующая.

Булочница «Тоненькая шейка», отрывая хлебные тикетки, я заметил, с каким наслаждением она это делает, и заскучала б, если бы вдруг отменили, и ей оставалось бы только нарезать и подать хлеб «из моих собственных рук», как когда-то, улыбнувшись, она говорила. За эти годы она втянулась в тикетки и эти мелочи не только не стали ей в тягость, а как игра, заняли ее. Скажу больше, она под их чарами расцвела.

А усатая, всегда вся в белом (для оттенка?) молочница, она нарезала картонные квадратики для сдачи: су и десять, – тысячу квадратиков, и без задержки раздает при размене, но как! – в этих квадратиках вся ее душа. И за эти годы ее черные усы зачернились, как два мазка углем.

Мадам Морван, про нее слава – замечательный голос, да и с виду она, скажешь, певица, а между тем, всегда шепотком, и каждый из нас, покупателей, шепчет. Перед ее теснющей, заставленной зеленью, лавкой хвост, не час,

а день стой, не доберешься, становись завтра. Обыкновенно в тисках продавец и на пустяки огрызается, а приветливость мадам Морван достигла до – поцелуев. «Тикетки» обрывались как-то «механически», без усердия Тоненькой шейки, а часто и без всяких, только напоказ и никаких картонных квадратиков для сдачи – отрада усатой молочницы, – в чем дело, где искать чары? «Через задний проход», как выразился один здешний ученый, живший в молодости в Москве, щегольнув по-русски, – через этот «задний проход» все можно. Так вот куда чары затискались – неисповедимо!

Кто-то донес – всегда найдется такой, вот уж подлинно без всякой веселости духа, только «долг» и «справедливость» или из зависти – «почему не мне, а тебе?» – и певицу на два месяца прихлопнули. И всех нас, прикрепленных к Морван, перевели через улицу к Ришару. Я заметил тощего, неопределенно обиженного – это сам хозяин Ришар, он жался в тесных дверях для порядку очереди. А за каких-то два летних теплых месяца, на моих глазах, его так разнесло, нечего было и пытаться через него проникнуть в лавку, – так он около дверей скамеечку себе поставил для удобства. одних он пропускал, а других задерживал, знаками открывая все тот же чарующий «задний проход».

А бюралист... одно время его не узнать было: позарился он на очарование минуты выдачи по карточкам папирос. И у него, как и у нас, тянущихся за папиросами, дрожали руки, а дня через два, выкурив свою долю, он уж не мог разговаривать, – сводило рот, а глаза без никотина смотрели врозь, жалобно и с укором. А вот он и опять, как когда-то, прежний Турнон, спокойный, глухой и распорядительный, его можно увидеть за кассой всегда с длинным неугасимым мундштуком, он курит до выдачи и после выдачи, круглый месяц, он променял острое короткое очарование на длительное, он догадался: табаку на всех хватит, только цена дороже. Да ведь и у нас что-то незаметно, чтобы дрожали руки, мы тоже не дураки и нам не до «утонченностей».

А вот итальянец захирел – а какой был итальянец, какие окорока, колбасы, заливная рыба и еще выносилось из задней комнаты всякой горячей и холодной самодели и вынимались из ящиков сладкие жестяные коробки. А теперь у него только то, что на глазах: морковь, яблоки по карточкам, и вермишель, тоже под буквой. Итальянец стоит, скрестив руки, скучный – другие итальянцы как-то устроились,

что-то очаровало их и они движутся и говорят, они живут, а наш – все молчком. И только перед Рождеством, когда из глухих, как стена, шкапов он вытаскивал Асти, мне показалось, произошла перемена: блестящей бутылкой сияло лицо – и я узнал прежнего довоенного итальянца.

Тоже и Пузырь, у нее я покупал газеты, она под моим глазом прожила эти скотские годы: удивительно, она с каждым днем расцветала. И я долго не могу понять; она сама мне открыла: она выходит замуж. «Пузырь женится!» Вот они, чары любви! Любовь согревала ее, и в самые лютые морозы, без отопления, ей было тепло, любовь ее красила. И вот, «Пузырь женился», ждать ей больше нечего, чары погасли – началась семейная жизнь и от Пузыря осталась одна пленка.

Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие

Но это не «стекольный мастер» Б. Г. Пантелеймонов, остеклив своим органическим стеклом неувядаемую розу, это и не П. П. Сувчинский, «дописав конца» в своей истории русской музыки, это не Шаляпин, смолоду певавший все песни и самые запетые, звучавшие в его голосе, как в первый раз, а это Утенок, наевшийся оливков, Утенок, дрожа всем своим маленьким телом, поет о черноочьи у нас, на холодющей кухне.

И раньше я совался на кухню, но по душе я никак не повар: к еде я равнодушен и гоголевский, и Квитки, и чеховский сычуг меня мутит, – то же самое чувство к описаниям охоты и к азартной и к расчетливой и даже к детской игре в «короли». Игроком я никогда не был, никогда не охотился, пропускаю в рассказах охотничьи страницы, а как-то повелось еще с революции в России, кухня всегда под моим глазом. А последние годы – мое единственное пристанище: кухня.

В кухню из «кукушкиной» комнаты, покинув свой стол, я перенес кое-какие рукописи: у меня долго еще была надежда, буду писать. Сны удавалось записывать, и рисую, но от холода и забот сны прекратились. Рукописи лежат в уголку на кухонном столе отсырелые и замасленные: они не глядели на меня с укором, глядели бедно, в себе затаив свой пропад.

Как накормлю Серафиму Павловну, – я ей все подам в ее комнату, боюсь пускать в ледник, на нашу кухню, –

начинаю уборку. Мою и чищу посуду. Я и холодной наловчился: руки у меня притерпелись; не боюсь и горячего: научился, не чужими, своими руками жар загребать, картошку прямо из кипятка чищу без ножа и яйцо вынуть, не обожгусь, только яиц не добыть.

Первая выходит из своей норки мышка, она открывает вечер. За мышкой Листин. За Листиным Утенок.

Утенок забегает и среди дня, когда ей вздумается: наша дверь никогда не закрыта, а ей недалеко – она ютится на 5-м, у Половчанки в комнате, где жила, «снедаемая тоской», Анна Безумная.

Мышка и две Ольги, и Листина и Утенка зовут Ольгой, без них и вечер не вечереет.

Листин – из моей «Посолони», имя с русской земли, осенний, весь золотой, идет, шурша листьями, и золотом листит дороги, «слепышка». Листин – она видит чуть получше меня или почти ничего. А появилась она у нас в доме не просто: про Серафиму Павловну она ничего не знала, а про меня – да вот подходит к полвеку, как при моем имени повторяют неизменно: «пишет о чертях», – она вошла в «кукушкину» комнату с тайной мыслью встретить Лифаря. Лифарь ее «кумир и повелитель» – «навеки любимый» или которого она «любит до смерти» и верна до «мозга костей»; у нее и голос меняется при имени «Лифарь» – о Лифаре она говорит в нос, с твердым знаком.

Но странное дело, Лифарь с появлением у нас Листина покинул наш дом, как когда-то крысы ушли с нашего двора, напуганные зверинцем и клетками – работа мужа консьержки «Сестры-убийцы», надзирателя в Сантэ. Листин, она хорошо рисует зверей, но никаких клеток, в чем дело?

А ведь только чары Лифаря спасают Листина от отчаяния в ее бедовой жизни: она ждет среды – балета, чтобы еще и еще раз нарисовать его во «всех позах». Она и на кухню принесла свою папку с лифарями – тысяча рисунков, и еще рафию для брошек: за эти брошки она выручит только-только, чтобы заплатить за свою комнату без отопления и на билет в Опер*а*.

Если остался суп, она с подливом съест, как куриный, и все кусочки, корочки и крошки подберет: она всегда голодная.

Утенок питается оливками: ей совсем не по душе, но она говорит, что «питательно», а главное – самое дешевое и без «тикеток». Название «Утенок» пристало к ней не по ногам, не косолапая, идет без перевалки, скорее семенит, но что-

то в лице, ее нос – утенок! И другого «утенка» не найти в Париже; она выросла в Москве, в Лялином переулке и этим все объясняется. Ей тоже не очень живется и, безнадежно сжимая свои окоченелые детские руки, она не голосом, губами что-то выукивает, но мне понятно: ей ничего не остается, как только броситься .. она хочет сказать в Сену, а выговаривает: «в Москва-реку». Но она все-таки держится, как и все в мире, мечтой – неосуществимой и неосновательной: ее очаровывает беспредметная мечта, что что-то непременно произойдет и тогда ее оливковая жизнь переменится.

Когда я мою посуду, начинается пение: поет Утенок. Хороший голос, но оттого ли, что «давление» у нее никогда не выше десяти или потому, что она такая мерзлая и, как Листин, голодная – изголодавшаяся – у нее никогда ничего не кончается. Подтягивает Листин, но от Листина шурша помощь не велика! Утенок, уж оборвав, поет другую песню.

Листин рассказывает о Лифаре, это же самое потом я еще раз услышу· Листин будет рассказывать Серафиме Павловне. И все ее рассказы сводятся к одному, как она вчера видела Лифаря, но подступиться нет возможности: его брат Леонид, как стена.

Несчастный обмерзлый Утенок, затянувшись окурком, рассказывает чаще всего о каком-то мяснике, когда-то у него много покупала, а теперь не может, и как этот мясник к ней хорошо относится и разговаривает всегда ласково, – и Утенок представляет доброго мясника.

К сожалению, не могу передать его трогательной речи: Утенок выражается по-французски. И одно скажу: мясник, конечно, француз, но по построению его французских фраз он удивительно похож на русского.

Кроме мясника, Утенок представляет не менее доброго консьержа и предупредительного «ажана» (городового).

И мне всегда ее очень жалко, что сгинули хорошие времена, когда она широко покупала провизию, не считаясь и не рассчитывая, и еще оттого жалко, что вершина слова для нее недоступна: а как бы поучительно было для меня, если бы она представляла не мясника, не консьержа, не «ажана», а как говорит Андрэ Жид, Полян, Элюар, или просто заученное из Расина.

Рассказы пересказаны, песни перепеты, посуда вымыта, крошки подъедены, и все бумажки, и масляные и закоруз-

лые, тесно залегли в ордюре: отслужили! – и чайник кипит; еще подмести бы кухню, ну, да завтра утром.

На мышку я оставляю кухню: ей будет работа.

И с чайником все переходим в комнату к Серафиме Павловне. Там все-таки теплее: зажжен радиатор. Сейчас начнется вечернее чтение и произойдут всякие неожиданности, вызываемые нагревом.

Листин и Утенок рассаживаются на моем диванчике – двум сесть, где так все и навалено, прибрать не успеваю, подушка и два одеяла – шерстяным брусничным ночью питается благообразная мышь, а сейчас спряталась. И Листину и Утенку есть о что прислониться и прикорнуть на немножечко.

Листин и сюда приносит папку с лифарями и свои брошки, а я подложу ей штопать чулки – все, ведь, едва держится, изрешетилось и в прорехах, а она и из рвани сделает вещь: необычайная способность распутывать и чинить.

Утенку я даю разбирать какую-нибудь коробку с пуговицами: чтобы белые к белым, а черные к черным, да всякие паутинки б выбрала, а попадется булавка или иголка – положить отдельно, а которые заржавели – в сторону, на-выброс.

Про Утенка говорили, будто пригревшись на моем диванчике, от «расположения» пустил лужицу. Это неверно, Утенок ничего не пускал, это я, ставя чайник на радиатор, сослепу пролил и как раз к ногам Утенка. А чтобы оправдаться, про «лужицу» и сочинил. И что было удивительно, сам Утенок сначала отмахивался, а потом стал сомневаться, а потом – поверил: действительно, нечаянно пустил.

Чай пьем, с чем удается и не разбирая, только б не пустой· коробок у нас вся полка завалена в «плякаре» – я все делаю, чтобы достать: потом, ведь, и скоро, ничего не надо будет – я это чую, слышу и снится в мои редкие жгучие сны.

А чай самый разнообразный: и «оранжевый», пахнет апельсином, и из яблочной кожуры, напоминает русскую осень, и редко – настоящий. Я уж и с мышкой разговаривал: «денег... где бы достать денег!» – но мышка, и что она может? и только внимательно бисеринками играет.

А чаем напою и – слушайте!

Каждый вечер книга: я читаю и из истории, и Достоевского, и Толстого, и стихи – Фета, Некрасова, Тютчева.

Стихи читает и Серафима Павловна: Пушкин и Блок, это ее, она читает без книги.

На чтение заглядывает нижняя соседка Анна Николаевна, а когда-то высиживала вечер до «третьих петухов», Блаженная, ее называли Кошатницей – шестьдесят покинутых котов кормила под виадуком на Микель-Анж, заходит с пятого Половчанка, теперь реже, ее отпугнула Кошатница своим безумным хохотом на смешное и совсем не смешное, и неожиданными озадачивающими вопросами, прерывая чтение. По субботам неизменно приходит Иван Павлыч.

Иван Павлыч, подтянувшись, у него всегда спускаются, втискивается на тот же диванчик – двум сесть, к Утенку и к Листину, с краю, облокотясь на валик. А Анна Николаевна умещается на судне, всегда прикрываю, локтем к Ивану Павлычу.

А я у стола под лампой, радиатор меня отделяет от диванчика, я близко к Серафиме Павловне, она сидит на кровати, и ей и мне всех видно.

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?

И памятью я прохожу все наши вечера, мне болью звучат стихи Аполлона Григорьева: в них его горечь – чего нельзя вернуть! и в этой цыганской горечи мое «не вернешь!» Все оживает – и ясно и видно – я вижу.

Вчера «Кроткую» Достоевского, а сегодня хочу совсем из другого. Иван Павлыч любит историческое, да и всем будет любопытно: «История бисера». Вся стена в комнате Серафимы Павловны в бисерных картинках. стена будет живым наглядным примером.

И я начал Дударева «Бисер в старинном рукоделии». И с первых же строк вижу: ску-чища! И голосом пошел наводить краску. Это известно, и самую бездарную пьесу можно разыграть живо. И вдруг почувствовал. слышу свой голос в необыкновенной тишине и какой-то ласковый шепот, – и невольно остановился.

Спала Серафима Павловна. Спал Листин, носом в мое брусничное одеяло. Спал Утенок, уткнувшись, как дети, в теплое место Листина. Спал Иван Павлыч, ни в кого не

утыкаясь, он застыл в недоуменном остервенении, руки на коленях, и пускал носом вроде звучащего мыльного пузыря – пузырь, опадая, трыкал, как разлетающиеся кошачьи искры Спала Анна Николавна, почему-то взявшись обеими руками за голову – или из предосторожности, не уронить бы.

Я тихонько, с чайником для подогрева, вышел на кухню. Мышка оканчивала хвостиком тарелки – тарелки блестели. Я не стал беспокоить разговором мышку, молча выкурил свою горькую полыновую папиросу и с кипятком вернулся.

Все то же мерное дыхание спящих: как очарованные, без перемены – и все то же блаженство покоя, искрой прерываемое носовыми лопающимися пузырями Ивана Павлыча, и мне послышалось, еще какой-то странный звук – игрушечный. Такие в игрушках свистульки, все равно, какой зверь: лиса, собачка, медведь или корова – потянешь за хвост или надави брюшко, и оно пискнет. Этот игрушечный звук выскакивал откуда-то изнутри у спящего Утенка.

Когда она была маленькая, воображаю, – и в Ляпином-то единственная, не спутаешь! – ее брат проглотил булавку, а она свистульку от свинки. Булавка где-то удобно засела и не обнаружилась, а свистулька – ведь это деревяшка с сафьяном, конечно, может перевариться, но в какой срок! – и ждали «обретения», касторкой Утенка мучили, но ничего похожего не показывалось. Где-то в каком-то кишечном или желудочном закоулке в безопасном месте свистулька пригрелась и осталась жить в Утенке. И когда Утенок наестся оливок, эти оливки, проходя в ней, на каком-то пути надавят, свистулька и откликается.

Оттого ли, что неловко я поставил чайник на радиатор, или по каким-то своим соображениям очнулся Иван Павлыч.

– Пахнет газом! – сказал он с ожесточением, как говорят: «пошел вон».

Я испугался и хотел было вернуться на кухню проверить: со мной бывали случаи, забывал закрыть газ. Но Иван Павлыч зверски повторил, обращаясь носом к проснувшейся Анне Николаевне.

– Это у вас, – сказала она, и почему-то сконфузилась.

А ведь, действительно, Иван Павлыч, его грех: Утенок и Листин сейчас же обнюхали его.

– Конечно, от вас! – обидчиво сказала Анна Николаевна.

Иван Павлыч запустил руку себе в левый карман, вытащил из штанов зажигалку: зажигалка текла. И напрасно было кого-нибудь винить, хотя правду сказать, со спящего нельзя и требовать.

Я, было, сказал себе, закрывая «Бисер»: «не мечите, да не попрут его ногами» и спохватился, ведь так и про себя я должен сказать: мне было очень скучно. И подумал: и то чудеса, что есть еще охота что-то послушать, когда тепешний разговор – одна песня: алерт и тикетки.

Возьму Вельтмана «Сердце и думка» (1838), бисер, только поярче.

«Встрепет» – так перевожу я «sensibilité nouvelle» – краса искусств, это как распахнувшиеся окна: вода, земля и весенний вей.

Из современников для меня: Пикассо и Стравинский; из прошлого: Шекспир, Достоевский, Толстой, Пушкин, Гоголь, Марлинский, Бодлэр, Фет, Нерваль; а последнее время вздергивает Пришвин, он мне как весть из России, я живу русской речью, слово и земля для меня неразлучны. Пришвин открыл мне о большом сердце зверей, о теплоте чувств «дикой» природы, о «разговоре» деревьев – они ароматом, не звуком, и о самой маленькой птичке, ее зовут «Птич*и*к»; на вершинном пальце самой высокой ели славит Птичик зарю, по клюву видно – поет, но песню его никто не слышит, и его никто не славит.

«Встрепет!» – какое это счастье, и как редко выпадают на долю такие встречи.

У Вельтмана любопытны *запевы*. Его «Саломея», в ней сходятся по теме Достоевский, Лесков и Крестовский, начинается сказом-прибауткой: «Жили-были мать и дочка. Точка». Через пять страниц он вернется к запеву и расскажет о «дочке», а до тех пор речь про «него». «Сердце и думка» начинается неожиданно с «между тем»: «между тем, как Сердце, выпущенное на волю, металось из дома в дом, из угла в угол, из недра в недро, и не находило себе надежного приюта – в заднепровском городке происходили своего рода важные события».

У Вельтмана нету «общих мест», у него свой глаз и по глазу слово: находки, – а это непременно останется в памяти. Как в рассказе гр. Соллогуба о Лермонтове: «Боль-

шой свет» – «рассказ в двух танцах» – «танцах!» – это находка. Или как окончание повести Н. Ф. Павлова «Именины» (1835). При последних строчках дневника перо махнуло с сердцем и забрызгало строчки: «Я подсмотрел однажды, как... плакала украдкой... мне... тесно с ним под одним солнцем... мы встретились... оба вместе упали. Он не встал, я хромаю».

Вельтман для духов бури взял звуковые названия, на имена мы очень бедны: Пррр, Тшшшш, Ффффф, Ууууу, Ссссс, Ммм.

И есть заклинание: чарует ведьма Врасанка – нос синий большой, как воловья почка, а рот, как у акулы:

Я ее, голубушку, истомлю тоской,
истает она, увянет она,
клещами ухвачу ее голос,
по слезинке оберу ясные очи,
по листику оберу пылкий румянец,
по искорке оберу пламень сердца,
по волоску выщиплю длинную косу –
все ее богатство будет моим!

Когда я кончил повесть Вельтмана, всем понравилось, и разговор пошел о всяких заклинаниях и чарах.

Иван Павлыч только забыл, из чего самый приворот сделать, в каком кушанье; хорошо помнит: надо выварить в маковом молоке и приправить кошачьею кровью.

– И это так крепко, – сказал он, подтянувшись, – вынесет по всем всюдам, и у того человека в глазах засемерит и застрянет одною мыслью в мыслях.

Утенок начал было, как у них, в Лялином переулке, околдовали кухарку камнем.

– Каким камнем? – перебил Иван Павлыч, – камни бывают всякие, и черепок камень.

Утенок только виновато облизнулся: оливки давали себя знать. С Иваном Павлычем все равно не сговоришь, да она и не помнит, через какой камень околдовали Грушу.

– А вот тоже кур щупают, – думая о чем-то своем, заметила Анна Николавна.

И разговор перешел к яйцам и мылу: ни яиц, ни мыла достать нельзя.

– Надо умываться песком, – сказал Иван Павлыч, – так только и можно сохранить свое тело в первобытной чистоте.

Все принимали участие в разговоре и только Листин молчал. А ведь Листин больше всех и нуждается в колдовстве: на сердце Лифарь – этот блестящий вихревой завертень, без чар, как его ухватишь!

Великие люди всегда окружены стеной. Стена – это их дело или излучение их дела. Так было с Толстым и с Иоанном Кронштадтским И всегда находится кто-то, по вере или корыстно сторожит их Про Иоанна Кронштадтского у Лескова в «Полунощниках». О Толстом я помню из разговоров, какие надо было пути пройти, какие двери, чтобы проникнуть к Толстому. А ведь думалось не так и кто не думал: пойду к Толстому да захвачу еще с собой Бахрака. Шестов рассказывал, как гимназистами они решили идти к Толстому просить рассказ для их ученического журнала: в самом деле, что стоит Толстому написать рассказ! И пошли целой оравой. вот и дом, а дверей-то не могут найти, они было в калитку, а калитка на замке – стена

То же и Лифарь. И это не Москва, а Париж. И известность его действительно по всем всюдам. И у Лифаря стена. А привратник его брат Леонид. Если откажет Леонид, к Лифарю уже никак.

У Листина в папке тысяча лифарей, ей хочется показать Лифарю, услышать его слово, а Леонид не пропускает. Она дежурила под дверями отеля и часы претерпевала в приемной, – и все без толку: Леонид сказал, нет – и крышка.

«Так когда же можно видеть Сергея Михайловича?» – потеряв всякое терпение, воскликнул Листин от перемучившегося сердца, не в нос уж, как обычно, а отчаянно-тонко, несчастный Листин.

«По большим праздникам!» – огрызнулся Леонид и бормочет: «если все художники, да еще и такие – любители повадятся ходить со своими картинками показывать Лифарю, у Лифаря не станет времени не только на обед, а не успеет и по надобности, а терпеть вредно для здоровья». Леонид большой философ.

Все это у Листина горько сложено на сердце и запечатано. И никакой лазейки. Вот почему она и молчит. Но ее тайна для нас не скрыта.

– Позвольте, – сказал Иван Павлыч, – надо найти колдовство на Леонида, и тогда Лифарь будет ваш.

Листин с радостью схватился за Ивана Павлыча с его кошачьей кровью.

– У Юлии Васильевны есть кот (Юлия Васильевна соседка по ее чердачной комнате). Но из чего сварить зелье?

– Из пшена с песком, птичье кушанье, – посоветовал Утенок.

– Какой песок? – оборвал Иван Павлыч, – пески разные: есть речной песок желтый, а там, где глина, называется красный.

И схватившись за «песок», снова повторил, что надо умываться не мылом, а песком, чтобы сохранить первобытную чистоту тела.

Утенок попробовал было возразить:

– А если первобытной не осталось, как же без мыла?

– Мыло по тикеткам, да и того нет, – сказала Анна Николавна, – и как же это кошачьей кашей накормить человека, не лучше ли испечь блинчиков?

– Не надо никакого песку, никакой каши, есть верное средство овладеть и самым каменным сердцем, а Леонид никакой камень!

Я вспомнил, что Серафима Павловна от Берестовецких ведьм столько знает всяких заклинаний и приворотов, и, конечно, все помнит.

(Это теперь я понял: память у Серафимы Павловны была в сиянии ее глаз – «живая вода».)

Уже все поднялись уходить.

– А что вы говорили про воздыхания? – прощаясь, вспомнила Анна Николавна.

Я сразу не понял. Но повторяя себе «воздыхания», вдруг сообразил: это когда я читал «Кроткую», я помянул о «высоком дыхании» у Достоевского.

– Высокое дыхание, – сказал я Анне Николавне, – есть у Лескова в «Соборянах» и в рассказе «Владычный суд», а у Достоевского в «Униженных и оскорбленных» и в «Вечном муже».

И я прочитал из «Вечного мужа» без передышки:

«И навсегда потом остался ему памятен, мерещился наяву и снился во сне этот-измученный-взгляд-замученного-ребенка-в-безумном-страхе--и-с-последней-надеждой-смотревшей-на-него».

И когда мы остались одни, я сказал:

– Надо придумать что-то для Листина: заговор, что ли, в шутку, пускай себе твердит. Так, ведь, как она сейчас, можно впасть и в отчаяние.

Когда я кутал в одеяле, чтобы теплее было, и подтыкивал, чтобы никакой щелочки, Серафима Павловна сказала:

– Не надо обижать Утенка.

– Да кто ж его обижает?

– Утенок несчастный, одинокий, никто о нем не позаботится.

– А Иван Павлыч!

Но заметив, что Серафима Павловна смотрит удивленно, поправился:

– Иван Павлыч на всех сковычет, а Утенок... то он про Грушины камни, то про песок, начал было читать свои стихи и с полслова остановился, и все у него так.

А закутав в последнее одеяло «на сон грядущий», я присел на кровать – отдохнуть.

– А Наяду я понемногу спаиваю, – говорю языком, а все мысли в дремле.

Серафима Павловна никак не отозвалась.

– Заходил африканский доктор, – продолжал я, – принес спирт, разбавил, мы выпили по две рюмки с перцем, Резников дал толченого. Осталось на рюмку, я Наяде, и она с сахарином . ликер, говорит, вроде сидра.

Серафима Павловна, засыпая, улыбалась. Она понимала мою колыбельную, она понимает, что от африканского доктора, конечно, для Наяды ничего не могло остаться, какая там рюмка! а Наяда вовсе и не приходила.

– А Тамара Ивановна завтра придет? – вдруг спросила Серафима Павловна и тихо заснула.

Если бы... если бы такой сон был всю ночь, ну, хоть полночи... хоть два часа или хоть полный час!

Я погасил свет и тихонько вышел на наш ледник – в кухню к мышке. Приберу немного, покурю, да на свой диванчик: через час мне подыматься.

Мышка вышла из норки, она спать собиралась и, ковыляя, шла ко мне, точно юбку поправляла. А там уж другая, слышу, работает над моим одеялом.

*

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли.
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?

Все, как всегда, радиатор на тысячу, да и многодыхание – согрелось, и только от окна несет.

А что творится на воле! – и снег, и ветер, и беспросветная тьма.

Иван Павлыч орел, по Утенку, царственное зрение, а вот и ему попало: вечером торопился из Булони и наскочил на бывшую будку, покинутый киоск: глаз-то еще ничего, только съежился, но над глазом и под глазом такие вот два фонаря – две тлеющие плошки.

Анна Николавна не пришла, Иван Павлыч с фонарями в этот вечер на судне, как на троне, а на его месте, локтем на валик, Ростик, а с другой стороны, Утенок, уткнувшийся в теплое место Листина, а Листин с папкой и брошками в мое брусничное одеяло. (А потом еще говорят, что блох много.)

Оказывается, у Железного, прозвище брата нашей Половчанки, тоже блохи, и собачьи-сидьни и скакуньи-прядуньи комнатные. У него на полу бобрик. Утенок, перекочевавший от Половчанки к Железному, называет этот бобрик «полубобрик», пусть.

– В полубобрике блохи положили яйца...

– Чьи яйца? – прерывает Иван Павлыч.

– Какие же яйца у блох, не куриные ж! – вызывающе говорит Утенок и, довольный, что поддел, облизнулся.

– Все сжечь, и бобрик и полубобрик, другого нет средства: яйца – это последнее дело.

Иван Павлыч поправил свои фонари, а они, как на смех, еще зловещее.

– А Овчине в ухо сонному блоха заскочила! – сказал Ростик.

– Надо на ночь уши закладывать ватой.

Иван Павлыч с судна смотрел особенно торжественно, а все его слова звучали нравоучительно.

История Овчины громкая, жить бы ему в нашем доме на Буало! Мне ее рассказывали и всякий раз с новыми подробностями· Чижов, Струве, Евреинов, сам Овчина и, наконец, Ростик.

Овчина ходил к доктору Серову показаться с ухом. Сергей Михеич не поверил: как это возможно блохе заскочить в ухо! Сделал промывание. И оказалось – глазам не поверил – в тазике на самом дне болтаются свежие блошиные яйца, штук тридцать, и ни одной блохи, а из правого уха – ни одного яйца и только дрыгают ножки.

«До чего, значит, живучи нервные центры!» – заключали ученые рассказчики, а Евреинов добавлял: «и динамичны».

Я вышел с Ростиком на кухню. Мне хотелось расспросить о его отце и чем занят? Модеста Людвиговича Гофмана я знал в возрасте Ростика, еще до моей первой книги «Посолонь», а уж и тогда написал он «Историю русской литературы» – здесь, в Париже, издана по-французски в «переработанном виде». А Ростик с тех пор, как ходить научился, не пропускал ни одного моего весеннего вечера – двадцать чтений, по крайней мере, и на всех вечерах я ему делал особенный «обезьяний» бантик – знак первого и самого главного распорядителя.

Когда мы, накурившись, – у Ростика настоящие папиросы «своей набивки» – вернулись к Серафиме Павловне, Листин бормотал, повторяя заговор, ей только что сказала Серафима Павловна.

Есть различие: «колдовать» и «волховать»; «колдунья» – черная, «волшебница» – светлая Серафима Павловна особенно говорила заклинания, по-своему – ее глаза были глазами волшебницы

Я знаю этот Берестовецкий приворот: читать на новолуние:

Мисяцю молодой,
На тебе крест золотой
Ты повсюду бываешь,
Все на свете видаешь
Милуются цари с царями,
Короли с королями,
Князья с князьями,
Ольга с Леонидом
Так бы и навеки
Целовались и миловались,
Как голубь с голубкой
Не втишались

Знать слова хорошо, но одними словами не обойдешься: их заклинательная сила без подтыка один бередящий обольщающий душу звук.

Серафима Павловна рассказывала, как еще гимназисткой, слыша однажды заговор, она Берестовецкой ведьме Бойчихе повторила слово-в-слово. Ведьма, взглянув «пугалищем» – остановившимися глазами в упор, сказала: «А мини нехай пусть хоть весь свит знает!»

И вот что я придумал· пусть Листин на новолуние шепчет (заговоры не читают, а вышептывают) – а Листин готов и всякий день и не только в указанное время, – прекрасно, но чтобы еще и какие-то магические проводники действовали и были в ее руках крепко.

Я предложил Листину: у меня много всего, есть камушки – «камень слышит», есть сучки – «деревья видят», есть рыбьи кости – «кость крепь». Надо бы, конечно, лягушечью «заднюю» косточку, а у меня только перья осьминога – я из них мои конструкции делал для «Икара» – пусть осьминог заменит лягушонка. И все эти кости, косточки, сучки, камушки и перья Листин, нашептывая заговор, подкладывает в карман Леониду, норовя хоть каким-нибудь местом, локтем, что ли, задеть его или ногой нечаянно.

Листин с радостью на все согласен: она уверовала в заговор и в мою кость-древо-каменную магию, а прикоснуться ей очень просто: да поправить ему фалду. Так и возьмет Леонида, и тогда перед ней откроется беспрепятственный ход к Лифарю, а вовсе не «по большим праздникам».

Все согласились следить за Леонидом, как на него будет действовать. А я принес из «кукушкиной» коробку с моей магией: выбирайте!

На чтение не осталось времени. Но все, расходясь, повторяли: «чтоб целовались и миловались, как голубь с голубкой не втишались, Ольга с Леонидом!»

Даже мне показалось, что и моя мышка что-то выпискивала.

– О чем ты поешь? – говорю, – и что так жалобно?

Мышка затихла.

Надоел я мышке вопросами, да и мне не понять ее. Теперь понимаю, мышка прощалась со мной: срок ей – первый весенний день.

*

Трудно кузнецу не обжечься, а рыбаку не обмочиться, – да и не легко приворожить человека – если он морду воротит.

Листин непрерывно днем и ночью шепчет приворот на Леонида, а по середам в Опер*а* на балете подкладывает ему в карман мое ворожующее сметие – кость, камень и дерево.

Леонид по-прежнему суров и непреклонен. И только одного не может понять, откуда у него в карманах набирается

всякая дрянь. Он не курит – будь он курильщик, другой раз обожженную спичку, не знай куда бросить, сунешь себе в карман, и, конечно, окурок – такую драгоценность. Он не грешит ни табаком, ни «горячим». Не африканский доктор, не я, всеми грехами грешный, а табачным и кофейным тяжко.

Африканский доктор, как принес спирт, без рецепта, «на мяте», я попробовал, весь рот и глотку обожгло и дух неприятный, лекарством, а ему ничего взял себя за нос двумя пальцами – и рюмку за рюмкой, все, что развел, до донышка кончил. А после и сам не знает, – вернулся, кажется, домой, а как снимать пальто, хотел вперед вынуть бутылку, запустил руку в карман, а в карманах навалено гуано – трудно себе представить, откуда, и такое несметное количество. С час опорожнялся, но главное, вычистить: гуано влипучее, железка не берет; пришлось отдать в чистку, тридцать франков взяли. (А на теперешний: три тысячи.)

А про себя скажу, ведь я всего, давясь, и выпил-то рюмку, – такой у меня есть перстик для согрева, и тоже, слава Богу, что не гуано· в один карман руку запустишь, в другой карман сунешься, – полны карманы чистой бумагой «для уборной», да какой! – теперь и за большие деньги грубую не купишь.

И все эти странности: и африканское гуано, и редчайшая бумага «для уборной» как-то все-таки объяснимы. Но как понять Леониду: рыбу он избегает и только очень редко – «по большим праздникам», а в карманах у него объеденные кости, и раз попала селедочная головка. (Не мое безобразие, а усердие Листина.)

Листин упорно продолжал, не теряя удобного случая, чаровать Леонида. Я был свидетель этой магии на выставке в Лувре, посвященной Романтическому балету, работа Ростика.

Листин плохо видит и оттого в движениях не очень свободна, ходит в разлет и гнется, но она ловко, точно в ящик письмо, опустила в карман Леониду очередную наговорную косточку и толкнула его локтем, будто нечаянно. Леонид, вижу, полез за платком, и как стал сморкаться, косточка его и уколола – а это будет покрепче и чувствительнее локтя! Внимательно осмотрел он платок и, оглянувшись, подбросил косточку в проходившего мимо аккомпаниатора и угодил ему на штаны.

С прилипшей косточкой аккомпаниатор сел за Шопена и к великому удивлению пальцы его запрыгали по клавишам

сами собой. Никогда еще не чувствовал он себя в таком ударе, да и Лифарь под «косточку» постарался.

И всеь зал настроился. Какая-то именитая балерина из первых рядов, беспокойно поворачивающая свою седую тяжелую, выпеченную из крупчатки, голову, не выдержала и стала подпевать.

И я подумал: «С чарами шутки плохи, попадешь стороной, и не хочу, запрыгаешь». И мне вспомнилось «Заколдованное место».

С колкой косточки все и начинается.

Леонид стал очень нервный и раздражительный. Из своих карманов он выбирал рыбьи выплевыши и всякие мелкие камушки и прутики, но уже не по-прежнему, а всякий раз, вываля себе на ладонь, внимательно посмотрит да еще подует и понюхает, а раз даже взял на зуб, да очень, видно, твердо и выплюнул. И все это добро с ладони себе в кулак, и с сердцем шваркнет.

Леонид все делает в «индустриальном порядке», а дел у него столько – ведь он при Лифаре и страж и нянька! – вывертывать себе карманы да разбираться во всякой дряни, нет, свободного времени у него нету. Карманная «ордюрная» работа очень его раздражала. И он подумывал, как бы ему избавиться от этой еще новой неволи.

Скоро стали замечать, что Леонид ходит – руки в карман, только как-то неестественно: понятно, в Опере тепло, даже жарко, рукам в карманах сидеть совсем не место, да и неудобно, да, наконец, и не хочется – рука бьет на свободу.

Это внешнее: предосторожность. А было и внутреннее: соблазн.

Как-то в ресторане Леонид поймал себя на окуске: кладет в карман, и нисколько не прячась; кусок его – не доел. Но тут пошли всякие мысли: не сам ли он себе подкладывает? Не его ли это рук дело – карманный ералаш и дребедень?

Вспомнил он сухановскую селедку, итальянские копчушки – рыбки такие с кишками, не чистя, едят, вроде шпротов, только теперь по-другому называются. Бумаги не полагается, нынче все – «бери в обе лапы», завертывать не во что. И селедка и копчушки в кармане у него и очутились, сам же положил.

И еще вспомнил, как без всякой надобности поднял с пола ореховую скорлупу и тоже в карман себе сунул. Не всякому

это понятно, но каждому из нас ясно, как луна: бросовых вещей в природе больше не существует, всякий обломок и огрызок – вещь. А тут само слово «ореховый» – «ореховая мебель», «орех» – самый прочный материал, то же что «черепаховый», нагнешься и подымешь.

«А лучше припредержаться!» – так решил он. Леонид благоразумный. Вот еще отчего он ходит всегда руки в карман.

Ростик слышал, как Леонид его отцу на голову жаловался. У «профессора», так величает Леонид Гофмана, тоже вроде каких-то мурашек завелось – «от переутомления»: который год трудится вместе с Мочульским над «Историей всемирной литературы» с предисловием Вейдле. А у Леонида мурашки от невыясненной причины и притом периодически.

– На новолуние, – жалобно сказал Леонид, – всякое новолуние.

Профессор советовал на новолуние принять полтаблетки веганина – дважды: вечером и утром. Но Леонид и веганин и кофеин пробовал, и не дважды, и в больших «лошадиных» дозах – не помогает.

А африканский доктор – Леонид и африканскому доктору на новолунную периодичность жаловался – нисколько не удивился.

– Симптом, – сказал африканский доктор, – небезызвестный, вопрос, – и он сделал конфузливые губы, – гинекологический: в определенные периоды явление ординарное.

Африканский доктор посоветовал Леониду новое средство: жабьи вытяжки, две пилюли утром и на сон две...

И так убедительно и настойчиво рассказывал о Bufox'е – голос у него по силе несоизмерим росту и производит еще большее впечатление неожиданностью – и Леонид поддался.

И вместо гофмановского веганина, не откладывая до новолуния, он достал Bufox и всю жабью коробку, не разгрызая, проглотил.

И в ту ночь ему приснилось зеленое, мокрой зеленью нестерпимо-яркое болото, и он в этом болоте в самой трясине по шейку трубит весенней жабой, а в глазах только глаза, пузырями навыкат – жабьи, и он трубит и трубит однозвучно, без передышки.

Хорошо, что разбудила сирена, а то легко было и задохнуться: очень испугался.

А испуг, как укол, это очень важно в чарах. Но тут ни Листин, ни мои камушки-сучки-и-косточки, а только счаст-

ливое совпадение. Когда-то Леонид терпел Листина и не без добродушья: пускай себе марает бумагу, только близко подпускать не годится. Но теперь, когда случалось в разговоре поминать Листина, Леонид, вообще человек кроткий, заливался краской, поднимал голос до крика.

А что, если приворот и вся моя магия при таком сопротивлении и отталкивании будут иметь обратное действие: человек не только не привяжется, а возненавидит лютой ненавистью? Я что-то читал, где такие чарования кончались даже убийством.

Но Листин верил.

И как сказать ей мои сомнения: ведь этот приворот с косточками – ее единственная надежда?

А в конце концов Листин оказался прав: ее вера и упорство взяли верх и все совершилось, как по писаному.

*

В новолуние у Леонида трещала голова от боли, но он все-таки пошел в Опер*а*. Промучившись весь спектакль, хотел было уходить и видит: Листин – Листин шел прямо на него со своей огромной папкой и астрономической трубой, конечно, проситься к Лифарю.

Черною пеленой застлало ему глаза, в исступлении боли он шарахнулся к пожарному крану, ему казалось, единственный выход и навсегда: пожарные! Уж схватился за ручку – только повернуть: сейчас по всему Парижу разнесется аларм: «Горит Опер*а*» – и вдруг вспомнил, как прошлой осенью в Брюсселе на представлении «Spectre de la Rose» пожарные выскочили к нему из-за кулис – «они ничего не могут», просят убрать Листина: по слепоте и рвению, Листин, толкаясь со своей папкой, карандашами и трубой, сбил с головы у пожарного каску: «еще случится пожар, мы не виноваты, уберите!»

Все еще держась за ручку, Леонид стоял в оцепенении: «Если уже сами пожарные!» – и у него пропала последняя надежда. И тут совершилось: охваченный смертельным отчаянием, залившим всю его душу, когда оставалось подойти к окну и с последним криком из последних: «помогите!!» – броситься вниз головой на мостовую, вдруг он почувствовал, что голова прошла.

И такая радость осенила его – у кого болит голова, те поймут! – и в первый раз он приветливо пропустил Листина к Лифарю в «ложу» (по нашему «в уборную»).

Листин был счастлив.

Никогда еще я не видел ее такой сияющей, как в тот вечер. Вернувшись из Опер*а*, она рассказала мне на кухне и потом Серафиме Павловне за чаем о чудесном превращении с Леонидом: как сам он, она уж и не просилась, сам пропустил ее к Сергею Михайловичу, а на прощанье – поцеловал руку

С этого чудесного вечера каждую среду после спектакля Леонид пропускал Листина к Лифарю. Но этим дело не кончилось.

Я всех расспрашивал о Леониде: что же такое происходит и откуда такая перемена? Ни в какой приворот, ни в мою магию я не верил – все это ведь только шутка.

Ростик рассказывал, что в новолуние особенно Леонид появляется в Опер*а* суровый, но руки уж не в карман – свободно держит.

Убедился ли Леонид, что бесполезно – и если уж на кого грешить, ну, конечно, на самого себя: сам себе подкладывает, или в карманах ничего не обнаруживается?

Ни косточек, ни камушков, ни сучков у меня больше нет – Листину подкладывать нечего, да и незачем; она и приворот-то вышептывает только по привычке, «автоматически».

– И что странно, – рассказывал Ростик, – при встрече с Листиным, Леонид рудеет и вдруг – непостижимо! – весь как расцветет. И без всякого гона Листин со своей папкой и астрономией – в «ложе» Лифаря.

Леонид стал замечать за собой необыкновенное явление: как только он увидит Листина, весь взбесится, но тотчас же голова проходит, и такое чувство, как будто никогда и не болела, в глазах светло и покойно.

И в Опер*а*, это все заметили, в антрактах не Листин, а Леонид ищет Листина. Я понимаю, единственное средство, это не жабьи африканские пилюли, не гофманский веганин, а только эта встреча с Листиным, с невыносимым, надоевшим ему Листиным, снимет всю его боль. И оживленный, приветливый, сам он ведет Листина к Лифарю показывать рисунки.

Представляете себе, как это смотрит Лифарь на рисунки, не разгримированный, с туманом танца в глазах, – а вот смотрит, Леонид их ему подсовывает.

Лифарь, ткнув пальцем в какого-то тысяча первого Лифаря, сказал Листину:

– Душка!

Слово ничего не значащее, захватанное, истертое, но это слово звучит в устах Лифаря – «единственного во вселенной»!

Сияя, как сама весна – весна идет, я только не говорю, я чувствую ее, – расскажет Листин, вернувшись из Опер*а*, вечером на кухне. И эта «душка» – венец ее победы – засияет царственно над ее бедным вязаным шлыком.

*

В тот день в нашем доме совершилось важное событие и останется памятным. Или не так? Ведь даже налет и весь ужас разрушения – и кто это помнит: 3 июня 1940-го, рю Буало? – беспамятство на все и вообще – верное средство от всякой боли, и самосохранение жизни.

В полдень, я не знаю, почему выбран был такой ясный день, давно обещанный крысомор с волшебной дудочкой и кожаной сумкой через плечо, наконец, появился.

Из уважения, должно быть, консьержка Костяная-нога, отводя в сторону свои белесые жуткие «василиски», вела его под руку, а консьерж нежно подпирал сзади обеими руками. Эти подробности, может быть, и вымышлены, но для придачи важности событию уместны. А за консьержем выступал случайно зашедший в наш мышиный дом и не без спирту – спасибо, что вспомнил! – африканский доктор.

Моей мышке Слизухе я со всей волей своей приказал оставаться в доме и дудочку ни под каким видом не слушать.

– В дудочке много обещаний, – сказал я мышке, – это и привлекает. А на деле будет другое. И это не принудительные работы, ученые еще мышей не «электрифицировали», их неугомонную грызную энергию ни в какие рабочие силки еще не уловили, а это будет – на свалку.

Мышка вышла из норки и притаилась под Утенком. Утенок забежал среди дня «поцеловать Серафиму Павловну и меня», и как всегда, говоря это, выразительно заглядывал на полку, где стоят у меня бутылки: Утенок очень промерз.

Плешивый крысомор с волшебной дудочкой, ведомый консьержкой, с консьержем сзади, и африканским доктором позади, остановился у последней ступеньки нашей ковровой с медными прутьями осьмиэтажной лестницы.

Все двери были настежь.

И подудел.

В этом вызывающем дуде было что-то и доброе и веселое – призывные беззаботные переклювы, но в самой глуби звука мне прозвучала щемящая тоска: это то самое чув-

ство, когда человек бродит из комнаты в комнату, не находя себе места, это когда нет на земле человеку места и не найти его и никакой надежды – эта душу выматывающая тоска, ее голос звучал во мне.

А крысомор все дудел, передохнет и опять.

И я видел «собственными» глазами, как из «кукушкиной» комнаты старшая мышь, а от Серафимы Павловны средняя благообразная, вдруг обе вышли, одна бросив «Последние Новости» доедать, Осоргина и Петрищева грызла, а другая, она спала и проснулась после ночи грызни моего брусничного одеяла.

И какой это был печальный путь дымчатых обреченных хвостиков – все ступени лестницы до последней, где дудела волшебная дудочка – весь осьмиэтажный ковер кишел мышами. Миллионы – большие и маленькие – мыши, мышата и мышонки – и все эти миллионы – и серенькие и бурые и совсем темные, безглазые, – собирались к дудочке, по дудочке – на свалку.

По спине африканского доктора мышь жалко и бессильно царапалась: она, нижняя, первая откликнувшаяся, от Евреинова. Но африканский доктор не обращал внимания, он сам был, как завороженный дудочкой: ему вдруг захотелось сейчас же, заголясь, выскочить на улицу, залезть на соседний госпитальный фонарь, забиться к газовому рожку и кричать бестолково, выкрикивая мудреные слова, и безобразно, а драгоценный спирт в его боковом набитом кармане раскупорился и прожигал драгоценные папиросы (сам он некурящий) табачный дух мутил его и обезноживал. А это мышами пахло.

И только одна моя мышка, как села под Утенком, так до конца и высидела.

– Прощайте!

И я захлопнул дверь – так с кряком захлопнется дверь в автомобиле с черным флагом – и этот звук стоит у меня в ушах

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?

С «мышкиной дудочки» начался прощальный вечер. Только никто не знает, что этот вечер будет последним.

– А какой необыкновенный сон я видела, – сказал Анна Николавна, – на ночь в постель я всегда кладу с собой

грелку, и только что я пригрелась, как, не спросясь, залез на меня бык.

– Кого не спросясь? – перебил Иван Павлыч: он слушает всегда очень внимательно.

Утенок и Листин захохотали.

Анна Николавна смотрела удивленно и растерянно, не могла сообразить, чего тут не так, ну, смешно, потому что бык, но ведь это сон.

– Не спросясь, залез на меня бык, – снова начала она, – ноздрями дышит в лицо. А как залезать, подогнул себе ноги, было б ему поудобнее, и прямо мне на руки. Одну руку я выпростала и тихонечко пощупала: горячо. А он и не намеревался слезать. Думаю, хорош, нашел местечко, устроился, видно, на всю ночь. А спугнуть боюсь: забодает. А потом подумала: да и пускай себе, слава Богу, тепло. А сама, нет-нет, да и пощупаю: но уж не так горячо. Или, думаю, претерпелась я или быку надоело. И забыла совсем о быке, одно что лежу в тепле и стали мне гуси представляться, будто летят гуси. И вдруг замечаю, нет у быка ноздрей и не дышит, а торчат одни рога. И что-то мне беспокойно, я запустила руку под быка, пощупать – а горячего-то и помину нет, так один волос, и мне показалось, мокрый. Я руку отдернула, а он рогами как боднет – как две ледышки в меня, я и проснулась. И сразу почувствовала, сухого места на мне нет, вся-то мокрехонька и очень мне холодно. Поднялась, зажгла свет, так и есть: лопнула грелка.

Тут и я рассказал, как со мной было то же, и без всякого быка.

– Среди ночи я вскочил на оклик, да как-то неловко туфлю надел, зацепился чулок, стал я поправлять, спешу, пальцы липнут, поддеть не могу. Да кое-как справился, закутал Серафиму Павловну и вернулся на свой диванчик. И что-то мне холодно и беспокойно, гляжу, а правая туфля как-то странно черная – у меня парусиновые летние – едва стащил, полна крови, лопнула вена.

И снилась мне кровь, но об этом я не рассказал, отголосок... сгустки крови, камни крови, бык крови. И посыпают меня песком, точно в гробу лежу, руки окостенели и голос пропал, а вижу.

А Утенку приснился коротенький сон и тоже звериный: едет, будто Утенок верхом на лисице, везет в чемодане сто банок конденсированного молока, и откуда ни возьмись – ажан: «что в чемодане?»

– А вы бы сказали: блошиные яйца. Ведь это во сне, сказать все можно! – заметил Иван Павлыч.

Но Утенок и во сне, сжав свои маленькие руки, мучительно взглянул на «ажана»: «Деваться некуда!» А это уж не «ажан», а целое стадо слонов. И только что Утенок протянул свою маленькую руку потрогать слоновый хобот, ан это не слон, а добрый мясник, сует ей в руку баранье жиго. «Да мне и зажарить негде!» – говорит Утенок. «Изжарют». Тут Утенок и проснулся.

– Очень есть захотелось.

Очарованная лифарной «Душкой», Листин и без сновиденья, как в самом несбыточном утячьем сне.

Я забыл сказать, что Листину и еще повезло, и это очень важно. И случилось сегодня: она поступила рисовальщицей в кинематографическую студию. Теперь ей больше не нужно возиться ни с какими брошками, закинет рафию, да и комнату переменит: погрела боками чердак, довольно. А произошло это подлинное чудо неожиданно, как все чудеса на свете: ее ученик, когда-то она его рисованию бесплатно учила, теперь, через сколько лет, занял хорошее место и вспомнил о ней, сам отыскал ее, – так через него и нашлось ей место.

«Стало быть, добро тоже не пропадает, а ведь я привык по-другому думать».

Что сегодня Листину снилось? – Какие-то чулки вязала. А вот накануне сон: она его отчетливо помнит.

Сон, действительно, сказочный, со сказочным карликом, волшебной скорлупой, полетом – в одиночку и с Лифарем, с горы на гору, сквозь лес.

– А вышли из лесу, там дом на дороге. И мы вошли в дом, но не в двери, а как-то... Хозяйка, впалые измученные глаза, раскладывает на столе вышивки: бисером, шелками и шерстью. «Хоть где-нибудь, говорю, приютите нас!» – «Зачем где-нибудь, я вам самую хорошую комнату». Нагнулась и из-под стола тащит лопатку. А я так устала, мне все равно, и прямо плюхнулась на лопатку. А Лифарь, как кузнечик, и вижу, уж вон где. Но лопатка быстрее, и я вмиг очутилась под самым потолком на теплых полатях – и тут Лифарь вспорхнул на меня. (Она так это произнесла, с таким французским носом «Лифар», Иван Павлыч невольно проснулся). И преуморительно лапками чистит свой хоботок. «Нас, сказала я, соединило море и танец». И вдруг почувствовала, как повеяло морем.

А Серафиме Павловне снился наш старый знакомый, еще с Петербурга, он недавно помер, хороший человек, только брюзгливый. Но это неважно, совестливый, хороший человек И это хорошо.

А Ивану Павлычу сны не снятся.

Мне было совестно перед Дударевым. И я предложил закончить «Историю бисера». Никто не согласился.

Серафима Павловна читала стихи. Она читала на память из «Онегина». Стихами и кончился вечер.

Если бы знать, что последний .. И что же? Подойти к окну, как хотел Леонид в Опер*а* и вниз головой: «прощайте!» Такого случая у нас на Буало еще не значится, а будет, и не за горами, в первый летний месяц, когда «хозяева» погонят молодых к себе на работу – с четвертого этажа один брякнет во двор, где когда-то жили крысы, к окнам Евреинова: «прощайте!» Нет, зачем, я бы и спать не ложился, всю бы ночь спрашивал Какая жалкая наша судьба: неведение. И какая бедность· ведь дальше своего носа никуда и некуда, и что стоят человеческие сны? И неужто человек, оставляющий земную жизнь, разлучается с нами, живыми?

В мышке было что-то печальное, не понимаю. Или ее взволновала волшебная дудочка? Дудочка манила ее на волю, обольщала «волей» – и для зверей, стало быть, есть эта «воля» и к воле тянется душа зверя, как и человека. По «воспоминанию»? или проще· от тесноты? – от «проклятия»: «некуда деваться!»

*

Весну мне открыл Н Г. Елисеев.

Я встречаю его по утрам у метро. торопится на службу в банк. А сегодня задержался.

– Теперь будет легче: весна пришла! – и видно, сам он ее очень почувствовал, разговорился: – вы не имеете сведений о Павлищеве?

Я не понял.

– В доме у вас жил.

– Павлищев из «Идиота»? – спросил я и вдруг понял, что это про Едрилу, он с Едрилой вместе учился, – а разве ему фамилия Павлищев? – и я хотел рассказать о мышиной дудочке, но Елисеев уже прощался.

– А Мамочка, помните, такая с собачкой, соседка Едрилы, – сказал я, – она теперь без своей собачки: любимая и

неразлучная собачка прогрызла ей наволочку, и кончилась вся любовь

А и в самом деле, я заметил, что «шкурки» и допотопные накидки исчезли, все идут налегке, и сам я почувствовал, что в воздухе весна: весна пришла!

С вестью о наступившей весне я вернулся домой. И прямо в комнату к Серафиме Павловне. она проснулась и смотрит. И я ей первой·

– Весна пришла'

Как я тужу, ведь это была ее последняя весна. Да если бы знать, я бы все отдал, правду говорю, достал бы целое кило. . настоящим кофеем поил бы, а не этим пометом. У мсня в руках был пакет, только что по карточкам купил.

По случаю весны я решил снять с себя пальто. И налегке вышел в кухню И только что взялся за «помет» – звонок.

И почему-то мне подумалось· «монашек'» А как давно это было, когда в такой первый весенний день в Петербурге монашек принес мне зелсную ветку – начинать мою «Посолонь» И я уж думал, как я скажу Серафиме Павловне, и она мнс скажст «Как' монашск вернулся и эта ветка'» Но я нс скажу «к какому Морю-Океану пойду я с этой веткой?»

А это был не монашек, а круглый, грузный, как Едрило-Павлищев, с портфелем.

И без всякого счета – платить ничего не нужно' – он из Префектуры. он должен освидетельствовать «антисанитарное» состояние нашей квартиры И показал бумагу Но я не посмотрел, все равно, с моими глазами и не разобрать, да и в коридоре темно.

– По доносу, – сказал он.

– Но кто же?

Он ничего не ответил

Да и спрашивать нечего было. я вдруг вспомнил все мои утренние «пропуска» через няньку, ее укоры и угрозу ее хозяйки «принять мсры».

Вот уже месяц, как нет ни няньки, ни ее хозяйки, оскрипленная учителем квартира опять пустая. С доносом в Префектуре не очень торопились, и только в этот первый весенний день начинается дело

– Какие меры? – спросил я.

Он ничего не ответил.

Повел я его в «кукушкину» комнату, теперь можно, пришла весна. Вся она сияла моими абстрактными конструк-

циями: серебро и краски. Что ж ему записывать? Повел я его и в ту, необитаемую, с сырой пробковой стеной. Постукал он пальцем стену: и правда, – пробка. Но и про это что же записывать? А к Серафиме Павловне я его не повел. Да и не надо: ему и этого довольно – калейдоскоп и пробка.

– Доносили, – сказал он, – об антисанитарном состоянии квартиры, а ничего такого не вижу текучего

– Я понимаю, – сказал я, – все от нашей звучности.

И начал ему, как повесть начинается, – я в ту минуту мысленно всю для него повесть написал, только без самого конца

– «Дом наш громкий, – в улицу Буало, – говорил я, – а по налогам – “люкс”...»

И о всех чудесах дома, чаромутии и чародеях, с Сестры-убийцы до Евреинова, помянул и венгерцев и докторских собак и пропавшего доктора.

Он слушал не особенно внимательно, но при упоминании о мышах заметно оживился А я продолжал мою повесть с громкими именами, и про скрипичного учителя и про няньку, и что в доме блох довольно.

– Блохи! что ж тут такого? (Я понял: «антисанитарного») Возьмите к примеру котов: у всякого порядочного кота непременно блохи, это не преследуется.

А когда из пробковой мы вошли в кухню, чтобы мне подписаться – чернила, бумага, все теперь на кухне, – он, неизвестно к чему, сказал:

– Если бы пустить котов на скачки .. (И я сейчас же за него мысленно договорил: «все присутствующие на скачках облошились бы», – но я ошибся) Все лошади никуда в сравнении с котами, – сказал он, – самый незначительный шелудивый кот обгонит самую горячую лошадь. Блоха – неприятность для человека, живит кота.

И я подумал: «не один я нынче под Пруткова»!

Он сел к кухонному столу, развернул папку, вытащил какой-то розовый листок: я должен подписаться.

И тут я заметил, как, подавая розовый листок, он вкусно повел носом, а глаза странно взблеснули.

– А мыши у вас есть?

И это спросил он так, как я бы спросил о настоящем кофии.

– Больше нет, – сказал я неправду, – волшебная дудочка всех увела!

И тут я увидел мою мышку· мышка комочком замерла у ножки стола, ему не видно, но он ее чует.

Я подписал, не читая, розовую бумагу, я вывел со всеми завитками «персидским» ладом мое латинское имя, а под росчерком – дыхания в бесконечность – по-русски: «мышков нету». Все равно, моя подпись, мой росчерк все покроют, да и разбираться кому станет.

Я не сомневался, передо мною был переодетый кот: как он складывал бумагу – я наблюдал – так только кот мышей ловит, а его руки, да это подушечки-лапы!

И меня нисколько не удивило: у каждого из нас когда-то, помните, завелся кот в голове; и ничего странного, что кот, после волшебной дудочки, заманившей всех мышей на свалку, пришел ко мне.

– Вы только ко мне? – спросил я, проверяя себя.

– Да, только к вам, к кому же!

И он лапой «замыл себе гостей» – с-носа-по-уху-на-ус.

– Так вы говорите, мышек нету?

В его голосе чувствовалась и нежность, и досада, это – когда ждешь чего и уверен, а говорят «кончилось, нет больше ни капельки» (Я ведь все про свое про настоящий кофий.)

– Нет, – сказал я, – ни одной мышки.

– Жаль-жаль, – прозвучало у него, как «мяу-мяу».

И уже не стесняясь, он поправил у себя в штанах довольно пушистый хвост и подал мне лапу.

И я его бережно выпустил за дверь.

– Прощайте!

А вернувшись в кухню, я прежде всего заглянул к ножке стола – и увидел мышку: мышка все так же комочком, как замерла. Я нагнулся и потрогал, но мышка не вздрогнула.

Тогда я зажег электричество, взял и свою алертную лампочку-лилипута, теперь и моим глазам, как вашим: мышка не шевелилась; потрогал – не дышит.

?..

Кот раздавил каблуком!

КАК ВО СНЕ

Природа сновидения – мысль. И все, что совершается во сне, все только мысленно. Помимо мысли ничего. Нет разницы: «я что-то делаю или думаю, что делаю».

Мне случилось однажды годами недосыпать. Я провел без смены больше тысячи ночей на дежурстве при больном, а день на кухне, и нет минуты прилечь. Я клевал носом и засыпал, стоя в очередях И незаметно явь перешла в сновидение.

*

Как-то в конце месяца я зашел в булочную к Тоненькой шейке. У меня оставалось на четыреста грамм тикеток, я думал, «бискотов» получу, сухариков.

Тоненькая шейка подняла глаза беспредметно и тоненько улыбнулась с ямочками, что означало: «бискотов» нет. А тикетки она взяла – хлебных четыреста грамм – она даст, когда будут. И подает мне расписку.

В булочную вошел и сразу видно приезжий: в шляпе и пальто на руке.

«Нет ли чего без тикеток?»

Тоненькая шейка, как мне на сухарики, подняла глаза беспредметно и тоненько улыбнулась с ямочками:

– Нет.

«Голоден, сказал он, есть хочу».

Тоненькая шейка вдруг выросла – в ее глазах стоял инспектор с ловушкой: «есть хочу», – и переложила на полку повыше длинный, как колбаса, «сосисон», – «не поддамся!»

Кто-то еще вошел, но не с голодными руками.

«Есть хочу!» мысленно повторяя, думал я о голодном, и оттого, что видит хлеб, больше хочется. И я представил

себе, как ходил он по булочным без тикеток, видит хлеб, а не укусишь А я только что отдал на четыреста грамм, вот и расписка.

Не пряча расписку, я обернулся. Но его уж не было. И я вышел.

Он идет легко и ходко, пальто на руке, – «есть хочется!» Смотрю вслед. Вот он подходит к аптеке, через три дома от Шейки, я еще могу его догнать. А вот и затерли – с тикетами, но без пальто и без шляпы утро.

«Как же это так, вовремя я не отдал ему мою расписку – четыреста грамм или самому получу и передам. И дома, только горбушку отрезал – черный хлеб . хватит!»

Вернулся я домой и прямо на кухню. И сразу в глаза мне: на столе в сухарнице черный хлеб без горбушки.

«Далеко ему никуда не уйти – самое дальнее до "Птиц", где сворачивать к Струве на Эрланже. Я узнаю его»

С хлебом я вышел на улицу и раздумываю, что скажу или как окликну.

И вдруг – да, это он, на рукс пальто' Я остановился.

Я представлял себе, как буду его искать и вдруг лицом к лицу. Да, это он: «есть хочу»

Он прошел мимо меня и легко и ходко уходил по Буало – прошел Школу, сейчас перейдет Молитор и дальше.

«К русскому ресторану, думал я, еще рано, заперт. Достучится».

И с хлебом я вернулся на кухню. У меня было такое чувство, будто голодному я отдал этот хлеб, а сверх хлеба – русский ресторан, горячий борщ.

ЖУЧКОВЫ

Их квартира на 4-ом этаже, под Верховой («Половчанка»), а познакомился я с ними в «оккупацию» или, как тогда говорили, «под сектором» – объединительная сила при воздушной бомбардировке, когда швыряют бомбы не глядя в «сектор». Она – «губернаторша», он «чиновник особых поручений» – Жучковы.

Губернаторша – мордастая с песком, маленькая, а когда закутана, так просто крохотная, но голос грубый и слова отщипываются, но без всякого колебания, несомненно. Мне она сказала, подслеповато заглядывая:

«Теперь люди относятся друг к другу только оттого, что можно получить от кого».

Я ей ответил:

«Но так и всегда было».

Он – олицетворенная тихость. Такие на театре представляют Молчалина. Его зовут Александр Платоныч. Я не раз встречал Платонычей и все они были «угри», один Угорь (Игорь) Платонович Демидов чего стоит – редактор «Последних Новостей».

Жучкова я встречал в очередях, но по свойству «угря» он всегда пролезал вперед. Я с ним молча здоровался. Со мной он не сказал ни одного слова. Но я слышал его голос: очень ровный и мягкий, без смущения и никогда, должно быть, ни вверх, ни вниз – монотонно, как весь сам.

У них и в самое бутылочное безвременье – не только ссорились, а дрались за пустые бутылки – у них все было, их квартира – полная бутылка и на запас. Но все-таки и они зимой мерзли: встречаясь, я видел, как, вся закутанная, губернаторша беззвучно жаловалась.

До «оккупации» он служил в «Самаритен», инспектор. У них всегда толклось много «подозрительного» народа. И в

последние дни его арестовали. Это Мандель вылавливал «коммунистов» – но какой же он «коммунист»? – и его скоро выпустили. Все приходящие к нему занимались не политикой, а «спекуляцией», да и сам он исподтишка.

У них была прислуга, да и теперь приходит для порядка, но не всякий день. От глаз они все сами делали: он моет посуду и выносит ордюр. Какой смиренный – бедный человек!

Мне всегда хотелось взять и ударить его по морде – «за смирение» и «бедность» Где-то он это чувствовал и пугливо отводил глаза при встречах на лестнице.

В «Крестовых сестрах» у меня есть, кажется, тоже «губернаторша» – «вошь». Жучковы в нашем доме из всех насекомых имели все права носить это имя «вошь».

Блохи, как впоследствии оказалось, истребимы, но на «вшу» – только смерть.

*

В последние дни оккупации – с субботы на воскресенье (19–20 августа) тревожная ночь. весь день стреляли.

Я не лег спать. А читал. И вдруг слышу крик. Посмотрел на часы – 2. Электричества с вечера не было, а с полночи горело. И слышу, по лестнице топают и крики. Я растворил дверь. И различаю противный голос нашей «жеранши» – это не просто вошь, а вшиная мать – эту я просто б расстрелял, потому что у нее есть власть мудровать над нами.

Я спустился по лестнице к консьержке. Зрелище из моей «Находки» («Взвихренная Русь»). В доме 54 квартиры и из каждой квартиры в чем кого застало.

Оказалось, пожар.

А случился пожар у Жучковых исподтишка. Днем Жучков вытащил из «плякаров» (стенные шкапы) все свое добро проветрить.

На столе около добра стоял электрический утюг и не выключен, а с полночи за два часа накалился и, что было поближе, загорелось. А когда схватились, оба тушили костюмами. Страх был еще и оттого, что и почта, и полиция бастовали, а может, и пожарные.

И все добро пропало – на 100 000 фр. – «всю деньгу за это время он вкладывал в костюмы» – тут уж со страху пришлось признаться.

Никакого сожаления я не почувствовал.

*

После «освобождения» «сектор» больше не действовал. И знакомые раззнакомились. Да и на улице с мешком не всякого встретишь – мешочная жизнь продолжалась, только приняла другую форму и не была всеобщей.

Жучковых я больше не встречал.

Как-то разговорился я с нашей Верховой – кто теперь и как в нашем доме домует. И узнаю, что Жучков в соседнем госпитале и губернаторша всякий день его навещает, и он все домой просится.

«Ну и чего ж?» – говорю.

«Губернаторша боится, не справится».

И Верховая отозвалась неодобрительно: если человек просится, надо уважить, тем более что доктора говорят, что ему недолго.

Я это запомнил, но к сердцу не принял: не пожалел, хотя ясно увидел, как он смотрит с упреком и, не повышая голоса, просится домой.

В ту ночь я засиделся и среди ночи слышу звонок. Бывало и раньше, позвонят, но я никогда не отворял. А тут что-то меня толкнуло.

Отворяю дверь и глазам не верю

«Александр Платоныч!»

И он смотрит на меня. Молча.

Мне показалось, что он очень слабый и все на нем висит: я подумал, он все-таки вышел из госпиталя домой, перепутал дверь, или ему еще два этажа очень трудно, и он позвонил передохнуть. И я хотел его пригласить войти. Но он, как-то поспешно, ничего не говоря повернулся и пошел вниз.

Я подождал, когда выйдет. На лестнице электричество погасло. Но дверь внизу не простучала. Или мне показалось, не вниз, а пошел он наверх в свою квартиру.

А днем я узнал, что ночью в госпитале помер Жучков.

«Так домой и не вернулся, – говорила Верховая, – а как просил!»

Странно мне было это слышать. Что нас соединяло? Стало быть, и отталкивание – связь? И только безразличие не найдет дорогу.

ПОВАР

Если вас ругают, никто не заступится, я вас уверяю: ваши друзья вам выразят сочувствие, тем дело и кончится.

Такое сложилось и у меня убеждение из случаев моей литературной жизни. Бывало, что-нибудь мое примут – для меня целое событие· и начнут печатать в журнале или в газете и на полуслове прекратят: «невозможно, протестуют читатели». Я спрашиваю себя. и разве все против меня? Да нет же, есть и другие, но, как всегда, эти другие мои, молчат. Печатно меня только ругали, и еще никогда никто не заступился за меня

Раздраженное безразличие меня окружает. Я свыкся. И потому всякое деятельное внимание для меня встряска. И долго помнится. Я хожу и пою и никогда не молча, а таким меня редко видят: мое обычное – обманутый и обруганный.

*

Обыкновенно гости приходят не тогда, как ждешь их, а когда им захочется. Пробовал я на дверях выставлять объявление: «не стучите и звонить не надо спешная работа». Да никакого впечатления. сначала звонок, потом постучат, или наоборот. Решил, напишу все выключающее и бесповоротное «Absent» и по-русски· «Нету дома».

И в первый мой опыт с уверенным, надежным "нету дома" я расположился писать – я и вечерами пишу, но для моих глаз («поле зрения мыши, а острота – бабочка»), всегда с надсадкой – и только что я начал страницу, в дверь стук: удар некрепкий, робко.

И я приготовился: «отворю и, не говоря, на "нету дома" пальцем· понимайте. А вдруг, думаю, что-нибудь случилось, ведь человек прет в непробиваемое "нету дома"».

А ничего не случилось· ни консьержка, ни почтальон, ни «обознался» или нужда какая Нет, это повар.

Я этого повара не видел со дня «освобождения» (24 августа 1944 г.), а сразу узнал: из русского ресторана, по соседству.

Он вошел боком и, не спрося, можно ли, старался так пройти в мою комнату – в «кукушкину», чтобы – ну, как по воздуху, не следя и не задевая вещей, которых кстати в коридоре и не заметишь: под вешалкой столик, на столике черствый корм для медведя и, совсем к дверям, ящик с пустыми тюричками на случай.

Спиной к моей летящей тукающей «кукушке», глазами в меня и через окно, в серую, высоко над гаражом, застилавшую небо стену – повар.

Гляжу на повара и вспоминаю, как в оккупацию всякий день в двенадцать выдавал он мне бесплатно суп, а по праздникам – с косточками; случалось, бухнет и котлету – только всегда тайком от хозяев. Я заметил, что при бесплатной выдаче никакого мяса, а когда по оплошке или доброму умыслу попадал мне в суп кусок мяса, хозяева, на глазах у меня, вылавливали из моей посуды. И чего-то мне всегда неловко было и я чувствовал себя виноватым и там, под этим сжимающим чувством невольной вины, закипало такое жгучее – всякий день в двенадцать я стоял под окошечком в кухню, я просил не для себя.

И теперь вспоминая, обращаюсь в эту бездонно-светящуюся из черной густой ночи пустую безответную пропасть – к неразгаданной загадке всей мировой жизни, всех жизней и моей судьбы. Если бы мне было дано, я ответил бы не от бессилья, а от переполненного, выбивающегося на волю моего немирного сердца только слезами, потоком, ливнем слез, пролитых в веках на земле человеком.

Повара зовут Иван Иваныч, а по фамилии не знаю, а должно быть неожиданно завитное, вроде Судоплатов. Был и он молодым, да и теперь не развалина – глаза видят и на уши не жалуется, хоть и пропарен и огневен кухней. Богат терпением и совестливый («совесть» это наше человеческое, а *там*! – этих фокусов не знают!) это он и косточку мне подложит и котлету бухал, а сам оставался без косточек и котлеты на пустом супе. Одинокий, вернется с работы и, если сон не сшибет, читает Апокалипсис на сон грядущий. Почему именно это «тайное тайных», не могу сказать. И потом рассуждал в «делах человеческих», и

всегда своими словами, передать невозможно и не потому, что путано, а потому, что все его примеры, как нарочно, бывали ни к селу, ни к городу. А попал он в Париж после эвакуации русских солдат из Крыма и остался тут в городе и в пусте неувядаемых чар, старого серого камня, тонкого рисунка и точной формы в Париже русский – Иван Иваныч – без «политики» – русский повар.

В последний раз я видел повара в памятный день для Парижа – 24-ое августа 1944-го. В полдень я пришел в ресторан за бесплатным супом. И повар, высунувшись из окошечка, чего-то, как на огонь, стесняясь, сказал мне, что больше не велено давать.

Я один и мне одному ничего не надо – это «надо» всегда соединяется у меня с кем-то другим

Покорно я поблагодарил хозяев за все бесплатные годы – воображаю, как я надоел им своим попрошайством! Поблагодарил и повара, что стоял над его душой у окошечка в кухне с протянутым кувшином И не оглядываясь, с легким чувством освобождения, вышел на улицу с пустой посудой.

Это был день особенный, «Освобождение». С 14 июня 1940 мы были, как мыши в мышеловке, и вот дождались: свобода – мне это напомнило март 1917 г. в революцию в Петербурге, день на Васильевском острове.

С крыш стреляли – пройти и два шага по нашей улице до дому опасно. Но я шел, как всегда: мне было все равно и при всей моей покорности меня тянуло, как тянет поглядеть на падаль, на эти слепые выстрелы – как отголосок совсем не вслепую недавнего многолетнего «не велено».

Нынче три года исполнилось, и вот через три года повар робко постучал в мое «нету дома»: узнаю ли его и помню ли?

Все эти годы за Апокалипсисом и без Апокалипсиса он обо мне думал, а другой раз идет за провизией и вдруг явственно в глазах, как в последний раз я отошел от окошечка с пустым кувшином, и ему хочется воротить меня, а я уже пропал.

«Вы забитый человек, – говорит повар, – вам и жить-то осталось пять лет».

Я сосчитал в уме· 1947 плюс 5 равно 1952, и переспросил: «Сколько?»

– Пять лет, – сказал он, и подумав, – никак не больше

И эта определенность – недаром, стало быть, Апокалипсис с его тайными сроками и мерой – меня поразили. И я

подумал «а и вправду если всего пять лет, никак не больше, не обзавестись ли заранее гробом – пустые ящики из-под книг Мамченко, смеря меня, сколотит».

Повар глядит на меня, как глядят повара на переваренное, и с сожалением, и со вкусом А пришел он, чтобы сейчас же вести меня в ресторан на кухню он накормит меня телятиной с картошкой-фрит.

Я отказался

– Когда-нибудь в другой раз, а сегодня никак не могу. Давайте в следующую среду. Я приду к вам на дом.

Я вспомнил, что он живет по соседству в самом старом отеле Отой «Отель де Пост», прежде была почта около «бешеных баб» – фруктовых торговок, громким голосом и необычайной ручной прытью и руганью – мне памятное в оккупацию.

Повар сидел в каком-то ошеломившем его удивлении· он никак не мог поверить, что сидит у меня, в моей комнате, и долго не мог найти слова на ответ

– Живи вы в России, вы были бы миллионером, – сказал он, наконец, – и меня на порог не пустили б.

А когда я сказал, что и при всяких миллионах он мог бы прийти ко мне, повар безнадежно покачал головой:

– Швейцар к дверям не допустит.

«Что тут ответишь, – подумал я, – да и о чем· миллионером я никогда не буду, путь ко мне чист».

– В следующую среду, – повторил я, – я к вам в отель в 12

– Ровно в 12, – сказал повар, – телятина с фритом.

Прощаясь, он дал мне двести франков, больше не может, его жалованье 5000 франков в месяц, и еще положил на стол четыре пакета папирос и еще большую коробку спичек.

*

С утра я ничего не мог делать, поминутно смотрел на часы. И сам не понимаю, чего я так волновался и зачем мне была такая точность, ровно в 12. Или мои миллионы меня подгоняли. миллионер, вот иду к повару, которого не только на порог, а к дверям швейцар не допустит. До отеля самое большее пять минут, а вышел я за десять.

На нашей церкви било двенадцать, я робко отворил дверь в бистро И сразу растерялся: полно Бешеных баб – все знакомые, орут

Сквозь баб к хозяину:

– Шеф Жан, – говорю, – назначил мне в двенадцать. Ремюза. (Произношу свое имя по улице, всем известно: рю де Ремюза).

Хозяин, полоща стаканы, зачем-то вытер руки.

– Жан, – сказал он, и нос его вылетел как из деревянного скворцового домика птичка, – Жан вернется, как всегда, вечером в одиннадцать.

– Но он мне назначил на сегодня ровно в двенадцать.

– Вечером, не раньше, в 11, – птичка юркнула в кружочек, хозяин, повернувшись спиной, взялся мыть стаканы

– Передайте Жану, был Ремюза, – сказал я отчетливо, выделяя «был» для памяти

– Ремюза! – подхватили Бешеные бабы, и чего-то дико радовались, и чьи-то задние ноги потянули меня, втягивая к себе за стол.

Едва выбрался я из грузной, сковывающей мякоты

– Прощайте! – сказалось с облегченным сердцем. я представил себе телятину с фритом – да мне и вилкой было не попасть в бабьей гуще.

И домой долго я возвращался – два шага стали мне в миллион.

И ведь случилось все наоборот и даже чище: если бы еще меня не допустили в отель, как повара мой швейцар к моим дверям, но меня, миллионера, пустили, чтобы сейчас же показать на дверь: повар пригласить-то пригласил меня, а сам просто взял и вышел из дому: или сейчас же убирайся, или жди его до ночи – «вернется с работы в одиннадцать».

У меня оставались вчерашние две картошки, я подогрел и с солью: ну, как телятина с фритом!

СТЕКОЛЬЩИК

1

Тамару Ивановну и ее сестру Ирину Ивановну Кристин знаю с доараратских времен, когда о потопе и в мыслях не было и одна только Е. В. Бакунина («Тело») шелковым голосом, в перепуге, выхлестывала, пугая: «газовые бомбы». Серафима Павловна любила сестер, и они у нас часто бывали. Соседи – мы на Буало, они на Лафонтен за Иваном Павловичем.

Иван Павлович Кобеко тоже замечательный. Если Тамара Ивановна, однажды вернувшись к себе на 8-ой, не могла без ключа попасть в свою комнату и из соседней незапертой из окна переметнулась в свое окно, о чем долго вспоминала, пугаясь, Иван Павлыч, в голодную оккупацию на проводах в «резистанс», съел на глазах у всех яичницу-глазунью из двенадцати яиц, два яйца сберег для меня, вспомнил! и донес не битые и с луковкой.

Тамара Ивановна рисовала танцы и очень выразительно, невыразительные движения схватывая комариными ножками. Теперь бы я ничего комариного не разобрал, а тогда кое-что еще видел и сам паутинные иссветы путал от неподвижных вхрящившихся вещей, неодушевленных лиц и застылых морд.

Ирина Ивановна пишет роман из индусской жизни – в те допотопные годы, молодой тогда, Кришна-Мурти кого только не оголовил, и о Индии говорилось по-домашнему, как о Булонском лесе А для жизни она поступила в няньки к Головиным – дети к ней привязчивы и родители были довольны.

Тамара Ивановна служила в газете «Возрождение» – первая дактило: работа доточная, все помарки разберет,

как и плешивую гугню, и кляксы раскляксит, и оттого без передышки на пляшущих глазах пляши – нос утереть минуты нет.

Сестры жили трудом и трудно. Да разве на это кто смотрит? Сказано. «из скота две пары чистых и пара нечистых и пресмыкающихся на земле», – и всем нам, нас миллионы, пропадай, когда хлынет и зальет с головой.

Ирина Ивановна не выдержала парижской прохлады и уехала на родину в Ревель – там найдет она себе место учительницы: детей она любит. А Тамара Ивановна осталась в Париже, перекочевав на три собачьих пробега дальше от своей катастрофической комнаты, на чердак к Аронсбергам.

2

Обыкновенно в субботу она приходит измученная за неделю, ляжет на диван перед моим столом, покроется «Возрождением» и сладко спит

Я называю ее «Лопатка»

За ее спиной на стене не серебряные мои конструкции, как будет позже, а во всю стену железнодорожная карта Франции – «куда мы летом поедем», и желтая Сирия – память моих занятий по истории Византии, когда писал легенды о Николе.

А под «кукушкой» Нина Григорьевна Львова-Шипулина: «Наяда» взволнится – приляжет, мне не мешать. Она тоже за неделю измызганная, служит кельнершей в «Ягодке».

«Ягодка» – русский ресторан на Муфтарке, рю Паскаль, с борщом и к вечеру тяжелый дух от борща, водки, табаку и разговоров – смесь русских слов, потерявших русское произношение, и французские врастяжку, непонятные французу, и с постоянным клиентом – какой-нибудь капитан гвардии, помешавшийся на изобретении самозажигающихся автомобильных сигналов «Ягодка», откуда вышла «Планетарная собака» опального африканского доктора Ангусея – воплощение истинного Кузьмы Пруткова, и в которой сложился звонкий «монолитный» «Денёю» Одарченки.

Газданов, сам недурно имитирующий французов, описал в «Орионе»* такого капитан-гвардии изобретателя: хлестаковская мечта с ошеломительной завирухой.

---

* «Орион» – орган Одарченки и Туроверова – наказных атаманов Обезвелпала [Примеч Ремизова – *Ред*]

«Наяда» не «Лопатка», улеглась безо всякой покрышки – на нее и трех «Возрождений» было б мало, наяда!

И я, не теряя минуты, у своего стола, к вечеру пепельного, продолжаю заниматься, всегда беспокойный, не успею.

На звонок бросил, выхожу отворять.

Серафима Павловна вернулась от всенощной.

«Есть кто-нибудь?»

– Никого.

Но она по голосу понимает или меня глаза выдали, и идет в «кукушкину».

И тут из-под газеты первая вышуршивается Тамара Ивановна здороваться. А потом уж, как из волны, волной поднятая «Наяда».

Иду на кухню. Надо перемыть посуду и приготовить чай. До войны всегда была горячая вода, и с посудой легко А вытирает Тамара Ивановна – работа для меня тягостная. «Наяда» у Серафимы Павловны – «божественные разговоры».

В «кукушкиной» будем чай пить с «конуркой» – коробка с сухариками, каждый раз подкладывается, из-подо дна можно вынуть и рожественское, а в середке пасхальное, – я буду читать. Всегда найдется – русская литература вовсе не такая бедная, как это кажется нашей провинциальной критике, «нашей улице», для которой «т а к с е б е» объявляется гением, а всякое «с в о е» сойдет за шут гороховый. Честь мне не перечесть, радоваться, выговаривая слова, а слушатели не поскучают вечер, хоть до последнего метро: завтра воскресенье.

3

Герой романа Борис Григорьевич Пантелеймонов появился на Буало в «кукушкиной» в 1937, за два года до войны, еще при жизни Л. И. Шестова.

Лев Исаакович только что вернулся из Палестины, да и Борис Григорьевич показался в Париже из Иерусалима. Шестов, которому я рассказал о Пантелеймонове, убежденно уверял меня, что я нарочно все путаю и что это вовсе не Пантелеймонов, а Пантелеймон Романов, автор «Русь», способный из семинаристов, – про Пантелея на Москве говорили, что он как Лев Толстой, да и сам Пантелей думал, что он Толстой: тоже из Тулы.

Шестов и Розанов учили меня житейской мудрости, потому я о них говорю к слову, хотя бы и не к месту. Шестов остерегал: «не одолжай ничего из мебели, назад не получишь, а вернут, своего не узнаешь, диван просижен, стул продырявлен, да и отымать нс хорошо» А Розанов говорил: «Из носильного ничего не бери на время, потребуют как раз, когда тебе нужно» Это Розановскос оправдалось на Пантелее: дал мне поносить свою тульскую шубу и в самую морь – зима 1920 года – отобрал неловко было возвращать, вроде как подмена, и чего-то обидно, а ведь человек хотел сделать мне добро.

Борис Григорьевич пришел к нам вечером, как раз к чаю. Письмо от Залкиндов из Иерусалима Была Нина Григорьевна – «Наяда» – «Ягодку» она бросила и служила нянькой у Стравинских. От нее не пахло борщом – вся она светилась музыкой.

В. А. Залкинд писал о Пантелеймонове, что подружился с ним в Иерусалиме, ученый химик, и просил принять его в Обезьяныо палату «хоть маленьким чином»

Это был не по возрасту белый с зеленью, обветренный в кирпич, в черном сюртуке – в Париже о таких костюмах забыли – тонкий, и ничего отталкивающего.

Он привез от Залкиндов подарки. Серафиме Павловне – радужный арабский шарф, а мне цветные персидские миниатюры.

И эти, на его черном, цветы казались еще цветней, он держал бережно, как цветы – руки у него дрожали.

Я смотрел сквозь Залкинда – наши старые верные друзья – и чувствую, добрая душа. И чем-то он напомнил Замятина (кораблестроитель) – или сухой голос безо всякой влаженки – инженер.

За чаем он что-то стеснялся, не Серафиму Павловну, не Стравинскую «Наяду», а меня. Меня? Да если бы он все знал – или оттого, что смотрел на меня не сквозь Залкинда – Залкинду с Берлина известно мой «маленький чин» в литературной среде и как со мной считаются.

Как бы прикрываясь, он рассказывал о матери Залкинда, о Доре Александровне Я ее знал. Слава о ее милосердии шла в Иерусалиме, как когда-то в Харькове. Через нее Пантелеймонов познакомился с русскими, осевшими на Святой земле, паломниками.

О красотах природы я не спрашивал. От Шестова наслышался Шестов объехал автомобилем всю Палестину

вдоль и поперек. «Да ничего особенного, всю дорогу я следил за счетчиком»

До Иерусалима Пантелеймонов жил в Бейруте. Там попробовал поступить к какому-то эмиру по орошению абрикосовых садов, но не вышло, и устроился в красильной лаборатории И когда он помянул Бейрут, я вдруг вспомнил· Пантелеймонов! Два письма мне было от него из Бейрута: убежденный, что я что-то значу, просил моего содействия напечатать в «Последних Новостях» стихи Нахичеванской.

В «Последних Новостях» меня печатали «из милости». «К нашим шофферам не подходит!» повторял редактор И П. Демидов, и я никогда не был уверен в своем, примут или вернут. «не подходит». Я передал стихи М. А. Осоргину. Осоргин, получая рукописи, глаз намётан, усумнился в Нахичеванской – «такой фамилии нет», а что стихи сам Пантелеймонов – «фамилия не поэтическая» А на второе письмо со стихами, зная мои «удочки», добродушно заметил, что ни Нахичеванской, ни Пантелеймонова в природе не существует. И убедить я ничем не мог, бейрутскую марку с конверта кто-то из любителей слизнул. Вернее, кто-нибудь из поклонников Бердяева – кому-то я рассказал, что Бердяев собирает марки, предпочтительно малоазиатские и бельгийские.

Я напомнил о Нахичеванской, и он еще больше сконфузился, и губы его без слов вытянулись в катушку.

Прощаясь, Серафима Павловна спросила:

– А святой земли вы привезли?

«Да не догадался», и он покраснел сквозь кирпич, «я напишу Залкинду».

Так повелось: наши гости оставляли после себя след – перчатки, зонтики, кашне, даже шляпы Пантелеймонов, или как стали его звать, Иерусалимский, забыл эмпермеабль.

Всякую находку я развешиваю на вешалке в прихожей. И когда я взглянул на эмпермеабль, – жеванный в-сеть – я подумал:

«Бедный человек Иерусалимский!»

4

Обезьянья Палата тем и обезьянья, дает все права и освобождает от всяких обязанностей. Я приспособил Иерусалимского на технические работы.

Исправил он кран в холодильнике. А то беда. всякий день подтирай лужу, и затычка не помогает, течет.

То же и с электричеством· перегорают лампочки, а сидеть в темноте, сложа руки, я не мечтатель, – нарезал он полную коробку тоненьких проволочек и показал, чуть перегар, где и как обмотать. То же и по водопроводной части. Главный водопроводчик – Василий Лукич Яченовский, великий книжник, и другой книжник, фонтанный мастер Константин Иваныч Солнцев, оба в морском деле чудесники, а Иерусалимский в короткое время занял место обер-самый-главный: без сифона (летом Комаров, исправляя, раздрызгал) пустил он на кухне воду, закрепив в раковине отверстие непроницаемой синтетической замазкой, крепкой, туже пробки.

В Великую Пятницу со всякими предосторожностями – должен был снять неснимаемую фуфайку. зябкий – по шею закутан в чистой простыне, трижды вымыв руки, месил тесто для кулича в большой высокой глиняной макитре, и безо всякого градусника: довоенный Париж! Инженер-металлург Н Шапошников на той же работе, в Петербурге в мёрзлую Пасху в годы революционной скуди, в тесто ставил градусник – дрожжи, что в оккупацию яйца, на вес золота.

Тамара Ивановна сшивала из картонок формы

Завтра спозаранку понесу разложенное по картонкам Иерусалимское тесто в булочную к Тоненькой шейке, а в полдень они домой вернутся с куличами, только б не подгорело.

А когда в той же макитре размешивался творог с перемолотым миндалем, тут и моя рука в работе, я мешал валиком слева направо и замечаю, Иерусалимский ведет и справа налево. Я заметил.

«Да не все ли равно?»

И я подумал: так и со словами, разве есть правило для сочетаний и порядка, и не все ли равно, лишь бы выразить мысль – персмсшать, трудно смешивающисся, миндаль с творогом

Иерусалимский в церковных делах не Борис Константинович Зайцев и не Федосей Георгиевич Спасский, открывший поэта XVI в , «Маркелл Безбородый, игумен Хутынский». Борис Григорьевич путает «патриарх» и «первосвященник», а со славильщиками поет на Рождество не «Дева днесь», а Богородицу. . впрочем, не все ли равно? На заутреню на рю Дарю он не пойдет. Однажды стоял он Пасхальную заутреню у Гроба Господня, и это ему на всю жизнь.

Три века тому назад, в 1632, на том же самом месте у Гроба Господня стоял по обещанию казанский купец Василий Гагара и пытался убедиться, действительно ли огонь, спускающийся на лампады, отличается от обычного, и трижды пробовал подпалить себе бороду, но «ни единого власа не скорчило, не припалил».

Иерусалимский это огненное пасхальное чудо просмотрел, как Шестов палестинские «красоты природы».

С 9-и, за 3 часа, мы заберемся в церковь, станем к стенке А Нина Григорьевна и Тамара Ивановна к полночи после плащаницы и запихаются в самую середку под паникадило, «чтобы все видно». После крестного хода, как с улицы хлынут, и поднялась давка. У Нины Григорьевны слабое сердце, стиснули, и ей дышать нечем. И ее понесут, как плащаницу над головами, вынося из церкви на свежий воздух. Душ двадцать несут Львову – вошло в обычай, каждую Пасху выносят! – на влюбленных пальцах колышется она, как когда-то на розовой Адриатической волне, чаруя Улисса.

А за Ниной Григорьевной из предосторожности задавят, выносят Тамару Ивановну: с ней проще, добрый человек нашелся, взял в охапку и неси.

Нина Григорьевна не войдет в церковь, а выждет, когда станут христосоваться и народу поубавится. А Тамара Ивановна, ей дурно не делалось, снова начнет пробираться и проткнется. И тут – грех один! – она отбрыкивается, а ее снова понесли на паперть: стой тут, задавят. И почему-то это особенно тронуло Ивана Павловича Кобеко и на безлюдии в оккупацию на Пасху вспомнил: «Как увижу, выносят Тамару Ивановну!..» дальше слов у него не было и только глазами: недоумение и жалость и почтительность.

На первый день Пасхи, после вечерни, в «кукушкиной» за красным столом – кулич, паска, пасхальные цветные яйца, цветы.

На улыбку Серафимы Павловны: «Опять выносили!» – «Наяда» скажет, что в пасхальную ночь от радости она ничего не помнит.

Иерусалимский говорит, что «такой паски и кулича нет и у Чичибабиных».

Еще бы, и секрет «берестовецкий», и своя работа!

5

Присматриваясь, как мы живем, – а жили мы чудом Божиим: Серафима Павловна за свой курс по Палеографии

в Школе Восточных Языков получала очень мало, а я за свое неверное – напечатают или не напечатают? – и того меньше – он все еще хотел, сердце отзывчивое, помочь нам: достать денег.

Подходило лето, мне все равно, только б мне не мешали заниматься, а Серафиме Павловне – ей нужна природа, небо, воздух

Но у кого он мог достать денег? Ни он никого, и его никто Было письмо к Доре Юрьевне Доброй А это не так просто Возили мы его к Лазаревым, куда приехала Дора Юрьевна, познакомиться У Лазаревых и у всех Добрых и их родственников (брат Доры Юрьевны Абрам Юрьевич) был особый слух к моему голосу. Я читал «Цыганы» Пушкина. Я заметил, как слушал Иерусалимский: стихи вытягивали его и наполняли, вот запоет. А Доре Юрьевне он не понравился У Лазаревых он забыл свой эмпермеабль, хватился дорогой, но возвращаться не захотел и оставил у Лазаревых свою бедность

Он многое понимал в нашей жизни, но он еще не спросил себя о моей судьбе, как я спрашиваю себя что же это такое, я не художник, а рисую картинки и иллюстрирую свои рукописные альбомы, и Марья Исааковна Барская и Тамара Ивановна ходят с этими альбомами и картинками по знакомым и незнакомым не удастся ли продать кому, да и Нина Григорьевна; и в то же время, пользуюсь всякой минутой, пишу, и у меня готовы две книги – «Голова Львова» (IV и V-ая часть Оли) и «Учитель музыки», эмигрантская идиллия или на бессрочной каторге, а издать никто не берет, да так и до сих пор не изданы.

И только много спустя, он спросит себя и ответит· «а потому я рисую и потому не издают мои книги, что слово у меня неразлитно с моим голосом, и если отнять голос, слово погаснет, и не читать мое надо, а слушать меня».

Не знаю, может, он и прав, самому свое как проверить!

6

С того вечера, как подкинул Иерусалимский свой бейрутский эмпермеабль Лазаревым, ему повалило счастье: он открыл лабораторию в Монруже, там и обосновался – целый дом.

Лето в огне, а мы так никуда, и Тамара Ивановна, и «Наяда». не на что. И решили. Монруж не Париж: поедемте все к Иерусалимскому на новоселье.

По моему реестру – точно указано, где, в каком магазине и что – он купит шампанское и пирожные. Елена Моисеевна Островская (Кроль), она с нами, обещала котлеты – ее мать, Рони Ильинишна, делала такие котлеты, съешь без счету, я захвачу «Новоселье», доверил Лукич, в дорогом переплете, прочитаю рассказ Евгении Тур, сестра Сухово-Кобылина.

Назначено было к семи, а собрались только в восемь. Ждали «Наяду», так и не пришла.

Тамара Ивановна видела ее и рассказывала с ее слов. «Наяда» лежит: вчера, как из метро вышла, подвернулась нога и «отпал безболезненно большой палец». Всю ночь мучилась: «лежу и пересчитываю, на левой все пять, а на правой, распухла, одного не хватает – отпал безболезненно».

Пожалели бедную «Наяду» – ну, да палец не иголка, найдется.

«Да она искала ли?» спросил я Тамару Ивановну, «наверно где-нибудь под простыней».

Набились в такси и весело поехали: дорога!

Хозяин тоже встретил нас весело· от нетерпения он заметно подкрепился.

Квартира весь верх, много комнат и все пустые – с этого начинается новоселье' и только в одной на глаз полный беспорядок: на столе аппараты и приборы, проволока, винты, деревяшки, тут и кровать и уголок на столе: бумага, исписаны колонкой цифры – повел в ванную – не действует и какие-то рогожки.

Со временем все устроится: «Наяда» найдет свой безболезненно отпавший палец, а Иерусалимский приведет в порядок ванну.

«Так заворзать», не успокаивалась Серафима Павловна, «а все это вон».

А когда стали выгружать запасы, все оказалось такое, как я записал, – шампанское, пирожные – но в доме не нашлось никакой посуды, какие-то горчичные стаканчики, и куда котлеты положить и томаты, хоть бы какая тарелка!

Пока бегали по соседям добывать рюмки и тарелку, совсем стемнело. Со стола, со стен, с подоконника давило железо.

«Вы хоть бы меня предупредили», пенял я хозяину, «у нас сколько хотите горшочков из-под простокваши».

Хозяин очень волновался, тоже куда-то выбежал, а возвратясь, в смущении неестественно затихал.

Перед домом вроде садика. Под каштаном садовый стол. Вынесли лампу и разложили угощение. И только пробку выпулить и поздравить. Но тут хозяин неожиданно впал в самое нежное умиление, какую там пробку, слова не выговаривались, и только всем улыбается

Общим натугом раскупорили шампанское, весь стол в пене, теплое, попало и на островские котлеты

И я вдруг увидел у его ног собачка и как она глядела на нас: ей было за хозяина неловко – «но вы поймите, как он ждал – вы его первые гости – а как волновался и обрадовался!»

Собачка не отходила от него, а он ее молча гладил.

Читать мне не пришлось. И темно, да и домой пора.

Не знали, как достать такси. Хозяин садился к телефону, брал трубку и улыбался – но что может на расстоянии вызвать улыбка, не слово, по проводу не передается. А слов не было.

Тамара Ивановна и Елена Моисеевна куда-то бегали. Долго пропадали Серафима Павловна очень беспокоилась. Наконец, едут на такси.

Недоеденное в сумку. И весело поехали домой. И с нами Иерусалимский. Чаем в «кукушкиной» закончим новоселье.

А когда под кукушкой на стол выпростали мешок, я с ужасом увидел, что в драгоценный переплет «Новоселья», как жадный «пиявок», влипло облитое шоколадом с шоколадным брызжущим кремом – если бы видел Лукич! И как и возможно ли поправить?

Читать мне не пришлось, и Евгения Тур на новоселье не прозвучала А Иерусалимскому вернулась «члено-раздельная речь»· он обещал едким составом вывести пятно – «за кожу не ручаюсь».

С год я возился с пятном, не вывел – выручил сам Лукич: жалоба на сырость, сколько книг перепортила! – и я свалил мой грех на сырость. Книжник простит самую горькую обиду, но за книгу – никогда не забудет

Это пятно и собачка остались у меня в памяти Собачка – звериная любовь! – как она заступилась и в глазах такая печаль, не может сказать и заменить нечем, не руки, а лапы. Звери любят крепче человека, но зверей надо любить.

7

На Рожество в канун войны елка у нас необыкновенная. Не Мамченко, не Чижов – оба в обезьяньей Палате елочники – досталась елка чудесным образом.

Принес елку Шаповалов в подарок, а досталась она ему «случайно». нес он от «Птиц» («Рами» – Миньевич) заказ, дом богатый, и как он спускаться с черного хода во двор, обратил внимание, у пубелей («помойка») стоит елка ухватя, тихонько вышел

Необыкновенная елка и по происхождению и по величине и по украшению.

И стояла елка у нас до масленицы. Все гости любовались и ахали под потолок, две звезды. светло-серебряная, как молодой месяц, и тускло-серебряная, как сомья чешуя.

Ждали Иерусалимского, обещал принести самотушитель: «и свечка погасла и чаду не слышно», и не пришел. А была и Елена Моисеевна с шампанским и «Наяда» – палец ее нашелся, это ей от опухоли показалось, что отпал безболезненно. И на разбор елки Иерусалимский не показался.

А с Тамарой Ивановной чуть беда не стряслась – очень испугалась Серафима Павловна.

Как разобрали елку и оставалось снять что вовнутрь попало, Тамара Ивановна залезла под елку и оттуда вытаскивает А Иван Павлыч «торопленный», растворил окно, да захватя под середку, в окно и саданул елку вниз головой. Слышно было, как бацнулась елка – и все кошки во дворе с детским криком, как воробьи – и в забор. Закрыли окно. А Тамары Ивановны нет. Иван Павлыч говорит, что он не посмотрел, но выбрасывать – он бы почувствовал. И все-таки для проверки сейчас же вышел. И только что за дверь – а навстречу Тамара Ивановна: она сбежала во двор посмотреть, как ударится елка.

8

С войны Иерусалимский пропал. И никаких вестей Говорили, что в Бретани Исчезла и Тамара Ивановна. Говорили, что в Париже и живет в «икре у Петросяна», от нас недалеко.

И появилась она вдруг.

Это вскоре после первой бомбардировки (3 июня 1940-го). Голова у меня забинтована, и смотрел я прищуренным глазом,

а в ушах звенит стеклянный дождь Я долго не мог оправиться. И потом, в оккупацию, все это выразится в цветных серебряных конструкциях, которыми украсятся стены «кукушкиной» «Без стукушки ничего не бывает!» сказал бы премудрый «истинный» Кузьма

Тамара Ивановна сбегала к Суханову и возвращается с огромным свертком, а развернули и чего-чего нет, как в мешке у ламы – ветчина, котлеты, сырники, голубцы, черный хлеб, баранки, а для Серафимы Павловны запрещенная халва – на десять франков! И по сей час на мне долг – 10 франков, по-теперешнему десять тысяч.

Обещала зайти А ушла на долгие годы, а с Серафимой Павловной на вечность

Во время болезни Серафимы Павловны, в наши беспросветные дни – «Тамара Ивановна, теперь вы поняли бы меня. я говорю, что сочувствие острее чувства и страж человеческой муки страждет глубже страдающего, бессилен помочь, нс я сказал, говорит Софокл!» – Не раз вспомнила Серафима Павловна «Лопатку» и Иерусалимского И говорил, что они непременно придут, и как же так не прийти, когда такое творится, сердце у них не косматое, глаза не пустые, и разве можно мимо пройти, я верю. И Серафима Павловна верила и ждала.

9

Как-то зашел Георгий Гаврилыч Шклявер, «муж премудр и разумен», в законе тверд и сведущ, знает всех парижских прокуроров по имени и отчеству, и все конституции ему, как мне осетрина, банан облезьяну. Но это уж когда в Париже снова запели Марсельезу, четыре года кануло.

«В редакции “Патриот” получена рукопись, – сказал Шклявер, – тема интересная наши достижения за последние годы Статья написана на сомнительном французском, а подпись Пантелеймонов».

– Иерусалимский! – обрадовался я, – знаю.

«Пантелеймонов», поправил Шклявер.

– Пантелеймонов, да он же и есть Иерусалимский.

И я рассказал Шкляверу, какой это чудесный человек, этот Иерусалимский Борис Григорьевич, именинник на Бориса и Глеба, с Чижовым и Зайцевым, и о холодильнике, как текло, а он поправил, и о куличах его месива, и как хотел он достать нам денег уехать на лето, и как звери его любят и он зверей любит, о его внимательной собачке.

«Я так и думал, что чудесный, – сказал Шклявер и прибавил: – на сомнительном французском языке, надо попросить оригинал».

А вскоре читаю в «Патриоте»: Борис Пантелеймонов – подвал – чего достигла Россия за последние годы. И мне любопытно. И до чего великое дело техника в умелых надежных руках, чудеса! На полюсе зреет виноград, в Усть-сысольске яблоки, а в сибирских тундрах «морковка».

Я сейчас же написал ему на «Патриот», помянул и о «морковке», попеняв, что этак в умилении можно дописаться и до яичек и до десятифунтовой «курочки».

И вот на «морковку», после стольких лет, вошел в «кукушкину» Пантелеймонов

И ничего в нем от «похоронного бюро», как выразилась Дора Юрьевна Добрая (у Лазаревых он в черном иерусалимском сюртуке), он был в сером и не конфузился, округлился и окреп. Нет, это был не Иерусалимский, я только сразу не мог сказать его имя по-обезьяньи. И вдруг нашел «Стекольный мастер» или попросту «Стекольщик».

Пантелеймонов изобрел «синтетическое» стекло, заливает цветы и мелких зверей, и они у него под стеклом, как живые, не надо и в спирт сажать, мокнуть. А со временем – он делает опыты – он найдет заливку и на крупных зверей и на деревья, он зальет слона и пальму.

– И человека?

«И человека. Стеклянные дома, стеклянный фруктовый сад – да это будет зачарованное царство из “Спящей красавицы”».

– А вы знаете, перебил я, вдруг вспомнив, что знали кельты – кельтские феи, а наверное известно ламам в Тибете, вы слышали о остекляющем сне? В таком сне зачарован спит Мерлин.

Но он думал о своем синтетическом.

«И все анатомические препараты будут сохраняться не в спирту, а остекляненыы».

Пьем чай не в «кукушкиной», а на кухне.

«Вот и у меня нет посуды», вспоминаю иерусалимское хозяйство в Моируже, все чашки без ручек, черепки – не тарелки, кладите на бумагу.

Он принес колбасу. Но не как другие, принесет и за разговором сам все и съест, он отрезал себе ломтик, а остальное мне на завтра. Потом озирнулся и руку в карман, пошарил и, отхлестнув, вытаскивает тысячу – и это тоже мне.

Ну, и кто и как – вспоминаем – четыре года прошло и как прошло!

«Островская? Тут, а ее сестра Анна Моисеевна – депортирована, донесли. Недавно вернулась».

Переходим в «кукушкину»

– А Тамара Ивановна? спрашиваю.

«Какая Тамара Ивановна?»

Меня удивило, и я повторил

– Лопатка.

«Не помню: Лопатка!»

На одно мгновение я подумал, какая короткая память, и вдруг увидел, как Стекольщик надулся – никелированный самовар.

«Так вы не помните Тамару Ивановну?»

«Нет», сказал он с каким-то щипком и весь остеклился, прозрачный.

И я, прочитав другое, подумал: «будь я следователь, я отправил бы его назад в тюрьму». И еще подумал: «какой он правдивый, как трудно ему солгать».

Почему он скрывал, что женат на Тамаре Ивановне, так и осталось для меня тайной.

10

Он был правдивый. И вся его хитрость наружу. Таким лучше не обманывать: попадутся.

Он был целомудренный. Нельзя представить себе, чтобы он ругался или сквернословил, литературная традиция, исключения – Карамзин, Жуковский, Белинский едва ли крепко выразились хоть раз во всю свою жизнь. Его покоробило – я читал ему о Достоевском, мою «потайную мысль из каторжной памяти» – как я определил «Эмеранс», а я выразился обиходным XVII века, встречается у Аввакума, он советовал заменить это «цензурное» грубое полицейским тусклым «публичная». Он взялся прочитать мне самую живую страницу из Юрия Слезкина – и так читал! – давясь и краснея.

Он был необыкновенно доверчивый.

Без обмана я жить не могу. Мечтая, обманываю себя и радуюсь, обманув других. Люди сурьёзные, трезвые – скучные люди осуждают: врет все. Одно лето, карауля Париж – живу в полном затворе – я «систематически» обманывал Одарченка-Бормосова («Денёк») и Копытчика – С. К.

Маковского Чарыми цветами я засыпал их глаза – и они мне поверили. Но кто оказался несомненнее, это Пантелеймонов. В Париж на съезд Топонимии из Индии, конечно! приехал Солончук, о Пантелеймонове он слышал, конечно! и пишет ему письма Самое горячее признание. Разжег и временно пропал, поехал мошенник к своему старому рязанскому другу, куроводу и лесосеку Солнцеву рыбу ловить в Сэн-Пият, где и воды-то знают, что колодезная. Всему верит – верит, что он «единственный» и «ниоткуда не происходит, ну, как Мусоргский», верит в «Оплешник», «Лукопера», «Зык» и «Зуб» – басаврючьи литературные затеи Солончука. Да что Солончук, он поверит и в дружественную юмористическую критику, и розовый смешливый листок будет вкладывать в свои зеленые книги.

Теперь, когда ему не до юмора, он не примет мои слова за обиду, не скажет «не хлопайте линейкой по руке» «слушайте, можно о человеке сказать самые высокие слова и наделить великими дарами, а выйдет не в похвалу, а в посмех. Так нечаянно, без злой воли, поступили с вами!»

11

Посвящение в «стеклянные мастера» совершилось осенью. Никто ничего не знает о Тамаре Ивановне И только в Рождество я получаю от нее письмо – нашлась!

Она зажгла лампадку и вспоминает рождественский сочельник в «кукушкиной» – вспоминает Серафиму Павловну – Серафима Павловна сидит под кукушкой нарядная в голубом и во лбу ее, серебряной звездой, светится миро – прикладывалась к Празднику. А я перебегаю из «кукушкиной» в кухню с тарелками, балагуря. После чаю все в комнату Серафимы Павловны, там в сумерках, из красного угла от золотых образов, красная лампадка. Не будем зажигать электричество, огонек за огоньком – свечка за свечкой – и сияет елка: «Дева днесь Пресущественного рождает». Сидим молча в свете, глаза в свет А подпись: Тамара Пантелеймонова.

Когда придет Тамара Ивановна, не назовешь «Лопатка», она не то что стала важная, но ведь и Иерусалимский не Иерусалимский, а Стекольщик, а скоро сделается Пантелеймонов.

12

В «Патриоте» Пантелеймонов печатает по советским матерьялам «О пятилетке» Больше никаких «морковок» не попадалось, все было, как статьи пишут, Неманов или Пантелеймонов, не различишь. А выходила еще газета «Рабочее слово». Принес мне показать, как потом скажет, «на злой глаз», – отрывок из колхозной повести.

Написано гладко – добросовестный В. Муйжель («Русское Богатство»). И, конечно, не без «глагольных». В черновиках сам грешу и оттого глаз у меня цепок и беспокоит ухо.

О этих «глагольных» или «подглагольных» в 40-х годах писал А. В. Дружинин, наш «эстетический» критик, тогда еще говорили о искусстве слова. – Эти «глагольные» в стихах не дорого, а в прозе – муть, раствор и жижа. Дьяки XVI–XVII вв. любили заключать «глагольными» приговор – «чтобы впредь не воровать и людей не смущать, бить батоги нещадно» А в «деле» никогда созвучий, крепко в-точь. А в разговоре где и когда вы услышите «глагольные»? Разве оговорится, и непременно, не замечая того, поправит себя. По «глагольным» узнавали хлыстов и скопцов, а у них по привычке ритм в накате держится глагольными. Автобиография Кондратия Селиванова, – диктует сплошь на «глагольных».

Явление «глагольной» книжное: повести пишутся не безразлично, хочется запеть, а дыхания нет, хоть «сглаголю», сойдет.

Я показал все «глагольные» в Повести и как и чем заменить – фраза получилась куда отчетливей и звонче.

Его очень удивило: в первый раз, никогда в голову не приходило, что он пишет на «глагольных».

– Вы книги читаете глазами – для развлечения, а попробуйте слово за словом, вот еще и не такое откроете, чем и на чем пишут

Я не спросил, давно ли он пишет рассказы. Но подумал: «а может Осоргин прав, никакой Нахичеванской, а стихи Пантелеймонова?»

Потом на мои расспросы Бейружане мне говорили, что Нахичеванская стихов не писала, но и о Пантелеймонове не слышно, чтобы писал.

В. Муйжель – повесть из колхозной жизни – имени не наживешь! Имя Пантелеймонов начинается со «Святаго Владимира».

13

Есть две грамматики: школьная и неписаная сказа, природной, непроизвольно складывающейся речи. В книжной можно достигнуть большой выразительности: начиная со «Слова», Макарьевские минеи, классическая литература. В книгах пример сказа – Житие Аввакума. Но Аввакум проповедник, книжник, и его сказ прослойка живого слова в условную книжную речь.

Где же искать речевые русские лады, не подчиняющиеся правилам грамматики церковнославянской, Мелетия Смотрицкого (XVII в.)? Роман Якобсон указывает на Летописи, Обнорский на Русскую Правду – так далеко в веках и не поймешь, а есть ли что ближе – послетатарское-русское? Есть, это дьячий язык Приказов. В этой приказной речи никакой книжности, никаких «щей», да и как в деловое загнать витийство – словесность. И еще только не в «художественной литературе» – повести XVII в написаны по Мелетию Смотрицкому, сказ проникает в историю – Хронограф, в подметные листы Смутного времени. Сказ – живая вода. Никто не говорит: ходить по дьякам, нет, приказная грамота только путь. Это все равно, как в начертании букв, кто говорит паутинить скорописью XVII века? Идти из этой паутины и создавать свой рисунок-росчерк, раз я пишу русскими буквами. Книжную, застылую в книжных формах фразу надо встряхнуть и в ы г о в о р и т ь, и такая фраза зазвучит живо и выразительно.

– Надо переучиваться грамматике.

Эти мои грамматические рассуждения, сказанные не безразлично, я сам опутан школой и рвусь освободиться от «Мелетия Смотрицкого», поразили Пантелеймонова, как когда-то Пильняка. И Пильняк-Вогау упорно переучивался грамматике и встряхивал фразы.

Пантелеймонов растерялся, как и на «глагольные», в первый раз в жизни слышит: две Грамматики, и все, что он привык считать за образец, написано школьной или как ему на душу упало: «по Мелетию Смотрицкому».

«Я буду не по Мелетию Смотрицкому!» Он не сказал, но все в нем заиграло – и как он собирал свою рукопись и как прощался.

«Святый Владимир», с чего и пошел Пантелеймонов, письмо «синтетическое»: две Грамматики – волной катятся

по страницам – живая речь «сказа» и школьная «Мелетия Смотрицкого».

Да и как иначе: при всей переимчивости и таланте надо – большая работа – слить эти две волны.

«Святый Владимир» по своей теме наверняка: у кого не было дяди Володи? Или кто вычеркнет из жизни свои детские годы – чистоту и веру?

«Если бы не так много пили, заметила учительница, "Святаго Владимира" можно было бы и детям читать».

И все страницы других рассказов, где дядя Володя, а с ним вся природа, живут своей детской правдой, безо всякого натужного или простецкого модерна, соблазн между двумя грамматиками.

Дядя Володя – Пантелеймонов. И как было не полюбить Дядю Володю. Так он проходит в моей памяти: Иерусалимский-Стекольщик-Дядя Володя.

Я уверен, его полюбил бы и М. А. Осоргин – огородник, и М. М Пришвин – Лесовой Чародей, и Е. В. Дриянский – дремучий охотник.

Сколько раз я читал ему свои рассказы, а он никогда. И какой у него голос, не разговорный инженера, а в чтении?

На Благовещение приехали Кодрянские – Наталья Владимировна и Исаак Вениаминович, привезли диктофон. Будем выпускать «птичку» – читаю Пушкина и Туманского: «В чужбине свято соблюдаю родной обычай старины. » и «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей...»

На «птичке» были и Пантелеймоновы.

И после моего праздничного, но всегда «двух ладов», читала Кодрянская – прозрачный английский рожок, а закончил вечер Пантелеймонов – да у него бас!

«Борис Григорьевич! По вашим глазам вы шли дорогами Пришвина и Дриянского, это ль не честь и богатая доля! Ваши картины природы не потускнеют, их будут хранить – кому дорого русское слово. И теперь, какие леса и какую зарю вы видите не нашими, а этими глазами живого открытого сердца?»

ЦЕНТУРИОН

Я не сравниваю себя со Шмелевым (1875–1950) – имя Шмелева большого круга и в России, и среди русских за границей. Вспоминая Шмелева, говорю и о себе, потому что оба мы вышли на свет Божий в литературу, родились и росли на одной земле Так я мог бы писать и о Островском – какое уж тут сравнение! – но колыбель наша, и у Островского, и у Шмелева, и у меня Москва

Шмелев старше меня на два года, – два года не в счет, смотрю на него как на сверстника. Оба мы замоскворецкие, одной заварки: купеческие дети. И домами соседи: дом подрядчика Шмелева и дом второй гильдии купца Ремизова, а между нами исторический Аполлона Григорьева (Аполлон Александрович Григорьев, 1822–1866, «органическая» критика, что по-современному «экзистенциальная»).

Дед Шмелева гробовщик, я сын московского галантерейщика Гробовщики народ степенный и молебный, галантерейщик щеголь и балагур: одно дело снаряжать человека в путь «всея земли», другое пройтись по улице или прокатиться на Кузнецкий – какие пуговицы, а гребешки! галантерейщик и парикмахер – «венский шик» с завитком и выверть

Отец Шмелева заделался тузом на Москве за свои масленичные горы – понастроены были фараоновы пирамиды в Зоологическом и Нескучном. Долго потом купцы вспоминали в Сокольниках и на Воробьевых за самоваром Шмелевские фейерверки А замоскворецкие кумушки с

Болота и Зацепы за блинами у Троицы-Сергия – вдруг взблестнет и совсем не к месту, летящие шмелевские огни-змеи над Москвой и как бахнет – в глазах черно, качусь-лечу в чертову пропасть.

А когда мы переехали из Толмачей на Земляной вал – далеко, имя Шмелева ни Москва-река, ни городом не застенило: Серебряниковские бани на Яузе – хозяин Шмелев, Шмелевские не промахнут, и Сандуновским себя покажут!

На одном валуне, под одним небом – мелкой звездной крупой в гуле кремлевских колоколов мы росли· одни праздники, святыня, богомолье, крестные ходы, склад слов, прозвища, легенды.

Я оказался бойчее – то ли отцовская галантерея и бумагопрядильная фабрика моих дядей, или потому, что у меня не было Горкина, этого Тристановского Говерналя с Мещанской, а была воля все по-своему, в один год мы поступили в университет: Шмелев на юридический, с ним Семен Людвигович Франк, философ, всегда болело горло, я на естественный (физико-математический), со мною позже Андрей Белый – Борис Николаевич Бугаев, из современников единственный – «гениальный».

И тут наши дороги разойдутся, чтобы сойтись по-разному на общей литературной работе, мы снова встретимся· я со своим «формализмом», Шмелев со своим словесным размахом, как устно, так и письменно.

Шмелев держался «белоподкладочников» – студентов из «хорошего общества», по преимуществу богатых, с каким-то нетерпеливым отвращением сторонясь «нигилистов», как называл он, по Горкину, неказистых студентов, которые участвовали в «беспорядках», пели «Дубинушку» и малороссийские песни. Мне же, при моем рвении все узнать – пройти все науки, всегда были ближе эти самые нигилисты: «революция – живая вода жизни». Шмелев благополучно кончил университет, а мне путь – тюрьма и ссылка.

И как это странно, Шмелев войдет в русскую литературу своим «Человек из ресторана», и имя его вспыхнет над Москвой ярче бенгальских огней Шмелевского фейерверка и заглушит плеск шаек Серебряниковских бань. Это про него в «Речи» В. Д. Набоков, отец Сирина, написал «Нечаянная радость». Да это ж наша русская традиция: «совесть» и «протест» русского писателя: Горький, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев.

А я вышел – и это после всяких скитаний, моя первая книга «Посолонь», признаюсь, я тоже ждал себе «Нечаянную радость», да вскоре и в московской газете: Павел Зайкин о Павле Зайцеве «Нечаянная радость». Умные люди с сожалением говорили: «все козявками занимаетесь!» – а на Ильинке свои из гильдейских: «Чего ты ерунду пишешь, пиши, как Лесков!»

По слогу Шмелев идет от «Питерщика» Писемского и сцен Горбунова, есть и от Лескова, но без лесковского лукавого ущемления – дедовская черта: какие на Москве бывали «интересные» покойники, какие семейные разговоры, кому и чего взять после покойника, до слез и колошмата. Дед Шмелев все заметит, но даже и про себя не улыбнется.

В писательском ремесле каждый хочет написать как можно выразительнее и умнее. Но следить за словом, как оно звучит и проверять глаз, вижу я или не видя повторяю готовое, – это искусство слова нам не ко двору. Мы «такари» и «потомули», для нас первое смысл, а как написано и как могло звучать по-другому, не ущерб смысла, не спрашивается.

Шмелев далек искусству слова. Пользуясь классическими приемами описаний, он мог по дару своему и чутью и фейерверк запустить и откроет банный кран с шипом и брызгом.

Хороша метель у Толстого, и Шмелевская хорошо. Не степная, Замоскворечье: затаясь слышу – ее дикий, ее вольный голос с цыганской перегудью, сквозь прищур лампадки от нетихих грозящих образов.

«Такие события, – говорил Шмелев всегда взбудораженный, он следил за газетами, принимая к сердцу и правдошное и утку, – а негде высказаться!»

«Дневник писателя» ему заветное, он и начал свой «Дневник неписателя». Неудачно, только и объяснимо: не повторять Достоевского. Горьковское «человек звучит гордо», у Шмелева «писатель». Он готов был бы повторить за Гоголем: писатели, «это огни, излетающие из сердца народа, вестники его сил». Таким он себя чувствовал. И гордо повторял: «мой читатель».

Шмелев оставил свою московскую память: «Лето Господне» и «Богомолье». Но этого мало, его мучило – хотелось написать что-нибудь вроде «Бесов» Достоевского.

Толстовское «Не могу молчать» и Достоевского «пророчества» в беллетристической форме – и в его глазах и как он выражался.

Шмелев «во всей форме» русский писатель.

В нашей судьбе при всем нашем различии есть что-то общее. И не только Замоскворечье – колыбель Москва.

В канун войны померла жена Шмелева, Ольга Александровна – сорок лет их жизни! – и Серафима Павловна померла в оккупацию (1943) – сорок лет нашей жизни

В Крыму в революцию убили единственного сына Шмелева, и в ноябре 1943 при отходе немцев из Киева погибла наша единственная дочь. В бомбардировку 1940-го немецкая бомба саданула у моего окна, а вскоре американская бомба ударила в Шмелева – ни немцам до меня, ни американцам до Шмелева, стало быть апокалиптическая, не иначе, как Левиафан. А уж без всякого Левиафана, в последние годы оба мы по-разному вышли из литературного круга: в списках писателей вы не найдете имени Шмелева, и меня вычеркнули.

В Обезьяньей Палате Шмелев занимал место благочинного: благочинный обезвелволпал митрофорный и с палицей.

Последние годы мы, как когда-то в Москве, снова сошлись на одной улице – я в № 7 Буало, Шмелев на другом конце – 91-ый. Между нами до оккупации Сирин-Набоков (№ 73).

В первый год оккупации (1940) спозаранку выхожу из дому за кормом. И часами стою в хвосте «беспризорных». А дождавшись своей доли – суп выдавали – тащусь домой. Или с пустой посудой, как случалось от немецких казарм – нешто с бабами можно тягаться: голодная, взгрудя, перебьет очередь или задницами оттиснут. По дороге заходил к Шмелеву передохнуть.

Шмелев писал о прошлом величии России: как на праздниках ели и какие и где в Москве можно было достать продукты. И на чем я его застигну, про то он мне и рассказывает – о балыках, о осетрине, о копченой и о свежей рыбе в садках, и лавочников перечислит и лавки. И отпуская меня, всегда пошлет Серафиме Павловне «пряничек» – что-нибудь из сладкого, что ему самому добрые люди подадут. Если даже и с пустыми руками, я принесу домой гостинец.

«Сегодня, скажу, мы как-нибудь – завтра я непременно с едой вернусь. А это – Иван Сергеевич».

Столовую для «беспризорных» закрыли, и немцы к казармам больше не подпускают. И я стал ходить по соседству, только улицу Молитор перейти, в русский ресторан. Надоел – а подавали

Шмелев – на перепутье. Я весь день стою в очередях. И во все годы оккупации мы не встречались. Я спрашивал. «Пишет, говорят, да разве не читали его о Москве: ну, и ели ж в старину!»

Только с освобождения мы снова встретились. Я не отрекался от мира, но лезть на глаза, самому не видя глаз, лучше посидеть дома. Шмелев заходил меня проведать И еще больше взбудораженный: «новый читатель... а негде высказаться!»

И долго не идет, я прошу кого-нибудь из соседей снести письма. Я без кофию не могу, а у Шмелева были какие-то руки и он достанет, или вернуть книгу – Шмелев брал у меня Достоевского, никому не даю

Я заметил у Шмелева необыкновенное пристрастие к титулованным и высокопоставленным. У него голос менялся: «вчера весь вечер читал мой рассказ Великому Князю». Или «зашел ко мне генерал Деникин». И чтобы доставить удовольствие, я всегда в письмах прибавляю титул: «Баронесса Екатерина Даниловна Унбегаун», Нина Григорьевна Львова – «княжна Львова», Анна Николаевна Полякова – «графиня» (Анна Николаевна славится слоеными пирожками и поставляет Копытчику (С. К. Маковскому) свежие огурцы – для «костюмошной складки»).

«Ну, как, говорю, Иван Сергеевич?»

– Очень любезен. Только неловко: всё меня графиня-графиня. Вы ему что-нибудь написали?

«Ничего не писал, это он из уважения».

«Солнце мертвых», «Неупиваемая чаша» – Горький, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев – русский писатель, который знал и вес и цену своему слову, откуда это уважение? Или как «нигилисты», так и «графиня» не без Горкина?

Мне было чего-то неловко. Всякого можно на чем-нибудь поймать, по себе знаю, но он, Шмелев, русский писатель высоких традиций...

По свежим следам Шмелев читал мне ненапечатанные главы из «Путей Небесных». Он особенно ценил эту свою хронику: тут была и московская метель, и мценский тургеневский закат. Но не метель, не закат, ему хочется слов Достоевского, как расставаясь с Алешей скажет Зосима:

«Ты будешь все с несчастными и в несчастьи счастлив будешь», вот что-нибудь такое вклеить в слова своей героини. И Шмелев умилительно шепчет, вышептывая «истину». А никаким умилением и шепотом «истину» не превратить в мудрость.

С лицом изборожденным Стефана Георге (Стефан Георге для Германии то же, что Рэмбо для французов) Шмелев читал, теперь так и актеры бросили, с выкриком, слезой и завыванием.

Я, чтобы не подпрыгивать и не улыбнуться, рисую.

День был самый благоприятный. Жара. Чай медом пахнет.

В «кукушкиной» под серебром конструкций сидел африканский доктор читать свои черные авантюры: «Зунон Меджие, король ночи и лесов». У дагомейского короля было пятьсот сыновей «и все мальчики, поясняет африканский доктор, и всех африканский доктор заочно крестил по-ихнему в пальмовом вине».

«Как сейчас вижу покойного короля, начал африканский доктор, я сижу в его экзотическом дворце: так я – так король, друг против друга, и пьем пальмовую водку.»

Звонок. И стучат.

Я вскинулся к двери: «посылка!» – тогда еще можно было получать из Америки посылки без пошлины. Но это оказался не чай и не кофий, а Иван Сергеевич.

Без пальто и фланелевого шарфа, не жалуясь на подложечку, игриво сосредоточенный, словно апельсин чистя, вошел он в «кукушку». И кукушка прокуковала ему свой независимый час Он только что окончил поэму «Центурион».

«Вы прочтете?»

Но он и без моего, не присев, остался вдохновенно стоять, лицом в распахнутое окно «Стефан Георге!»

Солдаты, проходя мимо храма Весты, решили переночевать. При храме живут весталки. Таинственные рощи окружают храм.

Так начинается поэма – ритм стихов в марш.

Выражаясь по-ученому, скажу мое впечатление: «драстические сцены – дериват эротического сюжета» мне показались такими скромными и без всякого матросского забора, все было построено не по «Луке», а смахивало на «Карташева», я перестал следить за словами и только слышу марш.

Африканский доктор скулачился и глядел подлобно· перебили «покойного короля» и за то, что Шмелев принял его за Солнцева Но под марш, замечаю, африканский доктор причмокивает – наступила ночь

И в ту минуту, когда целомудрснные весталки начали, как скажет княжна Львова, гуртом «отдаваться» грубой силе солдат, и комната зазвучала на голоса птичника, Шмелев мастер по-птичьему, – вошел Вадим Андреев.

Дверь я забыл закрыть.

Шмелев оборвал измученную «экстазом» перепелку. Я представил.

– Вадим! Сын Леонида Николаевича! – воскликнул Шмелев (вот где подходит это затасканное «воскликнул»).

С Леонидом Андреевым Шмелев встречался «Человеком из ресторана». Леонид Николаевич был тоже «русский писатель», да еще и первый, снимался со Львом Николаевичем. Горький, Леонид Андреев, Куприн, Шмелев – золотое время русской литературы после Чехова. А Вадима Шмелев помнит, когда Вадим, старший сын Леонида Николаевича, еще под столом бегал.

В память друга и для его сына-поэта, Шмелев снова начал свой марш Центуриона: солдаты, проходя мимо храма Весты, решили переночевать.

Теперь я различаю зловещее в надвинувшейся ночи, «томительное» ожидание весталок и затаенность рощи.

Из гаража выбежал Мишка и остановился: лаять ему или не лаять? И за воротами мертвецкой показался в белом, по-рыбьи глотая свежий воздух. А ему в уши птицы.

Для Андреева Шмелев читал – в ударе.

И перебесилась ночь. С какой нечаянной радостью встретили весталки утро! С песнями покинули солдаты храм Весты.

И когда нам только и оставалось дружно «воскликнуть» браво, вошел Никитин – бывший урмийский консул, почетный легион и все персидские наречия от древнего пехлеви до современной арабской прослойки, эмир обезвелволпала. И когда я познакомил Шмелева со знатным, большой был соблазн снова начать Центурион. И если бы не африканский доктор – африканский доктор напомнил Шмелеву, что аптеки скоро закроются, и Шмелев вдруг схватился и заспешил: он всегда принимал какое-нибудь лекарство и когда болело и для предупреждения.

Я пошел провожать. Подал ему сумку. Он очень волновался – не успеет, в 7 часов закроют аптеки, а в школе пробило 7. И не прощаясь, вышел.

Я кричу на лестнице вдогонку

«Прощайте, Иван Сергеевич!»

Не обернулся. Или не дослышал

И не палка, не посох, клюкой стуча по тротуару центурионом – повернул за угол. И пропал.

КИШМИШ

Первая «Берлинская волна» в Париже – зима 1923; примета. серое пальто и всегда говорят не «метро», а «унтергрунд». Так узнаются русские парижане берлинского происхождения. Вторая «Берлинская волна» – весна 1933 г, примета – по всякому поводу восклицание· «чудно» – с немецкого «wunderschön».

В первую волну докатились до Парижа старые писатели – «тертый калач» «прокрустовым» литературным навыком и «мышиональной» похваткой – приемами давности – революция 1905 года. Во второй волне, раскатившейся по Парижу, это те, кто во вторую революцию – 1917 г. под стол пешком ходил, но ни Керенский, ни Колчак – Деникин им ничего не говорят, и для которых берлинское «Зоо» не просто зоологический сад, а как тот чудесный сказочный сад с золотыми яблоками, который сад и во сне снится и в старости, если кому суждено дожить, вспомянется.

Среди приезжих я встретил очень талантливых и больших книжников: Блейка не спутают с Блэком. Они привезли с собой из Германии «методичность» в работе, дисциплину и всякие знания, на всех нас, закоренелых, хватит; что ни спросишь, все знает, как в естественных, так и в гуманитарных науках, в философии и астрологии.

*

«Кишмиш» – рукописный сборник книжных любителей из двух берлинских волн, осевших в Париже. Редактор Михаил Горлин (по-обезьяньи «Мышонок»), обложка и заставки Нины Бродской.

Редакционная статья – романтическая ирония, рука «Мышонка». Его же и цитата из Писемского о Гоголе, 1858 г, через шесть лет после смерти Гоголя (1852 г)

«Немногие, вероятно, из великих писателей так медленно делались любимцами, как Гоголь Надо было несколько лет горячему, с тонким чутьем критику (Белинский), проходя слово за слово его произведения, растолковывать их художественный смысл, надобно было несколько даровитых актеров, которые воспроизвели бы гоголевский смех во всем его неотразимом значении; надобно было, наконец, обществу воспитаться его последователями, прежде чем оно в состоянии было *понять* значение произведений Гоголя, полюбить их. Но прежде чем устоялось общественное мнение, сколько обидного непонимания и невежественных укоров перенес он. “Скучно и непонятно!” – говорили одни. “Сально и тривиально!” – повторяли другие, и “социально-безнравственно!” – решили третьи. Критики и рецензенты повторяли то же».

А за этими словами Писемского ответ обиженным писателям – пишет Осоргин: он согласен с Писемским, но «почему бы писателям не попытаться просто *полюбить* читателя. только это чувство может положить начало взаимному пониманию и интересу друг к другу».

Стихов в сборнике нет. Редактор дает объяснение пустым страницам, озаглавленным «Стихи» – Мышонок не скрывает: «я сам пишу стихи, – говорит он, – но думаю, ведь слово “поэт” значит: тот, кто “творит из ничего”, правда, “ничем” мы богаты, но разве это все? и тот, кто рифмует, разве поэт?»

Рассказы представлены, по старой литературной традиции, с редакторскими исправлениями и сокращениями, что в рукописном сборнике очень наглядно и поучительно Особенно пострадал рассказ Ивана Ивановича Зурина· «Валютные бури» Ивану Иванычу Зурину, как известно из «Капитанской дочки», эти самые бури, что вам «транш» мороженого в августовский зной на Б. Бульварах: всякая строчка у него в своем строе, каждое слово, как в гнездышке, тронь одно, и все рассыплется. Ничего не поделаешь, редактор для науки рассыпал: за какофонические аллитерации, подглагольные и свистящие и шипящие сочетания.

Есть в «Кишмише» и «Архив».

В России «открыт», а надо правду сказать, никогда ни от кого не скрываемый, мой Архив; в Публичной Библиотеке

и в Пушкинском доме – 20 томов – 2000 документов 1902–1921 (5–VIII). Из этого Архива печатаются письма Горького, Л Н. Андреева, Блока, и с «комментариями». В «Кишмише» помещен документ из моего заграничного Архива, но по старой литературной традиции с объяснениями собирателя, который все-таки еще существует на белом свете. Документ называется: «как меня высылали из Берлина за "спекуляцию"».

*

Новый 1923 год мы встречали не дома, как обычно, а у соседей – Лурье: накануне наша хозяйка объявила, что держать нас она больше не может и чтобы искали комнаты, а выгоняет она нас за попорченные тарелки, а говоря просто, за Чирикова (†1932) и Андрея Белого (†1934). Приезжий из Праги, был у нас в гостях Чириков и в тот же вечер пришел Андрей Белый. Оба большие спорщики и говоруны, сцепились, кто кого, и до полночи шумели, и который-то из них тарелку ухватя да вгорячах и кокнул, а тарелка не наша, хозяйская.

Лишиться комнаты в те времена – большое несчастье. Но этого мало, беда вызывает беду – после нового года получаем из Полицейпрезидиума (Префектуры) требование покинуть Берлин в двухнедельный срок или, как это грозно звучало в повторном предписании:

«Я Вам предписываю найти себе помещение вне Большого Берлина в течение этого срока».

Положение безвыходное: из комнаты погнали, а новую с таким документом искать зря, никто не пустит.

Одновременно с нами та же участь постигла Адольфа Марковича Лазарева. Служил он бухгалтером в Киеве у А. Ю. Доброго, в Берлин попал по вызову Доброго, чтобы впоследствии занять то же место в Париже в банке. Лазарев и в Киеве слыл книжником, а в Берлине ударился в философию. Его жена, Берта Абрамовна, художница.

О причине высылки ни я, ни Лазарев ничего не могли дознаться и оба мы, дураками, искали в себе, чем бы обвиноватиться, и решительно не находили никакого за собой преступления, совесть была чиста. Я еще подумывал, не за испорченные ли тарелки? Но узнаю, что у Лазаревых вся хозяйская посуда в том самом виде, как при въезде приняли: ни одной цельной тарелки, все битые. Стало быть, битые тарелки не причина.

Опытные люди, в руках которых обращалась в те годы нелегальная благородная валюта, догадывались по полицейскому извещению· «Абт 1 А, фремденамт», и уверяли и Лазарева и меня, что высылают нас не иначе, как за «спекуляцию».

И все, кому мы рассказывали о нашей беде и что делать, я-то сразу заметил, смотрели на нас с тем снисходительным сожалением, как смотрят на проворовавшихся приятелей и пойманных жуликов – ну, не от жадности, а по неопытности

А время идет, вот когда время шло, за каждый день зубами б уцепился, припредержать

Лазарев послал телеграмму Доброму в Париж, а я Томасу Манну в Мюнхен.

Лазарев получил въездную визу от Доброго, а я ответ от Томаса Манна, Мюнхен 31 января 1923 г.

Подлинник хранится в Полицейпрезидиуме, Александерплац 3–6, а в «Кишмише» копия, но какая, сам Томас Манн не отличил бы от своего письма А вы знаете, что такое почерк Томаса Манна – разобрать ни одна лупа не берет.

Единственно, в чем могу похвалиться, на почерка у меня рука точная. – подделаю любой до неузнаваемости. И в истории мне памятен тот арабский мастер, писец, который подделал письмо самого доброго человека на земле Яхьи-ибн-Халида к его врагу Абд-Алла – примирил их.

Какой же я спекулянт? Может быть, дознались о этой моей способности подделывать почерк – не знаю юридического термина – а это поопаснее спекуляции? И вот в двухнедельный срок пожалуйте, пошел вон!

Я открыл свою догадку Лазареву:

«Векселя?»

Я подумал· «вексель! чей?»

«Нет, говорю, только подпись Сувчинского на “обезьяньей грамоте”» и эта копия письма Томаса Манна, определите, где оригинал?

Sehr verehrter Herr Remisow,

Ich höre, dass Russen in Berlin jetzt zuweilen Aufenthaltsshwierigkeiten von amtlicher Seite erfahren Ich bin überzeugt, dass man von Ihrem Namen unter allen Umstanden halt machen wird, möchte Ihnen aber jedenfalls ausdrucken wie ganz besonders schmerzlich es mir wäre, wenn Ihnen in Deutschland irgend etwas Unangenehmes zustiesse. Meiner Meinung nach kann Berlin Stolz darauf sein; Sie, einen der ersten Dichter des

Heutigen Russland, in seinen Mauen zu beherbergen. Gern erinnere ich mich unseres Zusammentreffens vom vorigen Jahre. Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen, war mir ganz ausserordentlich lieb und wichtig. In grosser Verehrung bin ich mit herzlichen Grüssen an Ihre mir damals bekannt gewordenen Landsleute,

Ihr ergebenster

Thomas Mann.

«Я узнаю, что русские в Берлине испытывают теперь со стороны администрации некоторые затруднения по праву местожительства. Я убежден, что во всяком случае перед Вашим именем должны остановиться, но в то же время мне хочется Вам сказать, как мне было бы больно, если бы с Вами в Германии случилось что-либо неприятное. По моему мнению, Берлин должен гордиться иметь Вас, одного из первых писателей современной России, в своих стенах. Я с удовольствием вспоминаю встречу с Вами в прошлом году. Мне было в высшей степени приятно и важно познакомиться с Вами лично.

С совершенным почтением и с сердечным приветом Вашим соотечественникам, с которыми я тогда познакомился (А. Белый и Б. Пильняк).

Весьма преданный

Томас Манн».

До Пасхи дотянулось наше «двухнедельное» междометие.

Были минуты такой надоедливости в нашем неопределенном, ведь хозяйка с ее упреком и подозрительно с утра до вечера, и никуда не скроешься, казалось, пусть бы зеленый шуцман сразу все кончил и пусть в Моабит (тюрьма), я не знаю, куда еще только б освободиться.

Я разговаривал с полпредом Крестинским и с Б. И. Николаевским, и Крестинский и Николаевский только удивляются невероятно. «я и спекуляция[1]»

Потребовалось личное вмешательство прусского министра внутренних дел Северинга. И только, когда зацвела в Вердере вишня, нам снова выдали по удостоверению Северинга желтый «персональяусвейс» – правожительство на три месяца.

Вот почему я так люблю вишни – Владимирские, а тут, за границей, черешню, белый цвет – весеннюю порошу – все позабудешь.

*

В библиографическом отделе «Кишмиша» два отзыва за подписью «Г.». Я знаю, по старой литературной традиции, как псевдоним, так и инициалы не принято раскрывать критикой, но я скажу, это писала Марья Ивановна, жена Петра Андреевича. О книге А. З. Штейнберга. Достоевский в Лондоне. Изд. Парабола, Б., 1932 и о 1-м томе Вас А. Слепцова (1836–1876). Изд. Академия, Лг. 1932

«Единственный писатель, – говорит Марья Ивановна о Слепцове, – какая ясность, острота юмора и "дума"». Слепцова высоко ценил Тургенев, а Толстой без слез не мог читать «Питомку» (1863). И это правда, вглядываясь и вслушиваясь и еще вчувствоваясь в «думу» стиля, а эта «дума» – это сердце – живая кровь литературного произведения Слепцова можно сравнить только с моим любимым, за легкий «пивной» юмор и грусть, с Чеховым. Но какое расхлябанно-серое провинциальное с пестрящими глагольными Чехова рядом с тонким строгим рисунком Слепцова («Трудное время»).

За подписью Алексей Иванович Швабрин помещена краткая историко-литературная справка: любопытный прием в композиции романа Писемского «Взбаламученное море» (1863 г)

«Только в театре старых немецких романтиков, – пишет Алексей Иваныч, – автор-драматург выступает, как действующее лицо на сцену, в повестях же единственный раз в романе у Писемского: "извиняюсь перед читателями, что для лучшего разъяснения событий, я, по необходимости, должен ввести самого себя в мой рассказ". И после этих слов вступает в действие, как герой, Алексей Феофилактович Писемский».

В мемуарном отделе «Кишмиша» стоит обратить внимание на «Отрывки воспоминаний о гимназии». Подпись Пугачев. Но из-под пера разбойника смотрит на вас, озираясь, наш старый друг Иван Павлыч Кобеко. И что замечательно. в этих трогательных воспоминаниях о гимназии – неисправимо сентиментальные разбойники, а о гимназии ни слова, и трудно понять, при чем гимназия?

А заканчиваются «гимназические» воспоминания загадочной строчкой из Слепцова, из его Осташкова: «на всем свете война. . вот и в Персии, уж на что, кажется, пошлое государство, а даже и там, говорят, бабы взбунтовались».

Не знай, что это труд Ивана Павлыча, можно было бы смело сказать, что автор о гимназии без гимназии никто иной, как Макс Жакоб.

*

В заключение скажу, что в «Кишмише» есть и мое – моя гастрольная писательская часть: «Воровской самоучитель» и «Сон» – Мышонок (Горлин) не поскупился местом.

Одно было требование: писать без завитков, отчетливо, как для набора, соблюдай красные строчки, и пусть без линейки, но и без скоса, и никаких зверей – на зачеркнутых словах.

Безногая птица Лира из старинного Бестиария, покоясь на солнечном луче – мой эпиграф к моему «Воровскому самоучителю».

Есть наука о любви, но по воровскому вопросу во всемирной литературе и самого дешевого учебника вы не найдете. Объясняется это очень просто: как друиды не разрешали записывать свое тайное тайных, так и во всяком воровском деле держи язык за зубами.

А к моему «Сну» вместо эпиграфа объяснительное вступление...

Нынче летом я получил «конже» от хозяина. «Конже» по-русски: «убирайся ко всем чертям». И как однажды в Берлине, попал в заколдованный круг. Хозяин требует очистить квартиру, а налоговый «персептер» (сборщик) изволь уплатить все налоги и даже этого года, что подлежат рассрочке, а иначе съехать нельзя.

«Мышонок» заколачивал ящик с книгами, Мамченко перетаскивал их на чердак. С. О. Карский и не раз водил меня в «Отель Масса», во французский союз писателей. Но там в конце концов ответили, что помочь мне не могут, помогают только французам, а что не печатают меня потому, верно, что я устарел, и тут уж никто и никак не поможет.

От «персептера» к «контролеру», от «контролера» к «жерану» (управляющему), так всякий день.

И из вечера в вечер я пишу великую ектинью во все концы земли и, как часто бывает, адреса не знаю, – в небеса. Опустошенный письмами, напрасными ожиданиями, под утро я ложусь, но сна нет, я продолжаю мысленно пи-

сать прошения, а если и засну, то, вздернутый на веревке, вздрогну до искрящейся дрожи и сон пропал.

В такую-то минуту после судорожной искры, я, сорвавшийся висельник, неожиданно крепко заснул, и мне приснился поистине фараоновский сон.

Мне снится, в комнату влетела пчела и жужжит. Я поднялся и руками махаю в окно – и прогнал. А когда взялся окно затворять, в комнату влетела не одна, а пять пчел, и все разноцветные И вижу, и глазам не верю, у зеленой пчелы розовое полено в зубах.

И тут я проснулся, но не из-за полена.

«Все равно, думаю, в “Кишмиш” попадет (не для большой публики), писан он каждым автором самостоятельно, разбирайся, кому время есть и охота глаза портить».

ГИППОПОТАМЫ

Памяти Henry Church

«Eine asiatische Giftpflanze» (la plante vénéneuse) на старой земле великих мастеров, мыслителей и поэтов, а среди своих неприкаянный, я русский.

Мое имя «бесполезно» – если посмотреть на литературное ремесло, как на «приятное и полезное»: учительное и воспитательное (по Льву Толстому), и развлекающее (бодрит к работе); или говорят: «непонятно» – что ж, сапоги шьют по мерке и нет одинаковых почерков, а дураку – понимать все хочет. Или, и такое слышу: «вздор» – ваше пристрастие к ерунде (goût de l'absurde).

С 1921 г в России, на моей родине, и с 1931 г. на чужбине, в Европе, по-русски не издают моих книг, я перестаю быть на книжном рынке, как «литературная единица», а все эти годы я пишу

Слово! – верую и исповедую, люблю и тружусь.

Моим глазам в какой-то мере открыт мир сновидений – ерунда и вздор на лавочный глаз, а сказка (Mahrchen) в германском и восточном, мне она свой благоустроенный «тибетский дом»; в легендах же я чувствую несравненно больше живой жизни, чем в исторических матерьялах.

Я пишу по-русски.

Но разве стиль можно передать на другую речь?

Перевести, значит, обесптичить (оглушить). И вся моя словесная игра, все мои опыты «природного русского лада» закрыты, и в переводе из разглаженных завитков и завитушек лишь выблескивает ведовская прядь.

По словесному чутью Jean Paulhan, автор «Les Fleurs de Tarbés», ввел меня в свое французское Святилище Слова.

Таким Святилищем четыре года (1935–1939) стоял «Mesures», Ville d'Avray – Henry et Barbara Church.

Первый мой глаз: Henry Church – то ли тут фамилия меня настроила: пастор – пастор в стекле. их дом на пригорке, стенное окно в сад, птички перепархивают И тишина, все молчком.

То же и у Gallimard'a.

Весенний прощальный прием (la réception) NRF, всякий год до войны бывало. Народу, подбирай ноги, а пошустрей который, так просто в бок кулаком дернет и проскочил. И все к голубому Paulhan'y. А не нарядись Paulhan в цвет Плеяд, ей-Богу, и его сбили б. А Church стоит – смотрю через стекло – пастор! К нему не лезут, а подходят, здороваются, но без надсадки, такого не сломишь. Это не Benjamin Crémieux.

Crémieux по бороде поймают, да где-нибудь и припрут к сырному столу – ломтики разложены, нарезанные с сыром, а поверх вроде колбасы вот этакий малюсенький кусочек лягушечьей печенки – сначала он пытается работать руками, а потом уже неволен, и держат его, как преступника (секретарь PEN-клуба), откуривайся-не-откуривайся, табаком не возьмешь, нынче все курильщики.

Я за Church'ем всегда слежу, не упустить бы. И всегда в голове одна мысль: «аванс» – последняя моя надежда: очень трудная жизнь была с деньгами и всегда под грозой: или газ и электричество закроют или с квартиры турнут. Теперь я богатый – мне ничего не надо: в папиросах нехватка, то же и с бумагой, да не все ли равно: были бы папиросы, все бы выкурил, а бумага – исписал бы

Я никогда не пристаю, а скажешь раз, не повторяя – или по моей растерянности он догадывался – и я уходил домой счастливый· топаю по лестнице мимо консьержки, как подкованный конь, лисой хвост помахивается.

И все молчком. Это ламы, как желтые и синие колокольчики, говорливые, а пастор – каждое слово на вес. И никогда не присядет. Так и осталось.

И говоря себе: Church, – вижу, вон он: стоит за моим столом на расцвеченной серебром стене между спускающихся змей: серебряной из Сахары и чугунной с острова Олерон; в руках не молитвенник, а кубовый «Mesures» – читаю – Bacillus subtilis artis.

По пятницам в NRF у Paulhan'a – толкучка, а не очень громко и, если сравнить, то с добрым собачьим урчаньем, а в «Mesures» – тишина, как в кумирне в час лошади полднем

*

Картина меняется. Прощальный вечер «Mesures» в канун войны – 18 июня 1939.

К Church'y в это воскресенье наперлось гостей, по приблизительному подсчету Marc'a Bernard'a, глаз у него зоркий, ни мало ни много, что не вся тысяча, не считая случайных и «заодно». И тут уж никакая молчанка, музыка пошла – начали с трех, а кончили с петухами – и музыка, и фейерверк с финальными гиппопотамами, изобретение и гордость самого хозяина.

Хозяин, еще загодя, еще зверей не кормили, – а ведь, все мы, и есть не хочется, а обязательно к буфету броситься да, продираясь, еще соседа ткнешь вилкой для беспрепятствия или на ногу ему лапищей, дурак завоет! – хозяин спокойно проходил среди танцующих или выжидающих кормежки и усиленно упрашивал остаться посмотреть – не Miller'a, его тогда впервые напечатали по-французски в американском номере «Mesures», не Joyce'a, тоже печатавшегося в «Mesures», а именно гиппопотамов.

Я все гадал: приведут их, или сами?

René de Reneville, за которого я держался, чтобы сослепу не скувырнуться или чтобы не очень примяли, куда-то без предупреждения исчез и пропал. Я решил, что это Reneville за ними: мы только что вспомнили Панчатантру.

И вдруг показалось – но я не сразу их увидел: я нос задрал, следя за небесными драконами: их шестьдесят летало и из шестидесяти хвостов золотом пылили булавочные звездочки, ссыпаясь и рассыпаясь, – как выскочили гиппопотамы.

Гиппопотамы выдрались из искусственной бездонной пропасти – при доме небольшая чернела воронкой, с террасы смотрю – и один за другим, как лапчатые, водяные, волосатые, мягкие тибетские «лусуты» или ненасытные «головолапые» «бериты», хвост перочинным ножиком: мордами шипят, и который, фыркнув, такой огонь пустит, никакому и орлиному глазу не выдержать: влопь.

Оглушенные драконами, не отрываясь, мы любовались

на гиппопотамов. Я посочувствовал хозяину и поблагодарил: я тоже люблю всё чудное и чудовищное

А потом расплачиваемся.

Тащиться ночью пехтурой из Ville d'Avray, не нашу улицу Rue Boileau перейти, и только ухватясь за шляпу Groethuysen'a попал в поезд, хорошо еще в тот самый. А вот Marcel Arland – потом припомнил, путаясь в согревающих электрических проводах в редакции Comedia, когда останется нам только вспоминать – Marcel Arland, вскоча в «Париж», одна нога обута, другая налегке, сапог посеял при наступлении, очутился неисповедимо в Brinville, ишь куда его нелегкая занесла, в Brinville! – тоже пострадал от гиппопотамов!

24 октября 1946 года – мне особенно памятный день, мой черный день – у Gallimard'a в NRF. Тут наше последнее свидание, первое после гиппопотамов: злые годы – нашу парижскую страду – Church прожил в Америке.

Узнал ли он нас: ведь все мы другие стали.

Одни, как Crémieux, просто сгинули, нет и Joyce'a и Groethuysen'a, помер и молодой René Daumal (помогал переводить мою непереводимую азиатчину), другие из-под сверла выскочили, как Jean Paulhan, третьи – «полбока-лупленa», а у кого и лапы целы, а от хвоста и звания нет, и наоборот, или, как я, тычусь со своей белой палкой.

Он стоял – прозрачный, стекло из Ville d'Avray с окна переместилось в него. И озеркаленный, он еще величественнее показался мне. На его плечах шарф – холодновато в комнате – нет, не пастор «лхарамбо» из Лхассы или, проще, архидиакон Роман Сладкопевец, в свою последнюю влахернскую обедню, орарем обводящий с амвона:

«и всех – и вся»
– omnes et omnia –

И я видел, как Brice Parain – он, как ни открещивайся латынью, а и иного мира, водяные – полевые – поземные – и – подземные – Brice Parain подозрительно отворачивал морду, будто занимая гостей, сужу по себе, для «нечистой силы» этот литургический возглас неприятен.

Я знаю отговор. И отшептав Parain'a, я подошел к Church'y поздороваться и проститься – я чувствовал – в последний раз.

Он меня узнал. И – по глазам его – как добро смотрит (неужто вспомнил «авансы»?) – но мне ничего ведь не надо,

но и ничего не забываю, – я низко поклонился: за себя, за «Mesures» – за всеми забытых чудесных гиппопотамов.

Я подошел к Barbara. Она все та же – тоже: и живая, и овеяна стихами. Хотел напомнить о гиппопотамах...

«А теперь – какие горькие годы! – вы можете писать стихи».

И на ее улыбку ответил за себя:

«Мне еще снятся сны».

КОНЬ И ЛЕВ

Занозил себе лев лапу, а старец Герасим вытащил у льва занозу. И благодарный лев не только не захотел съесть старца, а в безмолвии, без всякого своего рыку, стал служить старцу.

В мясопустные дни лев служил старцу с утра весь день: и воду возил и все работы исполнял какие надо, и к вечеру водил коня на водопой и, напоив коня, приводил назад к старцевой избушке

Так втроем и жили старец, конь да лев. Старец, видя такую к себе милость Божью, благодарил Бога. А лев, помня о помощи старца, изо всех сил старался угодить старцу

Но каково было коню? Что чувствовал конь, когда лев водил его на водопой и обратно к избушке?

Был этот конь – добрый конь: рыжий с белым пятном на лбу. Просвет-конь звонко топал копытом, играл, а тут – тише воды, ниже травы: со львом-то жизнь какая! – ни тебе травы пощипать вольно, ни тебе побегать вольготно: лев так в оба и смотрит, а на уме – чуть что, и съест! (Ведь и человек, если что стараться очень начнет, и то жди – всегда наоборот, а лев – зверь!)

И уж вода не вкусна коню, и трава не сладка коню. И никто не знал, как трудно коню! Старец знал, для чего ему лев служит И лев знал, для чего он, лев, старцу служит А конь ничего не знал: для коня старец – Герасим, а лев – лев.

И про это тоже никто не знал – ни старец, ни лев.

И возненавидел конь льва, а пуще старца. И одного уж ждал конь и об одном – по-своему, по-лошадиному – творил Богу молитву и утреннюю и вечернюю: «чтобы освободил его Бог от льва, прибрал старца!»

СОЛНЕЧНЫЙ ЦЫПЛЕНОК

Я богатый, таким я чувствую себя. Чего у меня только нет, одни сны чего стоят. И существую я на земле только чудом.

Под таким чудесным знаком особенно внушительно нынешнее поистине сенегальское лето, когда наши умеренные термометры лопались не на солнце, а в тени. В русском книжном магазине у Сияльского, так уверяла хозяйка, градусник поднялся до 100-а и только за ночь под утро чуть опустился, чтобы вскочить – но выше не было никаких черточек, и осталось стоять «сто». Чудеса творились не только на земле, но и на небе. Все было неестественно и противоестественно: сливы в арбуз, виноград в сливу, а к дыням не подступиться – возили на тачках, отбивались от осиных пуль, величиною в зеленую «канаду».

В это чудесное лето, благодатное для меня и бедовое для соседей, – посмотрите, какие ржавые платаны, сколько гибнет всякий день собак, да и с людьми, нет вечера, чтобы сквозь безалаберную музыку я не расслышал жуткий гудок санитарного автомобиля, а наутро первое, что бросится в глаза, это знакомая черная драпировка на мертвецких дверях госпиталя; в эти ослепительные жгучие дни я, окруженный наверняка обещанными деньгами и не получая ниоткуда ничего, все-таки как-то прожил – или потому, что жарко и только хочется пить, а на еду не смотрел бы или, подлинно, чудо.

Это чудо совершалось не с одним мною, а везде, куда только падал луч солнца, над удачливыми и зеваками, над робкими и нестеснительными, и над теми, кому все дано, и над теми, у кого все отнято, над здоровыми и над больными одинаково.

Ксеничка, изобретательница нестираемых половых щеток, вернувшись по такой жаре с именин, не войдя и в собственную квартиру, а только и успела в дверь ключ сунула, как тут же на пороге и упала замертво Анна Николаевна, «Жар-Птица», соседка ее, бросилась за о. Карпом. Но когда пришел о. Карп напутствовать с запасными дарами, Ксеничка поднялась, как ни в чем, и только испить просит – «кружечку» Передаю со слов и словами Анны Николаевны

О Карп, видя такое чудо, да чтобы и не зря пришел, час поздний, причастил напуганную насмерть Семякину, учительница, живет с Анной Николаевной.

А с нашей «Нонн» что ни день, то чудо, успевай записывать.

*

«Нонн», это прозвище, а по-настоящему Наяда. Это она сама объявила, что она монашка. Она действительно одинокая и любит в церковь ходить.

Только не подумайте, что эта «монашка» какие-нибудь бесчувственные мощи, нисколько, и Наядой и теперь «Нонн», она искушение «блудоборцам» (Василий Маркелыч Морозов, Константин Иванович Солнцев, Владимир Ларионыч Соколенко, Николай Васильевич Зарецкий, Колпаков) и соблазн для высоких духовных особ: регентов, комиссаров, и нет консьержа, кому бы она не нравилась. А консьержи, как известно, мелкоту и за человека не считают, а такая, даже если и очень скромно одета, вызывает доверие.

Сама о себе Нонн целомудренно говорит, что сохранила огонь и «пять очков даст Лире» – это ее молодая французская подруга, познакомилась у нас на кухне.

К блудоборцам и к неблудоборцам, ко всем своим почитателям, она внимательна и участлива, но, как сама она говорит, всякое «поползновение» и даже самое тайное отсекает ее от человека, несмотря ни на что. Пусть будет «Нонн» ее настоящим именем, а про Наяду забыть. Но если она монашка, как же без искушений? Ведь искушение только живет у монахов, монашек, а в мирской части у «блудоборцев», мы простые люди, слоны, без воображения.

Вот ее рассказ из недавнего. На ночь она молилась до слез, в слезах и заснула и видит, что Божия Матерь ушла, а на стене вместо иконы мужик торчит – усищами «тара-

канит», стала она вглядываться, а это не мужик, а превратился в Ильина, а Ильин в Мамченку, и она проснулась.

А ведь такое только монашкам и покажется, а, стало быть, она подлинно Нонн, а не Наяда

Преданный и верный человек, эта Нонн, чувствительный к несчастью других, мимо беды, заложив за спину руки, не пройдет, поделится от всей своей скудости, скажет доброе слово, найдет его и при всей своей измученности И все молитвы поет или стихи читает, она и сама пишет стихи, нос у нее птичий, не ястреба, а домашней птицы, ничего зверского, одна восторженная нежность.

Такая была Нонн или, по-французски, словами Лиры· – «Монахиня, дева-мученица, чудотворная».

И подлинно мученица избранная. когда Париж праздновал свое освобождение, «по ошибке» попала в свору под расстрелом; в мирное время ее келью залило водой, и наконец лопнула труба и напали разбойники, и младший вырвал из рук сумочку и розу – «Чапский принес».

Жизнь ее подвиг, крайняя бедность и, как подумаешь, совесть вроде как сжимается, помочь не могу и стыдно, что все-таки живешь по-человечески – птицы с неба яблоки приносят, и не было случая, пропадать пропадал, но чтобы с головой, не пропадал.

Живет Нонн в подвальной комнате без освещения и без отопления. От мелкой работы глазами не зорка и, конечно, частенько проливает. Когда, как сейчас, так ярко и в затонной тени всякий глаз зрячий, пролить не беда, а каково в холод, как ожжет. Это я по себе сужу.

Если еще жива на свете эта Нонн, эта мученица и чудотворец, то исключительно и только чудесным образом.

Да и так в житии этой святой «девы» творились явные чудеса, только такие тайности надо рассказывать ее словами, и суметь передать и ее трепещущий голос и с настойчивым вопросительным обращением к слушателю, она не скажет, как другие в таких случаях: «понимаете» или «верите», а всегда по имени:

– Борис Константинович или Василий Петрович, – беру имена, кому она нравится и кому она может открыть сокровенную тайну чуда.

О «благословляющей руке», как собственная онемевшая рука благословила ее, подробности не помню, об этом Борис Константинович Зайцев обещал написать. А о сне скажу – мы что видим в снах? да все около носу, а к ней

пришла Богородица и поцеловала ее в губы и от нестерпимо ледяного поцелуя она вдруг почувствовала и видит себя, все лицо ее обуглилось Это я для примера.

И вот в это благодатное лето, в один из самых блестящих дней совершилось чудо, о котором потом рассказывали, как о невероятном, а вместе с тем действительном происшествии, чему были и свидетели чудо с солнечным яйцом.

*

Питается Нонн, да не всякий подвижник, посвятивший себя только молитве, вынесет, – «змеиным кушаньем» – яйцами. Летнее время, куры несутся, и яйца доступнее, не зима, она купила себе два яйца, или добрый человек принес ей.

Верую и исповедую доброту и отзывчивость человеческого сердца – я говорю это всем голосом моим и со всей силой убеждения, как говорю человеку о человеке: не раздражайте, поберегите друг друга, в боли все мы равны

Нонн положила яйца на подоконник.

Солнце никогда к ней в подвал не заглянет, с подоконника только и видишь собаку, да и то только ноги, а если всю, так надо голову высунуть по шею.

Подвал залило солнце – в первый раз комната со всеми иконами и картинками заблестела таким светом, что Нонн, позабыв все молитвы, только смотрела: восторг выражал всю молитву, все слова потрясенной души: «солнце!»

Солнце ее потянуло к себе, она подошла к подоконнику. А там ее ждет еще более чудесное: яйца, положенные ею на подоконник, нестерпимо блестели – солнечные яйца! – и на ее глазах из одного вылупился цыпленок – желтый пасхальный, и шелковым клювом наметился на другое яйцо, но еще не пробил Нонн только всплеснула руками и, сырым лабиринтом подвалов, выскочила на улицу в горячее месиво – воздух был густой банный, за ночь не остывший, но, иззябшему за зиму, приятный. И не помнит, как добежала до церкви.

В прошлом году с ней было чудо: почерневшая икона, ее носит она на груди, вот тут – за ночь вдруг просветлела, как только что написанная, и Нонн так же бегала в церковь, и поп Поликарп служил молебен.

Какими словами, повторить не может, но с такой верой и умилением рассказывает она священнику о солнечном

яйце – о пасхальном цыпленке. Священник чувствует, что опять что-то божественное, и сейчас же отслужил молебен о чудесном «обновлении иконы». И благословляя, сам поцеловал у нее руку.

Но то, что ожидало Нонн в ее вдруг взлетевшем до верхних этажей солнечном подвале, было сверх ее сил, и она не могла держаться на ногах, а так и присела к подоконнику.

На подоконнике другого яйца и звания не было и даже объедка-скорлупки не поблескивало, зато блистал красным пером порядочный петушок и, если не пел, то оттого, что за час не было навыку кукурекать. Так все неожиданно и так чудесно! И яйцо-то сожрал он, – обалдев, – корм не на кур, а сороконожкам и змеям на пользу

Дверь была открыта. Без стуку, а может и стучал, да где уж тут расслышишь, вошел Степа

Степа один из верных и преданных, но без всякого «поползновения», очень бедный, и очень тихий, и очень ласковый – одно имя «Степа».

Степан был единственный с воли свидетель Нонниной чуда.

– Степа! – воскликнула, – Степа, вы видите там! – и она протянула руки к чудесному подоконнику.

– Петушок, – сказал Степа, – откуда это у вас, Антонина Алексеевна?

Но только что Нонн, перебиваясь словами, начала о солнце, о солнечных яйцах и как священник поцеловал ей руку, вся комната вдруг наполнилась едким дымом: солнце красной лучиной палило красные перья петушка, прожигая до его нежного цыплячьего мяса.

Я знаю, у Нонн уж мелькала задняя мысль зажарить петушка и накормить голодного Степу. Но закутанные паленым пером и Нонн и Степа, без всякой мысли, пристыли к месту. А когда дым рассеялся, смотрят, а на подоконнике ничего, и даже пеплу не оказалось – один гладкий блестящий камень.

*

Чудотворное солнце творец, но ты же и губишь! Не всякому и не во всякое время дано видеть и испытать на себе силу твоего огня – в розовое окрашенные голубые звезды!

«В СИЯНЬИ ГОЛУБОМ»

А какой рай Божий открыл нам московский доктор Михаил Степанович Зернов (1857–1938). Впервые мы попали на Кавказ. Нам, с нашей верхотуры – наша комната в новом здании санатории на 3-м этаже – прямо в окно: Бештау, Бык, Верблюд и, никогда не прояснится, день и ночь в беспокойных туманах Машук.

Мы приехали в Ессентуки в ясное августовское утро; помню особенный свет, тепло, сторожевые, распростертые по горизонту горы, я смотрел и, глядя, видел – вспоминая, как после долгой разлуки. И вот мое первое чувство: рай Божий. Среди этой райской благодати начинается наша жизнь, а срок ее – санаторный: 6 недель. И пройдут незаметно – одна за другой с открытыми глазами.

Ессентуки – ближайшее соседство: Пятигорск. В Пятигорске неизменна волнующая память: Лермонтов. В этой живой памяти и колдовство и чары: я ощущаю его глаза, его слух, его голос, как свое.

В лунные ночи, а эти осенние ночи и тихи и тревожны, земля, натрудившаяся, отдыхает, каменеют ее черные тяжелые горбы· Бештау, Бык, Верблюд и, дымясь мерцающим туманом, уносится Машук – –

Выхожу один я на дорогу
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит

И я чувствую его, моего звездного обреченного спутника, – в блестящий кремнистый путь...

А что вы думаете, быть бы было Лермонтову в наше время, и был бы он нашим соседом на 3-ем этаже, где

теперь, сияющая счастьем, учительница Надежда Павловна Наше время – война, канун революции и революция – какое место Лермонтов? В газете его печатали бы на Рождество и Пасху.. и вернее, и вовсе не печатали бы: уж очень своеволен и своедумье ни на какую мерку – «не понятно», «не понимаем!» Иванов-Разумник – в своих «Заветах» и «Скифах». Но на «Заветах» не больно разойдешься. А стало быть, случись беда, надо лечиться, – единственный выход: подать прошение в Хлебный переулок, № 9 доктору М. С. Зернову.

Создание санатории в Ессентуках – один из основных камней в памятник М. С. Зернову.

В первый раз мы попали в санаторию Зернова через петербургскую нашу знакомую, зубную врачиху Л. А. Сахновскую. С вокзала мы было сунулись к А. В. Тырковой, и где потом жила Тэффи, но оказалось, такие цены, хоть в Петербург обратно. Мои литературные дела с войны резко изменились· М. И Терещенко, настроенный «все для войны», ликвидировал издательство «Сирин», где меня печатали, и началась моя заброшенность, я очутился в категории «редкого и случайного заработка» Да, хоть назад возвращайся.

Но ведь по самой затее М. С. Зернова, за что имя его поминается и еще вспоминается, нам и было место в его санатории санатория и строилась для безымянной учительницы Надежды Павловны, для зубной врачихи Л. А. Сахновской, среди петербургских зубных светил, как вовсе не существующей, и для всякой литературной шпаны, людей затертых, «обойденных» и неудачливых – «редкого и случайного заработка», которым и не снился этот рай Божий – Ессентуки Так оно и было, в Петербург нам не пришлось возвращаться· в санатории Зернова оказалась свободная комната, и мы устроились за очень сходную плату в новом здании санатории с видом на горы и Лермонтовским, блестящим сквозь туман кремнистым путем в лунные ночи.

И только ветер. Я не знаю, когда, в какой час и где, на какой из гор его начало: он подымался раньше, чем отпирались ванны и открывались источники и до вечерней зари полыхал над парком и вдоль по «пустыни» между гор. Не доглядишь: влетит – в высоте ему любо – и выдует все мои рукописи; хорошо еще на подоконник, у нас есть небольшой балкон, а то возьмет и лист за листом, играя, закрутит в трубку, не успеешь, и все очутится за окном.

На ветер я пожаловался Короленко.

В. Г. Короленко не принадлежал никак к литературной шпане и безымянной трудящейся интеллигенции, сам из всех ессентукских санаторий выбрал Зернова, и жил с нами, занимал комнату в старом здании, и обедал с нами и всегда к его двери стояла очередь, как в приемной у Михаила Степановича. кому только не было охоты поговорить и на что-нибудь пожаловаться Короленке.

В «жалобе» всегда чувствуется сила, «жаловаться» – это не радоваться, не быть довольну, сопротивляться; самое же страшное в человеке: «безропотность» или «все равно», что означает конец Об этом и шел разговор, а ветер в моей жалобе пришелся к слову.

В русской сказке о царе Соломоне рассказывается о старухе, как несла она муку с базара, поднялся ветер и ветром унесло муку; и пошла старуха к царю Давиду просить суд на ветер. А царь Давид ничего не придумает: «как, говорит, я, бабушка, Божью милость могу обсудить?» И позвал сына – царя Соломона А царь Соломон обратился к народу «кто, говорит, из вас в утренний час ветра молил?» Какой-то тут и выскочил корабельщик. «я, говорит, молил попутной подсобы». И присудил Соломон корабельщику заплатить старухе за муку

– Надо спросить у Михаила Степановича, – ответил не без улыбки Короленко на мою жалобу

А я подумал, уж не Михаил ли Степанович тот самый корабельщик соломоновской сказки, – только зачем ему ветер молить? И прошло сколько, а ветер не унимался, ветер гулял нараспашку и мне с моими рукописями большая была неприятность и досада

– Спрашивал Михаила Степановича, – сказал как-то Короленко, но уже сурьезно, – Михаил Степанович одобряет: «и слава Богу, говорит, не будь этого ветра, и все б мы здесь задохнулись».

И что же оказалось: город Ессентуки – невылазная свалка и зараза, а чистить не желают, чистит ветер.

Сам М. С. носился по санатории, как ветер: всегда с заложенными за спину руками, он мелькал в разных концах одновременно За столом в обед и ужин его никогда не увидишь. Присутствовала Софья Александровна, тоже и на музыкальных вечерах, – порядок был образцовый. А М. С. всегда в разгоне. Быстроту его я однажды проверил.

Был он у нас: захворала Серафима Павловна. Как взлетел он к нам на 3-ий этаж, я не мог видеть, но как исчез, знаю. Со мной часто бывает, и не только с докторами, а и в редакциях, о самом главном я забыл спросить и вспомнил, когда он уже был за дверью. Я бросился вдогонку: но ни окрик, ни моя стрекозиная поспешность не помогли: а ведь, кажется, и минуты не прошло! – заложив за спину руки, он мелькал по дорожке к старому зданию санатории, выходящей в парк.

Я не отбываю санаторской страды, лечится Серафима Павловна: ванны, источники, на приеме у доктора и прогулки. С ней неразлучны: учительница Надежда Павловна и бухгалтер Вера Владимировна, по прозвищу «бритая», обе они в каком-то не покидающем их восторге: и то, конечно, что нежданно-негаданно, по прошению в Хлебный переулок, попали они на Кавказ в санаторию и еще то, что встретили «светлую личность», так называет Надежда Павловна Короленку и Михаила Степановича.

Я спокойно могу заниматься один в пустующем днем здании, могу свободно курить и, никого не смущая, громко разговаривать сам с собой, подбирая и звучность сочетаний. Только в утренний час я на воле: я прохожу через парк за папиросами, вечером купить свежий чурек, в котором есть что-то от нашего московского калача и от сдобного черниговского бублика и, конечно, свое, и очень вкусное, кавказское.

И всегда задерживаюсь.

Там, около табачной, булочной и фотографа отчетливо: он выше пирамидальных деревьев, выше облаков, как самый пронзительный, жарче и чище всякого цвета, блестущим рогом белой звезды возносится в небо Эльбрус. Я видел Монблан, но такой чистоты и звучащей силы я не помню.

И однажды, оторвавшись от Эльбруса, я вдруг увидел в окне булочной необыкновенно яркое малиновое пятно. Смотрю – заяц. Да, это был самый настоящий малиновый заяц – малиновый, черные-пречерные усы и черные глаза, две черные костяные пуговки! – кавказский, и только нет хвоста, как у наших. Я принес его в санаторию, посадил к себе на стол: будет мне караульщик. Я был в восторге, под стать Надежде Павловне и Вере Владимировне, только мой восторг тогда был заяшный.

Какой умница заяц! Я гладил его малиновую мордочку, бархатные малиновые уши, теребил его за ус и поверты-

вал – теплый! – и мне казалось, что в ответ моей ласке он что-то мурлычет... по-грузински. Конечно, он будет сидеть на моих рукописях, не убежит, ему у нас хорошо – «в булочной, не скажу, чтобы было очень приятно!» – «но я курю?..» – «ничего, можешь! кури!» – и с самым резким, с самым непокорным ветром, он знает! он поладит.

Был у нас в гостях Короленко. Ту же чистоту, бережность и тихость (только это совсем не смирность) и, может быть, после Аксакова единственные в русской литературе, я почувствовал и в его словах – разговоре.

Я всегда помнил его лучшее, но менее прославленное, не «Слепого музыканта», не «Сон Макара», не «Старого Звонаря», а его «В дурном обществе» и «Соколинца», откуда пошел Горький со своим «дном» и беспокойной, спивающейся «бродягой». И особенно была мне памятна Маруся из «Дурного общества», для которой он выпросил у сестры куклу, и как под чарами «живой» фаянсовой куклы эта несчастная девочка, уже не встававшая с постели, вдруг поднялась . Я не удержался и, показывая Короленке на моего малинового кавказского зайца, попросил: «погладьте!» – Вы убеждены, что неодушевленные предметы чувствуют? – бережно взяв в руки моего зайца и пальцем пошевеля черный заячий ус, сказал Короленко, и мне показалось, посмотрел на меня жалостно.

Но в ту минуту я так ярко чувствовал и что я мог ответить? Я не различал, где граница... и есть ли такая между ступенями жизни в живой природе от беспокойно летящей звезды до тяжелого «мертвого» камня! или есть ли такой предел моему одушевляющему чувству?

Проходил медведчик с медведем и обезьянкой, обезьянка старалась идти по-медвежьи, уморительно ковыляла. Дружная компания приостановилась под нашим окном.

Пел медведчик заунывную песню – «косолапы да мохнаты» и о дикой цыганской воле; песней и начиналось. А медведь показывал – «как кисловодские кухарки ходят» – – «как барышни танцуют». Я наблюдал с балкона; окно – настежь. Глядя, я вспомнил Гаршина, его горестный рассказ о медведях, вспомнил и Пришвина, его точное птичье и звериное слово, и зарю и его степные песни, а песня медведчика, всколыхнув мою какую-то кочевую память, щемя сквозь, унывала во мне. И вдруг откуда-ни-возьмись

ветер, да как шарахнет – и все мои рукописи и с зайцем, как вымело смётом вон...

Я скорее из комнаты и вниз, бегом. Но уж поздно: медведь Шур-ка – он только обнюхал и рукописи и зайца, но обезьянка... теперь я убедился, что это был обезьян со свиным хвостиком штопором... но обезьян, зверски, безжалостно и цинично опалив мои рукописи, с жадностью вцепился в зайца и, прижимая его к волосатой груди, совсем недобро с зеленым блеском посматривал на меня.

Вечерний час – сбор к столу ужинать. Сколько было народу: и Лидия Акимовна, и Надежда Павловна, и Вера Владимировна «бритая», и медведчик, все мы пытались освободить зайца из «обезьяньих лап». Но все было напрасно. никакие уговоры, ни толчки не подействовали Так и ушел обезьян – теперь он горбился и гримасничал, подражая мне, унес моего любимого малинового зайца.

Видел ли М. С. мою борьбу с обезьяном или ему рассказали, не знаю: при встрече, не распространяясь, я пожаловался.

Много М С. Зернов принял жалоб в свою практику и много дал полезных советов, но такое – впервые. Он создал санаторию для «неимущих» – интеллигенции, перед которыми двери санаторий были закрыты, что ему удалось не просто, но что он мог – против обезьяна? И ему оставалось, как царю Давиду старухе на ветер, так мне на мое – на обезьяна. Он только развел руками· «непостижимо»

Но еще более невероятное произошло потом. Мне рассказал фотограф, сосед той булочной, где я покупаю чурек и кузинаки, и где я купил малинового зайца. А вот что произошло: обезьян, привязавшись к зайцу, из любви, конечно, так тормошил его и тискал, шкурка не выдержала, подпоролась, и он его съел.

– Как съел?

– Очень просто. заяц оказался шоколадный

– Что вы говорите?!

– Нутренность съел моментально, – рассказывал фотограф и, по привычке ретушировать, добавил к невероятному свою фотографическую прикрасу: – а малиновую шкурку и с усами прицепил себе, шельмец, к своему свинячьему хвосту на кончик, так и щеголяет.

А мне без зайца было как без рук; кто защитит меня от ветра? – мои рукописи, как бабочки, летали. А обезьяна мне было жалко: на что польстился? а разорил такое добро!

В санатории произошло большое событие. Разнесся слух, что видели М С в парке и что не летел он, как обыкновенно, а шел, как прогуливался, и не один, а с каким-то высоким седоватым размашистым господином в пенснэ. Пошли догадки и почему-то уверяли, что это граф Витте, и хотя Витте к тому времени уже помер .. ну, все равно, какое-то высокопоставленное лицо. А за обедом этот господин в пенснэ, его сейчас же узнали, оказался за одним столиком с Короленкой А к вечеру всем стало известно, что это Чехов

Это и был Чехов: Иван Павлович, учитель в Москве, знакомый В Ф Малинина, брат Антона Павловича, никакой не граф и свой человек, как наша учительница Надежда Павловна, и под стать мне, ратник ополчения 2-го разряда, нижний чин (В войну всех по-военному распределяли.) Но сразу же по магии имен определилось, что это сам Антон Павлович

Поддавшись всеобщему убеждению, забывая, что Антон Павлович давно помер, я хоть и называл нашего компаньона Иваном Павловичем, но невольно смотрел и слушал, как Антона Павловича, которого только раз, да и то во сне видел, но осеннюю печаль чеховских рассказов и это не холодное безразличное сердце, этот трепет человека, которому открыто о какой-то воле, но пути скрыты, храню в памяти незабывно

На память решено было сниматься· М. С. с Короленкой и Чеховым, а кругом ступеньками, прижавшись друг к другу, вся санатория, все мы, кто с этой ессентукской фотографией разнесет по России навсегда благодарность М. С. Зернову

А была и еще группа. под деревом на скамейке около старого здания санатории – Короленко и с ним, как уверяли, Антон Павлович Чехов, заложив ногу на ногу, и художник Реми из «Сатирикона», с поджатыми

Первым уехал Короленко в свою Полтаву и увез тепло. Началось ненастье: с утра туман и дождик, к вечеру проглянет и снова ползет туман – какие лапистые хвостища и хвостящие носы. Темные жуткие беззвездные ночи. Не видно ни Бештау, ни Быка, ни Верблюда, я только чувствую – – а там вон должен быть зловещий Машук.

Чехову, говорили, такое кстати – «Хмурые люди», «Скучная история» – его стихия. Но и Чехов ежился; все чаще в разговоре поминается его теплая московская квартира на

4-ой Миусской и приятель Малинин. В аллее у источников бродит под дождем долговязый фотограф

– Скажите мне, что я дурак! – обращался фотограф к прохожим, знакомым и незнакомым. он простить себе не мог – теперь всем известно в Кисловодске и в Пятигорске! – упустил такой случай: не догадался снять Короленку в разных позах, а мог бы постараться подстеречь его в ванне и на приеме, хорошо тоже у источника с кружкой... – Скажите мне, что я дурак! – тянул фотограф, как ветер тянул свое ненастье у нас на лестнице на 3-ем этаже.

И в ветер и в дождь летал М. С. Его осаждали со всех сторон, и напористей, даже смирные и безгласные жаловались. М. С. всем обещал чудесную погоду.

И вот в последнюю неделю, как разъезжаться и закрывать санаторию, вдруг все изменилось И я снова увидел любимого Верблюда И было тепло, летит паутинка, золотая осень.

В аллее меня остановила маленькая девочка.

– Стой, – сказала она и лукавыми глазенками посмотрела, как проверила. – я тебя сниму.

– Ну, снимай!

Я приостановился. я, как Иван Павлович к *Чехову*, привык к своей роли· я – художник Реми из «Сатирикона».

А она вынула коробочку, пальчиком там повела, как фотограф делает

– Готово! – и подает багряный виноградный листок, – вот ваша карточка!

А какие ночи! В такие ночи только Гоголю да Пушкину гулять с Дон-Кихотом

Вечером в последний раз я взглянул на Эльбрус, обошел санаторию, простился с Михаил Степановичем, еще и еще раз сказал ему спасибо и за себя и за соседей. Я не «художник», не «Сатирикон», я только осенний виноградный листок. Затаенно смотрю я в ночь – и в моих глазах надзвездный сквозь туман кремнистый путь...

В небесах торжественно и чудно
Спит земля в сияньи голубом
Что же мне так больно и так трудно
Жду ль чего? Жалею ли о чем?

ВАВИЛОНСКОЕ СТОЛПОТВОРЕНИЕ

Ни на ком не сказалось вавилонское проклятие так чувствительно, как на мне, и всякие попытки перевести мое на другой язык кончались трагически. Вот вам наглядный пример смешения языков.

*

В Москве на Кузнецком мосту книжный магазин Готье· сидит Тастевен. Дорога мне известная, а Тастевена знаю с первых книжек французских символистов.

Мне памятен июль 1904 года, не могу вспомнить число. Тайком я приехал из Киева в Москву – после вологодской ссылки моя первая побывка В этот день из Петербурга привезли Чехова хоронить в Новодевичьем монастыре. На люди мне было не след показываться и очень разгуливать по запрещенной для меня Москве. Я не утерпел и зашел на Кузнецкий к Тастевену. Но не французские новинки показал мне Тастевен, а только что приехавшего из Парижа это был по возрасту мой сверстник, тонкий, как вылитый, с глазами астронома и филолога – звезды и слова: Жан Шюзевиль. Он был весь в Верленс, а в руках Малармэ.

Тастсвсн познакомил меня и еще с двумя приезжими, но эти ничего особенного, ни звезд, ни слов, что-то акробатическое в изверте – быстрота и легкость: мосье Дюбудом, а другой француз просто Бурдон. Из французских писателей им было известно одно имя Поль Буайе, директор Школы Восточных языков, а из русских· Ликиардопуло, секретарь «Весов».

Шюзевиль говорил отчетливо и ясно, недаром кончил семинарию в Лионе, а Бурдоны, их и Тастевен не все понимал, так они скоро говорили и все чему-то удивлялись.

Так состоялась первая встреча из моей вавилонской памяти смешения языков.

*

Мое столкновение с переводчиками начинается немного позже. Пришла революция – 1905 год, наступила пора «Сатирикона». В Москве Н. П. Рябушинский основал «Золотое Руно» Решено было отдел поэзии и «изящной прозы», как говорилось в старину, одновременно печатать и по-русски, и по-французски. Из Парижа был выписан поэт-символист Александр Мерсеро По смешению языков не могу сказать, насколько звучно это имя в Париже, но на Москве оно звучит просто неприлично, вроде «засеряк». Добрый человек надоумил, и в какую-нибудь неделю Мерсеро превратился в Эсмер Вальдора Вальдор – это будет почище «Мерсеры», Москва любит, если иностранец, так во всю чтоб, а не какая-нибудь Гиль (Рене Гиль) или Мурло (Андрэ Мальро).

Вальдор по-своему, не Элюар, но все-таки, а по-русски, кажется, не очень, а вернее, ничего. И стали искать «арапов».

А я как раз в «Золотое Руно» подвалил из «Посолони» – среднему русскому не по зубам, а извольте перевести на французский

С «Пожаром» (рассказ из «Зги») кое-как справились, а на «Водыльнике» опустились руки, а Н. П Рябушинский, редактор-издатель, слышать не хочет, подай ему французского «Водыльника» (Водяного) и никаких, – Вальдор за что-то получает деньги, не за красоту же имени, да и то поддельное.

Шюзевиль о ту пору угнездился у Сапожниковых, воспитатель, и торчит на всех литературных собраниях, а по средам обедал у Брюсова.

Вальдор говорит Шюзевилю:

«Жан, я пропал. Что такое "Водыльник"?»

«Очень просто. "кондюктер" или "гид", удивился Шюзевиль. И добавил для ободрения, что по-русски все можно "и так, и сяк"».

Но когда Вальдор показал ему мой текст, Шюзевиль не сразу, а нашелся, он вспомнил о Тастевене

Ну, вот и попадают в переплет мои старые знакомые: Дюбудом и Бурдон.

*

И Дюбудом, и Бурдон, оба начали у Готье, у обоих необыкновенное пристрастие к книгам, такой сверток сделают, не отличишь от конфет. Тастевен ими был очень доволен: расторопность и упаковка в торговле первое дело Но книжникам на месте не сиделось, да и слава пошла· и одного сманил Трамбле, другого Сиу И тут, в кондитерской, по-русски они здорово насобачились У них обнаружилась страсть к филологии, и кто знает, спохватись они раньше, выработался бы из них Мейе или Шихматов. И уж лучших «арапов» не сыщешь. Казалось, много ль займет времени перевод, ведь это не «Война и Мир», – мой «Водыльник», «Ховала», «Нежить» Вальдор вздохнул· Шюзевиль всегда выручит!

Переводчики в Москве успели пожениться на русских и дома, кроме русского, ни на каком. А это много значит: домашнее крепче втирается. Это были две здоровые бабы, от Брамлея, конфетчицы, хорошо что не принято «наоборот», а то бы от французов и мокрого места не осталось.

Дюбудом трудится над «Водыльником», Бурдон над «Ховалой» По-русски в наборе, а перевода нет. И оба приналегли. Придут со службы, поедят, а после чаю, на ночь глядя, за стол и до утра бормочут И совсем от рук отбились, другим бы совестно было жене в глаза смотреть, а им хоть что. И если бы еще какая выгода, от много ль за страницу придется, а вперед не дают

Я не знаю, что там было с «Водыльником», а про Бурдона скрывать нечего, скоро вся Москва узнает.

Долго терпела Аннушка, наконец и ее терпение лопнуло. Как идти спать, она стала во весь свой мытищинский рост, и не то что строго, а убийственно

«Петро, – сказала она, – если ты нацелишься в эту ночь переводить Ремизова, ты меня больше не увидишь, я пойду и утоплюсь в Москва-реке».

«Я сейчас, – сказал Бурдон, – наведу порядок».

И вот, когда он наводил порядок и, одуревая, бормотал

«Далеет день. Вечереет В теплых гнездах ладят укладываться на ночь. Ночь обымлет. Ночь загорелась». «“Далеет” – удаляется, “далеет” и “ладят” созвучны .»

Аннушка тихонько поднялась с постели, накинула на плечи платок – летнее время – и незаметно вышла из дому И прямо на Москва-реку и там с Каменного моста бултых. И только круги пошли.

*

Летние месяцы я проводил в Москве, я приезжал к матери. Лето: моя Москва. Останавливался я у брата в Таганке на Воронцовской в доме Соколова. Этот дом Соколова для меня исторический: регент Вас. Ст Лебедев однажды посвятил меня в тайну камертона.

Помню, утром развернул газету и уткнувшись в отдел происшествий, – для меня единственное чтение – я обратил внимание не столько на само происшествие, сколько на слог: извещалось, что на Яузе у Высокого моста нашли «утоплое тело, по-видимому из крестьян».

Днем я зашел проведать моих старых знакомых: да в «Весах» никого, в «Золотом Руне» пусто, я к Сиу – что Дюбудом и Бурдон трудятся над моими «водыльниками», мне писал в Петербург Шюзевиль, и я представляю себе, как оба добрались до высоченной вавилонской высоты и перестают понимать – про меня уже речи нет – а друг друга. У Сиу, мне сказали, что Бурдон на службу не явился, жаль, и я к Трамбле. За шоколадом Дюбудом мне рассказал все происшествие с Аннушкой и что он это предвидел – «отношения были натянуты».

«А как у вас подвигается?» – спросил я.

Дюбудом сконфуженно:

«Моя сожглась!»

«Что вы говорите!»

«В печке, – поправился переводчик, – рукопись: "Кондюктер"».

Я понял, что мой «Водыльник».

Вечером я сидел в пивной Горшкова на Земляном валу – места мне знакомые с первых воспоминаний.

Разговор шел о утопленниках. Высокий мост под пивной Горшкова – пивная на углу Таганской площади, от нее спуск к Яузе. Алексей Иванович был свидетелем, как вытаскивали на берег к Вогау «утоплое тело».

«Тело обследовали со всех концов, – рассказывал Горшков, – но чье тело, не скажешь: мужчина или женщина».

«Что же это такое – отозвался певчий от Рождества, Путилов, философ, – непроизвольное это зарождение, или течением реки – отнесло?»

«Деформация», – сказал кто-то из угла.

«Но зря пишут, "по-видимому из крестьян"! – Горшков кивнул в мою сторону, – а может, действительно, течением реки».

«Аномалия», – отшвырнул пренебрежительно угловой голос, должно быть, фельдшер с Хохловки. Он же сообщил, что главный доктор из Воспитательного Дома, Языков, обследовал и склоняется к аномалии, тело отправили в Анатомический театр. Повез доктор Васильев.

А я подумал:

«Несчастная Аннушка!» Но я ничего не сказал про аномалию, и что знаю, чье тело, и что все из-за меня.

Околоточный Гаврилов, как будет переходить через Краснохолмский мост, заметил. плывет что-то невообразимое. «Какая похабщина в глазах мерещится!» подумал и отвел глаза.

Утро было необыкновенное, такой мир в небесах и на земле, только в Москве и бывает такое, в Петербурге не могло быть, где-то у праздника перезванивали к водосвятию, а летний воздух не жег, а гладил теплыми искорками нашептывая, пел и петь хотелось.

Гаврилов заглянул проверить, не померещилось ли? а оно плывет Что за чудеса? Сошел с моста на берег, поманил Тюхина. Тюхин соскочил. «Смотри'» Гаврилов показал пальцем. А у того и без пальца глаза на лоб, видит, плывет и трудно обознаться, оно – и дурак же, вздумал окликнуть: «чей?», а оно плывет, никакого внимания: ему все равно, городовой или околоточный, не таковский. Тюхин высматривал лодку: с лодки очень легко сграбастать. Но тут набежали краснохолмские мальчишки: что рак, что лягушка «пымать» ничего не стоит. И выловили. Оно самое, но чей, не написано. «Отпадший», – сказал Гаврилов. Тюхин за свисток. И на перепуганном извозчике – не успел ускользнуть! – в участок. Москва громче Флоренции, а подкидывает, как дорога из Вятки на Пермь, в собственных руках, из опаски выскользнет, вез его Гаврилов. И вдруг вспомнил вчерашнее «утоплое тело» у Высокого моста и как все удивлялись и доктор Васильев сказал: «в первый раз вижу». Из участка тот же Гаврилов перевезет «его» на Девичье поле в Анатомический театр, – там разберутся.

*

Был я в Сандуновских банях, не по душе. И всякий раз, как попадаю в Москву, хожу в наши «Полуярославские», дворянское отделение 5 копеек, цена не меняется. Мыться всякому нужно с уверенностью. Липовые шайки, березовый веник и медный таз.

К вечеру любопытней, стечение народу, и таганские и рогожские, и со всеми за ручку. Так я собрался не откладывая, петербургскую копоть смыть москворецкой.

В пару и под паром в бане только и разговору, что о утопленнике. Историю с Гавриловым я услышал от банщика Якова.

«Я так и думал, отъято течением», – перебил Якова распаренный голос с полки: певчий Путилов от Рождества.

«А на Анатомическом театре, – скороговоркой продолжал Яков, – как сдал Гаврилов в конторе, сбежались сестры, подхватили себе на руки и приставили к "утоплому телу", как раз по мерке».

«Браво!» – торжествуя, одобрил певчий, и от избытка парного воздуха и расположения не горлом, из души голос пел Все мы заслушались, и один только капал, но не врозь, без остуды, горячий кран.

Тебе, на водах повесившего всю землю неодержимо, тварь, видевши на лобном висема, ужасом многим содрогашеся. «Несть свят, разве тебе, Господи», взывающи.

В тенорах, особенно русских, много сердца и боли, но есть и распутство, а вот баритон – какое мужество и мудрость, первородная скорбь.

У всех нас весеннее неповторяемое, а помнится до смерти: великая пятница с выносом плащаницы, погребение с каноном «Плач Богородицы» и полунощница перед пасхальным колоколом – вечер со страстной свечой, и ночь с неугасимою, пасхальной, туманная воскресная заря. Как хорошо жить на свете!

После бани пил чай и ни о чем не думал. Высплюсь и с завтрашнего дня в поход: кого-нибудь да застану, не все ж по дачам. В Москву я приезжал с пустым карманом, рассчитывая на аванс.

Из моего недуманья и китайского запала вывел меня Бурдон. Мне стало очень неловко, я чувствовал себя виноватым, я только не знал, на чем разыгралась трагедия с Аннушкой, на «Нежити» или на «Ховале». Но странно, особого потрясения я не заметил: все та же наглая бабочка торчала из подбородка. Он был у Омона, французская труппа, и прямо от Омона – узнал от Дюбудома – сюда.

«А тело утопшей Аннушки?» – вырвалось у меня.

«Ничего подобного, – сказал Бурдон, – это вам наговорил Гастон, вздор! Аннушка сбежала к повару Ельяшевича».

А от «Ховалы» он отказался – не под силу. Два месяца работы над страницей.

«А Рябушинский?» – я представил себе его негодование.

«Мосье Вальдор, – сказал Вурдон, – в Москву не вернется».

«Ховала», «Нежить» и «Водыльник» появились в «Золотом Руне» без французского перевода. Впрочем, никто и не спохватился – читателей у меня по пальцам перечесть, им русского довольно

Моя вавилонская история не кончилась Правда, прошло немало времени, и вдруг, в Париже, как снег на голову, затеяли меня переводить на французский.

Много рассказывать нечего. Все то же· Б. Ф. Шлецер ртуть проглотил, П. Паскаль с отчаяния ушел в монастырь, Шюзевиль – а как я рассчитывал, не покинет, «потому что никогда не женился», как сам он мне признался, а вот и Шюзевиль безвестно в Сиракузах, читает коран и говорит только по-арабски

ИГРА ВЕЩЕЙ

Кто опаздывает? Прежде всего, люди – самовключенные, которые знают, как их ждешь. Сами они в тебе не нуждаются. Опаздывание вещь невеселая, а в таких случаях и жестокая. Очень уж все откровенно и объяснений никаких не требует: «подождет, не развалится!»

Есть еще случай опаздывания, но без умысла, а от невнимания: чаще всего, это люди, не умеющие думать. «Неумение думать» – это величайший порок человека – «органический».

Опаздывание соединено с чувством досады и для того, кто опаздывает, и для того, кто ждет.

За исключением умысла и недуманья, я вижу три рода опаздывающих.

Одни опаздывают – это люди забывчивые, рассеянные и мечтательные, мало или некрепко связанные с событиями жизни и с вещами.

Другие опаздывают, они совсем не рассеянные и не забывчивые и часто очень трезвые, но у которых странное душевное свойство, это свойство волевое, я называю «азартным упором». Посмотрите: надо спешить на поезд, по часам пора, а он берется за всякие пустяки: подбирает по №-ам старые газеты или возьмется за адресную книжку искать совсем ненужный адрес; он делает все, что можно делать потом, а если не находится ничего постороннего, отводящего, он просто усядется к столу (совсем уже готовый к отъезду) и будет следить за часами, как с каждой минутой остается все меньше времени поспеть. То же самое и с назначенным и условленным часом, когда надо куда-то идти, чтобы встретить или застать дома, на прием ли к доктору, в полицию по вызову, а в юности на экзамены. Если такие азартные все-таки в чем-то успевают, то ис-

ключительно и только благодаря другой, в них же самих «жизненной» (деятельной) силе, которая их сдвигает, подымая из упоительного – а в этом есть какое-то наслаждение – упора: «надо, а я еще посмотрю».

Как пример из жизни, вспоминаю свадьбу Бурнашева, – весь Петербург говорил об этой загадочной свадьбе.

М. Н. Бурнашев, правовед, со мной связан тоже не просто. Это было вскоре после печатания в «Вопросах Жизни» (1905) моего «Пруда», когда все от меня открещивались и ругательски ругали почище здешнего, правда, и люди там были поталантливее. И когда я и мечтать перестал куда-нибудь со своим соваться, а писал я «Посолонь» и вынужден был переменить писательство на собак, – собак по петербургским дворам считал с листом статистического бюро, как вдруг, ведомые Копытчиком (С. К. Маковский), появляются у нас на Кавалергардской, я помню, удивительно мне, три блестящих «кавалергарда», сенаторские сынки, под стать первым петербургским лошадникам, на скачках непобедимые призовые: Трубников, Тройницкий, Бурнашев.

Что их повлекло ко мне, к моему уж такому «безлошадному», ко мне, только что получившему правожительство в столицах. Они основали типографию «Сириус» и первой книгой выпустят мой «Пруд», обложка М. В. Добужинского. Со всеми я познакомился, потому и о свадьбе Бурнашева говорю не из вторых рук· Бурнашев три раза опаздывал на свою свадьбу. Какие раздирательные сцены в церкви, сколько пересудов и всяких догадок, а между тем ничего загадочного, – иллюстрации к моему «упору». Только в четвертый раз состоялась свадьба: его шафер о свадьбе ни слова, а повез на острова, а по дороге в церковь.

Хороший человек, прямо скажу, был этот Бурнашев, но какая была мука с корректурой: назначит, я приготовлю, а он нс пришсл. Я уж думал, и книга никогда не выйдет. А когда, наконец, вышла – вот у меня белая бровь – конечно, и от бомбардировки, в меня ударило осколком, но и от терпения моего, – даром не проходит.

А о свадьбе он мне признался, что это у них родовое и «вообще», так и с отцом было, а сколько раз, я не спросил.

Еще он затеял поступить в Археологический институт, учился прилежно, но не кончил: всегда опаздывал на экзамен.

А третий род опаздывающих – это я сам.

Все устремление моей воли не обмануть, исполнить. Сознание мое ясно и точный расчет: я собрался куда-ни-

будь идти, дорогу знаю и всякие случайности взял во внимание, если, скажем, мне нужно час пути, чтобы точно поспеть, я прибавлю еще минут двадцать. И все-таки я никогда не поспею вовремя, всегда опоздаю.

И это, как увидите, не от забвения, не от рассеянности, и я плохой мечтатель, а при моей «живой» (деятельной) силе ни о каком «упоре» не может быть речи, нет, все происходит от игры вещей.

Вещи не подходят под живые названия. враждебный или благоприятный. Вещи создаются человеком, но закон жизни вещей скрыт от человека. А как-то они живут «играя».

Когда я сшиваю тетрадь, я всегда уколюсь иголкой, а чиню карандаш или возьмусь разрезать бумагу, непременно обрежу палец – ножом или бумагой.

Мне надо выходить из дому, вот уж я и на пороге, хвать – пропали перчатки. И я берусь за поиски и где только ни смотрю, нет, и только потом – а время идет – окажется, лежат под носом, стало быть, когда я смотрел во все глаза и никак не мог их не видеть, они просто прятались от меня.

А если вышел я из дому без задержки, начнется, наперед жду, уличная игра. Подолгу жду автобуса, в метро тоже задержка. Потом попадаю не на ту улицу. нужная, я заметил, как бы подсовывается под ненужную или ненужная принимает подобие нужной. Но когда, наконец, улица найдена, я попадаю не в тот дом. Я уверенно вхожу в дом под другим №-ом № я не спутал, я очень хорошо его помню, да дом сам переменил цифру: 56 выглянуло, как 58.

Я много бы мог рассказать о игре вещей – чего они только со мной не выделывали! – но вспоминаются мне и не одни досадные приключения, сколько раз их темная игра спасала меня от катастрофы: что-то меня задерживало, что-то мне не дает ходу, и я опаздывал, – к моему счастью.

Петербургский буерак

Шурум-бурум

(Стернь)

Петербургский буерак подымается погýром над Парижскими холмами.

Моя жизнь раскололась. С августа 1921-го в Европе, прошел через Германию и завековал в Париже.

Никогда, а только за границей я почувствовал себя, что русский: я не чужой вам, но я по-своему. А моя память о русском ярче будь была бы, живи на родной земле среди своих, в России.

1950
Париж

Шурум-бурум

Книгу «Стернь» называю ШУРУМ-БУРУМ именем моей первой книги, куда входили завитушки с тюрьмы до этапа в Устьсысольск (с 18.XI.1897 по 1.VII.1900). Книга завалялась – годы ее держал Брюсов в «Скорпионе», пробовал я ее исправлять и много мучился, не зная, с какого конца, и кончил тем, что уничтожил в Одессе в апреле 1904 г

В Устьсысольске в 1901 году я уничтожил дневник с 1884 г, где был и мой семилетний «Убийца» – концы в воду Так и меня, придет срок, уничтожат: и концы в воду.

Хочу собрать в этой книге завитушки моей последней памяти на моей вечерней заре, которая вот-вот погаснет, как мои глаза (на правый почти ничего не вижу, а левый – 15 диоптрий).

Слово «Шурум-бурум» ничего не означает, это татарская выкличка. Когда-то на Москве «князья» – татарин, скупщик старья, идет по улице, выбормачивая «шурум-бурум». «Шурум-бурум» звалось, что заведется в хозяйстве «навыброс», всякая заваль, ветошь, лом. Татарину все сбыть можно, не стесняясь, и не стеснишь: мешок его бездонный.

Вот я и собираю из своего скарба, не осталось ли чего – бедновато, ну, татарин все возьмет.

1945–1948
Париж

Стернь (юж.) – жниво, жнивье, сжатое поле | | самые остатки соломы на корню.

[Словарь Вл. Даля
Том IV – М. О. Вольф, 1909]

I.

На большую дорогу

(Моя литературная карьера)

1. Кувырком

Моя литературная жизнь шла кувырком. Со мной все так: подъем и срыв. Прожил жизнь скачками. Падения были мне очень чувствительны, но особенно одно – на карикатурах жирная морда, паук с ножницами над грудой книг. С вытянутой шеей, поджав хвост.

Когда и с чего пошло имя – стали меня знать?

Началось с «Пруда», 1905 г. Псчатался без окончания в «Вопросах Жизни» (редактор Н. А. Бердяев). Полная редакция в книге, изд Сириус, 1908 (С. К. Маковский). Известность сомнительная. Приговор «декадент» говорилось с раздражением. Необычность формы – не по так принятому «нарочито» и «претенциозно» оклеивали мои фразы этими ничего не значащими определениями, сменившими «вялость слога» и «недостаток воображения» 30-х годов прошлого века. Соваться в порядочные журналы – «Мир Божий», «Русское Богатство», «Вестник Европы», «Русская Мысль» – заказано. И я пошел по задворкам на затычку.

Моя первая книга «Посолонь» – сказки 1907 г. прошла незаметно для большого круга. А в отзывах для немногих читаю о себе – своем «русском» все тс же «нарочито» и «претенциозно» с прибавлением «юродство» Та же участь и второй моей книги «Лимонарь» – русские апокрифы – 1907 г

«Посолонь» и «Лимонарь» обратили на себя внимание академика Алексея Александровича Шахматова По его совету я послал книги в Академию Наук на «соискание» академической награды. Ближайшие к Шахматову были убеждены в успехе. Но президент Академии Наук в к. Константин Константинович, автор «Царь Иудейский», мое ходатайство отклонил, поставя свою резолюцию на «Посо-

лонь» и «Лимонарь» – «не по-русски де написано». Трудно было поверить. С ведома Шахматова я послал повторные экземпляры. Пушкинскую серебряную медаль присудили Поликсене Сергеевне Соловьевой (Allegro) за книгу стихов.

Меня знали на верхах не только как «декадента» – имя крепко захрясшее в мое имя. «Часы» роман и «Полунощное солнце», сборник 1908 г. прошли незаметно. К моему имени прибавилось недоразумение: на первых порах цензура подвела обе книги под кощунство и порнографию. Издатель Саксаганский (Сорокин) испугался, а ему говорят. «да это ж реклама, увидите, какой будет расход книгам» – но когда разъяснилось и с книг сняли запрещение, и тут произошло недоразумение: на благонамеренное кого потянет.

Льву Шестову на его «Апофеоз беспочвенности» я насчитал семь читателей, а он на мои «Часы» – пять.

Недоразумения так не проходят – знал, жди скандала. Не могу сказать, когда и где, но без скандала не обойдется.

С 1905 третий год шесть книг («Посолонь», «Лимонарь», «Морщинка», «Часы», «Полунощное солнце», «Табак») дожидалось седьмой («Пруд»), а я все еще хожу с моими сказками по задворкам – темным углам литературы – их сует куда попало мой благодетель и кум Александр Иванович Котылев – король петербургского шантажа, газетной утки и скандала.

О ту пору вышел сборник Н. Ончукова «Северные сказки». В сборнике принимал участье А. А. Шахматов, а среди записей сказок значилось имя: М. М. Пришвин.

Нашего первого сказо́чника Вл. И. Даль – сказки пяток первый 1832 Казака Луганского – увлекал сказ: он слушал, глядя на сказочный матерьял. В 20–30 годах было ново, чувствовался переход от литературной речи к живой разговорной (Эпистолярный жанр – Пушкин, Вяземский, Батюшков), а в сказках ничего от литературы, живая природная речь. Тема, сюжет, композиция для Даля неважно. Только по признаку сказа живут сказки Казака Луганского.

В наше время сказ не открытие – сказ пророс литературу – сказу будущее, а литературное барахло и самых блестящих стилистов свертывается серебряной змеиной кожей.

Сказочный матерьял для меня клад: я ищу правду и мудрость – русскую народную правду и русскую народную мудрость, меня занимает чудесное сказа – превращения, встреча с живыми, непохожими – не человек и не зверь, я

вслушивался в балагурие, в юмор, я входил в жизнь зверей, терпел их долю.

Сказка мне не навязанное, а поднятое любимое

Своим голосом, русским ладом скажу сказку – послушайте

На Варварин день 1908 г. на театре В. Ф. Коммиссаржевской играли мое «Бесовское действо» – «Святочное представление или масленичное гуляние с чертями», по определению цензора барона Н. Н. Дризена. Режиссер Ф. Ф. Коммиссаржевский – его первая постановка – встречен аплодисментами, М. В. Добужинский – его первые декорации – встречен восторженно, а я под дождь свистков слышу сквозь неистово хлопают: «Балаган!»

«Бесовское действо» было вызовом – наперекор погоне за утонченностью петербургских эстетов, что потом мещанским жаргоном Б и М. Подъяческих выразит Игорь Северянин (Лотарев).

Карикатуры – особенно угодила: сижу на плечах у В. Ф. Коммиссаржевской, руками крепко за шею – вспугнутые глаза Коммиссаржевской выкатились на лоб – скандалы на спектаклях и газетные отзывы и ругательные письма – подняли мое имя как при появлении в «Вопросах Жизни» первых глав моего «Пруда». Известность сомнительная, пожалуй, и скандальная.

«Когда ты прекратишь свои безобразия?» – эти слова, по-другому сказанные, я слышал от моих одиноких доброжелателей.

Но, что делать, видно, такая моя природа Умышленно – нарочито я ничего не делал – не вытворял – мои книги из души, исповедь, мои слова и строй слов не выдумка.

В литературных кругах «Бесовское действо» не изменило мнения обо мне – автор «Пруда»! – но я заметил, вызвало любопытство.

К. И. Чуковский говорил обо мне с В. Я. Светловым, и в «Ниве» согласились, но чтобы без всяких «хвостов» занимательный рассказ. Чуковский передал моего «Корявку» из петербургской жизни. «Корявку» приняли.

Я познакомился с Аверченко. Аверченко сказал:

– Чего вы связываетесь со всякой... и ваши сказки суете в. . Давайте нам в «Сатирикон».

Аверченко я отнес особенно меня тронувшую сказку «Берестяной клуб» – русская правда. «за преступление не осуди, а преступника пожалей».

Попадись эта сказка Л. Н Толстому – 1909 г. – Толстой еще жил на свете – эта сказка вот порадовала бы.

Д. А. Левин, видный сотрудник «Речи» (Милюков-Гессен), мой покровитель. На Рождестве в «Речи» прочтут мой рассказ. Д. А. Левин не мог одобрять мои завитушки, юрист привык выводить одно из другого, а закрюченный завиток «логически» никак не выведешь. Передавал он мои рукописи по дружбе Л И Шестову, товарищи по Киеву. Да и А. М. Левина перед Рождеством обо мне напоминала.

* * *

В каждом городе в своем кругу есть своя «первая красавица». В Усикирке – Нина Григорьевна Львова, в Мурманске – Холмогорова-Одолеева, в Устьсысольске лесничиха, в Ревеле (по Иваску) сестры Кристин, Ирина и Тамара; в Берклее – Ольга Карлейль, внучка Леонида Андреева, в Нью-Йорке – говорю со слов художника Иосифа Левина – первая Рубисова Эльф; в Брюсселе – О. Ф. Ковалевская, в Париже – Кутырина А в Петербурге в 1905 – Тумаркина и Беневская, а позже Анна Марковна Левина.

В детстве про меня говорили с досадой да и в глаза: «уродина». Мне всегда хотелось спрятать лицо и я, как ошпаренная крыса, судорожно кулаком умывал себе глаза. Но однажды моя кормилица, здороваясь, и неповторимым ласкательным назвав меня, прибавила: «красавчик ты мой!» Я поднял глаза, не веря. Она повторила И я почувствовал, как я наполнился и вырос, мне захотелось всех всем одарить, и чтобы все глядели, как я сейчас, не прячась. Я представляю себе человека, с утра подымается с сознанием своего природного богатства, своего первенства, да может ли быть у такого человека хоть тень злой мысли. «Красота» – приветливость и щедрость

У Левиных я познакомился с Горнфельдом. А. Г. Горнфельд критик «Русского Богатства».

Как все горбатые, а у Горнфельда еще и с ногой нелады, говорил он особенно отчетливо выговаривая слова и как-то не по-взрослому незлобиво.

У Анны Марковны Левиной два верных рыцаря. Л. И. Шестов и А. Г. Горнфельд. Едва ли она что-нибудь прочла из моего. Давид Абрамович любил повторять о Шестове: «возится с сумасшедшим» – на первом месте поминалось мое имя, потом Е. Г. Лундберг, а потом, хоть и не сумас-

шедший, а постоянно с сумасшедшими «стихотворец из врачей», Аз Акопенко Андрей, исключение делалось только для Семена Владимировича Лурье.

Надоел я Давиду Абрамовичу хуже горькой редьки – вот когда можно употребить это сравнение, не боясь преувеличения и того, что оно в зубах навязло и потеряло вкус.

– Почему бы вам не напечатать Ремизова? – сказала Анна Марковна. Самое неожиданное и противоречивое могла она сказать своим рыцарям.

Горнфельд не сразу ответил: разве он мог в чем-нибудь отказать Анне Марковне.

– Нам надо серое, – сказал он.

Я подумал: «о мужиках».

– Как Муйжель.

– Я о мужиках не умею, – сказал я.

И подумал: «хорошо, что мужики не читают наших рассказов о мужиках, то-то б было смеху!»

Улитка разговора перешла на другой предмет, как выражался Марлинский.

А я о своем – и до чего онаглел под свист «Бесовского действа»! вдруг, думаю я, у меня окажется свое серое, и я попал в «Русское Богатство»!

«Сатирикон» и «Нива» впереди – путь чист, а пока единственный мой благожелатель Александр Иванович Котылев. В последний раз принес мне пасхальный номер «Скетинг-ринг» с моей сказкой «Небо пало».

Я упомянул о Аверченке, о «Сатириконе».

– Помойная яма, с раздражением отозвался Котылев. Аверченко преемник Чехова? Да у Чехова душа, а у Аверченко...

Котылев был недоволен, что «Берестяной клуб» я отдал Аверченко.

За «Небо пало» я получил полтора рубля.

2. Небо пало

Ходила курица по улице, вязанка дров и просыпалась. Пошла курица к петуху:

– Небо пало! Небо пало!

– А тебе кто сказал?

– Сама видела, сама слышала.

Испугался петух.

И побежали они прочь со двора.

Бежали, бежали, наткнулись на зайца.

– Заяц, ты, заяц, небо пало!

– Тебе кто сказал?

– Сама видела, сама слышала.

Побежал и заяц.

Попался им волк.

– Волк, ты, волк, небо пало!

– Тебе кто сказал?

– Сама видела, сама слышала.

Побежали с волком.

Встретилась им лиса.

– Лиса, ты, лиса, небо пало!

– Тебе кто сказал?

– Сама видела, сама слышала.

Побежала и лиса.

Бежали они, бежали. Чем прытче бегут, тем страху больше, да в репную яму и попали.

Лежат в яме, стерпелись, есть охота.

Волк и говорит:

– Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

– Лисицыно имя хорошо, – говорит лиса, – волково имя хорошо, зайцево хорошо и петухово хорошо, курицыно имя худое.

Взяли курицу и съели.

А лиса хитра:

не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк опять за свое:

– Лиса, лиса! прочитай-ка имена чье имя похуже, того мы и съедим

– Лисицыно имя хорошо, – говорит лиса, – волково имя хорошо, зайцево хорошо, петухово имя худое.

Взяли петуха и съели.

А лиса хитра.

не столько лиса ест, сколько под себя кишки подгребает.

Волк прожорлив, ему, серому, все мало.

– Лиса, лиса! прочитай-ка имена: чье имя похуже, того мы и съедим.

– Лисицыно имя хорошо, – говорит лиса, – волково хорошо, зайцево имя худое.

Взяли съели и зайца
Съели зайца, не лежится волку:
давай ему еще чего полакомиться!
А лиса кишки лапкой из-под себя выгребает –
И так их сладко уписывает, так бы с кишками и самоё ее съел
– Что ты ешь, лисица? – не вытерпел волк.
– Кишки свои... зубом да зубом... кишки вкусные.
Волк смотрел, смотрел, да как запустит зубы себе в брюхо – вырвал кишки –
да тут и околел.
– Что курица, что волк – с мозгами голова!
Облизывалась лиса, подъела все кушанье, выбралась из ямы и побежала в лес – хитра хитрящая.

3. Разоблачение

Самое лето. Только утром еще ничего – в Москве перезванивают к водосвятию, в Петербурге музыка – парад или хоронят генерала, а с полдня накинется жара и до самого вечера морит.

Весь день мы провели в Куокале у Чуковского. У них тесно, но все-таки Куокала не Петербург, возле дома не трубы газового завода, шумят деревья.

Корней Иванович, свертывая трубочкой губы, рассказывал о Репине – Репин пишет его портрет и питается сеном. Мне это запомнилось – какой, значит, Чуковский знаменитый, и сено – я себе представил ем сено – в «сыром виде» без хлеба, без масла. Пили чай на балконе. Чуковский с умилением представлял, как говорят дети – у него сын Коля – и за детскими словами в горле у него булькало Потом он составил словарь – детский язык.

А я о деньгах. Мне все равно, или я представляюсь, что мне все равно, но Серафиму Павловну тянет на волю. Как достать денег: много ль от Котылева, и все труднее. Чуковский обещал поговорить со Светловым – в «Ниве» лежит моя «Корявка».

Чуковский в своих критических фельетонах в «Понедельнике» у П. П. Пильского никогда обо мне ничего не писал, я для него «несуществующий писатель», но к моей судьбе у него полное сочувствие, и он всегда готов мне помочь. Отчего – не знаю. Или это тоже моя судьба? Мои благожелатели – Розанов, Шестов, Бердяев, а ведь в их книгах имени моего не существует

Вечером вернулись в Петербург. На Финляндском вокзале я купил вечернюю «Биржевку» Развернул – и прямо мне в глаза жирным шрифтом заглавье «Писатель или списыватель?» В тексте мелькает мое имя, не А , а «г» – разобрать не могу, но чувствую, дело не о бесовских хвостах, вышучивание, а что-то не в шутку. Статья – вся страница Подпись: Аякс, псевдоним А. А. Измайлова Разберу дома.

И подумалось «Чуковский обо мне не напишет, а тут Измайлов – Александр Алексеевич Измайлов (1873–1921)», имя куда громче Корнея Чуковского, и с ним считаются – вечерняя «Биржевка»!

В заглавии «Писатель или списыватель» мне показалось что-то не совсем. Дома разобрал.

А. А. Измайлов уличает меня в плагиате. Приводятся параллельно два текста сказки «Небо пало»: мой из «Скетинг Ринга» и оригинал из сборника Н. Е. Ончукова Читать глазами, как это принято, видимой разницы никакой. Ссылаясь на справедливый приговор читателей, который может быть только один. сказка списана, а выдана за свою, Измайлов заканчивает торжественно. «как возможно терпеть в среде честных писателей подобного сочинителя, как г Ремизов?»

Для меня загадка: третий год печатает Котылев мои сказки, почему же только теперь Измайлов обратил внимание на мою воровскую природу, обличает публично и требует по справедливости возмездия?

Я пересмотрел все Котылевские листки, программы, приложения, до последнего номера «Скетинг Ринга» с моими сказками, и вдруг понял: везде под заглавием сказки, подзаголовок «народная сказка» и только под «Небо пало» никаких объяснений, непосредственно текст Как это случилось, не могу придумать

Стал я себя судить А правда в этой сказке, говоря поученому амплификаций (распространение) и интерполяций (вставка) незначительно, но это ничего не значит, все по качеству матерьяла. Кому придет в голову в этой сказке, подписанной моим именем, видеть не народность и безо всяких объяснений.

Мне казалось все так ясно и мне не в чем упрекать себя и объясняться

Я пошел в «Сатирикон».

В редакции я застал много народу, но не успел ни с кем поздороваться, все вдруг поднялись и к выходу И я остался один.

Аверченко сосредоточенно рассматривал какие-то полицейские бумаги.

– Аркадий Тимофеевич!

Он с удивлением посмотрел на меня и заговорил. Трудно понять, ко мне это или о полицейских бумагах, поминались «условия» и что «он никого не подозревает».

– Я пришел справиться о моей сказке «Берестяной клуб»: когда будет напечатана?

Об авансе я промолчал.

Аверченко прямо посмотрел на меня.

– Впредь до разъяснений ничего не могу сказать вам.

Я понял, жалко поклонился и вышел.

Пропал Чуковский. Вот когда так надо, а его и нет. Я еще хорохорюсь. Но замечаю: отчего-то все со мной говорят в сторону. Набор попавших на язык слов и не глядя мне в глаза. Так разговаривали приятели с Чичиковым после разоблачения Коробочкой.

В «Ниве» Светлов меня не принял. Я спросил секретаря о «Корявке».

Секретарь подумал – «Корявка»?

– Корней Чуковский передал.

Секретарь вышел к редактору.

Я жду. Входят все незнакомые «настоящие писатели». Если бы сейчас Чуковский. Чуковского Репин пишет!

– Никаких ваших рукописей у нас нет! – сказал секретарь и обратился к настоящему писателю. Не оглядываясь, я вышел. И у меня было чувство тех «просителей», кого не велено пускать.

Приходил Пришвин. Вздыбленный. Бубнит по-елецки. У Ончукова «Небо пало» его запись, в моей редакции сказка звучит отчетливее – рассказчику подвесили язык. Дело не в количестве слов, а в выборе слов – и одно-единственное может распутать и пустить в ход. При беглом чтении текстов можно и не заметить. Эти свои соображения по поводу обвинения меня в плагиате он изложил по-газетному – он сотрудник «Русских Ведомостей» – и отнес в «Речь» И. В. Гессену, уверенный напечатают. Но Гессен не принял его опровержение и печатать решительно отказался. А М. И. Ганфман сказал: «С “Биржевкой” “Речь” не может полемизировать – всякий спор принизил бы ее достоинство».

– Не знаю, что и делать.

В тот же день Р. В. Иванов-Разумник.

– Да ничего не делать, – сказал Иванов-Разумник. – Измайлов? клопиная шкурка.

Я понял, в Историю русской литературы Иванова-Разумника Измайлову не попасть; а «клопиная шкурка» – в Европе об этой шкурке не слышно – шкурка наша, изморенный столетний клоп – медленное жгучее точило, только когда нальется кровью, лови.

Уходя, Иванов-Разумник – или «клопиную шкурку» он понял не только как главу в истории русской литературы, стесняясь, он подал мне три рубля.

Эту зелененькую я буду помнить, вспомню и повторю при имени Иванов-Разумник: в 1920 году, арестованный по делу вооруженного восстания левых с.-р-ов; участвовал в альманахе «Скифы», следователь не сразу понял значение этих трех рублей – подлинно, жертвы отзывчивого сердца.

В поздний час – в Петербурге можно – с захлебнувшимся звонком и под стук кулаками навалилась орава – Котылев, Маныч с подручными, галдя. Вся наша комната битком.

Маныч грузно стоял истуканом. Котылев разбрасывал руки, дергая поводами за руки и за ноги окружавших его тесно.

– Мы пришли выразить вам сочувствие.

И тут один тоненький, как Ауслендер, и очень жалкий, подавая мне руку, неожиданно отчеканил:

– Моя фамилия Лев.

И тот выше всех испитой в дьяконовском подряснике, из которого на моих глазах успел вырасти – пожарный репортер, через головы протянул мне руку. Тут были всякие под рост и в пору Марку Бернару. биржа, утопленники, мордобой, поножовщина, скандалы.

Все свои. Но были и с улицы увязавшиеся и любопытные: наш паспортист с откушенным носом выглядывал из-за спины откушенным носом.

– Мерзавцу, возгласил Котылев под одобрение вращающегося круга, в театре публично набьем морду.

Маныч молча фигурил себе руки.

– А от Аверченко, сказал Котылев, возьмите вашу рукопись сказку «Берестяной клуб». Теперь все равно и в «бардак» вас не пустят.

И тот, что называется Лев:

– Моя фамилия Лев, повторяя, тоненькими пальцами пожал мне руку.

В Революцию этот Лев сделался редактором «Огонька», замещая Бонди. «Огонек» журнал при «Биржевке» и будет печатать меня, пока революция не прихлопнет и призрак Льва исчезнет.

И комната с грохотом опустела.

А ведь Котылев, вдруг сказалось, убежден, что я содрал сказку и попался.

– Что у тебя за собрания, крик на весь дом Я стучал и звонил. У тебя был Коноплянцев?

А М. Коноплянцев, елецкий ученик Розанова, пишет книгу о Леонтьеве.

В. В. Розанов газет не читает.

Я ему рассказал о Измайлове

– Баснописец?

– Да никакой не баснописец, сын смоленского дьякона, «тараканомор» главный в «Биржевке».

– А ты напиши опровержение.

– Пришвину отказали

– Пришвин мальчишка, ты сам напиши

А я подумал: «Одно слово Шахматова, и всем горло заткнул».

4. Берестяной клуб

Жили на селе два старика, Семен да Михайла, разумные старики-приятели.

Косил старик Семен с работником сено, пришла пора обедать, присел работник отдохнуть, а Семен за бересту принялся – работящий старик, без дела не посидит, – бересту драл, клуб вил.

Идут полем люди.

– Бог помощь, работнички! Слышали, Михайлу-то нашего, старика, на дороге убили.

– Как так? – подскочил Семен, – убили? Экие разбойники, убили!

И уж не может старик бересту́ вить, бросил клуб в кошелку, пошел с поля домой.

Идет старик, не может сердца сдержать – Михайлу вспоминает.

– Разбойники, – твердит старик, – злодеи, за что убили? – твердит старик, так в нем все и ходит, – убить вас мало, злодеев!

А из кошелки-то у него, глядь, кровь.

Работники сзади шли, и видят, кровь из кошелки бежит. Да уж за стариком, не отступают.

А Семен идет, не обернется, – не до того! – так и идет.

И пришел домой, швырнул кошелку в сенях, сам в избу.

Тут работники к кошелке, да как открыли, а в кошелке не береста, не клуб берестяной, – голова человечья.

– Ну, – говорят, – это ты, крещеный! Ты и убил Михайлу! – Да за десятским

Пришел десятский, пришли понятые, стали смотреть кошелку: так и есть, в кошелке голова человечья.

Приложили к кошелке печати, а старика Семена в тюрьму.

Немало сидел старик

Каялся священнику,

– Осуждал! а в убийстве не повинился, – – не грешен, не убил никого

И на суде не повинился.

– Не грешен не убил никого

И рассказал, как узнал про Михайлу, как с поля шел и сердца не мог сдержать, проклинал злодеев.

Принесли кошелку, распечатали.

А там не голова, – лежит клуб берестяной.

И вышло старику решение:

отдать старика под наказание – не убил он, а за то, что за убийство осудил убийцу, не пожалел.

5. Плагиатор

Москва встретила меня карикатурой: жиром заплывшая морда, по носу узнаю себя, пауком среди книг, в руках ножницы, а подпись: «писатель или списыватель?» Потянуло в город на Ильинку. Шел пешком из Таганки – дома́ меня встречают. И тумбы и фонари знакомые

Был на Бирже Биржевое собрание еще не кончилось. Старик-служитель, не глядя, остановил меня в дверях: во время собрания никого не велено пускать, пятьдесят лет он служит и во сне не забыл бы исполнить приказ. Но, покосясь на меня – из какого-то упорства я не подумал отхо-

дить от дверей – он растерялся. Я видел, как лицо его вытянулось, а рука, напруживая синие жилы, потянулась к дверной ручке – распахнуть двери. И потом он расскажет, моргая красными глазами – в них было и умиление и восторг – как, взглянув на меня, ему представилось, что это «сам», – такое, значит, было необыкновенное сходство у меня с моим дядей, головой Московской Биржи и его хозяином, и все 50 лет службы за один миг промелькнули перед ним, и он не посмел не отворить мне дверь.

«Пожалуйте!» – бормотал он, теребя ручку.

К его счастью, собрание окончилось. И я вошел в гудевший зал. А так как я был первый вошедший из посторонних, меня заметили и узнали, с добродушными восклицаниями: одни просто называя меня «Алексей», другие с шуточным прищелком «плагиатор!».

Тут были и старики, которые знали меня с детства, и мои сверстники по коммерческому училищу.

Моя ссылка была встречена всеобщим порицанием Мое имя на годы было как вычеркнуто. Родственники от меня отказались. Имя мое не произносилось, а если из молодых кто помянет, оборвут. Но мой «Пруд» с Москвой – поднятый газетной бранью, мое имя со скандальным и повязью «декадент» обратили внимание, и стали поговаривать. Одним нравилось, другим не нравилось, но у всякого оставалось: «толк выйдет». И прошлое мое обернулось, как сказали бы деды, «не грех, токмо падение», а кто-нибудь еще прибавлял, конечно, по-своему, что значит по старине: «не согрешишь, не покаешься, не покаешься, не спасешься».

И теперь, когда в газетах – «Раннее Утро» и «Русское Слово» читает вся Биржа – меня объявили вором, которого нельзя терпеть среди литераторов, вызвало всеобщее негодование.

Старик Грибов сказал·

«Из семьи Найденовых и Ремизовых воры не выходят, ошибаетесь!»

И вот почему мое появление на Бирже встречено было с необыкновенным радушием. Всем хотелось выразить мне свое чувство и потрунить: «плагиатор», покрывая замоскворецкой руганью обнаглевших газетчиков.

Но как и почему все совершилось, что дало повод такому позорному обвинению! Это занимало каждого. Биржевое собрание не расходилось.

Я хотел обратиться по старине: «отцы и братья», но, встретившись глазами с Грибовым, сказал, слыша себя, как постороннего, свое из глубокого молчания исходящее слово.

«Александр Иваныч, верите ли вы мне?»

Грибов, нахмурясь, беззвучно шевелил седыми губами.

«Ве-рим!» – прокричал Корзинкин – когда-то сидели в училище на одной скамейке. «Верим», – повторил он, ударяя на «ве» задорно и твердо.

«Я, – и я остановился передохнуть, очень меня взволновало, – я не вор».

И в ответ мне – среди наступившего молчания, которое, мне показалось, длится бесконечно – я вдруг услышал и я вдруг увидел: старик Грибов с добрыми глазами на меня, твердо стукнул об пол палкой и пошел.

Биржевое собрание закрылось.

Шумно и как-то празднично, покидая Биржу, расходившиеся взбудоражили Ильинку. И сквозь дребезжание пролеток и шмыг резиновых шин на Спасской башне играли часы полдень.

Вечером, знакомой дорогой – иду по правой стороне с Земляного вала – сколько лет ходил на Старую Басманную в училище – мимо Рябова, мимо Курского вокзала, Погодинской церкви Никола Кобыльский и на Гороховскую в дом О. Г. Хишина к С. В. Лурье.

С. В. встретил меня весело. о моем объяснении на Бирже ему рассказали.

– Весь город знает. Случай из средневековой итальянской хроники Вот вам наша московская гильдия. Своего не выдаст.

Но меня ждало «из другой оперы» ведь на Бирже разыграна была сцена оперная, ни в комедии, ни в водевиле такому нет примера

От Д. А. Левина письмо.

Давид Абрамович пишет, необходимо мое объяснение в печати, иначе невозможно печататься в «Речи», и просит Семена Владимировича поместить в «Русских Ведомостях».

Редактор «Русских Ведомостей» или замещающий редактора С. Н. Игнатов, двоюродный брат М. М Пришвина, от Пришвина я знаю о Игнатове. В семье Игнатова воспитывался сын Л. И. Шестова, что соединяло С В. Лурье с Игнатовым.

Пришвин, сотрудник «Русских Ведомостей», автор «В стране непуганых птиц» и только что вышедшей книги «За волшебным колобком» у брата был только неудавшийся журналист, постоянные недоразумения, а как старался Пришвин писать под Игнатова, да не выходит. Никакого разъяснения обо мне Игнатов от Пришвина не принял бы. Другое дело от С. В. Лурье В деловых кругах имя Лурье стояло высоко, как впоследствии и в литературных, занимая место соредактора П. Б. Струве в «Русской Мысли»

А для меня была задача, казалось, не одолею. Написать по-газетному и что? Оправдываться, но в чем?

Я написал о сказке и путь русской сказки – о сказе и о моем праве сказочника сказывать сказку с голоса русского сказителя.

Семен Владимирович был убежден, что передовая русская интеллигенция – «общественность» вынесет свой достойный приговор, не уступая вровень купцам Московской Биржи, или, как у меня сказалось, «покроет».

Л И. Шестов и С В. Лурье старше меня, когда-нибудь придет их черед узнать на себе – Шестов при жизни, а С В по смерти, что такое эта передовая общественность – по Розанову «гиксосы» («Из книги, которая никогда не будет написана»), а по мне – «тараканоморы» («Подстриженными глазами»)

Мое письмо в редакцию «Русских Ведомостей» напечатали, ничего не вычеркнуто, но под моей подписью курсив – от редакции не отрицая моего права пересказывать народные сказки, редакция предостерегает меня быть осмотрительным, и во избежание справедливых нареканий критики впредь указывать источник моих заимствований.

6. Крестовые сестры

С надранными ушами и с номером «Русских Ведомостей» я вернулся в Петербург.

И когда мы остались вдвоем с Серафимой Павловной, я говорю· что же? а сам думаю· «и в “бардак” не пустят!» – «как нам быть?» Я присмирел, непохоже это на меня, а вот поддался. И все хочу и не могу сказать себе, в чем моя вина, да скажу, и теперь не понимаю, в чем я был виноват. Она ничего не сказала и только куда-то отвела глаза и вдруг огнем залило все ее лицо и глаза ее, как огонь, – такой

сверкнул пожирающий гнев И я до земли ей поклонился. Я всегда чувствовал какую-то пра-вину свою за всю боль, которая по судьбе пришла со мной и через меня, и вот сейчас – ей было больно за меня – за мою боль И поднявшись и став опять лицом к лицу, я вдруг нашел слова и для себя и для нее – успокоить ее я ведь только на одну минуту, на кратчайший миг, как пропал.

В ту же ночь я начал «Крестовые сестры», в них много чего про себя

Перехорохорился и не заметил, как затаился Пишу. Моя исповедь, как когда-то «Убийца», мой первый рассказ, а потом в Вологде «Пруд».

Летнее время, кому зайти, разве заблудный И я никуда. С П в Берестовце у Наташи

Так прошло лето – первая редакция «Крестовых сестер». А будет пять. Последним прочел Иванов-Разумник. Иванов-Разумник передаст в «Шиповник» для альманаха. Литературных мнений в «Шиповнике» нет – Копельман. Гржебин Вейс Разве что Иванов-Разумник, а то и читать не стоило бы, непонятно, да и автор – имя спорное

Чтение неторопливое, надо наперед рассказ Серафимовича и повесть Юшкевича Вейс очень занят. А последнее слово – повезут к Леониду Н. Андрееву на Черную речку – не скоро мне ждать ответа.

По редакциям я не ходил Чуковский предупреждал: не соваться, пока не сгладится Не беспокоил я Д А Левина – без меня и Рождество прошло Я затеял через Андрея Белого предложить Метнеру в Мусагет книгу рассказов

На большом листе аршинными косыми буквами неистовый ответ Андрея Белого Метнер отказал Тут вот Котылев и вынудил Стракуна подписать контракт на издание моей книги – Рассказы, Прогресс, 1910 г

Иванов-Разумник по своим делам часто наведывался в «Шиповник». Хорошо быть критиком, которого печатают. Иванова-Разумника из почтения величали «профессор» – это не то что «подожди» или «не велено пускать» мое. «Крестовые сестры» Гржебин прочитал, Копельман прочитал, читает Вейс.

Что-то будет?

Получил письмо от С К. Маковского, редактора «Аполлона» предлагает прочесть «Неуемный бубен» в редакции.

Исторический вечер: весь синедрион – Вяч. Иванов, Фадей Францевич Зелинский, Иннокентий Феодорович Анненский. И ближайшие· Макс Волошин, Н. С. Гумилев, М. А. Кузмин, Ф. К. Сологуб, А. А. Блок, секретарь Зноско-Боровский, Ауслендер, Ю Н Верховский, А. А. Кондратьев и приезжий из Москвы Андрей Белый.

Председательствует С. К. Маковский.

Вошел я робко, играю «не обращайте внимание» – как это странно: или никто ничего не читает. С. К. Маковский знал, я уверен, но из деликатности...

– Что-то о вас Измайлов написал? – тяжело спросил Блок.

Не помню, что я ответил, я превратился в Ивана Семеновича Стратилатова, мучителя Агапевны, и в мученицу Агапевну и во всю Костромскую археологию.

Повесть писалась по рассказам Ив. А Рязановского.

По окончании заметно было оживление, но куда мне разобрать, и только председатель улыбкой показал, что все понимает: И. Ф. Анненский говорил по-латыни, Ф. Фр Зелинский на языке Софокла, а Вяч. И. Иванов, думаю, на ассирийском Гильгамеша.

Необыкновенное впечатление на Андрея Белого. На него накатило – чертя в воздухе сложную геометрическую конструкцию образ Ивана Семеновича Стратилатова, костромского археолога, рассекая гипотенузой, он вдруг остановился – необыкновенное блаженство разлилось по его лицу: преображенный Стратилатов реял в синих лучах его единственных глаз.

– Да ведь это археологический фалл, кротко, но беспрекословно голос Блока. Блок выразился по-гречески.

Андрей Белый, ровно пойманный, заметался, он готов был выскочить из себя – и только улыбка Блока – «Иван Семенович Стратилатов воплощение археологического фалла», а он не заметил! и это правда' привело его в сознание.

В Берлине в 1922-м лекция Андрея Белого «О любви». Антропософская аудитория, исключительно дамы. Слушают, затаив дыхание. Не в воздухе, а на доске мелом воздвигается сложная геометрическая конструкция. Закрутив центральную спираль, Андрей Белый обернулся к аудитории. синь плывет из его глаз, лицо сияет, образ любви за его спиной

И вдруг, подобно гласу из облака, неожиданно голос из публики:

– А где же фалл? – Кусиков выразился по-русски.

И тут произошло однажды случившееся в Петербурге на вечере в «Аполлоне»: закрученная на доске спираль выщелкнувшись ударила в спину и принялась опруживать шею, руки, и остались одни перепуганные глаза – в «Аполлоне» в Блока, в Берлине в Кусикова. А в ушах неуемным бубном по-гречески и по-русски.

«Неуемный бубен», одобренный синедрионом, «Аполлон» не принял: С. К. Маковский, возвращая рукопись, мне объяснил на петербургском обезьяньем диалекте по размерам не подходит, у них нету места, печатается большая повесть Ауслендера.

Если бы все знал Сергей Константинович, ведь я ему обязан изданием «Пруда», как я верил, и на этот раз он меня выручит, меня нигде не печатают, а «Аполлон» меня реабилитирует, и мне откроется дорога в Котылевский «бардак», а может быть, куда и почище.

Тут вот Котылев мордобоем принудил Н. А. Бенштейна (Архипова), редактора «Нового Журнала для Всех», послать мне аванс 50 рублей.

Пятьдесят рублей – деньги, на какой-то срок ломбардные квитанции не со страхом ворошатся и глаза не ищут, чего бы еще снести к Пяти Углам.

А между тем Вейс кончил чтение «Крестовых сестер» – он читает с точки зрения «покупательной способности» – «откровенно скажу, ничего не понял». В субботу Копельман и Гржебин, начиненный Ивановым-Разумником, повезут рукопись в Териоки к Л. Н. Андрееву. Теперь все от слова Л. Н – и пусть С. А Венгеров считает Иванова-Разумника за нашего Белинского, для Л Н. Андреева Иванов-Разумник не авторитет, задирчивый – что, он семинарист? – нет, кончил математический факультет и хороший пианист. Так. Воображаю, как будет встреча – когда Г. И. Чулков собрался включить меня в свой сборник «Мистический анархизм», Л. Андреев с раздражением заметил: «Не могу читать Ремизова, не раздражаясь».

Что-то будет?

Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс в нашей петербургской судьбе не случайна: в решительные, всегда пропадные, когда было на ниточке или в срыв, писались письма англичанину Гарольду Васильевичу Вильямсу. Не знаю, какими словами Ариадна Владимировна убедила

П Б. Струве принять мой рассказ в «Русскую Мысль». П. Б. Струве отмахивался категорически: «ничего не понимаю». А и правда, моя «Бедовая доля» не без загадок. «Объясните, вы понимаете: "клей-синдетикон" – вымазался и катается по полу. Я понимаю "слоны в сапогах", ну а "лягушки в перчатках", перчатки носятся на руке, ну, а какие же руки у лягушек, а это – "макароны в плевательнице" ест Максимилиан Волошин?»

«Бедовая доля» появится в «Русской Мысли» – П. Б. Струве меня реабилитировал.

По-русски меня не издавали, один дурак заметил. «что ж тут такого, ждут и 50 лет»; с «Пляшущего демона» мое имя снова появляется на книжном рынке – чувствую себя новичком.

Б. К. Зайцев – «Подстриженными глазами»: мои книги несамоокупаемы, думал ли я попасть в ИМКУ, да и самое название книги «стричь можно волосы и еще ногти», говорит умный человек, «а глаза можно выколоть, зажмурить, а никак не стричь». Истину глаголите, потому вы и умные! Как когда-то А. В. Тыркова убедила П Б. Струве, так Б. К. Зайцев убедил совет ИМКИ. Жаловаться, что нет расхода книги, нет. «Очереди не замечается, говорит Полевой Воевода Обезьяньей Великой и Вольной Палаты Б. М. Крутиков, – но поход на книгу есть».

И это вопреки Тараканомору, из моих «Подстриженных глаз»; распалясь ревностью к вере, пишет донос, традиция Булгарина, а другой Тараканомор взял мою лексику под микроскоп, критический прием Бурнакина, но не имея ученого навыка славистов, помяну Р. О. Якобсона и Б. Г. Унбегауна, сел в лужу «остей», но для широкого читателя – «ловко же он его отбрил» и вывел на чистую воду до подноготной!

Иванов-Разумник сказал: «Л. Н. в мрачном равнодушии, "Крестовые сестры" сданы в печать. Обещают в Рождественский альманах».

Сейчас осень, недолго ждать. Пойдет корректура – Серафиме Павловне работа, будем в четыре глаза. Ошибок не будет, но и без ошибок со всеми недвусмысленными переносами имен, с точками и запятыми – всей этой ненужной пестряди, необходимой для тупоголовых – но разве это то, что я чувствовал и думал – «мысль изреченная есть ложь», какой вздор!

Нет несказуемых мыслей, только на сказ надо дар.

В 1910 в альманахе «Шиповник» № 13 появились «Крестовые сестры».

По случаю выхода альманаха вечер в «Шиповнике». Меня пригласили. Народу набито. Актер Ходотов читает новую пьесу Леонида Андреева «Океан» Я в другой комнате. Чтенье томительно, Ходотов хочет передать Океан в тихую погоду – акт – ни автор, ни Ходотов не жили на океане.

Ходотов читал час.

Я высвободился из тисков поздороваться с Леонидом Николаевичем Надо было пробраться. Заметил ли он меня, впрочем, едва ли он помнит: приходил к нему прямо из Охранного отделения, Москва, ноябрь 1902 года, скорее его подтолкнули – с ним стоял К. И. Чуковский – около него, вижу.

Леонид Андреев подал мне руку.

– Читал, – задумчиво выговорилось и скорбью налился взгляд – Что-то у вас там Мне послышалось «магия».

И тут из толкучки те, кто меня не замечал или отворачивался, вдруг узнали меня и здоровались. Повторялось единственное в памяти из «Крестовых сестер», но в тоне Биржевого «плагиатор» беззаботно·

– Человек человеку бревно.

7. Магия

«Крестовые сестры» переведены на немецкий, французский, итальянский и японский, только нет по-английски – не нашлось русского, чтобы сказал, а сами англичане слишком богаты – до чужой литературы нелюбопытны.

Теперь я не прячусь за Чуковского, справиться в «Ниве» о злополучной «Корявке» в «Ниву» я не пошел, а в «Сатирикон»

Аверченко встретил меня приветливо. «Берестяной клуб» отдан в набор Я подумал, «стало быть разъяснилось», и невольно провел себе рукой по лбу – гладко: клеймо «вор» не выпирает буграми свинцовых букв. Как всегда, в редакции народ, торопятся, но никто не бежит. знакомые здороваются, незнакомые с любопытством: «человек человеку бревно». У окна на Невский художник Реми – Николай Владимирович Ремизов (Васильев) – негритянское обличье, а перед ним в черном длинный черный судорожно отмечает в записной книжке.

– В ближайшем номере обязательно! – громко сказал Аверченко, прощаясь со мной.

Черный человек обернулся, и смертельная улыбка оскалила его.

– Кто этот мертвец, кладбищенская пугала? – спросил я африканского, тогда еще не африканского доктора, пробивавшегося к Аверченко.

– Знаменитый художник Реми.

– Да нет, вот тот, черный, смотрит в окно.

– Александр Алексеевич Измайлов, – почтительно выбубнил африканский. пишет в «Биржевке» под псевдонимом Смоленский и Аякс.

С легкой руки Иванова-Разумника о «Крестовых сестрах» пишут и в Харькове, и «Южный край» (Екатеринослав), и в Ростове-на-Дону – какое дубье, а что-то поняли

Д. Л. Вейс ошибся «Шиповник» объявил собрание моих сочинений в 8-ми томах – у меня ненапечатанного большой запас. Анна Семеновна Голубкина представила меня деревянным лесовиком – по моей «Посолони» – в Третьяковской галерее пугаю любопытных обозревателей русского искусства Мы покинули Бурков дом – М. Казачий переулок – нашего ближайшего соседа по Б Казачьему В. В. Розанова. Наша новая квартира на Таврической в новом доме архитектора Хренова, восьмой этаж, памятный Ф. А. Степуну. застрял в лифте, пожарные за ноги вытащили, оборвав потерпевшему всю нижнюю сбрую. У нас есть телефон, помню № 209-69, топят жарко – центральное отопление – стены просушиваются, сосед З И. Гржебин и лето и зиму несменяемо в майском.

В эту нашу первую человеческую – магия «Крестовых сестер» – Таврическую квартиру, отмеченную Ф. А. Степуном в «Воспоминаниях», забредет «по пророчеству», «ведомый рукой Всевышнего» Н. А Клюев с показным игральным крестом на груди – «претворенная скотина», имя, данное им А. И. Чапыгину, завистливой пробковой замухри: завистливой «почему говорят не о нем, чем он хуже Замятина?» Клюев, преувеличенно окая по-олонецки, «величал» меня Николай Константинович Я догадался «Рерих» и сразу понял и оценил его большую мужицкую сметку, игру в небесные пути. Раздирая по-птичьему рот, он божественно вздыхал. Повторяет. «Так вы не Рерих?» В эту квартиру за Клюевым придет в нескладном «спиджаке» ковылевый С. Есе-

нин и будет ласково читать о «серебряных лапоточках», а потом имажинистом так же ласково будет ругаться

На звонок: «Слушаю, кто говорит?» выхолощенный без напоя голос – «Измайлов».

Трудно сказать, кто из нас больше стеснялся я до потери памяти, где что находится, а гость – до страха молчания

Не прерываясь говорит Измайлов, его голос вытресскивал семинарской ладью заученных акафистов и канонов. ему посчастливилось, на Сенной он нашел картину, размером в стену, ничего не разобрать, а промыл – показался запечатленный берег моря, художник Дыдышко смытые места реставрирует; и еще – он достал аппарат, регистрирует голос, диск ставит в граммофон, очень хорошо слышно. Он хотел бы показать мне картину – запечатленное море – и зарегистрирует мой голос. Он перебрался со Смоленского кладбища на Офицерскую, он надеется, буду у него.

– Все знаменитости зарегистрированы, не хватает вас, – и как у Аверченко в «Сатириконе», смертельная улыбка оскалила его.

И во мне говорилось· «со Смоленского кладбища!»

Конечно, я приду на Офицерскую посмотреть промытое море и прочту для граммофона свой сон – меня везут на кладбище в Александро-Невскую Лавру.

Торопясь, он продолжал говорить.

О ту пору два модных имени: Клюев и Есенин – на каком-то собрании он их видел, хотел бы поближе познакомиться.

«Чего проще, подумал я, они бродят по "мережковским" закрепить свое литературное имя, но какая ж корысть – Мережковский, Блок, Иванов-Разумник. Ведь появление Клюева в Петербурге – я заключаю из его божественных патриотических признаний – по Распутинской дороге он хочет пробраться во дворец к царю и Сережу протащить с собой, "рыльце симпатичное", Клюеву надо – "Биржевка"».

– Конечно, поспешил сказать я, приведу к вам и Клюева и Есенина зарегистрировать голос.

Он принес мне, – без передышки продолжает гость, – три сборника своих рассказов. Он положил передо мной – три книжки пузатые, но аккуратные Я раскрыл первую, мне любопытно, о чем – так и есть, «Черный ворон», а в этой

«осени поздней цветы запоздалые». И я вдруг увидел на Смоленском кладбище могилу.

– Я теперь не на Смоленском, – почему-то повторил он свой офицерский адрес.

Он считает себя учеником Лескова. И мне почуялось под словом «ученик» выговорилось «и продолжатель». Он единственный из критиков обратил внимание на Лескова. Собирает матерьялы для биографии.

И разговор перешел к Лескову – судьба Лескова.

– Мне часто вспоминается судьба Лескова: клевета, которою заклеймили его на всю жизнь. И я понимаю, когда он говорит за себя – за себя все можно принять, но за другого – не прощается: я – не прощаю.

«Меня только всю мою жизнь ругают и уж давно доказали и мою отсталость и неспособность, и даже мою литературную... бесчестность... Да, так, так: нечего конфузиться – именно бесчестность».

И мне от его слов вдруг стало больно за него. Не намекнув, все знали. Аякс – Измайлов, Измайлов – мой черный гость, униженно-елейно-семинарская муштровка – прощался. И черный след его тонких скелетных ног пропал за дверью.

В одном из следующих альманахов «Шиповника» появилась моя повесть «Пятая язва», Человек среди человекообразных. Наша провинциальная глушь, не Кострома «Неуемного бубна», а уездный город Костромской губернии Галич – матерьял рассказы И. А. Рязановского После «Крестовых сестер» эта повесть ничего не прибавила к моему имени. Были казенные отклики, но мне памятен не литературный, хотя в русской литературной традиции – доносы не перевелись и до сего дня – ругань «Земщины», глас «Союза Русского Народа».

После «Пятой язвы», возвращаясь к Петербургу, начал повесть «Плачужная канава» – лесковская тема «Обойденные». Но не в обойденности, я хотел довести «Крестовые сестры» до скрежета, и говорю: «человек человеку бревно, человек человеку подлец, человек человеку Дух Утешитель». Начало читал Блоку. Окончил повесть в Революцию 1918 г. Одну из редакций – мельчайшая рукопись – купил у меня для своего книжного собрания редкостей библиофил А. Е. Бурцев. Ни в России, ни за границей мне не посчастливилось найти издателя.

Пока С. В. Лурье был в «Русской Мысли» соредактором П. Б. Струве, я мог печатать мои рассказы, не докучая А. В. Тырковой поговорить за меня с П. Б. Струве, как когда-то Д. А. Левину – вот я где стал Петру Бернгардовичу.

Кроме «Русской Мысли» ни в какие толстые журналы меня не пускали, ни в «Русское Богатство», ни в «Мир Божий» («Современный Мир»), ни в «Вестник Европы».

Для передовой русской интеллигенции – для общественности – я был писатель, но имя мое – или на нем тина «Пруда», или веселые огни «Бесовского действа».

Во время дела Бейлиса появилось в газетах воззвание от Союза Писателей «Кровавый Навет». Среди подписей нет ни меня, ни Чуковского· вычеркнули.

Иванов-Разумник пришел к нам прямо с заседания, вздыбленный: пенсне падало, и он ловил его, подплясывая пальцами

Семен Афанасьевич говорит Ремизов и Чуковский – имена несерьезные, и это может повредить, я предложил вычеркнуть

Иванов-Разумник против вычеркивания Чуковского ничего не имеет, но что и меня вычеркнули – он подал протест.

И только в Революцию произошло неожиданно для меня· мое имя вдруг поднялось вровень: с именами Иванова-Разумника и самого Семена Афанасьевича. И я поверил. В Союзе Писателей меня выбрали в суд чести быть в товарищах с Анатолием Федоровичем Кони и Виктором Сергеевичем Миролюбовым.

Единственное судное дело – с непривычки я не знал, куда глаза девать, ведь всю жизнь не я, а меня судили – дело Гумилева и Голлербаха – допрос Гумилева тягчайшее. Задор и чванство – из семинаристов? нет, кончил гимназию, недоученный филолог, но фамилия Гумилев явно духовного звания, и царскосельские: Гумилев... да он сын нашего соборного протодиакона.

Говорил один Кони, ему привычно, В. С. Миролюбов только басом подергивался, а я молчком. И вдруг я понял – А Ф. Кони, что говорить! В С. Миролюбов – слава безукоризненной чести, а я? – я был близок к верхам, недаром же Вологодская ссылка с Луначарским, это все знали, и вот я свой в Союзе Писателей и занимаю какое место! – Меня выбрали в суд чести, как добродушно говорил А. С Родэ, хозяин ресторана «Вилла Родэ», чтобы сделать удовольствие

О. Д. Каменевой (ТЕО) и Саре Наумовне Равич (Петросовет и Наркоминдел).

Александр Николаевич Тихонов, редактор Горьковской «Летописи» (1916–1918), человек с набалдашником, прямо сказал мне: «К нам в редакцию присылалось немало таких рукописей, я как увижу "Ремизов" – не читая в корзину». И смотрел на меня так решительно, мне казалось, вот шваркнет меня за ворот и к рукописям, похожим на мои, шваркнет в корзину.

Это был грозный «голос России», напутствие мне в чужие края (5-го августа 1921 года).

II.

Статуэтка

В судьбе каждого писателя есть своя таинственная статуэтка, и только в истории литературы обнаружится, стоило ли ее беречь в Эрмитаже или это такой вздор, годный лишь навыброс.

А<лексей> Р<емизов>

1. На XI-ой версте

Варвара Дмитриевна Розанова читала мой «Пруд» пять раз «и ничего не понимаю», – она говорила со скорбью; она искренно хотела помочь мне. Василий Васильевич Розанов о «Пруде» слышал из разговоров – всюду говорили, и все против; из моих сверстников, как и я, начинавших, Иванов-Разумник – в Петербурге, а Андрей Белый – в Москве, по-разному, но оба возмущались; за меня наперечет: Лев Шестов, Дягилев, Философов, Сомов, Бакст, Блок и С. В. Лурье Да, забыл помянуть старших – моих отцов крестных Горького и Леонида Андреева – пройдут годы, пока гнев не сменится на милость. И не было газеты, где б меня не выругали, и письма. Думаю, – прошло немало годов – вот чем объясняется моя литературная нечувствительность.

В. В. Розанов не менее Варвары Дмитриевны сокрушался, глядя на наш пропад. А всякий раз, как станет он надевать калоши идти в «Новое Время», Варвара Дмитриевна повторяла: «Вася, не забудь, попроси Виктора Петровича».

Буренин отмалчивался. Но однажды – должно быть, очснь надоело – он сказал, что о сумасшедших писать не хочет Тут Розанов помянул Ссрафиму Павловну, и о Наташс, и археологию Буренин сдался. И сдержал слово. В одном разносном буренинском фельетоне я прочитаю о себе и о «Пруде» – несколько строчек, но вразумительных: Буренин выражал свое искреннейшее удивление, что автор «Пруда» еще не «на одиннадцатой версте», в чем он был уверен, а живет в Петербурге. («На одиннадцатой версте», так в Петербурге говорилось о больнице св. Николая для душевнобольных.)

Я был под негласным запрещением, меня никуда не принимали, в «толстых» благородных журналах имя мое было

пугалом. К. И. Чуковский пытался в «Вестнике Европы» – редактор Е А. Ляцкий – там только руками замахали и приняли за шутку: Чуковский предлагал мой рассказ «Слоненок» (Собрание сочинений, т. 1. Изд. «Шиповник» – Сирин, СПб. 1910–1912).

В 1906 году кончились «Вопросы Жизни», конец моей службы: я заведовал хозяйственной частью; и мы остались без ничего. Меня посылали в разные учреждения. Д. В. Философов – в Государственный Контроль. Управляющий Государственным Контролем Ратьков-Рожнов, жена его – сестра Философова, чего, кажется, проще, а ничего не вышло, только смех – передавался мой разговор с начальником канцелярии и как я папиросу закурил. А. В. Тыркова – к Парамонову, на Сенную. Парамонов вроде здешнего фарфорщика Попова, а прием в конторе с семи утра, собирался меня куда-то в Персию послать, я обрадовался и заговорил о персидских газелях и сказках, ну, ничего не вышло. Посылали меня к Руманову на Морскую – А. В. Руманов, заведующий петербургским отделением «Русского Слова», принимал с восьми утра в постели. Напуганный неудачами, я сидел на кончике стула, тиская мои рукописи. Руманов говорил по телефону. Перед Румановым в те годы заискивали и лебезили, таких посетителей, как я, бывали сотни, не было возможности подумать, и только письмо В. В. Розанова, но я был ни к чему для «Русского Слова», и все эти рукописи мои зря. И не «сумасшедший», а просто ненужный.

Была перепись собак и автомобилей. Как раз по мне: ни с кем не разговаривать, записывай, и все. Я и взялся. После одного происшествия, как я перешел железнодорожный мост, с собаками у меня ладу не было. (Этот памятный случай описан в моей книге «По карнизам».) Дело с переписью простое, но каждый раз я выходил к собакам не без трепета.

Серафима Павловна через В. В. Розанова устроилась в гимназии Минцлова: начальница – жена Сергея Рудольфовича. С. П. было не очень легко, я заметил, не преподавание, а эта Минцлиха баба – все как следует, а мерка на людей самая пошлая (при Тредиаковском это слово переводилось как «средняя», «ограниченная»), стало быть, жди «замечаний» и, конечно, все по программе и учебнику. А вечером мы сверяли Белинского. текст изд. Павленкова со статьями в «Отечественных Записках» для нового изд.

у Стасюлевича. Эту работу дал нам Иванов-Разумник Спасибо. И все-таки на жизнь не хватало Да, еще составлял я каталог детских книг – пожалуй, самое для меня тяжелое, тягостнее собак, вспомнить жутко, ведь что бы я ни взял, вижу: «и почему детям?» Все мне было не по душе. сам я в детстве не читал «детских» книг, меня отпугнули они своей деланностью и фальшью, у меня сказалось тогда – «почему меня считают за дурака?» Такое же отвращение у меня с детства к проповедям, нравоучениям, к «истине».

Я был изгоем, но не сдавался и продолжал писать. На большое не было времени и только сказки. Читал всякие этнографические сборники, «Живую Старину», и что находил по душе, то и пересказываю. А. И. Котылев, король или, по-русски сказать, первый «махала» петербургских репортеров, помещал мои сказки во всяких мелких иллюстрированных журнальчиках, в приложениях к театральным афишам или, как сам он выражался, носил «в бардак». Само собой, он брал себе из гонорара какую-то долю, и все-таки это был единственный человек, который, не мирясь с моими собаками и детским каталогом, делал для меня самое важное. поддерживал мое литературное ремесло. Я и тогда замечал, а теперь скажу прямо: моему литераторству не доверяли.

2. Статуэтка

День выдался особенный, только в Петербурге такое бывает. После вчерашнего дождя, тумана, когда не видишь перед носом и по улицам идут наугад безликие тени, сегодня с моря подул ветер, и вдруг все переменилось Солнце. И Невский – единственный – выполощенный, вычищен, блестит.

Я шел по каким-то бедовым делам, наслаждаясь, вбирая в себя этот блеск, Невский под солнцем после дождя! – ковровые бесшумные торцы от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры – пространство куда от Триумфальной Арки до Конкорд.

Легким шариком катился мне навстречу, я издалека узнаю: Сомов. Он спешит на «сеанс», не помню, чей это портрет он рисовал: Вяч. Иванова или Блока?

Мы стояли под солнцем, блестя, как Елисеевские гастрономические стены, бутылки, фрукты и розовая ветчина.

«Непременно в пятницу жду. – Прощаясь, Сомов сделал сердечком губы и мягко, но внятно, у него баритон: – буду показывать "статуэтку", – сказал он, – большой секрет, один Валечка знает, я ему сказал, а для других это будет сюрприз».

Статуэтка была сделана по воле Императрицы Екатерины «для назидания обмельчавшему потомству». Статуэтка хранилась в Эрмитаже. Для публичного обозрения недоступна. Об этой исторической редкости стало известно от А. И. Сомова, директора Эрмитажа. К. А. Сомов упросил отца взять на дом, – хоть на один вечер, посмотреть. А. И. Сомов долго не решался: будут руками трогать, не повредили б – и вот, наконец, согласился· статуэтка «торжественно» (так выговаривалось у А. И. Сомова) перенесена была из Эрмитажа на Екатерингофский проспект.

Андрей Иваныч, «водрузив» драгоценный «ларец» – размер скрипичного футляра – на самом видном месте «под святые», все беспокоился: а ну как «схватятся»?

А кому хвататься, если вещь находится в полной неизвестности: никто никогда не видал и ничего не знает, как о легендарном обезьяньем царе Асыке.

Андрея Ивановича Сомова мы знали только по портрету, я говорю о новых петербургских знакомых Сомова 1905 года. Константин Андреевич не в отца, а в мать: Андрей Иваныч высокий жилистый, а Константин Андреевич – заводной шарик – Философов, Дягилев и Бенуа, Александр Николаевич, кажутся перед ним великанами; к нему больше подходит «Валечка» – Вальтер Федорович Нувель. Все это товарищи Сомова по гимназии Мая (Васильевский Остров, 14-я линия) и по университету (Дягилев по университету). Все с именами, и только Нувель, его имя очень тесного круга «Мир Искусства» и «Современная Музыка», он написал несколько трогательных романсов на слова М. А. Кузмина в стиле XVIII века, но не печатает: чиновник особых поручений при Министре Двора несменяемом Фредериксе. Нувель, еще скажу, как и его товарищ Альфред Павлович Нурок, сын автора популярнейшего учебника и сам учитель английского языка, с лицом Маллармэ – Нувель похож на грушу – оба были душой всяких музыкальных и художественных собраний.

В глазах у меня все еще были эти сердечком сложенные губы Константина Андреевича со «статуэткой», он произнес «статуэтка» с каким-то умилением, бережно, стесняясь

и любуясь – по рассказам Андрея Иваныча, «статуэтка» была искусно сделана Императрица любовалась.

Жмурясь – блестит! я нацелился перейти на ту сторону. Для меня всегда это было трудно, и вдруг Котылев.

Остановились я всегда рад такой встрече, не надо писать письмо – с Котылевым у меня единственные литературные дела, и вот эти не-собачьи дела остановились.

Котылев разодетый, только что не в цилиндре, после вчерашней и позавчерашней попойки, но это не серое, а как можно представить себе серое, окутанное наливным светом – в глазах его сияло удовольствие· удача!

Он от министра: интервью – и все сошло не только хорошо, а великолепно. корм и для «Петербургской Газеты» и для «Листка», хватит на «Биржевку». Между прочим, у министра он встретил Валечку

«А вы все по собачкам?»

Перепись собак давно кончилась, тысячу раз я говорил об этом, но почему-то всем понравилось, и редко кто не считал своим долгом справиться автоматически, вроде «как поживаете?»

А не так-то просто оказалось и с моими сказками. Трудно пишу, жаловались в редакции, «непонятно для нашего читателя».

«А я говорю, – хорохорился Котылев, – непонятно? Да ведь это же по-русски, морду набить, какого еще черта!»

В моих мыслях путалась статуэтка и вместо вопроса: как мне быть с моими рукописями, я спросил о Потемкине, не о Григории Александровиче (1736–1791), а о студенте Петре Петровиче.

Потемкин – дылда в непомерно длинном студенческом сюртуке – примечательное на всех литературных вечерах молодых (я тогда числился в «молодых»). А стал известен за свой стих, подхватываемый и оголтело и не без добродушия. «папироска моя не курится, я не знаю, с кем буду амуриться. .» И как участник у «кошкодавов»: скандальное дело, возникшее в Петербурге в 1906 году по обвинению в истязании котов. Впрочем, глава кошкодавов Александр Иваныч Котылев объяснял очень просто: «забавлялись с фокстерьерами на бездомных кошек». Котылев покровительствовал Потемкину и даже приютил у себя. Котылев один, это потом появится кроткая безропотная Марья с застывшим навсегда недоумением в ее русских с поволокой глазах. У Котылева были странные житейские повадки, летом

по случаю теплой погоды дома он ходил не иначе как нагишом и только для редких посетителей, я в числе их, он делал исключение: наголо обряжался в сюртук – я ведь буду впоследствии крестным его дочери; кума – Марья Карловна Куприна-Иорданская, первая жена Александра Ивановича Куприна. (Куприн покровительствовал Котылеву, но и Котылев старался: добрая доля славы Куприна создана Котылевым.) А сам Котылев получил известность и в самых высоких кругах литературы за свое «родство». Е. А. Ляцкий женился на престарелой дочери А. Н. Пыпина или, как говорилось, на пыпинском архиве, а Котылев – на внучке Петра Лавровича Лаврова; под повестями и рассказами, ее печатали везде, она подписывалась О. Миртов. В ее внешности ничего не было «писательского», всегда нарядная, «модница», она была похожа скорей на офицерскую жену, с хохолком и бархаткой, таких встречал Достоевский, а говорливость непрерывная и ни на какой гонорар не поддающаяся. После развода два сына жили с нею, но и с отцом не прерывали связи: Котылев «каторжный», беззастенчивый, но именно как «каторжный» с порывом доброго и горячего сердца.

«Петрушу надо пристроить, сказал он, его не знают эти ваши, я уже говорил Вальтеру Федоровичу».

А я подумал· «Котылев выведет Петрушу в люди, станут его знать и “наши”» – эти литературные круги с Дягилевым и Философовым здесь и с Брюсовым в Москве – им противополагалось (вот словечко, впору Бердяеву!) серое «Знание» Горького, зеленые растрепанные книжки, образец словесного и печатного безвкусия, Куприн, Арцыбашев.

На прощание Котылев, подмигнув, сказал:

«Вы, конечно, в пятницу будете у Сомова на “статуэтке”?»

Я совсем спутался: ведь только что Сомов предупредил меня о секрете, а какой же секрет, когда и Котылев знает? И понял, откуда – конечно, это Нувель, единственный, кому открыл Сомов, не удержался и с усмешкой похвастался, еще бы – историческая статуэтка. Я так и видел Нувеля: нос по ветру. Недоставало только его самого встретить.

Когда я подымался к себе на третий этаж, лестница темная и узкая – «Бурков дом» («Крестовые сестры») – я столкнулся с Розановым, оба мы близорукие.

Розанов осердился.

«Я третий раз к тебе захожу, куда ты шляешься – с собаками?»

Я сказал, что без собак, но по собачьему делу. А С. П. в гимназии.

«Я пришел предупредить, сказал Розанов, мне некогда разговаривать с тобой, и пожалуйста, не задерживай и оставь свои безобразия, ты непременно должен быть у Сомова в пятницу, будут статуэтку показывать».

И в его произношении «статуэтка» осветила всю нашу темную лестницу, это было не Котылевское с усмешкой и пренебрежением, а подлинное преклонение и чинопочитание: «ваше обер-высоко-превосходительство».

Розанов, не входя, перед дверью рассказал мне, что дома он проболтался и «Варечка» (Варвара Дмитриевна) слышать ничего не хочет, но если узнает, что мы оба поедем, успокоится. Варвара Дмитриевна непременно зайдет, но чтобы ей не говорить, что он был у нас – он дома сказал, что Суворин его вызвал по важному делу.

«В третий раз захожу, повторил Розанов, ну прощай, волк и паук, до пятницы».

На его губах висела «статуэтка», а «пятница» прозвучала возвышенно и растроганно, как «великая пятница», он даже поцеловал меня.

Не успел я оглядеться, как раздался неистовый звонок. Я думал, что случилось, и С. П. из гимназии. И отлегло. Отдышиваясь, ввалился Рославлев. И вгруз:

«Встречаю на Невском Котылева, сказал он ластящимся не по объему голосом, у Сомова в пятницу будут показывать Эрмитажную редкость. Хочу попросить вас, вы там свой, Сомов меня не знает Котылев сказал, зрелище общедоступное, но как проникнуть? Это на Екатерингофском, 97».

Я объяснил Рославлеву, что «общедоступное» надо понимать как не требующее никакого всматривания, слепому в глаза бьет, а на «сеансе» будут только те, кого Сомов

«До пятницы Сомова я не увижу, приходите безо всяких».

Я думал, Рославлев, получив свое, сейчас же уйдет, а он сел крепко.

«Занимайтесь своим делом, – сказал он, – я только газету просмотрю», – и развернув «Новое Время», уткнулся.

Никаким делом заниматься я не могу. Я очень забеспокоился: всякую минуту могла вернуться из гимназии С. П.,

а она не любит, когда кто-нибудь торчит с газетой, будь то Рославлев или Котылев, мои благодетели.

3. Моя библиография

Котылев – отчаянная голова, возьмется за что, ни перед чем не остановится, доведет до конца. В одну из моих «катастроф», желая помочь мне, долго не думая, он отправился в редакцию «Нового Журнала для Всех», к знакомому редактору и издателю Николаю Архиповичу Бенштейну (Архипову) – (в свое время Котылев помог ему у Виктора Сергеевича Миролюбова откупить «Журнал для Всех») и потребовал у Бенштейна послать мне немедленно аванс – 50 рублей. Основания никакого не было и Бенштейн заупрямился, тогда Котылев, не вступая в пререкания, ударил его «по морде» В тот же вечер я получил от Бенштейна 50 рублей и с письмом, пишет, что «всегда готов, но просит в следующий раз без посредников». Бенштейн был в зависимости от Котылева: реклама – и несмотря на обиду, скоро состоялась между ними мировая; посредником был Маныч, товарищ Котылева, тоже репортер и тоже не простой, а по мрачности другого в Петербурге не найти, силища кузнечная, полиция боялась, а новодеревенские громилы обходили. Маныч потребовал от Бенштейна 25 рублей вознаграждения «уладить дело», потом был ужин в «Вене» на три персоны: Бенштейн, Котылев и Маныч. Недешево обошлось Бенштейну «сопротивление». А Котылев говорил: «мошенников надо учить». А еще – в другую мою катастрофу. все издательства отказались меня издавать – «как? не хотят – посмотрим!» И Котылев повел меня в новое издательство «Прогресс» или, как смеялись, «Скороход» за неимоверное количество и быстроту выпускаемых книг, по преимуществу технических. Хозяин – Стракун, молодой, инженерного вида. И я был свидетелем разговора, результатом которого контракт на издание моей книги «Рассказы», изд. «Прогресс», СПб, 1910 г.

Мои книги 1908 г. «Часы» («The Clock». Alfred A. Knopf, New York, 1924) и «Чертов Лог» с «Полунощным солнцем», изд. «EOS», СПб, появились на свет тоже чудесным образом через «разговор», но какая разница! Александр Степанович Рославлев, известный за свою нецензурную эпиграмму на памятник Александру III работы Трубецкого перед

Николаевским вокзалом, а также стихами под Ершова с повторяющимися «клики-пушки и трезвон» и любопытной повестью «Записки частного пристава», человек немалых размеров, в поддевке и с лицом Варлаама («Как во городе было, во Казани») затеял обработать Саксаганского – в литературе никакого, торгует ломаным железом в Екатеринославе. Но зато Анна Семеновна Саксаганская, дама спокойная, и уж дети скоро из Екатеринослава по университетам из железного гнезда разлетятся, а между тем автор двадцати пяти драматических пьес – изданы порознь *без корректуры* (и смех, и грех, и безобразие!) И затеяла она, ища славы, погрузиться в «литературную пучину» – так и появились Саксаганские в Петербурге. Из писателей единственный знакомый Бор. Ал. Лазаревский, «преемник Чехова», как любил сам зваться, да и ни для кого не была тайной его подражательность Чехову. Лазаревский познакомил со своим другом и собутыльником Рославлевым. С этого все и начинается – Чтобы прославиться, надо окружение – надо создать издательство с блестящими именами – так решил Рославлев Так появилось на свет издательство «EOS». Имена:

Дм. Цензор. Старое гетто.

Владимир Ленский. Утренние звоны.

Анатолий Каменский. Солнце.

Борис Лазаревский. Рассказы. Том третий, обложка Е. Лансере.

.. и сам Александр Степанович. Сказка о трех царских дивах и о Ивашке, поповском сыне

Да еще: Ола Гансон – «Женщины». (На этих «Женщин», книгу целомудренную, почему-то больше всего рассчитывали на обложке красовалась откровенная русалка, а оскандалились мои «Часы», их конфисковали за порнографию и кощунство, потом, разобрав, сняли арест, но все равно, скандал или реклама – все бросились покупать.) И вот к этим блестящим именам Рославлев решил присоединить и меня. По душе добрый и совестливый однажды мне удалось, я попал в какой-то «кошкодавный» альманах («порядочные» долго меня не печатали) и мой гонорар – 60 рублей (шестьдесят рублей!), Рославлев взялся передать мне из рук в руки, зимой было, он зашел в какой-то недешевый кабак обогреться, а хватился, время позднее, и прикатил к нам на лихаче: я ему дал расписку, он обшарил все свои карманы – ни копейки. И не это ли его толкнуло вспомнить

обо мне и возвеличить мое имя. У Саксаганского я сидел ни жив ни мертв, у нас не было ни копейки, на Загородном комнату снимали, не выйдет дело – беда, а Рославлев, развалясь, величал меня: будто мои книги, как книги Цензора и Вл. Ленского, напустят такого огня и света в EOS, имя Саксаганского будет известно на всю Россию, – до «двенадцатого колена», почему-то по-библейски выражался Рославлев, и имя Анны Семеновны будет повторяться во всех уголках, где только подымется занавес и обнаружатся кулисы, в миллионах экземпляров будут изданы ее пьесы, – и он перечислил все 25:

1) Безумная. Драма в 2 действиях и 3 картинах.
2) Вне закона. Драма в 3 действиях и 4 картинах.
3) Генеральная репетиция Водевиль в 1 действии.
4) Герой. Шутка в 1 действии
5) Двести тысяч. Водевиль в 1 действии.
6) Именины в деревне. Шутка в 1 действии
7) Именины Наташи Водевиль в 1 действии
8) Картинка жизни Драматический этюд в 1 действии.
9) Коллекция. Фарс в 2 действиях.
10) На новую дорогу. Пьеса в 4 действиях.
11) Недуг времени. Драматический этюд в 1 действии
12) Не понял. Драматический этюд в 1 действии.
13) Одурачили. Водевиль в 1 действии
14) От Божьего ока не укроешься Народная драма в 5 действиях.
15) Поздняя правда. Драматический этюд в 1 действии
16) Роковая буква. Шутка в 1 действии.

На «Роковой букве» Рославлев вышел в соседнюю комнату: там Лазаревский, ожидая Анну Семеновну, работал над ее портретом, на столе около ящика с красками стоял графин с водкой и тут же на тарелочках закуска. Рославлев приложился, дернув «по-сибирски», как говорит Пантелеймонов, не водочный, а винный стакан, и закусив, вернулся продолжать:

17) Самой красивой женщине. Шутка в 1 действии.
18) Степной цветочек. Драматический этюд в 1 действии.
19) Сумерки. Драматический этюд в 1 действии.
20) Сети. Фарс в 2 действиях.
21) Тайга шумит. Драма в 1 действии
22) То было раннею весной. Шутка в 1 действии.

23) Феминистка, или Долой мущин! Шутка в 1 действии.

24) Чем не жених. Водевиль в 1 действии.

25) Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться. Водевиль в 1 действии.

«Лошадиный зад», сказал Рославлев и с таким умилением, словно дело шло не о Трубецковом памятнике, а о собственном, и метко сплюнув на Саксаганского застрявшую в зубах недотрогу – селедочную мелкую косточку, которую без вреда мог бы и проглотить, еще больше разулыбался, – «всякий зад падет во прах, мнится», – он переходил на стихотворение, – окруженный Цензором, Вл. Ленским, Алексеем Ремизовым, как из-под земли подымается перед глазами пьедестал (ясно, он хотел сказать: монумент): Сак-са-ганский Санкт-Петербург».

Вот это я понимаю: и проймет и никому не обидно: подписывай контракт и получай деньги. А Котылев, и поздороваться не успев, с первых же слов: «свинья». И настаивая принять мою книгу «Рассказы», изд Прогресс, тыкал свиньей в Стракуна. Видно было, что Стракуна «свинья» коробит, он, сдерживаясь, менялся в лице, и когда мы остались одни, Котылеву валандаться некогда, подпись схватил и прощай. Стракун сказал: «Какое обращение!», но не договорил: «хамское», остановился: за это «хамское» было б, он это знал, «набить морду», и это пустяки, а вот в газетах ввернуть подозрительное словечко о его изданиях... Котылева тронуть – обожжешься.

Я был уверен, что Петруша, как, я не знаю, а очень скоро будет знаменитым, раз взялся за него Котылев. Скажу наперед: мое предположение оправдалось – через какой-нибудь месяц после этой памятной мне встречи я узнал, что Бакст затевает написать группу поэтов и на первом месте, за Вяч. Ивановым, Блоком и Кузминым, значился Петруша Потемкин, а уж за Потемкиным Гумилев.

Правда, затея Бакста не осуществилась. В группу включили меня, потом вычеркнули, тогда Блок отказался участвовать, – а какая же группа поэтов без Блока? – так и расстроилось. Но это неважно, разговор, где поминалось имя Потемкина, долго еще занимал «среды» Вяч. И. Иванова. И еще: в ту пору в Москве возникнет «Золотое Руно». конкурс – я получу первую премию за рассказ «Чертик» («Дом Дивилиных у реки. Старый, серый, лупленный. Всякая собака знает»), первую премию за стихи М. А. Куз-

мин, а вторую – Потемкин. Мне и Кузмину по 100 рублей, а Потемкину – 50. Но дело не в деньгах, слава! Но это когда-то будет, это я про себя – эти 100 рублей «Чертиковы», а пока, я уже понял, как со мной трудно, даже со сказками, если и Котылевское всемогущество и его «приемы» и обращение с редакторами и издателями не действуют.

4. Потерянный бриллиант

На другой день мне было назначено к Руманову, Морская 35. Аркадий Вениаминович Руманов представлял в Петербурге «Русское Слово». Это не Котылев с «Петербургской Газетой», шантажом и скандалом, полет выше и глаз острее, и без всяких безобразий мог человека прославить и вывести на дорогу Перед Румановым заискивали и лебезили. Котылев раздувал Куприна, а без Руманова Рериху не подняться б так высоко и с такой быстротой. о Рерихе трубили в «Русском Слове». И еще связи. Котылева куда повыше допускали, а перед Румановым сами лестницы под ноги катились и сами собой распахивались двери.

День Руманова начинается спозаранку, не по-парамоновски, но не вровень и петербургским часам. В 8 утра я уже был на Морской.

Когда проснулся Руманов, я не скажу, но он еще лежал в кровати и говорил по телефону. Перед его дверью я услышал его голос: он называл то «граф», то Сергей Юльевич. Я понял, вспомнив стихи в «Жупеле» у Арцыбушева. «Граф Игнатьев сан-стефанский, Витте – граф американский», и терпеливо ждал окончания.

Разговор подходил к концу. Собеседник, видимо в хорошем расположении, «официально» не хотел оканчивать и спросил: «Что нового в городе?»

«Да ничего нет, да, в пятницу... и Руманов, точно кофию глотнув, с необычайной бодростью и темпераментом, как выкрикнул: "статуэтку!" "Статуэтку", – повторил Руманов, – барышня, не перебивайте, – и для камуфляжу· Столыпин – Ухтомский – Игнатьев – понимаете, "статуэтку" будут показывать...»

«Чья?»

«Не перебивайте... "статуэтка!"»

И тут я понял, что секрет Сомова уж не секрет, о «статуэтке» знает весь Петербург.

Комната Руманова, где «вершились государственные дела», показалась очень тесной моим «подстриженным» глазам, так что и сесть негде. И очень белой: от газет или от стола – стол, как в больницах, столики. А сам Руманов, еще не одетый, белый – весь в белом – «розовый». Принял он меня очень ласково. У меня было письмо от Розанова. С закрытыми глазами я передал Руманову. Розанов писал: «Его, Ремизова, только никто не понял, это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет».

Когда Рославлев «провозглашал» перед Саксаганским о трех великих писателях: Дмитрий Цензор (ударяя на «Цензор»), Владимир Ленский (из «Евгения Онегина», кто этого не знает?) и Алексей Ремизов – мне было неловко, но я понимал, что это игра и по-другому нет возможности убедить Саксаганского принять мою книгу. Но Розановское было от сердца и бескорыстно. Правда, я чувствовал себя «потерянным», это мое с детства, но никогда не представлял себя блестящим. Я все больше убеждался, что душа у меня «мелкая» и разве можно сравнить с Серафимой Павловной? А воображение – без взлета Кодрянской и то, что называется «трепет» – только лихорадочный, а не горячечный.

Я был с Блоком и Андреем Белым, но с первых же встреч я почувствовал мою бедность. В революцию Иванов-Разумник скажет обо мне, сравнивая с Блоком и Андреем Белым – «бескрылый».

С письмом Розанова я передал Руманову и мои рукописи для «Русского Слова». Руманов пообещал все сделать. И вообще Руманов никогда не отказывал.

Но ничего не вышло: и мои рассказы, и мои сказки не подходили к *русскому* «Русскому Слову», это во-первых, а еще, а может, это как раз и есть во-первых, Руманов не разглядел Розановского потерянного бриллианта и не «поднял». Я это почувствовал.

* * *

Жили мы тогда очень трудно. Особенно, как перебрались с Кавалергардской на Загородный в комнату. Особенно в праздник, когда к хозяевам приходили гости: как в темнице сидели, Серафима Павловна тогда все плакала: Наташи с нами не было. Тут вот нас и освободил Рославлев, оболванив Саксаганского. И в М. Казачий переехали.

И как раз о ту пору и Розановы переехали со Шпалерной в Казачий же. Ну, Котылев мне со сказками помогал – я и теперь не знаю, что его толкнуло ко мне, что ему от меня? Когда он старался для Куприна, тут было из-за чего, не он, так другой постарался б, но я – только одна неприятность и постоянные скандалы. Умные люди ему говорили: «Да брось ты с Ремизовым возиться, времени проводка, а карману шиш». И правда, много ль рублей он на мне заработал? – да на извозчика не хватит по редакциям ездить! И все-таки Кот-и-Лев, а впоследствии кавалер обезьяньего знака с повислым слоновым хоботом 1-й степени, он точно чего-то радовался, встречаясь со мной. В конце сентября 1917 года оба мы одновременно захворали: крупозное воспаление – я поднялся, а он не выдержал Мне говорили о нем· «каторжная совесть» – не знаю, какая такая «каторжная»? Так и осталось загадкой почему человека «каторжного» повлекло ко мне и до смерти, отчаянный и вероломный, он был мне верен и никогда не «расстроил» меня, не огорчил душу. А когда его ругали, мне было больно.

А Рославлев – скажу и о нем, чем все кончилось, – Рославлев в своей разбойничьей поддевке, обставив Саксаганского, отстранился от Саксаганских издательских дел «EOS'а», или, вернее, Саксаганский, не дурак, рано или поздно сообразил, что ни Дм. Цензор, ни Владимир Ленский, ни я, и, само собой, ни Лазаревский с Рославлевым, никакие мы Львы Толстые и Достоевские и от нас никакого озарения «драматическим этюдам» Анны Семеновны, будь, например, Горький, Леонид Андреев, Куприн, Арцыбашев, ну хоть какой-то отблеск... в один прекрасный день, расплатившись с типографией, снялся со своей петербургской квартиры и отбыл с Анной Семеновной и ее драмами восвояси, в Екатеринослав, «разрабатывать ломаное железо».

Потом уже, без Саксаганского я встречал Рославлева на литературных вечерах и собраниях. Я всегда ему был благодарен, как он нас выручил тогда, освободив от Загородной тюрьмы Иногда он заходил к нам и читал все те же «клики, пушки и трезвон»: ему казалось, что это ершовское стихотворение в «русском» стиле и мне приятно. Помню, в «холерный» год – «не пейте сырой воды», у нас всегда стоял на столе большой кувшин отварной воды, стаканов десять, помню, как Рославлев попросил напиться, его мучила селедочная жажда, и на моих глазах, стакан за стаканом опорожнил кувшин, все десять, и только выпустил воз-

дух, как рыба пускает ртом. Вот он какой был человек многоутробный, он и на еду был такой же, а в Революцию, в 1920 году, голод его скрутил, а тиф прикончил. «Спасибо вам, Александр Степаныч!» – так мысленно я с ним простился. Само собой, Рославлев был кавалер обезьяньего знака 1-й степени с пушкой и колоколами обезьяньей великой и вольной палаты – Обезвелволпал.

5. Милосердные

Вернувшись от Руманова, помню, с каким восторгом я рассказывал о нем Серафиме Павловне, ведь я был так уверен, что все будет: мое напечатают в «Русском Слове», и деньги. Есть в житейской жизни такие маленькие вещи, вроде зубной щетки, конечно, скажут безулыбные безрадостные люди, «и пальцем можно!» – эти маленькие вещи необходимы, но как без денег? Я верил, я получу деньги, и не только зубную щетку, я пойду к Фаберже и куплю жемчужное ожерелье (Один раз я уже совался, да очень дорого, чересчур!) Я всегда искренно верил, но никогда не огорчался, когда не выходило, это мое исконное: «быть готову ко всему».

До «статуэтки» какое мне дело? Меня занимало «безобразие», а оно в таких случаях непременно. Люди вообще очень доверчивы и пугливы, а это как раз на руку «безобразию». Ну что если нагрянет полиция или в самый разгар «сеанса» просто сказать: обыск. «Политически» тут, конечно, ничего, но скандал, конечно, ведь надо это Эрмитажное сокровище объяснить как-то.

Вот в чем я всегда винюсь: когда разыгрывалось мое воображение о всяких «безобразиях», я совсем забывал, что я не один, а стало быть, в конце-то концов, – все-таки как ни одурачен бывает человек, а глаза продерет и разберется – и тень от меня непременно упадет на Серафиму Павловну. Правда, я это скоро понял – ожегся – и уж под всякими предлогами перестал выходить на люди, хоть воображение-то мое нисколько не пропало. На душе моей много грехов.

Вечером зашла к нам Варвара Дмитриевна Розанова, как я предполагал. И прежде всего она спросила, поедем ли мы в пятницу к Сомову?

Я сказал: «да, собираемся».

«А что такое Сомов показывать будет, Вася рассказывал?» – Варвара Дмитриевна очень подозрительно посмотрела.

«Ничего особенного, сказал я, свой неоконченный портрет, и не всем будет показывать, стесняется».

И говоря «неоконченный», я против Розанова нисколько не погрешил Свою мысль о незаконченности Розанов запишет в «Опавших листьях» (Короб 1-й, стр 74)

«А Минских радений не будет?» – уж с каким-то затаенным страхом спросила Варвара Дмитриевна

«Да Минский давно уехал, он в Париже. Будут Бенуа, Добужинские, конечно Сергей Павлович Дягилев, Философов, Лансере».

«Так вы едете?» еще раз спросила Варвара Дмитриевна.

И успокоилась.

И начала о своем: советы по хозяйству. И это были не пустые слова, а от желания У нее, действительно, болело сердце за нас, а как хотела б она, чтоб меня где-нибудь напечатали и у нас были деньги

> Розанов запишет в «Опавших листьях», короб первый, стр 254· «Нужно, чтоб о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь».

В Париже Эсфирь Соломоновна Познер, как когда-то Варвара Дмитриевна, будет советовать и наставлять по хозяйству, печалясь и желая удач и денег.

Поминаю и этих двух милосердных женщин, столько тепла и участия было от них в нашей бедовой судьбе.

В хозяйственный разговор где что купить, и что у нас есть, и чего надо достать и где, в эти кухонные подробности я поминутно встревался А это не нравилось Варваре Дмитриевне Наконец, она не выдержала, так это было против всей ее природы

«Василий Васильевич у меня этим не занимается!» с укором посмотрела на Серафиму Павловну.

Оба мы этот укор увидели, и Серафима Павловна улыбнулась, а у мсня на лице заиграло что-то неподходящее

«Ваше дело писать, сказала Варвара Дмитриевна, мы вам не мешаем, садитесь и пишите».

Варвара Дмитриевна была убеждена, что «писать» и, скажем, «шить» разницы никакой, только что и различие: там перо, а тут игла

Потом тихонько Серафиме Павловне

«Очень меня огорчает. Что случилось последние дни Вася сердится на Алексея Михайловича. “Ноги моей, говорит, у них больше не будет”».

Я сразу как-то – про какую ногу? – и чуть было не сказал, что все это вздор и сердиться ему не на что и что если он сердится, то не на меня, а на А. М. Коноплянцева: не возвращает Леонтьева. Но встретившись глазами с Серафимой Павловной, я сейчас все сообразил.

«Это все пройдет, сказала Серафима Павловна, пересердится». И опять улыбнулась своей единственной улыбкой, которой нельзя не поверить

«Так в пятницу в десять к Сомову – и вместе поедем».

Но только что Варвара Дмитриевна вышла, звонок Василий Васильевич И как это они не столкнулись?

«Ну, что?»

«И вместе поедем», сказал я.

«Ну, слава Богу!»

Розанов, входя, весь был как сплюснут, словно через щель лез, а теперь расправился и на человека похож – на русского писателя традиции Погодина. Я теперь это понял, какое сильное влияние оказал на него Погодин: не рассказами – Погодин застрельщик натуральной школы, конец 30-х годов – не пустой лирикой, вроде наставления ученику, а «Афоризмами», манерой в критике со всякими «халатными» (слова Шевырева) авторскими подробностями; ведь самая мысль о форме «Опавшие листья» Погодинская, так сам Погодин в дневнике записал о происхождении первого тома своих исторических исследований – «груда листков и обрывышков». Погодин и славянофилы, вот откуда Розанов: «Уединенное» – из Киреевского «Уединенного мышления». Кроме того, Розанов был внимательнейший и верный читатель Н. П. Барсукова, жизнь и труды Погодина. В своей рецензии в «Русском Вестнике», 1895-ый г., он так определяет труд Барсукова как «культурная хроника русского общества и литературы XIX века», действительно, есть о чем узнать и было подумать. А самая завязь Розанова – «розановское», таким он родился.

«Только, пожалуйста, оставь хоть на этот вечер свои безобразия; ведь ты для безобразия можешь ляпнуть Варечке, что я вот к вам сегодня уж в четвертый раз. Ну, прощай. Завтра еще загляну. Да, увидишь Коноплянцева, напомни»

6. Канун

Между тем статуэтка, сначала робко шепотком, осмелевая, ужс нагло входила к знакомым и незнакомым, распоря-

жаясь по-свойски. Она являлась под разными именами, сохраняя свою божественную неистовую природу.

В кругах высшего духовенства, а она проникла и в Святейший Синод, ее называли по-латыни. И по-монашески. В вольно-экономическом обществе решили обратиться к В. В. Водовозову, встречавшемуся в редакции «Вопросов Жизни» со всякими декадентами, его спрашивали, но В. В. Водовозов, глухой и далекий от неэкономических вопросов, долго не мог понять: ему кричали сначала деликатно, потом перешли всеми словами на статуэтку. В Географическом Обществе старейший председатель Вл. И. Ламанский называл ее доисторическим термином Добралась плутовка до Академии Наук, и там обратились к Ал. Алекс. Шахматову и склоняли ее, разлагая до монгольских корней. А потом стали уверять – источник с Главного Телефона (подслушанный камуфляж Руманова), что все это «Столыпин, Ухтомский и Игнатьев». И троичность «статуэтки», расщепляясь, являлась в том образе, какой кому нравился. К четвергу, когда оставалось не так много часов до пятницы, статуэтку забыли, и по Невскому разгуливали Столыпин, Ухтомский и Игнатьев. Сам Андрей Иванович Сомов, а до него в Эрмитаж доходили самые грозные вести, на минуту усомнился: «Чья?» Между прочим уверяли, что Столыпина видели собственными глазами, вышел от Фредерикса и направился к Трепову – «патронов не жалеть». И в этом была какая-то правда· разносчиком статуэтки по Петербургу был Валечка – В. Ф. Нувель· в четверг он не ходил уж, а шнырял – все его видели. В. В. Розанова на этот раз действительно вызвал в неурочный час к себе А. С. Суворин. Розанов, само собой, опроверг Столыпина, Ухтомского, Игнатьева, но забыл «чья». Розанов распространялся о «неоконченности» и «многоточиях».

Интерес был самый зажигательный, как к открытию мощей или к покушению. Из Москвы приехал И. Д. Сытин и прямо к Руманову: конечно, не без задней мысли дознаться о петербургской блуждающей «статуэтке».

А пока статуэтка разъезжает по Петербургу с прощальными визитами, все принимают *ее* с «распростертыми объятиями», она вся насыщена – и вот, посмотрите, с каким удовольствием она ест осетрину, ей, конечно, съела и дальше: ведь надо поспеть к Столыпину, Ухтомскому, Игнатьеву, ей некогда, а нам не знай как убить время. И мне приходит

в голову, коротая время, занять каким-нибудь другим рассказом и совсем из другого.

7. 1919–1941

Зиму 1919 года мы вытерпели в нашей хорошей квартире в доме Семенова-Тян-Шанского на Васильевском Острове. Больше терпеть стало не под силу. Во «Взвихренной Руси» в рассказе «Труддезертир» полная картина нашего «жития». В мае 1920 года мы переехали на Троицкую в «Первый Отель Петросовета» (это устроила С. Н. Равич, знакомы с Вологды). С Троицкой мне было совсем близко на Литейный в дом Юсупова – ПТО. Я состоял при М Ф. Андреевой и дважды в неделю ходил на «призрачные заседания театральной коллегии». Близко мне было и в Дом Литераторов на Бассейной, а то изволь переть с 14-й линии' И Серафиме Павловне в Аничков Дворец – она учила моряков «2-го Гвардейского "берсгового" Экипажа»

Во главс «Дома Литсраторов» стоял Н М. Волковысский и Харитон, а в совсте Д. В. Философов, Петрищев. Секрстарсм был Ирецкий из «Речи».

Больше сулили, чем выдавали. «ненормированные» продукты Была столовая, где все-таки можно было чего-то съесть, конечно, со «своим хлебом». Бывал Ан. Фед. Кони, Вас И. Немирович-Данченко, А. Л. Волынский.

Мне особенно памятна одна встреча.

Я вспомнил о ней особенно живо в Париже в дни оккупации в 1940 году· Б. К. Зайцев просил за меня, заведующий вспомоществованием писателям отказал по его убеждению, я как сотрудник «Последних Новостей» не имел права не только на помощь, но и вообще соваться через когонибудь с прошением о «вспомоществовании»

И я вспомнил, как однажды в «Дом Литераторов» пришел В. П. Буренин. Он робко переступил порог Он ничего не сказал; за него сказали: «Буренин!»

Вышел Философов, и был очень взволнован, ел что-то и бросил. Философов не дал Буренину слова сказать – я представляю, какие в таких случаях бывают слова (ведь все под мыслью: «прогонят!»). Нет, Философов его взял под руку и усадил к столу.

И все мы, кто был тогда в столовой, все мы вытянулись. И душу как вымыло. И свет сгустился. Так – и по-другому

не могло быть – тьмой выело глаза, и олсденело бы сердце. Буренин что-то говорил Философову. Но той робости уже не было А было: говорит человек.

Как редко взблескивает свет в нашу человеческую тьму; мое счастье· я видел этот свет. Вернувшись домой, я весь был полон этим светом И когда сказал Серафиме Павловне, что в «Доме Литераторов» побывал Буренин, я заметил, какая тревога затенила ее лицо.

«Накормили, – сказал я, – Философов и Волынский».

И все лицо ее осветилось.

Вы представляете себе. Философов и Буренин: что может быть обиднее статей Буренина о Философове и Философов не уступал – дважды с угрозой врывался к нему Не помню подробностей, но кажется, до мордобоя дело не дошло. И то слава Богу.

И вот встреча.

О «мордобое» я забыл, а про это «нельзя забыть».

8. Сеанс

Обыкновенно принято опаздывать.

Скажут: в девять, а придешь в десять. Бывали случаи, являлись и в полчаса десятого – но таких наперечет или какой «заблаговременный» или Лев Шестов.

К Сомову собрались вовремя. Все было очень чинно и «благопристойно», ни о каком носе не было речи, говорили о выставке

Хозяйкой была сестра К. А. Сомова· она разливала чай. На столе было чего только можно из сластей и пирожных.

А. Н. Бенуа и Анна Карловна, Добужинские, Е Е. Лансере, С. П. Яремич, А. Н. Шервашидзе, Кузмин и Бакст. Ни Рославлева, ни Котылева. В. Д. Розанова сидела, как на тычке: она чувствовала что-то: где-то, как-то ее непременно обманут. Вас. В. Розанов не мог усидеть на месте. Ему не терпелось. Со стаканом он переходил с места на место: «Когда же нос будут показывать?», ловил он К. А Сомова. По Розанову и можно было догадаться, что предстоит что-то необыкновенное. Наконец явился С. П. Дягилев.

Под каким-то предлогом стали выходить в другую комнату и за самоваром остались одни дамы. Не помню, кто-то был им пожертвован для развлечения, кажется, М. В. Добужинский и А. П. Нурок.

А там – тесно – а над ларцем хозяйничали: сам хозяин и В Ф. Нувель. Розанов, ничего не видя и не слыша, весь – в ларец. Розанов пропихнулся, ближе и не вообразишь

И когда раскрыли ларец и обнаружилось розовое, как миндальные цветки, «трудно-вынимающееся» и потянуло чем-то сладким, вощаным, Розанов полез руками И тут случилось то, чего так боялся Андрей Иванович: пальцы ли Розанова, дыхание ли любопытных, а скувырнули-таки «родинку» у ствола расширения! И когда дошла до меня очередь «приложиться», как я ни вглядывался, никакой родинки не заметил.

На коленях ползали около стола перед ларцем, не от усердия, в поисках этой таинственной родинки. И что-то было найдено, и крапинкой присажено у «ствола расширения»!

В те годы я изучал апокрифы и у меня было целое собрание сказаний «о происхождении табака». Особенно одно поразило меня – «слово святогорца» – табак выводился от такого вот потемкинского «орудия».

«А что если написать мне такую отреченную повесть, а Сомову иллюстрировать по наглядной натуре».

«Вот было б дело, – сказал Вас. Вас. Розанов, – напиши!»

К. А. Сомов согласен, он, как образец, возьмет потемкинское.

И тут уж для безобразия, вспомнив о Котылеве, я сказал:

«Вот вы восхищаетесь этим – я показал на ларец, который надо было закрыть и завернуть в дорогую шелковую пелену: "воздух", как "частицу" мощей, – но ведь это мертвое, "бездыханное", а я знаю живое и совсем не неприкосновенное и в ту же меру...»

– Кто? где?

– Да Потемкин.

– У какого Потемкина?

– Студент Петр Петрович Потемкин, пишет стихи: «папироска моя не курится...»

И уж за столом, никто ничего не заметил, как будто ничего и не было, только Вас. Вас Розанов с застывшим недоумением загадочно пальцами раскладывал на скатерти какую-то меру, бормоча, считал вершки, продолжая чай и

разговор о выставке, как бы мимоходом расспрашивал и о студенте Потемкине.

В. Ф. Нувелю я указал прямой путь познакомиться с Потемкиным:

«Обратитесь к А. И. Котылеву, он живет у Котылева, долговязый».

* * *

И должен сказать, слова мои о живом Потемкине – «у всех на глазах ходит по Петербургу» – были отравой. Помню, Розанов – первый: «Покажи мне Потемкина!» А Нувель, никого не спрашивая, прямо обратился к Котылеву. У Котылева познакомился с Потемкиным, залучил к Сомову познакомиться. Все очень просто вышло и занимательно.

«Петрушу, так рассказывал Кузмин, он присутствовал на этом веселом свидании, пичкали пирожками и играли с его живым потемкинским – три часа».

С этого вечера Потемкин пошел в ход.

Я встретил Потемкина на Невском и сразу заметил перемену: подпудрен и несло тем сладким запахом, как из Потемкинского ларца. Теперь я понял, что духи, ими душился М. А. Кузмин, роза – «розовое масло».

Тут Потемкин мне рассказал о затее Бакста: нарисовать группу молодых петербургских поэтов.

– Кто же попадет в эту группу?

– Блок, Гумилев, Кузмин, Городецкий и я, – Потемкин широко улыбнулся: видно было, как ему это приятно: «и я».

А от Котылева я узнал, что «Петруша пошел в ход», его стихи будут изданы, обложку обещал нарисовать Сомов, и всем он нравится, а В. Ф. Нувель возится с ним, как нянька, да и Петрушу узнать нельзя, стал аккуратный.

«И вот, – Котылев показал на сверток, – купил ему зубного порошку».

Розанов все еще продолжал мимоходом:

«Покажи мне Потемкина!»

А чего было показывать, когда Потемкин был у всех на виду и не дылда студент, а «поэт». На каком-то литературном вечере я показал на Пяста:

– Вот он ваш Потемкин!

Розанов было оживился, но поздоровавшись с «Потемкиным»-Пястом, отошел недовольный.

– Ты меня все обманываешь: какой же это Потемкин: руки мокрые!

(Пяст бывал у Розанова всякое воскресенье, и каждый раз Розанов с ним знакомился· «Розинов» Пясту это было очень неприятно, – но что поделаешь, если человек не хочет замечать, и ведь не нарочно!)

А недолго продолжалось увлечение Петрушей, так его теперь все звали: игра надоела, и к Рождеству Потемкина больше не беспокоили.

Но это ничего не значит, основа положена, стихи вышли, и вхож ко всем «старейшинам» и сам «епископ» (С. П. Дягилев) руку подает.

– Я говорил Петруше, – объяснял Котылев, – стесняться нечего: ну, поиграют-поиграют и бросят. Так оно и вышло, я этих господ знаю, а ему какая убыль – слава Богу, на всех хватит!

Пристроив Петрушу, Котылев занялся «семейными» делами и «благотворительностью». Он «женил» своего старшего сына: он сам облюбовал какую-то знакомую своей безропотной Марьи, подверг ее насильственному «строжайшему испытанию» и передал сыну.

«Теперь я спокоен, – говорил Котылев, – по крайней мере, все чисто, а то живо нарвется на какую-нибудь блядь...»

А «благотворительность» заключалась – в Гумилеве: Котылев решил тоже его женить, что было не так просто, Гумилев артачился, но в конце концов Котылев уломал, и свадьба совершилась на квартире Котылева за перегородкой.

Я продолжал начатую в памятный вечер повесть о табаке. Главным источником для меня были «Разыскания» академика А. Н Веселовского. Я пользовался всеми его указаниями и изучил всю литературу о «происхождении табака». Вышла «Гоносиева повесть»: рассказывает святогорец-монах. Самой форме я обязан и «живой жизни» – мои встречи с монахами «блудоборцами» – и прославленной Аполлоном Григорьевым книге «глубокочтимого» инока Парфения: о святой горе Афонской (1856).

На святках я читал мою повесть «старейшинам» (Бакст, Сомов, А. Н. Бенуа). Сомов готов сделать иллюстрации, но издать книжку? – цензура не пропустит, и кто возьмется издать такую книжку?

* * *

«Копытчик» – С. К. Маковский и с ним «кавалергарды» С Н. Тройницкий, А. А Трубников, М. Н. Бурнашев и пятый Н. Н. Врангель основали издательство Сириус, и типографию.

Первая книга издательства Сирнус – мой «Пруд» (СПб. 1908).

Судьба моих благодетелей: Копытчик, и бабовидный в ажурных чулках А. А. Трубников – Париж. Тройницкий, бородатый, остался в России, был главным в Эрмитаже, его отставили Жив ли, не знаю. Врангель был ближайшим к «Старым Годам», помер в Петербурге. М. Н. Бурнашев, после Правоведения учился в Археологическом институте, учился с Серафимой Павловной, не мог кончить, опаздывал на экзамен – это родовое Бурнашевых, его отец трижды опаздывал в церковь на свою свадьбу; Бурнашев эмигрировал, жил в Риге, сделался священником и помер до войны. Он был кроткий и тихий. Гонорар за «Пруд», кажется 200 рублей, он носил в кармане несколько лет и все забывал отдать.

На вечере у Копытчика я читал «Пляс Иродиады» из моего Лимонаря. Художник Димитриев показывал свои иллюстрации к «Пруду» – у него был целый альбом, штук двести. (Куда это все девалось и какая судьба Димитриева, не знаю.)

В этот вечер был разговор о издании моей повести о «Табаке». На прощанье Копытчик дал мне великолепный букет цветов – цветы постоялые, но еще держатся, и я долго хранил их.

Разговор о издании продолжался у Тройницкого.

Я бывал на Сергиевской, 5, в доме сенатора Тройницкого. Сенатора я никогда не видел, я проходил на половину сына. Его приемная – антикварная лавка чего-чего только не было. Но хозяин гордился своими изданиями (Сириус) – были книжки, изданные в единственном экземпляре[1]

Мой «Табак» решено было издать в количестве 25-ти именных экземпляров, без обозначения типографии, а только имя издателя:

повесть сию написал на святках 1906 года
А. Ремизов, рисунки делал К. Сомов,

напечатал двадцать пять именных
экземпляров С. Н. Тройницкий

И бояться Тройницкому нечего. Все экземпляры он передаст в «собственные руки» и ни одного в продажу

Так оно и было.

Тройницкий сам разнес «Табак», именные, и успокоился.

Но не так оно было, какой там шито-крыто, слава о моем «Табаке», как когда-то о его прообразе – потемкинском, разнеслась по всему Петербургу. кто не видал Потемкинского в ларце, любопытно было взглянуть на Сомовскую «копию» Тройницкого осаждали просьбами – достать «Табак», но всем один был ответ: двадцать пять именных не для продажи. Для прочтения он давал свой именной экземпляр, все были очень довольны и подбивали Тройницкого повторить издание.

Но не так посмотрел сенатор Тройницкий До него дошел слух: кто-то из высоких особ видел, а скорее слышал, что в Петербурге появилась книга, издателем которой значится его имя, Тройницкий, а книга такая – по двум статьям: «за кощунство и порнографию».

А сенатор ничего не знает, только догадывается, очень взволнован, вызвал сына для объяснения. И прежде всего потребовал книжку. И убедился, что издана Тройницким, а ведь он тоже Тройницкий! А когда прочитал книжку, вынес свое сенаторское решение: «Все двадцать пять экземпляров отобрать и сжечь».

Уж ему и то и се – и «ограниченное» и «именное», уперся старик: «Собери и жги!» До слез пронял, и досадно

Много стоило трудов убедить сенатора в бесполезности сжигать В конце концов сенатор согласился, но под условием Тройницкий должен всех обойти «именных» и собственноручно бритвой выскоблить на последней странице «Тройницкого»

С Н Тройницкий исполнил сенаторский указ, но ходить с бритвой постеснялся, он был уверен, что каждый из нас исполнит его просьбу и имя Тройницкого испарится. Все мы, конечно, обещали. В моем экземпляре, хранится у Г. В Чижова, стертое имя Тройницкого восстановлено чернилами

* * *

В это время я трудился над перепиской моей повести: на больших листах полуустав с красными и голубыми заглавными буквами; к моим листам вложены листы с оригиналами рисунков Сомова. А все вместе в папке.

Дороже всего стоила папка. Сомов получил 900 рублей (по 300 рублей рисунок), а мне за мою писчую работу 50 рублей. Этот единственный рукописный экземпляр сделан был по заказу Николая Павловича Рябушинского. И отвезен к нему в Москву в редакцию «Золотое Руно».

В Москве ахали и удивлялись. А перед отсылкой в Москву мой текст был сфотографирован В. Н. Ивойловым (Княжнин), он достал фотографический аппарат и увековечил. Негативы взял к себе П. Е. Щеголев, обещал сделать оттиски, да так и не собрался и памяти у меня никакой не осталось.

Как-то в Париже, в канун «ликвидации троцкистов» и Тухачевского, я встретил А. Я. Аросева. Я шел из NRF от Paulhan'a, нацеливался переходить Bd. St. Germain – для меня всегда очень трудное, и вдруг меня кто-то взял за руку, сразу я и не узнал. А это был Аросѣв.

«Вот вы меня забыли, сказал он, а вас забыла Россия, но я не забывал никогда!»

С Аросевым я познакомился в Берлине, он издал свои рассказы и пришел к нам с книгой. Потом в Париже, советник посольства, редко, но все-таки заходил на Av. Mozart, всегда приносил новые книги из России. А потом его сделали послом в Праге, и эта встреча в Париже да еще на опасном переходе была неожиданная. Он только что из Москвы, возвращается в Прагу, а в Париже на несколько дней.

«Перед моим отъездом из Москвы, сказал Аросев, мне показал Лядов...»

– Какой Лядов, родственник? (Я подумал, сын Анатолия Константиновича.)

– Нет, ему не Лядов, нашли при обыске, ну, знаете, все так и ахнули: ваша рукопись. Вы догадываетесь?

Я понял, о чем речь, и порадовался, что мой труд с «Табаком» не пропал: это была моя рукопись с оригиналами Сомова в папке Рябушинского.

– А вы знаете, сказал я, за эту рукопись я получил когда-то пятьдесят рублей.

– Хуль! – отозвался Аросев и объяснил значение этого английского слова: «нос» в России запрещен, а Пришвину никак не обойти в рассказе. Пришвин и придумал. И напечатал: «хуль» – звучит по-английски, а по-нашему и дурак поймет.

Так мы на «хуле» и расстались.

А какая судьба Аросева? Старый большевик, в чистку попал в «троцкисты», сослан в Сибирь, а потом – дальше и не знаю.

* * *

В революцию 1918–1921 (до «нэпа») единственное частное издательство: «Алконост» (Самуил Миронович Алянский, а впоследствии Миша). У издательства никаких средств. Бумага – «через преступление»: из запасов Государственного Издательства.

Под «Изд. Обезвелволпала» вышла с рисунками Бакста моя «Сказка о царе Додоне», подготовлялся «Табак»: Сомов сделал новые рисунки, было готово клише. Заведующий Госиздатом Илья Ионов дал разрешение.

Но тут нежданно-негаданно все перевернулось.

Посланный из типографии с клише задумал позабавить каких-то своих товарищей: развернул пакет и при всей честной публике показывает потемкинскую куклу.

Кто удивлялся, кто ахал, и хохотали во все грохота. А проходили какие-то из Рабоче-крестьянской инспекции. Видят, толпа и гогочут. Остановились. В чем дело? – Да прямо на куклу.

«Что за безобразие?» И сейчас же посланного· «куда и зачем?» Посланный только и мог сказать: «Из типографии в Госиздат к товарищу Ионову» Свернул пакет и пошел.

И те пошли себе.

Но этим дело не кончилось, а только начинается. На другой день к Ионову «делегация от партийных баб».

«Как это так, – говорят, – нашим детям нет бумаги для учебников, а на куклу находится!»

И пошли крыть.

Ионов попробовал было вступиться за бумагу:

«На такой бумаге учебники не печатаются, и бумаги-то такой на книгу не набрать – обрезки».

Да с бабами нешто сговоришь: наладили свое.

«На куклы, небось, находится!»

Я пришел к Ионову, вижу, чем-то расстроен: «в чем дело?»

«С куклой, говорит, попался, и теперь ничего нельзя сделать, самого в чеку возьмут».

И рассказал мне всю историю.

«Пускай утихнет».

Так на утих и отложил издание. А на утих мало было надежды. Все забывается, а про эту куклу как выжгло, нет-нет да и помянут. И так это Ионову надоело, и разговаривать – напоминать о издании – стало трудно.

Прошу его· «Отдайте мне Сомовские картинки и больше мне ничего не надо».

Ионов согласен, да не может вспомнить, куда запрятал – в которое место. Он когда-то сидел в Шлиссельбургской крепости и там повредился отшибало память. Я верю, не для слова, чтобы отделаться, говорил он мне, а по правде. спрятал на случай «баб», а куда – ну, не может вспомнить. Уж он и ножку у стола завязывал – но и ножка не помогла, так я и уехал за границу.

И никогда не забывал, что на Невском в безобразнейшем доме Зингера в Госиздате в каком-то шкапу у Ионова запрятаны, лежат Сомовские картинки.

Как-то в Берлин приехал Ионов и зашел к нам, принес свою книгу – Ионов писал стихи: П. Я (Якубович-Мельшин) был для него каноном поэзии. За чаем стали вспоминать знакомых и всякие прошлые дела и деяния. Я спросил о Сомовских рисунках (Сомов еще был в России).

«Как же, сказал Ионов, я нашел и на самом на виду, на столе лежали, а я был убежден, запрятал».

– Так чего же вы не привезли?

– Забыл, сказал Ионов, приготовил и забыл.

Я почувствовал, что это неправда, а просто напуганный «бабами» боится Я ему еще и еще раз объясняю, как ценны эти рисунки Сомова и валяться им не годится.

– У меня ничего не заваливается! – обиделся Ионов, а потом самому стало неловко: ведь как же иначе назвать, сколько, действительно, искал, а они лежали у него под носом.

Ионов на прощанье пообещал или с дипломатическим курьером или с верным человеком, а непременно вернет и оригиналы и клише

– А ваша рукопись не знаю где.

– Да Бог с ней, мне важны рисунки.

Никакой курьер мне ничего не передавал, так и в Париж переехали, от Ионова никаких вестей.

И вот уже в Париже появился у нас на Villa Flore знакомый из России

Когда-то заведующий хозяйством в Отделе Управления Петрокоммуны, занимал он это высокое место, хоть никогда партийным и не был, а по-родственному. В Петербурге у нас бывал, и мне удавалось через него получать кое-что из «ненормированных» продуктов. Он все мечтал сделать меня «главным» над всеми игрушками Советского Союза, чтобы легче было нам жить в тягчайших условиях коммунистического опыта под властью «Гришки Зиновьева».

По пути в Америку, где он получил высокое назначение по закупкам, он остановился в Париже. Перемена только во внешнем: за эти годы он отъелся и похож был на нашего лавочника-итальянца в довоенное время.

И сразу повинился: Ионов дал ему клише для передачи, но он не посмел.

– Открыто везти страшно, я запрятал в подушку Ионов говорит. «давай я тебя обыщу для примера». Я разложил перед ним все, что из вещей беру в дорогу. И он прямо на подушку, запустил руку и... вынимает «куклу». И пришлось оставить. Подушку зашила Марья Гитмановна (Каплун), а клише забрал назад к себе Ионов.

А когда я встретил в Париже К. А. Сомова, я ему рассказал, как кончилась история с «Табаком» – с его новыми рисунками 1920 года.

Сомов выслушал молча, – первое время за границей он был так напуган, он боялся о чем-нибудь спросить, что было «там и оттуда», – мне показалось, во время моего рассказа он прислушивается, не подслушивает ли кто?

Я уверен, что рисунки Сомова не пропали, когда-нибудь их откроют, и будут изданы – клише есть. Но это когда-то будет И я решил – самому сделать рисунки. И пусть будет рукописный единственный экземпляр.

За год до войны, в 1938 году, я осуществил мою затею. Моими завитными буквами я переписал «Гоносиеву повесть» и к ней десять рисунков черным: 1) преподобный инок Саврасий, 2) Чудо морское и Чудо лесное, 3) Нюх и Дух – иноки, 4) Падение с рыбой, птицей и прочим скотом, как

живым, так и битым, 5) Падение с мравием, 6) Бесовское действие, 7) Падение с мухою, 8) В бане: Саврасий и праведные жены, 9) Последнее целование и 10) Истинный образ Табака.

Рукопись в красном разрисованном переплете, корешок серебряный. Альбом принадлежит С. М. Лифарю.

А понимает ли Лифарь, что этот «Табак», родословия Эрмитажной редкости, музейная ценность? Я не спрашивал. Этим «Табаком» я закрываю дверь в мое «табачное отделение» (1906–1938).

III.

Петербургская Русалия

Кикимора

«Русалия» – плясовое музыкальное действо. Коновод-Алазион, князь бесовский, демон радости и удовольствия, церкви соблазн, христианской душе пагуба. С незапамятных времен беспощадно гнали Алазиона и со всеми его подручными, потаковниками и прихлебателями – этих всякого рода бесов, исполнителей русалий. Ненаписанная история «веселых людей» скоморохов – история пожарных, но не воду льют, туша пожар, а в тлеющем пожарище вздувают огонь

Алазион, по словам Нифонта, святой старец видел его собственными глазами, – черненький вихрастый, искрящиеся щелки-глаза и проворный живой хвост. И всюду, где его морда покажется, там хохот, песни и пляска.

Его видел Гоголь: «нахмурит, бывало, свои щетинистые брови и пустит исподлобья такой взгляд, что кажется, унес бы ноги Бог знает куда». И тоже всюду, где покажется его мерзкая харя, там хохот, песни и пляска. «Отец Афанасий объявил, что всякого, кто спознается с Басаврюком, станет считать за католика, врага Христовой веры и всего человеческого рода».

Никакие угрозы не действовали, и русалия – «песня-пляска-музыка» – на русской земле не заглохла и живет в веках под Алазионом, по-киевски, или под Басаврюком, по-полтавски, зови как кому любо.

* * *

Наше время, Петербург, 1912 год. Алазиона никто не знает, про Басаврюка читают детям, «русалия» называется «балет».

И вот на первые заморозки Он появляется на Неве во всей своей славе и свитой – по городу говорили, что Тере-

щенко прямо из Киева пригнал на собственных автомобилях ораву, но не поминалось, что это были настоящие бесы – кто ж теперь верует в бесов!

«Алалей и Лейла», волшебный балет – «петербургская русалия» А. К. Лядова. Танцы и хор. «Пляска-песня-музыка» древних русалий, где песня – цветение взлета или пламенный выдох кручи.

М. И. Терещенко – чарующий Алазион. Я под именем Куринаса пишу либретто русалии – образы моей весенней сказки, они зазвучат в музыке Лядова-Кикиморы.

В шествии на русалию, как видел Нифонт, музыкант идет об руку с Алазионом, а с ним, согнувшись, либреттист –

Алазион – Кикимора – Куринас.

В свите Алазиона я различаю: режиссер, художник и балетмейстер – Мейерхольд, Головин, Фокин –

Гад – Дад – Коловертыш.

Алазион (Терещенко) мне передал от Буробы (В. А. Теляковский, директор Имп. Театров) за мое либретто тысячу рублей. И когда в Аничкином Дворце я подписывал контракт – 3% с представления – усатые хвостики Буробы шевелились под мой до небес исструнченный росчерк.

Это был первый и единственный случай в истории Императорских Театров: тысяча рублей за либретто.

Лядов рассказывал, вспоминая своего отца – имя громкое, кто только не писал – Павлов и Соллогуб и Ап. Григорьев, «оркестр Лядова» – что в старину либреттист за свой труд довольствовался полдюжиной пива, а начнет хорохориться, в шею без разговоров.

«Тысяча за либретто, да этак можно с ума спятить!» – повторял Лядов, прицениваясь, сколько же будет стоить его музыка.

«Да не меньше двести тысяч!» – поджигал Гад с Дадом, им, известно, наговорить, что огоньки пускать, болотная нечисть.

И эти болотные двести тысяч – гонорара за музыку – заколдовали воображение Лядова.

* * *

«Русалия» и наши тайные собрания на Дворцовой набережной у Терещенки и на Подъяческой у Головина не скрылись от любопытных глаз, знал весь Петербург: не было

человека, кто бы поверил, что Лядов напишет балет и русалия осуществится на Мариинском Театре.

На собраниях Лядов только смотрел, подпирая свой виноватый взгляд задорно кикиморным носом, единственный надежный природный упор, почему-то обращаясь не к Терещенке, не к Мейерхольду, а к Блоку – Блок был привлечен в свиту Алазиона под именем Марун – Блок, краснея, отвечал Лядову также молчаливым болезненным сочувствием.

А сколько раз я со своим либретто волшебной сказки ходил к Лядову на Николаевскую и заставал его: сидит – «дивясь сам себе».

Моя обезьянья грамота, много вечеров я над ней гнулся, какие там болотные двести тысяч, царь Асыка сулил золотые горы[1] – еще глубже вдавалась в музыку, озолотя.

«Баба-Яга» и «Кикимора», Лядову и выдумывать нечего, давно прозвучало и напечатано, но ведь среди метели Ягиной нечисти и проказ Кикиморы мои Алалей и Лейла?

«На черном бархате, – сказал Лядов, – под скрипку, вспыхнув, спускаются две серебряные звезды, Алалей и Лейла».

И это единственное, – это начало русалии, что осталось в памяти за два года «тайных» совещаний, неизменно за любимым янтарным токайским – из запасов Терещенки.

* * *

Мастерская А. Я. Головина на сверх-верхах Мариинского Театра завалена чудищами, вся моя «Посолонь» с весны годовой круг, – «игрушки» работы Анны Алексеевны Рачинской, чудесным образом вышедшей из «неизлечимого» умопомрачения, выкуколив полевое, лесовое и воздушное моих «подстриженных глаз».

Буроба (Теляковский) очень беспокоится: первое представление волшебного балета «Алалей и Лейла» предполагалось в царский день в присутствии царской семьи, не напугать бы «чертями». Буроба подымался в мастерскую Головина и, глядя на Доремидошу, Криксувораксу, Ховалу, Кощу да на ту же свою Буробу, только шевелил усами, столбенея.

На «тайных» совещаниях каждый раз я читаю новую редакцию русалии, сокращая, Мейерхольд затевал ввести цирковые трюки в явлении Чучелы-чумичелы, и особенно

занимает его «солнечная колбаса» в эпилоге: как эту блестящую колбасу похитрей спустить с головинских небес, чтобы угодила прямо в лапы лесовым – Гаду и Даду.

М. М. Фокин на «тайных» совещаниях не показывался – музыки и в помине не было, а танец не колбаса.

* * *

В сентябре 1914 года – в самую горячку войны – Лядов помер, унеся с собой на тот свет две мои серебряные звезды, звучащие скрипкой – Алалея и Лейлу. Глазунов среди оставшихся бумаг не нашел ни строчки, посвященной русалии.

* * *

Все мы с Алазионом стояли на обедне в Ново-Девичьем монастыре – за гробом Лядова.

Лицо его было закрыто голубыми шелковыми воздухами, из-под узкого золотого покрова виновато торчали смертные туфли без задников. И на эти тычки-туфли все глядели, как на самого покойника – все, что осталось от живого человека.

Молодая монашка-гермафродит «неестественно» горловым совьим басом читала за обедней Апостол – впечатление потрясающее – это был Лядову прощальный голос его Бабы-Яги и Кикиморы.

Осенний солнечный день грел по-летнему, и только нелетний ветер все настигал и пересвистывал желтыми листьями по дорожкам кладбища. И в раскрытую могилу залетали золотые листья – могила Лядова обок с Некрасовым, Салтыковым и Тургеневым.

Когда все было кончено и одни только черные в осеннем золоте среди крестов и памятников монашки, мы, кланяясь в последний раз: «прощайте!» – вышли за ворота.

Недалеко от кладбища, у Нарвских ворот, второразрядный трактир, туда мы и зашли, Гад, Дад и я. И помянули блинами Кикимору, Бабу-Ягу и мою, так и не зазвучавшую волшебную русалию, мои серебряные звезды – Алалея и Лейлу.

Бесприданница

(В. Ф. Коммиссаржевская)

Я часто встречал В. Ф. Коммиссаржевскую Сказал ли я с ней хоть слово? Никогда. В памяти испуганные глаза и как здоровались: крепко держит мою руку.

Так же было и с Блоком. Он, краснея, «Вера Федоровна .» – а испуганные глаза серыми светляками, погасая, как на нитке куда-то убегали: то она что-то забыла, то ее куда-то позвали.

Ей что-то хотелось сказать, но она не находила слов. А я всякий раз себе говорил: «видел Веру Федоровну».

В те времена «мракобесия» – корифеем был Мережковский, облепленный сверху донизу Достоевским – выражались туманно. Вере Федоровне казалось, что со мной и с Блоком надо говорить какими-то особенными словами под всеобщий словесный мрак.

Так объясняю я наши молчаливые встречи.

Ясной мысли, чего мы хотим от театра, у нас не было, ясно было, что современный театр не театр и что реализм – разрушение театра Без всяких рассуждений у Блока вышел «Балаганчик», у меня «Бесовское действо», это было так непохоже на все, что тогда называлось «театром».

Я читал Коммиссаржевской «Иуду». В пьесе есть роль: «Ункрада» – трагедия. А это как раз по ней. У Коммиссаржевской было вдохновение. Научиться играть она не могла, она плохо играла, но вдохновляясь, она могла творить чудеса. Ее прославила «Бесприданница» Островского: изумительно! У нее вдруг менялся голос и соскакивали слова, звуча таким первородным – Плач Адама на проклятой Богом земле, в эти минуты душа ее кипела. Выражаясь с моих глаз, «пар подымался». Коммиссаржевская была трагической актрисой – вот по какой дорожке надо было ей идти, а не водевилить.

Все это я, не называя, чувствовал. Здороваясь, я прикасался к вулкану. Но что она чувствовала – со мной и с Блоком – что-то да чувствовала, почему и глядела такими испуганными глазами.

Мейерхольд заворачивал голову наукой, А. В. Тыркова-Вильямс общественной деятельностью. «Наука» довела до слез, тут и произошел разрыв с Мейерхольдом. А мысль об общественной деятельности привилась. Перед погибельным

Самаркандом (позарилась на ковры и тюбетейки) только и было разговору о создании Театральной школы, куда входил Блок и я (два неизвестных), «и надо поговорить с Вячеславом Ивановым!» (третий неизвестный).

И только смерть спасла ее от слез – какое это было бы разочарование, Театральная школа с тремя «неизвестными». Коммиссаржевская была трагическая – там ее и место! Но без всяких головоломных затей – живой человек среди «мракобесия».

* * *

Расскажу, кого из великих мне посчастливилось видеть – Федотову, Ермолову, Стрепетову я отчетливо помню.

Все три не простой марки.

У Стрепетовой – «Горькая судьбина» – все в ее горюющих руках, в них и через них звучит слово. У Федотовой – «Макбет» – голос, а ее голос – черный родник. А Ермолова – «Мария Стюарт» – какой чувствительный изгиб: живет каждый мускул ее тела, и какое бездонное дыхание!

Всех я их видел на театре и раз Федотову в жизни. Это было на похоронах отца, полная церковь, и я моими «подстриженными глазами», мне было шесть лет, видел вон ту – потом я узнал, что это знаменитая московская актриса, какая-то дальняя родственница отца, на его счет воспитывалась в театральном училище. Но чем она поманила меня, не могу вспомнить, я только, говоря, повторял: «в такой шляпке».

* * *

Очень важно, как входит человек.

Когда семеня и перебирая руками, появлялся в комнате В. В Розанов, все, и самое мертвое, вдруг оживало, подымался беззаботный смех.

В появлении Мережковских было всегда что-то комическое, потому и было так смешно смотреть. На похоронах Мережковского, стоя за гробом, я понял, что в жизни он был ходячим гробом: гроб, закрытый крышкой и среди церкви, ничего смешного, но каково в жизни – такая встреча. З. Н. Гиппиус вся на костях и пружинах – устройство сложное – но к живому человеку никак. Да они и всю

жизнь, а прожили в удовольствие, только и говорили о «конце света», с какой-то щиплющей злостью отвергая всякую жизнь.

Вячеслав Иванов входил танцуя, а Горький урча. Блок медленно и трепетно лунным лучом. Коммиссаржевская как вихрь.

* * *

За «Бесовское действо» она наградила меня лавровым венком, стоил 80 рублей (1908 г.), на месяцы щи, а красная лента на память (хранится в Пушкинском доме). А когда с этим венком под хлещущий свист я прошел со сцены в ее «ложу», она встретила меня как всегда – ни слова – не отпуская мою руку, она только смотрела: она боялась, как это на меня подействовал свист, и вместе с тем я видел в ней Гильду из «Строителя Сольнеса», и в ее испуганных глазах я читал, что одобряла, что так и надо и навсегда: «наперекор».

Ей потом и Ункрада («Иуда») пришлась по душе за этот извечный «наперекор». Почему-то это настроение души называется туманно «демонизмом».

И когда после моего чтения она, пробуя, сама читала:

«Зимы там долги и темны – белый снег...» – эти слова Ункрады будили в ее душе память, однажды излившуюся тоской в песне «Бесприданницы».

* * *

И еще памятен мне вечер. Сквозь петербургский туман одни фонари, закутанные крепом, с болью светят в себя.

В театральной мастерской на Офицерской читали поэты: приезжий из Москвы Брюсов и петербургские столпы – Блок, Кузмин, Сологуб, Вячеслав Иванов.

Когда Вяч. Иванов прогнусил свои церковнославянские канты, а на столиках зазвякали тарелки, я непрошеный, я не поэт, неожиданно для других, но главное, и для самого себя – было устроено вроде эстрады из ящиков, помню, как я пробираюсь со страхом, и говорю себе «куда и зачем» – и вылез:

Баю-бай, медведевы детки, баю-бай.

И оттого, что мотив «Медвежьей колыбельной» я запомнил из моего сна, я не пел, а только вызвучивал ритм, а слова были звериные, как это далеко к петербургскому! вдруг наступила такая тишина – это бывает, когда покажется, что все провалилось, и только слышно один голос – свое.

И потом первое, что я увидел и запомнил – это были знакомые испуганные глаза. Мне и снилась однажды Коммиссаржевская в образе Сфинкса – в этом испуге была загадка.

* * *

На похоронах Коммиссаржевской мне не пришлось быть. Но ее верный рыцарь А. П. Зонов, старый актер, мне рассказал, как было торжественно в Александро-Невской Лавре и сколько венков. А от себя и от меня – Зонов был странный человек – но без нашей подписи, он положил сверх всех венков:

«Радуйся благодатная!»

Послушный самокей

(М. А. Кузмин)

Михаил Алексеевич Кузмин, рассказавший в «Александрийских песнях» по-русски об Антиное, взблеснул на литературном искусном Петербурге 1906 года и умер в Ленинграде в 1936 году.

* * *

Такое состояние человека, когда только глядят глаза... Как избитый за ночь, поднявшись через силу, иду за добычей. Навстречу и обгоняют: у кого мешок, у кого кувшин, а бывает, и с пустыми руками.

И в тот же самый утренний час, и всегда особенно зябкий, вы тоже, и как часто с пустыми руками. Из Парижа вижу вас, вашу улицу.

«Счастье свободного человека, – говорите вы, “тихим стражем”, поворачивая ко мне ваши единственные вифлеемские глаза, – зависит от того, сколько у него рублей в кармане».

Вы на своей земле – в Ленинграде, а я в Париже, а судьба наша одна Вы идете, остерегаясь не толкнуть, но вас толкают. Какие счастливые, потому что наполнены горьким чувством, не пустые, наши беспризорные дни!

* * *

Когда мне говорят «Кузмин», я слышу антифоны·

«О, дороги, обсаженные березами, осенние, ясные дали, новые лица, встречи, приезд поздно вечером, отъезд светлым утром, веселый возок, возницы, деревни, кудрявые пестрые рощи, монастыри Целый день и вечер и ночь видеть и слышать того, кто всего дороже, – какое это могло бы быть счастье, какая радость, если бы я не ехал, как слуга, хлопотал о лошадях, ужинал на кухне, спал в конюшне, не смел ни поцеловать, ни нежно поговорить с моей Луизой, которая к тому жс жаловалась всю дорогу на головную боль»

Татуированный Сомовым, шляпа с лснтой «умирающего Адониса», в одной рукс левкой, в другой мешочек: «акакия» (земля), символ смирения базилевсов, – такой в моих глазах, когда мне говорят: «Кузмин».

Наши пути другие, и оттого что моя стихия, мой огонь, вспыхнувший в веках, живет и светит по-другому, как бы я хотел быть, как вы, «послушный»:

Если мне скажут «ты должен идти на мученье» —
С радостным пеньем взойду на последний костер, —
Послушный

Если б пришлось навсегда отказаться от пенья,
Молча под нож свой язык я и руки б простер, —
Послушный

Если б сказали· «лишен ты навеки свиданья», —
Вынес бы эту разлуку, любовь укрепив, —
Послушный

Если б мне дали последней измены страданья,
Принял бы в плаваньи долгом и этот пролив, —
Послушный.

Если ж любви между нами поставят запрет,
Я не поверю запрету и вымолвлю «нет»

Таким я вижу Кузмина и в «Сове» (Бродячей собаке), веселом ночном подвале «Плавающих и путешествующих», за высокими ширмами, где тесно сидят с блестящими в полумраке глазами, и там, в Таврическом Народном Театре, битком набитом солдатами, – стоячие места, «послушно» опущенные руки.

В метро вошла женщина с девочкой, я взглянул на мать и вдруг понял, откуда эти знакомые «вифлеемские» глаза, – в роду матери у Кузмина французы.

Ваша звезда не погасла: она мне видится над зеленым морем среди мигающих мохнатых звезд, а в безлунные ночи в засыпанном золотыми зернами небе.

Ваше имя еще живет в кругу книжного Петербурга и всегда останется у любителей стихов.

Брюсов повторял, что писатель должен быть на уровне с достижениями науки, философии, литературы и искусства. Его ученик, Гумилев, как Горький, учительствовал – обоим недоставало «высшего образования». Зато с Вячеславом Ивановым стоило раз поговорить, чтобы с первых слов, и без Брюсова, понять, что требуется от писателя. С. К. Маковский – одним словом, «Аполлон», Андрей Белый – «философ» – глаcолалия, а Кузмин – начетчик.

Для Кузмина искусство – все; а все остальное только хлеб, да и тот выпечен. Говорю по Кузмину, его манерой.

Начитанность Кузмина в русской старине не заронила ни малейшего сомнения в незыблемости русской книжной речи: Карамзин и Пушкин. Следуя классическим образцам, он добирался до искуснейшего литераторства: *говорить ни о чем*. У Кузмина есть страницы, написанные просто для словесного складу и очень стройно, точь-в-точь как у Марлинского его великосветские кавалеры, подпрыгивая под Вестриса, говорят с дамами «средь шумного бала» или, как дети в игре, разговаривают друг с другом «по-шицам». Этого песку и в «Тихом страже», и в «Нежном Иосифе», и особенно в «Плавающих и путешествующих», написанных как будто под Лескова.

Свое несомненное в незыблемость и единственность образцов русской классической книжной речи, увенчанной Пушкиным, Кузмин выразил и объявил как манифест «О прекрасной ясности». Это был всеобщий голос и отклик от Брюсова до Сологуба. Мне читать было жутко.

«Чуть слышный шепот прошелестел, как шаткий камыш “Зачем ты все воюешь, если и всем обладать будешь, возможешь ли

взять с собой?" – Александр горестно воскликнул: "Зачем ветер вздымает море? Зачем ураган взвихряет пески? Зачем тучи несутся и гнется лоза? Зачем рожден ты Дандамием, а я – Александром? Зачем? Ты же, мудрый, проси чего хочешь, все тебе дам я, владыка мира". Дандамий потянул его за руку и ласково пролепетал: "Дай мне бессмертие!"»

(Подвиги Великого Александра)

Прекрасная ясность!
Прекрасная ясность по Гроту и Анри де Ренье.

«Роман или рассказ могут быть приятной выдумкой, не больше. Если же они представляют неожиданный смысл еще и по другую сторону того, о чем повествуют, то следует радоваться этому, полуумышленному дополнению, не требуя излишней последовательности, а рассматривать повествование лишь как плод таинственных соответствий, какие, вопреки всему, существуют между явлениями».

(Рассказ о маркизе д'Антеркер)

Кузмин следовал этому правилу, искусно делал литературные вещи В его рассказах так много «беспредметной мудрости духовных бездельников и обеспеченных лентяев»

* * *

Родина Кузмина – Ярославль. Земля питерских и московских половых «шестерок» – белотелый щеголь, зоркий и слухменный, а уж речист – перепелку языком перешиб.

Источник неиссякаемого словотёка – глубокомысленно пустых страниц «Нежного Иосифа» и «Тихого стража» – не материнское французское «causerie», а уставленный чашками поднос – как перышко, бросает его на стол ярославец —

«Ракета! Рассыпалась розой, роем разноцветных родинок, рождая радостный рев ротозеев».

«Ярославль» для Кузмина символ. Старообрядки – васильсурская Марья Дмитриевна и Устинья с Гагаринской моленной – «Ярославки». О «Богу-славных» Кузмин не знает. А его демон-вдохновитель ярославский Зевс – ярославский Дионис – ярославский Гелиос.

«Цветы, пророчески огромные, огненные зацветают; птицы и животные ходят попарно, и в трепещущем розовом

тумане виднсются из индийских “manuels érotiques» сорок восемь образцов человеческих соединений”»

Так кончаются «Крылья» – взлет ярославца.

Живой вдохновитель Кузмина Пьер Луис, а соблазн – французские новеллы XVIII века. Любимые писатели: Анри де Ренье и Анатоль Франс. От «Песен Билитис» – Александрийские песни; от новелл – «Приключения Эме Лебефа» и «Калиостро», от Анатоля Франса – «Путешествие Сэра Джона Ферфакса», «Кушетка тети Сони», «Решение Анны Мейер». Из русских: Мельников-Печерский и Лесков – Прологи и Апокрифы, откуда вышли Кузминские действа – «О Алексее, человеке Божием», «О Евдокии из Гелиополя»

Ирония Кузмина никак не от Анатоля Франса, а лесковская, с «подмигом», но без всякого юмора Лескова. Оттого от повестей Кузмина такая скучища, а все его «протягновенности» – провинциальный всурьез.

«Занавешенные картинки», есть у Кузмина такая книга не для дам, от «Казначейши» Лермонтова, но какой ярославщиной несет от петербургской «галантности».

И снова я слышу антифоны, и в моих глазах вифлеемские глаза:

«Имея душу спокойной, я был счастлив, ведя жизнь странствующих мимов. Я любил дорогу днем между акаций, мимо мельниц, блиставшего вдали моря, закаты и восходы под открытым небом, ночевки на постоялых дворах, незнакомые города, публику, румяны, хотя и при маске, шум и хлопанье в ладоши, встречи, беглые интриги, свиданья при звездах за дощатым балаганом, ужины всей сборной семьей, песни Кробила, лай и фокусы Молосса».

(Повесть о Елевсипе)

* * *

Кузмин выступил в 1905 г. в «Зеленом Сборнике» Блок написал рецензию в «Вопросах Жизни». Так я узнал имя Кузмин. С Кузминым, и тоже стихи, в первый раз был напечатан Ю. Н. Верховский, известный под «обезьяньей» кличкой Слон Слонович, «фиктивный» враг В. Ф. Ходасевича и «заковычный» друг М Л. Гофмана, оба одновременно негласно трудились над Дельвигом. Третий участник «Зеленого Сборника», проза: Вяч. Менжинский, впоследствии заместитель Дзержинского. Блок выделил Менжинского, а

Верховского (Слона Слоновича) и Кузмина напутствовал добрым пожеланием.

А познакомился я с Кузминым осенью 1906 года на вечере «Современной музыки» Кузмин был один из организаторов этих вечеров: В Ф. Нувель, А П Нурок, Вяч. Гав. Каратыгин, И. Й Крыжановский, Гнесины, В. А. Сенилов и М А. Кузмин.

В антракте Нувель показал мне, подмигнув, – сидел в среднем ряду.

«Кто это чучела гороховая?» – спросил я.

«Кузмин, я вас познакомлю», – Нувель улыбнулся носом.

Не поддевка А. С. Рославлева, а итальянский камзол. Вишневый бархатный, серебряные пуговицы, как на архиерейском облачении, и шелковая кислых вишен рубаха: мысленно подведенные вифлеемские глаза, черная борода с итальянских портретов и благоухание – роза.

Заметив меня, он по-лошадиному скосил свой глаз:

– Кузмин.

И когда заговорил он, мне вдруг повеяло знакомым – Рогожской, уксусные раскольничьи тетки, суховатый язык, непромоченное горло И так это врозь с краской, глазами и розовым благоуханием А какое смирение и ласка в подскакивающих словах.

У Вячеслава Иванова на Таврической «Башне» я услышал его «Александрийские песни». Он их пел под свою музыку, ученик Римского-Корсакова. Музыка незаметная, а голос – козел. Смешновато, но не раздражает, как обычно авторское исполнение, спасал слух.

И когда он не пел, а читал свои стихи по-своему с перескоком слов, теткиным знакомым голосом, было очень трогательно, одинаково как «трагическое», так и «смешное» В его словах звучала тусклая бисерная вышивка ярославской работы.

А как меня слушал Кузмин? Одновременно с «Крыльями» вышла моя «Посолонь» Да так же слушал, как и все петербургские «аполлоны» – снисходительно.

Природа моего «формализма» (как теперь обо мне выражаются) или, точнее, в широком понимании «вербализма» была им враждебна: все мое не только не подходило к «прекрасной ясности», а нагло перло, разрушая до основания чуждую русскому ладу «легкость» и «бабочность» для них незыблемого «пушкинизма» Они были послушны данной «языковой материи», только разрабатывая и ничего не начиная.

Так было оттолкновение «формально», но и изнутри я был чужой Вся моя жизнь была непохожей. И все их «приключения» для меня только бесследная мелочь или легкая припыленность.

Но как случилось, что я очутился с «Аполлоном»? Да очень просто: ведь только у них, «бездумных», было искусство, без которого слово немо и от набора слов трескотня и шум. Но близко меня не подпускали, «своим» я не чувствовал себя ни с ними, ни у отрицавших их, веровавших в искусство – «жарь с плеча».

Висеть в воздухе – моя судьба. «Муаллякат» – символ моей жизни. Или как в Петербурге, в те дореволюционные времена, прислугам писали на удостоверениях из наемных контор: «неподходяча».

Так «неподходяча» и до сих пор в моем русском советском паспорте, а в эмигрантских удостоверениях внушительная «похерь».

* * *

Что осталось от Кузмина, какая звучащая память?

Кузмин создал русскую легенду о Александрии. Как Блок своим петербургским цыганским туманом, Кузмин чаровал египетской цыганщиной. – Вот что со мной от Кузмина.

«Когда мне говорят Александрия, я вижу белые стены дома, небольшой сад с грядкой левкоев, бледное солнце осеннего вечера и слышу звуки далеких флейт...»

* * *

В расцвете «кларизма» в «Аполлоне», а на другом конце литературной улицы «дубоножия», эти двери для меня «вход воспрещен», помню осенний петербургский мой любимый вечер. Я что-то писал, и никогда не покидавшая меня надежда из безнадежного осеннего дождя подстукивала в окно, собирая горячие мысли и неостывшие слова.

Мы жили в Казачьем переулке – Бурков дом. Мимоходом зашел учитель, непохожий на учителей Сологуба, М. Н. Картыков, он только что выпустил тоненькую книжку: М. Багрин «Скоморошьи и бабьи сказки». Он торопился на собрание в «Аполлон», где будут все: Ф. Ф. Зелинский, И. Ф. Анненский, Вяч. Иванов, С. К. Маковский, Блок, Гумилев, Сологуб, Кузмин, а из Москвы Брюсов и Андрей Белый.

«Знаете, – сказал Картыков, – все они высшей культуры, а мы с вами средней».

И это осталось у меня в памяти.

Знает ли нильский рыбак,
когда бросает
сети на море, что он поймает?
Охотник знает ли,
что он встретит?
Убьет ли дичь, в которую метит?
Хозяин знает ли,
не побьет ли град
его хлеб и его молодой виноград?
Что мы знаем?
О чем нам знать?
О чем жалеть?

Кружитесь, кружитесь.
держитесь
крепче за руки
Звуки
звонкого систра несутся, несутся,
в рощах томно они отдаются

Бесовское действо

(У В. Ф. Коммиссаржевской)

Моя страсть к театру, как и моя непреодолимая охота рисовать – без них я не я. Люблю все представления – от балагана до Эсхила и Вагнера. Самый воздух меня подымает. Тайна театра... видано ли, чтобы волк, лиса, осел, конь и верблюд, павлин, лев и черепаха разыгрывали между собою вторую жизнь – театр, но человек – в шкуре и перьях – и по природе одной повадки может *притворяться*, и не в защитных целях, а по какой-то и совсем не «жизненной» воле. Начало моей литературной работы театр: *Бесовское действо* у Коммиссаржевской. Так оно и должно было случиться, и именно у Коммиссаржевской, а не в Художественном, в самой своей затее, как реакция на напыщенную театральность, отрицавшую «скоморошье» существо театра.

Постановка моего «действа» – театральная история: без грима я разыгрывал сумасшедшего, которому «представляются черти», как объяснял помощник режиссера, кивая на

меня, цензору Ланкерт решительно отказывался понять пьесу, потом я «ломал комедь» под цензора, вычеркивая «соблазнительные» места из моего «святочного гаданья с переодеваниями», как в конце концов растолковано было мое загадочное «действо», а когда разрешение было дано, роли распределены, началась канитель со Змием никто не соглашался – очень стеснительно и беспокойно· ведь актеру надо было сидеть на корточках, шевелиться и затем издохнуть! – и много выпало мне приманочной надсадки и уговора, пока не вызвался смельчак из театральных рабочих, но потребовал за каждое выступление бутылку водки и рубль денег, а в заключение, после премьеры, я представлял «корм», питая петербургских карикатуристов, и пользовал знакомых и соседей лавровым листом из своего венка, для щей· и больше всех наел появившийся в ту пору в Петербурге М. М. Пришвин, прославленный русский писатель, «академик», а тогда застенчивый и не «выразимый» этнограф и космограф

«Действо» принято было как безобразие, оригинальничанье и издевательство над зрителем – «Бесовское действо насупротив публики за то, что с доверием принесла свои рублики».

Спектакль «Действа», как и «Балаганчик» Блока, – театральный скандал свистки в аплодисменты или аплодисменты под свист – неистовство и исступление.

Старый актер К. В. Бравич отказался играть, пришлось заменить молодым, неопытным, но не постеснявшимся ходить весь вечер с демонским хвостом, приколотым «ангельской булавкой». «Бесовское действо» было первым выступлением М. В. Добужинского как декоратора и началом Ф. Ф Коммиссаржевского как режиссера. Музыку сочинял М А. Кузмин, пел хор А А. Архангельского.

Когда о произведении говорят· «непонятно» – что ответить? Я понимаю и готов выслушивать всякую критику – на то и критики на белом свете, чтобы судить, а не целоваться, но одного я не могу принять, как можно ставить в упрек театральному писателю, что он «издевается над зрителем», точно существует в природе какой-то одушевленный, постоянный зритель, тогда как на самом деле «зрителем» для автора был, есть и будет сам он. Я понимаю и терпеливо выслушиваю всякий отзыв Горький говорил, что для него критика «хлыст· встрепенешься!» Я согласен, много соблазнов потерять перспективу, вообразить себя не на том

местс, где посажен – низкий уровень читательского круга, льстивая критика, дружественный отзыв приятелей – и успокоиться в гении Льва Толстого, да, плетка не помеха, я понимаю, но никогда я не мог согласиться, как возможно упрекать писателя, будто бы он старается быть оригинальным во что бы то ни стало, послушайте: «оригинальность» это лицо, а имея вместо лица лопату, сколько ни старайся – ничего не выйдет

«Бесовское действо ..» бесы откололи себе хвосты и поделались людьми, не отличишь от правдашних, вторая часть трилогии «Трагедия о Иуде», разрешенная Дризеном под названием «Проклятый принц» с заменой Пилата – «Игемоном»; имя обезьяньего царя Асыки осталось неприкосновенно Валахтантарарахтарандаруфа.

Пьеса, принятая В. Ф. Коммиссаржевской, осуществлена лишь через шесть лет Ф. Ф. Коммиссаржевским в Москве· пять лет рукопись носил у себя в заднем секретном кармане режиссер А. П. Зонов, неприкосновенно-единственный экземпляр, что, по его мнению, «подымало интерес» Третья часть трилогии – бесы не ряженные и не бесовские люди, а в своем демонском видении. «Действо о Егории Храбром», появившееся в «Аполлоне», пытался в инфляцию устроить в немецком театре в Берлине известный знаток старинного пения П. П. Сувчинский, помешала стабилизация, и все «бесовское» хлынуло волной в Париж.

А еще в революцию, как апофеоз «Бесовского действа», я написал по народным текстам «Царя Максимилиана»; трагедия, другого определения не найдется, показана была в дни кронштадтского восстания на Лиговке, в железнодорожном клубе под гармонью; зрелище незабываемое

Сколько у меня было надежд, как верил я, что революция подымет и соберет слова со всей русской земли, и то, что считалось «областным», станет в свете таланта «литературным»· какое богатство слов, и у каждого слова, как листья, слова-оттенки.

«Конек-горбунок» в незапамятные времена положил на*ча*л моему любопытству к балету.

Встреча с М М. Фокиным, для которого я сделал несколько сценариев на музыку, разговоры с ним открыли передо мной балетную мудрость.

И потом под глазом Терещенки, Михаил Иванович занимал в те времена какую-то должность при Императорских Театрах, на свой страх и риск написал я *русалию* (древнее

название балетного действа) «Алалей и Лейла» для Мариинского театра. Лядов за годы подготовки не раз поминал о своих затеях: и помню скрипку на черном бархате – появление моих героев Алалея и Лейлы.

В канун революции – моя русалия на тибетскую легенду «Ясня» для О. О. Преображенской. Все было готово, но случился призыв ратников ополчения второго разряда, и режиссера, его помощника и меня с ними, пропустив через Проходные Казармы, посадили в Военно-клинический госпиталь на испытание.

В революцию для детского театра моя последняя русалия «Гори-цвет». Связанный с театром, я после моего единственного и позорного выступления ни разу не принимал участия как актер. «Ночные пляски» Сологуба не в счет. Кто не знает, как может говорить Н Н. Евреинов! – по длительности и магии его можно сравнить, если вспомнить московских «философов», собиравшихся на Собачьей площадке в годы войны и революции... ну, и заговорил – и я поддался: правда, моя роль Кошмара, как силы бесплотной, оказалась и бессловесной – а «появиться» я и без очков могу, не сшибая кулис.

От моего актерства – мое чтение Но «чтение» не «игра». Профессиональные актеры при своих дарованиях голосовых и мимических читать не могут, не в состоянии отказаться от игры, а «игра» нарушает ритм – от произведения ничего не остается.

Я слышал чтение Горева – по «темпераменту» никому не угнаться, но от слов, стиха – ничего Я видел в Москве в Зоологическом саду «Золотую рыбку». что это было! – старуха визжала, старик охал, рыбка сюсюскала (школа Художественного театра и прием Рейнгарда: сюком, напоминающим всплеск волны, передать голос рыбы!) и от пушкинского величаво-могучего предопределенного, но человечески-раздумного «жил старик со своею старухой у самого синего моря» ничего не осталось

Я понимаю отчаянных, но никогда не отчаивающихся «изобретателей» – в них живет и действует страсть. Что говорить, «Бесовское действо» – весь мой театр и с русалиями пролетел! Кто знает или хотя бы слышал о «Бесовском действе»? И никого-то из свидетелей не осталось: Блок, Андрей Белый, Кузмин, Сологуб, Гумилев, Розанов, Щеголев, Волынский... Брюсов, Гершензон, все на том свете!

Но разве моя театральная страсть из-за неудач или моего неуменья могла погаснуть? И я не существую?

Моя «Обезьянья великая и вольная палата» (Обезвелволпал) или, по-здешнему, L'Académie des Singes – тот же театр. Царь обезьяний Асыка Валахтантарарахтарандаруфа, персонаж возможный в «Подвигах Великого Александра», а в существе от гоголевского Вия, выпущенный на сцену в «Трагедии о Иуде» и хранившийся пять лет неприкосновенно в заднем кармане у Зонова, вышел к детям щедрый и без всякого лукавства.

Детям очень понравилось играть в обезьяньего царя. Я рисовал им «обезьяньи знаки»: линии, как они сами из себя вылиниваются, по Кандинскому; из фигур, а у них всегда свое лицо, высовывались или прятались, высматривая рожи и морды другого, не фигурного мира, чудища и звери, конечно «лютые», но в своем существе, по Достоевскому («Бог им дал начало мысли и безмятежную радость»), как на рисунках Ф С Рожанковского и Натальи Парэн; звери пугать пугали, и иначе невозможно, но они были своими, они тоже пугались, очень близкие детскому безмятежному миру.

Детей занимало и то, что они должны были носить эти знаки скрытно, никому не заметно – тайна! и то, что если и заметят, все равно никто ничего не поймет, а также трудновыговариваемое имя царя и то, что его никто не видел и о нем никто ничего не знает.

Они верили, что только один я, как-то «схвостясь», могу с ним разговаривать и объясняться на «обезьяньем языке».

А от детей игра перешла к взрослым, и «обезьянье царство» как-то само собой получило в войну и революцию сатирический характер свифтовского лошадиного царства *гуигнгнмов* царь Асыка издавал манифесты и подписывал «собственнохвостно» декреты. Но и то скажу: что я могу подарить людям? Прежде была надежда: книгу; но теперь, когда нет никакой возможности издать и все подготовленное – вся работа многих годов обречено храниться в рукописях? Именины, рожденье, Пасха, Рождество или юбилей, или свадьба, или кто мне добро сделал, и хочется как-то выразить человеку – со всякими завитками я писал «обезьяньи грамоты»: жалованье обезьяньего царя о возведении в кавалеры обезьяньего знака, украшенного виноградом, турецкими бобами, лисьим хвостом, египетской пирамидой, все по человеку, и разрисовывал обезьянью печать, и каждый раз по-другому.

И что я заметил, мои грамоты принимались с добрым чувством· я помню, как читал свою Анатолий Федорович Кони, как слушал Зигфрид – Иван Васильевич Ершов, когда на юбилейном спектакле в Мариинском театре ему читали всенародно, вижу и Федора Кузьмича Сологуба, всегда сурового, вдруг улыбнувшегося на свой знак, и А. М. Горького, возведенного в «князья обезьяньи», втянув воздух и раздувая ноздри. «Из рода Пешковых (ударение на «о») – князь, какие же мои обязанности?» Я сказал: «никакие». Так, по обезьяньей конституции.

Но подумал, как всегда думал, что только в беде и нужде знает человек· что человек человеку должен. И всего единственный раз мне показалось .. действие, произведенное моей грамотой, было совсем не то и все не так.

Игра в обезьяньего царя – театр без грима и масок. Исключение. дети – я их красил, их рожицы и руки. Счастливые они уходили от меня; они не подозревали, какое доставляло мне удовольствие – эти краски по живому, смеющемуся матерьялу.

Был случай, обезьянья палата держалась на ниточке.

Обезьянье делопроизводство велось не на кириллице, всем понятной, на ней пишут книги и прошения, а на «глаголице», о которой редко кто слышал.

При обыске обратили внимание на фигурки – ничего понять невозможно. Сам нарком по просвещению Луначарский не понимает! Будь это в Москве, с Каменевым легко поладить, но в Петербурге Зиновьев. Пришлось подымать Горького и научить его ответу. И Горький объяснил Зиновьеву, что фигурки – глаголица, а глаголица не шифр, не криптография, тайнопись, а буквы нашей первой азбуки. «Наша первая азбука, – сказал Горький, – глаголица, ученые думают, ее, а не кириллицу изобрели первоучители славянские, святые Кирилл Философ и Мефодий».

IV.

«Дворецкий»

(Дягилев)

1

Дягилев (1872–1929) в Петербурге искони был «идолище» – и таким остался до своего русского «интернационала»· он покинул Россию для всемирной славы России.

На него смотрели: человек, одаренный всеми дарами: певец, музыкант, художник, писатель. Да так он и сам о себе думал и безуспешно пробовал силу в искусствах – дикий звериный голос, слова без связи и выражения.

Гордо поднятая большая голова – седой отмёт, стоит он, левую в карман, левым – в оба, правый – вжмурь, какой живописный – пустоцвет! И тут же в сторонке – видит он или не видит – серый камушек: его нянька.

Няньку знаю по рисунку Бакста, а встречал другую – старые русские няньки – крепостное тепло – одной породы! – няньку Мережковских.

Ее на Литейном и на Песках величали за кроткое усердие и необыкновенный хозяйственный нюх «нянечка». Получить такой надзорный камушек большое счастье: не пропадешь.

Произнося «Сергей Павлович», нянька исходила всеми своими стертыми заботами, как перед образом ставя тоненькую свечку. То же и Михаил Алексеевич Кузмин – и у него со всем убеждением Символа веры: «верую» – звучало, прерываясь: «Сергей Павлович».

Кагучему камушку и для крылатого александрийца слово Дягилева – суд непосужаемый.

Обездолив талантами, судьба наделила Дягилева редким *таланом.*

Талан Дягилева – суд Судить – различать. Дягилев великий дискриминатор – «в равных различаю».

Он покажет всему миру из русской сокровищницы русские драгоценности. Дворецкий в чужих прославит свой Двор-Россию: Шаляпин, Нижинский, Лифарь. – Стравинский, Прокофьев. – Павлова, Карсавина, Спесивцева. – Бенуа, Серов, Бакст, Рерих, Головин, Лансере, Еремич, Ларионов, Гончарова

2

Наше знакомство начинается по-дурацки: я написал Дягилеву – Дягилев мне не ответил.

Не отвечают на письма: или опытные жулики – всякий документ и самый незначительный улика; или незаинтересованные – на всякое чиханье не наздравствуешься; или что веруют в грамматику и стесняются своей нетвердости.

С Дягилевым никакое не путается, – так в чем же дело?

Редакция «Вопросы Жизни».

В. Ж. – толстый журнал 1905 года: благонамеренная революция, живописная эстетика прекратившегося «Мира Искусства» (Дягилева–Бенуа); критические переоценки исчезнувшего «Северного Вестника» (А. Л. Волынский); декадентские отщипки московского «Скорпиона» (В. Я. Брюсов); религиозно-философские курбеты Мережковских, наследство «Нового Пути»; стихи А. А. Блока, разжиженная пародия на монументальных «Головлевых» – роман Ф. К. Сологуба «Мелкий бес», фаллические гастроли В. В. Розанова и внутреннее обозрение – В. В. Водовозов и Г. Н. Штильман – на улице Революция! Редакторы: отставные марксисты – Н. А. Бердяев и С. Н. Булгаков (тогда еще не о. Сергий, а Сергей Николаевич). Издатель Д. Е. Жуковский.

Я занимаю должность ответственную, не по носу. на моих руках хозяйство – кассир, бухгалтер и сметчик.

Жуковский, усумнившийся в моих литературных способностях (в В. Ж. печатался «по знакомству» мой «Пруд»), беззаветно и самоотверженно поверил в мой коммерческий талант по моему знаменитому московскому торгово-промышленному и биржевому происхождению.

«Что вы такое написали, Дягилев обиделся?» озадачил меня Жуковский.

– По делу о ликвидации Мира Искусства, – и я показал копию моего письма, – Дягилев не ответил.

Жуковский, внимательно читая мое письмо, подхмыкивал, что означало «правильно».

«Но при чем тут дворецкий?» и он громко повторил мою подпись: «дворецкий Вопросов Жизни».

– Дворецкий, моя должность!

«Понимаю! громче произнес Жуковский, радуясь, что разрешил загадку, Дягилев обиделся на “дворецкого”. Говорят, он сказал: “я с лакеями не переписываюсь”».

– А вы знаете, что такое «дворецкий»? и я Дягилевым гордо поднял голову, дворецкий первый при московском царе и великом князе заступает царя в судебных решениях. А он меня в лакейскую. Да это все равно, что спутать государева приказного дьяка с церковным дьячком!

Жуковский зоолог, ему как и Дягилеву историческое значение «дворецкий», в первый раз слышит.

«Я сам ему напишу», сказал он, морщась, что означало: недоволен.

3

Вечер у Паренсовых – мое первое петербургское выступление

В гостиной, куда собирались по особым приглашениям – цвет Петербурга! – было заставлено и очень тесно, а нарядно-бархатная круть и все эти причесанные вечерние, несуетливо передвигавшиеся, занимая места, казалось, задавят меня, а между тем, проходя, я задевал и ковер и кресла. И как обрадовался – в моих затолоченных глазах вдруг заголубело: А. А. Блок, Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский и Н. Н. Ге – они были в студенческих мундирах, весенние. А за ними серым комком – серые моржовые усы, блестя лысиной, Ф. К. Сологуб, – знакомые.

Первой выделилась из вечернего в белом З. Н. Гиппиус: ломко и снисходительно проговорила она стихи – поминался Брюсов «Валерий, Валерий, тебе поклоняются гады и звери, студенты, купцы, гимназисты» – остроумие, понятное разве Блоку, Философову, Нувелю. «Я еще и не такое прочитаю!» – «Зина!» – остановил Мережковский. Все были

довольны. Философов и Зинаида Николаевна – устроители этого благотворительного вечера.

В черном мужском скромно, но не по-женски твердо, в сапогах – дочь историка и сестра философа вышла Поликсена Сергеевна Соловьева (Аллегро): читает медленно с горьким жаром вразлад с мясистыми щеками жабы. Она могла бы пропеть Чайковского, но об этом не говорится. Дружно хлопают.

Комаром усевшись под лампой, лает по рукописи Д. С. Мережковский с укором неизвестному, пугаясь. Все ждут сухое властное Зинаиды Николаевны: «Димитрий, будет!» Но он сам вовремя закрыл тетрадь и поднялся. Хлопают восторженно. Или мне слышится: очень я волнуюсь.

Я читал «Пасхальную ночь» из «Пруда»: самоубийство матери. И не догадывался, с каким возмущением следят за моим голосом, особенно: «веревки под рукой не оказалось, она схватила со стула панталоны, сделала петлю и полезла к ламповому крюку.. монах в ярко-зеленой шуршащей рясе, он гонялся за ней и вдруг присмирел, следя; из его рассеченной брови струится густая кровь, бормочет: “Ой, барыня, барыня, сударыня барыня”, а из распахнувшегося пространства с пасхальными свечами весенне-ясный голос: “Христос воскресе из мертвых”».

Я поднял глаза, и мне показалось: одни повернутые спины, конечно, вставали с места: перерыв; а это мне не показалось, я услышал недовольный шип.

И вдруг я увидел близко большую коневую голову, «седой отмет», и золотое: Дягилев и рыжий Бакст. Что-то потянуло их ко мне – что-то тронуло в моем ни на что не похожем наперекор.

Скажу, как смотрю я теперь на мой «Пруд» (редакция 1907 г.): «Пруд это вереск и крик пробудившейся души, словесно взвихренное с тихими полевыми запевами, неумелое, барахтающееся – отпугнуло не только петербургский чопорный зал, а и Москву, взвитую неповторимым Андреем Белым, и Россию Горького».

О «дворецком» с Дягилевым ни слова, а было б к месту, или он забыл, или я в его глазах не я?

Выходя из залы, я не озирался, не задевал, я шел твердо, не по-своему.

В дверях у стен, послушно и без надменной игры ноздрей, Шаляпин: если бы у него под мышкой оказалась сал-

фетка – салфетка ничего не прибавила бы: перед Дягилевым, подлинно дворецким, все казались или только как раз или просто «людьми».

4

Имя Дягилев начинается с выставки портретов в Таврическом дворце.

«Мир Искусства» – литература, останется памятным по В. В. Розанову и Л. И Шестову, а что потом будет называться «Миром Искусства», пойдет не под Дягилевым, а под именем А. Н. Бенуа.

Выставка открылась в феврале 1905 года. Канун революции. Самое громкое имя: Каляев Но и Каляев великокняжеской смертельной бомбой не заглушил имени Дягилев.

Со стен Потемкинских хором глядят в последний раз хозяева Императорской России (1705–1905).

«Сергей Павлович, история России вам не темная грамота – вся вековая твердыня православие – самодержавие – народность – вот она Ваш труд».

Такое восторженно повторяли всякий день, и у Дягилева выработалась ответная механическая улыбка и никакого внимания.

«Сергей Павлович, а как вы думаете, за Императорской Россией Русия царей пустое место?»

Дягилев посмотрел на меня левым «в оба», как с Бакстовского портрета, и беспокойно на оба прищурился.

Как! он ли не знает Россию – о какой же еще Русии?

Не понял, но поймет – не скоро, после 1917-го года, и не в России, за границей он кинется за старопечатными книгами московской печати ревностно и борзо, как колесил однажды по русским дорогам за старыми барскими портретами.

Сокровищница Дягилева – портреты, господский век России – сгорит в революцию – их спалила не революция «восставшего пролетариата», а обида – черные люди черной земли, обездоленные при освобождении от крепостной зависимости 1861 года. А Московская Русия – дягилевское собрание редких книг – жива, хранит Лифарь в своем парижском обезьяньем притоке – «князь обезьяний!» – под спудом.

5

О ту пору в Москве обнаружилась Обезьянья Великая и Вольная Палата (Обезвелволпал).

Она объединяла всех нездравомыслящих, освобождая от всяких обязательств – изобретение хитрой бестией – человеком, прикрывавшим свое ничтожество подлой, судя по себе, «справедливостью».

В этом высоком обезьяньем учреждении под обезьяньим царем Асыкой – которого Асыку никто никогда не видел и о котором обезьяне никто ничего не знает, – и его семи князей мое место по старине «царский диак», а на современный «канцелярист».

Невский кишел явными и тайными обезьянами. Кому я только ни сочинял обезьяньи грамоты – разрисую разными красками печать и гербовую марку, и остается подкласть под хвост царю Асыке, размахнуть хвостом «собственнохвостно», и грамота готова· бери в обе лапы

Писатели, художники, музыканты – если бы все берегли мои грамоты, можно было бы сделать богатую «колониальную» выставку. И из всех один Дягилев, а как ему шел бы тайный обезьяний знак! – никогда не проткнулся в Обезьянью Палату. И сколько раз В. В. Розанов и с упреком: «недобрый, черствое сердце, Разумнику (Иванов-Разумник) выдал, а Сергея Павловича опять обошел'» Меня останавливало: пошлю я ему грамоту, а вдруг да обидится!

Дягилев цвел всеми цветами очарования, но веселости – «юмора» не замечалось. Чсм-то отравлснный, о другом было сказать «пришибленный», ему все всурьез. Или возиться с чужими талантами и сознавать, что сам ты ничего не можешь, откуда там веселости?

Самому с собой Дягилеву делать было нечего, и вот он, богатый отборным чужим добром, повез огреметь мир Россией.

Что может заглушить музыку – Мусоргский – Шаляпин' – только переход в другую музыку, в другие голоса – но как там звучит или что соответствует нашем звуку, какая неизбывная, какая разлучная небесная скорбь... о земле или о еще высших небесах.

Дарами и творчеством земной «сознательной» жизни в отмеренном сроке мы продолжаем извечно начатое радугой в веках.

В канун войны (1914 г.) я увижу в Париже еще одно привозное Дягилевское чудо. Нижинский – людоптица.

Его задерживающиеся в воздухе прыжки – поднялся и висит – его непрерывный лёт подымали сцену на воздух, будили память о вещих птицах, предрекавших шумом крыльев – воздушными словами – судьбу.

Потом – и снова Дягилев – Лифарь будет чаровать живым полетом человека, Лифарь откроет глаза человеку о его забытом сне.

Стравинский и Прокофьев – вот как звучит Россия. И Ларионов, и Гончарова, Коровин и Головин – краски русской земли.

6

Дягилев и Бенуа! – без них и спичка не зажжется.

А. Н. Бенуа при королевском дворе воспитан, Версалец, а умен многотомно, по душам с ним, мимо ушей, бери делом, делу помехи не будет и дельный получишь совет. Но ревнивый Дягилев – ревность всегда сознание своего бессилия – враждебно исключал все, кроме своего, околокольышет враз.

Балетная затея М. И. Терещенки с моей русалией «Алалей и Лейла» провалилась, и тут не столбняк и смерть Лядова, не война, нет, Терещенко «иностранец» (министр иностранных дел при Керенском), не знал наших обычаев и задумал обойти необходимое: Дягилев–Бенуа.

На собрания к А. Н. Бенуа на Адмиралтейский канал я приходил загодя. Меня предупреждал только С. С. Боткин – растительной породы из кукуруз, и ржет как конь. На наших глазах подходят гости. Позже Дягилев.

С появлением Дягилева все вдруг менялось и вырастало. Когда врассядку, пожалуй, и не различишь, а тут всякий напоказ и со всем своим кладбищем.

Добужинский до потолка, и с потолка висят графические руки. Еремич, вытополясь теплыми листами, отенил Чехонина Чехонин мне под стать, а смотрю на него с закатом. Розовый Лансере распустился в алый куст. Шервашидзе с Аргутинским плывут черным облаком прямо на Эльбрус. Золотой Бакст вымедивается в шлем Мембрана, Головин с поступью царедворца менял тарелки. Остроумова беззвучно щебечет, а Билибин татарской бородой конопатил бантик и сердечки Сомова.

Нарбут вытеснил вокруг себя весь воздух и тень его Дыдышко и в бабьей распашонке испанской Замирайло поднялись над его головой. Замирайло удержался, а Дыдышко пошел выше и глядит, сияя, с крыши.

Не без опаски заглядывал хозяин или Анна Карловна в дымившуюся «ердань»: не сшибли б лампу!

Всякому мотай на ус – что скажет Дягилев, и Дягилеву выложить свое.

А Дягилев прислушивался к Бенуа.

* * *

Я не говорун и не показ, я из декоративного чувствительных. Но дважды меня прорывало, и я распоясался. При обсуждении постановки «Жар-птицы» я показал всю мою «Посолонь» с лешими, травяниками и водыльниками И когда начались разговоры о «Весне Священной».

Над «Весной Священной» много тогда бились и все без толку. Россию все знали, Русию – кое-что Билибин и Чехонин, а Русь – Рерих с русскими холмами застрял и никак не мог выколупнуться из каменного века.

Я рассказывал о полевых, лесовиках, кикиморах и воздушной нежити Всю эту «нежить» я знаю из сказок и *слов*. Точнее, не вербалист я – вербалятор: слова мне раскрывают больше, чем мой голос, мой слух, мой сон.

«Весна Священная» – весенний обряд – «поцелуй неба и земли» в круге культа мертвых, как Масленица и Радуница. На этих весенних русалиях непременно маски – рядились зверями, птицами, чудищами и чучелами

«Человек в обличьи человека в том мире чужак, отпугнешь. И поцелуй будь даже без нацела вмах сорвется. Все нечеловеческое как и мертвые, ближе к звериному, чудищам и чучелам-чумичелам».

Дягилев слушал... но это не его Россия, не Русия, а волшебная Русь.

7

Левый, которым смотрит в оба, его зоркость и мера мне открылась на репетиции. Я наблюдал за Дягилевьм, и на сцену.

Нетерпеливо барской мелкой сечкой рубил он пространство из рядов балкона, выпрямляя закруту, закручивал прямую.

Меру он держал глазом, но живого человека выпрямит и вгиснет лишь глухой удар и меткий, смерть.

Как он поднялся и, заплеснув партитуру, пошел – видно было, ему все надоело.

На кого он был похож? Что осталось от его гордой большой головы великого дискриминатора? Наряженная старая кормилица – а кормить нечем.

Таким в моих глазах Дягилев в нашу последнюю встречу. «Зефир и Флора».

«Лифарь, сказал я, чудесно!»

И читаю в бесформенной мазне его сузившихся глаз – какая пустыня! – горит предутренним светляком Борей.

«Когда-то я был, нет, вы забыли, старый дворецкий, а теперь я старый китаец».

— И мудрый!

Дягилев широко улыбнулся. И эта улыбка легким воздухом покрыла наше прощайте.

И я подумал:

«Пускай заочно, без грамоты и знака, будет Сергей Павлович тайный дворецкий Обезьяньей Великой и Вольной Палаты».

Дягилевские вечера в Париже

1. «Свадебка»

Дягилевские вечера – память-наседка.

Ставили «Свадебку» Стравинского, я ее слушал в который раз и до сих пор не могу позабыть заключительный трензель – во сне снится.

После Дягилевских вечеров громко хочу говорить по-русски.

«Дягилев – Стравинский – Прокофьев – Лифарь».

Все стены Парижа обклеены: русская весна! И когда такое видишь, а еще больше, если посчастливится попасть в театр, скажу так: мне, при всем сознании своей ненужности, мечтающему лишь бы как-нибудь пройти сторонкой и совсем незаметно, вдруг становится чего-то гордо, и я иду крепко, не хоронясь, и если в метро, не растерянно, а как полагается всякому, прежде чем углубляться, рассматриваю и замечаю направление, чтобы туда попасть, куда нужно, а не в другую сторону ехать, а поутру из булочной с «фи-

селью», такой длинный и узкий хлеб-палка, несу не горбясь, человеком по роду и кости – русский.

2. «Зефир и Флора»

«Зефир и Флора» – воздушная рапсодия Дукельского. Борей Лифарь.

В взбудораженной памяти слышу голос вихрей: семь братьев – ветров –

жигучий – «заковали колючие губы, не велели холодом дуть»,

витной – «вечером врывается, крутит вихрь в лесу»,

ветренник – «не отворяй дверь на мороз!»

Зеленый тонкий вей – зефир, царственная пламень, при одном прикосновении зеленая флора пожелтела! огонь и золото, а студеней-сивера – Борей.

И я вдруг вспомнил Стравинского, еще такие, о которых один он знает: ты́калы – вихри подымаются дымами с земли в небо «Священной Весной».

По лестнице навстречу прямо из «Голубого поезда» Кокто.

«А вокруг Эйфелевой башни – какие носятся вихри?»

3. «Пульчинелла»

У позднего метро «Арз-е-Метье» ни души. Один только Волшебник из «Пульчинеллы» – я узнаю его черный в белых звездах платок.

«Ты под звездой, сказал волшебник и посмотрел, нет, под знаком стрелы. Так и все, что происходит в мире, что пролетает и что бредет по земле, все под знаком вихря-стрелы: война, революция, землетрясение или то вдруг нестерпимый холод, – и он весь сжался и постучал зубами, – то невыносимо жарко и тревожные сны».

Волшебник переломил свою палку и на обломке тыкалой поднялся на воздух. А я поскорее в метро.

До Опера́ в вагоне пусто. Потом понасели – последний поезд.

И вижу, в уголку под тормозом на самом неудобном месте «они самые» из Волшебной лавки. И всю-то дорогу смирные, только хвостиками машут в такт колес. Я не утерпел и как вылезу, тихонечко подергал и у того и у другого.

4. «Соловей»

Если «индейцев» нам всегда чего-то немножко страшно – «Индея»! перед «китайцем» испытываешь особенное чувство – уважение. Когда я прочитал у Л Н Толстого «письмо к китайцу», я так и представил себе Толстой, то же чувствуя, писал «к китайцу».

«Соловей» Стравинского – китайское:

страшные китайские мужики – и как начали друг друга коленить и влёж и встой – все вязнет, цветет и топко, как в «Весне», и светлячок-соловей, его вскруг под соловьиную трель, свист и стукотню перед знойной, вприпрыжку танцующей смертью, и такое – мне всех жалко, и светляка-соловья, и сдавшуюся смерть, это такое мне рассказывал нетопыга-мальчик, как ему бывает жалко и «деда-мороза», ночью спит без кровати в корзинке.

В антракте я встретил обезьяньих «старейшин». А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, К. А. Сомов, В. Ф. Нувель. Я повторял·

«Стравинский – китайцы – жалко».

Есть в музыке, когда и безголосому хочется запеть, а есть, как в «Соловье», без пения в молчанку кружиться.

5. «Матросы»

«Матросы» Ж. Орика.

Головой я понимаю... когда затрабубубили матросы и я, совсем ушедший из трехмерного в сферическое Лобачевского, проснулся и заглянул на живую сцену, как из окна моей «кукушкиной» с ни на что не похожими, неживыми, а для меня окличными рогатыми закорючками, во двор на зеленый каштан, на осязаемую жизнь с «нормально действующим механизмом».

С каждым моим днем – «сном» – я все дальше от этой жизни, мне очень трудно писать «из жизни», а жить еще труднее в этой жизни, где лёвое и правое, верх и низ и надо различать подъем и спуск, и как полагается, работаю и отдыхаю, а всякий вывих и тревога прочь.

Но заглянуть на «осязаемую» после дрожи светляков и прыга китайской смерти, потому что так непохоже, любопытно.

И глядя на «Матросов», мне, не матросу, вспомнился сосед Мак-Орлян, его приключения «A bord de L'étoile Matutine».

На сцену вышел Орик – какой сурьезный! А может, таким и должен быть без улыбки автор «Матросов».

В зале было оживленно и легко.

* * *

На Авеню Мозар в тупике Вилла Флор строят дом. И был у лесов по эту сторону забор и на заборе белой краской ушастый пес. А когда в доме завелись жильцы, больше не вижу караульщика: не то заставили снятыми лесами, не то забор сломали.

Из театра в Отой, в эту пору глухо, подхожу один к дому, а навстречу белые уши – собака, она точно поджидала меня и пошла за мной.

Я позвонил и думаю, чья-то из дому, и входя, замедлил. А она остановилась. Через запертую дверь заглянул я – она все стоит, смотрит – какие бесприютные глаза на меня! И я узнал: знакомая с забора. И мне ее жалко стало, как китайского соловья, как «деда-мороза» – ночь в корзинке.

И я очнулся в корзинке.

На мне белая кофта, пестрые полосы: красный, зеленый, синий – всякого цвета. На глазах ячмень. А голова в плешинах. И это, говорят – голос тесный, как за частым забором – «это вас квартира ест».

6. «Ода»

«Оду» Набокова я слушал в Медоне у Маритена: под рояль исполнял автор. Голос – ведро. А на дворе шел дождик. И все сливалось, барабаня, в ушат.

«Ода» со сцены: под гул из темноты высвечивают звезды, стальные треугольники, параллелограммы, ныряя сквозь, сигает гипотенузою профессор, и из сверкающего гула я слышу голос: Ломоносов –

> Лице свое скрывает день;
> Поля покрыла мрачна ночь;
> Взошла на горы черна тень ..

«Русский язык самый звучный, речь с героическим звоном».

Богатый – широта, человечность, теплое дыхание степей.

«Природа ему даровала все изобилие и сладость языка еллинского и всю важность и сановитость латинского, всякородное богатство и пространство».

– Русский язык – живость и бодрость.

Лучи от нас склонились прочь,
Открылась бездна, звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна

7. «Весна Священная»

Метро «Арз-е-Метье».

Когда при входе мне простукивали билет, я заметил на скамейке дядя и племянница ждут поезда. Так почему-то сказалось: «дядя и племянница» – или потому, как наставительно он говорил ей «уча», а она внимательно слушала родственные наставления уму-разуму. Потом, с сердцем оборвав, замолчал.

И что-то случилось: то ли жара, а было очень жарко, дышать нечем, но когда я, торопясь к воображаемому хвосту поезда – вот-вот подойдет! – поравнялся с их скамейкой, дядя облапил племянницу. Она сначала скорчилась вся и совсем неожиданно поднялась, не сопротивляясь.

На ней было голубое – упругое и горячо – а в ее глазах, вот от этого взгляда я невольно, да и не я один, все мы, спешившие к хвосту уже стучавшего поезда, приостановились.

Дядя не мог удержаться и шарша лапой по голубому, давя это упругое и горячее, и глаза его или там, где у него недавно еще переплетались колючки, были теперь задернуты мутной пленкой, он ничего не видел и не замечал, что все это происходит открыто – на людях.

И тут я разглядел ее взгляд, приковавший меня. В ее глазах я прочитал: «пробуждение» – оно без слов передавало ее острое чувство, ей незнакомое, ни с чем не сравнить. И она не сопротивлялась.

Поезд подходил. И все, кто стояли, как и я, глазея, бросились к вагонам. Я обогнал каких-то и по их лицам заметил, что они только стараются не показать, но они готовы поменяться местами: голубое обожгло.

И потом в поезде оно плыло под надрывавший стук. И никто не смотрел друг на друга: глаза у всех были залеплены голубым.

И я вдруг вспомнил:

«Да это первоцвет – так зацветает подснежник – поцелуй земли и неба весны Священной!»

8. «Аполлон» и «Блудный сын»

В последний и прощальный: «вознесение» – Аполлон Стравинского и «страдания» – Блудный сын Прокофьева.

После торжественного «Аполлона», поднявшийся в тонком облаке на небеса, Лифарь падает на землю и в отчаянии загрызает землю.

Музыка «Блудного сына» всрыв и всхват. Кровь и кости – живой сумбур.

В памяти: склещившиеся задами двумордые, снуя, проскакивают перед заблудным Лифарем – беда, от которой не скроешься, неминучая.

«Аполлон» и «Блудный сын» – апофеоз Лифаря.

Из ложи балкона озабоченно В. Ф. Нувель, мало ему глаз, высматривает носом – спутник Дягилева, добрая швейцарская нянька. – Да его нет, ушел.

В буфете своеглазый выкавырдачный Пикассо. А за «отдельным столиком» живой светящийся камертон П. П. Сувчинский, мельничный добрый людоед М. Ф. Ларионов, – четвертьтонный Пуликане Б. Ф. Шлецер, инструментальный А. С. Лурье – свирепо «пили горькую» вприхлёб. Гляжу сквозь Пикассо. Лифарь шел на голове по опрокинутым креслам. И кладет мою рукопись в свой непромокаемый потерянный карман.

И это тоже сон?

V.

1. Чудесная Россия

Скудость веры; когда просто непонятным кажется, как это люди могли когда-то затевать многолетние постройки вроде готических соборов; сужение поля зрения – видишь только то, что под носом, а что дальше и глубже – ничего; подавленность воли и робость и поддонная жажда чуда, которое одно лишь способно вывести из пропащего круга безнадежного, забитого, серого существования на земле – это тот мир, в который пришел Толстой (1828–1910) и принес свою зоркость, свое смелое и прямое слово и свою веру в чудесное в этом мире и человеке.

Мысли о жизни и человеке все давно сказаны и их жизнь и действие не в новизне, а в воле, в вере и в огне слова.

Величайшая вера в чудо и безграничное доверие к человеку – к человеческой воле и совести, вот пафос – вера, воля и огонь творчества Толстого. И в этом разгадка, почему люди повлеклись к нему, почему слова его трогают.

Толстовское «непротивление» – это при жесточайшем-то законе жизни беспощадной борьбы, какими средствами все равно, когда Гераклитов бог войны воистину «царь и отец жизни» – какая должна быть вера в чудесное в человеке: человек услышит, почувствует и опустит занесенную руку, а с другой стороны, найдет в себе силы со всей крепостью духа запретить.

И еще Толстовское: остановитесь и прекратите ту жизнь, которая идет на земле, основанная на лжи и насилии – на эксплуатации человека человеком или поощряющая это насилие, и которая создает вещи, не поднимающие дух человека, а отравляющие или отупляющие человека! – какую надо веру в чудесное: человек найдет в себе мужество остановиться и своей волей перевернуть весь уклад жизни, начать новую свободную жизнь.

Эта вера в чудесное покоряет человека, еще не задавленного и не захлебнувшегося, живой дух которого рвется высвободиться из кольца размеренной тягчайшим трудом жизни.

Жизнь для Толстого представлялась большой реальностью, не ограниченной дневными событиями, а уходящей в многогранность сна. Явлению сна Толстой придает большое значение и часто повторяя слова Паскаля: если бы сны шли в последовательности, мы не знали бы, что – сон, что – действительность.

В русской литературе явлению сна всегда отводилось большое место. Гоголь, как Э. Т. А. Гофман, брал сон в чистейшем его существе – повесть «Нос» построена на сне и во сне, или ряд одноименных снов Ивана Федоровича Шпоньки; Достоевский дал образцы «видений»; у Толстого же, как и у Лескова, сон весь в жизни, неразрывно связанный с событиями сегодняшнего дня и еще неизвестного завтра, – и такой вещий сон, обнажающий скрытую судьбу человека, дан им со всей яркостью изобразительности труднейшей многомерности. В «Анне Карениной» сон – вехи, по которым идет повествование; замечательный сон в сказке «О двух стариках» и в сказках «Много ли человеку земли нужно» и «Чем люди живы».

Расширенная и вглубь и вдаль реальность жизни, где в сегодня смотрится завтра, это – взлет надчеловеческий, это – касание и видение самой судьбы. И этот взлет чудесен и, как вера в чудо, покоряет.

В вере в чудо есть вечная молодость и залог жизни, а вера не только движет горами – побеждает стихию, – а и создает миры.

2. Три письма Горького

При имени «человек» меня всегда волнует движение человеческого сердца – та душевная сила, выражаемая словами: «чужая вина» и «тайная милостыня».

Это два света, которыми озарена суровая история человечества; без этого света было б холодно, а имя «человек» звучало бы не громче:

– человек человеку бревно. –

1

Взять на душу грех другого человека и нести наказание, как за свое, – о «чужой вине», я в детстве из сказок вычитал И задумался. И еще узнал я из сказок же, что «в мире ходит грех» А стало быть, так сказалось у меня, закон человеческой жизни «преступление» и всегда кто-то «виноватый», – и вот я, человек, смею и нарушу этот закон жизни, поверну суть жизни: я, ни в чем не виноватый, добровольно беру на себя чужую вину.

От одной этой мысли в моих глазах сыпятся искры

Как мне хотелось посмотреть на такого человека, – где-то да есть такие, иначе не сказалась бы сказка. Сам я представлялся и не раз в пустяках вольным «грешником», но меня уличали – «врет все», и никто мне не верил и не наказывали.

Так оно и прошло бы сказкой, и вдруг, не думая, я увидел такого человека

В его глазах горела решительная мука, а говорил он твердо, но под каждым его словом тлелась искра. Он признался в убийстве и рассказывал, как все он это сделал этими руками. И когда он подымал руки – моим глазам они светили.

На минуту судьи усумнились, и у всех прошло: да правда ли это. Но в конце концов поверили: так убедительно и горячо было его признание. И присудили его на каторгу – бессрочно. И разошлись из суда удовлетворены приговором – со временем выяснится, где правда (пензенское дело о убийстве Лызловой).

Но я, по какому-то своему чувству, меня заполнившему, не поверил и по моей вере в «я смею» унес образ человека, на лице которого с восторгом читаю: «беру на себя чужую вину и отмучаюсь». Для меня незабываемое, и никакие пожары не истребят этот, осветивший мне жизнь, образ человека

2

«Тайная милостыня» – она не жжет блеском «чужой вины» тихим светом светя, сопровождает путь человека.

И когда читаешь о тайной милостыне или услышишь, сердце радуется. В свете милосердия для моих глаз весь

мир открыт, – благословляя жизнь, не отворачиваюсь, до конца пронесу свой богатый дар – мое горькое счастье.

* * *

Я читаю житие Улиании Лазаревской, написано вскоре после ее смерти (1604 г.) сыном ее, муромским боярином Калистратом Осорьиным.

С детства не лакома и не обжора, а случился голодный год, подавай ей на завтрак и на обед и чтобы на ужин было вдоволь.

«Как ты свой нрав перемени? Егда бы у Христа Бога изобилие, тогда не могох тя к раннему и полуденному ядению понудити, а ныне егда оскудение пищи, и ты раннее и полуденное ядение взимаеши?» – спрашивает свекровь.

И она отвечает:

«Егда не родих дети, не хотяши ми ся исти и егда начах дети родити, обезсилех и не могу не ясти, не точию в день, но и нощею многажицею хощу ми ся ясти, но срамлюся тебе просити».

И все эти слова Улиании только одна хитрость: все, что ей принесут, а ей ни в чем не откажут, себе она ничего, а все «нищим и гладным даяше».

* * *

Рассказывают о Николае Ивановиче Новикóве (1744–1816), что в Отечественную войну 12-го года он принимал у себя в смоленской деревне голодных, раненых и обмерзлых французов

Суровое «справедливое» и черствое сердце за это его осудило. Новикóв! с этим именем нераздельно «русская культура», а тихий свет милосердия увенчал память о человеке.

* * *

Карамзин (1766–1826) и Жуковский (1783–1852) – только после смерти обнаружилось о их тайной милостыне, а при жизни никому в голову не приходило: оба вознесенные к власти, придворные, куда им там!

О Карамзине и Жуковском читаю у А. В. Дружинина в отзыве на книгу Е. Я. Колбасина «Ив Ив. Мартынов».

Иван Иванович Мартынов (1771–1833), сотрудник Сперанского, известен как собиратель народных названий для растений и цветов, современник Карамзина и Жуковского, Дружинин отмечает общую черту их: милосердие – тайная милостыня.

Да таким был и сам Дружинин (1824–1864), основатель Литературного Фонда русских писателей без различия направлений Таким был и Елисей Яковлевич Колбасин, написавший книгу о незаслуженно забытых в истории литературы – о Мартынове и Н. Ив Курганове (1726–1796)

* * *

И вот от Улиании к Новико́ву – Карамзин, Жуковский, Мартынов, Дружинин, Колбасин – путь чист – Алексей Максимович Горький.

В жестокие годы русской жизни, когда на Взвихрённой Руси творился суд непосужаемый, в революцию 1917–1920, самым громким именем – я свидетель того времени – назову

Алексей Максимович
Горький

Сколько было сохранено жизни – «имена Один Ты ве́си!» – как в синодиках Грозного пишут о загубленных жизнях.

Сколько раз в эти годы обращались ко мне, потому что известно, я писатель, а значит, свой Горькому, похлопотать перед Горьким: последняя минута – единственная надежда – спасти от смерти.

Я не знал ни тех, кто просит, ни тех, за кого просили. И всякий раз пишу одно и то же: Алексей Максимович, умоляют спасти. И адрес.

А потом ко мне придут благодарить за Горького. Я видел убитых горем и не узнавал: какое счастье сияло в обрадованных глазах – спас!

Ни моих клочков, на которых я писал Горькому письма, бумаги не было, такое не хранится, а «спас жизнь» – да и такое забудется. Но я не забыл.

Из русских писателей Горький выделял Лескова, особенно «Соборян». И я понимаю – Лесков и Горький сродни – и как же было Горькому поступать по-другому – не спасти человека? – если в его сердце отзвучало слово:

«Умножь и возрасти, Боже, благая на земли на всякую долю: на хотящего, просящего, на произволящего и неблагодарного...» Я никогда не встречал такой молитвы в печатной книге. Боже мой, Боже мой! этот старик садил на долю вора и за него молился! Это, может быть, гражданской критикой не очищается, но это ужасно трогает. О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!

3

Обезьянья Великая и Вольная Палата (Обезвелволпал) отметила юбилейный день Горького высшей наградой, какая только есть в свободном обезьяньем царстве: Горькому поднесена царская жалованная грамота за собственнохвостной подписью обезьяньего царя Асыки в знак возведения его в князья обезьяньи.

Под грамотой подпись обезьяньих князей. И. А. Рязановский, Н. В. Зарецкий, П. Е. Щеголев, М. М. Пришвин, Вяч. Я. Шишков, А. Н. Толстой, князь-епископ Замутий (Е. И. Замятин). И старейшины – митрофорные кавалеры обезьяньего знака: Анатолий Федорович Кони, Василий Васильевич Розанов, Александр Александрович Блок, Лев Исакович Шестов, Михаил Осипович Гершензон, Петр Петрович Сувчинский.

Принял Горький свой обезьяний княжеский титул, как дети играют Затея Обезьяньей Палаты вышла не из «всешутейшего» Петровского безобразия, а из детской игры. Горький искренне поверил. Он держал в обеих «лапах» мою нарядную грамоту и удивлялся: «Князь! – обезьяний князь, да в роду Пешковых о таком и мечтать не могли!»

* * *

Я, «бывший» канцелярист (по старине диак), грамоту скрепил и деньги сахаром получил.

4

Старшее поколение писателей: Короленко, Горький, Леонид Андреев, Бунин, Куприн, Серафимович и другие прославленные относились к моему отрицательно.

В толстые журналы меня не пускали: ни в «Мир Божий», ни в «Вестник Европы», ни в «Русское Богатство», ни в

«Журнал для Всех» В. С. Миролюбова, исключением была «Русская Мысль», куда мне удалось временно проткнуться, когда соредактором П. Б Струве сделался Семен Владимирович Лурье (1867–1927). И в московские сборники (Телешов) меня не принимали, и в Горьковское «Знание» я никак не мог попасть То же и в газетах· хорошо если на Пасху пройдет в «Речи» через Давида Абрамовича Левина П. Н. Милюков отмахивался: «о чертях пишет».

В те времена в литературной критике ходовое слово, и решающее ценность произведения, было «психопат», как потом пойдет «нарочито и претенциозно» Я, конечно, попадал в «психопаты». Но было и еще. «юродство». И тут я шел с В. В. Розановым: «юродство» Розанова – за его гениальные «двойные мысли», а у меня, не находя ни «прямых», ни «двойных», юродство видели в словах и оборотах – в русских словах и в русских оборотах.

Одни посмеивались добродушно, другие с раздражением.

Короленко сравнивал меня – видел он в Нижнем на ярмарке: в руках на прутике нанизаны петли, гвоздики, железки, идет, погремушкой позвякивает и сам чему-то радуется.

Горький нетерпеливо. «Библией мух бьете!»

* * *

И кажется, что было Горькому до меня – лучше быть неизвестным! – в его дом «Знание», как я ни напрашивался, меня не пускали.

И вот я попал в беду, к кому же мне обратиться?

И как о неизвестных когда-то, теперь пишу Горькому о себе. О себе писать, про это все знают, как это легко, тем более .

Единственный экземпляр, рукопись «Плачужная канава», пропала Взялся ее перевезти за границу один добрый человек, на границе обыск, а вез он драгоценности, и моя рукопись у него под жемчугами, жемчуг забрали, а с жемчугом и рукопись прощайте

Прошу Горького похлопотать.

И не знаю, как выражаться: для меня «Плачужная канава» представляла тогда ценность, с какой болью писал я ее, а ведь эта моя боль, сказавшаяся словом, для Горького: «Библией мух бью».

Скажу наперед: больше году ждал, ночью проснусь, и о рукописи. И как спасал когда-то Горький неизвестных, спас он и рукопись, которую не мог одобрить: мне ее вернули из Москвы – мою жемчужную «Канаву».

5

I

Berlin. Herrn Alexeï Remizov, Charlottenburg 1, Kirchstr. 2[II] bei Delion.

9. II 1922

Дорогой Алексей Михайлович!*

Если я напишу Менжинскому[1] о Ваших рукописях, а они – на грех – окажутся у него, он их съест. Да, да, – сожрет, ибо таковы взаимные наши отношения.

Но я думаю, что рукописи не у него, а у Леонида Старка в Ревеле, – я что-то смутно слышал об этой истории с Вашими рукописями и о Ревеле.

Так вот что: отнесите прилагаемое письмо Ивану Павловичу Ладыжникову[2] и попросите его отослать оное в Ревель Леон. Никол. Старку.

Этот Старк когда-то пробовал писать стихи и был – а надеюсь и остается – искренним Вашим поклонником.

В Ревеле он – дипломат: представитель Сов. России. И, конечно, имеет прямое отношение к Ос. Отделу.

Так-то. Будьте здоровы!

А. Пешков.

*на обороте***

Адрес Ладыжникова знает Гржебин[3], я забыл.

А. П.

II

22 II 1922

Дорогой Алексей Михайлович!

Сейчас получил письмо Пильняка[4], подписанное и Вами и А. Белым[5].

Видеть Вас – было бы крайне приятно, но – ехать сюда я Вам решительно не советую, ибо остановиться здесь негде. Гостиниц – нет, кургауз так забит, что больные живут в

* Далее под номерами примечания А. Ремизова [*Ред.*]

** Курсивом – пометы А. Ремизова [*Ред.*].

вестибюле. В санатории, где я, – 110 мест, а лечатся в ней 367 душ. Есть немало больных, которые и день и ночь проводят на воздухе, в лесу, в эдаких галерейках, там они лежат, засунутые в меховые мешки.

Здесь – скучно, вот все, что можно сказать о St. Blosien'е. Недели через две я возвращаюсь в Берлин, и тогда мы увидимся. Передайте мой привет Белому и Пильняку

Крепко жму Вашу руку, сердечно желаю Вам всего доброго.

Вас уже тянет в Россию?

Были Вы в «Музее Фридриха»? Если нет – сходите, там есть изумительный Брейгель.

А. Пешков

[*Питер Брейгель старший* (1525–1569)].

III

4 IX 1922

Дорогой Алексей Михайлович!

Будьте добры отправить рукопись Вашу в редакцию «Беседы», она тотчас же будет сдана в набор.

Как живете? Говорят, в Берлине плохо, тревожно, дорого и нездорово.

Ехали бы Вы куда-нибудь сюда, на юг. Здесь тихо. И немец мягче

Привет сердечный,

А. Пешков

Алексей Максимович Пешков – (1868 – 1936)

Горького стал знать с его первых книг в годы моей пензенской ссылки – 1898. Его рассказы были мне, как весенний ветер, и это ничего не значит, что я зачеркиваю и перечеркиваю страницы, я говорю о моем чувстве

Познакомился в Петербурге – 3 января 1906 года – и записал в дневнике общими словами: «какой умный и сердечный человек» Я хотел сказать, что с таким можно говорить и разговориться – слова не завязнут и отзвучат. Это с дураком. я ему про Фому, а в ответ мне про Ерему. И что не сухарь, которому не свое, как стене горох; мне показалось, что и говорит он с болью.

Встречался в революцию (1917–1920) в Петербурге и в 1923 году в Берлине. Бывал у него на Кронверкском проспекте и во «Всемирной литературе».

Во «Всемирной литературе» я значился как сотрудник, но на собрания не допускался. А перед собраниями, когда собираются, Горький никогда не опаздывал, и можно было о чем-нибудь спросить, о житейском – время было опасное, или просто посидеть и послушать.

Горький хорошо знал историю русской литературы, а меня хлебом не корми, люблю свое ремесло Говорил Горький непопусту и прислушивался Прощался я с ним всегда очарованный.

Храню память письма Горького. Немного их, и ни одного оригинала[6].

Письмо из Арзамаса в Вологду на имя Б. В Савинкова, 1902 г. Отзыв Горького о наших рассказах, рукописи передала ему Л. О Дан (Цедербаум). Горький советует нам (Савинкову и мне) заняться любым ремеслом, только не литературным: «литература дело ответственное»

И все-таки «хлам» отослал он в Москву Леониду Андрееву. И наши забракованные рассказы появились в праздничном «Курьере». 8 сентября 1902 года на Рождество Богородицы – моя Эпиталама (Плач девушки перед замужеством), а на Введение, 21 ноября – мой рассказ «Бебка».

И я могу сказать, что совсем недвусмысленным боком ввели меня в русскую литературу: Горький, Леонид Андреев и Лидия Осиповна Дан.

Это вступительное письмо Горького хранилось у Бориса Викторовича Савинкова. Подробности в моей книге «Иверень» (1887–1903) – не издана.

Еще три письма Горького – 1902–1907. о моем «В плену» и о «Пруде» Письма напечатаны в России в 1933 году без моих комментариев под общим редакционным: «как Горький своевременно шуганул Ремизова». А взяты письма из моего многотомного рукописного архива (1902–1920), хранился в Гос. Публичной Библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.

Есть и фотографическая карточка-группа. Горький, Пинкевич, Алексей Толстой, Роде и я. Снимались в Берлине весной 1923 года у Вертхейма.

Когда стали распределяться перед фотографом, Роде сказал «Я не смею сесть с Алексеем Максимовичем, я лучше с Ремизовым постою».

Горький, из уважения к ученым, сидит с Пинкевичем, к ним наотмашь плюхнулся Алексей Толстой; а я с Роде поверх голов; при желании нас легко срезать и безо всякого урону: Горький, Пинкевич, Алексей Толстой.

Амалий Сергеевич Роде († 1930), а как его по-настоящему, не помню, из Минска, прошел через тиски и перешвырь, но сохранил природное добродушие и сердечную чувствительность; одаренный («талантливый человек, говорил о нем Горький с восхищением, на балалайке играет!»), добрался до Петербурга и, не имея прав жительства, обратясь во французского Амалия Роде, открыл на Каменноостровском «Виллу Роде», прогремевшую в канун революций Распутиным и цыганами. В революцию кабак разнесли, клиенты – кто успел за границу, остался болтаться на свете, а кто не успел, простились с белым светом, и души их понеслись под стон-эс-гиттарарары тянуть неутолимую бесконечность печальных тунеядцев А хозяин «Виллы Роде» – в чем застигло, все на нем и имущество· все мы были неказистые, и его не отличить от нас. Устроился он через Горького в Мраморном дворце заведующим столовой в ТЕО (Театральный отдел). Тут мы и познакомились и с первых же слов, ровно б годами знали друг друга или, вернее, где-то в каких-то канавах прятались, или оттого, что мне так понятна человеческая затурканность. И всегда он мне в мою голодную порцию косточку подложит или какое «гранатное» яблоко на десерт после очертеневшей пшенной каши перед всеми поднесет мне и Блоку – «чтобы сделать удовольствие Ольге Давыдовне» (О. Д. Каменева, сестра Троцкого, начальница ТЕО). А скажу, что и без всякого «удовольствия» не раз в мой протабачный карман тайком кусковый сахар подкладывал: жили мы до «ученых пайков» Горького отчаянно

По дороге к Вертхейму сниматься Роде мне сообщил новость: в Париже в самом шикарном русском ресторане «Russian Eagle», 30, rue du 4 Septembre, кухня под управлением *Ремизова*, шеф кухни русского Императорского двора.

На фотографии, стоя на высотах, я представился «шефом Императорского двора» и спрашиваю Роде:

«Амалий Сергеевич, а ведовская волшебная каша... как варить с перыцем-с-ядыды?»

Карточка получилась живописная: и Горький, и Пинкевич, и Толстой во всей личности, но живее всех наше: «с перыцем-с-ядыды». А стоила карточка много тысяч мил-

лиардов Выкупил П. П Крючков: посмотреть в руки дал, а на руки не выдал.

П. П. Крючкова знаю с 1920 года. Я состоял при М Ф. Андреевой, начальница ПТО (Петербургское Театральное Отделение), а Крючков под Марьей Федоровной, управдел ПТО. М. Ф. Андреева одна из «Сестер» Чехова, с ней легко и театрально, а Крючков из «Горя от ума», этот застылая себе-на-уме, всего наобещает, а ничего не сорвешь, не выжмешь, заканителит. Единственный способ, я присмотрелся: подкараулить, когда идет к нам наверх в уборную, тут его и перенять – любую бумагу, не читая, подпишет. Но Берлин не дом Юсупова на Литейном, – где подкараулишь? Так карточки нам и не дал. Думаю, уничтожил.

К В. С. Миролюбову в «Журнал для Всех», как я ни колотился, а пробиться не удалось: на моей рукописи неизменно одно и то же «В», что означало «к возврату»

Виктор Сергеевич певец, в молодости в Киеве выходил на сцену Демоном и Онегиным, человек благодушный, потеряв терпение, велел через секретаря Е Г. Лундберга передать мне дружески: «присыл рукописей прекратить».

А к Горькому стена, куда к Миролюбову И все-таки я влез – вижу победу моего терпения! – Горький, *не читая,* принял мою рукопись, и в его «Беседе», Берлин, 1923, кн. 3, появился мой «Парижский клад» («Россия в письменах», т. II – не издано).

В Париже, до России, из Сорренто Горький присылал мне сборник сказок – узнаю его почерк на бандероли – а, стало быть, не забыл мое самое любимое: сказку. Конечно, тут не без Сувчинского и Д П. Святополка-Мирского, верные друзья – они видались с Горьким в Сорренто и переписывались. Или вспоминал, как однажды мне рассказывал свою сказку: «И у меня когда-то жил ежишко... хороший».

1950

Примечания

1. Вячеслав Менжиинский

Начальник ВЧК Выступил в литературе в 1904 г. в «Зеленом сборнике». М А Кузмин, Ю Н. Верховский стихи, а Менжинский

проза А А. Блок в рецензии выделил Менжинского Но за годы 1905–1917 я не встречал его имени в литературе И не знаю, чем объяснить его рассказ в «Зеленом сборнике» не похож на тогдашнюю беллетристику, было свое. А стал известен как помощник Дзержинского, а потом и сам начальник ВЧК Сестра его [пробел в рукописи – *А Г.*] писала пьесы для детей. Я давал о них отзыв в ТЕО. по языку не без «русского», а по душе детское.

2. Иван Павлович Ладыжников

Издатель. Управляющий издательством «Знание». Дел у меня с ним никаких не было, а стало быть, и разговору Осталось в памяти· «конфуз»

В контору вошел Горький и удивленно. «Что с вами?» – «Холера», сказал Ладыжников и все в нем вдруг подтянулось. – «Да как же это вы так, Иван Павлович, неосмотрительно?» – А тот и не знает, что отвечать, и как пойманный, виновато заморгал Я отошел

3. Зиновий Исаевич Гржебин (1877–1927)

Издатель Сосед и кум В Петербурге на Таврической в доме Хренова жили по одной лестнице и деньги занимали друг у друга наперехватку. В войну 1914 года ходил зауряд-князем обезьяньим Я крестил его детей. Бубу и Капочку и Капочкина сына Андрея Все состояли в обезьянах.

4. Борис Андреевич Пильняк (Вогау) – (1894–1933)

Мой ученик В Берлине в 1922 г, не покладая рук, отделывал свои рассказы под моим глазом. Я отучал его от школьной грамматики, научил встряхивать фразу, переводя с искусственно-книжного на живую речь; перевертывать слова и разлагать слова – перевертывать, чтобы выделить и подчеркнуть; разлагать – слова излучаются и иззвучиваются Отвадка от глагольных и ассонансов в прозе от них мéсиво, как гугня в произношении О «щах» и «вшах» ничего тогда не говорил, сам сидел в них пó уши.

5. Андрей Белый —
Борис Николаевич Бугаев
(1880–1934)

Гениальный, единственный, весь растерзанный. между антропософией, Заратустрой и Гоголем Синие дремучие глаза (портрет Бакста)

6. Федор Евдокимович Махин

Полковник Махин, а в эту войну партизанский генерал-лейтенант. Редактор Русского Архива и председатель Белградского Земгора Оренбургский казак, старообрядец, хорошо читал Библию на голос. В Обезьяньей палате состоял воеводой. Ему я продал за двести франков в 1937-м оригиналы писем для архива Земгора.

3. Алексей Максимович Горький 1868–1936

Так мне и не пришлось... говорили, Горький приедет в Париж, ждал его· кто знает, может быть, в последний раз и навсегда – а хотелось сказать И вот все кончено. А закончилось под музыку Сен-Санса на Красной площади в Москве – новая версия «Ступеней человеческого века». А за эти годы приходила и невольно такая мысль, и не мог я заглушить ее: читаю в газетах· «пропал Горький» – а это бы значило: да вспомнил того же своего Лунева из «Троих» – не надо и проклятий! – и вышел безвестным странником на широкую русскую землю в свой последний путь.

Тридцать лет нашей первой встрече, а эти тридцать лет для меня, как один день, и живо, как бывшее вчера – мое чувство через этот тридцатилетний день осталось неизменно.

Не знаю, кого еще назвать, разве Блока, о ком так памятно – встреча с Горьким: тот внимательный взгляд, его чувствую я в человеке, по близорукости не различая глаз, и та улыбка – как будто сконфуженного (у Блока – виновная), а это и есть то самое, что создает поле доверчивости – открывает свободу, при которой только и можно говорить

с человеком по-человечески без зáсти лукавства «двойных» задних мыслей.

А стал знать я Горького с его первых книг еще в годы моей юности.

Меня поразил его необычайный голос: в тихое Чехова вдруг ворвалась «пространственная» медь Вареза*.

И если Чехова читали с упоением – есть ведь такое человеческое: повторить словами книг о своем пропаде и даже не пропáдном, а только воображаемом, Горького читали с восторгом, да, восторженно, и пропащие и пропадающие, повторяя – «все в человеке, все для человека».

Горький ученик Толстого.

От Толстого, давшего миру из своей величайшей веры в человека последнюю чудесную сказку «Хозяин и работник» – о свете человеческом, нечеловечески светящемся в человеке, идет отсветом мысль Горького. Горький продолжает *миф о человеке* со всей ожесточенностью задавленного, воссилившегося подняться во весь рост человека.

Горьковский миф – не «сверхчеловек – бестия», давящий и попирающий, а человек со всей скрытой в нем силой творчества, человек, за что-то и почему-то обреченный на погибель, а в лучшем случае на мещанское прозябание по образцу «Ступеней человеческого века».

Суть очарования Горького именно в том, что в круге бестий, бесчеловечья и подчеловечья заговорил он голосом громким и в новых образах о самом нужном для человеческой жизни – о достоинстве человека.

Горький – мифотворец.

Место его в русской литературе на виду.

Не Гоголь с его сверх-волшебством, не Достоевский с его сверх-сознанием, не Толстой с его сверх-верой, явление мировое, необычное; и не Салтыков, не Гончаров, не Тургенев – создатели русского «классического» книжного стиля, Горький по трепетности слова идет в ряду с Чеховым, который своей тихой горечью не менее нужен для человеческой жизни, как и Горьковское гордое сознание человека, без чего дышать нечем.

Слово у Горького – от всего бунтующего сердца, слог звучит крепостью слов, стиль – читать Горького можно только громко «во всеуслышание», но петь Гоголем – Горь-

---

* Edgar Varèse, автор Integrales [Примеч А Ремизова — *Ред*]

кий не запоется, как и не зачитается Толстовским отчитом.

Горький никогда не расставался с книгой. Первый известный его портрет: Горький над книгой. И издательство Горького – «Знание»; а во всех его предисловиях к чужим книгам всегда чувствуется радость человека, напавшего на откровение. И «Всемирная литература» – затея Горького. А имена ученых, великих писателей и художников звучали у него так, будто, произнося, подымался он с места.

Огромным чутьем возмещалось у Горького отсутствие литературных «ключей» и дисциплины. Но там, где была хоть какая-нибудь сложность, Горький закрывал глаза и не слышал.

Достоевский своим «страданием» оттолкнул его. И иначе не могло быть: мятеж Достоевского разлагал миф о гордом «деятельном» (т. е. тупом и ограниченном, по Достоевскому) человеке – миф, вышедший из непонятных, ненужных *страданий* за что-то и почему-то задавленного и вот взбунтовавшегося человека.

Горький никогда и не пытался понять Достоевского, как не понял Толстого с его «непротивлением», вышедшим из его веры в человека. А ведь это «страдание», по Достоевскому, может быть единственное оправдание, единственный свет жизни человеческой, безобразной, бессмысленной, складывающейся нелепо в самой сути жизни, благодаря каким-то «ошибкам» *там* – – за которые человек никак не ответствен, а жить-то надо как-то, не становиться же в самом деле на четвереньки при «Эммануиле-то Канте, великом кенингсбергском философе», как почтительно выражался Горький, и при «Вильяме Шекспире», востря глаза – в лес, не начинать же сызнова историю, начавшуюся гориллой, человеку, страданием достигшему сознания «я есмь» и тем самым переступившему «человека» с его «болью» и «страхом».

Мне навсегда останется гениальное воплощение Лифаря «Икара» – в веках из веков сложенного мифа о человеческом полете – об этом подлинно «безумстве храбрых». Я видел живого летящего Икара! – слышу древний голос о грани человеческой силы – «смирись, гордый человек!» – и чувствую всю обжигающую скорбь сброшенного с недосягаемых «зодиакальных» высот гордого человека, свернувшегося без крыл жалким зайчонком.

Этот древний, роковой для человека миф, как и самосознающий человек Достоевского с его вызовом «туда», *мя-*

теж Достоевского, затеняет горьковский *бунт* – миф без всякого «туда», а «тут» – миф о человеке, выдирающемся из пропада· ведь все равно надо лететь, и без оглядки, иначе дух вон.

Оттолкнул Горького и Джойс, и Пруст, вся сложность словесного искусства. – Какой еще Джойс: мысле-чувство-словные процессы в яви и сновидении; какой там Пруст: изглубленная память или долгий взгляд в пропастную память! – человеку жрать нечего и жизнь его скотская, а слово – рваная плюхающая калоша, а мир – незатейливый дурацкий фильм.

Но это же самое чутье привело Горького к Лескову, по складу чувств, слова и мысли самоцветному отпрыску протопопа Аввакума, родоначальнику русской «природной» речи, Горький открыл забытого Слепцова, предшественника Чехова, чутьем оценив его словесное мастерство и теплоту человеческих чувств. А из современников выделил Пришвина («я счастлив, писал он, что живу с вами на одной планете!»), – Михаила Михайловича Пришвина, этого русского Киплинга, мастера на зверя, лес и поле, постигшего всю звериную тайну, со слухом к свисту птиц и дыханию трав.

. . . .

Алексей Максимыч, вы стали судьбой в моей жизни, вы, при всем вашем оттолкновении от моего мира снов, вы разгадали вашим чутьем мою любовь к слову, и я обязан вам моим первым выступлением в литературе.

И разве я это могу забыть?

Алексей Максимыч – в последний путь: вспоминаю вас – вы знали бедность, унижение и отчаяние... вспоминаю наши редкие встречи и очарование, какое легло мне на сердце. Прощайте!

4. Шаляпин

Горький посвятил Шаляпину «Исповедь». Это не «Песня о соколе», не «Буревестник», литература словесной трескотни, оправдываемая лишь добрым желанием «выпрямить» человека, «который – всё и для которого – всё». Именем Шаляпина освещено другое: русская повесть – самое напевное и самое трепетное, вечернее Горького. В слове «Исповеди», прочитанном про себя, слышу голос Шаляпина.

Гоголю в звуках песни слышалась горечь.

Стократная горечь раскованного человеческого сердца закипала в голосе Шаляпина. Шаляпин и есть этот человек, «который всё и для которого всё».

И куда деваться человеку в непроглядный час под дубьем бед и напастей, толкающих и торчащих? И как быть человеку· злая память его безысходна, а мир – сквозь злые слезы? Этого никогда не поймет очерствелое сердце, а выразит не слово, а песня.

И разве могу забыть я те единственные мгновения, когда я слушал, – весь слух, – пение Шаляпина; в его голосе мне было больше моего, он пел о всем человеке.

* * *

Чтобы околдовать душу, не надо говорить, надо петь: музыка! ее это чары. И есть магия слов... но как часто трепет слова заглушается звуком: пожалуй, вернее читать глазами, не выговаривая вслух, – да так ведь и вошли в нашу неизбывную память Пушкин и Лермонтов, не школьным и эстрадным фальшивым чтением, нарушающим ритм – душу стиха.

Слова колдуют, как песня. Но чтобы околдовать душу – чтобы бросить пламя слова, надо голос со всей напоенностью и переливом звуков: музыка! – музыка, это поддонное дыхание, тоньше слова и нежнее мысли.

Никогда еще не было и не запомнят, и только в сказках очарований, такое яркое воплощение; слово и музыка, магия слов – я назову это единственное имя:

ШАЛЯПИН

И это слово, чары слов – русские, непереводимые, как слова поэтов, самоцветы, но светящиеся музыкой, открыты всем. Речистые, они горят, захватывают душу, выпевая русскую музыку.

Голос русской земли – поет Шаляпин – Россия, сказавшаяся на весь мир из глуби своего человеческого сердца словом Толстого и Достоевского.

И какой это голос поет и светит над этим дремучим простором – ?

Когда при ясном солнечном небе (говорю словами Дрянского) и этой нетомящей теплоте осеннего дня по темной зелени перелесков играл подсохший лист, поблескивая золотистыми искорками и цепляясь концами за жниво, кругом плавала длинная паутина, ее было столько, что издали, на

припоре света, поле было как будто накрыто хрустальным ковром, даль терялась в глубоком тумане, кое-где гуляло стадо по изложинам, курился дымок, две-три бабы вертелись с граблями по жниву, да стрепета свистели крыльями, перелетывая стаями с пашни на пашню, – вот и бабье лето пришло. Спугнутая лисица прокрадывалась по болоту, как тонкий осенний листок стлалась между кочек, то поднимая свою вострую головку, то припадая к земле

На ранней заре поднялись они. Люди начали садиться на лошадей; собаки радостно взвыли и заметались вокруг охотников. Ловчий со стаей тронулся вперед, за ним поплелась длинная фура с борзыми; доезжачие разровнялись по три в ряд Раздался свисток Егорка поправил на себе шапку, тряхнул головой, откашлянул и залился звонким переливистым –

Эх, не одна во поле дороженька

Еще свисток – и двадцать стройных, спетых голосов грянули разом·

пролегала

Вскоре и эхо в лесу крикнуло нам вслед «эх, зарастала».
Русское солнышко засветило нам с левой руки.
Да, это Россия – вижу ее осенние печальные глаза.
И когда (буду говорить словами Аполлона Григорьева) –

Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли
С детства памятный напев,
Старый друг мой – ты ли?

Когда вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган этих диких странных, томительно-странных песен, и пусть отяготело на вас самое полное разочарование, я готов прозакладывать свою голову, если вас не будет подергивать (свойство русской натуры), когда Маша станет томить вашу душу странною песнею, или когда бешеный неистовый хор подхватит последние звуки чистого, звонкого, серебряного Стешина.

Ах? ты слышишь ли, разумеешь ли?

И это Россия – вижу ее полуденные, наши азиатские глаза, блестящие, в них снег сверкает на солнце в морозный день

И когда на всенощной в Московском Соборном храме – в Успенском соборе – черные соборяне затянут в унисон темными басами, как вздохнут, столповой распев – память древних русалий и хозарской песни третью славу третьей кафизмы:

Боже, Боже мой, вонми ми,
вскую оставн мя долече[1]

Это тоже Россия – вижу глаза ее: через тесные головы и ладан томно голубеют от Устюжского золотого образа Благовещения нестеровские – васильковые.

И никто так полно, подлинно не выразил, один Мусоргский, эту Россию полевую, лешую, кабацкую и от всенощной, русский дремучий простор, его щемящий проницательный голос и другой, кроткий, ожидающий чуда, с последней просьбой из последнего отчаяния о капле теплоты сердца. И все эти голоса сошлись в один голос – поет Ш а л я п и н.

* * *

Из моей далекой, но живой московской памяти несется мне голос – моя первая встреча. В сверкающих безумных огнях Врубеля – таким открылся моим, мне колдующим глазам этот, ни на кого не похожий «вольный сын эфира», он пел о тайне Лермонтова. Его воздушный молодой – там не знают века! – с легкостью облаков плыл голос, волнуя –

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил
Средь полей необозримых
В небе ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада.
Час разлуки, час свиданья
Им не радость, не печаль,
Им в грядущем нет желанья,
Им прошедшего не жаль
В день томительный несчастья
Ты о них лишь вспомяни,
Будь к земному без участья
И беспечна, как они!

Петербург. Осень. «Утро туманное...» – Тургенев – Гоголь – Павлов – Бестужев – Белинский – — – Блок, и до Волкова кладбища к Литературным мосткам – «Утро туманное, утро седое ..».

Петербург. Осень. Театр «Олимпия» на Бассейной. Всякий вечер, когда представляют «Бориса Годунова», я простаиваю на райке. Галерка не на верхах, как в театре, а за ложами бенуара – по бокам, видны кулисные колеблющиеся карнизы, «альпийский пейзаж» и наряженные боярские, рыцарские и турецкие головы без лиц.

Но я все вижу, озаренный голосом Шаляпина, я вижу больше: мои глаза, как эта музыка. Вся правдошность легенды, оживая в моем сердце, и как прошлое и как грядущее в единый миг, пламенеет обреченным судьбою человеческим сердцем – железная голова, ясные глаза на месяц, ясным голосом поет во мне.

Месяц едет
Котенок плачет

И всякий вечер неизменно в антракте мои глаза встречают Блока: Блок в партере.

А «Хованщину» я смотрел в Мариинском. Шаляпин всей силой речистого голоса, со всей убежденностью веры подымался огненным протопопом: сам Аввакум! Я различал в его словах магию огненного слова «последней Руси».

«Таже, держав десять недель в Пафнутьеве на цепи, взяли меня паки на Москву, и в Крестовой стязався власти со мною, ввели меня в Соборный храм и стригли по переносе меня и дьякона Феодора, потом и проклинали: а я их проклинал супротив: зело было мятежно в обедню ту тут. И подержав на патриархове дворе, повезли нас ночью в Угрешу к Николе в монастырь... Виждь, слышателю: необходимая наша беда: невозможно миновать. Сего ради соблазны попущает Бог, да же разжегутся, да же убелятся, да же искуснии явлении будут в вас. Выпросил у Бога светлую Россию сатона, да же очервленит ю кровию мученическою Добро ты, дьявол, вздумал, и нам то любо – Христа ради, нашего света, пострадать!»

Голос Шаляпина жив, живет и живит. Я храню его в моем сердце, как и все, кому выпало счастье, а это было подлинное счастье слушать – и слышать и чувствовать.

Лучшую свою повесть, навеянную «Лесами и горами» Мельникова-Печерского, «Трое» Горький посвятил Шаляпи-

ну И Блок унес этот голос к звездам на океан – на воздушный – со всей болью и своих братьев: Некрасова и Лермонтова.

Что же ты потупилась в смущеньи?
Погляди, как прежде, на меня
Вот какой ты стала в униженьи,
В резком, неподкупном свете дня
Я и сам ведь не такой – не прежний
Недоступный, гордый, чистый, злой.
Я смотрю добрей и безнадежней
На простой и скучный путь земной

Унесли с собой голос Шаляпина и к тем же звездам сверстники Блока, два блестящих французских писателя Alain Fournier и Jacques Rivière, им выпало то же счастье: однажды в Париже они, по их признаниям, потрясены были «Борисом Годуновым» с Шаляпиным.

Унесли этот голос и другие прославленные, и те, безымянные, но из которых каждый для кого-то-нибудь в мире был единственный – за полвека сколько их перебывало на Шаляпине, выстаивая ночи в очереди за билетом, и как часто на последние! – и все к тем же звездам в звездное царство неизгладимых воспоминаний –

и звезда с звездою говорит .

А познакомил меня с Шаляпиным Дягилев на первом моем петербургском выступлении со чтением моих «сказок»: рука счастливая.

И вот наша последняя встреча: Париж, прощальный концерт в Плейель с хором Афонского: стихи Некрасова – «Было двенадцать разбойников – был Кудеяр атаман» и заключительная – «Англичанин-хитрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину – а наш русский мужик, коль работать невмочь, он затянет родную дубину, эй, дубинушка, ухнем!»

Так кончился Шаляпин – его последнее слово: наша горькая русская правда.

И если Толстой и Достоевский на последнем суде скажут последнее слово за русскую землю, Шаляпин пропоет это последнее слово за весь русский народ.

5. Царский конь

Интермедия

Я попал в литературу по «недоразумению», с кем-то спутали, но в конце-то концов все обошлось и образовалось, пусть «подставной», пусть «походный», а все-таки писатель, и никакая не «креветка», как сам я себя однажды вообразил от неожиданности, в недоумении. Но бывают в жизни «скверные» недоразумения, как «скверные анекдоты», о которых хочется забыть, а никак не расписывать и панихиды петь в «вечную память». Такое случилось однажды с Шаляпиным, о чем я и расскажу вам не столько для развлечения, сколько в научение. Видите, я и в мораль верую, и в науку, хоть и отрицаю – – от отчаяния, конечно, не от гордости.

Бывший директор консерватории, нашумевший своим «Интимным романсом», и эта трагическая история с певицей Азарьиной, Глеб Холмский-Чижов, – а какая библиотека, все театр, и память, сойдутся приятели, такой есть Гаврилов, слушать жутко, с Волкова начнут, все-то у них как в зеркале, а чтобы записать, я заметил, таким легче кротов ловить. В молодости в Москве, оба мы отчаянные театралы, нас так и звали «два-сапога-пара», много всяких театров видывали и на всякие цирковые чудовища-фокусы от удовольствия рты разевывали. Признаюсь, запамятовал, но Чижов, у него не моя, не куриная, напомнил мне облетевший всю Москву случай с Шаляпиным, а это и было разыгравшееся на наших глазах «скандальное недоразумение». Но нигде в истории русского театра, ни у Гернгросса-Всеволодского, ни у Вельтер-Евреинова ни одним боком оно не просовывается. А жаль – – и опять же для науки.

Первое представление «Псковитянки» совпало с Валькириями, и все кони были разобраны под Вагнера. Один конь – не тронули, на покое жил, помнит и Верстовского, и Алябьева, и Пуни, конь, только его не пришпоривай, может и сто лет прожить незаметно. Этого античного коня и назначили под царя Ивана Васильевича – Шаляпина. И постарались.

«Шаляпин, – говорилось, – сам, Федор Иваныч, подкормите коня, постарайтесь!»

А «стараться» тоже, понимаете, надо с толком, чем русский человек как раз похвастаться никогда не мог: уж

коли стараться, так вовсю, а что выйдет или не выйдет, не наше дело!

За три дня до представления коня кормят.

Конь сообразить ничего не может, ест без отказа. Потом вспомнил: опера «Сомнамбула»: «Уж не под итальянца ли опять подсаживаться?» Но вокруг все говорят по-русски и чаще повторяется «Федор Иваныч». «Уж не меня ли это, думает конь, Федор Иваныч?» Обращение самое предупредительное, на цыпочках ходят, а уход как за царским конем.

«Да ты и есть царский конь», – кто-то говорит ему (не Шаляпин ли?) и, лапой холку пошевеливая, ласкает

В день представления конь был готов: постарались! Конь едва передвигал ноги, но смотрит молодцом. А чем его только ни пичкали – индюку орехи полагаются, так в овес грызенных грецких орехов с пуд подбросили коню будто в ярь! – «Молодому точно что в ярь, надо было бы сказать, а старому только желудок портить!» Да никого не нашлось. Конечно, коня окормили, и посмотрите, что произошло.

В решительную минуту Шаляпин во всем тяжелом царском одеянии с подсадкой вседлился на коня, и конь сразу почувствовал под царскими доспехами, что это вовсе не итальянское из «Сомнамбулы», а именно тот Федор Иваныч, которым уши ему прожужжали, кормя.

Что дальше конь думал, я не сумею сказать – перед нами сразу же открылось зрелище, приковавшее все наше внимание, и дух замер: это была та минута, когда Шаляпин въехал на сцену и с коня пригнулся, уставясь на псковитянку.

Дирижер вскинул палочку, а, может, оттого, что Шаляпин чересчур порывисто пригнулся, конь, вопросительно поставя хвост (зверь не человек, аккуратный!) начал свою пирамидальную работу.

Все наши глаза и бинокли, не отрываясь, следили: как это производилось, – и с затаенным восхищением перед чистой работой. И у всех был один вопрос: когда – и кончится ли когда?

Наступила такая тишина, трудно себе вообразить: театр битком набит, и стоят и «зайцев» довольно.

Сам Костанов со своей магической палочкой так и замер. И оркестр – – все скрипки вдруг отсмычились, а валторны и трубы отгуделись: ведь такое не только что не

всякий день бывает, а в столетие однажды, да и то жди подходящий случай, чтобы «постарались».

У Шаляпина на заду глаз нет, он и не догадывается, какое за его спиной конское сооружение, Шаляпин верит в магию своих впечатлительных глаз и не сомневается, что все на него затаращились и потому такая тишина

На сцене лишняя минута молчания – вечность Прошло две вечности, Шаляпин не вытерпел и, отворотя рожу от псковитянки, зверски глянул Костанову в палочку.

И палочка сама замахалась.

И в ответ ей дружно ударили смычки и загудели трубы.

А конь, с удовольствием, спокойно опустя хвост, взбодрился – царский конь! – и, играя, пошел – как пошел, в молодые годы и под Сомнамбулой так не хаживал – гром аплодисментов!!!

Шаляпин ни до, ни потом – не слыхал и никогда не услышит такой взрыв восторга, как в этот памятный вечер Только не любил он вспоминать «Псковитянку»

6. М. М. Пришвин

«Я счастлив, что живу с вами на одной планете!» Это обращение Горького к Пришвину при первой встрече. В этих немудреных словах перелив чувств и кипь растроганного сердца, сказавшаяся в несуразной астрономической «планете». А как не восчувствовать и не полюбить Пришвина и всякому, для кого дороги и близки эти кусты, пеньки, ямки, овражки, логи, кочки, хохолки – вся необъятная, бедноватая, в чем-то печальная русская природа. Пришвин нашел для нее слово – гремящее, как лесной ключ, сверкающее, как озимые росы. Повторяя за ним это слово, видишь и чувствуешь живую русскую землю.

Но пространства России не Москвой сошлись: на север она за полюс, где в зимнюю бесконечную ночь костры зажигают там, за облаками, и небо полыхает в переливных, осыпающихся на землю огнях; на юг она за белоснежный Эльбрус с памятью Арарата и проклятого жадными богами огненного Прометея; на восток она через верблюжьи киргизские степи со звездами-птицами до серебряного волшебного Алтая и по Китайской стене вдоль Сибири до Великого океана, царства оленей, рек – как моря́, и чародейского шаманского бубна.

И на всех этих пространствах – на тысячи тысяч верст – ступила нога русского – и уж он не Пришвин, русский, а «Черный Араб», загадочный и ни-на-что-не-похожий, а там, у Даурских гор, он превратится в Белого Китайца. И всюду будет желанный гость.

И то, что глаза его увидят – глаза его зорко-птичьи, и то, что тронет его сердце, открытое ко всему живому Божьему миру, он, одаренный слухом к свисту птиц, дыханию трав и мурму зверей, передаст в своих рассказах русским словом, памятным на тысячи тысяч верст.

«Я счастлив, что встретился с вами, – скажу я, – и на мою долю выпала честь направить вашу руку в трудной работе над словом».

В литературе Пришвин выступил в 1907 году: это первые книги географически-учебного характера – очерки. «В стране непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908). Но как писатель Пришвин начинается с рассказа «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 г. А вскоре после встречи с Горьким «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913–1914) И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей

Пришвин идет не из пуста, он продолжает традиции русской литературы. По тишине и растворению благодати Пришвин подхватывает голос С. Т. Аксакова (1791–1856) с его разливной в мире трепещущей жизнью, где не найдете ни косого взгляда, ни злого зуба, а есть только заботливая теплая любовь. По словарю Пришвин продолжает Е. Дриянского, автора «Записок мелкотравчатого» (1857), первого в русской литературе по богатству языка, а тема Дриянского общая с Пришвиным: земля, небо, звери и птицы. В своих очерках странника Пришвин ученик В. Г. Короленко (1853–1921), то же внимание, бережность и чистота. А в своей памяти о первых годах жизни Пришвин идет с Гариным-Михайловским (1852–1906), автором «Детства Темы». А то, что назовут пришвинским – это его мир зверей: его олени, гуси, собаки, перепела, ежик, – тут Пришвин продолжает Решетникова (1841–1871), открывшего человекообразных, Пилу и Сысойку, стоящих на грани «безгрешных» зверей. Решетников подслушал слово в бессловесном человеке, а Пришвин расслышал голос немого зверя

Когда-то елецкий «черный араб», а теперь как лунь бородатый, белый медведчик и волхв – Михайло Михайлович Пришвин. А над ним серебряные тихие русские звезды.

Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит, этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир с цветами и звездами и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире простота, детскость и доверчивость – жив «человек».

7. Стоять – негасимую свечу

Евгений Иванович Замятин
1884–1937

– – – море-могилы, мшистые кочки, крестная дорога разошлась по России – Россия, какой она мне снится, весенняя в мураве моей суздальской родины, кукушачья – подмосковный звенигородской лес в вечерний час, или галочье ненастье – Петербург, куда ни обернусь: кресты.

Первый крест – наше последнее прощание: Блок, памятно, как кровь: это было и наше «прощайте» – последнее – русской земле. За Блоком Гумилев... Розанов, Брюсов, Гершензон, Сологуб, Есенин, Добронравов, Андрей Белый, а в прошлом году Кузмин, Горький, а вот и Замятина похоронили.

* * *

«Стоять – негасимую свечу», так в старину о канонницах, читают псалтырь, так мне сказалось о Замятине, о его словесной работе. Только Андрей Белый так сознательно строил свою прозу, а положил «начал» Гоголь – первый Флобер в русской литературе, а за Гоголем, за Марлинским, Слепцов...

* * *

Я лежал в жару. Только газета, перо и кисточка. В память Пушкина я хотел изобразить его сны – шесть снов;

рисованис помогает моему глазу различать в темноте сновидений чего не схватить словом, – а температура сочиняет краски. В сумерки мне сказали, что произошла «большая неприятность». Сказано было голосом, я знаю все его оттенки, и я почувствовал очень тревожное. Мысленно пронеслось: налог, молочница, газ, электричество – кому не должим!

«Е И. Замятин помер!»

* * *

В ту ночь: сижу на кухне у стола, а ко мне лицом, у плиты примостилась, подбородком на плиту и правую руку так, торчмя над головой держит, как кот лапу, когда ищется, но это была не канонница Нестерова, «негасимая свеча», белица «Лесов» Печерского, а очень худенькая, совсем еще подросток, костлявая, с неправильным лицом, я понимаю, нос переломан, и не прямо, исподлобья трудно – веки ее до кирпича воспалены – с болью смотрит на меня – – – – – – – – ...за пять лет заграничной жизни, – продолжаю о Замятине, – все он куда-то торопился... или это его «сценарии» отнимали все его время? – кинематографический сценарий! какое тут словесное искусство? и который и легче и в цель напишется у Осипа Дымова. Или хлопоты о устройстве своего по-французски, перевода? – Но до верхов все равно не добраться: подлинные словесные конструкции непереводимы, а архитектурными при ихнем-то богатстве, ведь мы на родине Буало, – не удивишь; «мысли» и «познание» – извороты и тайники человеческой души .. но надо что-то от Толстого, Достоевского или хотя бы от Салтыкова. Или надо было добиваться, поддерживать связи с их пустыми обещаниями и ожиданием – вроде миллионной лотереи – самообманом, «а вдруг да ..?» И вот все некогда.

И так мало было сказано за эти годы. И только раз на Марше д'Отей, на нашем базаре, я за картошкой, он с почты, и почему-то я стал говорить, вспомнив петербургское, о его рассказах, как хорошо он пишет: «...когда же заговорите своим голосом?» А хотел я сказать, и он понял, я хотел сказать, что во всех его прекраснейших строках я не чувствую музыки и надо что-то – – но что еще надо? – чтобы распечатать его сердце, – «когда же?» И он мне ответил: «будет», – и напомнил, что раз я его спрашивал и

теми же словами в Петербурге. И я подумал: нет, это у него не от математики

«Вы понимаете, откуда серебряная песня Гоголя, раздумная печаль у Толстого, огненная боль у Достоевского, тоска у Чехова» И вдруг я понял... мне почуялось· «будет», как сказал Замятин, но какой это был странный скрипящий голос, такие никогда не поют, я понял, что это она – с переломанным носом и торчащей, как лапа, рукой, с болью смотревшая на меня ... душа Замятина, и что больше никогда не «будет». И мне было трепетно смотреть на нее.

* * *

Оттого ли, что словесное Замятина так неразрывно с моим и наша общая любовь к русскому «старому пению» (потом уж я узнал: последнее, что унес он на тот свет, слышал незадолго до смерти, был Мусоргский), с Замятиным у меня связаны сны Сам он закрыт от этого мира, и не было у него двойной памяти

Когда я писал отчет о его «Огнях св. Доминика» (1920) – Замятин по природе не лирик, и только строитель, не мог создать трагического театра, – и вышло под оперу, я много об этом думал и мне приснилось. Я увидел одно из самых страшных по сказаниям: его видение было заслонено еще двумя, стоящими один за другим, и через их глаза я проник и увидел. в его глазах кипел нестерпимо щемящий огонь – это был «демон пустыни» – демон одиночества, беспризорности и отчаяния

В пасмурное петербургское утро похоронили Замятина.

Не пришлось проводить его на далекое кладбище, где хоронят русскую беспризорную бедноту Но мне казалось я все вижу, и под дождем и ветром мне очень зябко – я видел, как вынесли дощатый гроб, и я вспомнил Некрасова, нашу традицию и жестокую судьбу «сочинителя». И каким ненужным показался мне дурацкий кинематограф – работа последних лет Замятина; ведь дело его жизни, все эти словесные конструкции русского лада – это наше русское, русская книжная казна. И мастерство. Вы думаете, сел и написал, и напечатали, нет: взять готовый набор и рассыпать, и уж голыми руками за эти раскаленные добела буквы, чтобы закрепить из тысячи одно слово! И моя была

горстка земли в его могилу, мое последнее прощайте, мое признание за его труд, его работу и мастерство.

* * *

Замятин из Лебедяни, тамбовский, и стихия его отборно русская. Прозвище: «англичанин» Как будто он и сам поверил, – а это тоже очень русское. Внешне было «прилично» и до Англии, где он прожил всего полтора года, и никакое это не английское, а просто под инженерскую гребенку, а разойдется – смотрите: лебедянский молодец с пробором! И читал он свои рассказы под «простака».

Таким вот англичанином под простака я увидел его в день похорон: к книжной полке у окна он прислонился Видят его или нет, я не знаю, но я вижу. он в смокинге, глаза закрыты и лицо розоватое, очень чистое, и только руки, он описал их в «Мы», покрытые шерстью, висят. В комнате горит электричество. И вдруг, как механически, он опустился на пол, ноги, не разгибаясь, вытянулись и он сел. А вдруг поднялись мои «чудовища», фейрменхены в колпачках и цверги, сучки, рогатины и «потыкушки», и я заметил, он сделал так ртом. «Смотрите, он дышит!» Но в это время электричество стало гаснуть. «Я подолью!» не сказал я «керосина», но это понятно. А свет уже погас. И вошел Горький, узнать нельзя, как от куафера, эндефризабль, – такая африканская шевелюра. Я поздоровался. А он, не отвечая, и очень деловито ногой отпихнул моих цвергов, поднял Замятина себе на руки и понес под мышкой, как книгу.

*

Замятин не болтун литературный и без разглагольствования: за 29 лет литературной работы осталось – – под мышкой унесешь, на вес – – свинчатка.

В революцию стали поговаривать: справедливо ли литературные произведения на версты мерять? Но писатель по преимуществу болтун и на простой глаз чем толще книга, тем умнее, – – и в революцию ничего не вышло и, как прежде, – – гонорар рассчитывается по количеству типографских знаков Замятину не много перепало

Выступил Замятин впервые у Арцыбашева осенью 1908 г. в «Образовании». На год позже Пришвина и на шесть Андрея

Белого и меня Что это за рассказ, написанный по слову Замятина, «одним духом» во время экзаменов при окончании Политехнического Института, легко судить по редактору младенческое пристрастие к женской груди – повторяющийся и очень яркий образ у Замятина («Рассказ о самом главном», «Ёла», «Наводнение»), вот где его начало, а от стиля – Арцыбашевский прием под Толстого с бесконечным «потому что», «ужасно» – следов не осталось А стали знать Замятина с «Уездного» (1912), появившегося в майских «Заветах» 1913 г. у Иванова-Разумника.

Мартовская книжка «Заветов» 1914 г. была конфискована за повесть Замятина «На куличках». Цензура усмотрела обличение офицерства. Замятин не Куприн, знал военный быт со слов, и нечего искать в повести «этнографии», это было то же «Уездное» с введением «рефренов» из «Симфоний» Андрея Белого и известного приема «неоконченной фразы». Но для общей критики это не важно, важно было: конфисковано.

А покорил Замятин Горького «Островитянами», произвело впечатление· Англия. Что было английского в сатире, кроме туристических слов, не разбирались: Англия.

Замятин не революционер, никаких словесных прорывов и взлетов Андрея Белого; он оставался в круге «Уездного», облюбовывая каждый камушек и застраивая до сложнейшего «Мы» Высшее достижение словесного искусства: «Север» (1918), «Русь» (1923) и «Пещера» (1923). Но лучшим остается «Уездное».

*

«Стоять – негасимую свечу»... Канонница не только читала псалтырь, а и учила грамоте детей. В революцию славились: Гумилев и Замятин. Замятин учил прозе, и не один из современных писателей обязан его науке. Замятин незаменимый педагог, и если матерьял оказался неблагодарным, не его вина.

*

В революцию «Мы» (1920), Замятин блеснул своей математикой и своим Уеллсом – сатира на «Заветы принудительного спасения» «Островитян». А судьба «Куличек»· усмотрено было обличение, говоря «по-московски», вуль-

гарного социологизма и левацкого загиба, и это в таком словесном стальном переплете, неискушенному никак не добраться до уголька.

В революцию – театр, с ним Замятин приехал за границу «удивлять» Европу.

Трагедия «Атилла» (1928), о которой сам Алексей Максимович отозвался, как о «героической» – «высокоценная и литературно и общественно», получившая одобрение таких знатоков и ценителей литературного мастерства, как представители 18-ти Ленинградских заводов. Про которую сам Замятин пишет: «дошел до стихов, дальше идти некуда».

Занимаясь историей Атиллы, Замятин еще в России начал писать роман «Атилла»; кончена 1-ая часть.

*

Замятин помер от грудной жабы. Какое же огорчение забило удушием Замятина?

«Организована была небывалая еще до тех пор в советской литературе травля. Сделано было все, чтобы закрыть для меня всякую возможность дальнейшей работы. Меня стали бояться вчерашние мои товарищи, издательства. Мои книги запрещены были к выдаче из библиотек. Моя пьеса снята с репертуара. Печатание моих сочинений приостановлено. Последняя дверь к читателю была закрыта: смертный приговор опубликован. В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР. Если же я не преступник, я прошу разрешить мне вместе с женой, временно, хотя бы на год, выехать за границу – – чтобы я мог вернуться назад, как только у нас станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям...»

В La Revue de France 1936, VII Замятин в своей памяти о Горьком рассказывает, как благодаря Горькому получил он разрешение выехать за границу. Следует добавить, что Горький передал Сталину письмо Замятина.

*

И в третий раз я видел его во сне. Это когда я стал перечитывать его книги и думал, как напишу о нем.

Я его видел у калитки сада – чудесный сад! – и он был не тот затравленный, озирающийся, с запечатанным сердцем и запечатанными устами, каким он появился в Париже, а тот Замятин, каким пришел он к нам на Таврическую, после «Уездного». И я подумал тогда: «какой он умный!» И мы вошли в сад.

* * *

VI.

1. «Воистину»

Памяти В. В. Розанова
К 70-й годовщине со дня рождения
3.5–20.4.1856 (†1919)

Сегодня исполняется 70 лет со дня Вашего рождения, честь имею Вас поздравить, Василий Васильевич! В молодости я всё некрологи писал – – Ну, а как же! живым, известно: Бердяев, Щеголев, Луначарский, Савинков – – Никогда! Я ж не от худого сердца. Это кто в сердцах, тому и прет одна осклизлость в человеке, а в человеке, Вы это сами знаете, всегда найдется, отчего так хорошо бывает, весело! (в нашем-то печальном мире – весело!), другой и сам за собой не замечает, в мелочах каких-нибудь, или повадка. Раз как-то Пришвин помянул своего приятеля-земляка (из Ельца тоже и Ваш вроде как земляк) и вдруг так засиял – автомобильный фонарь! – и всем стало весело, а вспомнил он не «победы и одоления» приятеля, а про яйцо, как ловко приятель яйцо всмятку ел: «Ну так скорлупку содрал чисто, сдунул и все подъел начисто, замечательный человек!»

> А мне сейчас почему про яйцо – со стола они на меня глядят, яйца: и красные и синие и лиловые и желтые и зеленые и золотое и серебряное и пестрые – доверху корзиночка: сегодня второй день Пасхи[1]

А теперь я пишу не «некрологи», а память пишу усопшим. Крестов-то, крестов понаставили! И все тесней и теснее – и Брюсов «приказал долго жить», и Гершензон «обманул»: в прошлом году в Москве похоронили! и этот, помните, кудрявый мальчик – «припаду к лапоточкам бе-

рестяным, мир вам, грабли, коса и соха, я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе жениха» – Есенин. Я, Василий Васильевич, памятью за каждое доброе слово держусь – и мне это как свечи горят по дороге (и это мое счастье!), а должно быть, очень страшно брести последний путь – и одни пустые могилы – повторять во тьму: «люди – злые!» Нет, когда-нибудь соберу книгу – «Мое поминанье», все как следует, в лиловом или в вишневом бархатном переплете и золотой крест посередке, там соберу всех, все, что доброе запало, и «о упокой», и «о здравии». Время-то идет, давно ль все расписывались «молодыми писателями», а теперь, посмотрите· в этом году исполнилось 60 лет – Вяч. И. Иванову, Д. С. Мережковскому, Л И Шестову. Юбилей Л. Шестова справляли порусски – три вечера· на дому – литературное сборище, у С. В. Лурье – семейное, и третий вечер – философское: только философы. Бердяев, Вышеславцев, Ильин, Познер, Лазарев, Лурье, Сувчинский, кн. Д. С. Мирский, Федотов, Мочульский (Степун не приехал!), и только я не философ, я за музыканта: читал весь вечер – три часа без перерыва – «Житие протопопа Аввакума им самим написанное», самую жизнерадостную книгу, а на тему: путь к вольной смерти. А Вячеслав Иванович Иванов в Риме отшельником: поди, пришел сосед П. П. Муратов, поставили самовар, попили чайку с итальянскими баранками, спели орфические гимны, ушел Муратов «комедию» писать, а юбиляр засел за «римские древности» – познания всесветные! достойный ученик великого учителя Момзена.

> Дождика не идет, все деревья зеленые – три дня дождь! – закурил и домой не хочется, так бы все и шел – – вот она, какая земля! любимая! – – Вы не понимаете? – – А ведь как Вы здесь-то, как любили: каждый корешок, каждую каплю, вот с крыши на меня сейчас и еще.– это оттуда! Василий Васильевич! – «воистину!»

Жил в России протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Петров, 1620–1682), жил он при царе Алексее Михайловиче во дни Паскаля, когда Паскаль свои «Pensées» сочинял (1623–1662), и итог своих дел – это «житие им самим написанное» ума проникновенного, воли огненной (конец его – сожгли в срубе!), прошел весь подвиг веры и, страж-

да, на цепи и в земляной тюрьме долгие годы сидя, не ожесточился на своих гонителей «Не им было, а бысть же было иным!» А это называется не только что около своего носа... да с другого и требовать нельзя жизнь жестокая, осатанеешь! А как написано! Я и помянул-то протопопа «всея Росии» к слову о его «слове». Ведь, его «вяканье» – «русский природный лад» – и ваш «Розановский стиль» одного кореня Во дни протопопа этот простой «русский природный язык» (со своими оборотами, со своим синтаксисом «сказа») в противоположность высокой книжно-письменной речи «книжников и фарисеев» в насмешку, конечно, и презрительно называли «вяканьем» (так про собак: лает, вякает), как ваше «розановское» зовется и поныне в академических кругах «юродством». А кроме Вас, от того же самого кореня, Иван Осипов (Ванька Каин) и Лесков – про Лескова или ничего не говорили (это называется в литературном мире «замораживать»), или выхватывали отдельные чудные слова вроде: «жены-переносицы», «мыльнопыльный завод» и само собой, в смех, но и не без удовольствия, а самый-то склад лесковской речи, родной и Вам и Осипову и Аввакуму – да просто за смехом не вникали. В русской литературе книжное церковнославянское перехлестнулось книжным же европейским и выпихнулось литературной «классической» речью: Карамзин, Пушкинская проза и т д. и т д. (ведь и думали-то они по-французски!) и рядом с европейским – с «классическим стилем» «русский природный язык»: Аввакум, Осипов, Лесков, Розанов. И у Вас тоже есть – ваша книга «О понимании»: Вы тоже могли и умели выражаться по-книжному, как заправский книжник и фарисей, и очень ценили эту книгу, и Аввакум щеголял Дионисием Ареопагитом и легендарным римским папою Фармосом латинского летописца (знай наших!) Но в последние годы Вашей жизни на этой чудеснейшей земле то, что «розановский стиль» – это самое «юродство» – это самое «юродство» – это и есть настоящее, идет прямой дорогой от «вяканья» Аввакума из самой глуби русской земли. Сами Вы это знали ли? (Аввакум проговорился: «люблю свой русский природный язык», Лесков, должно быть, не сознавал, иначе не умалялся бы так перед Львом Толстым!) Помните, в Гатчине, как мы у Вас на даче-то ночевали, Вы с сокрушением говорили, что рассказов Вы писать не можете, – «не выходит». А Вам хотелось, как у Горького или у Чехова – у аккуратнейшего «без сучка и задоринки»

Чехова, которым упиваются сейчас англичане, а это что-нибудь да значит! и у Горького, который «махал помелом» по литературным образцам. Василий Васильевич, да ведь они совсем по-другому и фразу-то складывали – ведь в «вяканье» и в «юродстве» свой синтаксис, свое расположение слов, да как же Вы хотели по их, эка! Розанов – в форму чеховского рассказа! – да никак не уложишь и не надо. Их синтаксис – «письменный», «грамматический», а Ваш и Аввакума – «живой», «изустный», «мимический». Теперь начали это изучать, докапываться в России – там книжники и вся казна наша книжная! Но и среди русских, живущих за границей, есть та же дума. Сидит тут, в Париже, Федотов, ученый человек, Вашими книгами занимается, опять же Сувчинский Петр Петрович. А в этой самой Англии кн. Д. Святополк-Мирский – – да, да, сын Петра Дмитриевича, еще «весной»-то прозвали, благодаря ему нам разрешение вышло в Петербург до срока переехать, и с Вами тогда познакомились! – – А книг Ваших, Василий Васильевич, не видно; переиздали «Легенду о великом инквизиторе», изд. Разум, Берлин, 1924. Стр. 266. А мне попалось тут единственное, что по-французски переведено: Vassili Rosanov, «L'Eglise russe». Traduit avec l'autorisation de l'auteur par H. Limont-Saint-Jean et Denis Roche. Paris. Jouve et Cie Editeur, 1912 – p. 42. От ваших переводчиков получил. А в России – не в поре: «борьба на духовном фронте», и попади Вы в эту категорию «мистическую», ну Вас и изъяли – а уж про издание и говорить нечего. Только, думаю, этим немного возьмешь. Запрещенный-то плод сладок – тянет. По себе сужу, уж что ни сделал бы, а книжку достал, и всю б ее от доски до доски – – Василий Васильевич, какой собрался богатый матерьял в мире всяких глупостей и глубокомысленнейших, ну и несчастных! Война! – до сих пор не расхлебали. Конечно, во всем Божий промысел и дело не-человеческое – и «надо всему было быть, как было!» (Аввакум прав!), и не без «обновления жизни» такие встряски! но и правду сказать, и человек, «действующий элемент», постарался – поду-ровали! А теперь смотрите: и беды не обережься, и от беды не схоронишься –

– «Эй, дурачье, дурачье!»

А живи Вы тут – от сумы да от тюрьмы не зарекайся! – кто ж его знает, «борьба на духовном фронте!» – и угодили б Вы сюда с Бердяевым и Шестовым и были б мы опять соседями.

И скажу Вам, и из здешней «зарубежной русской жизни» был бы вам матерьял. Когда-то Вы писали, что «заработал на полемике с каким-то дураком 300 рублей», ну, 300 не рублей, а франков – ручаюсь! – было бы Вам к Пасхе Дождались мы Пасхи – а сколько было за зиму и болезни, и всего! – и там в России! Хотите, я вам расскажу старый один советский анекдот про Пасху? Больно он из всех мне запомнился, а вам, знаю, будет интересно –

. . . .

Действующее лицо: батюшка из тех, кого вы ни к Чернышевскому, ни к Добролюбову не относите, нет, другой породы – незатейливой («извините, с яйцами»)*, все эти попы Иваны и отцы Николаи, у которых одно лицо безвозрастное с бороденкой, и ходят они как-то, плечо опущено, и говорить «неспособны», а проповедь читает, бывало, по епархиальному листку, как поминанье без запятых и точек, сплошь без разбору. Так вот на Пасху в Москве у Гужона – рельсопрокатный завод (с детства помню, по вечерам из окна видно: полыхает зарево – Гужон – московская Бельгия) – устроили собрание с антирелигиозными целями от какой-то «безбожной» ячейки. Собралось народу видимо-невидимо – сколько одних рабочих на заводе! – тысячи. А выступал докладчиком сам нарком А. В. Луначарский. А видите ли, слыхал я ораторов: Федор Степун (во Фрейбурге под Дрезденом сидит), не переслушаешь или Виктор Шкловский (в Москве), такой отбрыкливый, ничем не подцепишь, а Луначарский – ну тот (собственными ушами слышал и не раз!) прямо рекой льется. И по окончании речи (часа два этак) выносится единогласно через поднятие рук резолюция, что ни Бога, ни Светло-Христова Воскресения нет и быть не могло, предрассудок. И тут же на собрании этот самый поп Иван ныряет: в оппоненты записался. «Да куда, говорят, тебе, отец, нешто против наркома! да и уморились канителиться». А ему – и Бог его знает, с чего это пристукнуло? – одно только слово просит. Ну, и пустили: «Слово – гражданину Ивану Финикову». И вылезает – ну, ей-Богу, Ваш, бессловесный, самый русский природный, без которого круг жизни не скружится, а чего-то стесняющийся, плечо набок – – «Христос Воскрес!» – и поклонился, так полага-

* Алексей Ремизов Кукха. Розановы письма Изд. З И Гржебина Б, 1923, стр 93 [Примеч А Ремизова – *Ред*]

ется на Пасхе, приветствие, как здравствуйте, трижды. «Христос Воскрес!» – «Воистину!» – загудело вподхват собрание, все тысячи, битком-набитый завод, Гужон с полыхающим вечерним заревом красных труб, московская Бельгия, – «Воистину воскрес!»

2. Выхожу один я на дорогу

(Розанов)

Розанов, исповедник пламенной веры в Вия, Пузырь и Тарантул – в их надзвездном цветении, представленном в высшем очаровании Гоголем в «Вечерах» и Толстым в улыбающейся Наташе и Катюше, у Достоевского, скрывшего под камнем на Вознесенском проспекте свою тайну, и всю жизнь ею промучившегося, у Достоевского, с его грозным отчаянием и мрачным восторгом, с его пронзительной тоской и чистосердечием, огненно и убежденно сказавшего трогательные строчки одним духом о Нелли-Матреше-Лизе из «Вечного мужа» и Соне, Розанову нечего было искать: эти «косточки» его не прельщали, разве что для «опыта». Розанов, отвернувшийся от Гоголя, проглядевший и подземную тайну «Вия» и кровную тайну «Страшной мести» и райскую тайну «Старосветских помещиков» и тайну слова Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и тайну наваждения «Вечеров», «Ревизора», «Мертвых душ», а возненавидевший за то, что Гоголь не женился – «в утробе матери скопцом зарожден!» – ничего не нашел другого, как отплеваться: «русалка, утопленница... проклятая колдунья с черным пятном в душе, вся мертвая и вся ледяная, вся стеклянная и вся прозрачная, в которой вообще ничего! Ничего!!!» Розанов, со всей горячностью своего вийного сердца, усвоивший стиль Лукьяна Тимофеевича Лебедева из «Идиота», с его толкованием апокалиптической звезды-Полыни, с его двойными мыслями о искреннейшем слове и деле и столь же искренней лжи и правде одновременно, с его молитвой за упокой графини Дюбарри, за ее последний «мизер», и, наконец, с его «связующей мыслью», нашел свою связующую для всей жизни и всего живого – «плод» и его производство, и высшую и единственную красоту – высшее и единственное очарование увидел в беременной женщине и вообще в плодоносящей твари, ведь звери ког-

да-то очень тесно жили с людьми, – старые звери, как старые турки, смотрели убежденно, внимательно и справедливо И этим Лебедевским стилем – петербургской приказной речи с паузами, подмигиваниями из-под очков, читай между строчек, написал – дело всей своей жизни – «семейный вопрос», и только потом схватился, что «семейный вопрос» не одно только благословенное утробное ношение и кормление грудью, а те самые дети, которые вырастут и начнут галдеть. «Дети – образ Христов, будущее человечество » (вот откуда Матрешино «Бога убила») – так, или и так – дети с их шелковыми мордочками и удивительно нежными ручками, еще не оторвавшиеся от духовного мира, еще не сказавшие «я есмь», есть образ Света (вот откуда «народ-богоносец»), Розанов согласен и тут у него этот Свет – Христос, не «ненавистный темный лик Голгофы, опечаливший землю», а Светло-Христово Воскресение, с весенними ручейками, с влюбленностью, разлитой в первом цветении земли. «Христос воскрес!»— древний русский обычай троекратного поцелуя не безразличного, радостного и обрадованного, всех принимающего, и тех, и этих, – обреченных, с затягивающейся петлей на шее, но все еще с крепко сжатыми руками: «Бог не допустит» – «Христос воскрес!» А насчет «будущего человечества» – какое оно – да лишь бы плодились, и все тут, и пусть это будет муравейник, дрожащая тварь, над которой кто смел, тот и съел «Да, это так. Это их закон. Не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит терять. Кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властен! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее. Так до сих пор велось, и так всегда будет». Розанов и с этим согласен, но это совсем не важно, какой подлец или какой мошенник цыкнет на муравейник. Вера и закон Розанова Вий, Пузырь, Тарантул в их надзвездном цветении, в их звездном небе, в их теплой парной земле, и единственная власть – высшее начальство лесной Вий – царь обезьяний Асыка, выскочивший из-под земли в Эдипову ночь и опьянивший одним своим дыханием все и всех, – валахтантарарахтарандаруфа! Розанов потом уж спохватился, что «семейный вопрос» без подрастающих детей невозможно и представить, а дети – ад, хоть из дому беги. «Если бы Василий Васильевич предста-

вил себе все, когда писал "Семейный вопрос".. а то ничего не знал!» (Слова Варвары Дмитриевны Розановой). И ведь каждый орет: «я есмь». «А кто это смеет, и что такое я есмь, – я, Розанов, я есмь! И больше никого. Никого!!!» После представления «Норы» Розанов искренне недоумевал: «почему же, когда все так хорошо кончилось, Нора ушла от мужа?»

А Розанов смел говорить «я есмь». Тайна, заваленная камнем на Вознесенском, прорвавшаяся в мышьем сне Свидригайлова, – трехступенном, по глубине как Гоголевский из «Портрета»; угрожающий сжатый кулачок повесившейся Матреши? Измученный взгляд Лизы в безумном страхе и с последней надеждой... нет, нет, нет, не насилие, насилие – борьба, а ведь тут восхищение, поцелун и .. «глупое лицо!» – неизбывная карающая память, такая у Настасьи Филипповны, в этом ее все горе, и эта «печать на душе» – Полина «следок ноги узенький и длинный, мучительный, именно мучительный» – эта Валковская – Свидригайловская – Карамазовская печать, от которой «идет в мире грех»; и эти гоголевские свиные рыла, обернувшиеся «глупыми звериными харями», стоит только чистосердечно признаться, и они обступят тебя, будут пялить на тебя свои буркалы, указывать пальцами – и мне перед ними виниться? – а какой стыд, но главное, подымут на смех, и этот стыд и всеобщий смех; ведь это все равно что старуху убил – вшу задавила вошь! – так и с лестницы на лестницу, загоня и загнали из комнат светло-голубого дома в подполье, а подполье (подлинно в «подсознании» – в этом духовном подполье!) из зеленой слизи, плесени и сыри открылся изумительно богатый мир, и так же неожиданно, как там откроется в вечности в единственной комнате – в той тóсветной закоптелой бане с пауками по всем углам; и что ведь оказывается, что какому-то там пауку – этой концентрации первострасти, сил всяких желаний, сока и круговорота жизни, – чтобы развесить и заплести свою паутину в светло-голубом доме понадобился Эвклид, а самого по себе никакого Эвклида нет и не было, и эта наша ясная трехмерная ограниченность такая чепуха, какую ни один чудак не выдумает, и еще оказывается, что пауки, по какому-то своему капризу – «разум служит страсти!» – могут нарушить всякий счет, и наше дважды два станет пресурьезнейшим всем, только не четырьмя, а незыблемый и несокрушимый

«четверной корень достаточного основания», смотрите, только труха, а незыблем и несокрушим лишь там в светло-голубом доме для тупиц и ограниченных – для всех этих творящих суд звериных харь ... и, вот из этого подполья – из паучиной вечности – из смертельно уязвленного человеческого сердца и поднялись слова – эти слова в первый раз после Иова зазвучали русским голосом на весь мир – слово Достоевского: «Если уж раз мне дали сознать, что "я есмь", то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять? Кто и за что меня после этого будет судить?» И из этого «Необходимого объяснения» Розанов многое повторял и под многим подписывался.

Я вспомнил Розанова, кого же и вспомнить, когда гремит весна и весь наш город, самый расчетливый, математический, пишет стихи, я вспомнил Розанова неповторяемого, единственного, самого по себе, с его папироской, которую и отпетый в гробу, подмигнув, закурил бы – «служба долгая, лежать неудобно, страсть покурить захотелось, а полагается или не полагается, к черту!» Я его вижу, как ходит он в этой весенней урчащей, прыскающей и хлюпающей гуще, подпрыгивает и лягается, сам с собой, так, просто обалдел, трезвенник, искренно сокрушающийся о выпивающих друзьях «несусветимого ума» и презирающий дурака-пьяницу, пьяный от «асычьего» черемушного воздуха; или как вкопанный стоит, обращенный туда в высь весеннего неба, никогда не различающий глаз у человека, а вот зачарованный мигающими звездочками, бормочущий без слуха и голоса –

Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит

А этот его бог – Вий, Пузырь, Тарантул ворожит над ним, брошенным в светло-голубой мир на землю, избранным, отмеченным рыжим знаком, с упорным черепом «человека» и неугасимо пышущим сердцем, где в каждой капельке крови «разожжен уголек», колдует над ним – семенящим, близоруким, без слуха и голоса, всеми горячими кровными словами всасывающим животворящую скользящую силу, расцветающую в влюбленной Вале, в ее голу-

бом, в ей посвященных стихах и во всех, во всех, во всех в нее влюбленных – серых, карих, светлых, зеленых, желтых и голубых. «Дура, – сказал бы Розанов, – чего же ты не выходишь замуж?» Или «почему не сходишься со всеми, кто тебя желает?» Он и еще что-то хотел сказать, да язык прикусил. «Черствое у тебя сердце, голубушка».

VII.

1. Из огненной России

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою
И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад

Бедный Александр Александрович!

Покинуть так рано землю, никогда уж не видеть ни вёсен, ни лета, ни милой осени и любимых белоснежных зим,

и звезд не видеть – сестер манящих – как только они нам светят!

Не видеть земли, без «музыки» – это такая последняя беда, и от этой беды не уйти –

а если вовсе и не беда, а первое великое счастье?

Но почему же для вас так рано?

Это я, еще бедующий здесь вместе с веснами и любимыми вьюгами и моей звездой серебряной, я стучу в затворенную дверь и не могу и никак не свыкнуться с этим вашим – счастьем.

В то утро – а какая ужасная была ночь – Лирова ночь! какой рвущий ветер и дождь,

ветер ввиил –

и сам щичавый зверь содрогнулся б!

ветер до – сердца!

В суровое августовское утро, когда покорные судьбе, в скотском вагоне, как скот убойный, мы подъезжали к границе, оставляя русскую землю, дух ваш переходил тесную огненную грань жизни и вы навсегда покинули землю.

И еще огонек погас на русской земле.

*   *   *

А в день похорон, когда вашу Трудовую книжку с пометкой –

литератор
грамотен
ПТО

дали в отдел Похорон, я свою, с той же самой пометкой и печатью, только нарядную, единственную, узорную по черному алым с виноградами, птичкой и знакомыми нумерами Севпроса, Кубу, Сорабиса, отдал в Нарве в отдел Пропусков.

Счастлив ли дух ваш?

Хоть на мгновенье вы обрадовались там – вы радовались за гранью этой жизни, этой бушующей л и р о в о й ночи?

Или вам еще предстоит встреча – счастливые дни?

А я скажу – про себя вам скажу – ни на минуту, ни на миг. И не жду.

Это такое проклятие – вот уж подлинное несчастье! – оставить родную всколыханную землю, Россию, где в бедующем Злосчастье наперекор рваной бедноте нашей, нищете и голи выбивается изумрудная молодая поросль.

Помните, в Отделе Управления мы толкались в очереди к Борису Каплуну: вы потеряли паспорт – это было вскоре после похорон Ф. Д. Батюшкова – и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибели на Острове без воды и дров – помните, вы сказали, поминая Батюшкова, что мы-то с вами —

– Мы выживем, последние, но если кто-нибудь из нас...

И я в глазах ваших видел, не о себе это вы тогда.

Бедный Александр Александрович – вы дали мне папиросу настоящую! пальцы уж у вас были перевязаны.

И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете.

– В таком гнете невозможно писать.

А знаете, это я теперь узнал за границей, что для русского писателя тут, пожалуй, еще тяжче, и писать не то что невозможно, а просто нечего: ведь только в России и совершается что-то, а тут – для русского-то – пустыня.

Уйти временно в пустыню, конечно, для человека полезно, в молчании собрать мысли – ведь нигде, как в пустыне,

рение и чувства остры. – Гоголь уходил в римскую пустыню для «Мертвых душ». Тоже и поучиться следует, на старых-то камнях – «одним хоботом мазать невозможно», – правильно Толстой заметил, Алексей Н Только вот насчет прокорму – писателям и художникам везде приходится туго! – надо какую-то работу, а всякая посторонняя работа, вы-то это хорошо знаете, засуетит И выйдет то же на то же. И если судьба погибнуть, так уж погибать там у себя на миру в России.

* * *

Это хорошо, что на Смоленском – и проще и несуетно – и никто-то вас не тронет, не позарится на вашу домовину, и Горького не надо просить, беспокоить.

Помните, как вас из вашей-то насиженной выгнали?

А может быть, и там ваша душа проходит еще злейшие мытарства? И эта жизнь – четырехлетний «опыт социального переустройства» – ясно говорившая вам уж одним своим началом всеобщего уравнения, когда вы, недоумевая, спрашивали, «нужны мы или не нужны?» – да, конечно, такие не нужны, эта жизнь, прицепившая к вам бестий ярлычок «буржуазного поэта» – изобретение всеупрощающее, подхваченное умом не очень взыскательным и отнюдь не беспокойным, а также примазавшейся «шкурой» и прихвостившейся мразью, загнавшая нас в третью категорию со всякими трудовыми повинностями – сгребать снег на мостовой, сколка льда, разгрузка барок с дровами, чистить загаженные дворы, эта жизнь, которая не давала вам никакой воли, заставляя вас, как всякий, служить и, как все, без конца учитывая, регистрируя и заставляя заполнять анкеты, а за каждую милостыню – ведь ученые, писатели и художники это вытянувшийся дрожащий хвост нищих на паперти Коммуны! – за каждый брошенный кусок и льготу (право «просачиваться!») тыча вас носом, как кошку, и не однажды честившая вас, как ломового извозчика.

«Мы художники-писатели, а с нами обращаются, как с ломовыми извозчиками!» говорили вы в гневе, и наконец, отнявшая у вас досуг и «праздность», эта наша переустраивающаяся русская жизнь, искалеченная войной и войнами, и вот доконавшая, покажется вам легким сном?

Я верю, за ваше слово, за «музыку» и там, в норах и канавах – в безнадежном томящем круге, в кольце ожесто-

чившихся стражей, и там найдутся, кто станет за вас, и там найдется свой – Горький.

Впрочем, что это я – это я все о «гнете» – горькое слово ваше запало! – это я по-русски, – а ведь было и совсем другое! – по закоренелому нашему злопамятью –

И знаете, Александр Александрович, да это вы знаете, и это говорю я не для пуга, не всегда-то Горький и Марья Федоровна могут перед своим уходом из ПТО какую она мне подпись подписала под прошением в Петрокоммуну царскую, а все-таки отказали, и уж в Ревеле в довоенной рвани с вокзала я каблук в руке нес.

И Гумилева – расстреляли! – Николай Степанович покойник теперь – и Горький не всегда может, стало быть.

* * *

Да, хорошо, что на Смоленском –

Федору Ивановичу, хоть и обидно – помните покойника Ф. И. Щеколдина, любил он вас! – это когда с Гороховой-то нас выпустили, он вскоре и помер, на советских мостках в Александро-Невской Лавре лежит, – ну, Федор Иванович поймет.

Я. П. Гребенщиков и его сестры, они на Острове, соседи наши, от них до Смоленского два шага, они-то уж как будут могилу вашу беречь, знают там каждый холмик, придут и на Радуницу – красное яичко принесут, похристосуются, и на зеленый Семик, и на Дмитровскую субботу. Гребенщиков – книгочий, всякую вашу книгу имеет и на иностранном, он один такой в Петербурге, он и могилу не оставит, «князь обезьяний».

А ваш обезьяний знак, Александр Александрович – его ни в какой отдел не потребуют – забыл я, с чем он – картинка – с каким хвостом или лапами? – у П. Е. Щеголева с лапами гусиными и о трех хвостах выдерных.

И вам будет легко лежать в родной земле.

Мы тоже коробочку взяли с русской землей.

Глаза ваши пойдут цветам,
кости – камню,
помыслы – ветру,
слово – человеческому сердцу.

* * *

Бедный Александр Александрович!

Все никак не могу убедить себя, что вас уж нет на свете

Вот тоже когда Щеколдин помер, я тоже долго не мог: схвачусь и все будто папиросу ищу – сам курю и ищу, как в бестабашье.

Передали ли вам мое последнее слово?

– Что ж сказать Блоку?

А я точно испугался – чего-то страшно стало – не сразу ответил.

– А скажите Блоку. нарисовал я много картинков, на каждую строчку «Двенадцати» по картинке.

Пусто и жутко было в моей комнате пустые полки, и игрушек не было, пустая зеленая стена с серебряными гнездышками, и ваша «ягиная черпалка» – помните, на Островах нашли? – убралась в жестяную довоенную коробку из-под бисквитов вместе с «гребнем ягиным», и только огонек перед образом неугасимый светил, как всегда, в последнюю ночь, разбирали последнее, как после похорон.

– А это значит, – объяснил я, – за эти три месяца я думал о нем.

Евгения Федоровна Книпович так и обещалась передать.

А незадолго перед тем заходил к нам Евгений Павлович Иванов – и каждый вечер друг единственный – он, как всегда, вошел боком и, стоя, завели разговоры, без слов, больше мигом, ухом и скалом, вас поминали и, как Чучела-чумичела и кум его Волчий хвост –

«шептались долгое время».

Евгений Павлович тоже кавалер обезьяний – с лягушачьим глазом и хвостом рогатого мыша! – с Гребенщиковым снюхаются и пока живы, бородатые, один рыжий, другой черный, как бесы из «Бесовского действа», дико козя бородами, станут на страже, не покинут вашего Креста.

* * *

Трижды вы мне снились.

Два раза в городе рыцарей – в башенном Ревеле и раз тут в зеленом Фриденау, в Фремденхейме Фрау Пфейфер, над Weinstube, по-нашему над кабаком.

Видел вас в белом, потом в серебре и я пробуждаюсь с похолодевшим сердцем. А тут – над Weinstube – вы пришли совсем обыкновенным, всегдашним, и мне было совсем не страшно. Я вас просил о чем-то, и вы, как всегда, слушая, улыбались – что-то всегда было чуднóе, когда я говорил с вами.

Из разных краев, разными дорогами проходили мы до жизни и в жизни, по крови разные – мне достались озера и волшебные алтайские звезды, зачаровавшие необозримые русские степи, вам же скандинавские скалы, северное небо и океан, и недаром выпала вам на долю вихревая песня взбаламученной вздыбившейся России, а мне – погребальная над краснозвонной отошедшей Русью.

Где-то однажды, а может, не раз мы встречались – на каком перепутье? – вы, закованный в латы с крестом, я в моей лисьей острой шапке под вой и бой бубна – или на росстани какой дороги? в какой чертячьей Weinstube – разбойном кабаке? – или там – там на болоте –

И сидим мы, дурачки,
Нежить, немочь вод.
Зеленеют колпачки
Задом наперед.

Судьба с первой встречи свела нас в жизни и до последних дней.

И в решающий час по запылавшим дорогам и бездорожью России через вой и вихрь прозвучали наши два голоса России –

на новую страдную жизнь
и на вечную память.

* * *

Никогда не забуду, он был, или не был,
Этот вечер: пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре – фонари – –

1905 год. Редакция «Вопросов Жизни» в Саперном переулке. Я на должности не канцеляриста, а Домового – все хозяйство у меня в книгах за подписями (сам подписывал!) и печатью хозяина моего Д. Е. Жуковского, помните, «высокопоставленные лица» обижались, когда под деловыми

письмами я подписывался «старый дворецкий Алексей». Марья Алексеевна, младшая конторщица, убежденная, что мой «Пруд» есть роман, переведенный мною с немецкого, усомнилась в вашей настоящей фамилии:

– Блок! псевдоним?

И когда вы пришли в редакцию – еще в студенческой форме с синим воротником – первое, что я передал вам, это о вашем псевдониме.

И с этой первой встречи, а была весна петербургская особенная, и пошло что-то чуднбе, что-то, от чего, говоря со мной, вы не могли не улыбаться.

Театр В. Ф. Коммиссаржевской на Офицерской с вашим «Балаганчиком» и моим «Бесовским действом» – Вс. Мейерхольд – страда театральная.

«Неофилологическое общество» с Е. В. Аничковым – весенняя обрядовая песня и ваше французское средневековье. Вечера у Вяч. Иванова на Таврической с вашей «Незнакомкой» и моей «Калечиной-малечиной» посолонной.

1913 год. Издательство «Сирин» – М. И. Терещенко и его сестры – канун войны, когда мы встречались всякий день и еще по телефону часовали. Вы жили тогда на Монетной, помните Острова, помните двугривенный, ведь я отдал его последний! – как вы смеялись, и после, еще недавно, вспоминая, смеялись.

Р. В. Иванов-Разумник – «Скифы» предгрозные и грозовые.

1918 год Наша служба в ТЕО – О. Д. Каменева – бесчисленные заседания и затеи, из которых ничего-то не вышло. И наша служба в ПТО – М. Ф. Андреева – ваш театр на Фонтанке, помните, вы прислали билеты на «б. короля Лира».

Комитет «Дом Литераторов» с А. Ф. Кони под глазом Н. А. Котляревского.

И через четырехлетие «Опыта» Алконост – С. М. Алянский, «волисполком обезьяний», мытарства и огорчения книжные, бесчисленные, как заседания, прошения Луначарскому, разрыв и мировая с Ионовым.

Помните, на Новый год из Перми после долгого пропада появился влюбленный Слон Слонович (Юрий Верховский) – вот кому горе, как узнает! – ведь вы первый в «Вопр. Жиз.» отозвались на его стихи слоновьи, на «Зеленый Сборник», в котором впервые выступил Слон с М А Кузминым и Менжинским.

Помните, Чуковские вечера в «Доме Искусств», чествование М. А Кузмина, «музыканта обезьяньей великой и вольной палаты», и наш последний вечер в «Доме Литераторов» – я читал «Панельную сворь», а вы стихи про «французский каблук», домой мы шли вместе – Серафима Павловна, Любовь Александровна и мы с вами – по пустынному Литейному, зверски светила луна.

Февральские поминки Пушкина – это ваш апофеоз

И опять весна – Алконост женился – растаял Невский, заволынил Остров, восстание Кронштадта, белые ночи.

Первый день Пасхи – первая весть о вашей боли.

И конец.

Глаза ваши пойдут цветам,
кости – камню,
помыслы – ветру,
слово человеческому сердцу.

* * *

Странные бывают люди – странными они родятся на свет, «странники»!

Лев Шестов, о нем еще с Петербурга, когда он начал печататься в Дягилевском «Мире Искусства», пущен был слух как о забулдыге – горьком пьянице А на самом-то деле, – поднеси рюмку, хлопнет и сейчас же песни петь! – трезвейший человек, но во всех делах – оттого и молва пошла – как выпивши

Розанов В В., тоже от «странников», возводя Шестова в «ум беспросветный», что означало верх славословия, до того уверился в пороке его винном, всякий раз, как ждать в гости Шестова, вином запасался и всякий раз, угощая, не упускал случая попенять, что зашибает.

А настоящие люди – ума юридического – отдавая Шестову должное, как книжнику и философу, в одном корили, что водится, деликатно выражаясь, со всякой сволочью, куда первыми входили мы с Лундбергом, и все приписывалось «запойному часу» и по «пьяному делу».

А дело-то, конечно, не в рюмке – это П. Е Щеголев не может! – а если и случалось дернуть и песни петь, что ж? и какой же это человек беспесенный? – дело это такое, что словами не скажешь, оно вот где.

А бывают и не только что странные .. Андрей Белый –

Андрей Белый вроде как уж не человек вовсе, тоже и Блок, не в такой степени, а все-таки.

Е В Аничков это заметил

«Вошел ко мне Блок, – рассказывает Аничков о своей первой встрече, – и что-то такое ..»

А это «такое» и есть как раз такое, что и отличает нечеловеческого человека.

Блок был вроде как не человек.

И таким странным – дуракам – и как не человекам дан великий дар: ухо – какое-то другое, не наше.

Блок слышал музыку.

И это не ту музыку – инструментальную – под которую на музыкальных вечерах любители, люди сурьезные и вовсе не странные, а как собаки мух ловят, нет, музыку.

Помню, в 1917 году после убийства Шингарева и Кокошкина говорили мы с Блоком по телефону – еще можно было – и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем ужасом слышит он – музыку, и писать пробует.

А это он «Двенадцать» писал.

И та же музыка однажды, не сказавшаяся словом, дыхом своим звездным вывела Блока на улицу с красным флагом – это было в 1905 году

Из всех самый крепкий, куда же Андрей Белый – так, мля газообразная с седенькими пейсиками, или меня взять – в три дуги согнутый, и вот первый – не думано! – раньше всех, первый, Блок простился с белым светом

Не от цинги, не от голода и не от каких трудовых повинностей – ведь Блоку это не то что мне, полено разрубить или дров принести! – нет, ни от каких неустройств несчастных Блок погиб, и не мог не погибнуть.

В каком вихре взвихрилась его душа! на какую ж высоту! И музыка ..

– Я слышу музыку, – повторял Блок.

И одна из музыкальнейших русских книг «Переписка» Гоголя лежала у него на столе.

Гоголь тоже погиб – та же судьба.

Взвихриться над землей, слышать музыку, и вот будни – один «Театральный отдел» чего стоит! – передвижения из комнаты в комнату, из дома в дом, «реорганизация на новых началах», начальник-на-начальнике и – ничего! – весь Петербург, вся Россия за эти годы переезжала и реорганизовалась

С угасающим сердцем Блок читал свои старые стихи.

«В таком гнете писать невозможно».

И как писать? После той музыки? С вспыхнувшим и угасающим сердцем?

Ведь чтобы найти слово и выразить чувство, надо со всем железом духа и сердца принять этот «гнет» – Россию, такую Россию, какая она есть сейчас всю до кости, русскую жизнь, метущуюся из комнаты в комнату, от дверей к дверям, от ворот до ворот, с улицы на улицу, русскую жизнь со всем дубоножием, шкурой, потрохом, орлом и матом, а также с великим желанным сердцем и без-условной свободной простотой, русскую жизнь – ее единственную огневую жажду воли.

Гоголь – современнейший писатель – Гоголь! – к нему обращена душа новой возникающей русской литературы по слову и по глазу.

Блок читал старые свои стихи

А читал он изумительно: только он один и передавал свою музыку И когда на вечерах брались актеры, было неловко слушать.

Ритм – душа музыки, и в этом стих

Стихи не для того, чтобы понимать, их и не надо понимать, стихи слушают сердцем, как музыку, а актеру – профессиональным чтецам – не ритм, выражение – все, а выражение ведь это для понимания, чтобы, слушая стих, лишенные «уха» мух по-собачьи не ловили

Про себя Блока будут читать – стихи Блока, а с эстрады больше не зазвучат – не услышишь, если, конечно, не вдолбят актеру, что стих есть стих, а не разговоры, а безухий есть глухой

У Блока не осталось детей – к великому недоумению и огорчению В. В. Розанова[1] – но у него осталось больше и нет ни одного из новых поэтов, на кого б не упал луч его звезды.

А звезда его – трепет сердца слова его, как оно билось, трепет сердца Лермонтова и Некрасова – звезда его незакатна

И в ночи над простором русской земли, над степью и лесом, я вижу, горит.

2. Десять лет

Десять лет со смерти Блока – срок столетия. Годы с 1917-го идут не дневными шажками, а десятилетиями, время подкатывается вихрем. Вихрь, унесший Россию, вьется над побережьем Океана, и здесь, на старых камнях, каким трудом сложившаяся жизнь хряснула. И в такие тревожные кануны десятилетие – этот вековой срок – историческая проба и испытание. И разве не ясно в десятилетнюю память и сказать неправду: как крепко и громко через свист вихря имя Блок. И я скажу: говорить можно о России и под знаком Блока. И это удел немногих.

Через десять лет странствования – а я только так и могу говорить, потому что день смерти Блока – это тот день, когда мы ступили на чужую землю, в этом наша общая судьба: расстаться с Россией... через годы «пустыни», дней молчания и труда, выступает передо мной лицо человека с упорными беспощадными глазами, человека, окаменелого в том твердом убеждении, которое движет горами, он смотрит, не закрывая глаз, на это пенящееся, булькающее, гоняемое, гонимое и встряхиваемое вихрем, на эту вздыбившуюся жалкую жизнь бунтующего человека, а бунтует человек, когда... «больше так жить невозможно!» – и то же лицо человека, с глазами, погруженными в слух, туда, через «черное, черное небо» в бушующее судьбинное. А смотреть так беспощадно и «убежденно», окаменев, когда с чистым дуновением человечески-из-человеческих пожеланий подымается смрад и струями ползет дрянь, может человек не от бесчувствия, а от потрясенной совести: «невыносимо вопиет поруганная жизнь, и другого исхода нет!» – а слушать, обращенному туда, за череп «Черного, черного неба», может только человек по врожденному страшном дару «слуха».

Одни люди родятся уверенные, безмятежные и самодовольные (по Достоевскому, это «деятели» – тупые или отупелые), и другие – никогда не успокаивающиеся и с обнаженной совестью (по Достоевскому, это – «мышь»). Из встреч за все мои годы, а меня не обездолила судьба, я знаю только двух с такой обнаженной совестью и с таким беспокойством, и один из них Блок.

«Человек, никогда не меняющий своих мнений, подобен стоячей воде, и в мыслях своих рождает гадов» (Блейк) –

и как завидна, какой покой, такая жизнь человека; но у «имеющего внутрь бурю», в неумиренности, с надрывающимся сердцем – какая тягчайшая доля!

За год до смерти Блока, в мае 1920, на моем «чтении» – я читал главу из моей «Плачужной канавы», где вновь, после «Крестовых сестер», через десять лет, я спросил себя: «что есть человек человеку?» И ответил: «Человек человеку бревно.. нет, человек человеку подлец». И еще спросил себя, вдруг вспомнив все-то до последних дней моей жизни и оглянув жизнь в эти наши жгучие бедовые годы, и ответил: «Человек человеку дух утешитель». И из всех, кто слушал чтение, никто так горячо не отозвался, как Блок: «Я уж и не знаю, что еще можно сказать». И это осталось у меня в памяти – не за себя, а за Блока.

И еще, я это тоже запомнил· прощальное – последнее наше выступление. В марте 1921 года, на общем последнем чтении я читал из начатой в то время «Взвихренной Руси» рассказ «Находка»: не подлец, никакой «злодей» герой моего рассказа, а «шут гороховый» – трагикомедия из «мизерной» жизни нового складывающегося головокружительного быта, и смех был последним общим словом. Пересмеявшись, Блок читал свое:

Да, так любить, как любит наша кровь –
Никто из вас давно не любит...

Блок еще мог смеяться, так еще далек был от надвигавшейся роковой беды, придет через два месяца: 1 мая возвращение из Москвы – совсем больной – и затвор до смерти. Май, июнь, июль и семь дней августа – агония.

Блок умер 7 августа, в день св. Гаэтана – имя из «Розы и Крест».

Блок умер, потому что умер. Срок жизни его был отмерен. Должен был и не мог не умереть. И мучения его были безмерны. (Сердце). В его смерти было роковое, как в смерти Пушкина, Лермонтова и Гоголя.

Есть тайна «слуха», а дар «слуха» тоньше и выше дара «зрения». Но этот дар «внутреннего слуха» так не проходит: что-то, как-то и когда-то случится, и вот – человек пропал. Я это говорю, раздумывая о судьбах, не вровень с обыкновенным, по невольным признаниям в предании или в оставленных книгах.

Я не могу говорить о Блоке: и через десять лет – через этот «век» – я живо чувствую его живым, со мной всегда

кротким, и его улыбку Круг с каждым годом теснее. И память о тех, с кем прошла жизнь, и кто уже больше не скажет, крепка.

3. По серебряным нитям

(Лития)

Наше крепкое день-изо-дня, много лет, и кануны и «взвихренная», наше неисчерпаемое кончилось. И серебряные нити моих сонных мыслей вдруг рассеялись

«Умер Блок».

Серафима Павловна заплакала.

Ее горячие, ее пламенные слезы – больно человеку глядеть, и зверь различит эти слезы. Породы каменной, колыбель моя – кремлевские стены, вся Москва – мне тын, и на огне моя душа раскалена звенит, окаменеваю

7-го августа Блок покинул землю И в то же самое утро – 7-го – «утро туманное, утро седое» – на рубеже мы прощались с русской землей. Блок в путь «всея земли», наша дорога в чужие – и среди своих и среди языка чужого

Со всей болью моей – горючим камнем – перед неизбежным: так оно и должно было быть, что было – «до самыя смерти».

На чужой земле похоронил я Серафиму Павловну – ее живую, глубокую, необозримую память· весь Блок. И мне, полуслепому, никто уж не напомнит любимое – стихи Блока

Я говорю о земле: чужая – но разве земля чья? Тяжелые, напоенные кровью, «свое» и «чужое» – это проклятие, эти крепости· на ногах огибни, на руках наручи, на шее цепь. . но живому, и разве отымусь от оков, расставаясь?

> «Я затеплю лампаду моей страдной веры, буду долгими ночами трудными слушать твой голос, сокровенная Русь моя, твой ропот, твой стон, твои жалобы».
>
> («Взвихренная Русь»)

Русский, с годами еще руше, я спрашиваю из моего затвора: заговорит ли Россия по-русски?

А вы, Александр Александрович, вспоминаете Россию?

Часто за эти годы, посмертные, снился мне Блок. А что, как не сон, единственная у нас, живых, связь с тем миром? По желанию только в «Тысяча-и-одной ночи» сны снятся, сны не прошены, не зованы, они сами приходят

Вы приходите ко мне по серебряным нитям так же легко и воздушно, как сильфы с трепетом, голубое, и детской улыбкой. Конечно, вы вспоминали Россию и не раз и никогда ее не забудете – через меня вспоминаете там горячо и всецело люблю настоящую, прошедшую и будущую Русь.

Гость или изгнанник. Гадаю. Нет, тут мы с вами поразному.

Про себя хочу думать, я гость в этом чудесном мире – его, горечью отравленное счастье, и его, мне особенно по душе, «бессмыслица» и «без-образие», и я не какой-нибудь гость выдающийся, но и не такой, «которого не велено пускать»: с «подстриженными» глазами кротом тычусь, при свете мне очень неловко, и никогда за всю мою жизнь не приходилось присесть к столу по-человечески Слава Богу, нынче мне ничего, пока что, а то, нищетой забит, спички считал и лаялся. Александр Александрович, про это я с вами, чего вы не знаете, разговариваю. Тоже все ваши стихи переслушал, носом клюя, ничего не поделаешь, не сердитесь.

А вот Блок не гость, Блок – изгнанник. За какой грех или за какое преступление? В «Красной свитке» черта выгнали из пекла «пожалел» – там это не годится, а Блок – не из пекла, и всю-то жизнь в чем-то винился

Заклейменные, как и его брат Бодлэр, как Гейне – которого так любил, и на земле жизнь свою он мучил. Боль – ее не скроешь, и тоска, пронизывающая стих, и это пение (пускай цыганское!) – напев подгудных песен отмеченного судьбой.

И какая потерянность среди людей. И только впьяне можно еще как-то осмелеть и, смотря в глаза, ответить, не спотыкаясь, хотя бы и не то.

Блок заболел весь, «всем человеком», как Аполлон Григорьев. С Блоком много сходства, даже внешне, только Блок без голоса, а Григорьев под гитару пел свою Венгерку. «Две гитары, зазвенев, жалобно завыли. » (Воспоминания Фета). Впрочем, один конец. срок отбыл, собирай вещи и домой, живо! Блок обрадовался, заспешил, тут ему и дух вон. И понесет он только свою совесть – совесть, говорят, надо проверять разумом, а какая ж там логика! – совесть наша не легкая.

А помните, Александр Александрович, в такой же затаенный, как сейчас, без солнца и без грозовых туч, теп-

лый, серый летний день, бродя по опустелому Парижу, мы зашли в Сорбонну и по пустым залам ходим – и с тем же благоговением, неизбывным для Достоевского на всю жизнь· «старые камни Европы» и «дорогие могилы». Мы ступали по следам Петра, Тредиаковского, Кантемира, Фонвизина, Карамзина, Тургеневых, Гоголя, Герцена, Погодина, Шевырева, Хомякова, И. С. Аксакова, Аполлона Григорьева. Мы – только «странники с русской земли». Странником с русской земли так и живу, и никогда не догадаться, что здесь из моего по сердцу, говорю и отвечаю втемную, простой народ меня, «гулящего», принимает за китайца: «забеглый Китай», фамилия трудно выговаривается. Но ваше имя всеми буквами прозвучало по-французски нынче, на русского Купалу, здесь, в единственном городе, Париже, в единственной Сорбонне, как свое, и среди теней Сорбонны я различаю вашу тень – Шатобриан, Ламартин, Гюго, Мюссе, Верлен... а слова о вас – Sophie Bonneau «L'univers poétique» – венок на ваше измученное сердце

В ту ночь – Купальская – после волшебного дня «мировой поэзии» серебряные нити – мои сонные дороги увели меня далеко и я очнулся под Москвой в Звенигороде. В детстве не раз стоял я там, на лугу у леса, и вот опять глазами к тихим полевым цветам. И все это живое пестрое тянется ко мне, выговаривая тонко-цветно, по-цветочному И потому что я один, я понимаю, но ответить не могу. Пасмурный день сторожит меня кукушкой. И такое чувство – я, как тот пустынник, заслушался, птичка поет, думал, с час, а прошло тысяча лет.

И какой бедной глянула на меня моя нарядная цветная, вся в серебре, стена – кукушка не кукует – за окном в гараже зудит автомобиль, и только книги – мой пасмурный день.

Александр Александрович, какие мы за эти годы! ошеломила ли, душу изводящая, тревога или непоправимое – утрата – злее совести? Слова стерты, куцы или топор, сказки забыты, и только все около носа без всякой дали – и разве неисследимая жизнь так убога? В серебряные нити снова вломились тугие мысли дня – сон без сновиденья

Александр Александрович, если бы вы знали, как я радуюсь всякому с воли залетевшему листку, всякой зелено-

глазой травке – пусть на ногах занесли, всякому теплому перышку, всякой игре волны – морской раковинке; и какое счастье на лице человека встретить детскую улыбку. Я вас всегда помню.

VIII.

1. Салтыков-Щедрин

Крылатые и меткие слова Салтыкова-Щедрина вошли в обиходную русскую речь подобно острословиям из Горя от ума Грибоедова и Ревизора и Мертвых душ Гоголя. Целое поколение – эпоха Достоевского и Толстого – зачитывалось сатирическими фельетонами Салтыкова. Его двойное имя: собственное – Салтыков, и Щедрин – псевдоним, – стало символом попадешь на зубок, отбреет, не поздоровится, а известно, как имена: Толстой и Достоевский. Но едва ли много читаются щедринские сатиры: трудно – уж очень внешне все изменилось, а эзоповская речь, маска цензуры, иносказательная, особенно полюбившаяся, как занимательная головоломка, не только трудна, но и темна, а темь источник скуки. Но пристрастившись, невольно начинаешь мерить на свой аршин, на современность – и канувшее подымается, как настоящее: да, все изменилось, но человеческие мелкие страстишки и то, что по-русски называется «мещанство» с его «умеренностью» и «аккуратностью», с его бескрылой серединой и исходящей из «середины» жестокостью, неистребимо и выроживается совсем неожиданно и в том, где и не гадаешь, потому что только *человек пропадает*, а люди – *люди неизменно продолжаются*, меняя лишь одежду и имена.

В самой природе вещей безобразие: в человеческих отношениях и поступках скандал.

Достоевский проник и разглядел эту трагическую завязь и в Карамазовых возвращает «билет» на свободный пропуск в скандальную жизнь. Щедрин – у него глаз на человеческие извороты. на житейские сделки, плутню и самодовольство, беспощадное хотя бы к тому, кто на дороге чуть повыше или как-то по-другому, не похоже; Щедрин в

своих сатирах показывает в смешном виде всю эту мещанскую чинность и благолепие.

А между тем, сколько[1] – живут-и-поживают, ничего не замечая, или приспособившись, терпят. Но бунтующее сердце – Достоевский! – у Достоевского его «трагедия» заканчивается вызовом Кириллова в Бесах: сметь победить боль и страх и стать Богом; а в Преступлении и наказании – озаряющим вольным страданием Раскольникова наперекор всепроникающему Тарантулу, привидевшемуся во сне Ипполиту в Идиоте. И то же неуспокаивающееся сердце – Щедрин! – у Щедрина его сатира: высмеять и обличить и может быть, поправить, иначе дышать нечем или, словами Щедрина: «мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положила начало тому злому недугу, с которым я сойду и в могилу». И как в «трагедии» Достоевского, так и в «сатире» Щедрина – вера в человека, исходящая из сердца «самосознающего» человека, вера, которая чудесно скажется у Толстого, торжественно у Горького и оттенит печалью у Чехова.

* * *

Михаил Евграфович Салтыков из родовитой помещичьей семьи Тверской губернии родился в 1826 г. – старше на два года Толстого и на пять моложе Достоевского. Ученье прошло – сначала в Москве, потом в Царскосельском Лицее, где учился Пушкин и хранилась его традиция: лицеистом Салтыков писал стихи. По окончании Лицея поступил в канцелярию Военного министра. Время было суровое – царствование Николая Первого, а для таких, как Салтыков и его товарищи – беспросветно жестокое. «В России, вспоминает Щедрин, мы существовали лишь фактически, но духовно мы жили во Франции, мы с неподдельным волнением следили за перипетиями драмы последних двух лет царствования Луи-Филиппа и с упоением зачитывались Историей десятилетия Луи Блана. Луи-Филипп, и Гизо, и Дюшатель, и Тьер – все это были как бы личные враги, успех которых огорчал, неуспех – радовал». Стихи больше не писались, но литераторство притягивало. Еще в Лицее были прочитаны запрещенные Луи Блан, Фурье и Сен-Симон: они и направили его мысли.

Первое выступление в литературе – отзывы о книгах в «Отечественных Записках», в отделе, которым заведовал Белинский, а затем в тех же «Отечественных Записках» первая повесть *Противоречия* (1847), написанная под явным влиянием Жорж Санд: ее Indiana, Valentine, Jacques. И в следующем году – вторая повесть *Запутанное дело* (1848) – в ней, кроме Жорж-Санд, голос Гоголя и Достоевского. *Бедных людей* Достоевского, вышедших из *Шинели* Гоголя Повесть проникнута сочувствием к «униженным и оскорбленным».

Сочувствовать «униженным и оскорбленным»... но ведь это значит и осуждение и вызов тому общественному строю, в котором этим «униженным и оскорбленным» выдан «билет» благоденствовать.

Февральская революция 1848 г. решила его судьбу.

«Громадность события, вспоминает Салтыков, на все набрасывала покров волшебства. Франция казалась страною чудес. Можно ли было, имея в груди молодое сердце, не плениться этою неистощимостью жизненного творчества, которое, вдобавок, отнюдь не соглашалось сосредоточиться в определенных границах, а рвалось захватить все дальше и дальше? И точно, мы не только пленялись, но даже не особенно искусно скрывали свои восторги от глаз бодрствующего начальства». Как отпор и предохранительное средство, учрежден был негласный комитет для рассмотрения «злокозненностей русской литературы». И автора с сочувствием «униженным и оскорбленным» живо раскусили: Салтыков был переведен в Вятку в Канцелярию Губернского Правления на самую низшую должность. И это был не просто служебный перевод, а ссылка. И совершилось молниеносно: «в один прекрасный день, вспоминает современник, перед квартирой Салтыкова остановилась ямская тройка с жандармом и объявлено было повеление тотчас же ехать в Вятку. Все это было сделано так поспешно, что Салтыков едва успел сложить в чемодан свои пожитки и должен был сесть на тройку в легкой шубенке, едва достаточной для петербургского обихода».

Через год – в 1849 г. – та же участь постигнет Достоевского, только пошлют его не в «тину» Вятской канцелярии, а на каторгу в Сибирь.

* * *

В Вятке, где когда-то жил в ссылке Герцен и сохранилась традиция: ссыльный не в пример и по развитию, и по энергии, – Салтыков сразу занял большое положение, куда выше петербургского в канцелярии Военного министра. И с каждым годом занимал все высшие должности, дослужился до советника Губернского Правления, и в то же время, как находящийся в распоряжении губернатора, исполнял самые ответственные поручения до – усмирения крестьянского бунта.

Семь лет тянулась ссылка.

В 1856 г. – начало царствования Александра II – Салтыкова вернули в Петербург.

В этом году в «Русском Вестнике» начинают печататься Губернские очерки (1856–57) за подписью Николай Щедрин: круг вятских наблюдений. С этого года имя Щедрина получает громадную известность. И как в служебной карьере, так и в литературе, с каждым годом он будет подыматься на высшую степень, и литературное имя его станет всероссийским.

Печатаясь под псевдонимом Щедрин, Салтыков продолжает службу и вскоре получает высокое назначение: вице-губернатором в Рязань (1858), а затем в родную Тверь (1860), где некоторое время будет исполнять обязанности губернатора. Явление исключительное, что-то китайское, где в порядке вещей поэт, писатель, историк и он же министр, но в русской традиции, слагавшейся в ту пору, это писатель-бездомник, по смерти которого на могиле «ни плиты, ни креста», так в стихах Некрасова о Белинском, первом русском критике, открывшем Пушкина и Достоевского*. Губернатор! Какое поле для наблюдений: в ссыльной Вятке было дореформенное чиновничество, увековеченное Гоголем, теперь реформированное – «отставные крепостных дел мастера»: им посвящены Сатиры в прозе (1860–62) и Помпадуры и помпадурши (1863–73).

Прослужив еще семь лет, Салтыков вышел в отставку и сделался соредактором Некрасова в «Современнике» (1863–64).

---

* Николай Алексеевич Некрасов (1821–77), поэт исключительного слова и обиходное, и коренное русское, а ритм стихов пронизан Бодлером В современной литературе от Некрасова идет Александр Блок (1880–1921) [Примеч А Ремизова — *Ред*]

Столкновение с цензурой отпугнуло его от профессионального литераторства, и он опять поступил на службу, заняв снова высокое место председателя Пензенской Казенной Палаты, а затем то же место в Туле и в Рязани И опять чиновная Россия – какие только уголки не осмотрел его глаз и каких-каких людей не навидался с их делами, деланием и делишками на русской толще многомиллионного крестьянства! Его он поэтически изобразит в своей лучшей сказке К о н я г а, олицетворив в лошади, обреченной на беспросветную работу и тупое терпение.

«Никогда не погаснет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа – мать, для него одного она – бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение – отравою. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов: никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце наполняет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликованию, – бедный Коняга знает о нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь».

Или как это скажется Некрасовым:

Я подошел алела бугорками
По всей спине, усыпанной шмелями,
Густая кровь струилась из ноздрей
Я наблюдал жестокий пир шмелей,
А конь дышал все реже, все слабей
Как вкопанный стоял он час – и боле,
И вдруг упал Лежит недвижим в поле
Над трупом солнца раскаленный шар
Да степь кругом.

* * *

В 1868 г Салтыков выходит в отставку и уж навсегда. И опять он соредактор с Некрасовым в преобразованном «Современнике» – «Отечественных Записках», а со смерти Некрасова в 1877 г. и до цензурного запрещения «Отечественных Записок» в 1884 г. – редактор Посвятив себя исключительно литературной работе – а есть о чем рассказывать! – Салтыков до конца своей жизни (1889 г.) пишет:

Историю одного города (1868–70) – пародия на русскую историю; Господа Ташкентцы (1869–72) – мир дельцов; Благонамеренные речи (1872–76); В царстве умеренности и аккуратности (1874–77), Убежище Монрепо (1879–80) – «мироедских дел мастера»; Сказки (1880–85); Пестрые письма (1884–86). И имя Щедрина входит в русскую культуру.

* * *

Но имя Салтыкова-Щедрина становится в ряд с первыми именами: Толстой и Достоевский – с его романа Господа Головлевы (1872–76) и автобиографической хроники Пошехонская старина (1887–89).

По силе изобразительности и словесной крепи Головлевы сравнимы только с Толстым, по яркости и глубине чувств – с Достоевским. Гоголь в Вие дает образ «сверкающей красоты» – последнего волшебства мертвой панночки, за которую мстит Вий, он же Тарантул Достоевского, у Щедрина «беспредельная светящаяся пустота» – образ последнего безысходного отчаяния. Более мрачное произведение, в котором показана кромешность человеческой природы, едва ли еще есть во всемирной литературе. Один из героев, сын «матери», и какой «грозной» матери! носит прозвище *Иудушка* – и я скажу в наглухо завязанном мешке свободнее, чем обок с невоздержно-болтливым святошей и мерзавцем! Этот Иудушка еще раз выступит в русской литературе: в Мелком бесе (1905) у Ф. К. Сологуба – учитель гимназии Передонов, но далеко без тех корней и той крови, каким появился однажды у Щедрина и погасил всякий свет – беспросветно!

В Пошехонской старине рядом с мучительством, не уступающим «ананасному компоту» перед живым Распятием у Лизы Хохлаковой Карамазовых, переливающаяся через край радость жизни, приветливость человека и Лесковская благодать:

«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка лет двенадцати и рвалась во все стороны Был уже час второй дня, солнце так и обливало несчастную своими лучами. Рои мух поднимались из навозной жижи; вились над ее головой и облепляли ее воспаленное, улитое слезами и слюною лицо. По местам образо-

вались уже небольшие раны, из которых сочилась сукровица. Девочка терзалась, а тут же, в двух шагах от нее, преспокойно гуторили два старика, как будто ничего необыкновенного в их глазах не происходило..» А вот – «солнце садилось великолепно. Наполовину его уж не было видно, и на краю запада разливалась широкая золотая полоса. Небо было совсем чистое, синее; только немногие облака, легкие и перистые, плыли вразброд, тоже пронизанные золотом. Тетенька сидела в креслах прямо против исчезающего светила, крестилась и старческим голосом напевала: Свете тихий...»

Речь звучит строго, слова точны, образы ясны и есть та музыка, без которой даже искуснейшая литература – сухарь, а это значит, сердце Щедрина не только неуспокаивающееся перед провалами человеческих жизней, а и горящее, и сам он не ублюдок, не вывих, а *человек*.

2. Антон Павлович Чехов
1860–1904

Епифаний Премудрый (XV) величает Стефана, изобретателя пермской азбуки (XIV), «един чернец сложил, един составил, един счнннл, еднн калогер, един мних, един инок, Стефан глаголю, приснопамятный епископ, един в еднно время, а не по многа времеиа и лета, якоже и они, но един ниок, един взъединенный и уединенный и уедняяся, един уединенный, еднн единого Бога на помощь призывая, един единому Богу моляся и глаголя»

гепуха
— вселенская чепуха —

1.

Русская «чепуха» выговорилась у Чехова как латинское «гепуха» и обернулась – и уж не просто гепуха, а чепуха вселенская – вздор, обман, ложь, призрак, морок, неразбериха – бестолочь, чушь.

«Чепуха» рефрен раздумий Чехова над жизнью, – чепуха, чепуховина – чепушенция.

* * *

Моя далекая память – 80-тые годы – время Чехова – Москва. Святки. В Манеже на Моховой елка – «народное гуляние». От входа стены в елках. И в этом елочном царстве они кажутся кустами можжевельника перед дремучей елью, украшенной серебряными шарами – снизу с яблоко, а к звезде мерцающий горох. Елка не московский обычай – проходят не задерживаясь, и видны только детские пальчики. Толпятся при входе около непомерной коровы и по другую сторону от елки у столбов Мастеровые фабричные, мелкие служащие, прислуга – не елка, а круг елки диковинки. При входе корова и столбы к эстрадам, где поют малороссийские песни, пляшут и разыгрываются смешные сцены – еврейские и армянские. Три гладких столба, точеные, без мыла никак, а лезут. На середнем, выше соседних блестит самовар, на другом сапоги, – голенищами на хват – видно только одно, с левой оборвано – говорят, маляр с Болота, свой под куполами, добрался до сапог да, ухватясь за голенища, оборвал и полетел вниз – со счастьем в руках убился насмерть. А на другом столбе – гармонья, раздвинута – некуда, сама заиграет, бери в обе лапы.

Ни на гармонию, ни на самовар никому нет счастья.

К корове за народом неподступно И только упорство моего любопытства – я пролез и все вижу

Корова обыкновенная рыжуха, и на картинках такие рисуют, но по размеру и рога слона забодают Надо влезть в корову и по мягкому «вареному» языку проникнуть в пищевод, спускаться как в анатомии, сначала в желудок, потом по лабиринту кишок, и по прямой кишке вылезть под хвостом на свободу Около хвоста столик – полдюжины рыжего трехгорного и пивная закуска: раки, снетки и соленые сухарики – победителю награда. Редко кому удается одолеть анатомию и залежавшиеся раки скучают. Корова обыкновенно выблевывает отважных путешественников. Запутавшиеся в кишках или очумелые в теми желудка выпячиваются раком и из морды то и дело, дрыгая, высовываются ноги.

Мне посчастливилось· на моих глазах из-под коровьего хвоста показалась взбученная образина с живыми ссадинами, а за ней кумачные клочья разодранной рубахи. Каким восторгом встречен был победитель – имя сапожного подмастерья с Пятницкой – Филиппок – станет самым гром-

ким на Москве. В разодранной рубахе, подергиваясь, в прилипших портках, щерясь во всю рожу, он по-детски пальцами протирал глаза. ему было не до пива, не до раков и только дух перевести.

На эстраде раешник, наряженный во фрак и модные лакированные бронзовые ботинки, подплясывая, безнадежно выговаривал: его масленый голос с насмешливой ржавью на весь манеж:

Чепуха, чепуха,
Это просто враки
Черт намазал мелом нос,
Напомадил руки
И нз погреба принес
Жареные брюки

* * *

«Чепуха» – припев Чеховских раздумий над жизнью и судьбой человека – свирель с немудреным ладом, наигрывающим чепуху – пропад человека и гибель мира.

«Самые высокие пискливые ноты, которые дрожали и обрывались, казалось неутешно плакали, точно свирель была больна и испугана, а самые нижние ноты почему-то напоминали туманы, унылые деревья, серое небо Пропадает все ни за грош, а пуще всего людей жалко» (Свирель).

2.

Явление жизни – обреченность: цвела и отцветает. Цвет жизни – смех – сказка – слово – песня.

Проходит жизнь, спутники живого бреда, напасти, грех-совесть и механизм дней – чепуха.

Не распаленными глазами демона, выгнанного на землю, не Гоголем посмотрел Чехов на чепушной мир, а глазами любопытного замечающего человека и не гоголевским резким сквозящим смехом отозвался на кавардак, уродство твари Божьей, – добродушный легкий смех вызвала в нем чепуха и чепуха повернулась лицом чепуховины.

Какой чепуховиной разыгрывается чепуха человеческих дел и желаний души жизни.

Чехов блистает чепуховиной. Первые рассказы Чехова неувядаемы. Когда я читал, я превращался в Поплавского (Оратор), и было мне море по колено.

* * *

На «чепуховине» не разгуляешься. Чепуха (renyxa) кусается. Веселость духа развеялась, и смех погас. Чепуха не ляпка, а зубом – вор, мошенник, обманщик, мерзавец, – не до смеха.

Из веселого забавника Чехов превращается в резонера.

Характеристика столпов и устоев чепушиного общества не уступает гоголевскому Собакевичу. Достается и самому укладу жизни («Моя жизнь», «Записки неизвестного, «Дуэль»). Праздность, болтовня, успокоительные полумеры («Дом с мезонином»).

Его обличения – отголосок от Хворостинина, Фонвизина, Грибоедова, Салтыкова и «Абличителей» Курочкина и Буки-ба Стародум Штольц – недаром герой «Дуэли» фон Корен.

И все его революционные обличения никого не трогают. Это все равно как, почесывая брюшко кота ругать: мерзавец, плут, лежебока.

На революционные обличения революционеры не отозвались. Чехов безыдейный писатель. Что означает: никакой политической программы. (Эка, дурак, сморозил!) Это не Горький – словесное бурение. Правда – *Палата № 6* – тронула Ленина, но не революционностью, а угрожающей чепухой. он вышел, не мог оставаться в комнате, ему казалось, он заперт в – *Палате № 6.* (А. И. Ульянова-Елизарова. Воспоминания о Ильиче, Москва, 1934).

Чехов свой у «либералов», – среди обличаемой им «середины».

Я объясняю его необыкновенной деликатностью, ведь только раз сорвалось с гневом: Соломон, сжегший деньги, свое наследство («Степь»).

* * *

Однажды лето я прожил под одним кровом с братом Чехова Иваном Павловичем. Говорили, кто знал Чехова, о необыкновенном сходстве братьев. Конечно брат, как и однофамилец, не мера, но порода скажется: наше соседство было мне никак не тягостно – всегда внимательный, предупредительность и деликатность. Иван Павлович учитель. Я подумал: учитель – ошибки – как возможно не сердиться? А Чехов – врач – и у кого еще

так выговорится: «Един Ты еси без греха». Отсюда его «человечность» – суд надчеловеческий: «обвиноватить никого нельзя» (*Враги*), и решение судьи не бесстрастное и безразличное: «проходи дальше», а участливое – жалость и сострадание. Теплота глаз его голоса – слова (*Анюта, Хористка, Трагик*). По таким глазам мир детей и безгрешное звериное. Черствому сухарю не под руку. О детях – *Степь, Страстная неделя, Житейская мелочь, Беглец, Спать хочется, Происшествие.* А о зверях – *Каштанка, Белолобый* (*Волчица и щенок*), *Нахлебники.* И мне стало понятно, почему все чеховские обличения никак не трогают – больного не упрекают, на больного не кричат.

Немощи человека, боль и терпение приближают к Богу (*Мороз*). – Добрых больше, чем злых (*На пути*).

* * *

«Чепуха» – кавардак и бестолочь – душа жизни. И даже беда не исключение: несчастье не соединяет, несчастные друг другу враги (*Враги*).

Чехов не сказочник, но сказка для него не закрыта (*Степь, Счастье*). Чудесное для него лишь больное воображение.

Огромный дом Рениксы с заколоченными окнами и дверями.

На долю Чехова – маниловские эмпиреи. И Чехов парит: люди бросят эти фабрики, амбары, канцелярии и куда-то уйдут, на их смену явятся другие и другой породы и все пойдет по-другому и законом не будет чепуха.

«Хорошая будет жизнь лет через пятьдесят, жаль только, что мы не дотянем. Интересно было бы взглянуть». (*Случай из практики*).

Чехов верил в человека. (*Рассказ старшего садовника*).

3.

На Чехове с ума не сходят, сказать зачитался, к Чехову никак. Рассказ искусно отточен, не ухватить выдрать слова, пустых мест нету, но и нет дразнящих мыслей.

Все завершается на глазах в привычной обстановке и круге прописных чувств, ни тайн, ни изворотов. Задумываться не над чем.

Для нетребовательного или измученного загадками Чехов как раз. Читать Чехова, что чай пить, никогда не наскучит.

Оттого, может, так и спокойно. Чехова будут читать и перечитывать.

Комнатные рассказы Чехова, как будто не было ни Гоголя, ни Достоевского, ни Толстого, ни Тургенева.

Документальность· сад в *Черном монахе*, Амбар (галантрея) в *Три года*, Фабрика, *Случай из практики* и в *Бабьем царстве*.

4.

Чехову никаких снов не снилось, хотя о снах он поминает (*Дуэль*) Мир для него скован Евклидом, – его мир Реникса с заколоченными окнами – простая обстановка.

И даже там, при повышенной температуре – где для Гоголя, Достоевского и Толстого пролет в другой мир – для Чехова только галлюцинация по Бюхнеру, Фохту и Молешоту – из образов мысли «больного», возможно с бредовой завитушкой, но ничего нового, никаких «клочков и отрывков» другого мира.

И когда я задумал нарисовать из Чехова, как я рисовал из Гоголя, ничего не нашлось, – «прямая кратчайшее расстояние между двумя точками» – этим исчерпывается рисунок

Этот мир он встретил смехом. Смех погас, начались обличения. Выговорившись, Чехов пустился парить в эмпиреях – все эти разглагольствования о грядущем рае на земле и чепушном мире, да ведь это не только чепуха, а чепуховина, над которой однажды он добродушно смеялся.

Чехов верил в человека.

* * *

Умный человек. – Но где? – чепуха показалась еще чепушнее – неизлечимый больной ищет помощи, а средств никаких облегчить.

Распариваться в эмпиреях – зарапортуешься. Нет, ни смех, ни риторика – ничего не поправишь (*Студент*). Обреченность и гибель – закон существования. Сумерки.

А заря – радость и правда, но это из эмпирей.

И пусть новые люди установят разумный порядок и все будет рассчитано и предусмотрено по науке фон Корена и водворится на земле Радость – «веселая жизнь» и Правда просвещенная – «справедливость», но куда девать «тяжелых людей», которые непременно сорвут всякий порядок, и куда девать всех этих навязчивых со своими убеждениями «жаб», «Печенегов» и Пришибеевых, куда девать колдующую любовь, под взглядом которой ерунда получает значение (*Хорошие люди*), и как быть с перевернутыми словами, когда слышится не то, что говорится, а что ждешь (*Брак по расчету*), и чем победить страх – не грозы, не покойников, не привидений, а страх самых обыкновенных уличных звуков, страх своих мыслей, страх жизни, страх неизвестного (*Страх*). И как и чем обуздать амурную кувыркоплегию (словцо Лескова), любовь непокорна и неожиданна – приходит, не спросит, уйдет, не скажется: – любишь – не любит, разлюбишь – полюблю (*Три года*) И куда девать жадных зверовидных баб (Ариадна, Сусанна, Аксинья) и расчетливое скотоподобие (*Анна на шее, Супруга, Попрыгунья*).

И наступит уже не чепуха, не чепуховина, а чепушенция.

Здание Рениксы – не вижу дверей, окна заколочены – ни туда, ни сюда. И никакая новая порода – никакой разумный порядок в «производстве и распределении», никакие пути не приведут к выходу.

Чепуха – единственный «смысл» жизни

Все ничтожно, бренно, призрачно и обманчиво – мираж.

5.

Из пропада песня – этот голос и в скрипке и в виолончели – первородная сияющая боль жизни, от скрипа до белого звука.

Под конец жизни, измаявшись, отзывчивое сердце – да и свое неизлечимое, расставаясь, Реникса нарядилась в весеннее белое – вишневый сад. И горечь расставания зазвучала – вы слышите песню, на мотив из завойных романсов Чайковского, любимой музыки и церковных прозрачных песнопений – памятник детства.

«О мое детство, чистота моя! в этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. Весь, весь белый! О сад мой! После темной

ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!»

Заколоченные двери Рениксы вдруг распахнулись –

– Как на этом свете все быстро делается (*Горе*).

«И идет он по полю быстро, весело, постукивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти куда угодно!» (*Архиерей*).

Это случилось 2 июля 1904 года – помер Чехов.

6.

«Что мне кажется прекрасным и что я хотел бы сделать, – это книга ни о чем, книга без всякой внешней опоры, которая держалась бы сама собой внутренней силой своего стиля, как держится в воздухе земля, ничем не поддерживаемая, книга, которая почти не имела бы сюжета, или, по крайней мере, в которой сюжет был бы невидным, если это возможно» (Из письма Флобера к Луизе Коле. 16 янв. 1852 г)

Всегда сюжетные рассказы Чехова держатся сомкнутым строем фраз и лишь кое-где ассонансы и подглагольные воденят и ломают линию. В словесной чепухе для Чехова оставалась незыблемым и не вызывала сомнений Грамматика – литературно-книжная речь с правилами иностранных заимствований, чем и объясняются размягчающие ассонансы, чуждые движению природной русской речи. Кроме книжной грамматики, Чехов верил в легендарную евангельскую «простоту» Пушкинской прозы, которая на самом деле не больше как перевод с французского. Для достижения этой простоты он употреблял при описании природы штампованные определения и только раз со своего глаза сравнил звездное небо с начищенными пятиалтынными – мелкая серебряная монета. А глаза с рыжими копейками.

Его глаза нормальны, пелена Майи плотно сплошь, восприятия ограничены. Всякое отклонение от нормы – чепуха.

Среди художников Семирадский, Левитан, а «детский» рисунок не по нем.

«Сережа рисовал людей выше домов и старался передавать карандашом кроме предметов и свое ощущение в виде

сферических дымчатых пятен, свист в виде спиральной нити. В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом: раскрашивая буквы, всякий раз неизменно звук "Л" красил в желтый цвет, "М" в красный, "А" в черный» (*Дома*) – какая чепуха!

Чехов читал Лескова, знает Толстого, Достоевского, Писемского, Ибсена, Владимира Соловьева (*Пародии на декадентов*), Тургенева, Гончарова, Вельтмана (*Саломея*), Болеслава Маркевича, Мельникова-Печерского, Мопассана.

От Гоголя «Тарас Бульба» – *Степь*, от «Лесов» Печерского – *Бабье царство*, от «Соборян» Лескова – *Хорошие люди*, от Макса Нордау – *Черный монах*, от Горького – *Мужики, Воры, В овраге*, а о Слепцове он нигде не упоминает, а если от кого вести Чехова, то именно от Слепцова.

Василий Алексеевич Слепцов (1836–1878), основатель первой женской коммуны в Петербурге, секретарь *Современника*, ближайший к Чернышевскому, автор «Трудное время», рассказа «Питомка», «Спевка» и провинциальных очерков (Осташков), словесно и душевным настроением предшественник Чехова.

Как и Чехов, исповедовавший пятикнижие русских нигилистов шестидесятых годов: Бюхнер, Фохт, Молешот, Миль и Бокль.

Слово – игра – пульс слова – Чехов не Гоголь – искусство слова – Чехов не задумывался.

Он знал церковнославянскую грамоту – ирмосы, кондаки, тропари, икосы, каноны и стихиры на восемь гласов, но имени нашего церковнославянского «леттриста» нигде не поминает: медики и естественники в словесные дебри не заглядывают, а между тем и кто еще? Только Чехов дает образ Епифания Премудрого.

* * *

Епифаний Премудрый, монах Троице-Сергиевской Лавры (XIV–XV вв.), заворожил словоплетением русскую книгу XVI в., Епифаний Премудрый из слов плел венки: слово ему цветы В его глазах пестрое поле, он брал цветы по цвету на ленту, выговаривая: глаза его голосов были цветные. Или по-ученому: «Плетение словес» Епифания – близкий аналог «плетеного орнамента». Слово как таковое часто теряет здесь свои выразительно-смысловые функции; элементы речи объединяются не столько логической связью, сколько

на основе своей фонетической стороны, путем рифмы, ассонанса, путем гибкого видоизменения и сочетания слов одного корня.

Потом пришел ученый афонский мужик Пахомий Логофет и сапожищами ну топтать цветы.

Слово не пень, не выкорчить, слово – купальский цветок, без заклятия сорвать не дается. Епифанию откликнулся узорным краегранесием (акростихом) монах с Хутыни Маркелл Безбородый, а в наше время – Андрей Белый.

Словесный уклад Пахомия признан был как общедоступный на среднего читателя, а Епифаний Премудрый – пускай себе верхушки забавляются, «писатель для писателей». Епифаний известен своим житием Стефана Пермского, а первое его сочинение житие его учителя Сергия Радонежского, 1418 г., заерзал и подчистил афонский сапог.

«Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словеси похвалений твоих, слово плетущи и слово плодящи, и словом почтити мнящи, и от словес похваления собирая, и приобретая и приплетая».

* * *

В «Святой ночи» Чехов рассказывает со слов послушника-перевозчика о иродиаконе Николае (а я читаю Епифании), сочинял акафисты.

В Богородичном акафисте есть слова: «Радуйся, высото неудобовосходимая человеческими помыслы: радуйся, глубино неудобозримая и ангельскими очима! Радуйся, древо светло-плодовитое, от него же питаются вернии, радуйся, древо благосеннолиственное, им же покрываются мнози».

«Этого поэтического человека, выходившего по ночам перекликаться с Иеронимом и пересыпавшего свои акафисты цветами, звездами и лучами солнца, не понятого и одинокого, я представляю себе робким, бледным, с мягкими, кроткими и грустными чертами лица. В его глазах должна светиться ласка и та едва сдерживаемая, детская восторженность, какая слышалась мне в голосе Иеронима, когда тот приводил мне цитаты из акафистов».

«Кроме плавности и велеречия, нужно еще, чтобы каждая строчка изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молния, и ветер, и солнце, и все предметы мира видимого. И всякое восклицание нужно так оставить, чтоб оно было гладко и для уха вольготней.

"Радуйся, крине райского прозябения", сказано в акафисте Николаю Чудотворцу. Не сказано просто: "крине райских", а "крине райского прозябения!" так глаже и для слуха сладко. Так именно Николай писал!»

Незадачливая доля Словесности – ни к одному искусству не предъявляется столько посторонних требований, как к искусству слова – словесности. Нравоучительная мораль, занимательность, развлечение, и все, что под именем «утилитарное» тянется руками расправиться посвойски И слово бултыхает, теряя глаза – свой голос и свою краску.

7.

С первых книжек издания Суворина я шел за Чеховым. В те годы – 80-е и 90-е, выходили переводы Мопасана, ему покровительствовал Толстой. Я читал Мопасана, не пропуская ни одного рассказа, как Чехова Но чувства были разные. Не одно любопытство, как к Мопасану, свое горячее – непоправимое – свой пр́опад – чеховская свирель сопровождала чтение.

Пр́опад отравы моих чувств.

И тогда с моими богатыми глазами на кипящий мир в пожаре красок и чудовищных форм, как и теперь, оставшись с дразнящим миром сновидений – пр́опад.

Веселость духа и пр́опад потянули меня к Чехову. И идя по годам за Чеховым, в далекой памяти гимназистом я вошел в Московский Манеж: вологодская елка – «Дева днесь Пресущественного рождает», столбы с солнцем-самоваром, музыкой-гармонией и сапогами-землей, египетской коровой, лабиринтом и «чепуха» – покров загадкам, блеску и желаниям.

Чепуха, чепуху —
Это просто враки
Молотками на пуху
Сено косят раки

3. Хмурые люди

С первых книг я полюбил Чехова (1860–1904) Но это была любовь не та, с какой я читаю Достоевского и Тол-

стого: Достоевский действовал на меня до содрогания, а Толстому мне хотелось подражать и в письме и в жизни. Чехова я полюбил какой-то домашней любовью и рассказы его читал напоследок, не пропуская ни одной печатной строки Что же такое повлекло меня к Чехову после Толстого и Достоевского: ведь если расценивать по дару и сокровенному зрению, имя Чехова попадет не в первый круг к Гоголю, Толстому и Достоевскому и не во второй ряд с Лесковым, а только в третий и притом на второе место: Слепцов, Чехов. Я очень люблю Слепцова и преклоняюсь перед его мастерством, но Чехов – с его небрежностью и провинциализмом?.. Потом, перечитывая Чехова, я увидел, что его душа – описание, как пропадает человек и притом пустой человек, или, по определению Шестова, «творчество из ничего». Пропад ли, который я видел вокруг себя с детства, пустота ли человеческая, которая чувствовалась и в благополучии и в неблагополучии московской жизни, или не пропад и не пустота, а тот чеховский припев, выделяющий его рассказы из тысячи пустых рассказов «беллетристики», неизменно начинающийся – «и думал он...» – то самое раздумье – мечта, взблеск в глухой пустоте и безнадежном пропаде. Должно быть, эта мечта и покорила меня; я невольно думал с героями Чехова, что вот и мне, незаметному человеку, среди великого множества таких же незаметных, мне, забившемуся в свой угол, в пропаде и такой духовной бедности – до пустоты, все-таки наперекор всему – всей этой непонятной и непостижимой силе, распорядившейся обездолить меня, дано право и отпущен дар мечтать о какой-то другой жизни, другом человеке с другими желаниями. На Чехове я отводил душу.

Как мастер-литератор, что мог дать мне Чехов? Я читал и перечитывал Гоголя. Мои первые рассказы в рукописи Мейерхольд, у которого я служил в театре, показывал Чехову: Антон Павлович не одобрил, как потом не одобрит и Алексей Максимович: Чехов от своей простоты, Горький от высокопарности. В литературе, как и Андрей Белый, оба мы происходим от Мельникова-Печерского, преданнейшего ученика Гоголя: ритм Андрея Белого со страниц «Лесов» и «Гор», из «Лесов» и «Гор» тема моей «Посолони». И это совсем другой исток и другие корни в нашей литературе, чуждые Чехову.

Не довелось мне в жизни встретить Чехова, но во сне однажды снился. Это было осенью, когда снова я взялся за

«Хмурых людей». Мне приснилось· в святой Софии Цареградской открыли фрески: «страды Богородицы», показывает Замятин и Муратов, а на экране появляются семь мудрецов Эйнштейн, Шестов, Шаляпин и Горький – совсем как живые. Шестов с ключом, а из рамки не выходят, и тут же Иван Павлович Кобеко разложил на столике и показывает с фокусами пластинки; раскрывается комната: Антон Павлович Чехов в черном драповом пальто сидит на зеленой садовой скамейке и весь как освещен изнутри серебром. «Вот вы к нам и совсем пришли!» – говорю я и прохожу по мосту – все на мраморе: выставка скульптур – разноцветные бутылки и соусники.

«Мне тяжело дышать», сказал Чехов и вытащил изо рта утку.

Утка оказалась жареная, с яблоками. И все бросились с разбега к Чехову хватать утку.

4. Потихоньку, скоморохи, играйте!

Николай Николаевич Евреинов
†7.IX–1953

Улица Буало, № 7. Напротив гараж Simplex. Справа от гаража крытые глухие двери растворяются опростать мертвецкую: из них выносят покойников. Когда-то клиника, а после бомбардировки госпиталь, а вскоре после Освобождения выехал госпиталь, и теперь пустые больничные здания и затихающий сад – по весне птиц меньше: нет корма.

Когда из мертвецких дверей выносили гроб Равеля, наша улица была запружена народом и венки музыкой всех тонов заплели широкий въезд в гараж В канун войны, когда из этих дверей выносили гроб, – я ждал около, на тротуаре, и мне некому было сказать: помер Лев Шестов! И ни одного цветка. А когда, в оккупацию, торопясь, я садился в траурный автомобиль и, упираясь коленями в гроб, оглянул – на меня посмотрела пустынная улица – ледяной блестящий май.

Очередь за соседом: много лет в Париже известно: улица Буало, № 7, внизу «театр», на втором этаже «литература». Николай Николаевич Евреинов приказал долго жить.

Нечего переходить на ту сторону и караулить только оттуда раскрывающиеся двери, вход в наш дом задрапирован черным.

Не закрыв двери моей «литературы», я сошел по двадцать лет хоженой лестнице, однажды показавшейся очумелому впотьмах Одарченко квадриллион квадриллионов ступеней, и не заходя в «театр», выхожу из черного на солнце.

Стал у венков. Без вздрога буду ждать, какой теплый летний день.

Воскресенье на понедельник, в пять часов утра, я вдруг проснулся: в дом вошла смерть. И сегодня – середа – сейчас 2, и через четверть часа она покинет дом. Покинет и «театр». И с моим последним прощальным поклоном вдвинут гроб в ящик автомобиля. Ждут автомобиль. Это всегда нетерпеливо долго. Три венка. Казенный – не помяв цветов, могу, не нагибаясь, пройти сквозь – от Общества драматических писателей (Société des auteurs), другой венок от «локатеров», жильцов дома – убогий или, как говорили. «ничего», и третий – красная греческая «тау», на столбе перекладина, или, как говорили посторонние: «крест».

По расписанию, не опаздывая, показался от цветной москательной угловой лавки ожидаемый автомобиль С каким спокойствием весь исчерненный отчаянным пропадом подъехал к дому, вышли рослые крокморы и скрылись за черной драпировкой.

И мне увиделось, как, не стесняясь, они вошли в театр, хозяйски оглядели гроб, приладились, подняли с натугом и, опустя, понесли.

И когда из-под черного, мне показалось, выволочен был прямо по земле гроб и поспешно чуть приподнятый над землей поднесен к автомобилю и легко сунут между колес, стало быть, нечего глазеть, дожидаясь, – я вдруг схватился: не упустить бы! и по ногам провожатых подошел к Кашиной (Анна Александровна Евреинова) Мне хотелось ей выразить, как я вижу и все чувствую ее дни, ночи, часы, – все – до самых минутных секунд огонь скорбей расставания.

Наша консьержка – Маршал Крокморов – оттесняя от автомобиля на тротуар, погнала за автомобилем в строй и сама стала во главе С ней в ряду «Половчанка» в испанском трауре – Е. Д. Унбегаун, изможденная от усталости инфермьерша M-me Adam и «Папильон» Е. П. Рипполь, тоже в трауре, но как будто обезьяньем – Евреинов в Обезьяньей Палате имел знак «Комедианта Обезвелволпала», а за ними на голову выше консьержки ослопной свечой Берлиоз – Н. Д Янчевский – и с ним стая фигурантов, а за

статистами два игрушечных бутафорских автомобиля под Гринберга – импресарио – или, подумалось, «и туда нужна рука».

Венки встрепенулись – автомобиль, не спеша, разминаясь, пополз, торопя за собой провожатых

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощнх, голодных и жалких на вид

Иду не в строю, но вровень по тротуару Мне мало моей белой палки, меня держит под руку поводырь – монашка – бывшая наяда – Н. Г. Львова.

За много лет редкий день бывало я не встречу приветливого «потешного» соседа всегда с улыбкой, да как же иначе: «веселый» – «веселыми» в старину назывались скоморохи. Он был прирожденный скоморох – театр его природа. А там, где нет печали и улыбки, где будет скитаться его дух?

В смехе – теплота, в улыбке – свет Его ходячий театр и наша убогая мерзлая трудная жизнь.

И вот все, что осталось: груда костей – бедный Йорик!

И разве можно было на него сердиться и требовать арифметику – долю честных дураков.

Разыгрывать театр, не все ли равно где и когда, важно как. А ведь это не с какими программами тараканоморов. В чем его только не обвиняли.

По его почину – надоумил! – в первый год оккупации без отопления мы завели газовую фур (духовку) и сколько вечеров, пока не запретили, согревались на кухне: коротая время, я читаю вслух или рисую мои серебряные конструкции, я это никогда не забуду: тепло.

Мне памятна наша встреча: Петербург, зима, 1908 год. Вскоре после моего «Бесовского действа» у Коммиссаржевской, освистанный и обезображенный карикатурами, я пошел на открытие Старинного театра: «Чудо о Теофиле», постановка Н. Н. Евреинова. С каким вниманием и сочувствием было встречено представление – средневековый миракль, вошедший сказанием в наши старинные сборники. На аплодисменты вышел Адонис (определение старого каноника Jean Chuzeville'a).

«Бесовское действо» и «Чудо о Теофиле» – одной закваски, в чем же дело? И тогда я сказал себе «культура». Консчно, и разве со мной согласился бы сняться барон Дризен, мой театральный цензор?

С этого «Чуда о Теофиле» начинается слава режиссера Евреинова.

* * *

Россия знает два имени. Ладили русский театр: Евреинов и Мейерхольд.

* * *

ЕВРЕИНОВ – МЕЙЕРХОЛЬД

* * *

– Потихоньку, скоморохи, играйте!
– Потихоньку, веселые, пойте!

* * *

Улицу Буало пересекает улица Молитор. Процессия повернула направо – путь к Знамению.

– Прощайте! – кричу вдогонку, следя.

Пара гнедых, запряженных с зарею,
Тощих, голодных и жалких на вид,
Тихо плететесь вы мелкой рысцою

5. «Заветы»

Памяти Леонида Михайловича
Добронравова
1887–†26.5.1926

Добронравов выступил в канун войны с Замятиным и Вяч. Шишковым: Замятин – «Уездное», Шишков – «Тунгусские рассказы», Добронравов – «Новая бурса». (Шишков и «Новая бурса» печатались в «Заветах» у Р. В. Иванова-Разумника, 1913 г.)

«Новая бурса» сразу заняла место в истории русской литературы. после «Бурсы» Помяловского первое и единственное «Новая бурса» Добронравова. Добронравов сделался известным писателем и не по газетам (свои хвалят

своих или по каким «политическим» соображениям), а действительно не было семинариста в Петербурге, да и не только в Петербурге, все читали «Новую бурсу».

У Шишкова большой материал – 20 лет жизни в Сибири, не в ссылке, а доброй волей на работах – Алтай и тайга, сибирские промышленники и разбойники, вот что его привлекало изобразить, он и исполнил – много чего написал и в больших размерах, но первые короткие его рассказы в «Заветах» о странных людях – тунгусах с их полуречью (дикой или детской), с их кривыми движениями (как во сне· идут не улицей, а кругами через заборы – так вернее) – это лучшее Шишкова, это – настоящее.

У Замятина материал – «уездное?» – нет, его собственная голова, а средство: слова – игра в склад и лады

Чехов завершил «интернационализм» русской прозы или, как тут говорят, «космополитизм»: начал Пушкин (Пушкин «прорубил окно в Европу»), расцвет – Тургенев (между прочим, Достоевский рекомендовал Тургеневу обзавестись телескопом, чтобы, сидя в Париже, наблюдать жизнь в России, а так как жизнь и мысли связаны со словом, то, значит, телескоп и на слова!), конец этому интернационализму – Чехов (достаточно взглянуть на портрет: и это пенснэ со шнурком и записная книжечка!). После Чехова – «плеяда» Горького: тут или, как выразился один «поэт» про «Что делать?», «*трактат-роман*» (дело почтенное и педагогически очень полезное), или *беллетристика* (тоже вещь необходимая в общежитии: читают, обсуждают, спорят); эта беллетристика, конечно, за подписью, но по существу безымянная: все пишут одинаково – одними и теми же словами, одним складом, с одними оборотами и сравнениями (Леонид Андреев жаловался: «как начну писать, лезет в выражениях одна пошлость!»), иногда очень даже «красиво», попадается и неподдельный «пафос» и искренняя страстность, и всегда все понятно написано – по правилам «грамматически», что без труда переводимо на все европейские языки, хотя в этом и нет нужды (во Франции, например, больше тысячи томов в год выпускается такой беллетристики), правда, скучновато (одни пространные описания природы чего стоят!), но читается легко (а это-то и нужно) и легко забывается – «беллетристика»! И в то же время с концом интерна-

ционализма началась работа над словом по «сырому матерьялу» и опыты над словом и «русским» складом (как и всегда не от пустого места, в прошлом были примеры: Пушкин – «Балда», «Вечера» Гоголя, Лесков). А началась эта работа с первой революции, можно даже обозначить место: круг Вячеслава Иванова. (Когда-нибудь историки литературы выяснят огромное значение этого ученейшего человека!) И в канун войны в этой «национальной» работе одно из первых мест – Хлебников и Замятин. А от Хлебникова – весь «футуризм», Маяковский (с традицией Ивана Осипова), и кто еще, не знаю (телескопом не обзавелся!), но чувствую, есть и должно быть. Один «дурак второго сорта» – (употребляю и совсем не в обиду философскую терминологию Льва Шестова, пошестовски. дураки бывают двух сортов, первого сорта – это «Дурак», а второго сорта – это «дурак под Дурака»!) – так вот этот «дурак под Дурака» потом уже в самый разгар революции, (урвав поесть), признался мне, что уважать (признавать) начал Замятина, когда в войну, живя в Англии, Замятин написал повесть из английской жизни «Островитяне», а что до тех пор, состоя редактором «передового» (левого) журнала, он, «дурак второго сорта», в течение нескольких лет, все, что было близко к «Уездному» или другим подобным образцам, безжалостно «бросал в корзинку», а присылался такой материал из самых отдаленных медвежьих (неожиданных!) углов России и, к великому огорчению, «помногу». «Второго сорта!» не понял (да так по-шестовски ему и полагается, а то как же?), не почуял («редактор!») – в самом деле, не из перста же вышла вся современная р у с с к а я глубоко национальная проза, Леонов и другие – не понял, что начиналась не какая-нибудь местная работа, не петербургская выдумка и сумасбродная затея, а что-то гораздо большее – р у с с к о е – какой-то сдвиг, поворот – революция! Да, это была революция – еще с революции 1905 года. Революция – завет: прошлое «сделанное» – все, что живо-пламенно, все равно, интернациональное и такое из беллетристики, не разрушать ни под какую руку – только дурашливый хозяин в революцию коверкает машины и разрушает «налаженный аппарат» каких-нибудь очень

полезных хозяйственных учреждений только потому – «революция!», «старый режим!» или еще как. Нет, не насмарку, а кроме того, ведь «слово»! – а слова, как звезды –

и звезда с звездою говорит – –

Добронравов – материал еще больше, чем сибирского у Шишкова: Добронравов – сын священника, учился в Петербургской Духовной семинарии, по дому – связи с духовенством, и притом высшим. архиереи, митрополиты, синодские чиновники, Победоносцев, Саблер. Вот что должен изобразить Добронравов и в этой особенной обстановке – церковь, церковная служба, тут ему и книга в руки – в литургике познания его были огромны, бывал он по монастырям и в кельях и в архиерейских покоях.

После «Новой бурсы» (отдельным изданием в 1914 г) Добронравов выпустил книгу рассказов «Горький цвет» (рассказы 1910–1915 г) и написал целый ряд больших пьес.

У Добронравова был хороший голос баритон – дружил с Шаляпиным. Пристрастие к пению при исключительном даре – к опере, за душой богатейший материал – архиереи, митрополиты, пестрые мантии, митры в драгоценных камнях, панагии, усыпанные бриллиантами, наперсные кресты, звезды, золотые и серебряные ризы, лампады, архиерейский хор, колокола – Добронравов сам ходил как в мантии Святейшего, а его речь – из оперы (Шаляпин!). Таким представлялся он мне, когда я читал его рассказы о царе Сауле – очень величественно и красиво.

А тут Замятин: «красиво?» – «опера»? – –?

– Если есть что-то самое порочное в литературе, это «красивость»; это какой-то словесный разврат.

– Но это нормально, эта «красивость»!

– Да, конечно. Недаром есть спрос и восхищаются и этим оценивают: «изящно», «красиво». Да, это нормально.

– А что нормально, имеет право быть (так, стало быть, по природе!). И почему «порок» и «разврат»? Имеет право и будет, как деторождение («прямое назначение женщины дети»!), как лад и строй соловья, живописные ландшафты, приятная, ласкающая и убаюкивающая музыка или как «трагедия» – – из-за «женщины».

– Но есть же разница между соловьем и человеком, между кошкой и женщиной И ведь тут

тоже природа «эта разница», а она есть. «Музыка планет!» что в этой музыке от Девятой симфонии?

– Да ничего, наверно.

– Вот! – – и в человеке ничего не может быть от соловья и в женщине от кошки... Один мудрец сказал, что приглашать к себе на обед, это все равно как пригласить в отхожее место рядушком испражниться. И я думаю, индус прав: неловко! Как-то неловко тоже читать, когда описывают, как какой-нибудь герой романа «гибнет» из-за «женщины», неловко же слышать «красивые» и «изящные» обороты речи, вообще неловко это «нормальное». А я согласен, это всегда будет, только – – –

Кроме рассказов и пьес, Добронравов писал стихи – под графа Алексея Константиновича Толстого, под былины.

– А ведь былины – – эта слащавая подделка 18 века, пичкали нас во всех хрестоматиях с приготовительного класса, настраивая ухо на какой-то не русский «красивый» лад.

Вот он и призадумался.

И одно время, я не знаю, я не видел прилежнее ученика: с каким старанием и терпеливо он сверял в рукописях мои поправки; он знал на память целые страницы из Лескова –

– Подражать можно и следует для науки, чтобы самому, проделав всю работу, догадаться, в чем дело – для чего, напр., у Лескова какие-то «созвучные» слова: «Марья Амуровна», «просить прощады»: или контрасты: кабак, и вот мысль: ехать в родильный дом! или начинается в прошедшем и неожиданно перебивка – настоящее! – как спохватился или со стороны кто.

Из «Соборян» и «Полунощников» Добронравов читает без книги, а сядет писать, и эта самая мантия Святейшего на плечах его, как живое к живому, и губы катушкой, вот запоет, как Шаляпин – не то «Борис», не то «Хованщина»!

Добронравов был настоящий писатель. У всякого есть какая-нибудь особенная склонность: один строит любовь и все что-нибудь мастерит, другой путешествует, третий, хлебом не корми, про политику, четвертый мечтает, а вот попадается, не оторвешь от бумаги, возьмет перо, и так оно у него как само ходит – такая склонность была писать у Добронравова. Во время войны он писал роман из студенческой жизни – 30 листов! Это очень поразило Горького: в

наше время такой размах! У Добронравова был размах Чернышевского. Из «студенческой жизни» – это так, упражнение; к концу войны он приступил наконец к своему заветному – затеял роман (размер – 50 листов!)· архиереи, митрополиты, мантии, митры, золото, драгоценные камни, лампады, колокола – и назвал «Черноризец». (Название удачное – «по контрасту»; впоследствии переменил. «Князь века» – «по-оперному»). Несколько глав он читал мне. Особенно «Всенощная» – такого никто не использовал. «всенощная»! – до ощущения ладана и чувства «подъема», когда на Великом выходе запоют «Величание» – сначала клир, потом певчие –

Величаем Тя, Пресвятая Дево,
Богоизбранная Отроковице – –

В революцию (1917) Добронравов забросил «Черноризца», а в 1920 г. уехал из России: поехал проводить мать, сестер и брата – «вернусь через месяц!» да там и застрял, рукопись осталась неоконченной.

Осенью 1924 г. Добронравов появляется в Париже Я очень обрадовался – «вот, думаю, теперь и помереть не страшно, Добронравов не бросит, похоронит!» – «и справку какую по церковной истории или в службе, Добронравов скажет!» «Новая бурса», журнал «Заветы», Р. В. Иванов-Разумник, Шишков, Замятин – – я напомнил о «Черноризце». И секретарь «Заветов» С. П. Постников пишет ему из Праги о «Черноризце». «Рукописи нет – где-нибудь в Петербурге, и должно быть, пропала на квартире – надо все заново!» Но это надо. Ведь это то, что он должен сделать и единственный, кто может сделать.

Добронравов занялся «Черноризцем» И, как когда-то в «Заветах», приходил читать. Называлось «Князь века», не «Черноризец».

Тогда Добронравову было 30 лет и у него был хороший голос-баритон, а теперь под 40, и голос пропал. Я слушал, но поправлять не мог – в 40 не переделываются. «Мантия Святейшего!» – или никогда не сбросить? Или восстанавливать – тоже ничего не выйдет? Там был «Черноризец», теперь «Князь века» – «беллетристика» – очень «красиво» – какие эпитеты, образы! –

– Беллетристика – вещь в общежитии очень нужная и полезная. Пока женщины будут рожать детей и «герои» погибать из-за «женщины», а «героини» краситься (украшаться) для «героев», пока будут устраивать

(и всурьез!) публичные обеды, пока будет такое «ненормальное» и т. д. и т. д., как же без беллетристики? «Князь века» – книга имела б огромный успех и здесь в зарубежном несчастьи и там, на родине, в России – но ведь я-то хотел другого – пусть никакого успеха! – такой ведь особенный матерьял – – и ведь никто больше не может, не знает такого – –

– «Мертвые души» не беллетристика, «Полунощники» не беллетристика, можно сколько угодно читать, и никогда не скучно. А «беллетристика» на раз. Во второй раз не возьмешь Нельзя «перечитывать».

– Ну хотя бы раз!

– И о большем нам нечего думать. В самом деле, все литературное поколение после Гоголя, Толстого, Достоевского, Лескова – все мы – ведь второй сорт и вот нисколечко не прибавили в книжную русскую казну... разве наши пожелания?..

Про свои пожелания я мог говорить Добронравову, но встреваться в «Князя века» я не мог, – теперь уж не 50 листов, а говорилось о 30 Все-таки 30, это – я даже себе представить не могу. Одно только, чтобы закончил. А то все отдельные главы, и не поймешь, не то из середки, не то из конца...

А потом вдруг Добронравов исчез. И в последний год был у нас раза два. Я понял, хотя и боялся себе сказать: «“Черноризца” он не пишет». И все как-то отводило от этого разговора. Добронравов рассказывал советские анекдоты:

«Ленин помер, а дело его живет!» (Записка, оставленная ворами в ювелирном магазине).

«Русская колония празднует свой праздник!» (Ответ иностранцу, что значит – звонят колокола в Москве на Святой).

«Авторская скромность». (Надпись на деньгах).

И странно, рассказывал он очень просто, безо всякой «мантии» и ни одного «оперного» оборота.

Нынче на Пасху – 1 мая – забрались мы в церковь спозаранку. Пугали нас: трамвай в 8 прекратится, и народу найдет, затолкают. Вот мы с 8-и и стали. Стою и дремлю и озноб – будет жарко, нечем дышать, вот наверху окно и отворено. Так – идешь по Никольской, а у Пантелеймона стоят по стенке, дожидаются: мощи привезут[1] – стою и жду. В церковь зашел Добронравов: к плащанице приложить-

ся и свечку поставить. – – Он был очень болен: крупозное воспаление легких, недавно из больницы Но выглядел ничего – очень только бледный – а нарядный такой Я свое: о «Черноризце». Но он рукой так – пенснэ поправил.

«Ну что нового на Олимпе?»

«Мне – насчет “Олимпа” – !? – И прошу. собрать бы те главы “Черноризца”, что он написал, – и мне дайте, я придумаю!»

И простились.

В последний раз. На Преполовение (середа 4-й недели) помер: недели не пролежал, «вдруг одно легкое истлело» – скоротечная чахотка!

А когда он приехал в Париж, к кому я только не приставал: «послушайте, “Черноризца” Добронравов прочитает!»

«Какой Добронравов?» (а были: «какой Тихонравов?») – вижу, никто не знает.

«Добронравов, автор “Новой бурсы” (нет, не слыхали! – Разумник Васильевич, Добронравов помер!), автор “Новой бурсы”, родной брат Левитова (с его “белой дорожкой”, открывшейся ему весной!), Слепцов (с его “фе-фе-фофем”), Николая Вас Успенского (с жестокими рассказами и жесточайшим концом: в Москве зарезался), русский из русских – –»

6. Яков Петрович Гребенщиков

Помер Яков Петрович Гребенщиков, один из самых ревнивых и яростно-ревностных библиотекарей Государственной Публичной Библиотеки, известный всему книжному Петербургу под именем «василеостровского книгочия» и знакомый всякому, кому приходилось бывать в библиотеке – безымянно по бороде и падающим, спускающимся, как на колок, на нос волосам при исступленно-восторженном говоре на старинный манер протопопа всея Руси Аввакума.

Помер Яков Петрович Гребéнщиков, как сам он величал себя, не около дорогих его сердцу книжных сокровищ Публичной библиотеки, в которой служил с войны до прошлого года верой и правдой, «отдавая все свои силы», и не на 15-й линии Васильевского острова, окруженный любимыми книгами «первого издания», которые добывал самоотверженно, отказывая себе в самом необходимом житейском, а в Сибири, в Новосибирске, быв. Ново-Николаевске, в ссылке.

Я помню, в самую темь военного коммунизма, в годы 1918–1921, у кого только не было по слабости человеческой мысли бежать куда глаза глядят – «оставить Россию? а кому же сторожить русскую книгу?» – Яков Петрович приходил в ярость. Какая преступная рука, какого изменника России могла подписать ссыльный приговор книголюбу, стражу Государственной книжной казны, незаменимому работнику, подлинно «герою труда»!

Я. П. Гребенщиков из города Ржева, пролетарского происхождения, сам своим трудом, при всех лишениях бедности добывший себе высшее образование, человек чистого сердца, с душой песенной и умилением. Любитель старинного церковного пения, пел на клиросе и, имея голос козий, но при необычайном одушевлении, и козлогласуя, приводил в чувство и благоговение молящихся. И вообще зол был песни петь. В темь и «глад и мор» военного коммунизма, в годы 1918–1921, я не запомню жизнерадостнее человека во всем Петербурге: в какой только ячейке, на каком только собрании: и у балтморов и у красноармейцев, и на всяких «трубошных» заводах во всех районных отделах и подотделах не выступал он, «бия себя в грудь», часами читая о своем любимом библиотечном деле и библиографии, а после лекции – песни петь.

Книжники! вам это понятно: за неточное примечание, за перепутанную хронологию он мог на всю жизнь поссориться с приятелем, а за разорванную или похищенную книгу вступить в рукопашь.

На пасхальной службе в Сергиевском подворье, на Криме, под старинное пение превосходного певца Ивана Кузьмича Денисова подымалась и проходила перед моими глазами, как живая, извечная Россия от первопечатника Ивана Федорова до – Якова Гребенщикова. Эта песенная традиция, связанная с книгой – русской книгой – русским стилем – не бабьей заслюняванной, рассахаренной «патриотической», не насильственно усеченной «без музыки» глухих душ и не мещанским говорком «народных» рассказчиков, а полнозвучной русской речью со строгим, строжайшим ритмом разливного «знаменного распева», проникающего лад гоголевской речи, через старинные Киевские распевы, а главное, «думы», прозу Салтыкова, Толстого, Гончарова... Да, и Яков Петров Гребенщиков, быв. библиотекарь, стоял пере-

до мной в ряду первопечатника и протопопа, держа в руках русскую книгу, за которую готов был положить душу.

Яков Петрович, при нашем горестном расставании вы принесли и дали нам в наш страннический путь «русскую землю» из Таврического сада, вы подали в день нашего отъезда из России в Казанском о «путешествующих» и о болящем Александре – умирал Блок, которого вы любили за стихи и за его мучающуюся совесть, ваши горькие слезы над нами, – «покинуть Россию!» Яков Петрович, в наш век, когда человечество превращается в Бестиарий, и не человеческий голос, а бестий визг, окрик и клич гасит слова, а ваши любимые книги обречены на пожар, – за вашу любовь к книге, которую люблю, за вашу любовь к старинной песне, которую люблю, – и что есть прекраснее догматиков, песней, сложенных в честь Богородицы? – на пасхальной службе я подумал, это не сожжется, не может сгореть, и когда провалится мир, испепелится земля, только человеческое слово, как эти песни, вылетевшие из человеческого сердца, не сгорят, а зажгутся созвездием, и в этом созвездии будет гореть и ваш козий, но тогда чистейший голос: «Ангел вопияше».

7. Встреча

(П. Н. Милюков)

В мучительных и резких «узлах и закрутах» моей извечной памяти я различаю встречи и имена. Среди имен неизгладимо: Милюков. С его именем соединилась для меня блестящая полоса, из которой высвечивают письмена: свобода. Так оно впервые почувствовалось и представилось глазам моим; таким словом и выговорилось.

Я допевал свои последние «догматики» и в «величании» под большие праздники белым серебряным светом жарко подымался мой голос над гулом голосов. Регент Лебедевского хора сам Василий Степаныч, почмакивая губой, поглаживал меня, ерша мои вихры (открывший мой дар, он из всех первый догадывался о приближавшемся конце!); у старика-священника блестели на усталых глазах слезы, где была и горечь сердца с его бесчисленной своей и чужой бедой, но было и умиление – – этот цвет горечи, примиряющий с неизбежностью и непоправимостью человеческой

судьбы; старший мой брат, первокурсник-студент, наклонялся ко мне и, называя меня моим звериным полуименем, тихонько дотрагивался до моей уморительной пуговки – моего сломанного носа, и сами лягушки – все эти мышиные бабушки и тетки, жердястые и поджарые, уксусные и озабоченные, вечно ссорившиеся и мирившиеся друг с другом и всегда шунявшие и шпынявшие меня за дело и без дела, тут только похвально и одобрительно качали головой и, мне запомнилось, одна сказала: «Много тебе, оглашенный, на том свете грехов простится!» И сам я чувствовал и улыбался в ответ, блестя чересчур белыми, не по возрасту, зубами. Но я уж понимал, что не я, это мой голос, как когда-то моя счастливая и вдруг изменившая мне рука, и влечет и трогает, и вызывает из сердца одну горячую любовь, и что этому подходит конец: Василий Степаныч объяснил мне, что альты – до четырнадцати, а что сверх – петух. Я выходил со своего чердака и шел приговоренный ко всенощной, как на последний суд, и там не луна, колдовавшая мне на чердаке, а свечи – в волшебном свете свечей я пел, как очарованный.

Моя переломленная жизнь, мои загадочные «скандальные» встречи, ославившие меня по Москве, решили мою и без того непохожую судьбу, но не подполье, а чердак – на чердак загнало меня. И там открылись передо мной первые видения сна – я стал записывать, составляя свой бестолковый лунный сонник. И там же произошла необыкновенная встреча («встреча» по-русски больше, чем «нос-к-носу», а это, как и «напасть», «стреча» – судьба): в кладе, который я открыл под хламом, оказались среди книг «Вертер» и «Фауст».

Моя «чертовщина», если хотите, – от Гете; «Басаврюк» Гоголя и «Черная курица» Погорельского пришли позже. Душа моих «снов» – от Новалиса: его «голубой цветок», зачаровавший русскую литературу, ведь ни в одной из литератур нету столько снов, как в русской, начиная с Пушкина – подсчитайте у Толстого, Тургенева, Достоевского! – заглянул и ко мне в мое слуховое окно в полнолуние. И мною повторяемое: «пишется не для кого и не для чего, а только для того, о чем пишется» – да ведь это же отголосок Новалиса, его музыкального определения: «цель искусства не содержание, а выполнение». И то же со «сказкой», которая для Новалиса высшая форма литературного творчества. А мое пристрастие к волшебному – «таин-

ствснному» от Э. Т. А Гоффмана «Mcinc Muttersprache – Deutsch!» И когда я однажды так выразился, поднялся хохот: кому же, в самом деле, не известно мое доморощенное словесное происхождение от Аввакума, Мельникова-Печерского и Лескова. А между тем это так – в буквальном смысле: моя мать, получившая образование в Петер-Пауль Шуле, не только писала и говорила, но и «думала»-то по-немецки – оберпастор Дикхов своей педагогической системой умел и самую русейшую московскую «найденовскую» душу с Земляного Вала нарядить по-свойски в немецкие Введенские горы Лефортовской части! – и первые слова, услышанные мною и запомнившиеся, были по-немецки. От кормилицы я вслушивал русское «природное», и ее сказки, и ее песни – – с русских полей и лесов, тараканомор – «Житие Аввакума»; медник Сафронов – апокриф, а от матери – Гете, Гоффман...

За чтением проходили дни и вечера на чердаке Совсем-совсем я затих, и на фабричном дворе не слыхать было моего голоса, да у меня его и не было большс, а какой-то и вправду «петух» Так продолжалось до осени. С наступившими холодами я перебрался в комнаты. Началось ученье. И опять беда – опять ломка: очки. В очках – это было грубое нарушение всего моего внутреннего мира – все во мне вывернулось – все повернулось другим. Я и рисовать стал по-другому, и появились другие книги: теперь я с увлечением читал Писарева.

Чудно это, конечно, этот переход от Фауста к Писареву, но разве по устремлению так уж несообразно? Вспомните вторую часть... только передо мною был не берег океана с досадной лачужкой Филимона и Бавкиды, а весь мир стал мне океаном, я понимаю, и тогда еще, когда я допевал мои последние «догматики», мой голос подымался над этим океаном, а теперь, безголосый, горячими губами я только повторял на литии за голосом, подымавшимся со дна океана: «и о всякой душе... скорбящей и озлобленной, помощи требующей!» Сам я никогда не был и не чувствовал себя озлобленным, но моим резким глазам суждено было в те переломные годы заглянуть в «пылающий колодезь».

Товарищ брата, студент Беневоленский, сын священника от Симеона Столпника, давал мне книги по философии: Виндельбанд, Паульсен, Куно Фишер, и Рекламовское издание Ибсена, а из Университетской библиотеки про Китай –

мое тогдашнее увлечение, как бабочки и гербариум. А Суворовский, племянник регента Василия Степаныча – это он мне принес Писарева, а за Писаревым «Что делать?» и книгу за книгой от Слепцова до Каронина: из всех «народников» после Слепцова я назову Глеба Успенского, и я не удержался и в классном сочинении помянул автора «Власти земли» и получил двойку с припиской: «за курносого зайца».

Я помню московский мороз, с кристаллическим звуком; деревья Найденовского сада и соседнего Хлудовского, белые в сверкающем инее, чащобясь, стояли, как лес.

А вся тесная даль там, где фабричные трубы, сквозь трубы багрово-клубящаяся, и из тяжких дымов кровавый глаз солнца. будет завтра еще крепче мороз.

В этот день приходил Суворовский, он показался мне особенно взволнован, и было похоже, как однажды он пришел сказать о своем брате семинаристе: «зарезался перочинным ножиком», взбудораженно он рассказывал брату какую-то университетскую историю и с возмущением, что «приват-доцент Милюков выслан!»

В мою черную кипь его слова были искрой. Все слилось передо мной в одно слово, оно было беспредметно, но глубоко восчувствовано, ведь это была та стихия, без которой, как без воздуха, дышать нечем, а имя ей – «с в о б о д а». И для меня тогда стало ясно – мой путь жизни. И я уж не мог понять, как иначе можно жить на свете.

И тот же Суворовский как-то после летних каникул рассказывал о Звенигороде, где жил он в санатории, и в той же санатории жил Милюков. Суворовский жаловался, что за лето так мало сделал и что «волей-неволей обращаешься в чеховского героя».

«А вот Милюков, он и в ванне с книжкой сидит, читает!»

Эту легенду о Милюкове, хотя Суворовский уверял, что собственными глазами видел, я принял всурьез: все эти чеховские герои вызывали во мне досадно-горькое чувство, как пьяницы, а работа подымала рвение: я все хотел знать.

А засветившаяся мне «свобода» в памятный мороз и мой природный наперекор провели меня по тюрьмам через всю Россию и вывели в Устьсысольск. Там я жил, как когда-то на чердаке, там начал писать. Но с той поры на мне лежит упрек в «необщественности». Правда, я не ходил ни на какие собрания, но ведь для меня навсегда остались горящие письмена: свобода – свобода и думать по-своему.

Храню документ – память от Василия Васильевича Розанова.

На бланке для поступления в кадетскую партию. «Ознакомившись с программой и уставом Конституционно-Демократической партии (п. Народной Свободы), я прошу включить меня в число ее членов. Фамилия Имя. Отчество. Адрес. И т. д» На обороте адрес секретаря Рождественского комитета к.-д. партии А. П. Федорова. В примечании: «Просят обозначить, чем именно желают быть полезным партии· привлечением новых членов, распространением программ и т. д.» – «Дорогому Алексею Михайловичу с просьбой подумать, решиться и подписаться – *В. Розанов*. См. на обороте. Подпишитесь и пошлите прилагаемое: 1 к. марка».

И я представил себе Василия Васильевича, как едет он на извозчике в Соляной Городок опускать свой избирательный бюллетень за Милюкова· проезжая мимо Эртелева переулка, он приподнялся и, подмигнув, показал язык

Вечером в воскресенье за чаем у Розановых гости все «общественные», разговор о Государственной Думе В. В ругательски ругал, по-своему· «мальчишка и дурак» – и очень важных и почтенных «членов» и до самых высоких. И я подумал, не зря я получил записку на бланке.

– Василий Васильевич, – заметил А. В. Руманов, – что это вы сегодня в «Новом Времени» написали: «встанем у престола...»

– Разве я написал?

Из моих современников-сверстников ближе мне всех Блок По искренности и правдивости кого еще назвать? И совестливость – должно быть, такое было у Г. И. Успенского. И еще была у Блока та наивность, детскость, которая без всяких ярко отличает живой дар, такое я заметил у Пришвина и у З. Н. Гиппиус, такое было, несмотря на всю деланность и лукавство, у Андрея Белого и даже у сверх-лукавого Розанова, но не было ни у Сологуба, ни у Брюсова. Блок числился, как и я, в «необщественных», но он все делал, чтобы быть похожим на «деятеля». Я видел, как тяжело ему на людях, его все трогало. И в разговорах редко не упоминалось: Россия.

Как-то после лекции Милюкова – политической, я встретился с Блоком.

«Теперь я понимаю, – сказал Блок, – в России может быть парламент. С Милюковым. Вот это настоящий европеец!»

До Парижа я не встречался с Милюковым. Я участвовал в «Речи» как гастролер: через Д. А. Левина, приятеля Льва Шестова, меня печатали на Пасху и на Рождество, и дважды в году я бывал в редакции; и на вечерах у А. В. Тырковой (Вильямс) кого-кого я не видел – и Родичева, и Изгоева, и Д. И. Шаховского (изумительное лицо, как с иконы), и П. Б. Струве, но только не Милюкова. Память мою, связанную с его именем, я навсегда сохранил, я читал и его «Очерки по истории русской культуры», и «Государственное хозяйство в России первой четверти XVIII столетия». Но только здесь на «каторге» мы встретились. И что же оказывается: самый главный «гонитель и мучитель» моей «чертовщины» – называют Милюкова. «Непонятно», как это принято говорить про мое, и что я сам объясняю главным образом складом моей речи, которую русские люди, «окруженные иностранцами», или забыли или никогда и не знали – Милюков такого не скажет: он по всем ладам ходит и во всех русских веках, к слову слух. «Но, – говорят, – ни чертей, ни снов, этого Павел Николаевич не любит!» А кто-то от себя уж прибавил: «И чтобы без всяких рисунков (зайцев и прочих неподобных зверей)». А ведь у меня редкий рассказ без сна, ну, и всякие дриады (для античной Вальпургиевой ночи найдется немало и русских имен!).

На одном из моих вечеров я составил программу из «своего» и с Гоголем: «Страшная месть» и «Вий». И обещал быть Милюков. И не пришел.

Было такое мое утро – весна, но без солнца, в пасмурном небе собирался тихий дождик – приятный моим глазам и лягушкам. Я шел с молоком от Хаузера и у Эглиз-д-Отой по нашей улице навстречу мне Павел Николаевич. И это как раз после вечера! Но он не пришел, так объяснил он, а собирался – заседание задержало, и он представляет себе, как бы я ему наклал со своими чертями! И в голосе его, и как смотрел он, было столько добродушия, так не может говорить и так не смотрит, кто гонит.

И я подумал: «не может быть... и стоит только вслушаться, как оно звучит, ведь весь мой волшебный мир – только музыка!»


IX.

1. Продовольственный портфель

(М. И. Терещенко)

В нашу первую поездку в Париж в 1911 г. этот маленький портфель подарил мне самый богатый человек в России Михаил Иванович Терещенко.

В те годы соединял нас театр, потом книга, основанное им издательство «Сирин». На портфеле золотая монограмма: А. М. R. – тонкая вязь

Через тридцать лет этот портфель вышел на свет Божий: монограмму я снял – 200 фр. на вес, а в безличный, мои продовольственные карточки, как раз по размеру.

Во всех бесконечных очередях я с ним не расставался. За годы 1940–1944 сколько часов, не счесть. Стоял он со мной и в жару и в мороз и под дождем. Какими руками я за него брался. Сколько надежд и огорчений и страха: потеряю.

И терял. Хорошо еще, что не на улице, а дома, на кухне. А в нем все было цело. И только раз я не нашел мою хлебную карточку. И это было целое событие: хлеб – все. Но я не упрекал его: могу и без хлеба, не развалюсь, а ему будет отдых от хвостов и беспокойства.

2. Карандаш

Вещи, как люди и звери, привязчивы. Не случайна встреча с человеком, и со зверем не просто. Но откуда связь у человека с вещами – вещи сделаны человеком?

Встреча с живым существом объясняется воспоминаниями, а с искусственным, неодушевленным кровью? А не воплощаются ли в вещи духи – не кровью, а чем-то еще одушевленные, живые, как люди и звери.

Красный карандаш – не могу вспомнить, откуда и когда он появился у меня на столе, но я не помню, когда бы он не

был со мной во всех моих странствиях по белому свету. Рисовать им никак, да и самые тонкие пальцы не ухватят, а и ухватя, не удержат, весь исчиненный, стертый, подлинно «карàндыш» – вещь бесполезная.

Но разве только пользой мерются вещи?

Сколько раз я его терял. Думаю, всему бывает конец, вот и карандашу срок пришел. И станет жалко. И жалость поведет искать: пересмотрю все карандаши, не завалился ли, ведь такой крохотный, а нет нигде. Но «стало быть» не успокаивает И вдруг, и совсем в непоказанном месте, где-нибудь с бумагами и вытряхнется – цел

И вспоминаешь: попал-то он сюда, в непоказанное, да я сам же его положил, чтобы не потерялся. Стало быть, всю жизнь и неизвестно для чего, я его берег.

«Неизвестно, для чего?» Может, в этом и есть самая глубокая тайна.

У всех карандашей общее карандашное свойство: карандаши таскают. Но на заветный мой ни у кого не поднялась рука.

И не рад бывало: надо что-то подрисовать – красным – кровь – оживить, а мой обыкновенный красный – всегда он около чернильницы – кто-то, походя, стянул.

Тогда-то и выручает меня мой заветный· всякими приемами, носом подпихивая, пользуюсь им, как настоящим.

Сколько лет жизни со мной, ненастоящий, непригодный для своего прямого дела, он мой цветной спутник, – «красный карандаш», искорка моей воспаленной мысли и моих огненных желаний, он несет жар и теплоту волшебного купальского цветка.

В нем дух от огней Купалы – живые чары, он сохранит ваш – огонь Колядной ночи.

3. Оленьи рога

Они сами вам дались: один упал к вашим ногам, а другой в январскую грозу, когда вы переступили порог и на воле ударила молния. И в «кукушкиной» что-то упало. Я посмотрел на «кукушку» и увидел, что рóга нет больше· рог лежал на стуле, где только что вы сидели. Вот вам и второй· ваш по судьбе.

Безрогая кукушка по-прежнему кукует с запыхом, торопясь: отмеривает мне часы жизни – торопится.

Из всех моих зверей я особенно дорожил оленем: он был маленький бронзовый, тонко вырезанные рога. В тисках прошлых годов я подумал, не золотой ли? Так золотом блестели его рога. Но оказалось бронзовым, как Будда, как «золотая рыбка» и этот олень – моя надежда – никакого золота, а просто так золотой.

Когда-то просила у меня – дай его, – ластясь льняными ко́сками, а весь свой свет переливая в мои глаза.

«Кукуня, – сказал я, все что хочешь, только не оленя. Олень поведет меня в чудесные страны, он будет светить мне дорогу своими рогами. Без него мне никак – пропаду».

* * *

Что мне показалось, или безрогая кукушка ходит тише или оттого, что вспомнил я, как залетела она в нашу комнату – по ней и комната стала «кукушкиной».

Родина кукушек Шварцвальд. Сказки Гауфа и Гриммов открыли мне это чудесное на земле Чернолесье. Но моя рогатая кукушка не из Шварцвальда, а из Мадрида, где еще веют мавританские чары и «тысяча-и-одна-ночь» живет.

А привез мне рогатую кукушку из Мадрида Владимир Васильевич Диксон. Из всех, кого встречал я в Париже, он по душе мне был самый близкий.

Какою любовью сияли его глаза. Когда он переступал порог нашей двери и как жгуче было мое чувство, когда я взял его за руку – и рука его безразлично упала ему на грудь. глаза его не на меня, а в себя (1929 г.).

Кукушкины рога олюбованы горячей любовью: будут они вам светить, как тот, мой золотой олень светил мне, а дышать теплом моей любви.

4. Ртуть

Случай невероятный, но похоже есть в литературе: в «Полуночниках» у Лескова Марья Мартыновна проглотила иголку, да так с иголкой и осталась под постоянной угрозой, что вот-вот обнаружится и в месте самом несказанном. (Муж ее бросил.)

Борис Федорович Шлецер, Boris de Schloezer, музыкальный критик, непременный на французских верхах у Paulhan'a в NRF-е, потом в Pleiade, да и среди культурной эмигрант-

ской бедноты «персона»: в юбилейном альбоме «Последние новости» (1920–1930) смотрит на вас, как живой – длинный мундштук, не докурил, окурок торчит; родился в 1883 г.

Шлецер жил у Якова Савельевича Шифрина. Жили они дружно: Савельич с книгой, картинки смотрит, Шлецер по театрам ходит. Разбил Шифрин градусник, а ртуть – играет, живая! – жалко, он ее, пальцами не ловя, стряхнул в коробочку из-под пирамидоиу – порошку там оставалось на прием, ну, ртуть не запачкается.

Лето было холодное, Шлецер в вечер на трех концертах успевал, а как настала жара, вернулся, и одного не досидит, язык как у собаки, а в голове осиный улей, а изволь писать.

Шлецер вернулся с концерта, – а за вечерние часы осы, распарясь, наклали ему черного меду – голова трещит барабаном. Савельич, не раздеваясь, спал. Дома, если было никуда, приятели обращались в правоверных нюдистов. Шлецер вспомнил о коробочке с пирамидоном – на один прием не больше, и прямо из коробочки себе в ладонь и не заметил, как с порошком проскользнула шифринская ртуть.

Заметил исчезновение ртути Шифрин – пустая коробочка! – да уж было поздно.

Так Шлецер и живет сам себе градусник: в теплую погоду ртуть подымается в нем и держится столбиком, в мороз падает.

Долго потом беспокоился Савельич и все укорял себя: ему казалось, присутствие ртути может вызвать магнитные бури и Шлецеру не миновать: его притянет Эйфелева башня, и с самой верхушки шваркнет о камень – осы разлетятся, а и кусков не соберешь.

Сколько лет, сколько зим страдает Савельич от нью-йоркской погоды, а Шлецер в Париже – по-прежнему. Совсем на днях я встретил его у Barbar'ы Church – живой, как ртуть.

5. Космография

МУЧИТЕЛЬНОЕ.

Для меня самое мучительное, когда спутник мой по каким-нибудь делам пошел, ну, купить что-нибудь или за справкой, пошел: «я сейчас, подождите!» – и пропал.

Ожидание и поиски – ни другу, ни недругу не пожелаю.

УДОВОЛЬСТВИЕ.

Самое большое удовольствие для меня, да наверно и для вас да и для всякого – показать человеку дорогу.

Но мне, не говорящему путно ни на каком языке, и даже по-русски, если внезапно, не находящему слов для ответа и обреченному скитаться среди иностранцев, это удовольствие очень чувствительно.

ЛУЧШЕЕ.

Самое лучшее – смех и улыбка.

Только никогда не знаешь, что другому будет смешно и на что улыбнется. И как часто (замечал на улицах и в театрах) там смеются, когда, кажется, нет ничего смешного, и улыбаются, не знаешь почему.

ЛЫСЫЕ ПОВЕРХНОСТИ.

Лысые поверхности (пустыри, взлизы, взбоины) – излюбленное Полдневного, Ночника и кикимор – – но это вещь очень деликатная.

СТРАШНО.

Мне вспоминается случай на Таврической в Петербурге. Мы только что переехали на новую квартиру в дом Хренова. Дом еще не совсем кончен и с отоплением и трубами продолжались работы.

К нам пришел Чуковский. Сидели с ним чай пили. Разговор самый мирный, помню, объяснял я ему, почему еще не могу писать продолжение повести моей «В поле блакитном» (отдельные главы были тогда напечатаны). И вдруг из стены – из крохотной дверцы, не заклеенной обоями, выполз, – очень уж узко отверстие! – – огромный человек, не то маляр, не то печник и, не обращая на нас никакого внимания, прошел через комнату и скрылся за дверью. Я-то сообразил сразу, хоть это и было для меня неожиданно, но для Чуковского осталось: среди бела дня вылез человек из стены, прошел через комнату и пропал. Я помню его лицо – исступленное, точно застигнуло и надо ответить, а ответить и не знаешь что, слов таких нет.

* * *

И еще случай, тоже на Таврической. Повадилась к нам ходить одна барышня. Ничего она – дурного ничего не скажешь, только очень разговорчивая и ужасно восторженная: конечно, разговор про любовь. И это бы не беда, но главное, такую взяла повадку: непременно ночевать. А комнаты у нас маленькие и по ночам я обыкновенно долго сижу, писал и уж тут всякий посторонний мне помеха И не то что ей негде ночевать, у нее своя была квартира и хорошая, нет,

это такая повадка. И вот я как-то за чаем, когда подошло время – или ей идти домой или оставаться ночевать – и говорю·

– «Бог знает, – говорю, – что у нас творится по ночам!»

– Что такое?

– «А видите: тот вон отдушник – вентилятор, и из этого отдушника ночью вываливаются колбаски – одна за другой».

И должно быть, я сказал с такой верой в эти таинственные колбаски, вижу, барышня-то как застыла: поверила!

Как тогда маляр или печник, внезапно вышедший из стены, был для Чуковского, так для этой барышни вываливающиеся из отдушника колбаски, которых она еще не видела, но кто знает: останешься ночевать и увидишь.

– Вываливаются колбаска за колбаской! – повторил я.

(Я тогда сказку про «мышку-морщинку» писал и там как раз в Забругальском замке мышка это все видела)

Барышня заторопилась домой. И уж больше никогда не ночевала у нас: посидит, расскажет за чаем какую-нибудь любовную историю и вовремя домой.

* * *

И еще: но это из далеких времен, московское.

Я не знаю отчего так, а еще с детства находило на меня – «так ничего, смирно, все около книги и вдруг, ни с того ни с сего – так говорили про меня, – какис-то безобразия!» И немало было от этого хлопот другим, да и мне попадало.

Одно время, помню, – я был тогда в университете на 1-м курсе – прислуга у нас постоянно менялась из-за – – – страхов. Купил я себе за 15 рублей скелет, не составленный – отдельные кости, чтобы дома изучить все позвонки с отростками и бугорками. А жил я наверху и вот поздно вечером, как идти вниз чай пить, лампу я не гасил – керосиновая с голубым абажуром – я возьму другой раз да и на кровать к себе (кровать за печкой укромно), возьму на подушку положу череп и все такое сделаю и полотенцем и одеялом, как человек лежит. А сам вниз и что-нибудь выдумаю, будто забыл наверху, и к прислуге.

прошу –

– Принесите, пожалуйста, у меня на столе осталось!

А подойти к столу – кровать не минуешь!

Ну та, ничего не подозревая, и пойдет И представьте себе, входит: а на кровати-то там лежит – – – и свет такой от лампы Как сумасшедшая кубарем слетала вниз, – конечно, куда уж там на столе искать! – забыв за чем и пошла.

И это будет пострашнее вылезшего из стены среди бела дня маляра или печника и вываливающихся по ночам из отдушника колбасок – – или это только потом так рассуждаешь, сам страх – – ни больше ни меньше и есть одно: «страшно».

X.

Наши обжоры восемнадцатого века

Пан Халявский – 1840

Григорий Федорович Квитка-Основьяненко (1778–1843) – как мало кому известно это имя в России, а между тем его хронику «Пан Халявский» читали, как «Мертвые души» Гоголя. Значение Квитки для русской литературы чуть ли не гоголевских размеров и как предшественника Гоголя (1808–1852); и как единственного давшего образец южнорусской речи в ее обиходе или, по Аввакуму, «природной».

В русскую литературу войдут три значительнейших памятника: автобиография протопопа Аввакума (1620–1682) – образец просторечия XVII в.; и судебные показания московского сыщика Ваньки Каина (1750) – живая речь XVIII в., и «Пан Халявский» Квитки-Основьяненко. И вот уже негаданная судьба: авторы были или вне литературы или, как «Пан Халявский» – без всякой литературной претензии, а скорее с расчетом на легкое незатейливое чтение: «Тьфу! ты пропасть, как я посмотрю! Не удивляешься, право, как свет изменяется!»

Голос сожженного протопопа дойдет из пустозерского сруба до Лескова (1831–1895), голос сыщика с вырванными ноздрями и знаком на лбу В. О. Р. донесется с каторги до Пушкина (1799–1837), а легкая литература Квитки, проникнутая высоким юмором, даст Гоголю и материал, и воздух для нечеловеческого полета, а за Гоголем Салтыков-Щедрин (1826–1889) в своих прославленных «Господах Головлевых» и «Пошехонской старине» не раз вспомянет «Пана Халявского».

Гоголь и Салтыков – да это крепость русской литературы! И как же, повторяя эти блистательные имена, не помянуть Григория Квитку-Основьяненку, его единственное произведение, написанное им по-русски, хронику «Пан Халявский».

* * *

«Когда оканчивались борщи, то сурмы и бубны в сенях возвещали окончание первой перемены. При звуке их должно было оставить кушать и положить ложки. Гости мужеского пола вставали с своих мест и становилися к сторонке, чтобы дать кухарю свободно действовать. Он собирал опорожненные миски, а девки, по знаку маменьки, из другой комнаты поданному и с прикриком: “Девчата? а ну-те, заснули?” – опрометью кидались к столу, собирали тарелки, сметали руками со стола хлебные крошки, кости и пр., устраивали новые приборы и, окончив все, отходили в сторону Тут при новом звуке сурм и бубен, являлся кухарь с блюдами второй перемены и уставлял ими стол, и тогда вставший мужской пол садился по-прежнему.

Засим подносилась водка, пан полковник и гости прошены были выпить перед второю переменою

Вторую перемену составляли супы, разных сортов и вкусов; суп с лапшою, суп с РЫЖЕМ и РОДЗЫНКАМИ (сарачинское пшено и изюм) и многие другие, в числе коих был и суп исторический, подобно борщу, носивший название “Леопольдов суп”, изобретения какого-то маркграфа Римской империи, но какого? не знаю. Любопытные могут узнать наверное из исторических рассмотрений, критики и споров ученых мужей.

При начале второй перемены пан полковник, а за ним и все гости, все же мужеского пола, облегчали свои пояса. При первой и второй переменах пили пиво или мед, по произволению каждого.

Несмотря на то, что у гостей мужеского пола нагревались чубы и рделися щеки еще при первой перемене, батенька с самого начала стола ходили, и начиная с пана полковника до последнего гостя упрашивали побольше кушать, выбирая из мисок куски мяс, и клали их на тарелки каждому и упрашивали скушать все; даже вспотеют, ходя и кланяясь, а все просят, приговаривая печальным голосом, что, конечно, я чем прогневал пана Чупринского, что он обижает меня и ничего в рот не берет? Пан Чупринский, кряхтя, пыхтя и тяжело дыша, силится съедать положенное ему на тарелку, против силы, чтобы не обидеть хозяина.

Мясо разрезывалось на тарелке имевшимся у каждого гостя ножом, а ели – за невведением еще вилок – руками.

Третья перемена происходила прежним порядком

За третьею переменою поставлялись блюда с кушаньями "сладкими". То были: утка с родзынками и черносливом на красном соусе, ножки говяжьи с таким же соусом и с прибавкою "миндалю"; мозги разные, сладкие коренья, репа, морковь и пр. и проч. ВСЕ ПРЕИСКУСНО ПРИГОТОВЛЕННОЕ. При сей перемене пан полковник снимал с себя пояс вовсе, и батенька, поспешив принять его, бережно и почтительно несли и чинно клали на постель, где они (то есть батенька с маменькою) обыкновенным образом опочивали. Гости мужеска пола, сняв свои пояса, прятали их в свои карманы или передавали через стол своим женам, а те уже прятали их у себя за корсет или куда удобнее было. При третьей перемене поставлялись на стол наливки: вишневка, терновка, сливянка, яблоновка и проч. и проч. Рюмок тогда не было, и их не знали, *и их бы осмеяли,* если б увидели, а пили наливки теми же кубками и стопами, что пиво и мед. Всякому предоставлялось выпить по воле и комплекции.

С прежним порядком поставлена и четвертая перемена, состоящая из жареных разных птиц, поросят, зайцев и т. п.; соленые огурцы, огурчики, уксусом прилитые, также с чесноком, вишни, груши, яблоки, сливы опошнянские и др. родов – горами навалены были на блюда и поставлены на стол. Чем стол более близился к концу, тем усерднее батенька упрашивали гостей побольше кушать и пить, чтоб их после не осуждали, что они не умели угостить. Уже на блюдах мало чего оставалось, но батенька и остатки подкладывали почетнейшим гостям, упрашивая "добирать все и оставить посуду в чистоте". Наконец, чтобы заставить гостей долго вспоминать свой банкет, батенька упрашивали пана полковника и гостей уже обоих полов выпить "на потуху", по стаканчику медку. Тут же, пожалуйте, какая штука выйдет: в продолжение пития наливок, как уже к пиву и меду не касалися, искусно был подменен мед медом же, но другого свойства.

Прошеные гости, чтобы сделать хозяину честь и доставить удовольствие за его усердие, помня, что мед был отлично вкусен, охотно соглашались приятным напитком усладить свои чувства. Мед на вид был тот же – чистый, как ключевая вода, и светлый, как хрусталь. Вот они, на-

ливши в кубки, выпивали по полному. Батенька, поглотив свой смех и уклонясь пану полковнику и всем гостям, вежливым образом просили извинения, что не угостили, как должно, его ясновельможность и дорогих гостей, а только обеспокоили их и заставили голодать.

Пан полковник был до того времени многоречив и неумолкаем в разговорах со старшинами, близь его сидящими, после выпития последнего кубка меда онемел как рыба: выпуча глаза, надувался, чтоб промолвить хоть слово, но не мог никак; замахал рукою и поднялся с места, а за ним все встали... Но вот комедия! встать-встали, да с места не могли двинуться и выговорить слова не могли. Это – надобно сказать – батенькин мед производил такое действие: он был необыкновенно сладок и незаметно крепок до того, что у выпившего только стакан отнимался язык и подкашивалися ноги.

Проказники батенька были! И эту штуку делали всегда при конце стола и хохотали без памяти, как гости были отводимы своими женами или дочерьми, а в случае если и жены испивали рокового напитка, то и их вместе проводили люди.

Пана полковника, крепко опьяневшего, батенька удостоились сами отвести в свою спальню для опочивания. Прочие же гости расположились, где кто попал. Маменьке были заботы снабдить каждого подушкою. Если же случались барышни, испившие медку, то их проводили в детскую, где взаперти сидели четыре мои сестры».

XI.

Рисунки писателей

В традиции писателей рисование: Гюго, Бодлэр, Верлен, Стендаль, Меримэ, Жорж Санд, Теофиль Готье, Гонкуры, Анатоль Франс, Леон Блуа; традиция продолжается Валери, Поль Моран, Жакоб, Кокто, Бретон, Элюар, Анри Мишо. Известны рисунки Гете, Словацкого, Норвида.

И среди русских: с Ломоносова. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Тургенев, Лермонтов, Батюшков, Баратынский, Жуковский, Шевченко, Хомяков, Полонский, традиция продолжается: Чехов, Леонид Андреев, Гумилев, Андрей Белый, Маяковский.

Сохранился рисунок В. В. Розанова. Я видел рисунок Блока. Известно, что Л. Н. Толстой много делал рисунков к Жюль Верну, когда читал его своим детям, а известен только один: рисунок Толстого к Азбуке – Н. В. Зарецкий в Праге на выставке рисунков писателей всем его показывал.

И как начнешь вспоминать, кажется, не было и нет писателя, который бы не рисовал.

Писатели рисуют.

Объясняется очень просто: *написанное* и *нарисованное* по существу одно. Каждый писец может сделаться рисовальщиком, а рисовальщик непременно писец. Писатель по преимуществу писец: каллиграфический или исамчертногусломает, неважно, а стало быть, в каждом писателе таится зуд к рисованию.

А кроме того, в самом письме рисовальный соблазн· когда «мысль бродит» или когда «сжигается», когда «не поддается слово» или лезет несуразное, рука невольно продолжает выводить узоры – так обозначается рисунок на полях или в тексте; рисунок же выступает и из зачеркнутого, зачеркнутое – зазубренное или заволненное – всегда тянет к разрисовке: неизбежные паузы, заполненные меч-

той И то неопределенное, известное как «мука творчества», имеет наглядное выражение. рисунок. «Рукопись, испещренная рисунками», а рисунки рукописи без никакого к написанному, очень характерно для нелегкого, тугого или, как здесь говорят о таких редких мастерах слова, как Валери-Лабро «запорного» писателя.

Но это еще не все: написанное не только хочется выговорить – отсюда, между прочим, непреодолимая страсть у скучных, лишенных меры и юмора, а также и у начинающих писателей, публично читать свои произведения – написанное не только хочется произнести вполголоса, как это часто делается в процессе письма, а чтобы на-голос – во всеуслышанье, а если возможно, то и пропеть, и уж само собой, нарисовать (иллюстрации Пушкина и Гоголя).

Но и это еще не вполне творческая одаренность непременно угнездится на каком-нибудь из видов творчества, оставаясь в то же время открытой для всех других. Ведь только человеческая ограниченность – нельзя два дела делать! – да природное несовершенство исключают «мастера на все руки» в высоком значении.

Редко, но попадают случаи совместительства: Уильям Блейк, и гравер и поэт; Э. Т. А. Гоффман – и писатель и музыкант, как и М. А. Кузмин. И все-таки остаются непревзойденными Александрийские песни Кузмина, а не его музыкальные иллюстрации и Куранты; чудесные истории Гоффмана, а не его оперы; а гравюры Блейка, по крайней мере для меня, не больше как дополнения к его Венчанию неба и ада.

В рисунках писателей различаются: рисунки рукописей и те, когда писатель выступает как художник.

Рисунки рукописей неотделимы от письма; эти рисунки – продолжение строчек и являют очертание невыраженных мыслей и несказавшихся слов: рисунки Пушкина и Достоевского. В их непосредственности трепет жизни, живость «горячей руки» и отплань «воспаленных мыслей».

Рисунки писателя-художника не изрисованные, – а нарисованные, – задуманные; и любопытны только потому, что делал их или Бодлэр, или Лермонтов, или Баратынский, и без магии имен остались бы незамеченными. Общее в них: любительство, а если даже и мастерство, то никак не Рафаэль и не Калло. По этим рисункам можно судить, что занимало писателя: Гюго рисует Вианденский дом в Люксембурге, Жуковский Рим, Лермонтов Кавказ, Норвид раз-

валины Рима, – А. Н. Бснуа с закрытыми глазами скажет, кому из художников или какой школс подражал рисующий и *не могущий не рисовать* писатсль.

Стать писать и на какой-то ошибке, на каком-то сомнении, на досаде – не закрутить крючка, и вот из крючка – *мои завитки и рисунок.*

О пушкинском «крючке» рассказывает М В Добужинский в своем Рисунок Пушкина. Природа пушкинских рисунков каллиграфическая; секрет в пере: тонкость и воздушность линий, их завитной пушок вывело гусиное перо, легче ручки, нечувствительней и китайской кисточки. Старинная пропись дает указание о «чинении перьев к писму» и о «расположении себя к писму»; без этой «азбуки» пушкинская каллиграфия недоступна живому воспроизведению и остается загадочной.

«Перо способнее признается к писму из праваго гусинаго крыла кое размоча в горячей воде, чинить таким образом; срезать его бока со обеих сторон полуцыркулно из чего и произоидут два равныя острея. Из которых задняя часть срезывается долой, а на передней просекается по самой средине его расчеп. Потом положа на ноготь левой руки большаго палца, подсекается тот острый кончик пера по произволению вкось, или прямо. Корпус с головою должен быть прямо растоянием на ладонь от стола, глаза беспрестанно обращены иметь на кончик пера, а ноги должны быть прямо протянуты». (Пропись показывающая красоту Российского письма. Изданная в Москве, 1793 года. Из собрания С. Ю. Кулаковского.)

Все мое рисование из каллиграфических завитков. Завитнув, я не могу остановиться и начинаю рисовать. И в этом мое и счастье и несчастье. мне хочется писать, а завиток, крючком вцепившись в руку, ведет ее рисовать – мысли разбегаются, конец письму, а под неоконченными строчками рисунок.

Так с незапамятных времен. Но употребления из этой моей рисовальной одержимости я не делал. Я никогда не обольщался, и для меня было всегда ясно, что «легче борову свиному проткнуться в ослиное ушко», чем писателю сделаться художником.

Кое-что из письменно-рисовального я делал еще в России – и однажды участвовал на выставке футуристов у Бурлюков в Треугольнике. И потом – в Берлине, где мои начертательные рисунки приютил Вальден, собиратель

живописных и графических курьезов, в своем Штурме. Но развой и цвет моей рисовальной каллиграфии – Париж; в Париже на выставке у Оцупа, в Праге у Зарецкого, в Моравской Тшебове у Перемиловского была представлена она всех цветов, как Чичиковский шарф, а закорючек – подпишет московский подьячий Федор Грешищев.

Последние годы 1931–49, когда у меня не осталось никакой надежды увидеть мои подготовленные к печати книги, а в русских периодических изданиях оказалось, что для меня «нет места» и я попал в круг писателей, «приговоренных к высшей мере наказания» или, просто говоря, обреченных на смерть, я решил использовать свою каллиграфию: я стал делать рукописные иллюстрированные альбомы – в единственном экземпляре. И за восемнадцать лет работы: четыреста тридцать альбомов и в них около трех тысяч рисунков. Перечень 157 номеров напечатан в ревельской Нови, кн. 8. Сто восемьдесят пять альбомов «так или иначе» разошлись.

Из всех рисунков писателей я больше всего люблю рисунки Пушкина. Как бы мне хотелось посмотреть на его движущиеся чудища из сна Татьяны! А полюбились мне рисунки Пушкина за их непосредственность. Ведь только *непосредственность* – ненамеренность – передает мгновения в беспрерывном, взблеск жизни в ограниченном окостенелом событии.

И у меня, как у каждого писателя, было когда-то такое в рисунках, но по мере того как начал я выпускать мои альбомы, стал вырисовывать и обрамлять рисунки, мое «само-собой» – мое «изстрочное» – пропало. И это безвозвратно: глаз осурьезился, рука навострилась. И я невольно попал в круг Лермонтова и Бодлэра, писателей-рисовальщиков, но не имея их душуивремяпронизывающего имени, не могу претендовать ни на определение историка, ни на любопытство исследователя.

В войну я делал в больших размерах абстрактные цветные конструкции – три стены в «кукушкиной», на улице Буало в Париже, десяток у Лифаря в подвале и простенок у Кодрянских в Нью-Йорке.

XII.

Сны
в русской литературе

«Мы видим сны: но как они милее действительности? Мы грезим и грезы милее жизни! Но ведь без грез, без снов, без “поэзии” и “кошмаров” вообще, что был бы человек и его жизнь?

– Корова, пасущаяся на траве. Не спорю, – хорошо и невинно, но очень скучно».

В В Розанов. Темный лик. СПб. 1911

1. Полодни ночи

«Поло́дни» говорят, когда весной с оттаявшей земли подымается густой теплый пар – земля дышит. А «полодни ночи» сны, дыхание ночи.

1.

Как помню себя, всегда мне снились сны И не постучи в мое окно или звонок, я перестал бы различать что суточная явь, что жаркие видения – моя тонь – ночи Ночь без сновидения для меня, как «пропащий» день.

После необходимых пробуждений в день, я в «жизни» только брожу – полусонный: в памяти всегда клочки сна – бахрома на моей дневной одежде.

Завидная богатая доля – мой мир, какая большая реальность! – но зато и жестоко отмщается в жизни. Хотя сама явь не так уж ясна и математична, как это принято заключать с трезвого «недалекого» глаза, подумайте, одна «случайность» чего стоит! – а в сновидениях, под знаком как раз этой «случайности» не одна чепуха и несообразность.

Сон – это как разговор с «тронувшимся» человеком: слушаешь и все как будто по-человечески, но где-нибудь непременно жди, сорвется какое-нибудь не туда без основания «потому что» или определение уже очень неожиданное – будем рассказывать о говядине и вдруг говядина окажется не мясная, а «планетное мясо».

Все-таки приходится жить, как же иначе: и сон и явь крепко связаны и друг другом проницаемы. Зря только хорохориться, носиться с какими-то непреложными законами природы: «жизнь» ведь можно было бы подвести совсем под другие законы, взгляну на нее из сновидений, а не из

лаборатории. Но и жить с одними сновидениями один пропад – каша и неразбериха, по себе знаю.

Часы у меня с одной стрелкой, большая отскочила и всегда спешат, я живу приблизительно, отчетливо не различая дня – вещей и происшествий. Но что я заметил: когда я обрежу себе палец, чиня карандаш или разрезая книгу или чистя картошку, кровь меня сейчас же отрезвит. Вот я и подумал кровь и есть явь и никакой яви без крови.

Еще приводит меня к жизни холод, но это тоже связано с кровью. А без еды я могу оставаться неделями, не спохвачусь – что такое голод я не знаю; и только жажда.

И когда у меня есть кофе и папиросы, как-то само собой все идет – продолжается в кровавой яви вчерашнее призрачное сновидение.

И кажется, тут бы и должен начаться интересный рассказ со всякими вывертами и превращениями и со всем комическим смехом над воображаемой уверенностью «правильного» человека – судьи «меры и числа», души вещей живых и мертвых А на поверку мне и рассказать-то особенно нечего. Не от беспамятности – теперь я могу судить себя и на дневное и на ночное, нет, моя бедность по моей природе: душа у меня... – не глубоко черпаю и вижу не далеко.

Или природа человека, весь его состав окостенел даже сравнительно со временем Шекспира и Эразма, огрубело восприятие другого мира и только что под носом да на ощупь. Или самостоятельно, на свой страх, будь ты хоть бездонным, а мало чего достигнешь. А для успеха непременно надо лестницу, как у Новалиса и у Нерваля, какую-то кабалистически-оккультную подпорку. Или эпилепсию Достоевского, алкоголь Эдгара По и Э. Т. А. Гоффманна. Вообще какой-то вывих, «порок», чтобы треснула кожа, а если переводить на речь, чтобы отчетливо зазвучал первозвук слова.

А я прежде всего «нормальный» – здоровая кровь, крепкое сердце и легкие для певца – мне как-то даже неловко, перед теми «отмеченными», с рассеченной глубокой душой, кого люблю и чту. И в кабале и в оккультизме я ничего.

2.

Каждую ночь я вижу сны, и поутру запишу. В течение нескольких лет вел графический дневник, рисовал сон, а вокруг события дня.

В книгах «Sur le Corniches» (По карнизам) и в «La Russie en tourmente» (Взвихренная Русь) я сделал опыт: дать переплеск сна в явь – происшествия ночи и непосредственно события дня.

Кто видит сны, не может не обратить внимания и безразлично пройти мимо своих ночей. Но обыкновенно вспоминается и рассказывают один сон, ну два, не больше.

Или бывает так: перед каким-то событием приснился сон, в памяти содержание испарилось и только остается на всю жизнь: что-то особенное снилось, но не могу вспомнить.

Так случилось с С. Т. Аксаковым, в его Воспоминаниях есть про сон роковой, бесследно канувший.

Сны очень коротки – или память на сны коротка? Но бывают сны «высокого дыхания» – если записывать – хватит на несколько страниц: одно за другим, точно разобранный день; бывают такие дни, начнется с утра и пойдет, все что-то совершается, и так до ночи.

И как бы ни был сон несообразен, а чем неправдашнее, тем из снов он «снее», мера дневного сознания держит его крепко. в самом сне можно ведь сказать: «Это мне снится»

В литературных снах – сны в рассказах – всегда любопытно, где «сорвется» дневное (реальное) сна. В этом срыве все искусство. Большим искусством в описании снов владел Л. Н. Толстой, наблюдавший в жизни что самому снилось и подметивший закон «беззакония» сна.

То же большое искусство у Достоевского, Тургенева, Лескова, Пушкина, Гоголя, Лермонтова.

Есть сны и у Горького, хорошие, в смысле приближения к сонной душе, только «калибром поменьше».

Сонного дара лишен был до жалости Гончаров, назвавший лучшую главу «Обломова» сном Обломова, как и Короленко со своим «Сном Макара». И как это ни странно, Чехов, написавший «Черного монаха».

3.

Во сне разрушаются дневные формы сознания или надтрескиваются, и сон как бы завязает в привычных формах яви: на 2×2 отвечаешь с большим раздумием и не уверен – «кажется, говоришь, 4». Но пространство со своей геометрией и тригонометрией летит к черту, такое в горячем сне, из которого сна пробуждение, как от толчка, и

скачет пульс В будничном сне все остается на месте, как в жизни. «снилось мне вяжу чулок» (из снов нашей ягиной консьержки).

И нет ни прошедшего, ни будущего – время крутится волчком: на вчерашнее, которое представляется настоящим, наваливается, как настоящее же, и то, чего еще нет и не было, а только будет ни впереди, ни позади.

Действие во сне не «почему-то», а «здорово-живешь» и «ни-с-того, ни-с-сего». Закон «причинности» в жизни бьет в глаза – все, что делается, все из «потому что», но ведь и в жизни разве все объяснимо? А в снах полная неразбериха.

Действие во сне можно представить, как ряды нагромождений вверх. И никакого в принятом значении смысла. Подлинный сон всегда ерунда, бессмыслица, бестолочь, перекувырк и безобразие.

«Кто ничего не делает, того нельзя осудить ни за что». – А на поверку-то выходит не то: судят, да еще и как – приговаривали к высшей мере наказания!

«Тот, кто молчит, не может проговориться». – А вот поди и разболтался и всех головой выдал.

«Бас не пропищит дискантом!» – Слышите, пищит, невероятно, а ведь как отчетливо.

И все это неправда о бездельнике и молчальнике и о пискливом басе, все это только из сонного «безобразия» – из правды сновидений.

Сон – образчик всякого преступления. Преступление – душа всех действий сновидения. И безнаказно Но преступление ведь это мечта жизни, в непреклонной, запутанной законом, яви, в царстве кары.

Макбетовское «убить сон» – последнее и окончательное слово смерти.

4.

Связан ли сон только с жизнью или жизнь только схватывает сновидение, окрашивая или подмешивая в свой алый цвет и втискивая в свою форму? И «сниться» значит «быть» А будет «быть» и «видеть сны» одно, тогда могу сказать, что человек, выходя из жизни, входит в чистый сон или так: сон продолжается и после смерти, но без пробуждений.

А снится каждому сообразно с его представлением о загробной жизни, пока не исчерпается все содержание веры, и тогда душа человека искрой канет в океан. А кто никак

не связан с небом, «продолжает штопать чулки» или «раскладывать слова», вообще заниматься делом своей жизни.

Продолжающееся бытие мертвых открывается в снах у живых В сновидении единственное общение «этой» жизни с «той» жизнью. Только так мертвые и могут входить в жизнь живых и, возможно, что и живые могут что-то изменить в судьбе мертвых.

5.

В снах есть форма и цвет, и звук, и запах – «повеяло морем». Цвет зеленый, красный, голубой, серебряно-снежный, – но я не знаю, мне не приходилось видеть во сне солнце.

Во сне всегда лунная ночь – Астарта (Istar), цвет мертвых А формы – от дневной привычной и до чудовищной – все, что можно вообразить себе из нарушающего линейные представления, а бывает такое. опрокинуто и летит, – никакому воображению не поддается Или надо сделать как-то так прорвать бумагу и вывести рисунок не на другую страницу, а на палочках вверх – мудрено.

6.

Если только через сон я чувствую связь с миром мертвых, то что и говорить о связи с миром живых.

О себе и о другом узнаешь из сна такое, о чем и не подозревал. И никакой разговор, никакое присматривание и вглядывание не откроют того, что так и просто обнаружит сон.

Во сне нет дневной условности и ничего не застит, и самому себя стесняться нечего – душа нараспашку, а другой, как на ладони, во весь рост и телешом.

О своей пражизни только и узнаешь, что из сна, тоже, не так отчетливо и подробно, и о других; и о будущем своем, тоже и о других.

7.

Сон вернейший проводник мысли, только были б открыты двери, не загромождены вещами жизни.

Сны бывают вялые – безразличные, и жаркие: по жарким путям передается мысль. Конечно, надо, чтобы и другой – к кому направлена мысль – подхватил ее.

Бессонному – как стене горох.

Кто-то крепко подумал и написал мне письмо, а мне снится он – незнакомый. Наутро я получаю письмо – это письмо от него: стало быть, его мысль проникла ко мне.

Незаполненного пространства нет, но пути забиты дневной необходимостью. Связь порвана или вернее завалена.

Конечно, зачем сны, когда и самые поддонные мысли можно передать через радио, но в другой мир – туда только один путь и иного нет· сновидение.

8.

Во сне открывается завтрашний день.

Вот пример из будничной жизни: вижу во сне каких-то неизвестных мне детей, помню, двух девочек-близнецов. «Чудно, думаю, приснится, и к чему?» – мой первый вопрос по пробуждении. И забыл, неважно. И что ж вы думаете, еду в метро и вижу, входят в вагон: мать и две девочки – ну, как во сне.

Но в этот день ничего не случилось, стало быть, мой сон – ни к чему, а просто во сне прошло передо мной дневное завтра.

Мне случалось видеть во сне целые сцены из будущего и с подробностями и совсем не по пустякам

Что же получается? Или все уже готово до моего последнего дня на земле с живыми людьми, и мое «хочу» и «не хочу» только самообман. Я и не захочу-то потому только, что я не властен «захотеть» и всякие мои предосторожности и расчеты только игра: тешиться самовольем. И это дано, но судьба (предначертанное) возьмет свое. И самые верные предсказания не из рассуждений, а из сновидений, только б... только б приснилось!

Так было в древних Оракулах, где были собраны только сновидцы.

Но много ль на земле сновидцев? Я думаю, больше чем думается. Но что ж из того? В наше время предсказывают погоду – на предсказания мало кто обращает внимание. А о событиях человеческой жизни нигде не печатается. У Мартына Задеки есть общие: война, бедствия. Но мы – я могу только из себя или от того с кем связан – с кем проницаем. И не по глазу, а только из сна: сна о себе и сна обо мне.

Но о достоверности нечего говорить. прежде всего я сам себе не верю, а другому и подавно.

9.

В снах много игры в словах. Вот пример: я вижу Барановскую; она стоит передо мной, как сделанная из костей и косточек. И я начинаю думать во сне как думается в жизни: что же ее держит? И как она не распадется? – И вдруг понимаю и хочу высказать свою мысль, но в миг моего ответа возникает другой, кем-то заготовленный ответ: мне приносят связку БАРАНОК, а в окно я вижу: гонят стадо БАРАНОВ и под моим окном БАРАН и сквозь курдюк мне ясно видно: цинковая стойка, рюмки – да это БАР, говорю. БАР-АН-ОВСКАЯ, – выстукивает музыка: бар с музыкой.

10.

Есть сны календарные: «Wetterprophet» предсказывают погоду. О ясной погоде я ничего не скажу, но о дожде и снеге это мне открыто. Смешно сказать: всякий раз мне снится наш ученый испанист и критик-философ К. В. Мочульский. И мне не надо обзаводиться никакими мозолями и никакой ломотой – без них, как по барометру скажу: по Мочульскому – дождь.

11.

Можно ли установить символику снов? или что тоже составить «сонник» для всех.

Символика передается по традиции – прививается с детства, значит, все-таки что-то можно установить и руководствоваться?

Можно, конечно, но не наверно: символика снов не постоянна. Как скорость света колеблется в зависимости от времени, меняясь в каждый час дня, так и символы меняются по человеку и его душевному состоянию.

Классическое «гуано» по всем сонникам: верные «деньги» (по-русски это понятно: слово «гуано» санскритское, означает «добро», как имущество). А ведь случается и так: снится, ногой падешь в кучу или мазнешься, а наутро не только никаких денег, а счет тебе подают (газовый или

электрический), и только платить. Вот тебе и «гуано».

То же и с деньгами: деньги – серебро – слезы – и кажется, кроме неприятности ничего не жди, а хвать – чек на 1000 фр. Вот тебе и раз!

На Сонниках и даже на «восточных» далеко не уедешь.

12.

Есть сны сухие и есть клейкие. Сухие исчезают при первом оклике, даже при первой мысли о пробуждении А «клейкие» сны как всадились и крепко, по крайней мере до вечера, никакая сутолока их не развеет. И под ними ходит человек, тычется или весь день горит в тоске.

13.

Самое тягостное в снах: возвращение из прошлого· события и лица – казалось бы изжитого, забытого навсегда.

Или ничего-то не погибает – и прошедшее живет в настоящем какими-то наслоениями, не отмирая? Какой груз несет моя душа!

14.

У писателей сны принимают литературную форму, привычка-ремесло. Интересно как у музыкантов? Но что удивительно у людей, ничего общего со словом, вдруг снится – и часто единственный и на всю жизнь памятный сон – полный поэзии. А ведь это все равно, что камни, которым открыты только глаза, немые камни вдруг бы да запели!

Или «поэзия» и есть самая сердцевина нашей загадочной жизни – душа бесконечного мира?

15.

Есть способ наловчиться припомнить сны. Только это совсем не так, как вспоминаешь прошедшее в жизни.

Вот что говорит наш легендарный Мартын Задека:

«По пробуждении от сна напрягается ближе к макушке, откуда и надо зацепить, и тащи, не обращая внимания».

Попробую.

2. Тонь ночи

Тонь – тоня – глубокое место, где ловят рыбу. Закидка невода: «в иную тоню воз вытащишь, в иную ничего». Не жалуюсь: порожнем не подымался.

Из тысячи снов я выбираю сто. В них моя взбудораженная душа, – так говорит мне мое наддушевное – мой горький страж: он знает больше меня и, следя за мной, никогда не встревается в мою растерзанную жизнь.

Моя душа не богата ни глубиной, ни размахом. Подводя итоги, я могу это твердо сказать. Правда, мечта меня не оставляет, источник моих желаний не иссякнул, чувства мои остры, но, видно, выше головы не прыгнешь.

В моих снах воспоминания, отклик на книги, события дня, игра слов и загадки-предзнаменования, которые открываются много позже, как в гадании.

О смерти моей дочери мне открылось во сне – «О тебе – Наташа». Подтверждение я получил через два года: нашли ее в больнице мертвую, это случилось при отступлении немцев из Киева 27 ноября 1943 г. Я старался воспроизвести мое сонное проникновение из Парижа в Киев и чувство непоправимой утраты, под знаком которой проходит моя жизнь.

Под тяжестью огорчений я спрашиваю, возможно ли не затягивать узел или против судьбы не пойдешь, а «он» не предостережет, да и разве послушаешься вовремя самому загасить огонь?

И еще приснилось мне, я видел подробности смерти близкого нам Вл. Вас. Диксона, я видел себя на дворе госпиталя и следил за приготовлениями. А однажды среди бела дня, глубоко задумавшись, шел я по «Av. des Gobelins», навстречу солдаты с музыкой и вдруг в моих глазах разорвалось пространство и я увидел – смотрел и ужасался – было так близко и ярко чего вернуть нельзя и никакая сила не восстановит. А потом, через много лет, все так и произошло, как во сне.

Редчайший случай, ведь обыкновенно приснившееся надо понимать наоборот.

Когда мне сказали, помер Иванов-Разумник, я не хотел верить, всего несколько дней, как было от него письмо. И в ту ночь мне приснился Иванов-Разумник: «про меня говорят, что я помер, не верьте, сказал он, я жив, я только переменил имя!» Я поверил, и всех уверял, что Иванов-

Разумник в Америке под чужой фамилией. А ведь он действительно помер.

В снах, как в гаданьи, срок исполнения не указан. И только одно, что когда-то будет. Так случилось с моей «Ивицей», понятная мне теперь, через много лет, как снилось.

По образам сна можно заключить, как живешь: нуждаешься или транжиришь. В сне «У хвоста» нищий с руками вместо ушей, а есть выражение «ходить с ручкой», что означает, попрошайничать. Небогато живется, коли такой сон приснился.

Убедительность сна – его жаркость (температура). Неотлипаемый, припеченный образ никогда не обманет, непременно обнаружится. Такой сон прожжет все препятствия и осуществится. Я знаю такие сны и последний – «Медведица».

Жаркие сны тягостны, их живое пламя тяжелое. А есть легкие живые сны и без всяких последствий. В них простое сравнение неожиданно превращается в вещь – «кошка, поставленная как цветы, съела цветы».

Живостью отличаются и сны «легкого сердца». Начало их мрачно: у тебя все отнято и нет надежды получить обратно, но тут что-нибудь совсем неподходящее, пылесос, глотающий с пылью бумажки, неожиданно забрав в свою прожорливую пасть и тебя, восстановляет порядок – и к твоему удовольствию отнятое возвращается («Пылесос»).

Или как в «Жареном Льве» угрожающая опасность рассеивается неожиданным обнаруженьем, что лев не живой, а съедобный.

«Творчество, как сновидение». А и в самом деле, откуда вдруг приходит мысль, вдруг возникает образ?

О смерти Авраама я читал в апокрифах и мне приснился Авраам, вознесенный на небеса, расправляется, карая грешную Божью тварь, и вдруг видит, издалека плывет черная точка и в ней узнал он лицо человека – это был обиженный им человек. И этот образ, может невольно обиженного, возвращает Авраама на землю. По моему жаркому чувству, я как бы находился в эту минуту с Авраамом, с его заговорившей совестью избранного и все-таки в кругу грешной Божьей твари («Трава<мурава>» и «Плачужная канава»).

Та же острота чувства и яркость видения мне говорят, что я был среди демонов в «воинстве» Сатанаила в тот

крестный час смерти Христа в дни, не отличить от ночей, когда померкло солнце и звезды, это наши глаза звездами прорезали смятение тоскующей твари, я провожал Петра, когда пропел петух и раскаяние выжгло мои слезы. Я с грозным архангелом стоял перед крестом, я не мог помириться, и за архангелом я требовал разрушить закон жизни – сойти со креста. И я стоял перед трепетавшей осиной, мое отчаяние глядело в закатившиеся глаза Иуды. И я же был той пичужкой, незатейливой песней, пробудившей Богородицу от бесчувственного сна в черный день крестной муки («Звезда надзвездная»). Я в толпе скоморохов на пиру у Ирода музыкой разжигал «Иродиаду» и бесновался в ее лебедином взлете («Лимонарь»). Я с Николой прошел всю русскую землю и путями друидов от Нанси до Нанта.

Как много я видел беды на земле и откуда столько злобы среди людей, но мне не забыть и горячее человеческое сердце, его тихий свет («Три серпа»)

И по стопам Богородицы я прошел все подземные дороги – ад. И проснулся.

Но видно мое, отравленное горечью сердце ожесточилось. Мне больше не снятся святые и двери в тайну судеб мира для меня закрылись.

*

Из истории я видел во сне Ивана Грозного, первопечатника Ивана Федорова, протопопа Аввакума, или как писалось в старину Обакума, Петра Великого («Воронье перо» и сон «Обезьяны»). Из писателей мне снились: Лев Толстой, Достоевский, Пушкин, Хомяков (сон в «Подстриженных глазах»), Розанов, Лев Шестов (всегда к деньгам), Чехов, Горький, Андрей Белый, Блок, чаще всех Пришвин.

В сне «Чехов и жареная утка» два значения: весь чеховский юмор для меня в этой домашней птице; а кроме того, «утка» говорится: «пустить утку», понимай какой-нибудь невероятный слух. В колокольном деле без утки не обходилось, такое было поверье, и когда на Москве распространялась самая вздорная ерунда, как достоверный слух, в Рядах хитро подсмеивались: «В Ярославле Оловянишниковы колокол льют, это их утка!»

Из парижан мне снились Андрэ Бретон, Рене Шар, сюрреалисты, и Жильбер Лели, переводил мою «Соломонию», автор «Маркиз де Сад», Жан Полян «Тарбские цветы» и Брис Парэн, галлимарский философ и исследователь о жидовствующих «Аристотелевы Врата» и «Логика Маймонида», П. П. Сувчинский, историк музыки, Терешкович художник.

Часто мне снится Копытчик (Сергей Константинович Маковский). Прежнее время – к веселому и приятному препровождению времени, а теперь погодное: к безбрежному, печальному туману, тоже и с Бахрахом .. или моя душа так помутилась и сердце очерствело?

*

Можно ли сочинять сны, как сочиняют стихи? В сложении стихов мера колышет воображение и вызывает образ, а сонная несообразность неизмерима. Умышленное соединение противоречий звякнет и погаснет, начинай сначала. Можно набить руку, как Кафка, или родиться Гоголем. Сон Левко в «Майской ночи» Гоголь сочинил и сонная действительность не в игре русалок, а в перевернутом зрении Левко· видя в глубине пруда отражение дома, он видит, если бы стоял перед домом.

*

Душевная встряска может вызвать сновидение даже у слепорожденных, для которых кроме дневного пустая ночь. Само собой опий, героин, а для меня непритязательный веганин – помогает от головной боли, на что я никогда не жалуюсь, и успокаивает люмбаго, если невтерпеж остро чувствовать себя.

Но можно ли так, здорово живешь, выманить сновидение?

В Петербурге на Таврической, в доме архитектора Хренова в моей несуразной пятиугольной комнате, узкий диван Днем, как лягу и непременно увижу сон. Я это заметил и ложился не потому, чтобы хотелось спать, а для снов. Потом запишу. Сны снились запутанные, но очень яркие и в литературу не впихивались, а входили свободно рассказом. Затеял я проверить на моих гостях – много ходило народу без времени – и я прошу, хоть на полчаса лечь на диван и постараться заснуть. Не всякий подда-

вался – изволь среди бела дня, когда охота поговорить, разлеживаться, чтобы только сон увидеть, но бывали податливые, не переча, укладывались на диван и засыпали. Пользуясь сонным затишием, я продолжал свою прерванную работу.

Но что странно, никому из моих посетителей, как на смех, ни разу ничего не приснилось. И я тогда подумал: у кого нет дверей в сонное царство, никакой диван не поможет, а мне, стало быть, расположение подушек облегчало путь.

*

Сновидения и самые жестокие, когда дух замирает, никогда не изнуряют душу. Сновидения дар вечной молодости И какое несчастье родиться без снов. Только сам человек никогда этого сам не поймет и не скажет – в природе все довольны и всякий сам себе мил

А посмотрите на этих сплющенных, шарахающихся летучих мышей или тупых неповоротливых гиппопотамов – им ничего не снится. Мир сновидений, как и мир сказок, их зрение ограничено – только что около своего носа, а глубже – «не понимаем». Какая скука ползет от их слов, а все их движения грузны.

Без музыки, без снов, без сказок и без «игры», она слита со сном и сказкой, да лучше бы такому не родиться на земле!

*

По ряду снов можно сказать о воображении сновидца. Воображение неисчерпаемо, но для каждого ограничено. Я это по себе вижу, замечая в своих снах однообразность.

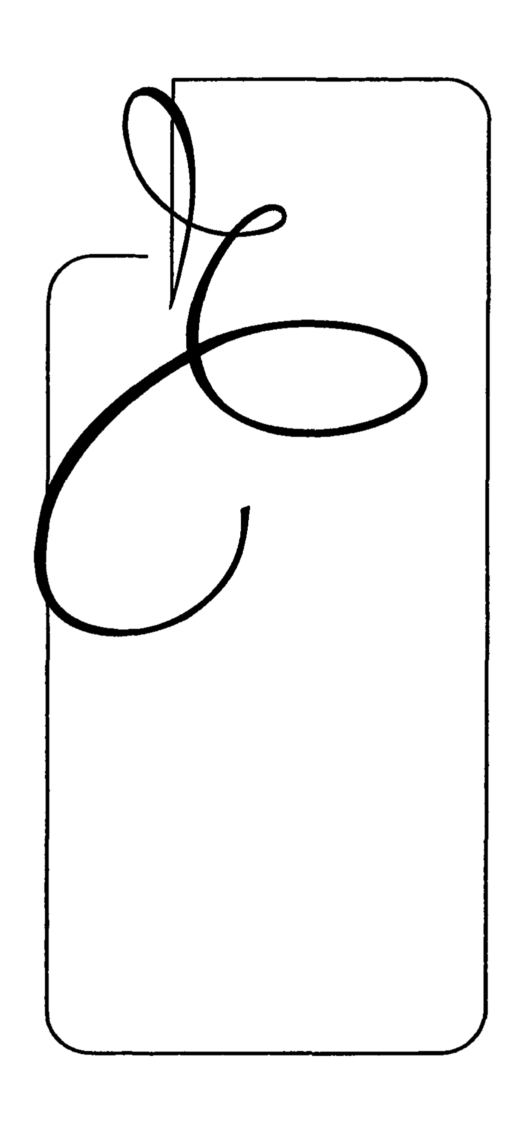
Сны, как литературное произведение, всегда словесно законченные, отлиты и переносимы с места на место, а есть сиы чистого воображения, ничем не начинаются и не видно конца, прозрачные, записать их нелегко, а записанные окостеневают.

Как в сказках, ведь сказки выходят из снов: есть сюжетные сказки, по «матерьялам», и сказки чистой сказочности, возникшие «сами-собой» из «ничего», воздушные. Такая сказочность богато представлена в книге Натальи Кодрянской.

В данном моем собрании снов сны чистого воображения.

В жизни проводник сна кровь. И опять я спрашиваю себя: пробуждение из смертиого без сновидений сна, в утро другого мира не есть ли переход в бескровное чистое сновидение?

ПРИЛОЖЕНИЯ



ДУХОВНАЯ
Алексея Михайловича Ремизова

Моим[1] опекунам – Наталья Викторовна и Даниил Георгиевич Резниковы, Тилетт и Александр Семенович Лурье, Наталья Владимировна Кодрянская (Natalie Codray) и Исаак Вениаминович (Jacques Codray) – поручаю распорядиться моим книжным добром библиотека, рукописи и рисунки

Библиотека – Резниковым, рукописи – издать.

Авторские права на мои сочинения на русском и иностранном, изданные в России и за границей, передаю моим ученицам – Наталье Владимировне Кодрянской (Codray), автор «Сказок», Париж, 1950, Наталье Викторовне Резниковой – переводчик моих «Подстриженных глаз» Les yeux tondus, Ed Gallimard.

7 (седьмое) октября
1957, Париж
Подпись
Алексѣй Ремизовъ
Alexis (Alexei) Remisoff
(Remizov)
Алексей Ремизов.

[1] Текст «Духовной» печатается по публикации НРС 1962 № 18157 v LIL 25 нояб С 8

14 Зак. 402

Басни, кощуны и миракли русской культуры («Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак» Алексея Ремизова)

«"Глаза мои, что вы смотрели, что вы видели, когда я ходил по земле?" .
"А вы, мои уши, что слышали?"
У меня две пары глаз и четыре уха, одно сердце и один ум»

Алексей Ремизов «Мышкина дудочка»

Время, отпущенное историей Серебряному веку русской культуры, было недолгим. После катастрофических потрясений, начавшихся в России с 1917 года, одни его видные деятели стали идейными эмигрантами, неприемлющими «новый порядок»; вольными «беженцами», спасавшими свою жизнь; или вынужденными изгнанниками, высланными под угрозой расстрела на случай, если бы они захотели вернуться на исторгшую их из себя Родину Другие, еще недавно блиставшие на небосклоне российского культурного универсума, существовали в условиях государства диктатуры пролетариата, и сколько тут было, по слову историка литературы Р В. Иванова-Разумника, «погибших», «приспособившихся» или «задушенных»[1].

Блестящий Серебряный век постепенно уходил в легенду В Русском Зарубежье она еще была видимой, еще жила в старшем поколении писателей, художников, артистов, продолжавших творить, оставаясь верными эстетическим «заветам» ушедшей эпохи, и в поколении молодых, черпавших силы в повторяемых как заклинания стихах Блока и Гумилева, в живописи Кандинского и Ларионова, в балетных открытиях Фокина и Нижинского В Советской России, а затем в СССР эта легенда постепенно превращалась в сказание о Китеже, но не о граде, скрывшемся по Божьей воле, а о «закрытом городе», надежно огражденном, с запретом на въезд, обреченном на забвение. Серебряный век назывался здесь не временем русского Возрождения, а «эпохой буржуазного упадка», но

---

[1] Очерки Иванова-Разумника в газсте «Новое Слово» / Встрсча с эмиграцисй Из переписки Иванова-Разумника 1942–1946 годов / Публ , вступ ст , подгот текста и коммснт О Расвской-Хьюз М , 2001 С 325–342

тем не менее он жил и на Родине, в памяти и рассказах, в переписываемых от руки текстах, в художественной практике помнивших и перенявших.

Алексей Ремизов умер в Париже в 1957 году До отъезда из России, в период с 1905 по 1921 год жизнь писателя в основном протекала в Петербурге. Оставшись на Родине, он мог попасть в многочисленные чистки «города трех революций» и окончательно «сгореть» в 1937-м; а если б уцелел, «уйдя» в сказки и переводы, то, как многие его ровесники, умер бы в Ленинграде голодной блокадной зимой 1942-го. Судьба, бросив жребий изгнанья, подарила ему десять, а может быть, двадцать земных лет.

В Париже Ремизов пережил начало и конец второй мировой войны; немецкую оккупацию; смерть жены; надежды, связанные с победой союзников, в рядах которых был и СССР; и, наконец, крах мечтаний о переменах на Родине и своем возвращении Эти горькие годы были временем нового всплеска творческих сил писателя, когда «на вечерней заре» появился ряд его поздних значимых книг, среди которых особое место принадлежит последним крупным произведениям – «Мышкиной дудочке» и «Петербургскому буераку».

Ремизов начал работу над «Мышкиной дудочкой» в период немецкой оккупации Парижа, вскоре после смерти жены Как известно, большая часть парижского бытия писателя (1933–1957) оказалась связанной с домом № 7 по улице Буало. «Реалистическая фабула» книги – это жизнь его обитателей и их друзей в годы оккупации Сохранились воспоминания соседки Ремизова Анны Кашиной-Евреиновой о судьбе жильцов этого дома в момент входа в город войск вермахта: «Вдруг в одно прекрасное сияющее июньское утро весь Париж поехал. Сначала на автомобилях и автобусах, потом на всевозможных, доселе невиданных экипажах и тележках. Потом пошли пешком <...> Потом Париж почернел: горели подожженные отступающими склады бензина <...> Он совершенно опустел. Достаточно сказать, что в нашем доме из 70 квартир, только шесть оказались с жильцами. Все остальные обитатели дома панически бежали. И было очень трудно не поддаться общей панике. Но мы <...> не поддались. Наконец, в город вошли немцы. <...> Вся деятельность в городе совершенно замерла»[1].

Когда-то под пером Ремизова петербургский многоквартирный доходный дом № 9 по Малому Казачьему переулку превратился в «героя» повести «Крестовые сестры» – в «Бурков дом» – образ-символ «всего» Петербурга, «всего» Государства Российского. В «Мышкиной дудочке» писатель использовал тот же прием художественного обобщения. Дом № 7 на улице Буало оказался населен обитателями разных национальностей – французами, евреями,

[1] Кашина-Евреинова А. Н Н Евреинов в мировом театре XX века Париж, 1964 С. 77.

итальянцами, венграми и, наконец, русскими эмигрантами. Для большинства он стал последним пристанищем, конечным прибежищем, в которое они, по разным обстоятельствам лишенные своего родного угла, стеклись из разных мест и стран. У парадоксалиста Ремизова образ скромного парижского доходного дома соединился с образом его мифологического архетипа – Дельфийского храма, где находился знаменитый Оракул, и трансформировался в образ-символ «Буалонского оракула» – места, где оканчиваются все пути, где происходит «вавилонское столпотворение», где явлены «чудеса», и где простые истории оборачиваются притчами-иносказаниями о мировых катаклизмах. А сам герой-повествователь предстал *свѣдетелем истории*, тем, кто *ведает* и кому суждено *поведать* о ее явных и скрытых событиях. «Очередь за мной, – сообщал он о себе. – Но я не чародей, не волшебник, не волхв и не кудесник: я только в стенах Буалонского Оракула и зиму и лето мерзну. Рассказать о себе нечего – я весь в моих рассказах о других»[1]

Название книги Ремизова – «Мышкина дудочка» – восходит к немецкой легенде о крысолове из города Гамельна, уничтожившем крыс при помощи чарующих звуков своей волшебной дудочки. Когда жители отказались оплатить его работу, крысолов тем же способом увел «в никуда» всех детей.

Идейно-художественная структура «Мышкиной дудочки» основана на последовательной образной и сюжетной материализации образа Смерти. Эта «героиня» повествования многолика и способна к всевозможным превращениям. В одном из своих сакрально неназванных ликов, восходящем к метерлинковской «Втируше» (вспомним, что один из ранних русских переводов одноименной пьесы был сделан Ремизовым), Смерть появляется в первой же главе книги. «Она приходит поздно вечером Она усаживается на диване против меня под серебряную змеиную шкуру, вынимает из сумочки железную просвиру и, не спуская с меня глаз, гложет. <...> Отрываясь от рукописи и от книги, я невольно слежу она про меня все знает и может больше, чем я сам о себе. < > Ее работа – никогда не кончится просфора железная, а мне . о конце и думать нечего. И мы покинем друг друга только враз. <...> И когда она гложет свою железную просвирку, я чувствую, что это кусок моего сердца» (Мышкина дудочка. С 9–10).

Ремизов обозначил жанр «Мышкиной дудочки» как «интермедия для чтения», определив тем самым ее игровую природу и близость к античным театральным жанрам Можно также сказать, что карнавал масок Смерти, трагикомическое многоголосье пестрой толпы живых и мертвых, наполняющих ремизовское произведение, восходит к традиции «менипповой сатиры», к античным «Разговорам в царстве мертвых».

---

[1] Ремизов А Мышкина дудочка Париж, 1952 С 70 Далее текст «Мышкиной дудочки» цитируется по этому изданию с указанием страницы

Начальные этапы развития сюжета «Мышкиной дудочки» – это истории умертвий – бытовое убийство жилицы, совершенное руками ее сестры, смерть от болезни игравшего на скрипке учителя, самоубийство бедствующей матери двоих детей, исчезновение-смерть арестованного соседа-еврея; самоубийство молодого француза, которого принудительно угоняли на работу в Германию Лейтмотивом повествования о времени, когда *еще* была жива Серафима Павловна, звучат слова автора, знающего больше, чем герой-повествователь, – слова о том, что сейчас она *уже* умерла.

Произведение Ремизова основано на законе романтического двоемирия Многомерно и художественное время «Мышкиной дудочки» В «реальном прошедшем» повествование – это рассказ о годах оккупации как о торжествующем шествии Смерти В этом плане автор придает немецкой легенде бытовую конкретику. В доме № 7 действительно завелись мыши Один за другим являются крысоморы и всеми способами стараются извести их Но маленькие грызуны становятся друзьями повествователя, который всеми силами хочет защитить зверюшек от безжалостных гонителей Таким образом, в мире бытовой реальности существуют жильцы, мыши и дезинсекторы

Ремизовская интерпретация легенды о гамельнском крысолове предстает также вариацией фантазий любимого писателем романтика Гофмана, не случайно один из наиболее абсурдных ремизовских анекдотов о складном «ночном судне» с внутренней подсветкой напрямую восходит к знаменитому гофмановскому «Золотому горшку» Ремизовский текст – это виртуозная игра материализованными метафорами. В сказочном мире мыши – это и есть сами несчастные обитатели дома № 7, – и, шире, огромное множество обыкновенных людей, не желающих войны и страданий А крысоморы превращаются в многоликие ипостаси Смерти, которой боятся беспомощные мышата «Ждем другого крысомора, – сообщает рассказчик, – и без всякого яда <...> Новый крысомор явится, только неизвестно когда – его секрет для мышей не яд, а дудочка; подудит он в свою волшебную дудочку и на плывущий клик ее – печальной дорогой потянутся мышиные струйчатые хвостики, все мыши до одной покинут дом. Так было обещано консьержкой извести дудочкой в нашем доме мышей, консьержка теперь < .> Костяная нога с глазами василиска, дело сурьезное» (Мышкина дудочка. С 80).

Первая кульминация сюжета – момент, когда крысолов все-таки, пусть и случайно, убивает последнюю мышь. Слепая судьба, закон вероятностей, воля Рока – детерминизм, телеологизм или «игра вещей» —все это лишь теории, которые меркнут перед единственной реальностью – Смертью Ее «торжеством» заканчивалась первоначальная редакция «Мышкиной дудочки» Но в окончательном тексте это – лишь середина книги и лишь первая – ложная – кульминация сюжета Так ли абсолютно утверждение «победы Смерти» для Ремизова, одного из первых ценителей

«Апофеоза беспочвенности» Льва Шестова? По мысли писателя, смерть тела является лишь переходом жизни в иные формы, так как существует триада. тело – душа – дух.

С начала книги повествователю дан особый дар – видеть своими «подстриженными глазами» умерших. Композиция книги может быть метафорически уподоблена процессу использования свидетелем истории – повествователем все более сильных оптических приборов, улавливающих все более сложные формы инобытия. Сначала происходят простенькие «чудеса в решете»: повествователю являются умершие «обычные» люди, оставившие на земле какие-то немудрящие, но важные для них дела. не доигравший на скрипке учитель, беспокоящаяся о детях мать, так ни с кем не успевший поговорить сосед Жучков... Затем процесс «чаромутия» усложняется – от лицезрения быта, возвращающегося из мира иного, к ви́дению вневременного бытия культуры.

Для Ремизова ее творцы – «кудесники», «чародеи», которые могут свободно перемещаться вне времени и пространства, так как искусство заключает в себе меняющее формы триединство тела – души – духа. Победа Смерти иллюзорна, конца нет, сюжет продолжается, развиваясь по восходящей линии – к конечной точке – окончательной кульминации – торжеству Вечной Жизни, являющей себя на земле в человеческих деяниях, чувствах, наконец, в высшей, по Ремизову, форме бытия – в творчестве Поэтому столь органично в повествование включены рассказы-некрологи об умерших в реальности, но живых в бытии духа – Шмелеве, Пантелеймонове, Зернове...

Название произведения Ремизова полисемантично С одной стороны, клик, издаваемый «Волшебной дудочкой», – это зов Смерти Тем самым «дудочка» оборачивается орудием Мрака. С другой – это звуки, предвещающие Воскресение из мертвых и Жизнь Вечную, тогда «дудочка» – чудодейственный инструмент в руках посланцев Творца. Но толкование названия нельзя ограничить подобной дихотомией. Есть еще один источник ремизовского текста – опера Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта», либретто которой восходит к сказке К. Виланда «Лулу» из сборника фантастических поэм «Джиннистан, или Избранные сказки про фей и духов» (1786–1789). Возвышенную философию моцартовской «Волшебной флейты» Гете сравнивал со второй частью своего «Фауста». А в «Мышкиной дудочке» существует сложное переплетение лейтмотивов, связанных с именами немецких романтиков и Гете.

Лейтмотив Жизни все сильнее звучит к финалу «Мышкиной дудочки». Наиболее концептуально он выражен в многократно цитируемом в поздних произведениях Ремизова стихотворении М Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» Отдельные строки из него писатель приводил в разных текстах последних лет, оставляя недосказанными, но мыслимыми строфы, в которых выражена основная философская идея стихотворения – идея Жизни Вечной:

Но не тем холодным сном могилы
Я б желал навеки так заснуть,
Чтоб в груди дремали жизни силы,
Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел[1]

«Мышкина дудочка» – это книга-парабола Еще в самом ее начале повествователю явлено чудесное лицезрение торжества Слова. Ремизов использует здесь традицию апокрифических «видéний» Но у него происходит еретическое оборачивание знаменитой христианской метафоры. Если в средневековых христианских «видéниях» визионеры созерцают торжество Бога как воплощение Слова, то Ремизов в своем «видéнии» показывает торжество Божественно воцаряющегося Слова: «. со всех концов мира съехались писатели и поэты и те, о которых память жива, и те, только именем вечные, но и те забытые, живые в книгах, – они тоже явились на этот праздник < > Я в моем затворе, где-то на самом краю, у какой-то в бесконечность уходящей черты < > Слепой, уверенно шел я – и вот: дворец на Монмартре < > Это книжная Палата полно книг, и встреча с рукописями Уже собралось много и входят, как я Вижу знакомые лица, и со старых портретов знакомые < > И вдруг <...> покатился колокол беспредельно полного звука. <...> Зачарованный, я слушал И все, вся зала с насторожившимися книгами, все, кто были тут, знакомые и неизвестные, странные, древние – замерли в очаровании» (Мышкина дудочка. С. 34). Знаменательно, что в видéнии повествователя фантастическая «Книжная Палата» – «дворец на Моимартре» находится на месте крупнейшего в Париже Собора Сакре-Кёр

Сначала видéние явлено, но остается непознанным Череда трагических и комических событий жизни заслоняет его от взора визионера. Но дойдя до края черты, испытав самое страшное – смерть любимой, казалось бы, потеряв все, повествователь переживает катарсис. И тут перед ним вновь раскрываются двери в мир сущностей, одной из главных составляющих которого остается бессмертная мировая культура. В финале «Мышкиной дудочки» повествователь как бы обращает мысленный взор к перипетиям своей судьбы, стремясь понять причудливую «игру вещей».

По отражению хронологии жизни Ремизова «Петербургский буерак» является продолжением «Иверня» Но более значимо то, что эта книга является дальнейшим развитием идейной концепции «Мышкиной дудочки» Если повествование о Буалонском оракуле «чародейным способом» нашло путь к читателю, оказавшись

[1] Лермонтов М Ю Собр соч В 4 т Т I М, 1964 С 128

опубликованным в издательстве «Оплешник», то «Петербургскому буераку» это было не суждено Примечательно, что сам писатель называл его – «моя посмертная книга», над которой он продолжал работать до последнего дня своей жизни Но несмотря на сложность литературной судьбы, это произведение, представлявшееся многим так и не созданным в целостном виде, по сути, публикуемое только теперь, через 45 лет после смерти автора, это произведение существовало в реальности и уже давно стояло на полках царствующей над миром Книжной Палаты, явленной в видéнии Ремизова.

«Петербургский буерак» – это последнее крупное произведение Ремизова, выполненное в технике «court-métrage», созданное из новых текстов и, используя термин М. Погодина, из «обрывышков» – уже опубликованных статей, заметок, некрологов. Не случайно первым вариантом названия были слова «Шурум-бурум» – выкрик петербургских торговцев старьем Сам факт работы над этой книгой представляет собой творческий подвиг Ремизова Еще в 1949 году полуслепой писатель сообщал Н. Кодрянской «Едва разбирал рукопись и путался в машинных строчках. Я все еще на Шурум-буруме» (Кодрянская. Письма. С. 118). Процесс создания произведения продолжался до 1957 года, под конец в условиях полной слепоты. И тем не менее книга получилась и является произведением, продуманным по композиции и обладающим законченной идейно-художественной структурой.

Окончательное название книги – «Петербургский буерак». По словарю В Даля, *буерак* – это «сухой овраг, водороина, водомоина, росточь»[1] Как всегда у Ремизова, заглавие является одновременно и реалистически-точным, и символически-обобщенным Если обратиться к научным описаниям природных условий, в которых расположен Санкт-Петербург, то можно узнать, что он находится в «пределах Приневской низменности», на которой «насчитывается до 6 и более террасовых уровней, слабо наклоненных в сторону Финского залива и реки Нева (ниже 4 м, 4–6 м, 6–10 м, 10–15 м, 15–20 м, 20–30 м), отделенных друг от друга абразивными уступами»[2]. «Приневская низменность» – «Петербургский буерак». Однако, кроме реалистического, название имеет и второй, символический характер.

«Петербургский буерак подымается погýром над Парижскими холмами» (Петербургский буерак. С. 174)[3], – таким оксюмороном начинает Ремизов свою книгу, которая посвящена прошлому, увиденному из настоящего в свете будущего.

---

[1] Даль Вл Толковый словарь живого великорусского языка 2-е изд СПб; М, 1880 Т I С 137

[2] Санкт-Петербург Петроград Ленинград Энциклопедический справочник М, 1992 С 11

[3] Так как окончательный авторский текст «Петербургского буерака» впервые издается в настоящем томе, то ссылки на него приводятся по данной публикации с указанием страницы

Фактографически произведение касается петербургского периода жизни Ремизова, начиная с 1905 года – момента появления в городе на Неве начинающего писателя и кончая 1921 годом – временем его отъезда из Советской России Эта книга Ремизова – еще одно важное составляющее, пользуясь понятием В. Н. Топорова, единого *петербургского текста* Так изначально она была задумана самим автором. С одной стороны, ее название продолжает семантику заглавия предыдущего ремизовского «петербургского» романа «Плачужная канава» *Канава / буерак* – знаменательная и отнюдь не случайная лексическая перекличка С другой стороны, Ремизов строит произведение на перекрестье привычных мифологем *петербургского текста* и собственных новых мифологем, активно внедряемых и органично сливающихся с традиционными

В русской литературе петербургская тема связана, в частности, с двумя устойчивыми сюжетными мотивами Во-первых, это мотив карьеры, ради устройства которой молодой человек устремляется в Петербург. Во-вторых, это – мотив Петербурга как амбивалентного «героя», активно вмешивающегося в судьбы людей

Ремизов обратился к двум традиционным источникам петербургской темы – к творчеству Н Гоголя и Ф Достоевского Но при этом, как всегда происходит в его произведениях, банальность парадоксальным образом оборачивается новацией Ремизов накладывает сюжетные «клише» и литературные маски из произведений классиков на реальные обстоятельства и героев, чья подлинность абсолютно доказуема Он рассказывает историю *своей литературной карьеры*, насыщая и переполняя страницы точными датами, именами, событиями Как можно убедиться из реального комментария к «Петербургскому буераку», все подтверждается с фактологической точностью, устанавливается на уровне архивного первоисточника, и в то же время Ремизов создает развернутый вариант *своего петербургского мифа.*

Молодой бедный провинциал, способный начинающий писатель приезжает в столицу, его первые произведения имеют успех, ему сулят большое будущее, и вдруг все рушится, инфернальные злодеи (выходцы со Смоленского кладбища, «тараканоморы») несправедливо обвиняют его в плагиате, все двери захлопываются, герой впадает в нищету, его единственными друзьями оказываются изгои и бретеры .. Ну разве не похоже на сюжет какого-нибудь забытого петербургского романа или повести классического периода русской литературы XIX века? Нет, это истинные *факты* литературной судьбы Алексея Ремизова, но факты, увиденные сквозь «магический кристалл» петербургской литературной традиции. «Униженный и оскорбленный», «без вины виноватый», «отверженный» – такой облик имеет «Ремизов» – герой страниц «Петербургского буерака», посвященных рассказу о его «литературной карьере». Эта история одновременно и воспоминание о «доподлинно» случившемся, и романтическая легенда, в которой реалии превращаются в

символические образы Писатель трансформирует семантику «своей литературной карьеры» методом ассоциативного подключения к «сюжету о Ремизове» типологически сходных «петербургских историй» о судьбах художников, писателей, артистов, попадавших в пространство прбклятого города. Таким образом происходит переход текста с уровня мемуарно-биографического на уровень символический Возникает характерная для «петербургского текста» мифологема – история трагической судьбы истинного таланта.

В «петербургском тексте» важную роль играет сам столичный город, в одном из своих обликов предстающий как воплощение Российской империи, и противопоставленный России – матери-земле, символом которой в литературе XIX века неоднократно становилась древняя столица – Москва. Произведение Ремизова продолжает и этот вариант «петербургского мифа». Не случайно столь важное место занимает поездка писателя в Москву, чтобы именно *там* оправдаться от обвинения в плагиате Однако Ремизову, глядящему на «петербургский буерак» с «парижских холмов», видны и произошедшее крушение Петровской империи, символом которой был Петербург, и падение последнего блестящего метеора петербургского периода развития русской культуры – эпохи Серебряного века. И тут писатель находит необычный символ для выражения сути этой эстетически-утонченной, этически-двусмысленной и оказавшейся столь недолговечной эпохи. «В судьбе каждого писателя есть своя таинственная статуэтка, и только в истории литературы обнаружится, стоило ли ее беречь в Эрмитаже или это такой вздор, годный лишь навыброс» (Петербургский буерак. С. 204).

Впервые история с тайной демонстрацией петербургским эстетам (художникам, писателям, философам и музыкантам) воскового слепка с фаллоса князя Потемкина-Таврического, хранящегося как раритет в Императорском Эрмитаже, была зафиксирована Ремизовым в книге «Кукха. Розановы письма» (1923). Скорее всего в основе описанного лежал, как обычно у писателя, реальный факт. В «Кукхе» эта история напрямую связана с изображением личности философа В. Розанова, для которого, как тогда говорили, «вопрос пола» был одним из коренных философских вопросов, рассматриваемых им в разных аспектах и ипостасях. В «Петербургском буераке» Ремизов использовал текст «Кукхи» как архивный источник, в котором запечатлен некий факт, но одновременно он полностью переосмыслил этот исторический анекдот из эпохи Серебряного века. В новой книге таинственная «статуэтка» перекочевывает из интимного кружка эстетов на широкие просторы Петербурга, проникая в Академию наук, в Синод, везде, всюду, добираясь даже до правительственных сфер Теперь история «статуэтки» Потемкина, уподобившись и слившись с давней петербургской историей «носа» майора Ковалева, предстает последним звеном фантасмагорического бытия фантастического города и связанного с ним периода русской истории

и культуры К ремизовской «статуэтке» применим финал гоголевской повести «Нос». «Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного <..> Но неприлично, неловко, нехорошо! < .> Но что страннее, что непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. <...> Во-первых, пользы отечеству решительно никакой, во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. <...> А всё однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то»[1].

Как и в «Мышкиной дудочке», в «Петербургском буераке» Ремизов предстает свидетелем истории, на сей раз в первую очередь – свидетелем истории русской культуры, который одновременно констатирует фактический конец ее петербургского периода, и в то же время переход достигнутых ею свершений в общемировой культурный фонд

Композиции «Мышкиной дудочки» и «Петербургского буерака» при всем видовом разнообразии обоих произведений сходны одной существенной чертой. И в первой, и во второй книгах к середине произведения развитие действия доходит до кульминации, являющейся одновременно как бы тупиковой развязкой сюжета. С отъездом Ремизова его петербургская литературная карьера окончилась, завершилась и история «статуэтки» – эпохи Серебряного века Но в «Петербургском буераке», как и в «Мышкиной дудочке», это – лишь ложная развязка, после которой следует еще много сюжетных поворотов. Эпоха умерла, но она продолжает жить, так как живет созданное ею искусство Перефразируя «Балаганчик» А Блока, эпоха истекает кровью, но последняя оборачивается и клюквенным соком

Значительное место в последней книге Ремизова занимает всестороннее раскрытие игрового начала эпохи Серебряного века Оно всеобъемлюще и многообразно. Это и «жизнетворчество», и тот взлет театральности, не только свидетелем, но и непосредственным участником которого был Ремизов. Перед читателем «Петербургского буерака» предстают многие блистательные корифеи драмы, балета, оперы, симфонической музыки Коммиссаржевская, Мейерхольд, Евреинов, Шаляпин, Фокин, Лядов... Список имен, которые поминает Ремизов, почти бесконечен При этом различные действа «петербургской русалии» изображены как база, как корни чудесного дерева, которое расцветает и распространяется по миру, выйдя за рамки не только Петербурга, но и России Тем самым казалось бы исчезнувшее сохраняется, так как оно воплощается в продолжающемся процессе творчества В этом плане для Ремизова идеальной моделью петербургского волшебства предстает русский балет, чье победное шествие по

[1] Гоголь Н В Собр худож произв В 5 т Т 3 Повести М, 1960 С 92–93

миру началось еще в период Серебряного века в облике парижских Русских сезонов Дягилева Фокин – Нижинский – Лифарь – русский «пляшущий демон» продолжает чаровать мир.

«Обрывышки» статей, некрологов, мемуарных очерков, перемежаемые то «интермедией», то «литией»... Весь этот комплекс текстов малых форм на первый взгляд кажется хаотической и пестрой мозаикой, россыпью блестящих самоцветов, которые Ремизов как бы перебирает в руках, не зная на чем остановиться Характерно, что их состав меняется в разных вариантах книги Этот кажущийся «шурум-бурум» составлен из имен русских писателей и деятелей культуры близких Ремизову, как А Блок и Вас Розанов, или далеких, как Л Толстой и А. Чехов, из имен людей, знаменитых в русской истории, как П Милюков и М. Терещенко, или забытых и воскрешаемых писателем, как Л Добронравов или Я Гребенщиков.

Несомненно, что на форму последнего произведения Ремизова оказала влияние парадоксальная по форме книга В. Розанова «Опавшие листья», представляющая собой как бы хаос мелочей. От некрологов и литературных портретов Ремизов *буквально* переходит к «мелочам» – об этом свидетельствуют названия глав: «Ртуть», «Оленьи рога», «Продовольственный портфель», «Карандаш» Кончается этот «бисер малый» настоящей стилизацией под Розанова – главкой «Космография», состоящей из афоризмов, житейских анекдотов и сюрреалистических парабол, подобных следующей «ЛЫСЫЕ ПОВЕРХНОСТИ / Лысые поверхности (пустыри, взлизы, взбоины) – излюбленное Полдневного, Ночника и кикимор – – но это вещь очень деликатная» (Петербургский буерак С 383). Однако «розановская» стилистика в такой же степени сознательно с определенными эстетическими целями использована Ремизовым в срединных разделах книги, в какой стилистика *петербургского текста* – в первых

Если глядеть на какую-то вещь сквозь лупу, то мельчайшее покажется ясно видным, если смотреть в небеса на звезду, то она представится маленькой точкой Ремизов и в этой книге применяет найденный им метод ви́дения «подстриженными глазами», когда трехмерное пространство становится четырехмерным, поскольку оно превращается в особое пространство русской культуры, не имеющей ограниченных временных и метрических координат Здесь царство иных величин, где, например, точно из космической бездны всплывают фантастические обжоры Квитки-Основьяненко.

«Петербургский буерак» Ремизова – книга об истории культуры и одновременно о методах постижения универсума художественным сознанием, в частности сознанием писателя При этом непосредственное создание художественного текста предстает лишь первичной формой писательского восприятия Более сложное понимание сущностных форм микро- и макрокосма достигается, по Ремизову, тогда, когда писатель чаще всего бессознательно подключает к процессу письма свою способность пластически зримо представить изображаемое словом Поэтому столь важна

глава «Рисунки писателей», в которой Ремизов рассматривает рисунок и слово как две сильнейшие взаимодействующие силы. Однако высшей стадией познания многомерного пространства мировых универсалий предстает постижение, идущее из глубины бессознательного, воспринимающее явления и сущности «напрямую» Такова, по Ремизову, роль сновидений Тем самым писатель утверждает значимость своего особого творческого метода, начало которому было положено еще в «петербургский период», когда редакторы и издатели шарахались от предлагаемым им ремизовских сновидческих циклов. Именно поэтому «Петербургский буерак» оканчивается разделом «Сны в русской литературе».

«Сон» предстает в книге как одна из важнейших онтологических категорий. Способность видеть и изображать сны, по мысли Ремизова, один из показателей наличия у писателя «глубинного зрения». С другой стороны, именно «сон» – это соединительная нить между тем, что явлено, тем, что кануло, и тем, что будет: «Связан ли сон только с жизнью или жизнь только схватывает сновидение, окрашивая или подмешивая в свой алый цвет и втискивая в свою форму? И "сниться" значит "быть". А будет "быть" и "видеть сны" одно, тогда могу сказать, что человек, выходя из жизни, входит в чистый сон или так сон продолжается и после смерти, но без пробуждений А снится каждому сообразно с его представлением о загробной жизни, пока не исчерпается все содержание веры, и тогда душа человека искрой канет в океан. А кто никак не связан с небом, "продолжает штопать чулки" или "раскладывать слова", вообще заниматься делом своей жизни. <...> В сновидении единственное общение "этой" жизни с "той" жизнью. Только так мертвые и могут входить в жизнь живых и, возможно, что и живые могут что-то изменить в судьбе мертвых» (Петербургский буерак. С. 404–405).

Последние произведения Ремизова большой формы – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак» являются продуманными и эстетически целостными выражениями художественного credo писателя. В них развернута гигантская, представленная «в трех измерениях» историческая панорама – картина заката русского Серебряного века и жизни его представителей в изгнании Но автор не ограничивается «нормально-мемуарным» взглядом на изображаемое. Перед «подстриженными глазами» Ремизова возникает вселенная русской культуры, которая начинается со времен Древней Руси, продолжается в современности и уходит в бесконечность Все существующие в ней писатели – и Епифаний Премудрый, и Аввакум, и Вельтман, и Достоевский, и Блок, и Диксон – для Ремизова равновелики как граждане единой страны Слова. В ней нет смерти, ибо ее побеждает искусство В «Мышкиной дудочке» и «Петербургском буераке» писатель утверждает свое понимание динамики эстетического проникновения в «природу вещей»: от одинокого слова, к его союзу с пластическим изоб-

ражением и далее через их единство со сновидением – вперед к открытым дверям во вселенную духа.

Вся жизнь Ремизова была вечным служением русской литературе. В 1955 году, как бы подводя итоги своего жизненного пути, он записал в рабочей тетради:

«Русский – Россия через всю мою жизнь.

Пишу по-русски и ни на каком другом.

Русский словарь стал мне единственным источником речи и склада ладов – оборотов речи.

Я вслушивался в живую речь и следил за речью старинных письменных памятников. Имея дар слова, я овладел словесным течением природной русской речи Не все лады слажены – русская книжная речь разнообразна, общих правил синтаксиса нет и не может быть. Восстанавливать к<акой>-н<ибудь> речевой век никогда не думал, и подражать не подражал, пишу на свой лад Подбрасываю слова и строю фразу как во мне звучит

Веду свое от Гоголя, Достоевского, Лескова

Чудесное от Гоголя, боль от Достоевского, чудесное и праведное от Лескова

Имя мое сохранится в примечании к этим писателям

Не разберу, на чем я кончил А стало быть судьба кончать – "до радостного утра"»[1].

Ремизов до последнего дня собирал бисер слов и низал из него узлы и закруты своих причудливых книг А в конце жизни он просто поднялся на холм, где стоит Великая Книжная Палата, и вернулся к своим – писателям всех времен и народов, собравшимся на нескончаемый праздник Слова.

А М Грачева

---

[1] РГАЛИ. Ф. 420 Оп 6 Ед хр 28. Л 46–47.

КОММЕНТАРИИ

МЫШКИНА ДУДОЧКА

Впервые опубликовано. Алексей Ремизов Мышкина дудочка Париж Оплешник 1953 205 с (МД-Оплешник)

Публикации отдельных глав

Муаллякат. Впервые. Муаллякат Подвешенный в воздухе // НРС, 1952, № 14750, 14 сент, **Чудеса в решете.** Впервые Чудеса в решете Из повести «Очарование» [Сестра-убийца Сшибирог Замечательные бриллианты Собаку мыла Но сердце не отпускает] // Новоселье (Нью-Йорк), 1945, № 22/23, нояб/дек, **Чаромутие.** Впервые Чаромутье // Новоселье (Нью-Йорк), 1946, № 26, апр/май, **Чародеи.** Впервые Новоселье (Нью-Йорк), 1946, № 27, июль/авг; **Оракул.** Впервые Дело (Сан-Франциско), 1951, № 2, февр, № 4, апр; **Мышкина дудочка.** Впервые Мышкина дудочка Из повести «Очарование» // Рабочее Слово (Париж), 1945, № 9(61), Мышкина дудочка Интермедия К истории «Сквозь огонь скорбей» // Русский сборник Кн 1 Париж, 1946 С 19–48, **Как во сне.** Впервые МД-Оплешник С 117–118, **Жучковы.** Впервые. МД-Оплешник С 119–122, **Повар.** Впервые НРС, 1952, № 14666, 22 июня, **Стекольщик.** Впервые Из «Мышкиной дудочки» // Дело (Сан-Франциско), 1951, № 3, март, Стекольщик // Грани (Франкфурт-на-Майне), 1952, № 15, **Центурион.** Впервые НРС, 1952, № 14771, 5 окт, Центурион [отрывок] // Памяти Ивана Сергеевича Шмелева Сб под ред В А Маевского (Мюнхен, 1956) С 61–64, **Кишмиш** // НРС, 1952, № 615694, 20 июля, **Гиппопотамы** // МД-Оплешник С 167–171, **Конь и лев.** Впервые Страх смертный // Подорожие (СПб, 1913) С 194–195, Страх смертный // Простая газета (Пг), 1917, № 1, 8 нояб; Конь и лев // Путь (Париж), 1926, № 2, янв, НРС, 1953, № 14932, 15 марта, **Солнечный цыпленок.** Впервые НРС, 1952, № 14673, 29 июня, **«В сияньи голубом».** Впервые НРС, 1953, № 14883, 25 янв, **Вавилонское столпотворение.** Впервые МД-Оплешник С 189–196, **Игра вещей.** Впервые НРС, 1952, № 14701, 27 июля

Рукописные источники и авторизованные тексты 1) «Мышкина дудочка» — планы, черновые материалы к книге Соответственно по каждой главе планы, наброски, черновые и беловые автографы, машинопись с авторской правкой Датированы «Январь 1940» (гл «На кухне»), Б д — ЦРК АК Кор 13 Папки 10–23, 2) «Мышкина дудочка Интермедия 1943» [Первоначальная редакция] Дата под текстом «19 II 1944» Беловой автограф с правкой (МД) — Собрание Резниковых, 3) «Мышкина дудочка» — наборная рукопись (НР-Оплешник) — комплект печатных вырезок с авторской правкой. Б д — Собрание Резниковых,

4) «Мышкина дудочка» — черновые и беловые автографы вариантов отдельных глав Даты <1940-е – 1950-е> — Бахметевский архив

Публикуется по изданию 1953 г с исправлением опечаток по НР-Оплешник

Текстологическая история книги «Мышкина дудочка» еще ждет своего изучения На основе предварительного анализа архивных и печатных источников можно сделать несколько предварительных выводов «Мышкина дудочка» является органичным продолжением «каторжной идиллии» «Учитель музыки» Самый ранний относящийся к новому замыслу текст («На кухне») датирован «Январь 1940» Событиями, стимулировавшими кристаллизацию замысла «Мышкиной дудочки», явились два исторических факта, равновеликих для восприятия Ремизова — оккупация Парижа немецкими войсками (14 июня 1940 г) и смерть С П Ремизовой-Довгелло (13 мая 1943 г) Прогрессировавшая болезнь жены прервала творческую работу писателя на три года Последствиями ее смерти для Ремизова были не только чисто физическая возможность снова «взяться за перо» в связи с «освобождением» от тягот ухода за тяжело больным близким человеком, но и душевное стремление увековечить память С П Итогом явился беспрецедентный творческий взлет Сразу же после похорон Ремизов начал безостановочно писать, одновременно работая над продолжением эпопеи «В розовом блеске» — произведением «Сквозь огонь скорбей» и над «интермедией» «Мышкина дудочка» О непосредственной связи этих двух произведений говорит авторский подзаголовок к ранней публикации части первоначальной редакции в «Русском сборнике» 1946 г «Мышкина дудочка Интермедия К истории “Сквозь огонь скорбей”» В черновиках — варианты названия «Чаромутие», «Очарование» Первоначальная редакция текста — МД — законченное произведение На титульном листе белового автографа — заглавие и подзаголовок «ОЧАРОВАНИЕ / Интермедия для чтения / Действие происходит в оккупации 1940–1943 / в Париже на Rue Boileau в доме с белыми муравьями, крысами, мышами, и блох довольно, и в Опера / Главные действующие / Иван Павлыч Кобеко, / Леонид Брат Лифаря, / Листин, / Утенок, / Акула, / Мышка / и я» В конце текста дата «19 II 1944» МД состоит из семи глав «I От Болвана до мыши Чудеса в решете», «II Мышка-слизуха», «III Шабалаамбарабурическое», «IV На улицу», «V На кухне», «VI Литература», «VII Хап и цап» Художественная структура Первоначальной редакции целиком основана на материализации метафорической семантики слова *«очарование»* Для МД архетипом является сюжет немецкой легенды о крысолове, уничтожавшем (убивавшем) крыс при помощи *чарующих* звуков своей дудочки Одно из основных действующих лиц МД — *живая* С П Начало МД — появление мышей на ул Буало *(предвестие смерти)*, конец повествования — гибель последней мышки *(торжество смерти)* Финальные строки текста — стих цитата «Вечереет ли день за могилой, рассветает ли ночь » — тематически были связаны с названием последующей книги — переработки писем Ремизова к жене — «На вечерней заре» и напрямую ориентировали весь текст на образ умершей В 1945–1946 гг Первоначальная редакции (МД) была по частям издана в разных периодических изданиях Несмотря на эти публикации, Ремизов продолжал работу над текстом, считая произведение неопубликованным, так как оно не было издано в периодике целиком и не

нению отдельным изданием. Эту стадию работы отражает переработка текста первоначальной редакции, заключавшаяся во-первых, — в смысловой правке (сокрытии точных имен персонажей под прозвищами, изменении самих прозвищ, например, «Болтун» на «Едрило» и др., смягчении характеристики литературного мира Серебряного века; последовательном исключении из текста некоторых сцен такого действующего персонажа, как С. П. Ремизова-Довгелло, и введении взамен упоминаний о ее смерти), во-вторых, — в стилевой правке текста. Факт переработки зафиксирован на обложке МД: появилось новое название и дата «Мышкина дудочка. 1943». С 1950 г. Ремизов начал публиковать собственные книги на средства, полученные им как гонорары за публикации в периодике и за переводы своих книг, при технической помощи друзей под маркой придуманного им издательства «Оплешник». В 1952 г. он решил подобным образом опубликовать «Мышкину дудочку». О материальной базе издания свидетельствуют его письма Н. Кодрянской: 1) от 10 августа 1952 г.: «уехал Лурье, оставил мне 13 000 фр. и 20 пакетов папирос. Я приставал дать больше, а то никак не урвешь на "Мышкину дудочку"». Пошлю вам запев к этой книге — "Муаллякат" называю, это я о себе» (Кодрянская. Письма. С. 287), 2) от 3 апреля 1954: «Издать самому "Иверень" безнадежно: книга не "Мышкина дудочка" — стоила 120 000 frs» (Там же. С. 355). На заднем форзаце «Мышкиной дудочки» в присущей ему игровой манере Ремизов указал своих помощников по изданию: «Эта книга под глазом *Даниила Георгиевича Резникова* отпечатана в количестве 300 экземпляров на бумаге Offset "Pacific" в типографии *Société d'Editions Typographiques*, 18, Rue du Faubourg du Temple в Париже в мае месяце 1953 года. Набирал доктор *Н. Геворгиан*, верстал *Люи Руврэ*, корректировал *Александр Григорьевич Савченко*. Цензуровано в Верховом Совете О б е з в е л в о л п а л (Обезьяньей Великой и Вольной Палаты) *Игемон Деспот Виктор Николаевич Емельянов*». О ходе подготовки книги Ремизов, уже тогда потерявший зрение настолько, что не мог сам держать корректуру, сообщал Н. Кодрянской в письмах: 1) от 9 июля 1952 г.: «Много времени ушло на проверку книги "Мышкина дудочка", туда вошло много такого, что вы знаете — прошло через ваши глаза» (Кодрянская. Письма. С. 279), 2) от 15 февраля 1953 г.: «А "Мышкина дудочка" — она должна выйти к Пасхе — была корректура, делает А. Г. Савченко» (Там же. С. 311), 3) «"Мышкина дудочка" выйдет к Пасхе, отдана в верстку. Будет возня с обложкой: в прошлом году я сделал по мерке формат "Пляшущего демона" и перерисовывать не могу, не вижу — мое поле зрения и вправду мышиное» (Там же. С. 312). При работе над окончательным текстом «Мышкиной дудочки» писатель усложнил идейно-художественную структуру текста, расширив его смысловую наполненность. Прежняя последовательность глав, входивших в МД, была изменена, в состав книги на правах глав были включены некрологи 1952–1953 гг. («Центурион», «В синяьи голубом...» и др.); притча «Конь и лев», «запев» и финал («Муаллякат», «Игра вещей»).

Критика высоко оценила «Мышкину дудочку». Так, в развернутой рецензии на книгу (НРС. 1953, № 15023, 14 июня) Ю. Терапиано указал на то, что современности соответствуют иные художественные системы и творческие методы, чем те, что были у писателей-классиков: «Ремизов, изумительные

образы Осипа Мандельштама (а не Пастернака!), "Приглашение на казнь" Сирина и некоторые другие произведения связаны с новой эрой глубже, чем мы склонны предполагать» Рассматривая книгу Ремизова как особого рода конволют, критик отметил, что «"Мышкина дудочка" — многосюжетное и многопланное повествование (по имени которого названа книга) на наш слух самая замечательная вещь из всего собрания. Даже с чисто формальной точки зрения словесное мастерство и образная выразительность стиля Ремизова достигает здесь такого уровня, что, читая, даже не отдаешь себе отчета в том, как эта вещь сделана, т е ни одно слово не "выпадает" из общего ритма речи, и только остановившись умышленно на формальном наблюдении, начинаешь замечать все особенности ремизовского языка < > Мир представляет собой как бы сон наяву, все в нем взаимопроникаемо, судьбы людей, животных и "неодушевленных" предметов связаны между собой таинством общей жизни, в мире нет ничего замкнутого в себе и отдельного, которое не могло бы превращаться из одного в другое < > Подобное ощущение мира творчески открыто всему и по существу — глубоко трагично» В статье «Новая книга Алексея Ремизова», подписанной инициалами А Ш [А Шик], рецензент писал «Я не знаю сейчас во всемирной литературе писателя, который умел бы так, как Ремизов, говорить о неприглядной серой будничной жизни < > сказочным, чарующим языком < > В рассказе < > Ремизова выявляется неожиданный, подчас грозный, затаенный смысл, а мельчайшие подробности бытия приобретают особое значение, делаясь символическими и творя легенду там, где простые смертные не замечают обычно ничего своим непытливым, невнимательным умом Ремизов умеет заполнять видимое, пустое, казалось бы, существование, внутренним глубоким смыслом и тут он, как никто близко, подходит к Эрнсту Теодору Амадеусу Гофману< > В этом втором, невидимом мире Ремизов со своими "подстриженными глазами" оказывается зорким соглядатаем, вскрывая и показуя нам невзначай тайники, от которых кружится голова» (Русская мысль (Париж) 1953 № 563 17 июня)

С 4 *Интермедия* — «небольшая комическая пьеса или сцена, разыгрываемая между актами основной пьесы Возникла в XV в как бытовая сценка и музыкальный отрывок, входившие в состав *мистерии,* в форме Интермедии в религиозное действие проникали элементы народной комедии < > Интермедия входила также в состав "высокой трагедии" в качестве шутовских сцен (например, у Шекспира) < > Как самостоятельные сатирические или пародийные пьесы Интермедии широко распространяются в рус нар Театре XVII–XVIII вв и в появившемся в петровское время городском демократическом театре» (Муравьев Д П Интермедия // КЛЭ Т 3 М, 1966 С 151)

алерт (от *фр* alerte) — тревога (имеется в виду объявление сигнала воздушной тревоги при бомбардировке)

дом на улице Буало — Речь идет о последнем парижском адресе Ремизова Rue Boileau, 7 Писатель жил там с 1935 по 1957 г

Дни Освобождения — Вечером 24 августа 1944 г в Париж вошли первые танки Второй французской бронетанковой дивизии под командованием генерала Ф Леклерка 25 августа генерал Леклерк и полковник Роль-Танги приняли от комендаита Парижа Хольтица безоговорочную капитуляцию войск немецкого гарнизона В тот же день в Париж прибыл глава Временного правительства Французской республики Ш де Голль

С 4 *«курнетраж»* (от *фр* · court-métrage) — короткометражка (кинематографический термин) См в тетради Ремизова «Как научиться писать» «Процесс моего письма от книг, памяти (воображения), от пламени моих чувств и ритма (словесное выражение) Воображение — игра памяти Мое от жизни — мои court-métrages из туманности событий я выбираю образ Череда этих образов даст картину жизни < > Работа ведется со стороны с какого-то голоса, который говорит это — так, а это — не так Стало быть, прежде всего надо найти в себе этот голос и уметь на свое взглянуть как на чужое Самое трудное — это найти — вызвать этот "корректирующий" голос» (Кодрянская С 135)

«Муаллякат» — См рабочую тетрадь Ремизова «"Муаллякат" в Мекке, в воздухе подвешенные свитки вокруг черного камня» (Собр Резниковых) См также письмо Ремизова к Н Кодрянской от 12 июня 1951 г «Муаллякат — черный камень с древними загадочными письменами висит в воздухе в Мекке» (Кодрянская Письма С 183)

С 7–8 *Она усаживается на диване ~ вынимает ~ железную просвиру и, не спуская с меня глаз, гложет ~ Ее работа — никогда не кончится просфора железная, а мне о конце и думать нечего* — Имеется в виду смерть См «К опасно-больному приходит Смерть, становится около его постели и заглядывает ему в очи < > Смерть то жадно пожирает людской род своими многоядными зубами, то похищает души, как вор» (Афанасьев-III С 42–43) Этот отрывок текста существует в виде отдельного произведения — сна «Моя гостья» (Р е м и з о в А Мартын Задека Сонник Париж, 1954 С 43–44)

С 9 *«безглагольная»* — слово употреблялось в поэтической речи романтиков (стих М Ю Лермонтова «Спор» (1841), Е А Баратынского «Водопад» (1821), вновь введено в художественную речь символистом К Д Бальмонтом в стих «У фьорда» (1894) из сб «Под северным небом», оказавшем сильное эстетическое влияние на молодого Ремизова

С 10 *В вечернем «Paris Soir» в тот же день появилась картинка* — В авторский экз кн «Мышкина дудочка» (Собр Резниковых) вклеена вырезка из газ «Paris Soir» 1936 г под загл «Le coeur percé d'un coup de couteau une femme râlait devant la porte de sa soeur» (*фр*) и портретом женщины на фоне дома № 7 по улице Буало Над фото надпись «Celleci, que l'on appelait dans le quartier «Le Diable Rouge», affirme qu'elle s'est suicidée» (*фр*)

. *сказание о новгородском старце* — Возможно, имеется в виду известная древнерусская «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского», подвижника, победившего беса-соблазнителя и заставившего его в течение одной ночи отвезти себя на поклонение Иерусалимским святыням и возвратить обратно в Новгород (см текст памятника — ПСРЛ-I С 245–248)

Другие же, как Иван Павлович Кобеко, возражали — И П Кобеко в последние годы жизни Ремизова оказывал слепнувшему писателю техническую помощь в чтении книг-источников и в литературной работе См, например, благодарное упоминание его имени, как одного из помощников, в предисловии к Четвертой редакции «Бовы Королевича»· «И П Кобеко, не менее просвещенный, тоже Бову с орды повел — воображаю, как подскочил бы его дядя Дмитрий Фомич — на "источниках" собаку съел!» (Собр Резниковых)

С 10 *заметил Овчина* . — Имеется в виду кн А В Оболенский См. о нем воспоминания Резниковой «Как-то вечером я и моя сестра привели нашего друга, кн Андрея Владимировича Оболенского Он понравился Ремизову и стал часто приходить к ним Его прозвище было "странник" или "молчальник оболенского толка" Чертами лица он напоминал Ивана Грозного Он до конца оставался другом Ремизовых, и приходил к ним в трудные минуты во время немецкой оккупации, когда большинство друзей покинуло Париж» (Резникова С. 85)

С 11 *Были Унбегауны* — Б Г. Унбегаун был постоянным консультантом Ремизова по вопросам старославянского языка. Его мачеха — Е Д Унбегаун жила на 6-м этаже дома № 7 по улице Буало См о ней в кн Резниковой «На верхнем этаже дома на рю де Буало жила "верховая", половчанка — Е Д Унбегаун — мачеха профессора-слависта Она помогала Ремизовым вести квартирные дела, переговоры с управляющим дома и консьержкой Она иногда переписывала рукописи Ремизова на машинке» (Резникова С 98)

С 12 *«православие, самодержавие, народность» ~ Уваровский выплевыш* — Формула, выдвинутая графом С С Уваровым, министром народного просвещения и идеологом николаевского самодержавия

«Революции ~ могут взвихрить русское царство » — Отсылка к названию книги Ремизова «Взвихренная Русь»

Барабош — вздор, бестолочь, дичь

Как понимать «православие» ~ по Филарету — Митрополит Московский Филарет в своих проповедях стремился избегать иностранных слов, употребляя славянские слова, а также прибегая к диалектическим сближениям (См Христианство Энциклопедический словарь В 3 т Т 3 М, 1995 С 113)

«La langue russe au XVI siècle (1500–1550)» (*фр*) — «Русский язык XVI века (1500–1550)»

С 13 *как и что пили ~ в XVII веке А Елена Ивановна ~ ссылаясь на Милюкова* — Имеется в виду книга П Н Милюкова «Очерки по истории русской культуры» (М , 1896–1903)

Мазон, последователь «скептической школы» Каченовского и Строева, написал в их духе книгу о «Слове о полку Игореве» — Единственный список «Слова» погиб при пожаре Москвы в 1812 г Осталось лишь его несовершенное издание Это дало основание ряду ученых сомневаться в подлинности «Слова» как памятника древнерусской литературы XII в В 1940–1960-е гг во главе скептиков стоял французский славист Андрэ Мазон, выдвинувший гипотезу, что «Слово» могло быть создано как подражание «Задонщине» (памятнику XVI в) в конце XVIII в (см Mazon A Le Slovo d'Jgor Paris, 1940) См изложение полемики с концепцией Мазона Лихачев Д С Изучение «Слова о полку Игореве» и вопрос о его подлинности // Слово о полку Игореве — памятник XII века М, Л, 1962 С 5–78, Гудзий Н К По поводу ревизии подлинности «Слова о полку Игореве» // Там же С 79–130

С 14 *В один трактир они оба ходили прилежно ~ Но в новом трактире друг друга они не узнали* — Цитируется стихотворная пародия Н А Некрасова (1847) на стих М Ю Лермонтова «Они любили друг друга так долго и нежно» (1841) Пародия ошибочно приписывалась И А. Панаеву Ср.

последнюю строку источника пародии «Но в мире новом друг друга они не узнали» (Лермонтов М Ю Собр соч В 4 т Т 1 М, 1964 С 118) Лермонтовское стихотворение было одним из поэтических лейтмотивов произведений последнего периода творчества Ремизова

С 15 *Едрило* — В первоначальной редакции (МД) этот персонаж имеет второе прозвище — «Болван» Существительное «едрило» образовано от глагола «едрить» — эвфемизма глагола, обозначающего совершение сексуального акта с женщиной

Никитин — Ученый-ориенталист В П Никитин, профессор Школы Восточных языков в Париже, с 1930-х гг был близким другом и помощником в житейских и литературных трудах Ремизова, его соседом по дому № 7 на улице Буало См 1) Никитин В П Объяснительное слово к «Суфийской мудрости», Переписка А М Ремизова и В П Никитина, Никитин В П «Кукушкина» (памяти А М Ремизова) Воспоминания Публ и коммент Н Ю Грякаловой // Ремизов А М Павлиньим пером СПб, 1994 С 191–238, 2) Грякалова Н Очарованный словом (О А М Ремизове и его книге «Павлиньим пером«) [О взаимоотношениях Ремизова и Никитина] // Там же С 5–16

Старинный русский обычай под голову умирающему кладут камень — каждый уносит с собой в могилу свой камень' — Ср описание погребения древних славян « Когда князь черниговский Давид < > был внесен в храм < > работники спешили обтесать камень и как скоро вложили камень в гроб, солнце село» (Терещенко А Быт русского народа Ч 2 М, 1999 С 296)

С 16 *после Бодлера* — Возможно, Ремизов имеет в виду стих цикл Бодлера «Парижские картины» из сб «Цветы зла» (1857), посвященный изображению страданий простых людей

С 17 *повторялись слова из ~ баллады 30-го года «Двенадцать спящих будочников» — эта чудная баллада оказалась роковой для цензора, Сергея Тимофеевича Аксакова* — В 1827–1832 гг писатель С Т Аксаков служил цензором в Москве и по распоряжению императора Николая I был отставлен от должности за разрешение к печати произведения «Двенадцать спящих будочников» В А Проташникова — пародии на «Двенадцать спящих дев Старинная повесть» (1810–1817) В А Жуковского

С 17–18 *А пожарные выше бегут — на 3-ий ~ Все ближайшие соседи ~ вышли на площадку ~ и пришлепнутая дама с девочкой в белом, два "истукана" ~ конеобразные сестры* — Ср в МД «Я к дверям, распахнул — а пожарные выше бегут, на третий С П книгу читает, слышала, она и крик слышала, и как бутылка упала Я вернулся к двери, а мимо нее еще с кишкой бегут Все соседи, кто только был в этот час, все вышли на площадку и жена доктора, собаки не вышли, и от Николя сам Godefroid со штопором в руках, его жена в сапогах и сын, хороший мальчик, тут и пришлепнутая дама с девочкой в белом и ее муж, из породы не ядовитых, но вонючих насекомых, такое мое ощущение, что из него беззвучно ползет (по-русски называется "бздёх"), и два истукана — на один манер и лицом и платье, немолодые уж, "несчастные" (по моему чувству) конеобразные сестры Blanche, тоже сестры, но ничего общего с итальянками» (Собр Резниковых)

С 19 *«кsurvey»*

С 20 *«крокмор»* (*фр* croque-mort) — служащий похоронного бюро

С 22 *В В Торский, заведующий сахарским питомником ручных рабочих обезьян* — Русский эмигрант В В Торский, торговый служащий в Алжире, поклонник творчества Ремизова, находился в постоянной переписке с писателем, сообщая сведения о своей жизни и присылая на отзыв свои произведения (см письма В В Торского Ремизову в ЦРК АК) Указанные сведения о профессиональном занятии Торского — мистификация Ремизова

Елка у нас не до Богоявления ~ до Прощеного дня: жалко разбирать — Ср в МД «Елка у нас не до Богоявления, как обычно бывает, а стоит во всем своем серебре до Прощеного дня С<ерафиме> П<авловн>е всегда жалко ее разбирать » (Собр. Резниковых)

С 23 *гнезд пять — Т М Лурье .* — Тамара Михайловна (Thylette), жена А С Лурье, много помогала Ремизову в последние годы его жизни См воспоминания Резниковой «К десяти часам приходила молодая француженка Тилетт, жена Александра Семеновича Лурье — сына старинного друга Ремизовых по Петербургу — хранившего верность семейной дружбе Тилетт Лурье ежедневно приносила А М завтрак порцию мяса с овощами По воскресеньям бывала курица < > Заботливо — “Тилетт привыкла обращаться с детьми”, — говорил А М, — впускала капли в нос или в глаза И брала список нужных покупок на завтра» (Резникова С 108)

С 24 *Сантэ* — парижская тюрьма

Мюзэ де л'Омм (*фр* Musée de l'Homme) — Музей Человека

архаическое обезьянье начертание — Далее следует текст предписания, стилизованного под документы придуманной писателем Обезьяньей Великой и Вольной Палаты (см подробнее О б а т н и н а Е Царь Асыка и его подданные Обезьянья Великая и Вольная Палата А М Ремизова в лицах и документах СПб, 2001 С 383)

С 26 *Иван Павлыч, сосед* — Имеется в виду И П Кобеко

знаменитое письмо Погодина с обращением к Николаю I «Восстань, Русский царь! Верный народ Тебя призывает! Терпение его истощается» — Неточная цитата из кн Б а р с у к о в Н Жизнь и труды М П. Погодина В 22 кн Кн 13. СПб, 1889. С 193

С 27 *Евреинов сидел по ночам, пишет Записки — «Из петербургских встреч»* — Ср в МД «Евреинов сидел по ночам, писал мемуары из петербургских встреч » (Собр Резниковых) О взаимоотношениях Ремизова и Евреинова 1940-х гг см. в письме Ремизова А Ф Рязановской от 15 июля 1949 г «О Евреинове я писал в *Новоселье,* где напечатаны три главы из Очарования, а четвертая не напечатана, лежит у С Ю [Прегель — *А Г*] Он живет в нашем доме внизу Когда я еще не был к а л е к о й н е п е р е х о ж е й я с ним встречался всякий день на улице Теперь, когда тепло, я выхожу и иду по стенке. А если встречаемся, на мое “здравствуйте” он не отвечает у меня ведь “паспорт русского народа”» (Р е м и з о в А М Письма А Ф. Рязановской Вступ заметка, публикация и коммент Сони Аронян / Remizov-II // Russian Literature Triquaterly № 19 Heatherway Ann Arbor, 1986. С 291)

Имена ~ ни одного альманаха без этих имен — См указ. имен к наст. тому

С 27–28 *Евреинову было что рассказать ~ Его последнее слово ~ «ничего»* — Ср в МД «Евреинову было что рассказать, работа кипела,

и только крысы, встреваясь докучали ему / Где ты теперь? С несчатой <так[1] — *А Г*> горемычной / Злая ль тебя сокрушила борьба? / Или пошла ты дорогой обычной / И роковая свершится судьба? / Так некрасовским горьким ритмом прозвучал приговор судьбе писателей, блиставших когда-то в альманахах — и даже несмотря на тысячи автографов разнесенных по Петербургу — "завстная память о бале в Купеческом клубе" или в "Собрании инженеров"! Неужто так-таки ничего и не осталось? Ни стиха, ни лирической завитушки в прозе? / Ничего» (Собр Резниковых)

С 28 *не спуская глаз василиска, опаловых* — Василиск — мифическое зооморфное существо (змей-петух), убивающий взглядом С эпохи Возрождения в Европе опалу придавалось символическое значение источника зла и несчастий, камня, связанного с черной магией (см Мистические свойства камней СПб, 1995 С 380)

Костяная нога — прозвище консьержки См также с 7–8 наст изд

С 29 *на той же высоте, как Святое Сердце* — Имеется в виду собор Сакре-Кёр (*фр* Basilique du Sacré-Coeur), построен в 1876–1914, освящен в 1919-м Расположен на вершине холма, на Монмартре Высота 80 метров Собор — одна из высотных доминант Парижа

И покатился колокол беспредельного звука ~ И все ~ знакомые и неизвестные, странные, древние — замерли в очаровании — Проекция ремизовского сюжета на сюжет немецкой легенды о гамельнском крысолове, *зачаровывавшем* игрой на волшебной дудочке

Успенье — Успение Божией Матери, двунадесятый Богородичный праздник, 15 августа (здесь и далее даты церковных праздников даны по старому стилю)

Большой кремлевский колокол — Имеется в виду «Реут-колокол» — один из самых больших и красивых сохранившихся колоколов Успенской звонницы Московского Кремля Отлит мастером Андреем Чоховым в 1622 г Вес 2 тысячи пудов (около 32 тонн) Неоднократно упоминается в произведениях Ремизова («Взвихренная Русь», «Подстриженными глазами» и др)

свет в глазах переменился ~ невечерняя голубь — Мотив мистериального преображения действительности Голубой — это Богородичный цвет (в дни праздников Богородицы облачения в храме и у священника — голубого цвета, в тексте Ремизова упомянуто Успение) «Невечерняя голубь» — ср слова молитвы священника на Литургии после Причастия « подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дне Царствия Твоего»

Росстани — «распутье, раздорожица, перекресток, до которого обычно провожают отпускаемых в путь, где разлучаются, расстаются» (Д а л ь В Толковый словарь живого великорусского языка Т IV М, 1882 С 49)

С 32 . *фессалийская шляпа Исмены!* — Исмена — в древнегреческом мифе сестра Антигоны, не имевшая духовных сил разделить ее решимость похоронить брата Полиника вопреки запрету царя Креонта Героиня трагедии Софокла «Антигона»

«Освобожденный Иерусалим» (1580) — поэма итальянского поэта Торквато Тассо (Tasso, 1544–1595) Ее сюжет основан на истории осады и взятия Иерусалима войсками Годфрида (Гоффедо) Бульонского в 1099 г

этот дом ~ памятен до смерти — В квартире на улице Буало протекала последняя смертельная болезнь С. П Ремизовой-Довгелло, которая скончалась 13 мая 1943 г

С 33 *«прямые» сделались «кривыми» ~ как на Руси ~ в смуту в XVII-м веке* — Ремизов проводит историческую параллель между историческими явлениями, характерными для Франции периода немецкой оккупации и периода русской истории 1584–1613 гг, названного эпохой Смуты В то время некоторые русские бояре превратились в политических оборотней, «перелетая», по определению публицистов XVII в, между Москвой, где правил царь Василий Шуйский, и с Тушино — ставкой самозванца Лжедмитрия II См в исследовании С Ф Платонова — постоянном тексте-источнике Ремизова «Давно втянутый в смуты и интриги, высший слой московского населения < > легко изменял царю Василию и отъезжал в воровские таборы, но также легко оттуда и возвращался и вновь начинал служить в Москве» (Платонов С Ф Очерки по истории Смуты СПб, 1899 С. 430)

под сюпервизией — под руководством (букв под контролем), от *фр* «supervision» — контроль, проверка

С 34 *«Ванька Ключник и паж Жеан» (1908)* — пьеса Федора Сологуба Поставлена Н. Н Евреиновым в 1908 г в Театре на Офицерской

залюбовался на тогдашнюю карточку Евреинова — Ср воспоминания С. К Маковского «В молодости он был очень красив И знал это Но фатом не был ничуть И никаким донжуаном Его честолюбие было другого порядка Не оттого ли так любил он позировать художникам? Кто только не писал его портрета» (Маковский С К На Парнасе «Серебряного века» // Маковский С К Портреты современников Сост, подгот текста и коммент Е Г Домогацкой, Ю Н Симоненко М, 2000 С 554)

Антиной — идеально красивый юноша, любимец императора Адриана, утонул в 130 г н э в Ниле, после смерти в его честь воздвигались храмы, были изваяны статуи и отчеканены монеты

«Кикимора» — сказка из книги Ремизова «Посолонь» (Париж, 1930)

из Белой вежи ведет Евреинов свое родословие ~ от черного хазарского кагана — царя Иосифа — Хазары — кочевой тюркоязычный народ, появившийся в Восточной Европе после нашествия гуннов в IV в С середины VII в создали государственное образование — Хазарский каганат на территории Нижнего Поволжья и восточной части Северного Кавказа Белая Вежа — древнерусское название хазарского города Саркела, который в 965 г был взят русским князем Святославом Иосиф (сер X в) — хазарский царь (каган) Известно письмо, написанное по его поручению между 954 и 961 гг См Коковцов П К Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-византийских отношениях в X в // Журн Министерства народного просвещения, 1913, нояб, вып 48 С 150–172

С 35 *Это было на одном юбилейном собрании ~ устраивал ~ собрания ~ Щеголев в воспоминание о нашем скромном вологодском "клубе свободных алкоголиков".* — Речь идет об имевшем ироническое название дружеском кружке ссыльных, существовавшем в период пребывания Ремизова в Вологде в 1901–1903 гг Подробнее см Обатнина Е Царь Асыка и

его подданные С 16–19 Ср в МД «Так определил П Е Щеголев на одном из своих винных собраний в Петербурге, устраиваемых в воспоминание о скромном вологодском "союзе свободных алкоголиков" — память нашей молодости» (Собр Резниковых)

С 35 *«вопрошал», подобно Кирику* — Имеется в виду «Вопрошания Кирика, иже вопроси епископа Нифонта и инех» — древнерусское сочинение, посвященное вопросам догматически-канонического характера, которые обсуждались в среде священнослужителей и прихожан Древнего Новгорода Приписывается диакону и доместику Антониева монастыря в Новгороде Кирику (XII в)

Щеголев переходил на персидский. — Аллюзия на название книги Щеголева «Очерки отреченной литературы Сказание Афродитиана» (СПб, 1900), основу которого составлял текст апокрифа «Сказание Афродитиана о чуде в Персиде»

И в "Бродячей собаке" среди паскудства рож и рыл и всякого прожига выступал «благородным отцом» — «Бродячая собака» — петербургское литературно-артистическое кабаре (1911–1915), находилось в подвале второго двора дома Жако (Михайловская пл, 5) Открылось 31 декабря 1911 г (13 января 1912 г — по новому стилю) Ср в МД « и в "Бродячей собаке" среди безобразия и паскудства рож и рыл (неспроста Блок поверил в 12-ть, от безнадежного бледного прожигания потянет и в кипящий ад!) выступал он "благородным отцом", благообразный, трезвенник, чуть не аскет» (Собр Резниковых)

"Благородный отец" — наименование театрального амплуа

«Жупел» (СПб, 1906) — юмористический журнал Ред-изд — Аркадий Счастливцев [С Новиков]

«Понедельник» (СПб, 1906) — политическая, общественная и литературная газета Еженедельник Ред-изд — В В Рапгоф

в чинном европейском "Аполлоне", куда с вихрами не пускали (печальная участь моего «Неуемного бубна») — «Аполлон» (СПб, 1909–1917) — литературно-художественный журнал Ред С К Маковский, в 1911–1912 гг — совместно с Н Н Врангелем «Неуемный бубен» (1910) — повесть Ремизова Об истории отказа опубликовать ее в «Аполлоне» см коммент к кн «Петербургский буерак» С 471 наст тома

С 36 *«Журнал для всех»* (СПб, 1901–1906) — ежемесячный иллюстрированный литературный и научно-популярный журнал С 1906 г ред В С Миролюбов С № 5 — ред М А Энгельгардт Издатель — Миролюбов

поправил Аристотеля на Сенеку — Учителем Александра Македонского был греческий философ и ученый-энциклопедист Аристотель Стагирит (384–322 до н э), а не римский философ, писатель и государственный деятель Луций Анней Сенека (4 до н э - 65 н э) Ошибка Миролюбова была анекдотической, поскольку демонстрировала незнание античной культуры на уровне школьной программы

«Кипарисовый ларец» (1910) — сборник стихов И Ф Анненского

«Весы» (М, 1904–1909) — литературно-критический ежемесячный журнал Ред-изд — С А Поляков, ред — В Я Брюсов

в романе А П Осипова — ошибка Ремизова Правильно в романе А П Степанова

«Вена» (1875<?> - 1917) — петербургский ресторан (Малая Морская ул, 13/8), популярный в кругу столичной богемы

С 36 *«искусственный (изысканный) бродит журавль (жерав)»* — пародийное травестирование строки из стих Н С Гумилева «Жираф» (1908)

напечатает Евреинов «Реализм монодрамы», а ему в ответ Мейерхольд — поднимай выше «Театр — здание» — Имеются в виду споры о природе театра 1910-х гг Взгляды Евреинова изложены в кн «Театр для себя» (СПб, 1915–1917 Ч 1–3) и в кн «Театр как таковой (Обоснование начала сценического искусства в жизни)» (СПб, 1912) Концепция Мейерхольда изложена в кн «О театре» (СПб, 1912)

С 37 *«Копытчик» ~ как заклятый ведьмой месяц* — Ремизовское прозвище С К Маковского восходит к народному иносказательному обозначению беса Для расшифровки семантики прозвища Ремизов использует скрытую отсылку к сюжету кражи месяца чертом в повести Н Гоголя «Ночь перед Рождеством»

кончил Правоведение — Имеется в виду петербургское привилегированное высшее юридическое закрытое учебное заведение для дворянских детей — Училище Правоведения (наб р Фонтанки, 6) Евреинов окончил его в 1901 г

после моих пензенских трагических выступлений на настоящем театре — Речь идет об участии Ремизова в работе пензенского «Народного театра» в летний сезон 1897 г См об этом в кн «Иверень» «Летом открылся "Народный театр" Театр — это мое Я познакомился с актерами, больше было таких, как я, любители Пыл горячей, чем у профессионалов И однажды я выступил в роли, не помню какой — скандал вышиб всю память Очки пришлось снять и, сослепу я полез в нарисованный на декорации буфет и опрокинул кулису Зрители были очень довольны и потом меня вызывали, а режиссер, саратовский трагик Сергей Семеныч Расадов шутить не любит < > С тех пор за кулисы я ни ногой» (Т 8 наст изд С 373)

Розанов ~ копил «короб» — Отсылка к заглавию частей книги Розанова «Опавшие листья» (СПб, 1913, 1915)

когда о «кошкодавах» — громкая история из хроники литературных происшествий — забыли — Ср в МД « когда о "кошкодавах" забыли (громкая история из хроники и происшествий, куда попал и П П Потемкин и мой кум А И Котылев и его приятель Маныч, [отчаянная голова] мрачный человек)» (Собр Резниковых) См также коммент к «Петербургскому буераку» С. 479

у всех был в памяти «оборванный обезьяний хвост» — Речь идет о происшествии с обезьяньим хвостом, отрезанным А Н Толстым от выделанной шкуры, которая принадлежала жене Федора Сологуба А Н Чеботаревской, и надетым Ремизовым на маскарад 1911 г Итогом был скандал, имевший широкий резонанс в петербургских литературных кругах и оставшийся в сознании писателя болезненным жизненным воспоминанием (подробнее см Обатнина Е Р От маскарада к третейскому суду («Судное дело об обезьяньем хвосте» в жизни и творчестве А Ремизова // Лица Биографический альманах Вып 3 М; СПб, 1993 С 448–465)

С 38 *и Коллонтай Весь чистый сбор — на партию большевиков* — Ср в МД « и Коллонтай, тогда еще не полпред, а только высиживавшая себе тепленькое местечко на все суровые годы революции и под старость лет Весь чистый сбор предназначался на партия <так! — *А Г*> большевиков» (Собр. Резниковых)

С 38 *А помогала ~ Нащекина* — В МД «А помогала Коллонтай ее приятельница Шадурская » (Собр Резниковых)

«Русь» (СПб, 1903–1908) — ежедневная газета Ред-изд — А А Суворин.

«Ночные пляски» — драматическая сказка Ф Сологуба Была представлена 6 марта 1909 г в Литейном театре Режиссер — Н Н Евреинов, декорации — Н К. Калмаков, музыка — В. А Сенилов В спектакле играли художники Л Бакст, И Билибин, Б Кустодиев, писатели А Ремизов, О Дымов, С Городецкий и др, а также жены писателей и актрисы Драматического и Малого театров

«Чудо о Теофиле» (Le miracle de Théophile) — миракль французского поэта и драматурга XIII в Рутбёфа. Поставлен в «Старинном Театре» в сезон 1907/08 г, посвященный средневековой французской драме Постановка Н В Дризена и А. А. Санина

у Знамения на Микель-Анж — Имеется в виду православная церковь Знамения Пресвятой Богородицы (Marie Réparatrice) на rue Michel Ange, находившаяся недалеко от дома, где жили Ремизов и Евреинов

С 39 *«portraitiste hors concours»* (*фр*) — несравненный мастер

«Самое главное» (1921) — пьеса Евреинова О ее популярности и значении в творчестве Евреинова см. оценку С К Маковского « в конце концов лишь одна из пьес, < > произвела большое впечатление за границей — “Самое главное”. < .> Пьеса эта, переведенная на 18 языков, сыграна в 22 государствах < > в этой пьесе à thèse Евреинов высказал то, что всю жизнь вдохновляло его и превратилось с годами в разработанное до тонкости мировоззрение» (Маковский С К На Парнасе «Серебряного века» С 557)

С 41 *стоит, замерев Барклаем ~ из Барклая превратившийся в Кутузова* — Имеются в виду два памятника (1837, модель фигур — скульп Б И Орловский, проект постамента — арх В П Стасов) героям Отечественной войны 1812 г, полководцам М Б Барклаю-де-Толли и М И Кутузову, установленные в Санкт-Петербурге на Невском проспекте перед Казанским собором Полководцы изображены в следующих позах. Барклай-де-Толли стоит, выдвинув вперед правую, чуть согнутую ногу и придерживая рукой на колене полу шинели, левая нога отставлена назад, в левой руке — полуопущенный маршальский жезл Кутузов стоит, отставив назад правую ногу и держа в правой руке опущенную вниз саблю, левая нога выдвинута вперед, в левой вытянутой руке — поднятый указующим жестом маршальский жезл

Gare de l'Est (*фр*) — железнодорожный вокзал в Париже (букв Восточный вокзал)

Пардус — восходящее к греческому языку древнерусское название барса, леопарда, рыси

С 42 *«Липтон»* — название марки чая

С 43 *«Чуевские» пирожки* — изделия популярной на всю Москву булочной И Чуева на Тверской ул

С 44 *Лиже ~ Я снимался у него.* — В Музее Пушкинского Дома имеется фотография Ремизова работы П Лиже 1952 г (Музей ИРЛИ № И 77213)

С 45 *Евреинов ~ неудержимая речь ~ Тема — воспоминания о встречах с театральными знаменитостями и про Америку* — Возможно, Ремизов имеет в виду подготовку Евреиновым в 1945 г серии радиопередач о деятелях

русской культуры, и, в частности, театра (см К у п ц о в а О Н Н Евреинов // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья 1918–1940 Писатели Русского Зарубежья М, 1997 С 163)

С 46 *«Буалонский оракул»* — Литературная игра Ремизова — создание понятия, основанного на переосмыслении древнегреческого прототипа «Дельфийским оракулом» называлось место в святилище Аполлона в Фокиде (Дельфы), куда вела Священная дорога и где получали от божества ответ на заданный вопрос и само прорицание На протяжении длительного времени Дельфы были сосредоточием религиозной жизни греческого мира

из всех чародеев нашего оракула Евреинов первый — О реальных обстоятельствах жизни Евреинова в доме на улице Буало в период оккупации см воспоминания его жены А. Кашиной-Евреиновой «Зима 1940/41 годов была для нас нестерпимо трудной Евреинов невыразимо страдал от холода и недоедания < > наше существование было трудно переносимым Жили мы фактически на кухне, температура которой поддерживалась газовой плитой и маленькой электрической грелкой На ночь в кухню въезжала маленькая кушетка, на которой спал муж А я < > шла спать в свою комнату, где часто было три-четыре градуса ниже нуля Достаточно сказать, что чернила в чернильнице на моем письменном столе оттаяли только весной » (К а ш и н а - Е в р е и н о в а А Н Н Евреинов в мировом театре XX века Париж, 1964 С 78)

«провизуарные» (от *фр* provisoire) — временные, предварительные

алерт (от *фр* alerte — тревога) — здесь сигнал воздушной тревоги

С 47 *абри* (от *фр* abri — укрытие, убежище) — здесь бомбоубежище

С 48 *на восьмом этаже Гретхен, так величают Софью Семеновну* — Ср в МД «От Евреинова по прямой — на 8-ом Софья Семеновна Демидова» (Собр Резниковых)

Анна Николаевна «Жар-птица» — соседка Евреинова — Ср в МД «Анна Николаевна Полякова, соседка Евреинова ~ она раз встретила Владимира Соловьева ~ а теперь она известна под названием "Акулы" Ее профессия поминается у Гоголя в "Сорочинской ярмарке" "перекупка" С губ она точно "Акула", но тоже тут прежняя философия или годы, свое берут, но где же это, укажите "Акулу", чтобы растяпа, а наша Акула постоянно что-нибудь теряет потеряла хлебную карточку, а теперь "текстильную", в перед Рождеством кокнула бутылку с ромом — "хоть бы столечко, хоть попробовать, жаловалась, все на пол!" или из вещей, что поручают продать, спрячет и сама не помнит куда, так пропал у нее мой "неразменный рубль", и памятные нам две лиры (Оля, III ч "Две лиры"), и отдал-то я их в особенно трудную минуту И часто, уходя из дому, забывает ключ» (Собр Резниковых)

С 49 *Es war ein König in Thule ~ Einen goldener Becher gab* (*нем*) — Цитата из включенной в текст либретто оперы Ш Гуно «Фауст» баллады И В Гете «Фульский король» «Король жил в Фуле дальной, / И кубок золотой / Хранил он, дар прощальный / Возлюбленной одной» (пер Б Л Пастернака)

«Ах, попалась птичка, стой, / Не уйдешь из сети » — Цитата из стихотворения «Птичка» (<1859>), представляющего собой слова Хора из детской игры (автор — А А Пчельникова Входило в кн П ч е л ь н и к о в а А А Беседы с детьми В 3 т Т 2 СПб, 1859) Сюжет игры заключался в следующем ведущий («Птичка») оказывался заключенным в кругу играющих,

делающих ему разные заманчивые предложения ради того, чтобы он остался «в сетях» Но «Птичка» отказывается от всего, лишь бы жить «на воле»

С 50 *«Во все продолжение моей жизни я постоянно находил свое место занятым может быть, оттого что искал это место не там, где бы следовало»* — Цитата из повести И С Тургенева «Дневник лишнего человека» (Тургенев И С Собр соч В 10 т Т 5 М, 1961 С 144)

С 51 *Wir anders, Gretchen ~ Halb Gott im Herzen / Gretchen!* (*нем*) — Начало первой реплики Злого духа «Не так, ты, Гретхен, прежде, / С душой невинной, / Ходила к алтарю / Молясь по книжке старой, / Ты лепетала, / Наполовину детским играм, / Наполовину Богу / Душою предана! / О Гретхен!» (И Гёте Фауст Ч I Сцена 20 Перевод Н А Холодковского)

На пятом этаже Половчанка — Ср в МД «В 5-м — Е Д Унбегаун» (Собр Резниковых)

«Тарантас» (1845) — повесть В А. Соллогуба.

Андрей Боголюбский (ок 1111–1174) — князь владимирский с 1157 г, сын Юрия Долгорукого

Персептер (*фр* percepteur) — сборщик налогов

«Выхожу один я на дорогу » (1841) — стихотворение М Ю Лермонтова

С 52 *И еще известна Половчанка по своему знаменитому брату ~ называется он «Железный»* — Ср в МД «Брат Екатерины Даниловны К Д Зеленский называется “Железный”» (Собр Резниковых)

Оракул — здесь гадательная книга

небезызвестный Кузьма — Имеется в виду литературный персонаж, автор пародий и афоризмов Козьма Прутков

С 53 *Аксалот* — происхождение прозвища связано с воспоминаниями Ремизова о своих занятиях на естественном отделении математического факультета Московского университета «Аксалот» — личинка хвостатого земноводного, тигровой амбистомии, способная к размножению «Банка с аксалотом» упомянута в романе «Пруд», как элемент интерьера квартиры Огорелышевых (см Т 1 наст изд С. 48)

Утенок — «В “Мышкиной дудочке” А М часто говорит об Утенке Внешность Утенка (Ольга Владимировна фон Дервиз) действительно напоминала игрушечного утенка, она была москвичка “родилась в Лялином переулке”, была замужем за богатым обрусевшим немцем В Париже она вышла замуж за деятеля кинематографа, после его смерти осталась одна, опустилась и стала пить Во время “страды” Ремизовых она часто бывала у них, но, когда после кончины С П она захотела поселиться у Ремизова на квартире, А М решительно отказал ей в этом. (Она обиделась и несколько лет не бывала на рю Буало. В 1947 г приятельницы-теософки, желая спасти ее, привели ее к Ремизову, и она стала вновь появляться По инициативе Н Кодрянской, в 1954 г она поселилась у А М, чтобы ухаживать за ним, и уже до самой его смерти оставалась там)» (Резникова С 98)

С 54 *звали <ее> Ольгой ~ это имя собиралось вокруг имени Серафимы Павловны ~ отпустить ее из этой жизни* — Ремизов «обыгрывает» в тексте мифологию образа С П в своем «авторском пространстве» в семейном кругу и в творчестве Ремизова С П носила имя «Оля» (см кн Ремизова 1) Оля Париж, 1927 352 с, 2) В розовом блеске Нью-Йорк, 1952 424 с) Также в тексте скрыто

упоминается о факте жизни «Утенка» в квартире Ремизова после смерти С П

С 55 *При всеобщем перепуге после 10 мая (1940 год), когда правители наши, вдруг сделавшись людьми верующими и богомольными, отправились в Нотр-Дам служить молебен* — 10 мая сухопутные войска вермахта начали вторжение в Голландию, Бельгию и Люксембург

С 57 *Заратустра* (Зороастр) (X–1-я пол VI в. до н э) — пророк и реформатор древнеиранской религии, получившей название зороастризма

Мани (ок 216–ок 277) — полулегендарный основатель религиозного учения (манихейства), возникшего на Ближнем Востоке и представлявшего собой синтез халдейско-вавилонских, персидских и христианских мифов и ритуалов

нас тянет к ним за «три моря» — Ремизов имеет в виду путешествие в Индию через Персию тверского купца Афанасия Никитина, оставившего записки «Хождение за три моря» (XV в)

В революцию все народы Великой Сибири сошлись на Васильевском Острове в моей серебряной «кумирне» — В тексте соединены воспоминания о ремизовской дореволюционной коллекции игрушек (см Грачева А М Алексей Ремизов и Пушкинский Дом Статья 1 Судьба ремизовского «музея игрушек» // Рус лит 1997 № 1 С 185–215); а также об относящемся к 1917–1921 гг замыслу опубликовать серию переработок сказок народов Сибири (см Ремизов А Сибирский пряник Большим и для малых ребят сказки. Пб, 1919)

«нежить и нечисть». — Неточная цитата из стих А А Блока «Болотные чертенятки» (1905), посвященного Ремизову «И сидим мы, дурачки, — // Нежить, немочь вод»

С 58 *соединяет меня с нашим востоковедом ~ Никитиным* — Подробнее см Никитин В. П «Кукушкина» (памяти А. М Ремизова) Воспоминания // Ремизов А М Пaалиньим пером СПб, 1994 / Сост, вступ ст, примеч. Н. Ю Грякаловой С. 212–238

«Черные книги» — изотерические тексты, содержащие изложение религиозной доктрины иезидов — курдской мистической секты

.. вышептывая любимые стихи Мохамеда Икбаля, из Лагора — Ср в МД « .повторяет любимые персидские стихи Мохаммед Икбаля из Лагора, их ему передал Уморао Синг Шер-Гиль, индийский философ, религии Сикхам» [далее текст четверостишия — на персидском языке русскими буквами, затем дан русский перевод. — *А Г*] (Собр. Резниковых)

Эмир ~ проходя по долгой лестнице.. — Ср. в МД «Никитин, проходя по лестнице » (Собр. Резниковых)

Марид — в мусульманской демонологии дух, добрый или злой

Инфрид (ифрит) — в мусульманской мифологии дух, отличающийся особой злобностью

С 60. *«Последние новости»* (Париж, 1920–1940) — ежедневная газ (первый ред — М. Л Гольдштейн, с 1921 — гл ред П Н Милюков), в которой активно публиковался Ремизов

Ремизов А «Баррикадный» — опубл · ПН, 1935, № 5148, 28 авг

Как переехали мы из Булони — Ремизовы жили в Булони (Boulogne-sur-Seine — 3 bis, av. Jean-Baptiste Clément) с августа 1930 до июля 1933 г

С 60 *вешалку у нас укреплял Резников* — Ср в МД « вешалку у нас укреплял Шаповалов » (Собр Резниковых)

С 61 *Воздушная колбаса* — аэростат

С 62 *«Полевали»* — полевать — охотиться с ружьем и собакой

как внутренний — Имеется в виду иднома врач по внутренним болезням

и с Лоллием — Ср в МД «Тоже и с Лоллием Львовым» (Собр Резниковых)

Аррондисман (фр arrondissement) — городской район (в Париже)

С 63 *Куда исчез доктор, догадываюсь* — Имеются в виду проводившиеся немцами в период оккупации Парижа аресты евреев

С 64 *ничего общего с ~ сложнейшим часовым механизмом барона Брамбеуса ~ сто лет назад подымавшим ни свет, ни заря сиреневым ревом ~ Стеклянный переулок в Петербурге* — Вероятно, имеется в виду особый музыкальный инструмент «оркестрион», который был изобретен и построен О И Сенковским в 1842–1849 гг См о нем в воспоминаниях А В Старчевского « когда в одну ночь, часов около двух, вздумали наконец испробовать сей инструмент, то он издал такие потрясающие звуки, что разбудил и поставил на ноги жителей всех соседних домов Дали знать в квартал, что в доме Усова, на набережной, находится какой-то страшный зверь, которого рыкание страшит весь околоток» (Цит по Каверин В О И Сенковский (Барон Брамбеус) Жизнь и деятельность // Каверин В Собр соч В 6 т Т 6 М, 1966 С 462)

можно «рискнуть», как с Клеопатрой Семеновной — Неточная цитата из рассказа «Скверный анекдот» (Достоевский 5 С 26–27)

С 65 *Пселдонимов* — бедный чиновник, «маленький человек», герой рассказа «Скверный анекдот»

TSF (*фр*, сокр télégraphie sans fil) — радио

от Ариэлей — Ср в МД « от Мерислей» (Собр Резниковых)

мышка и надумала решила мне помогать ~ так всегда бывает и не с мышами и не в одних кухонных делах, а называется содружество — Ср в МД « мышка и надумала решила мне помогать ~ так всегда бывает и не с мышами и не в одних кухонных делах, а называется "collaboration", по-русски "сотрудничество"» (Собр Резниковых) Слово «collaboration» (*фр* · сотрудничество) в период оккупации Франции приобрело окказиональное значение — сотрудничество с немецкими оккупантами

под моим слепым «подстриженным» глазом . — Ср название произведения Ремизова «Подстриженными глазами» О происхождении названия см . Т 8 наст изд С 530

Иван Павлыч — Имеется в виду И П Кобеко

С 68 *«Тэрм»* (*фр* terme) — срок платежа за квартиру

С 69 *Пэр-Лашез* — известное парижское кладбище

Крокмитэн (*фр* croque-mitaine) — во французском фольклоре страшилище, «бука», которым грозят детям, когда хотят напугать их

С 70 *Теперь свободный от всяких очередей — я один* — Речь идет о времени после смерти С. П Ремизовой-Довгелло

С 71 *«Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры!»* — Слова Иисуса Христа — неточная цитата из Евангелия (Мф 23, 13)

С 71 *«Тикетка»* (от *фр* ticket de ravitaillement) — талон, продовольственная карточка

усатая ~ молочница ~ Мадам Морван ~ Перед ее теснеющей, заставленной зеленью лавкой хвост — Ср в МД «А с черными усами вся в белом молочница Жирар ~ Услужливая Мартинэ, перед ее теснющей застаалснной зсленью лавкой — хвост» (Собр Резниковых)

С 72 *Бюралист* (от *фр* buralist) — продавец в табачном киоске

С 73 *Асти* — сорт «шипучего» вина

Очи черные — романс «Черные очи» (1843) на стихи Е Гребенки, в начале XX в был популярен в исполнении Ф И Шаляпина

Но это не «стекольный мастер» Б Г Пантелеймонов, остеклив своим органическим стеклом неувядаемую розу, это и не П П Сувчинский, «дописав конца» в своей истории русской музыки, это не Шаляпин — Ср в МД· «Но это не П К [*было* Е А. — *А Г*] Паскаль, выпроводив надоевших спорами гостей, не Шаляпин » (Собр Резниковых)

Сычуг — кушанье из фаршированного желудка жвачных животных

из «кукушкиной» комнаты — Название одной из комнат в квартире Ремизова на улице Буало «Кукушкиной комната зовется по стенным часам с кукушкой Кукушка — дыхание дома, ее голос внятен и в исторической кухне, и в каштановой рукописной, и в *караульной* и по всему коридору < > Но когда в кукушкиной в облаке табачного дыма за письменным столом сидит сам хозяин в расшитой золотом и серебром тюбетейке, в цветной кофте, а поверх еще с накинутой на плечи яркой шалью, так чудно сказочен он, что бедная комната оборачивается чертогом» (Кодрянская С 33)

С 74 *За мышкой Листин* — Ср в МД «За мышкой Ольга Федоровна Ковалевская» (Собр Резниковых) См также воспоминания Н В Резниковой «В “Мышкиной дудочке” А М упоминает “Листина” — художницу Ольгу Федоровну Ковалевскую Она ходила в оперу, была поклонницей Лифаря и рисовала его» (Резникова С 98)

Утенка зовут Ольгой — Ср в МД « Утенка зовут Ольга Владимировна » (Собр Резниковых)

только чары Лифаря спасают Листин ~ она ждет среды — балета, чтобы еще и еще раз нарисовать его во «всех позах» — Ср в письме Ремизова Кодрянской 20 февраля 1948 г «Бабка Ковалевская рисует Лифаря, даже во сне» (Кодрянская Письма С 86)

Рафия — прочное и нежное мочало, приготовляемое из наружного слоя тропического растения семейства пальм с коротким стволом и кроной гигантских листьев

С 76 *«Плякар»* (от *фр* placard) — стенной шкаф

С 77 *Две гитары, зазвенев* — Романс на стихи А Григорьева «Цыганская венгерка» (1857)

«История бисера» — Имеется в виду Д у д а р е в В Бисер в старинном рукоделии (М ,1923) Книга сохранилась в составе парижской библиотеки Ремизова (Собр Резниковых)

Вся стена в комнате Серафимы Павловны в бисерных картинках — Речь идет о семейной коллекции изделий из бисера, унаследованной С П Ремизовой-Довгелло См воспоминания Резниковой «На стене, над столиком слева и справа был развешан “бисер” — знаменитая коллекция бисерных

изделий, рукоделие бабушек, тетушек и крепостных девушек — шитье иглой или работа крючком Главная часть происходила из родного дома С П Бисерные кошельки — с павлином, с усадьбой, с узорами, с масонскими эмблемами, в деревянной рамке — бегущая собачка, "китайцы" в двух видах вдавленные в воск и вышитые по канве Чубук и круглая коробка для табака, кольца для салфеток, чехлы для трубок, коробочки» (Резникова. С 73)

С 78 *Этот игрушечный звук выскакивал откуда-то изнутри у спящего Утенка Когда она была маленькая* — Ср в МД «Этот игрушечный звук издавался откуда-то изнутри у Утенка / В "Петербургском туристе" Ив Ал. Чернокнижникова (А В Дружинина) есть рассказ его приятеля Веретенникова чудесный случай с часами У Веретенникова были знаменитые часы лондонской работы часовщика Стивенсона часы с гривенник, а между тем, музыка, каждый час они разыгрывали симфонии Бетховена. И однажды Веретенников, промотавшись в Париже, поехал в Лондон закладывать эти драгоценные музыкальные часы, и в гостинице, боясь холеры, и глотая мятные лепешки, проглотил и их, спутав, и таким образом, музыку перевел в себя И тут начинаются всякие неожиданные приключения За свое чревовещание в одни только день он получил столько, что, как ни мудри, на все хватит и с достатком да еще 100 000 фунтов за горло — после смерти, купили в тамошний лондонский Пастеровский Институт / То же и с Утенком ~ когда она была маленькая » (Собр Резниковых)

С 79 *Я ~ сказал себе, закрывая «Бисер». „не мечите, да не попрут его ногами"* — Ремизовское обыгрывание идиомы «не мечите бисер перед свиньями», восходящей к словам Иисуса Христа «не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими» (Мф 7, 6)

"sensibilité nouvelle" (*фр*) — свежая (букв. новая) восприимчивость. Значимая категория в эстетике позднего Ремизова См его письмо Кодрянской от 17 июля 1947. «Читаю Гуля < > Написано хорошо, но скучно, п.ч нет ни поэзии, ни сказочности, ни слова Для меня интересно, но, конечно, не ново, Sensibilité nouvelle — никакого» (Кодрянская. Письма. С 49)

Его «Саломея» ~ начинается сказом-прибауткой «Жили-были мать и дочка Точка» — «Саломея» (1846–1847) — роман А Ф Вельтмана, составляющий первую часть эпопеи «Приключения, почерпнутые из моря житейского» Приведена неточная цитата. Ср «У одного папиньки и у одной маминьки были две дочки Точка» (В е л ь т м а н А Ф Приключения, почерпнутые из моря житейского Саломея Ч 1. СПб, 1864 С. 5)

«Между тем как Сердце ~ события » — Цитата из начала 3-й части повести А Ф Вельтмана «Сердце и думка» (В е л ь т м а н А Ф Сердце и думка. Приключение Роман в 2 ч М, 1986 С 140).

С 80 *Пррр ~ Ммм* — Имена духов взяты из повести А. Ф Вельтмана «Сердце и думка»

С 82 *Серафима Павловна от Берестовецких ведьм* — В с Берестовец Борзненского уезда Черниговской губернии находилось родовое имение родителей С. П. Ремизовой-Довгелло

«И навсегда потом остался ему памятен ~ смотревшей-на-него» — Цитата из рассказа Достоевского «Вечный муж» (Достоевский 9 С 41) В МД далее следует цитата из «Униженных и оскорбленных» «Много прошло

ужс времени до теперешией минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор, с такой тяжелой пронзительной тоской вспоминается мне это бледное, худенькое личико, эти пронзительные долгие взгляды ее серых глаз ~ до сих пор я не знаю всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного сердца» (Собр Резниковых) См также свидетельство Ремизова «В "Мышкиной дудочке" я привожу пример высокого дыхания у Достоевского < > "Вечный муж"» (Кодрянская Письма С 38)

С 84 *называет этот бобрик «полубобрик»* — Словесная игра Ремизова Бобрик — род сукна со стоячим ворсом, употребляемый для ковров, обивки. «Под бобрик» — род короткой мужской стрижки, более длинный тип назывался «полубобрик»

Овчина — имеется в виду друг Ремизова кн А В. Оболенский Одна из ветвей княжеского рода носила фамилию Овчина-Оболенский

С 85 *Модеста Людвиговича Гофмана я знал в возрасте Ростика* — В 1907 г М Л Гофман был секретарем издательства «ОРЫ» и способствовал публикации в нем сборника Ремизова «Лимонарь» Ремизов посвятил ему легенду «О месяце и звездах и откуда они такие» (см Т 6 наст изд С. 664–668)

С 88 *«Заколдованное место»* (1832) — повесть Н В Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»

С 90 *Аларм* (*фр* alarme) — тревога

«Le Spectre de la Rose» (фр) — «(Призрак) Видение Розы» — одноактный балет (по сюжету стих Т Готье «Я — призрак розы, которую ты вчера носила на балу » — о девушке, которой является «Призрак розы», уносящий ее в танце, а затем исчезающий, оставив ее одну) на музыку концертной пьесы К М Вебера «Приглашение к танцу» (оркестровка Г Берлиоза), сценогр Ж Л Водуайе Первое исполнение — 1911 г, труппа «Русский балет Дягилева» (театр Монте-Карло), балетм М М Фокин, худож Л С Бакст, «Призрак розы» — В Ф Нижинский

С. 95 *Ажан* (*фр* agent) — полицейский

Жиго (*фр* gigot) — задняя ножка

С 96 *когда «хозяева» погонят молодых к себе на работу* — Речь идет о немецких оккупантах, отправлявших французов на принудительные работы в Германию

Павлищев из «Идиота» — Имеется в виду персонаж романа Ф М Достоевского «Идиот» (1868)

С 97 *монашек принес мне зеленую ветку* — Речь идет о сказке «Монашек» из сборника Ремизова «Посолонь» (1907).

С 99 *у каждого из нас когда-то, помните, завелся кот в голове* — Ремизовская словесная игра, основанная на видоизменении идиомы «тараканы в голове завелись», означающей старческое помрачение ума

И меня нисколько не удивило ~ Кот раздавил каблуком! — Вариант этого конца главы является финалом МД. «Меня нисколько не удивило у каждого из нас, из 54 квартир, был кот в голове, и ничего странного, что он после дудочки пришел ко мне / — Вы только ко мне? Спросил я, проверяя / Да только к вам / И он лапой "замыл себе гостей" — с носа по уху на усы / Так вы говорите мышек нет? — и в его голосе была и нежность и досада, это когда ждешь чего и уверен, а говорят. кончилось — нету больше ни капельки

(а ведь все про свое, про кофе) / Нет, сказал я, ни одной / Жаль-жаль, — промяучило у него, как "мяумяу", и не стесняясь, поправив в брюках хвост, он подал мне лапу / И я бережно выпустил за дверь / А когда я вернулся в кухню и прежде всего заглянул к ножке стола мышка все так же комочком, как замерла Я нагнулся и потрогал, но мышка не вздрогнула Тогда я зажег электричество, взял и свою алертную лампочку, теперь и моим глазам, как вашим мышка не шевелилась; потрогал· не дышит И я догадался кот раздавил ее каблуком / И потом целый день неотступно, без зова вышедшее из смуты моей памяти все одно и одно повторяю· "вечереет ли день за могилой, рассветает ли ночь [мертвецам] " / 19 II. 1944» (Собр Резниковых).

С 100 *«Бискот»* (*фр* biscotte) — сухарь

«Сосисон» (*фр*. saucisson) — колбаса

С 102. *Молчалин* — персонаж комедии А С. Грибоедова «Горе от ума».

«Самаритен» — известный парижский универмаг.

С 103. *В «Крестовых сестрах» у меня есть ~ тоже «губернаторша» — «вошь» Жучковы ~ имели все права носить это имя «вошь»* — Ср: «Над Ошурковыми и Виттенштаубе генеральша Холмогорова, или *вошь*, как величали генеральшу по двору <.> все хорошо знали, что процентов одних ей до ее смерти хватит, а проживет она еще с полсотни — крепкая и живая, всех переживет < > конца жизни ей не видно < > на духу ей будто совсем не в чем и каяться не убила и не украла и не убьет и не украдет, потому что только питается — пьет и ест — переваривает и закаляется» (Крестовые сестры Т 4 наст изд С 111–112)

«Жеранша» (от *фр* gérant — управляющий домом) — жена управляющего

Зрелище из моей «Находки» ~ в доме 54 квартиры и из каждой квартиры кого в чем застало Оказалось, пожар. — Ср «Дом наш — колодезь, каменный мешок, и из всех домов, таких же мешков, самый есть тихий < > Как-то однажды около полночи, когда все семьдесят пять квартир на сон ладились, распахнулось окно над Кузиным, и барышня Рыбакова сдавленно ухнула "Душат!" Решили, пожар и всякий, в чем застало, опрометью к прачешной воды набрать, чтобы тушить» (гл «Находка» кн «Взвихренная Русь» Т 5 наст изд С 293)

С 105 *«Повар»* — См о реальном прототипе героя гл в письме Ремизова Кодрянской 4 августа 1947 г «Вчера днем кто-то робко постучал. А это оказался повар из рус ресторана Служил он на Rue Boileau у грузин / В оккупацию мне бесплатно выдавали суп, а по праздникам с косточками, а иногда повар бултыхнет котлету тайком от хозяев Повара зовут Иван Иваныч, а как фамилия я не знаю, человек одинокий, терпеливый, ему 56 лет, религиозный, читает Апокалипсис Попал в эмиграцию при эвакуации солдат Он только "русский", без всяких политических рассуждений В последний раз я его видел 15 августа 1944 года Я пришел с кувшином (когда-то молоко покупал) за супом и он, стесняясь, сказал мне, что больше не велено давать Так как я один и мне ничего не надо ("надо" всегда соединяется у меня — за других боюсь говорить — с кем-то), я поблагодарил хозяев за все годы, поблагодарил и повара, что стоял над его душой, и тихо вышел на улицу с пустой посудой / Это был день освобождения, с крыш стреляли Но я шел, как всегда мне было все равно Но не просто было во мне, при всей моей

покорности судьбе И вот, через три года, повар робко постучал узнаю ли его и помню ли? Все эти годы он обо мне думал "Вы забитый человек, — сказал он, — вам и жить осталось 5 лет" (1952) Он боялся прийти, но, прочитав "Розовых лягушек", осмелился И пришел он, чтобы привести меня к себе на кухню и накормить телятиной с картошкой Я отказался когда-нибудь, я знаю, он живет здесь на углу Pierre Gerain < > Он дал мне 200 frs (он получал 5000 франков), 4 пакета сигарет и большую коробку спичек И я подумал, душа у этого беспечального повара я самый и есть» (Кодрянская. Письма С 61–62) Продолжение истории см в письме Ремизова Кодрянской 15 сентября 1947 г «Очень волновался, вышел за 10 минут, чтоб ровно в 12 быть в отеле, повар предупреждал, чтобы ровно в 12. < > Я — к хозяину "Шеф Jean — говорю — назначил в 12, Rémusat". Хозяин, полоща стаканы, зачем-то вытер руки "Jean — сказал он — вернется как всегда, вечером в 11" / "Но он мне назначил в 12, ровно 12". / "В 11, не раньше!" уже, не глядя, сказал хозяин и повернулся продолжать мыть стаканы / "Скажите, Rémusat был" / "Rém usat, Rém usat" — но это уже вопили бешеные бабы и чья-то задняя нога потянула, втягивая меня к себе за стол / Я выдрался к двери "Прощайте!" — я сказал с облегченным сердцем Повар обещал телятину с фритами Ну, где мне было попасть вилкой при такой бабьей тесноте? И я пошел тихонько домой С Rue Pierre Gérain до Boïleau 5 минут Я шел все 10 / Я вдруг вспомнил, как в прошлом году повар настаивал прийти ровно в 12, сказал мне "Живи вы в России, Вы были бы миллионером и меня на порог не пустили" И когда я сказал, что при всяких миллионах он мог бы ко мне прийти, он безнадежно ответил· "Да швейцар и к двери не допустил бы" И вот случилось совсем наоборот приглашавший меня просто взял и ушел из дому· или уходи по добру по здорову, или жди его до 11 ночи Дома, вместо телятины, я сварил две картошки и съел с солью, мне показалось очень вкусно» (Кодрянская Письма С 81–82)

С 105. *«Absent»* (*фр*) — отсутствующий

С 106 *Тюрик* — бумажный кулек, пакет

С 107 *С 14 июня 1940 мы были, как мыши в мышеловке*. — Указан день вступления немецких войск в Париж.

С. 109. *Произношу свое имя по улице, всем известно рю де Ремюза* — Ремизовская словесная игра, основанная на названии парижской улицы rue de Rémusat.

С 110 *«Стекольщик»* — о создании этой главы-некролога см письмо Ремизова Кодрянской 1 января 1951 г «Написал о Пантелеймонове "Стекольщик" < > Сейчас переписываю Рассказываю о хорошем человеке, и только одно меня смущает я говорю о "доверчивости" — поверил в "юмористическую критику"» (Кодрянская. Письма С 176)

«Тело» (1933) — имевший скандальную известность роман Е В. Бакуниной

«Резистанс» (*фр* résistance) — зд. движение Сопротивления

«Возрождение» (Париж, 1925–1940) — ежедневная газета, с 1936 г — еженедельная, 1925–1927 — гл ред П. Б Струве, 1927–1940 — гл ред Ю Ф Семенов

Дактило (*фр* · dactylo) — машинистка

С 111 *Сказано «из скота две пары чистых и пара нечистых и пресмыкающихся на земле», — и всем нам ~ пропадай, когда хлынет* — Отсылка к библейскому сюжету о Всемирном потопе Включена неточная цитата из Библии (Быт 7, 8)

память моих занятий по истории Византии, когда писал легенды о Николе... — Имеется в виду многолетняя работа Ремизова над сюжетами о Св Николае Чудотворце (подробнее см Т 6 наст изд)

«Планетарная собака» — комедия В Н Унковского, который имел также прозвище «Ангуссй», восходящее к персонажу ремизовской «Повести о Бове королевиче» (см Т 6 наст изд)

«Денёк» (Париж, 1949) — сборник стихотворений Ю П. Одарченко

«Орион» (Париж, 1947) — литературный альманах под ред Ю Одарченко, Вл Смоленского, Ан Шайкевича В нем опубл раздел «Заяом» из кн Ремизова «Сквозь огонь скорбей», в дальнейшем вошедшей в состав кн «В розовом блеске»

С 113 *Письмо от Залкиндов из Иерусалима* — О В А Залкинде см Флейшман Л С Из комментариев к «Кукхе» Конкректор Обезвелволпала // Slavica Hierosolymitana 1977 Vol I P 185–193

В А Залкинд писал о Пантелеймонове ~ просил принять его в Обезьянью палату «хоть маленьким чином» — В Обезвелволпале Пантелеймонов носил титул «Епископ обезьяний» (Обатнина Е Царь Асыка и его подданные С. 354)

С 114 *В «Последних Новостях» меня печатали «из милости» ~ я никогда не был уверен ~ примут или вернут* — Согласно персональной библиографии в ПН опубликовано 128 текстов Ремизова (Sinany P 137–143)

«Эмпермеабль» (*фр* imperméable) — непромокаемый плащ

С 115 *«Комаров»* — Ремизовское прозвище Е Б Сосинского О его происхождении см письмо Ремизова Кодрянской от 8 мая 1947 г « за мной придет брат Сосинского — Комаров (это я его так переиначил и на всю жизнь)» (Кодрянская Письма С 40)

Макитра (*укр*) — горшок

Борис Григорьевич путает ~ со славильщиками поет на Рождество не «Дева днесь», а Богородицу — На Рождество славильщики поют тропарь («Рождество Твое, Христе Боже наш ») и кондак («Дева днесь ») «Богородице Дево, радуйся » — самая распространенная, но не рождественская молитва Богородице

на рю Дарю он не пойдет — На rue Daru находится православный собор Св Александра Невского

С 116 *Василий Гагара* (1-я пол XVII в) — торговый человек, в 1634–1637 гг совершивший паломничество из Казани в Иерусалим, Египет, Синай через Грузию и составивший описание своего «Хождения», которое цитируется Ремизовым (Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Василия Якоалева Гагары 1634–1637 гг / Под ред С О Долгова // Православный палестинский сборник СПб, 1891 Т 11 Вып 3).

к полночи после плащаницы — В Великую (Страстную) субботу вечером богослужение начинается полунощницей (короткой службой), после окончания которой священник уносит в алтарь Плащаницу, которая лежала

посреди храма со Страстной Пятницы. После этого в полночь начинается крестный ход и пасхальная заутреня

С 116 *как когда-то на розовой Адриатической волне, чаруя Улисса* — Имеется в виду сюжетный эпизод из «Одиссеи» Гомера, когда Одиссея (лат вариант имени Ulixes — Улисс) зачаровывали пением морские сирены Прозвище героини Ремизова — «Наяда» Так в греч мифологии назывались нимфы источников, прудов, озер

С 117 *я не художник, а рисую картинки и иллюстрирую свои рукописные альбомы, и Марья Исааковна Барская и Тамара Ивановна ходят с этими альбомами по знакомым и незнакомым* — Ср «Друзья Ремизовых обходили по адресам состоятельных людей, любителей искусства, или просто лиц, желавших помочь нуждавшемуся писателю Это было нелегкое дело, требовавшее от людей самоотверженности Продажа альбомов помогала иногда Ремизовым прожить в самые трудные моменты» (Резникова С 74)

у меня готовы две книги — «Голова львова» (IV и V-ая часть Оли) и «Учитель музыки», ~ а издать никто не берет, да так и до сих пор не изданы — Книга «Оля», получившая в окончательном виде название «В розовом блеске», издана (Нью-Йорк, 1952) без первой части («В поле блакитном») в связи с превышением объема, желательного для Издательства имени Чехова «Учитель музыки» опубликован, как целостное произведение, посмертно (Ремизов А Учитель музыки Подгот к печати, вступ статья и примеч Антонеллы Д'Амелия Paris, 1983)

С 120–121 *после первой бомбардировки ~ Голова у меня забинтована ~ а в ушах стеклянный дождь ~ в оккупацию, все это выразится в цветных конструкциях* — См воспоминания Н В Резниковой «3 июня 1940 г был налет немецких самолетов на Париж и бомбардировка, во время которой были ранены стеклом Ремизовы ~ С П заболела страхом — и это было начало ее болезни Жизнь потекла дальше с выбитыми стеклами Сначала А М загородил окно картоном, украшая его абстрактными коллажами Рисунок был разработкой темы разбитого стекла ~ Картоны с "конструкциями", как их стал называть А М, были перенесены на стены "кукушкиной" комнаты, они украсили стены, и комната стала волшебной» (Резникова С 95).

С 121 . *«истинный» Кузьма* — Имеется в виду Козьма Прутков

«В редакции "Патриот" получена рукопись ~ тема интересная наши достижения за последние годы» — Имеется в виду газ «Советский патриот» (Париж, 1945–1948) — орган исполнительного комитета Союза советских патриотов, в которой в 1945–1946 гг были опубликованы статьи Пантелеймонова, «основанные на информации, почерпнутой из советской прессы, посвященные успехам Советского Союза в восстаноалении народного хозяйства» (Никоненко С. С Пантелеймонов Б Г. // Литературная энциклопедия Русского Зарубежья. 1918–1940 Писатели Русского Зарубежья М, 1997 С 304)

С 122 *вскоре читаю в «Патриоте» Борис Пантелеймонов — подвал — чего достигла Россия ~ На полюсе зреет виноград, ~ в сибирских тундрах — морковка ~ И вот на «морковку», после стольких лет, вошел в «кукушкину» Пантелеймонов* — Речь идет о пропаганде Пантелеймоновым идеи возвращения эмигрантов, и конкретно Ремизова,

в СССР См отражение этого в рабочей тетради Ремизова 40-х гг «Долго пропадавший Козлок опять появился он в Россию не думает возвращаться, но считает долгом изводить меня, надрывая мне душу / "Почему бы вам не поехать в Россию"» (Собр Резниковых)

С 122 *«Спящая красавица»* (1890) — фантастический балет по сказкам Ш Перро Композитор — П И Чайковский Сценогр — И А Всеволожский и М И Петипа

вы слышали о остекляющем сне? В таком сне зачарован спит Мерлин — В кельтской мифологии и средневековых повествованиях «артуровского» цикла сюжетов Мерлин — великий волшебник, помогавший королю Артуру. Согласно легендам, зачарованный своей помощницей и подругой Вивиан, он спит в недрах холма до предначертанного срока Когда урочное время наступит, Мерлин проснется, вслед за ним пробудится король Артур, и на Земле настанет Золотой век

С 123 *«Эмеранс»* («Émerance», 1842) — название романа французской писательницы Marguerite Ancelot

Одно лето карауля Париж ~ я «систематически» обманывал Одарченка-Бормосова («Денёк») и Копытчика — С К Маковского — Речь идет о двух литературных мистификациях Ремизова Он посылал Одарченко письма, написанные разными почерками от имени разных общих знакомых, содержавшие хвалебные отзывы о вышедшем сборнике «Денёк» Подробнее см Письма А М Ремизова к Ю П Одарченко Публ, вступ статья и коммент А М. Грачевой (подготовка текста в соавторстве с В П Полытковской) / Наше наследие, 1995, № 33 С 93–104 С Маковского («Копытчика»-чертика) Ремизов убеждал в подготовке нового альманаха «Оплешник» [Слово «оплешник» также означает «чертик»] См отражение этого розыгрыша в художественном произведении — «сне» Ремизова «Петли, узлы и выступы»: «Я вышел в другую комнату Там, согнувшись над столом, Копытчик (С. К. Маковский) пишет программу "Оплешника", повторяя / "Оплешник — оплетать — плел — " / На плите, пред Копытчиком, подгорелые овощи, залежавшийся соленый огурец пустышка, вареная свекла, не отличишь от кактуса, лопнувшие растекшиеся томаты — матерьял для "Оплешника" / Копытчик предлагает мне поправить этот "натюрморт". А я вызвался отделать дом "по Гоголю"» (Ремизов А Мартын Задека Сонник Париж, 1954 С 60) См также письма Ремизова Кодрянской 1949 г 1) от 14 августа. «Приходит ПРОЩАТЬСЯ Копытчик Про моего "Оплешника" стали говорить "Оплёшник", все поверили и волнуются И во вдохновителя-чародея Солончука, (к сожалению, Солончук уезжает в Индию, в Калькутту) Разговор по обыкновению, как я живу Мне напомнил весенние расчеты Роговского и обещания Копытчик без обещаний он убежден, что "Оплешник" меня будет печатать, а Солончук платить гонорар 5000 frs в месяц < > На "Оплешник" я не отозвался (мне было не совсем, когда я вдруг понял всю силу очарования моего "Оплешника")» (Кодрянская Письма С 137), 2) от 20 августа «Как бы я хотел, хоть на время, ни о чем не думать Если бы от моих дум был прок, и что я выдумал за 20-ть дней? "Оплешника"? Его засадят с виноградом и к вашему возвращению не останется никакой памяти, если вы сами не напомните» (Там же С 140)

С 124 *«Дева днесь Пресущественного рождает»* — первые слова кондака Рождества

С. 125. *«Русское богатство»* (1876–1918) — литературный, научный и политический журная народнического направления

«Святый Владимир» (1946) — новелла Б Г Пантелеймонова

С 126 *Начиная со «Слова»* — Имеется в виду памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» (XII в)

Великие Минеи-Четии — свод древнерусских оригинальных и переводных памятников, житийных, риторических, церковно-учительного и исторического характера, состоящий из 12 книг-миней (одна на каждый месяц года). Создание было начато в Новгороде в 1529–1530 гг и длилось в течение 12 лет под руководством митрополита Макария

«Житие» (1672–1673) *протопопа Аввакума* — автобиографическое произведение крупнейшего деятеля старообрядчества XVII в, оказавшее значительное эстетическое влияние на позднее творчество Ремизова

«Русская Правда» — свод древнерусского права эпохи Киевского государства и феодальной раздробленности В его тексте отражена эволюция древнерусских общественных отношений XI–XIII вв

С 127. *«В чужбине свято соблюдаю родной обычай старины »* — цитата из стих А С Пушкина «Птичка» (1823)

«Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей .» — цитата из стих «Птичка» В И Туманского (1827).

С 129 *Троице-Сергиева лавра* — крупнейший русский монастырь под Москвой Основан в середине XIV в Сергием Радонежским Наименование «лавра» присвоено в 1744 г

у меня не было Горкина . — реальное лицо — Михаил Панкратович Горкин — плотник, детский воспитатель Ивана Шмелева, изобразившего его под собственным именем в произведениях «Лето Господне» (1948), «Богомолье» (1948)

Говерналь — воспитатель Тристана в ремизовской повести «Тристан и Исольда» (см Т 6 наст изд)

«Человек из ресторана» (1911) — повесть И С Шмелева.

С 130 *на Ильинке свои из гильдейских* — На Ильинке находился Московский Торговый банк, принадлежавший близким родственникам Ремизова — Найденовым

Анна Николаевна славится слоеными пирожками и поставляет Копытчику (С К Маковскому) свежие огурцы — для «костюмошной» складки — См в письме Ремизова Кодрянской от 26 февраля 1948 г «"Акула" принесла 6 пирожков Два сейчас же с кофеем, а 4 на кухню, "доедать субботнее" У Акулы под правым глазом красный подтёк от плиты А приходила она справиться "правда это, что такой закон вышел, никто "никого выгонять не можешь"?" (из квартиры) Она продаст "рисунок Родэна" < > Я ей посоветовал обратиться к "Копытчику" (С К Маковскому) Она его знает огурцы покупал» (Кодрянская Письма С 89)

С 132 *«Солнце мертвых»* (1926), *«Неупиваемая чаша»* (1918), *«Пути небесные»* (1936–1948) — произведения И С Шмелева

С 133 *.скажет Зосима «Ты будешь все с несчастными и в несчастьи счастлив будешь»* — Неточная цитата Ср. в романе Ф. М Достоевского

«Братья Карамазовы» «Горе узришь великое и в горе сам счастлив будешь» (Достоевский 14 С 72)

С 133 *только что окончил поэму «Центурион»* — Ремизов имеет в виду оставшееся неопубликованным антологическое стихотворение И С. Шмелева «Пстухн» (1946), эротический сюжет которого изложен в тексте МД

Драстические сцены — прилагательное образовано от *фр* «drastique» — сильнодействующее слабительное средство

Дериват — производное

...не по «Луке» — имеется в виду анонимная эротическая поэма 1-й трети XIX в. «Лука Мудищев».

С 136 *«Кишмиш».* — О передаче текстов этой главы, а также гл. «Солнечный цыпленок» для публикации в газ. «Новое русское слово» см письмо Ремизова к Кодрянской 19 июня 1952 г «Я послал вам "Солнечного цыпленка" — к сезону Его судьба? На днях пошлю "Кишмиш"» (Кодрянская. Письма С 275) *Кишмиш* — букв изюм, приготовленный из одноименного сорта винограда В переносном значении. путаница, мешанина.

«Ундергрунд» (иск от *нем* Untergrundbahn) — метро, «подземка»

Вторая «Берлинская волна» — весна 1933 г — Речь идет о лицах, эмигрировавших из Германии после того, как 30 января 1933 г А Гитлер — лидер германской национал-социалистической партии, приверженец националистических и антисемитских теорий, стал рейхсканцлером

и «мышиональной» похваткой — слово «мышионально» взято Ремизовым из цикла В А Слепцова «Письма об Осташкове» (1862–1863) См. Слепцов В А Избранные произведения Л, 1970 С 232

С 137 *В России «открыт» ~ мой архив, в Публичной Библиотеке и в Пушкинском доме* — О судьбе ремизовского архива см Грачева А М Архивные описи как источниковедческая база изучения дореволюционного архива А М Ремизова // VI ICCEES WORLD CONGRESS 29 july – 3 august 2000 Abstracts Tampere, 2000 С 143

С 138 *Из этого Архива печатаются письма Горького, Л Н Андреева, Блока, и с «комментариями»* — Речь идет о содержавшемся в заметке «Красной газеты» упоминании о наличии перечисленных писем в архиве писателя Вышеуказанные письма опубликованы I письма М Горького — (частично) 1) Горький М Письма А М Ремизову (2) / Горький М Собр. соч В 30 т Т 24, 29 М, 1953, 1955 — см указ; 2) Полностью письма Горького публ. в изд Горький М Полн собр соч Письма. В 24 т М, 1997 — (продолж изд) — см указ; II: Андреев Л Письмо Ремизову (1) / Грачева А Алексей Ремизов и Леонид Андреев (Введение к теме) // Алексей Ремизов Материалы и исследования С 45; III. Письма Ремизова Блоку полностью опубл Блок А А Переписка с А М Ремизовым (1905–1920) Вступ ст З Г Минц Публ и коммент А П Юловой / Александр Блок Новые материалы и исследования // ЛН Т 92 Кн 2 М, 1981 С 63–127

С 141 *строчкой из Слепцова, из его Осташкова «на всем свете война вот и в Персии, уж на что, кажется, пошлое государство, а даже и там, говорят, бабы взбунтовались»* — Ошибка Ремизова в указании источника неточной цитаты, взятой из повести В А Слепцова «Трудное время» (1865) См Слепцов В А Трудное время // Слепцов В А Избранные произведения С 530

С 142 *Бестиарий* — средневековый сборник, посвященный описанию животных· В нем научные сведения смешаны с баснословными сказаниями и их символическими толкованиями

«Конже» (*фр* congé) — отказ от квартиры

Ектенья — часть православного богослужения Моление, содержащее разные прошения, на которые хор отзывается словами «Господи, помилуй» или «Подай, Господи», и обычно сопровождаемое пением певчих

мне приснился поистине фараоновский сон — Ремизовская аллюзия на библейский эпизод о пророческих снах о семи тучных и семи тощих коровах и колосьях, снах, увиденных фараоном и растолкованных Иосифом (Быт 41, 1–8)

С 144 *Памяти Henry Church* — См письмо Ремизова Кодрянской 12 августа 1947 г « получилось письмо от Paulhan'a, Barbara Church затевает заключительный "Mesures" памяти Henri [так! — *А Г*] Church'a Отказываться не могу по совести "Mesures" — это вершины французского искусства (книги выходили до войны 1939 г — и всякий год мое, для русских самое вздорное, там печатали начерно переводила Серафима Павловна, а отделывал сюрреалист Gilbert Lély) Henri был молчаливый, изведавший всю премудрость, а Barbara — живая, писала стихи по-немецки Последнее наше свидание в день полученных известий из Киева о гибели Натуси» (Кодрянская Письма С 71–72) См также письма к ней же 1) от 15 августа «Приходил Бахрак [так! — *А Г*] < > Читал ему о Churche'e, он должен переводить» (Там же С 74); от 17 августа «Кончил переписывать гиппопотамов или бегемотов, а завтра, уже быстро, перепишу еще раз» (Там же С 75)

«Eine asiatische Giftpflanze» (*нем*) — «азиатское ядовитое растение».

«la plante vénéneuse» (фр) — ядовитое растение

С 1921 г в России, ~ и с 1931 г на чужбине ~ по-русски не издают моих книг — В 1921 г Ремизов выехал за границу В 1931 г появилась кн «Образ Николая Чудотворца, Алатырь — камень русской веры» (Paris, 1931) Следующее отдельное издание, осуществленное без ведома автора — «Голубиная книга» (Hamburg, 1946)

Mährchen (*нем*) — сказка

С 145 *«Les Fleurs de Tarbés»* (*фр*) — «Цветы Тарба»

«Mesures» (Paris, 1935–1940) — литературный журнал Редколлегия· Henry Church, Bernard Groethuysen, Henri Michaux, Jean Paulhan, Giuseppe Ungaretti

Gallimard — парижское издательство

NRF — «La Nouvelle Revue Française» (Paris, 1908–1914, 1919–1943), с 1951–1953, с 1953 по 1959 — «La Nouvelle Nouvelle Revue Françorise», с 1959 по настоящее время — под прежним заглавием — литературно-периодическое издание, первоначально созданное группой писателей-символистов

Basillus cubtilis artis (*лат*) — Бацилла тонкого искусства Название произведения Henry Church (опубл Mesures, 1936, № 1 P 51–80)

С 147 *Роман Сладкопевец, преподобный* (кон V – нач VI в) — святой православной церкви Автор кондаков (песнопений, связанных с определенными праздниками), которые до сего дня остаются частью богослужения

Наиболее известные — рождественский «Дева днесь» и покаянный «Душе, душе моя»

С 149 *«Конь и лев»* — источник ремизовской легенды — Пролог от 4 марта, рассказ о Герасиме «иже на Иордане»

С 154 *у вас, Антонина Алексеевна* — О прототипе героини см у Н Резниковой «Постоянно заходила прежняя "стрекоза обезьянья", теперь "Нони" — Нина Григорьевна Львова < > О ней А М пишет в рассказе "Солнечный цыпленок"» (Резникова С 100)

С 155 *«В сияньи голубом »* — название главы — цитата из стих М Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу »

С 156 *В газете его печатали бы на Рождество и на Пасху а вернее, и вовсе не печатали ~ «не понятно», «не понимаем!»* — Ремизов последовательно перечисляет этапы своей литературной биографии, тем самым как бы уподобляя писательскую судьбу Лермонтова своей

«Заветы» (СПб , 1912–1914) — литературно-политический ежемесячный журнал Ред П П Инфантьев, 1913 — И И Корасвский, 1914 — Н М Кузьмин

«Скифы» — сборники (№ 1 – СПб , 1917, № 2 – СПб , 1918)

«Сирин» (СПб , 1912–1914) — частное издательство, основанное промышленником М И Терещенко и его сестрами П И и Е И Терещенко В нем издано Собр соч Ремизова в 8 т (1912)

людей ~ «обойденных» — Понятие восходит к роману Н С Лескова «Обойденные» (1865) и является одним из центральных в романе Ремизова «Плачужная канава» См Т 4 наст изд

С 157 *В русской сказке о царе Соломоне* — Имеется в виду ремизовская переработка этой сказки под загл «Царь Соломон» (1911) См Т 2 наст изд С 233–238

Подсоба — ветер

С 159 *Проходил медведчик с медведем и обезьянкой* — Основа сюжета этого эпизода — текст Дневника Ремизова, запись от 25 августа 1917 См Т 5 наст изд С 473–474

вспомнил Гаршина, его горестный рассказ о медведях — Имеется в виду рассказ В М Гаршина «Медведи» (1883) о совершенном по приказу начальства убийстве ручных животных, принадлежавших цыганам

С 160 *Кузинаки* (козинаки) — восточная сладость

С 161 *«Сатирикон»* (СПб , 1908–1914) — еженедельный сатирический журнал Ред — А А Радлов, позже — А Т Аверченко

С 163 *вавилонское проклятие* . — Имеется в виду Библейский сюжет о строительстве Вавилонской башни высотой до небес, строительстве, сочтенном Богом кощунством и прерванном смешением языков строителей и рассеянием их по земле (Быт 11, 1–8)

С 164 *«Золотое Руно»* (Москва, 1906–1909) — ежемесячный художественно-литературный и критический журнал Ред -изд — Н. П Рябушинский

«Арап» (*разг*) — человек, делающий за кого-то «черную» работу. В частно издательском сленге пишущий за кого-то, но остающийся неуказанным как автор

С 166. . *регент Вас Ст Лебедев однажды посвятил меня в тайну камертона* — Этот биографический эпизод лег в осиову гл «Камертон» кн. «Подстриженными глазами» См Т 8 наст изд С 161–166

С 168 *Тебе, на водах повесившего всю землю ~ взывающе* — Текст третьего ирмоса канона, Великой (Страстной) Субботы «Волною морскою»

Он был у Омона — Имеется в виду театр Декаданс («Омон») на углу Тверской и Садовой, где исполнялись дивертисмент и оперетки

С 170 *«Игра вещей»* — О публикации главы в газ «Новое русское слово» см письмо Ремизова Кодрянской 1 августа 1952 г «Спасибо, получил "Игру вещей"» (Кодрянская Письма С 284)

С 171. . *у нас на Кавалергардской* — Ремизовы жили в Санкт-Петербурге на Кавалергардской ул, д 8, кв. 28 с августа 1906 по июнь 1907-го.

ПЕТЕРБУРГСКИЙ БУЕРАК. Шурум-бурум. (Стернь)

Впервые опубликовано Ремизов А Встречи Петербургский буерак Paris [1981] 293 с [Отрывки]

Публикации отдельных глав

I. На большую дорогу. (Моя литературная карьера).

1. Кувырком. Впервые НРС, 1954, № 15254, 31 янв, **2. Небо пало.** Впервые Всемирная панорама (СПб), 1909, № 5 С 7, Ремизов А. Докука и балагурье СПб, 1914 С 257–259, Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым Берлин, 1923 С 339–341, НРС, 1954, № 15254, 31 янв, **3. Разоблачение.** Впервые НРС, 1954, № 15261, 7 февр, **4. Берестяной клуб.** Впервые Речь (СПб), 1912, № 268, Ремизов А Докука и балагурье С 193–194, Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым С 100–102, НРС, 1954, № 15268, 14 февр, **5. Плагиатор.** Впервые НРС, 1954, № 15268, 14 февр, **6. Крестовые сестры.** Впервые. НРС, 1954, № 15275, 21 февр, **7. Магия.** Впервые НРС, 1954, № 15284, 7 марта

II. Статуэтка.

1. На XI-ой версте. Впервые под загл *Моя литературная карьера* 1 На 11-ой версте // НРС, 1953, № 14953, 5 апр, под загл *Статуэтка (Моя литературная карьера)* 1. На 11-ой версте // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 19 С 36–48, **2. Статуэтка.** Впервые под загл *Моя литературная карьера* 2 Статуэтка // НРС, 1953, № 14960, 12 апр, под загл *Статуэтка Моя литературная карьера* Статуэтка // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 19 С 37–40, **3. Моя библиография.** Впервые под загл *Моя литературная карьера* 3 Часы // НРС, 1953, № 14967, 19 апр, под загл *Статуэтка Моя литературная карьера* Моя библиография // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 19 С. 40–42; **4. Потерянный бриллиант.** Впервые под загл *Статуэтка Моя литературная карьера* Потерянный бриллиант // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 19 С 42–44; **5. Милосердные.** Впервые. под загл *Моя литературная карьера* 4 Милосердные // НРС, 1953, № 14974, 26 апр, под загл *Статуэтка Моя литературная карьера* Милосердные // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 19 С 44–46; **6. Канун.**

Впервые под загл *Моя литературная карьера* 5 Канун // НРС, 1953, № 14988, 10 мая, под загл *Статуэтка Моя литературная карьера* Канун // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 19 С 46–47; **7. 1919–1941.** Впервые под загл *Моя литературная карьера* 6 1919–1941 // НРС, 1953, № 14988, 10 мая, под загл *Статуэтка Моя литературная карьера* 7 1919–1941 // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 19 С 47–48, **8. Сеанс.** Впервые Встречи С 70–81

III. Петербургская Русалия.

Кикимора. Впервые Ремизов А Пляшущий демон Париж, 1949 С 31–36, **Бесиридаииица (В. Ф. Коммиссаржевская).** Впервые· Там же. С 37–41, **Послушный самокей (М. А. Кузмин).** Впервые под загл · Послушный самокей // Там же С 42–51; **Бесовское действо (У В. Ф. Коммиссаржевской).** Впервые под загл · Бесовское действо // Там же С. 52–59

IV.

«Дворецкий» (Дягилев). Впервые Дворецкий // Дело (San-Francisco), 1951, № 4, апр, **Дягилевские вечера в Париже. 1. «Свадебка».** Впервые под загл Дягилевские вечера в Париже 1 СВАДЕБКА // Опыты (New-York), 1953, № 1; **2. «Зефир и Флора».** Впервые· под загл Дягилевские вечера в Париже 2 ЗЕФИР И ФЛОРА // Там же, **3. «Пульчинелла».** Впервые под загл Дягилевские вечера в Париже 3 ПУЛЬЧИНЕЛЛА // Там же, **4. «Соловей».** Впервые под загл Дягилевские вечера в Париже 4 СОЛОВЕЙ // Там же, **5. «Матросы».** Впервые под загл Китайский светлячок и матросы // ПН, 1925, № 1592, 3 июля; под загл Дягилевские вечера в Париже 5 МАТРОСЫ // Опыты (New-York), 1953, № 1· **6. «Ода».** Впервые· под загл Дягилевские вечера в Париже 6 ОДА // Там же, **7. «Весна Священная».** Впервые Наш мир Иллюстр прилож к «Рулю», 1924, № 6, 27 апр С 58; под загл Дягилевские вечера в Париже 7 ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ // Опыты (New-York), 1953, № 1, **8. «Аполлон» и «Блудный сын».** Впервые· под загл Дягилевские вечера в Париже 8 АПОЛЛОН и БЛУДНЫЙ СЫН // Там же

V.

1. Чудесная Россия. Впервые· под загл Чудесная Россия Памяти Льва Толстого // Москва (Чикаго), 1929, № 5 С 8, **2. Три письма Горького.** Впервые· НРС, 1951, № 14318, 8 июля; Грани (Frankfurt/Main), 1955, № 25; **3. Алексей Максимович Горький. 1868–1936.** Впервые Новая Россия (Париж), 1936, № 11, 1 авг, **4. Шаляпин.** Впервые НРС, 1953, № 15058, 19 июля, **5. Царский конь. Интермедия.** Впервые СП, 1947, № 130, 18 апр, НРС, 1953, № 15065, 26 июля, **6. М. М. Пришвин.** Впервые ПН, 1938, № 6269, 25 мая, Новоселье (Нью-Йорк), 1946, № 24/25, февр/март; **7. Стоять — негасимую свечу. Евгений Иванович Замятин. 1884–1937.** Впервые под загл · «Стоять — негасимую свечу», Памяти Е И Замятина // СЗ, 1937, № 64. С 424–430

VI.

1. **«Воистину».** Впервые· под загл · Воистину Памяти В В Розанова// Версты (Париж), 1926, № 1 С 82–86, **2. Выхожу один я на дорогу (Розанов).** Впервые. под загл: Розанов // ПН, 1932, № 1932, 21 февр; под загл Розанов // НРС, 1953, № 15198, 6 дек.

VII.

1. **Из огненной России.** Впервые под загл · Из огненной России (Памяти Блока) // ПН, 1921, № 500, 2 дек, под загл. Из огненной России. Памяти Блока // Звено (Берлин), 1922, № 1, янв, под загл. К звездам // Ремизов А АХРУ Берлин, 1922. С 7–27, под загл. К звездам. Памяти Блока. // Ремизов А. Взвихренная Русь Париж, 1927. С. 501–515, **2. Десять лет.** Впервые под загл. Десять лет Памяти А. А. Блока // ПН, 1931, № 3788, 6 авг, **3. По серебряным нитям (Лития).** Впервые· под загл · По серебряным нитям Лития // СП, 1946, № 94, 9 авг

VIII.

1. **Салтыков-Щедрин.** Впервые под загл. К пятидесятилетию «Пошехонской старины» // Русский Вестник (Нью-Йорк), 1937, № 65, 1 окт, НРС, 1953, № 15107, 6 сент, **2. Антон Павлович Чехов. 1860–1904.** Впервые под загл Антон Павлович Чехов // НРС, 1954, № 15443, 8 авг; под загл. Repyxa Антон Павлович Чехов // Грани (Frankfurt/Main), 1957, № 34/35, **3. Хмурые люди.** Впервые под загл [Ответ на анкету о Чехове] // Иллюстрированная жизнь (Париж), 1934, № 18, 12 июля; **4. Потихоньку, скоморохи, играйте! Николай Николаевич Евреинов. † 7.IX.1953.** Впервые под загл Потихоньку, скоморохи, играйте Николай Николаевич Евреинов [Некролог] // НРС, 1953, № 15163, 1 нояб; под загл Потихоньку, скоморохи, играйте. [Памяти Н. Евреинова] // Грани (Frankfurt/Main), 1953, № 20; **5. «Заветы». Памяти Леонида Михайловича Добронравова. 1887–† 26.5.1926.** Впервые под загл Заветы // Версты (Париж), 1927, № 2 С 122–128; **6. Яков Петрович Гребенщиков.** Впервые под загл · Яков Петрович Гребенщиков 1887–1935 [Некролог] / ПН, 1935, № 5159, 9 мая, **7. Встреча (П. Н. Милюков).** Впервые ПН, 1939, № 6568, 22 марта.

IX.

1. **Продовольственный портфель (М. И. Терещенко).** Впервые под загл.· Портфель // НРС, 1954, № 15358, 15 мая, **2.[1] Карандаш.*; 3. Оленьи рога.*; 4. Ртуть.*; 5. Космография.** Впервые под загл. Космография [Мучительное Удовольствие Лучшее. Лысые поверхности Страшно Род] // Звено (Париж), 1924, № 100, 29 дек

X.

1. **Наши обжоры восемнадцатого века. Пан Халявский — 1840.** Впервые· под загл: Столетие пана Халявского // ПН, 1938, № 6262, 19 мая; под загл · Наши обжоры XVIII в. Пан Халявский // НРС, 1954, № 15303 21 марта.

---

[1] Публикации глав, помеченных звездочкой, не удалось выявить по библиографическим справочникам Sinany, Lampl.

XI.

Рисунки писателей. Впервые Временник общества друзей русской книги (Париж) // 1938, № 4, НРС, 1954, № 15429, 25 июля

XII. Сны в русской литературе.

1. Полодни ночи. Впервые под загл Сны в русской литературе Полодин ночи // НРС, 1953, № 15016, 7 июня, Ремизов А Мартын Задека Сонник Париж, 1954 С 7–16, **2. Топь ночи.** Впервые // НРС, 1953, № 15030, 21 июня, Ремизов А Мартын Задека Сонник С 93–98

Рукописные источники·

«Петербургский буерак. Шурум-бурум. (Стернь)» — наборная рукопись книги <автографы, авторизованная машинопись, печатные тексты, ксерокопии — правки рукой Ремизова и Б Б Сосинского> Дата· <1950-е > — Ч 1–5 РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр. 18 165 л ; Ч 6–12 РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед. хр 19 127 л ; **Послушный самокей (Михаил Алексеевич Кузмин)** — авториз машинопись Дата <1940-е> — РГАЛИ Ф. 420 Оп 4 Ед хр 23 , **К звездам** — машинопись с правкой Б Б Сосинского Б д — ГЛМ Р НВ 3732/ КУ 12351/9 Ф 156 **«Петербургский буерак»** — планы, беловые и черновые автографы, авторизованные и неавторизованные машинопись и печатные тексты вариантов отдельных глав Даты <1940-е – 1950-е> — Собр Резниковых **«Петербургский буерак»** — подготовительные материалы, черновые и беловые автографы, авторизованная машинопись и печатные тексты вариантов отдельных глав книги Даты <1920-е – 1950-е> — ЦРК АК Кор 14 Папки 10–13

«Петербургский буерак» [«Шурум-бурум»] — черновые и беловые автографы отдельных глав, варианты содержания Даты <1940-е – 1950-е> — Бахметевский архив

История текста «Петербургского буерака» (ПБ) еще ждет научного рассмотрения ПБ — последнее крупное произведение Ремизова, который продолжал работу над ним до самой смерти Творческий замысел ПБ относится к концу 1940-х гг В письме Н Кодрянской от 19 апреля 1949 г Ремизов отметил «И решил для отдыха подберу рассказы для моей посмертной книги Шурум-Бурум» (Кодрянская Письма С 116) Примечательно, что первоначальное название задуманного *последнего* произведения является воспроизведением названия комплекса самых *первых* произведений Ремизова, уничтоженных в годы ссылки (см Иверень — Т. 8 наст изд) Согласно изначальному замыслу это должна была быть монтажная по своей художественной структуре книга, состоявшая из уже публиковавшихся текстов и обреченная на печатание по частям в НРС. Об этом Ремизов писал Кодрянской 21 апреля 1949 г «. пришла С Ю. [Прегель — *А Г*] < > я ей рассказал о содержании "Шурум-Бурума" и когда соберутся все рассказы, я ей покажу пусть берет на выбор, не помнная, что все они из "Шурум-Бурума"» (Там же С. 119). Произведение должно было состоять из 33 рассказов Центральным в нем являлся рассказ «Эрмитажная редкость» (см · Там же. С 121–122) К августу книга была в целом сформирована 23 августа Ремизов писал Кодрянской· «Что же я сделал за 3 года, кроме Шурум-Бурум

н о Достоевском, Ихнелат и Грудцын Но ведь это пламень отчаяния Какой жс просвет? Ведь как-то, все-таки я существую, не окостенел < > это поймут историки литературы, если мною будут заниматься» (Там же С 144) В 1950 г Ремизов создавал рассказы-воспоминания о современниках — людях, знакомство с которыми состоялось в эпоху, завершавшую петербургский период русской литературы Работа над ними способствовала формированию новой концепции книги Соответственно изменились ее идейно-художественная структура и название. 5 сентября 1950 г Ремизов сообщал Кодрянской «Строю книгу "Петербургский буерак"» (Там же С. 170) В 1950–1951 гг он продолжал писать рассказы-воспоминания об ушедших знакомых, память о которых была значима не только для русской культуры как таковой, но прежде всего для самого мемуариста В 1953 г творческий замысел претерпел новую эволюцию Об этом свидетельствуют письма Ремизова Кодрянской 1) от 15 февраля 1953 г. «Сделал новую редакцию моей петербургской памяти "Моя литературная карьера", показывал благочестивым людям и повесть не вызвала никакого "соблазна" Я дал форму законченного рассказа около какой-то таинственной вещи, взбаламутившей Петербург своей таинственностью» (Там же. С 310), 2) от 18 октября 1953 г « "Выхожу на широкую дорогу литературы" готово» (Там же С 333), 3) от 11 декабря 1953 г «Посылаю "На большую дорогу" Общее заглавие, как и "Статуэтка" — "Моя литературная карьера" Этот архивный матерьял имеет значение для моей литературной биографии, в которой отражается и все мое житейское "кувырком" Если Вайнбаум не захочет печатать, покажите рукопись Сазоновой По внешности рукописи судите о моей беспомощности сколько неумелых рук мудровали, исправляя А я терял терпенье < > как мне горько это писать» (Там же С 336) На новом этапе книга стала логичным продолжением предшествующих крупных произведений («Подстриженными глазами», «Иверень», «Учитель музыки», «Мышкина дудочка»), в совокупности представляющих собой историю самопознания писателя К началу 1954 г книга «Петербургский буерак» была готова, о чем опять-таки свидетельствуют письма Ремизова его постоянному конфиденту — Н Кодрянской 1) от 28 февраля 1954 г « другие подготовленные мои книги < > "Петербургский буерак"» (Там же С. 352), 2) от 30–31 марта 1954 г « из прежнего отвергнутого у Вайнбаума < > 3) «Шурум-бурум» (Там же С 354) Поскольку созданная книга не была опубликована, то в период 1954–1957 гг. Ремизов продолжал работать над ней, изменяя ее состав и усложняя идейно-философскую концепцию На последнем этапе в состав книги вошли эссе о природе сновидений «Полодни ночи» и «Тонь ночи» К моменту смерти Ремизова отдельные вновь написанные части, а также главы и подглавки книги были опубликованы в различных периодических изданиях без упоминания о том, что они входят в состав единого произведения В конце 1957 г в парижском архиве Ремизова оставалось несколько законченных вариантов книги, единых по общей композиции, но отличающихся составом отдельных подглавок Согласно решению душеприказчиков Ремизова с основных крупных произведений писателя были сделаны ксерокопии, но только в том случае, если не имелось вариантов, которые при поверхностном рассмотрении представлялись дублетами История разделения единого архива Ремизова между душеприказчиками и исполнения завещания писателя

заслуживает особого научного исследования В случае с «Петербургским буераком» один полный вариант произведения остался в Собрании Резниковых Другой, так же полный, но не идентичный по составу, оказался в руках Б Б Сосинского и в конце концов поступил в РГАЛИ Н В Резникова неоднократно предпринимала попытки выполнить последнюю авторскую волю — добиться публикации неизданных произведений Ремизова Она принесла наборную рукопись ПБ в парижское издательство «LEV» По свидетельству родственников Резниковой, владелец издательства самовольно расформировал целостное произведение Ремизова, разделив его на разделы, часть из которых сохранила авторские названия, часть была названа иначе, чтобы сделать текст «доступнее для понимания» Актом волюнтаризма явилось появление общего безликого названия книги — «Встречи». В этом плане также характерна введенная, неприемлемая для поэтики ремизовского творчества рубрика «Разное», куда вошли произвольно перемешанные подглавки Финальная часть, посвященная снам, была попросту выброшена. Книга была издана с массой опечаток и неправильных прочтений наборной рукописи Одним из наиболее вопиющих является публикация авторских примечаний к подглавке «Максим Горький» в виде отдельной подглавки под названием «Примечания» В дальнейшем рукопись была возвращена Резниковой, но не в целостном виде, а частично, в форме разбросанных частей и глав Таким образом, фактически экземпляр Собр Резниковых перестал существовать как наборная рукопись единого законченного произведения Книга «Встречи» не может рассматриваться как издание произведения Ремизова, а только как непрофессионально составленная антология текстов из ПБ Наборная рукопись РГАЛИ сохранилась лучше, хотя Сосинский, желая популяризовать творчество Ремизова в СССР, также вынимал из нее некоторые части (например, гл «М М Пришвин» была изъята для публикации в журн «Вопросы литературы») Отсутствует также раздел «Петербургская русалия», но в оглавлении книги имеется помета, что этот раздел есть в книге «Пляшущий демон». Однако в экземпляре РГАЛИ целиком сохранена авторская структура книги Большую часть текстов составляют авторизованные машинопись и печатные тексты Поэтому именно вариант РГАЛИ избран для публикации книги в настоящем издании Надо отметить, что по составу подглавок варианты Собр. Резниковых и РГАЛИ не совпадают (в экз. РГАЛИ нет подглавок «Вечный», «Восточный», «Леший», «Акробат», «Голландец», «Золотые туманы», «Три волхва», «Лупа», «Портфель» («Я ничего не знаю, какой он был новый »), «Le courrier graphique», «П Е Щеголев (1877–1935)», «Памяти Льва Шестова», «Над могилой Болдырева-Шкотта») Подобное различие свидетельствует о продолжавшемся до смерти писателя изменении состава того набора малых повествовательных форм, которые в совокупности составляли единую большую жанровую форму, целостную по своей идейно-художественной структуре Изданная Г Чижовым-Холмским кн Р е м и з о в А О происхождении моей книги о табаке Что есть табак (Париж, 1983) — это датированный «24/V. 1945–1946 г» один из первоначальных вариантов гл «Статуэтка», к которой присоединен текст легенды «Что есть табак» Эта публикация также изобилует опечатками, но учитывается как один из дополнительных источников текста

В настоящем издании «Петербургский буерак» публикуется по наборной рукописи РГАЛИ со сверкой по материалам Собр Резниковых

С 174 *С августа 1921-го в Европе* — Ремизов уехал нз Советской Россни 7 августа 1921 г

С 175 *«Скорпион»* — московское издательство (1900–1916) Владелец — С. А. Поляков Издавало новейшую западноевропейскую литературу, русскнх символнстов.

. *на моей вечерней заре* — неоднократно повторяемая в позднн произведениях Ремизова ремннисценция нз стих Ф Тютчева «Последняя любовь» «О, как на склоне наших лет / Нежней мы любим н суеверней / Сняй, сняй, прощальный свет / Любвн последней, зари вечерней!» Ср названне ремнзовской переработкн своих пнсем к жене «На вечерней заре»

С 178 *«Мир Божий»* (СПб, 1891-1906) — ежемесячный лнтературный и научно-популярный журнал для самообразовання 1901–1902 — ред В. П Острогорский, с 1902 — Ф Д Батюшков

«Русское Богатство» — см коммент к с. 125 наст тома

«Вестник Европы» (СПб, 1866–1916) — журнал наукн, политнкн, лнтературы 1866–1908 — ред М М Стасюлевич С 1908 — К К Арсеньев, с 1913 — Арсеньев и Д Н Овсяннко-Куликовский

«Русская Мысль» (М, 1880–1916) — ежемесячный лнтературно-политический журнал 1881-1906 — ред В А Гольцев 1907–1910 — ред. А А Кизеветтер и П Б. Струве, 1911-1916 — П Б Струве

первая книга «Посолонь» ~ прошла незаметно для большого круга ~ Та же участь и второй моей книги «Лимонарь» . — Ремнзовская оценка реакции критики на эти издания не соответствует действительности Отзывы критики см в коммент к публикации данных сборников в наст изд (Т 2, 6)

обратили на себя внимание ~ Шахматова — См отклик на преподнесенне в дар «Посолонн» н «Лимонаря» — пнсьмо А А Шахматова Ремнзову от 29 февраля 1912 г «Спешу принестн Вам искреннюю благодарность за присылку VI и VII том[ов] Ваших сочннений, прошу принять Вас уверенне в совершенном уваженин и предаииостн А Шахматов» (РНБ Ф 634 Оп 1 Ед хр 239 Л 1) См также дарственную надпнсь Ремнзова жене на кн «Лимонарь» (СПб, 1907) «Однажды по научению Юр Верховского поехал в Акад[емию] Наук на пушкинскую премию — забраковали» (Каталог. С 16) Документальные подтверждения о посылке кинг Ремизова на соискание Пушкинской премии не удалось обнаружить нн в личных архивах А А Шахматова н К К Романова, ни в делах Императорской Академнн наук

С. 180 .. *Чуковский передал моего «Корявку»..* — Рассказ опубл под загл «Павочка» (Нива. 1914 № 9, 10)

«Берестяной клуб» — опубл· Речь. 1912 № 268 30 сент (13 окт) С 3

С 182. . *принес мне ~ «Скетинг-ринг» с моей сказкой «Небо пало» Я упомянул о Аверченко* — Ошибка Ремизова «Небо пало» опубл · «Всемирная панорама», 1909. № 5. С 7 В кн. «Встречи» далее абзац «„С этнмн господамн жалко руки марать!" Васька Регинин "Что, говорит, мы не дети, со сказкамн, да Ремизова никто не поннмает"» (С 18)

С 184 *в Куокале у Чуковского* — Дачный поселок Куоккала (ныне Репнно) недалеко от Петербурга на Карельском перешейке, где Чуковский снимал дачу

Репин пишет его портрет и питается сеном — См воспоминания К И Чуковского о своем знакомстве с И Е Репиным н его семьей· «Жена

Репина, Наталья Борисовна Нордман-Северова, ярая пропагандистка вегетарианской еды, угощала не только его, но и всех гостей каким-то наваром из трав Эти-то супы из сена приобрели большую популярность в обывательских массах Многие приезжали к Репину <.>, чтобы отведать его знаменитое "сено" <.> В марте 1910 года Репин начал писать мой портрет < > В тот период, когда он писал мой портрет, он ездил в город на все мои лекции, читал мои тогдашние книги, и вообще то был "медовый месяц" наших отношений, никогда уже не повторявшийся снова» (Чуковский К И Из воспоминаний М, 1958. С 73, 89, 101)

«Понедельник» — См коммент к с 35 наст тома

С. 185 *А А Измайлов уличает меня в плагиате ~ третий год печатает Котылев мои сказки, почему же только теперь Измайлов обратил внимание на мою воровскую природу ~ я пересмотрел все Котылевские листки ~ до последнего номера «Скетинг Ринга» с моими сказками* — Текстологическая основа для изложения этого эпизода в ПБ — текст кн «Кукха», гл «Язва» Ср · «Трудно мне было выбиваться в "писатели" И хоть многих уже навастривал < >, а самому приходилось околачиваться в "Скетинг-ринге", во "Всемирной Панораме", да и то стараниями А И Котылева, действовавшего в выколачивании авансов не только убеждением, но, как узнал я потом, и мордобоем < > И как на грех А А Измайлов из побуждений самых высоких, < > написал про меня в вечерней Биржевке» (Кукха С 81)

«Писатель или списыватель» ~ подпись Аякс, псевдоним А А Измайлова — Речь идет о статье «Писатель или списыватель», подписанной псевдонимом «Мих Миров» (БВ 1909 № 11160 Веч вып 16 июня С 5) Ее автор сравнил тексты сказок Ремизова «Небо пало» и «Мышонок» с текстами-источниками из сборника Н Е Ончукова «Северные сказки» (СПб, 1908), нашел текстологические параллели и на этом основании обвинил писателя в плагиате В 1898–1916 гг А А Измайлов, действительно писавший под псевдонимом «Аякс», был зав литературным отделом БВ и одним из основных постоянных критиков этой газеты Однако до настоящего времени нет прямых доказательств того, что именно он являлся автором статьи, хотя Ремизов был убежден в этом См его позднее признание «До расчленения на "писателя" и "человека" в памяти храню о себе — все врет, грубый С расчленением на "человек" и "писатель". < > 3) литературный вор (А Измайлов)» (Кодрянская С 90) О возможном авторе пасквиля см письмо А Измайлова Ф Сологубу от 25 марта 1910 г «Моя личная точка зрения на эти недоразумения, связанные с кричащим термином "плагиат", не совпадает с редакционной По личному опыту я знаю, какие штуки здесь шутит память, и как нетрудно двум авторам попасть в одно веяние мысли Для меня нет ничего отвратительнее восторженного захлебывания толпы, когда Чуковский обвинил Бальмонта за три выражения, схожие в статье с выражениями какого-то англичанина, (Бальмонта, у которого 20 книг!) или Ремизова за пользование сказкой Я уезжал на Кашинские торжества, когда приняли обвинение Ремизова и, забрав корректуру письма, доказывал, что не стоит его давать Добился только того, что смягчили выражения Моя роль в газете вообще незначительна» (Федор Сологуб и Ан Н Чеботаревская Переписка с А А Измайловым Публикация М М Павловой // Ежегодник

Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год СПб, 1999 С 207–208) В комментарии к письму М М Павлова расшифровывает подпись так: «Мих Миров <Чуковский?>» В пользу гипотезы об авторстве Чуковского свидетельствует и текст «Петербургского буерака», где факту узнавания о пасквиле предшествуют подробные рассуждения Ремизова о Чуковском, возможно, и сообщившем писателю об Измайлове как авторе статьи

С 185 *Измайлов заканчивает торжественно· «как можно терпеть в среде честных писателей подобного сочинителя, как г Ремизов?»* — Цитата из статьи «Писатель или списыватель» // БВ 1909 № 11160 Веч. вып 16 июня С 5

А правда в этой сказке ~ амплификаций ~ и интерполяций . — Текст основан на неточном цитировании Ремизовым своего Открытого письма в редакции по поводу обвинения в плагиате (Русские Ведомости. 1909 № 205 6 сент С 5; Золотое Руно 1909. № 7–9 С 145–148) См текст письма: Т. 2 наст изд С 607–610)

С 185–186 *Я пошел в «Сатирикон» ~ Аверченко прямо посмотрел на меня — Впредь до разъяснений ничего не могу сказать вам* — Текст основан на оставшемся в России, в составе архива Ремизова в РНБ, письме А Т Аверченко от 18 июня 1909 г к Ремизову «В "Бирж<евых> Ве<домостях>" — читал О первой сказке "Про мертвеца" — не может быть и речи — она пойдет в одном из ближайших №№ — с примечанием Что же касается 2-й и 3-й, то до выяснения этого недоразумения в печати (я всецело согласен с Вами относительно возможности пользования материалом, конечно с примечанием) — я хотел бы с окончательным приемом этих сказок подождать» (РНБ Ф 634 Оп 1. Ед хр 38 Л 1; подчеркивание — рукой Ремизова) Как установила И Ф. Данилова, текст письма Аверченко лег в основу слов одного из персонажей «Крестовых сестер» — Аверьянова, одним из прототипов которого был автор письма (см коммент Даниловой к «Крестовым сестрам» — Т. 4 наст изд С 487). При создании кн. «Петербургский буерак», как и в процессе работы над кн «Подстриженными глазами», Ремизов, не имея под руками материалов оставленного архива, *использовал в качестве фактической основы текста мемуаров свой художественный текст,* в котором были «зафиксированы» необходимые ему архивные материалы Ср в «Крестовых сестрах»: «Аверьянов сказал — Впредь до выяснения вашего недоразумения я хотел бы с окончательным ответом подождать» (Т 4 наст изд С 101) Об отказе журн «Сатирикон» от сотрудничества с Ремизовым в связи с обвинением в плагиате см также письмо Ремизова А И. Котылеву от 8 июля 1910 г· «2) Узнайте почему меня вычеркнули из сотрудников "Сатирикона" (журнал продолжают высылать) и вычеркнули, как раз после обвинения меня в плагиате. 3) Узнайте, кто распорядился после обвинения меня в том же преступлении прекратить высылку мне Речи (до 1. VII 1909 я получал, а потом прекратили)» (РГАЛИ· Ф. 2567 Оп. 2 Ед хр 408 Л. 3 об)

С 186 *Никаких ваших рукописей у нас нет!* — См коммент к с. 180

Приходил Пришвин ~ Все свои соображения по поводу обвинения меня в плагиате он изложил ~ и отнес в «Речь».. — См· П р и ш в и н М. Плагиатор ли А Ремизов? (Письмо в редакцию) // Слово 1909 № 833 21 июня С. 5 Подробнее о позиции Пришвина в «истории с плагиатом» см·

Письма М М Пришвина к А М Ремизову / Вступ статья, подгот текста и примеч Е Р Обатниной // Рус лит 1995 № 3 С 159–173

С 187. . *в Историю русской литературы Иванова-Разумника Измайлову не попасть* — См письмо Ремизова А Блоку от 3 октября 1908 г «В настоящее время Разумник Васильевич Иванов занимается исследованием писателей от Волынского до нас с вами Книгу свою он хочет выпустить с портретами.» (Блок А. А. Переписка с А М Ремизовым Вступ ст. З. Г. Минц, публ и коммент А П Юловой // ЛН Т. 92 Кн 2, Александр Блок Новые материалы и исследования М, 1981 С 85) Замысел не был осуществлен Позднее опубл кн Иванов-Разумник Р В Русская литература XX в (1890–1915 гг) (Пг., 1920)

,Иванов-Разумник ~ подал мне три рубля Эту зелененькую я буду помнить — Ср в кн «Кукха» «Помню, Р В Иванов-Разумник 3 рубля дал — зелененькую, никогда не забуду» (Кукха С 82).

вспомню и повторю при имени Иванов-Разумник в 1920 году, арестованный ~ участвовал в альманахе «Скифы» — Речь идет об аресте Ремизова ЧК в ночь с 13 на 14 февраля 1919 г по делу о мифическом заговоре левых эсеров Он был арестован вместе с А А Блоком, Е И Замятиным, С. А Венгеровым, А З Штейнбергом, К С Петровым-Водкиным, М К Лемке и др на основании наличия его имени в записной книжке Иванова-Разумника 15 февраля, после допроса, Ремизов был отпущен на свободу. В альм «Скифы» (Пг, 1917–1918), выходивших под ред Иванова-Разумника, были опубл в № 1 «Ясня», в № 2 «Gloria in excelsis», «Слово о погибели русской земли»

С 188 — *Что у тебя за собрания ~ У тебя был Коноплянцев? ~ Коноплянцев, елецкий ученик Розанова* — Текст основан на тексте кн «Кукха». Ср « лезет в голову Коноплянцев, тоже ученик ваш Оказывается, в Ельце в гимназии у нас учились — и Пришвин, и Коноплянцев» (Кукха С 56)

«тараканомор» главный в «Биржевке» — Ремизов имеет в виду А А Измайлова

напиши опровержение. — См коммент к с. 185. См также текст ремизовского письма-опровержения Т 2 наст изд С 607–610

С 189 *Был на Бирже* — По матери Ремизов принадлежал к известному московскому купеческому роду Найденовых, имевших собственный банк на Ильинке Его дядя — Н А Найденов длительное время был председателем Московского Биржевого Комитета В кругах биржевых дельцов было много сверстников писателя, соучеников по Александровскому Коммерческому училищу Для Ремизова обвинение в плагиате было равнозначно обвинению в воровстве, одному из серьезнейших в значимом для него кодексе купеческой чести.

С 190 *«Раннее утро»* (М, 1907–1916) — ежедневная политическая, общественная и литературная газета

«Русское слово» (М, 1894–1916) — ежедневная газета

С 191 *« верите ли мне?»* — Традиционная формула купеческого договора Ср в пьесе А Н Островского «Бесприданница» «**Кнуров.** Вы купец, вы должны понимать, что значит слово / **Вожеватов.** Вы меня обижаете Я сам знаю, что такое купеческое слово /<.> **Вожеватов.** Лариса Дмитриевна, уважаю я вас и рад бы я ничего не могу Верьте моему слову.

< > /Лариса. И у тебя тоже цепи? Вожеватов. Кандалы < > Честное купеческое слово» (Островский А Н Полн собр соч В 12 т Т 5. М, 1975. С 73, 77)

С 192 *что такое эта передовая общественность ~ по Розанову «гиксосы» («Из книги, которая никогда не будет написана»), а по мне — «тараканоморы» («Подстриженными глазами»)* — Ср характеристику «тараканомора» в кн Ремизова «Подстриженными глазами» «Тараканомор < > гадливость щерила его, обнажая слоновые желтые зубы Он говорил с нами, как с врагами своей гонимой старой русской веры < > Во всех его разговорах неизменно повторялось "поганое" и "проклятое" — и все, везде, весь мир превращался в тлен и смрад, слизь и слякоть, нужник и помойку» (Т. 8 наст изд С 111)

«Она» — имеется в виду С П Ремизова-Довгелло

С 193 *«Крестовые сестры»* (1910) — повесть А М Ремизова Об автобиографическом подтексте см коммент И Ф Даниловой в Т 4 наст изд С 481–498

Наташа — дочь писателя Наталья, жившая в имении родителей С П Ремизовой-Довгелло с Борзны Берестовецкого уезда Черниговской губернии.

первая редакция «Крестовых сестер» А будет пять ~ Иванов-Разумник передаст в «Шиповник» . — Сохранилась только одна черновая редакция повести в архиве Иванова-Разумника в РО ИРЛИ Подробнее см: Обатнина Е Р Материалы А М. Ремизова в Архиве Р В Иванова-Разумника // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год СПб, 2001 С 3–23 Первая публ. «Крестовых сестер» Литературно-художественный альманах издательства «Шиповник». Кн 13 СПб, 1910 С 159–297

повезут к Леониду Андрееву на Черную речку — С весны 1908 г Л Андреев — один из редакторов альманахов «Шиповник» — жил в собственном доме в деревне Ваммельсуу (рус перевод Черная речка) на Карельском перешейке

через Андрея Белого предложить Метнеру в Мусагет книгу рассказов — Речь идет о публикации кн Ремизова в изд-ве «Мусагет» Она была выпущена изд-вом «Прогресс» в виде, измененном относительно первоначального плана См Ремизов А Рассказы (СПб, 1910) См также письмо Ремизова Андрею Белому от 24 мая / 6 июня 1910 г «Вчера я получил от Вар<вары> Григ<орьевны> Митович письмо, в котором она извещает меня об отказе Мусагета. < > Если я обратился к Мусагету, то единственно памятуя Ваши слова после "Неуемного бубна", что Мусагет мою книгу новую издаст обязательно Все это очень грустно < > Сейчас я должен уехать из Петербурга, поместиться в санаторий Денег у меня нет < > Идти мне некуда В "Аполлоне" меня под благовидным предлогом не принимают, да и жизни "Аполлону" написан уж срок И я в воздухе между Аполлоном-Мусагетом, Речью и К° и твердынями русского просвещения — Вест<ником> Евр<опы>, Мир<ом> Б<ожьим>, Нов<ым> Врем<енем> и К°» (РГБ Ф 25 Кар 22 Ед. хр 5 Л 28)

неистовый ответ Андрея Белого Метнер отказал — См. письмо Андрея Белого Ремизову 1910 г «С большим прискорбием пишу Вам с

прискорбнсм, потому что мнс так хотслось бы, чтобы Ваша книга вышла у нас а между тсм, иесмотря иа то, что я ее все время отстаивал, большинство лиц, причастных Редакции (Метнер, Рачинский, Петровский, Шпет и др), указывали на то, что "Неуемный бубен" уже напечатан <. >, а у нас принцип печатать в редких случаях литературу, да и то лишь произведения, в первый раз появляющиеся в печати < > Мне было трудно с этим согласиться, и я все откладывал Вам ответ, думая, что мне удастся склонить к изданию» (РНБ Ф 634 Ед хр 57 Л 22–24).

С 193 *Получил письмо от С К Маковского ~ предлагает прочесть «Неуемный бубен» в редакции* — См. письмо С К Маковского Ремизову от 6 мая 1909 г «В субботу, 9-го мая, состоится первое собрание "Аполлона" в помещении редакции — Мойка, 24, кв 6 Я надеюсь, что буду иметь удовольствие увидеть Вас в числе сотрудников на этом первом и последнем до осени, сборище "аполлоновцев". Начало в 8 1/2 ч<асов> веч<ера> Жму Вашу руку Искренне Вам преданный Сергей Маковский» (РНБ Ф. 634. Оп 1 Ед хр 147 Л 2)

С 194 *Исторический вечер весь синедрион* — Память о неудачном впечатлении, произведенном Ремизовым на членов редакции «Аполлона» после чтения «Неуемного бубна», и о последовавшем вслед за этим недопущении его произведений на страницы журнала на всю жизнь наложила отпечаток на восприятие писателем того направления в искусстве, которое пропагандировалось «Аполлоном», и на отношение к его главному редактору — С К. Маковскому См характеристику членов редколлегии «Аполлона» и близких к нему авторов в черновой редакции кн «Мышкина дудочка» Евреинов «участвовал в чинном "Аполлоне", куда с вихрами не пускали, редактор С К Маковский, "*моль в перчатках*" <курсив мой — *А Г*>, [как его окрестил] по слову К А Сомова, а душа журнала — Ин Ф Анненский, человек в застегнутом сюртуке и туго затянутом галстуке; Брюсов в "Весах" тоже всегда застегнут, но как-то неприлично, словно б вместо сорочки приставная манишка и без жилетки, Ф Ф Зелинский и Вяч И Иванов, члены редакции, внешне как будто не подходили, но когда заговорят друг с другом по-гречески, тут уж не до разбора — Афины! Секретарь Ев А Зноско-Боровский, правовед, стало быть, самые изысканные приемы и тонкое обхождение, это не "Журнал для всех" с редактором Вик С Миролюбовым — "Сенекой", (в статье Ев Гер, Лундберга восстановил Сенеку, зачеркнув Аристотеля, как учителя Александра Македонского) и секретарем лающим Андрусоном, с которого с природным и окурочным пеплом сыпалась всякая перхоть и потовые скребки, [как с И Эренбурга (этот единственный по неряшливости в литературе, всех превзошедший в древней, новой и Новейшей и до и после)] а штаны на одной пуговице, да и та с мясом Ближайшие к Аполлону Макс А Волошин из Парижа, восторженный антропософский маг, и чуть не сам Villier de l'Isle-Adan, Axel звучало у него, как Макс, М А. Кузмин, автор "Александрийских песен" (в "Вене" однажды после театра Куприн, автор "Ямы", спросил себе свиную котлету, а Кузмин — апельсин) на всю жизнь осталось памятно Куприну Кузмин, стронувшийся под Брюммеля — осенью и зимой из щегольства без калош и в осеннем пальто, несчастный! — подмалеванный, заикающийся, ископаемый "лев" (маленький "лев") начала 50-х годов, описанный в "Петербургском туристе" у А В Дружинина, стеснявшийся своей "не-

благозвучной" фамилии, он писал ее без "ъ", по старине, но все-таки по-французски с "de" звучавший как граф Чижов, < > Н С Гумилев, стронвшийся под Анненского, и как-то выхаркивающий слова — "изысканный бродит журавль (жерав)" повторялось при его имени, и часто наезжавший из Митавы Johannes von Günter — а это был уж сам Стефан Георгэ Но что мне странно, и это под сенью Анненского, [откуда] в статьях, в рассказах и в стихах [неизменно] такая высь и выспрь или просто [ничего не выражающие начертания, вроде загадочных письмен, вышедших из превратившейся в разваренную картошку пишущей машинки Веры Степановны или просто мертвое} "слякостание" костей» (Собр Резниковых) Ср также характеристику Маковского в Первоначальной редакции раздела «Статуэтка» «"Копытчик", а тогда "Моль в перчатках" — С К Маковский» (Чижов. С 44) Еще в 1910-е гг Ремизов «отомстил» Маковскому, сделав его реальным прототипом образа Пылинина — главного отрицательного героя романа «Плачужная канава» Ср его характеристику «Пылинин — < > одна безответственность и голое бесстыдство < > его решения, как и поступки, были всегда воздушны пообещать и не исполнить — ему ничего не стоило < > Лишенный всякого дара, по своему бездушью и бездумью — воздушности, *как моль* <здесь и далее курсив мой — *А Г*>, он, кажется, все мог Пылинин был и литератором < > писал он самым пригвожденным нетасканным словом и на самые избитейшие темы < > Пылинин был и музыкантом < > Пылинин и пел и рисовал < > Появление Пылинина в обществе всех очаровывало < > *Молиное* существо его < > рвалось к орлиным полетам < > Такие зарождаются чаровые, — такая *моль в плаченном плаще»* (Т. 4 наст изд С 345). В годы эмиграции Маковский в игровом пространстве Ремизова имел прозвище «Оплешник» (=черт)

С 194 *Я превратился в Ивана Семеновича Стратилатова* — И. С Стратилатов — главный герой повести Ремизова «Неуемный бубен» (др название «Стратилатов»), которую автор читал на собрании редакции «Аполлона»

С. 195 *снести к Пяти Углам* — «Пять углов» — петербургское обиходное название перекрестка, образованного пересечением Загородного проспекта, Чернышева переулка, Троицкой и Разъезжей улиц Недалеко от этого места находились отделение СПб. Городского ломбарда (Загородный пр, 1) и отделение СПб Частного ломбарда (Загородный пр, 17) Ср. также отражение ситуации в повести «Крестовые сестры»· Маракулин «все, что собралось у него за пять петербургских лет, все пошло по ломбардам либо в Столичный либо в Городской иа Владимирский» (Т 4 наст изд. С. 102–103)

начиненный Ивановым-Разумником . — Роль Иванова-Разумника в издании «Крестовых сестер» преувеличена Подробнее историю публикации повести см в коммент И Ф. Даниловой (Т. 4 наст изд С 482)

повезут рукопись в Териоки к Л Н Андрееву — Неточность Ремизова· Дача Андреева находилась рядом с Териоки (ныне Зеленогорск) См коммент к с 193

. *когда Г. И Чулков собрался включить меня в свой сборник «Мистический анархизм», Л Андреев с раздражением заметил. «Не*

могу читать Ремизова, не раздражаясь» — Ср воспроизведенис дневниковой записи от 20 ноября 1906 г в кн «Кукха» «Затевается журнал "Факелы" Соединение декадентов с "Знанием" Это все Г И Чулков мудрует < > Поладил ли, не знаю Говорил, что с той и с другой стороны должны быть сделаны уступки Я, кажется, в числе жертвы с декадентской» (Кукха С 32–33) См в архиве писателя печатное объявление о выходе литературно-художественного и философско-общественного издания «Факелы», где в числе сотрудников указан Ремизов (РНБ Ф 634 Оп I Ед хр 238).

С 195–196 *Не знаю, какими словами Ариадна Владимировна убедила П Б Струве принять мой рассказ в «Русскую Мысль»* . — Текст Ремизова основан на пересказе текста воспоминаний А. В Тырковой-Вильямс «Петр Бернгардович вдруг вскипал, размахивал руками, повышал голос, точно собирался броситься на меня "Литература? Что теперь считается литературой? Вот вы дружите с Ремизовым Скажите этому сумасшедшему, чтобы он со мной больше таких штук не выкидывал". Я посмотрела на него с недоумением "Этого синдетикона я ему никогда не прощу" Смех Вильямса перешел в заразительный шумный хохот Он спросил "Петр Бернгардович, а зачем же вы про синдетикон напечатали?" — "Да кто же его знал Брюсов (Валерий Брюсов — литературный редактор «Русской Мысли») из Москвы срочно требовал матерьял Я заглянул в рукопись. Вижу плетет Ремизов, как всегда, что-то непонятное Послал А у Ремизова там какой-то сон идиотский. Заставил члена Государственной Думы вымазаться с головы до ног синдетиконом и кататься под кроватью, ведь это же издевательство над здравым смыслом " С тех пор Струве много передумал, переоценил Вероятно, и с чудной Ремизовской манерой примирился» (Борман Арк А В Тыркова-Вильямс по ее письмам и воспоминаниям сына Лувэн-Вашингтон, 1964. С 87) Речь шла о публикации цикла снов «Бедовая доля Новые приключения» // Русская мысль 1909. № 5 С 9–23

С 196 *« "макароны в плевательнице" ест Максимилиан Волошин?»...* — Речь идет о сне № 16 из цикла снов «Под покровом ночи», в котором говорится « А Длинный будто говорит мне — Вылезай скорей, я тебе макароны в плевательнице сварил, боюсь простынут, солененькие» (Всемирный вестник 1908. № 3 С 35) См. фактическую основу этого сна — письмо М Волошина от <12/25 сентября 1908 г> Ремизову о своей жизни в Париже «Мы о Вас постоянно говорим и постоянно вспоминаем (мы = я со своим кузеном Яксом живу — Вы его у Вяч<еслава> Иван<ова> видели) Когда мы обед себе готовим, то это у нас называется "макароны в плевательнице (солененькие)", а "petits beurres" известны под именем собачьих будок» (ГЛМ Ф 227 Оп. 1. Ед хр 14 Л 1–1 об)

меня реабилитировал — В кн «Встречи» фраза дополнена « меня реабилитировал, как потом Лифарь — после восемнадцатилетнего мордоворота — с 1931 по 1949 — изданием "Пляшущего демона"» (С. 34)

Б К Зайцев — «Подстриженными глазами» – думал ли я попасть в ИМКУ — Об истории публикации кн «Подстриженными глазами» в издательстве «YMCA-PRESS» и роли Б К. Зайцева см в коммент к публикации этой книги (Т 8 наст изд С 538–541).

а другой Тараканомор взял мою лексику под микроскоп, – не имея навыка славистов, – сел в лужу «остей» — Полемический ответ Ремизова

на рецензию Г Адамовича «По поводу "подстриженных <так! — *А Г*> глаз"», в которой критик «обличал» ремизовский стиль «Два слова о слоге "Подстриженных глаз". Если бы Ремизов не указывал постоянно, и уже в течение многих лет, на то, что теперь все, решительно все, пишут языком испорченным, "книжным", не совсем по-русски, а скорей по-немецки или по-итальянски, если бы он не возвеличивал на все лады речь до-пушкинскую, до-карамзинскую, до-петровскую, не было бы основания рассматривать его стиль в микроскоп. Замечания могли бы показаться придиркой Но я с искренним недоумением спрашиваю· откуда взяты такие слова, как "бездонность", "проницаемость", "покинутость", — из протопопа Аввакума или из модернистического, бальмонто-гиппиусовского арсенала, где попадались и "белоперистости", и "мраморности", и "закатности"? Эти слова на "ость" отдают чем-то очень книжным < > На мой слух Аввакум тут и не ночевал, — согласятся ли с этим другие? Согласится ли сам Ремизов? Ошибки ли это, срывы ли в общем широком вольном и бесспорно богатейшем потоке его речи, или он за такие словесные обороты принимает ответственность и готов их оправдать?» (НРС 1951 30 дек)

Л Н — Имеется в виду Л Н Андреев

. с *точками и запятыми — всей этой ненужной пестряди, необходимой для тупоголовых* — Отражение принципиальной позиции Ремизова по вопросам соотнесения авторской пунктуации и орфографии с общепринятыми нормами; позиции, окончательно оформленной в начале 20-х гг и до конца жизни последовательно проводимой в художественной практике писателя Период работы Ремизова над «Петербургским буераком» соответствовал новому витку его «борьбы» за свою теорию «русского лада» См его письма Н Кодрянской 1954 г 1) от 12 февраля «Когда вы затрудняетесь в знаках препинания, не смущайтесь Помните, расстановка знаков может быть по смыслу — смысловой принцип, а есть еще ритмический, который уничтожает все правила смыслового Я могу отделить запятой подлежащее от сказуемого» (Кодрянская Письма С 348), 2) от 18/19 февраля «Жду корректора из типографии от Резникова — придет обличать меня за мою "безграмотность" и я терпеливо буду слушать, а все будет так, как написано» (Там же С 350)

« мысль изреченная есть ложь » — цитата из стих Ф. И Тютчева «Silentium» (1830)

С 197 *приходил к нему прямо из Охранного отделения* — О первой встрече Ремизова и Л Андреева см раздел «Анафема» в кн «Иверень» (Т. 8 наст изд. С 463–468) и коммент. О П Раевской-Хьюз (Там же С. 658–659)

Человек человеку бревно — Идиоматическое выражение из повести «Крестовые сестры» О его генезисе и семантике в онтологии Ремизова см коммент к публикации повести (Т 4 наст изд С. 486)

. переведены на немецкий, французский, итальянский и японский .. — См Sinany Р 87–95

. в «Сатирикон» Аверченко встретил приветливо «Берестяной клуб» отдан в набор — Неточность Ремизова В журнале «Сатирикон» помещена сказка Ремизова «Разбойники» (Сатирикон 1909 № 35)

С. 198 *Африканский доктор* — Имеется в виду В Н Унковский, который познакомился с Ремизовым в 1911 г

С 198 *Голубкина представила меня деревянным лесовиком ~ в Третьяковской галерее пугаю* — Имеется в виду А М Ремизов Бюст работы А С Голубкиной 1911 Дерево Находится в Третьяковской галерее

Мы покинули Бурков дом — Ремизовы проживали по адресу Малый Казачий пер, д 9, кв 34 («Бурков дом») с сентября 1907 по сентябрь 1910 г

новая квартира на Таврической в новом доме архитектора Хренова, восьмой этаж, памятный Степуну — Имеется в виду Таврическая ул, д 3-в, кв 29 («Дом Хренова») — адрес, по которому Ремизовы жили с сентября 1910 по июнь 1915 г Ремизов также отсылает читателя к тексту воспоминаний о себе Ф Степуна Ср «Познакомился я и с Алексеем Михайловичем Ремизовым и свое первое посещение его помню во всех подробностях Случилось так, что, подымаясь к нему на лифте, я застрял между этажами и, не зная, что делать, начал громко кричать "Застрял, Алексей Михайлович, спасите" Тому, кто никогда не видел Ремизова, описать его внешность, да еще в момент его перепуганного появления у коварного лифта, почти невозможно» (Степун Ф Бывшее и несбывшееся Т 1 М; СПб, 1995 С 231 Первая полная публ Т 1–2 Нью-Йорк, 1956)

Н А Клюев с показным крестом на груди — Негативное отношение Ремизова к Клюеву выражено в его рисунке-портрете поэта в образе букашки (см ЛН Т 98 Кн 2. Валерий Брюсов и его корреспонденты М, 1994 С 160) Ср также его изображение в «Мышкиной дудочке» (наст т С 35)

сразу понял и оценил его ~ игру в небесные пути — В игровой форме использовано название романа И Шмелева «Пути небесные» (кн 1 — 1936, кн 2 — 1946)

С 199 *Измайлов, его голос вытрескивал семинарской ладью . ~ и во мне говорилось «со Смоленского кладбища»* — Измайлов был сыном дьякона церкви при петербургском Смоленском кладбище и окончил курс Петербургской Духовной академии

по Распутинской дороге ~ пробраться во дворец к царю — В поисках средств для излечения наследника, страдавшего гемофилией, царская семья обращалась к помощи разного рода целителей, знахарей и шарлатанов, а также «вещих людей» из народа, имеющих «чистую веру» В 1906 г Г Распутин был представлен царствующей чете как человек такого рода

С 199–200 *Он принес мне ~ три сборника своих рассказов ~ «Черный ворон», а в этой «осени поздней цветы запоздалые» ~ я вдруг увидел на Смоленском кладбище могилу* — Ко времени, указанном в повествовании, А Измайлов был автором прозаических сборников «Черный ворон» (СПб, 1901), «Осени мертвой цветы запоздалые» (СПб, 1906), «Рассказы» (СПб, 1912) В 1921 г он был похоронен на Смоленском кладбище

С 200 . *собирает матерьялы для биографии* — В личном архиве Измайлова сохранилась незавершенная рукопись книги о Лескове См . Тяпков С Н А А Измайлов // Русские писатели 1800–1917 Биографический словарь Т 2 М, 1992 С. 405

«Пятая язва» — первая публ Литературно-художественные альманахи издательства «Шиповник» Кн 18 СПб, 1912 С 109–201 О творческой истории произведения см Т. 4 наст. изд С 511–514

С. 200 *«Земщина»* (СПб., 1909–1916) — политическая, общественная и литературная газета, выражавшая позицию правой фракции Государственной Думы. С № 1965 ред — Н Е Марков, член Главного совета *«Союза русского народа»* (1905–1917) — правой политической партии, объединившей членов различных черносотенных организаций и часть монархистов

. *повесть «Плачужная канава» лесковская тема «Обойденные»* — Работа над романом (первоначально повестью) «Плачужная канава» была начата в 1914 г «Обойденные» (1865) — роман Н С Лескова. О творческой истории романа Ремизова см . Т. 4 наст изд. С 526–529

«Человек человеку ~ Дух Утешитель». — Цитата из «Плачужной канавы» (см . Т. 4 наст изд С 447)

. *одну из редакций ~ купил у меня ~ библиофил А Е Бурцев* — В фонде А. Е Бурцева, хранящемся в РО ИРЛИ, рукопись «Плачужной канавы» отсутствует

С. 201 *«Бесовское действо над некиим мужем, а также смерть грешника и смерть праведника, сие есть прение Живота со Смертью Представление для публики с прологом и эпилогом»* — пьеса Ремизова Впервые опубл Сб «Факелы» Кн 2 СПб, 1907 Была поставлена в театре В Ф Коммиссаржевской Реж — Ф Ф Коммиссаржевский, декорации — худож М В Добужинский, музыка — М А Кузмин Ремизов вспоминал «Бесовское действо ставилось пять раз — 4, 5, 7, 8, 16 и 30 XII <1907 — *А Г*> Первое представление прошло под неистовый свист зрителей» (Ремизов А Бесовское действо Пг, 1919 С 42)

«Дело Бейлиса» (слушалось в сент–окт 1913 г) — Дело по обвинению приказчика, еврея по национальности Менделя Бейлиса в совершенном в «ритуальных целях» убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского. В действительности жертва была убита шайкой воров Процесс получил широкую огласку в русском обществе Его слушание откладывалось до Февральской революции 1917 г, после чего дело было прекращено

Семен Афанасьевич — имеется в виду С А Венгеров

дело Гумилева и Голлербаха — Речь идет о рецензии Э Ф Голлербаха на сборник «Дракон» (Пг, 1921), где тот резко отозвался о стихах его участников, в частности Н С Гумилева и Ирины Одоевцевой По воспоминаниям Голлербаха «Ироничсский тон рецензии подействовал на Н С как личное оскорбление Он высказал мне свое неудовольствие в довольно резких выражениях Так как разговор наш произошел при свидетелях < >, и вскоре по Петербургу начали циркулировать "свободные композиции" на тему этого разговора, то я, по совету некоторых литературных друзей, обратился к суду чести при Петербургском отделении Всеросс<ийского> союза писателей с просьбой рассмотреть происшедшее столкновение < > Н С сначала отказался явиться на суд чести, но потом его уговорили А Л Волынский и др Этот суд чести, состоявший из А Ф Кони (председ<атель>), В П Миролюбова, А М Ремизова и В Карениной (Комаровой), вынес резолюцию, как и полагается суду чести, двойственную и потому безобидную» (Голлербах Э Ф Н С Гумилев Подгот текста Е А Голлербаха Предисл и коммент Ю В Зобнина // Николай Гумилев Исследования и материалы Библиография СПб, 1994 С 588–589) Суд чести состоялся 22 мая 1921 г См также Зобнин Ю В, Петрановский В П.

К воспомнианиям Э Ф Голлербаха о Н С Гумилеве (Суд чести) // Там же С 592–605)

С 202 *Тихонов ~ «К нам в редакцию присылалось немало таких рукописей, я как увижу "Ремизов" — не читая в корзину»* — Речь идет о неудачных попытках Ремизова опубликовать свои произведения в журн. «Летопись», издателем которого был А. Н Тихонов

5-го августа 1921 года — день отъезда Ремизова из Петрограда

С 203 *Статуэтка* — Текст раздела в НР РГАЛИ — машинопись с многочисленной авторской правкой (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 65–105) Перед текстом· рисунок Ремизова, изображающий фаллос На л 68 — варианты названия· «Статуэтка», «Кукла», «Эрмитажная редкость». Под текстом на л 105 — дата-авт «1945–1949» Текстуальная основа раздела «Статуэтка» — кн «Кукха» (гл «Опал») — первоначальный текст, в котором отражены обстоятельства, явившиеся реальным прототипом сюжетного ядра этого раздела ПБ См. приведенное в «Кукхе» письмо В Розанова Ремизову 1908 г и дальнейший ремизовский комментарий к нему· «"А М Не *сегодня* ли условленное у Бенуа собрание для лицезрения *опала*? Если да, то поедем вместе" < > А когда поехали от Бенуа, не надо было и верха подымать — луна и звезды Лицезрение Сомовского "Опала", наконец, состоялось В В был в необыкновенной игре И "Опал" и обещание Сомова непременно показать восковой слепок с некоторых вещей Потемкина-Таврического эти вещи я уже видел и разжигал любопытство В В / — Свернувшись, лежат, как змей розовый / — По указу самой Екатерины / — В особом футляре в Эрмитаже < > "Опал" расположил к еще большей простоте и безо всяких < > Разговорчивый, В В чередовал разговорами — С С Боткин, Бакст, Сомов, Бенуа, Добужинский. < .> Смехом В Ф Нувель нырал по углам / И вот, нахохотавшись и набалдевшись, ехали молча < > В В пошел меня провожать <. > Так ты все это когда-нибудь и напиши! / "Написать?" / Я сказал / — Тут надо как-то одним / — Так ты одним словом, понимаешь?» (Кукха С 72–74).

С. 205 *Варвара Дмитриевна Розанова читала мой «Пруд» пять раз* — Ср в письме Ремизова Д В Философову от 5 декабря 1919 г: « были и читатели верные — очень немного — и все-таки были. Варвара Дмитриевна Розанова, по ее собственному признанию, 5 раз <sic!> прочла» (РНБ Ф. 481 Ед хр 197 Л 5). Ср. также Чижов С 9.

. .о «Пруде» ~ всюду говорили, и все против ~ за меня наперечет — Негативная оценка романа преувеличена Ремизовым. См. полярные печатные и эпистолярные отзывы о «Пруде». Т. 1 наст изд С 525–534

в одном разносном буренинском фельетоне я прочитаю о себе ~ Буренин выражал удивление, что автор «Пруда» еще не на «Одиннадцатой версте» — Ср « к чему оглашать имена очевидно помешанных, несчастных пациентов современных бедламов» (Буренин В. П Критические очерки Разговор со старым читателем // Новое время. 1906 № 10723. 20 янв. (2 февр) С 4) Ср в кн «Кукха» « однажды В В, а это было после двух фельетонов В П Буренина в «Н В» о моем «Пруде», сказал <. > — Виктор Петрович меня спрашивает "Давно ли ваш Ремизов сидит в сумасшедшем доме?"» (Кукха С 117)

С 206 *К И Чуковский пытался в «Вестнике Европы» ~ предлагал мой рассказ «Слоненок»* . — См недатированное письмо К И Чуковского Ремизову «Многоуважаемый Алексей Михайлович! Только Вы можете простить меня за всю ту сумятицу и нелепицу, которая произошла у меня со "Слоненком" Не говорю уже о Ляцком [зав лит отделом "Вестника Европы" — *А Г*], — с самой пересылкой этого фатального животного и то выходят нескладицы < > Прошу верить и не сердиться» (РНБ Ф 634 Оп 1. Ед хр 237 Л 2) Рассказ «Слоненок» опубл · Перевал 1907. №7

Меня посылали в разные учреждения ~ Философов — в Государственный Контроль ~ А В Тыркова — к Парамонову — Текст основан на Дневниковых записях Ремизова от 25, 27 ноября 1906 г, воспроизведенных в кн «Кукха» (Кукха С 33, 44) См также письмо Д Философова чете Ремизовых от 5 ноября 1905 г « один ваш вид глодал мою совесть Алексей Михайлович, вы голубчик понимаете эту психологию Почему-то я чувствовал себя виноватым перед вами, хотя, по совести, я ни в чем перед вами не виноват Теперь, вот уже несколько дней, у меня есть возможность определить Алексея Михайловича в контроль Служба безобидная и чистая, занятий — часа четыре-пять в день, занятий не трудных и для Алексея Мих<айловича> привычных Во всяком случае верный кусок хлеба, и хорошее положение среди служащих» (РНБ Ф 634 Оп 1 Ед хр 249 Л 5)

Была перепись собак и автомобилей ~ Я и взялся — Текст основан на кн «Кукха» (С 49)

После одного происшествия ~ с собаками у меня сладу не было — Ср воспоминания Ремизова «Каждое утро я ходил в училище через соседний двор, на дворе было много собак, и никогда меня собаки не трогали, а теперь проходу нет целой сворой, маленькие такие, а очень кусаются, и как завидят, и на меня» (Р е м и з о в А По карнизам Белград, 1929 С 9)

С 206–207 *А вечером мы сверяли Белинского ~ работу достал Иванов-Разумник* — Речь идет о составлении именного указателя к Собр соч В Г Белинского в 3 т (СПб, 1911) См письмо Иванова-Разумника к Ремизову от 17 октября 1909 г « предлагаю Вам < > составление именного указателя ко всем трем томам Белинского Эта работа очень легкая — Вам только надо будет за эти полгода прочесть все статьи Бел<инского> нашего издания, отмечая главнейшие имена» (цит по Письма Р В Иванова-Разумника к А М Ремизову (1908–1944 гг) Публ Е Обатниной, В Г Белоуса и Ж. Шерона Вступ заметка и коммент Е Обатниной и В Г Белоуса / Иванов-Разумник Личность Творчество Роль в культуре Публикации и исследования Вып 2 СПб, 1998 С 37 См также коммент. к этому письму на с 38) См также текст «Кукхи» (С. 49)

С 207 *составлял я каталог детских книг* . — См текст письма В Розанова Ремизову от 1906 г: « виделись с Гриневич < > у нее есть работа по составлению образцового и руководственного каталога < > по детскому чтению» (Кукха С 50)

Невский — единственный ~ выполощенный ~ ковровые бесшумные торцы от Адмиралтейства до Александро-Невской Лавры — пространство куда от Триумфальной Арки до Конкорд — См характеристику Невского проспекта в начале XX в · «Особая роль в Петербурге всегда

отводилась Невскому проспекту < > полиция не пускала на Невский < > простолюдинов < > Самый центр Невского был вымощен булыжником — здесь проходили рельсы конок По обе стороны от них шла торцовая мостовая, удобная и бесшумная < >, а по бокам ее — еще две полосы булыжника — для экипажей Тротуары на Невском были выложены гранитными плитами < > На Невском всегда было чисто Летом его поливали три раза в день Лед и снег скалывали и убирали при первых же признаках оттепели» (Муравьева И А Век модерна (Серия Былой Петербург Панорама столичной жизни) СПб , 2001 С 98–99) Ремизов сравнивает Невский с главной парижской магистралью Avenue des Champs Élysées, проходящей от Place Charles de Gaulle, в центре которой расположена Триумфальная арка, до Place de la Concorde

Сомов ~ чей портрет он рисовал Вяч Иванова или Блока? — Сомов К Портрет А Блока (1907, Третьяковская галерея, Москва)

Елисеевские гастрономические стены — Речь идет о расположенном на Невском проспекте гастрономическом магазине бр Елисеевых

С 208 *буду показывать «статуэтку»* — В данном случае «статуэтка» — эвфемизм, заменяющий слово «фаллос» Ср варианты НР РГАЛИ а) « обот Потемкина»; б) «куклу», в) «статуэтку» (РГАЛИ Ф 420 Оп 5. Ед хр 18 Л 69) Ср также в ранней редакции текста « буду показывать пенис Потемкина» (Чижов С 13)

никто никогда не видел и ничего не знает ~ как о ~ Асыке — Неточная автоцитата из Конституции Обезвелволпала «Царь обезьяний — Асыка ~ о нем никто ничего не знает, и его никто никогда не видел» («Взвихренная Русь» — Т 5 наст изд С 207) В НР РГАЛИ после этой фразы зачеркнуто «Уже в одном “приуготовлении” вы слышите мотив моей “Гоносеевой повести”» (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 69).

С 209 *«Петербургская Газета»* (СПб , 1867–1916) — политическая и литературная газета

«Петербургский Листок» (СПб , 1901–1916) — газета политической и общественной жизни и литературная с рисунками в тексте.

. *«папироска моя не курится, я не знаю, с кем буду амуриться »* — Цитата из стих. П. Потемкина «Ночью» (1908)

. *Потемкин ~ как участник у «кошкодавов» скандальное дело, возникшее в Петербурге в 1906 году по обвинению в истязании котов* — В архиве Ремизова сохранилась вырезка из газ «Петербургский листок» (1908) с зарисовками участников дела, в числе них «Обвинитель Котылев», «Защитник Петр Пильский». См также коммент. к «Мышкиной дудочке». С 442.

С 210 *Е. А Ляцкий женился на престарелой дочери А. Н Пыпина* — С конца 1890-х гг Ляцкий помогал А Н Пыпину в работе по изданию его трудов и материалов из его архива, дело, которое он продолжил после смерти академика В 1904 г женился на его дочери — В. А. Пыпиной

«Знание» (СПб , 1898–1913) — культурно-просветительское паевое издательство, издавало сборники изд-ва «Знание», созданное группой интеллигентов во главе с К. П. Пятницким. С 1902 г. возглавлялось совместно Пятницким и М Горьким Издавало «Сборники товарищества “Знание”» (сб 1–40, 1904–1913), имевшие значительный читательский успех

С 210 *и печатного безвкусия, Куприн, Арцыбашев* — В НР РГАЛИ зачеркнутый вариант «. и печатного безвкусия, Куприн, Арцыбашев, Леонид Андреев» (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 72)

С. 211. *ну прощай, волк и паук* — Ср текст письма Розанова Ремизову от 25 октября 1907 г «Ну, прощай, волк и паук» (Кукха С 60)

С 212 *«Вена»* (1875<?>–1917) — ресторан (адрес Малая Морская ул, 13/8, угол Гороховой ул), популярный среди петербургской богемы

Рославлев, известный за свою нецензурную эпиграмму на памятник Александру III работы Трубецкого — Конный памятник императору Александру III работы П П. Трубецкого (бронза, 1900–1906) был установлен в 1909 г у Николаевского (ныне Московского) вокзала, ныне — перед Мраморным дворцом

С 213. *. и с лицом Варлаама («Как во городе »)* . — Имеется в виду бродяга — беглый монах Варлаам — действующее лицо оперы М П Мусоргского «Борис Годунов» (1872) Цитируется начальная строка его арии

появились Саксаганские ~ Рославлев решил присоединить и меня ~ У Саксаганского я сидел ни жив, ни мертв, у нас не было ни копейки — См дарственную надпись Ремизова жене на кн «Часы» (СПб EOS 1908) от 1 марта 1923 г «А устройство “Часов” в Петербурге — в 1908 переехали на Казачий пер[улок] из комнаты с Загородного просп[екта] Рославлев покойник устраивал — убеждал Саксаганского (старым железом торговал) издать 30 000 экземпляров А ходил я к Саксаганскому один — помню, такое чувство было без денег домой не вернусь И достал 200 руб — такая решимость отчаянная. Часы были конфискованы за порнографию Потом освобождены Это память начальная — пробивания моего в “люди”» (Каталог С 17)

С 214 *и он перечислил все 25* — Названия пьес А Саксаганской взяты Ремизовым с заднего форзаца имевшегося в его Парижском архиве экз изд «Часов» 1908 г Об этом, а также об истории с конфискацией издания см. коммент И Ф Даниловой (Т 4 наст изд С 468–469)

С 215 *А Котылев ~ с первых же слов "свинья" ~ "набить морду"* — В благодарность за помощь и поддержку в трудный период, когда ему приходилось ради заработка заниматься перепиской собак, Ремизов неоднократно изображал Котылева в своих произведениях (сказка «Волк-Самоглот», роман «Крестовые сестры»). Котылев — прототип «начальника собачьей команды» Черепова в рассказе «На птичьих правах» (1915) См финал рассказа « — Только у нас и могут допустить такую мерзость! — сказал электрический старец / — А я бы каждого там по морде! — отозвался начальник собачьей команды» (Т 3 наст изд С. 313). Существенно, что Ремизов в письме к А А Измайлову <sic!> от 21 декабря 1915 г просит вставить в гранки именно эти слова Черепова, напрямую намекающие на скандал с плагиатом « вставьте, пожалуйста, в самом конце 2-ой главы перед последнею фразой следующую фразу — Только у нас и могут допустить такую мерзость! — сказал электрический старец — А я бы каждого там по морде! — отозвался начал<ьник> собач<ьей> команды» (РГАЛИ Ф 2571 Оп 1 Ед хр 306 Л 1)

«Среды» Вяч Иванова (1905–1907) — еженедельные собрания представителей художественной, научной и политической элиты на квартире поэта Вяч И Иванова и его жены — Л. Д Зиновьевой-Аннибал — на верхнем

нажс доходного дома № 25 по Таврической ул, так называемой «Башне». (см Бердяев Н «Ивановские среды» // Русская литература XX века 1890 1910 Под ред С А Венгерова Т II 2-е изд, М, 2000 С 233–236

С 215 *Ремизов А Чертик* — опубл Золотое Руно 1907 № I

С 216 *к Руманову, Морская 35* — В варианте Чижова ошибка «Морская, 45» (Чижов С 25)

«Жупел» — см коммент к «Мышкиной дудочке» С 441

«Не перебивайте "статуэтку"!» — Ср варианты в НР РГАЛИ а) «Потемкина Не перебивайте х т Потемкина!», б) «Не перебивайте нос Потемкина!», в) «Не перебивайте. куклу Потемкина!», г) как в окончательном тексте (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 81)

С 217 *письмо от Розанова ~ Руманову Розанов писал «Его, Ремизова, только никто не понял, это потерянный бриллиант »* — Основа текста — кн «Кукха», где приведено письмо Розанова Ремизову 1906 г «Я Пирожкову недавно говорю "Его (Ремизова) только никто не понял — это потерянный бриллиант, и всякий будет счастлив, кто его поднимет"» (Кукха С 49)

Жили мы тогда очень трудно ~ как в темнице сидели, Серафима Павловна тогда все плакала ~ и освободил Рославлев ~ в М Казачий переехали — Основа текста — дарственная надпись Ремизова на кн «Чертов лог и полунощное солнце» (Спб EOS, 1908) от 1 марта 1923 г «Помню, жили на Загородном в комнате и вот с Рославлевым понес нас к Саксаганскому Аванс и дал возможность переехать в Казачий переулок Помню, в комнате тяжело было, особенно в праздник, — когда к хозяевам приходили гости Как в темнице сидели Ты, деточка, тогда все плакала» (Каталог С 17)

С 218 *Кот-и-Лев* — Особая роль Котылева, поддержавшего Ремизова в трудной ситуации обвинения в плагиате (1909) и помогавшего ему в публикации сказок, отражена в сказке «Волк-Самоглот» (1910) Эта сказка имеет чисто литературный характер, она лишь слегка стилизована под «русскую народную» и является своеобразным иносказательно-аллегорическим «ответом» Ремизова на «скандал с плагиатом» Ее сказочных героев Алалея (детское имя Ремизова) и Лейлу неожиданно проглатывает Волк-Самоглот В его брюхе они оказываются в кругу лесной нечисти, врагом которой является «Зверь к о т - и - л е в < > страшный, усатый этот зверь Котылев» (Т 2 наст изд С 103) Он способствует вызволению героев из лап нечисти О значимости семантики сказки «Волк-Самоглот» в художественном миросозерцании Ремизова свидетельствует и то, что многие прозвища его парижских знакомых (Аука, Лесавка, Листин) взяты именно из ее текста (см. кн «Мышкина дудочка»)

В конце сентября оба мы одновременно захворали — О болезни Ремизова и Котылева и смерти последнего см Дневник Ремизова, запись от 20 октября 1917 г (Т 5 наст изд С 484)

от Загородной тюрьмы — В период, крайне тяжелый по финансовым обстоятельствам, с июня по сентябрь 1907 г Ремизовы снимали комнату по адресу Загородный пр, д 21, кв 19

ершовское стихотворение в «русском» стиле — Имеется в виду сказовый стиль знаменитого стихотворного произведения «Конек-горбунок Русская сказка в 3 ч» (1834) Петра Павловича Ершова (1815–1869)

в «холерный» год — 1908 г

С 219 *пойду к Фаберже* — Имеется в виду ювелирный магазин фирмы Карла Густава Фаберже (Морская, 24)

С 220 *Свою мысль о незаконченности Розанов запишет в «Опавших листьях» (Короб 1-й Стр 74)* — Первоначально в НР РГАЛИ цитата из Розанова «"Все *очерчено и кончено* в человеке, кроме половых органов, которые кажутся около остального каким-то многоточием или неясностью которую встречает и с которою связывается неясность или многоточие другого организма И тогда оба *ясны* — Как бы Б хотел сотворить *акт*, но не исполнил движение свое, а дал его *начало* в мужчине и *начало* в женщине И уже они оканчивают это первоначальное движение Отсюда его сладость и неодолимость"» — приведена полностью, затем вычеркнута (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 85) Первоначальный вариант сохранен в изд Чижова (Чижов С 30–31)

А Минских радений не будет? ~ «Будут ~ Лансере» — Имеются в виду мистические опыты, проводившиеся в 1905 г в литературном салоне поэта и философа Н М Минского и его жены Л Н Виленкиной Слухи о них отражены, например, в воспоминаниях З Н Гиппиус Минский «утешался устройством у себя каких-то странных сборищ, где, в хитонах, водили будто бы хороводы, с песнями, а потом кололи палец невинной еврейке, каплю крови пускали в вино, которое потом и распивали» (Гиппиус З Н Дмитрий Мережковский // Гиппиус З Н Живые лица Кн. 2 Тбилиси, 1991 С 251) Сводку воспоминаний о «радениях» Минского см в ст· Чаицев А В Минский Николай Максимович // Русские писатели 1800–1917 Биографический словарь Т 4 М, 1999 С 82 В Первоначальном варианте НР РГАЛИ после «Лансере» имелся абзац, впоследствии зачеркнутый. «(Действительно, однажды у Минского состоялось шутовское "радение", на которое попали люди и не предупрежденные хотя бы о "шутовском" Я был вместе с Розановым, вот был простор мне для "безобразия", но ничего такого на этом "радении" не произошло, как потом по Петербургу молва гуляла Варвара Дмитриевна по своей подозрительности всему поверила, [до "свального греха", в котором будто бы из всех отличился ее Вася, оттеснив самого <1 сл тщательно зачеркнуто — *А Г*>], "чтобы не мешал")» (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 85)

С 221 *сам Погодин в дневнике записал о происхождении первого тома своих исторических исследований — «груда листков и обрывышков»* — См письмо Ремизова Ю Иваску от 2 сентября 1951 г «"Опавшие листья" идут не от Рцы, а от М. П. Погодина Я это почувствовал, читая Барсукова Я говорю о приеме, как собрались "листья" Где-то я говорю об этом, поминая Розанова, сейчас не могу вспомнить Кроме "Кукхи" и "Воистину"» (РГАЛИ Ф 420 Оп 4 Ед хр 34 (ксерокопия)) См также· Мышкина дудочка С 37

Между тем статуэтка ~ и незнакомым — Сюжет «материализации» «статуэтки» структурно основан на сюжете повести Гоголя «Нос» (1836)

С 222 *В кругах высшего духовенства ~ «доисторическим органом» Добралась плутовка до Академии Наук ~ А потом стали уверять* — В окончательном тексте эпатажный язык повествования сглажен Ср в Первоначальном варианте Чижова «В кругах высшего духовенства, а он проник в Святейший Синод, его называли "Пенис"· кто-то из членов вспомнил семинар-

ский стих "caput dolit penis tat, nemo benit, nemo dat" И по-монашески "уд" В вольно-экономическом обществе решили, что В В Водовозов, встречавшийся в редакции "Вопросов Жизни" со всякими декадентами, его спрашивали, но В В Водовозов глухой и далекий от неэкономических вопросов, долго не мог понять ему кричали сначала деликатно — "орган", "член", потом перешли на "пенис" В Географическом Обществе старейший председатель Вл И Ламанский называл его "детородным органом" Добрался мерзавец до Академии Наук, обратились к Ал Алекс Шахматову и тут уж склоняли его и разлагали до монгольских корней Из Потемкина он превратился в ничей Но потом стали уверять » (Чижов С 34–35) Аналогичный Первоначальный вариант в НР РГАЛИ был приведен к основному тексту (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 88)

С 222 *к Трепову — «патронов не жалеть»* — В октябре 1905 г московский обер-полицмейстер Д Ф Трепов во время всероссийской стачки издал печально знаменитый приказ «Холостых залпов не давать! Патронов не жалеть!»

о петербургской блуждающей «статуэтке» — В Первоначальном варианте текста НР РГАЛИ, варианте Чижова и экз этой главы в Собр Резниковых имеется с незначительными разночтениями текст, сокращенный в окончательном тексте НР РГАЛИ «В поздний час в четверг состоялось перенесение "драгоценного таинственного ларца" в заднюю комнату К А Сомова, куда посетители не допускались Нес, бережно держа в обеих руках, Андрей Николаевич Из предосторожности электричество в коридоре погасили, а Константин Андреевич шел впереди со свечой / Андрей Николаевич очень беспокоился он боялся за целость "органа", как он почтительно величал пениса, главное, чтобы руками не хватали и не гладили от всякого малейшего прикосновения могла пропасть "родинка у ствола расширения" Еще раз, проверив "родинку", Андрей Николаевич ушел к себе И настала ночь Ночь для Андрея Николаевича / Ночью — в Петербурге вечер начинался с 10–11 ночи — к Сомову, "горя нетерпением посмотреть", забегал В Ф Нувель, под каким-то предлогом зашел А П Нурок Какое искушение для Сомова показать пениса! / Сколько еще осталось часов, ведь еще целый день Сегодня пятница Если бы знали о "Калечине-Малечине", весь Петербург скакал бы на одной ножке / *Калечина-Малечина, / Сколько часов до вечера?»* (Чижов С 35–36)

С 223 *в доме Семенова-Тянь-Шаньского* — С сентября 1916 по май 1920 г Ремизовы жили Васильевский остров, 14-я линия, д 31, кв 48

в рассказе «Труддезертир» . — См Взвихренная Русь (Т 5 наст изд С 310–327)

состоял при М Ф Андреевой — О работе Ремизова в революционные годы см коммент и статьи в Т 5 наст изд

Зайцев просил за меня — Первоначальный вариант НР РГАЛИ « Зайцев просил за меня Левицкого » (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 91)

«Последние Новости» — см коммент к «Мышкиной дудочке» С 446

С 224 *ни о каком носе не было речи* — Ср 1) в варианте Чижова· «ни о каком пенисе» (Чижов С 39), 2) в редакции Собр Резниковых «ни о какой статуэтке» (Встречи С 70)

С 225 *у меня было целое собрание сказаний «о происхождении табака».* — Историю текста Ремизова «Что есть табак Гоносиева повесть» (1906 — 1912) см: Т 2 наст изд С 677–693.

«Вот было б дело, — сказал Вас Вас Розанов, — напиши!» — Основа текста — кн «Кукха» Ср «Лицезрение Сомовского «Опала», наконец, состоялось < > В В пошел меня провожать < > / Так ты все это когда-нибудь и напиши!» (Кукха С 74)

С 225–226 *я знаю живое ~ Студент Петр Петрович Потемкин ~ Вас Вас Розанов с застывшим недоумением загадочно пальцами раскладывал на скатерти какую-то меру, бормоча, считал вершки ~ Петрушу ~ пичкали пирожками и играли с его живым потемкинским — три часа* — Возможно, что игровое оживление потемкинской «статуэтки» (="слона") ки Потемкина-Таврического в фигуре реального лица — П П Потемкина — ремизовский миф, который в своей основе восходит как к историческим реалиям, так и к тексту-источнику — кн «Кукха» В ней рассказано, как Ремизов сообщил Розанову о живом носителе «статуэтки» — актере и режиссере А П Зонове и пригласил познакомиться с ним Затем приведено письмо Розанова 1906 г «"Хочется мне все-таки взглянуть на 7-вершкового В Индии не бывал, надо хоть в плечах посмотреть слонов Я думаю, особое выражение физиономии «владею и достигнул меры отпущенного человеку" По-моему, наиприятнейшая мера 5 вершков если на столе мерять и вдуматься, то, я думаю, это Божеская мера" < > провели мы втроем — я, В В и Зонов — много ночных часов ~ В В раскладывал и прикидывал на столе всякие меры» (Кукха С 41–42) Далее в гл «Блудоборец» рассказано о банковском служащем П Н Потапове, которого столь одолели блудные помыслы, что «он как-то уж сам ~ превратился в это место» (Кукха С. 110). Поминая его, Розанов, оговорившись, называет его «Потемкиным» (Кукха С 115) См также комментарий Г А Морева поэт П П Потемкин — «случайный любовник Кузмина в 1907 году» (Кузмин М Дневник 1934 года Сост, подгот текста, вступ ст и коммент Г А Морева СПб, 1998 С. 213) В 1940-е гг Ремизов, расширяя семантику сюжетного мотива «Кукхи» до эпатажного образа-символа = характеристики богемного Петербурга Серебряного века, соединил три разновременных сюжета встречи Розанова и Зонова (1906 г); «сеанса» на квартире Сомова (1908 г) и истории «блудоборца» П Н Потапова (1910-е гг), добавив к литературной основе реальные биографические сведения о П П Потемкине

С 227 *и прославленной Аполлоном Григорьевым книге — «глубокочтимого» инока Парфения о святой горе Афонской (1856)* — Имеется в виду кн «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой земле постриженника святой горы Афонской инока Парфения» (М, 1855) О ее чтении см письмо Ремизова к библиофилу, работнику русского книжного магазина «Москва» В В Бутчику от 2 июля 1944 г «Задержал меня инок Парфений, Сказание о странствии М 1855» (Lettres d'Aleksej Remizov a Vladimir Butčik / Publication d'Hélène Sinany-Mac Leod // Revue des études slaves (Paris), 1981, LIII/2 P 300)

«Копытчик», С К Маковский — В Первоначальном варианте НР

РГАЛИ было «“Копытчик”, а тогда “Моль в перчатках”, С К Маковский » (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 98)

С 228 *Ремизов А Пруд* — изд СПб Сириус, 1908 На экземпляре книги, подаренном жене, имеются газетные вырезки портретов С Н Тройницкого, О М Бурнашева с подписью Ремизова ' «Издатели этого Пруда» (Каталог С 16)

С 229 *В моем экземпляре, хранится у Г В Чижова, стертое имя Тройницкого восстановлено чернилами* — В публикации Чижовым Первоначального варианта текста главы эта фраза отсутствует (см Чижов С 46) В текстах РГАЛИ и Собр Резниковых она имеется

я трудился над перепиской моей повести ~ Этот единственный рукописный экземпляр сделан был по заказу Николая Павловича Рябушинского — Оригинал утрачен См о начале работы над ним в письме Ремизова И А Рязановскому от 14 февраля 1910 г — РНБ Ф 292 Ед хр 31 Л 3

С 230 *Негативы взял к себе П Е Щеголев* — Не сохранились В фонде Щеголева в ИРЛИ имеются отпечатки с негативов

в канун «ликвидации троцкистов» и Тухачевского — Так называемый «Троцкистско-зиновьевский антипартийный блок» был окончательно «разоблачен» на XV съезде ВКП(б) в 1927 г Л Д Троцкий убит в 1940 г М Н Тухачевский расстрелян в 1937 г Вероятно, речь идет о кануне массовых репрессий 1937 г

из NRF — Имеется в виду редакция журнала «La Nouvelle Revue Française» О нем см коммент к кн «Мышкина дудочка» С 458

С Аросевым я познакомился в Берлине, он издал свои рассказы — Как свидетельствует дружеская переписка Ремизова с А Я Аросевым, именно он советовал писателю не обольщаться посулами советских властей и не возвращаться в Россию (ЦРК АК)

заходил на Av Mozart — Ремизовы жили на Av Mozart до ноября 1928 г

А какая судьба Аросева? — А Я Аросев был репрессирован и погиб в 1938 г

С. 231 *вышла ~ моя «Сказка о царе Додоне» ~ «делегация от партийных баб» / «Как это так ~ нашим детям нет бумаги для учебников, а на куклу находится!»* — На хранящемся в ИРЛИ экземпляре кн Ремизов А Царь Додон / Рис Л С Бакста, марка Ю П Анненкова — Пг Обезьянья великая вольная палата («Алконост» — С Алянский) — дарственная надпись жене <1923 г> «Рисунки вышли неудачно — слитно, ничего не поймешь Книжка вышла, когда жили на Троицкой Рабоч[е]-крест[ьянская] инспекция возбудила дело по заявлению какой-то “у наших детей нет учебников, а тут какую-то похабщину издают, бумагу тратят” А писалось давно, в 1907 г Материалом послужила народная сказка» (Каталог С 21) Данный текст надписи — источник текста ПБ

С 232 *в безобразнейшем доме Зингера* — Имеется в виду здание (Невский пр, 28), построенное в 1902–1904 гг для компании «Зингер» (арх П Ю Сюзор) с богато стилизованными архитектурными формами и обилием декоративных скульптур на фасадах (арх А Л Обер, А Г Адамсон) Считается образцом стиля «модерн» В 1920–1930-х гг там помещались Петроградское отделение Госиздата, книжный магазин Петрогосиздата и др изд-ва.

С 232 *появился у нас на Villa Flore знакомый из России* — Ср в Первоначальном варианте НР РГАЛИ « появился у нас на Villa Flore Ефим Якоалевич Белецкий» (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 18 Л 104) То же см Чижов С 51

С 233 *а по-родственному* — В Первоначальном варианте НР РГАЛИ « а по-родственному он был женат на племяннице Урицкого (начальник Чрезвычайки, убитый Канегиссером)» (РГАЛИ Ф. 420 Оп 5 Ед. хр 18 Л 104)

а клише забрал назад к себе Ионов — После этой фразы в варианте Чижова добавлено «Последнее слово о "табаке", и больше ничто не мог сообщить мне Белецкий / Судьба Ионова? — да наверно, расстрелян» (Чижов С 52)

не подслушивает ли кто? — После этих слов следует окончание Первоначальной редакции главы «Почему-то я уверен, что рисунки Сомова не пропали, и когда-нибудь откроются, и будут изданы — клише есть Но моя история окончена 24/V 1945–1946 Paris» (Чижов С 52) Далее на с 53–68 — текст «Что есть табак»

С 235 *Русалия* — жанром «Русальные действа» Ремизов называл свои драматические произведения (Шиповник 8) См определение Ремизова «Что такое *русалия* и откуда пошла она? Русалиями в нашу седую старину, языческую, назывались религиозные обряды, приурочнные к срокам посолонным < > С водворением же на Руси христианства < > обряд русальный превратился в мирское игрище-гульбище в первую голову И стала русалия плясовым музыкальным действом, а разыгрывалась она "людьми веселыми" — скоморохами» (Крашеные рылá С 114–115) Также см коммент к кн «Подстриженными глазами» (т 8 наст изд С 547)

С 237 *Кикимора* — персонаж русской народной мифологии Предстает в облике женщины, жены домового, по происхождению прóклятой родителями, родившейся от женщины и змея, или в облике девушки, которая на этом свете умерла в младенчестве некрещеной

Алазион — имя главного персонажа древнерусской повести «О бесовском князе Лазионе» (ПСРЛ 1 С 207–208) См также ремизовский апокриф «Едина ночь» (1913) Т 6 наст изд С 65–72 В игровом пространстве Ремизова периода 1910-х гг это имя носил М И Терещенко

Алазион, по словам Нифонта — В своем толковании театральной природы русалии и ее бесовского водителя Ремизов опирается на анализ А Н Веселовским древнерусского памятника «Вопросы Кирика, Саввы и Илии с ответами Нифонта, епископа Новгородского и других иератических лиц» (XII в), написанного архиепископом новгородским Нифонтом (ум 1156), в труде Веселовский А Н Разыскания в области русского духовного стиха Разделы I—XXIV (СПб , 1880–1891) Ученый рассматривал древнерусский текст в контексте развития театральных действ на Руси (см : Веселовский Разыскания Разд XIV С 279–286)

«нахмурит ~ Бог знает куда» — Цитата из повести Н В Гоголя «Вечер накануне Ивана Купалы» (1830) (Гоголь Н В Собр худож произв. В 5 т Т 1 М, 1960 С 61)

«Отец Афанасий ~ рода» — Неточная цитата из повести «Вечер накануне Ивана Купалы» (Там же С 61–62)

С 237 *Он* — в старообрядческой традиции иносказательное наименование врага рода человеческого — антихриста

С 238 *«Алалей и Лейла»* — запланированный к созданию балет, в котором должны были быть музыка А К Лядова, либретто А М Ремизова, хореография М М Фокина В реальности было создано либретто (впервые опубл Ремизов А Русалия Берлин, 1922) и музыкальные произведения А К Лядова, тематически связанные с образами будущего балета «"Кикимора" Народное сказание для оркестра» (Соч 1909, изд, 1910) и «"Волшебное озеро" Сказочная картинка для оркестра» (Изд 1909) Для композитора, страдавшего тяжелым сердечным заболеванием, «основная творческая работа последних лет связана была с балетом "Алалей и Лейла" и "метерлинковской" сюитой, а также с новым симфоническим замыслом на сюжет "Купальской ночи" А Ремизова» (Михайлова М А К Лядов Очерк жизни и творчества 2-е изд, Л, 1985 С 119) См также Мейерхольд В Э Заметка о предполагаемой постановке на сцене императорских театров балета ("русалии") "Лейла" (либретто А М Ремизова, музыка А К Лядова) <1910?> «А М Ремизов написал либретто для балета, названного им "Лейла" Либретто "русалии", нового типа балета, А М Ремизов писал, пользуясь указаниями, касающимися сценария, со стороны А Я Головина и В Э Мейерхольда Музыку пишет А К Лядов Либретто уже читалось Директору Императорских театров Осенью А К Лядов обещает представить музыку в законченном виде "Лейлу" будет ставить М М Фокин» (РГАЛИ Ф 998 Оп 1 Ед хр 420 Л 1) В архиве Мейерхольда сохранилась написанная им и датированная октябрем 1910 г «"Лейла" Схема либретто балета А К Лядова на сюжет А М Ремизова» (РГАЛИ Ф 998 Оп 1 Ед хр 757) Опубл Мейерхольд и другие М, 2000 С 139–154

Куринас — персонаж из сказочного цикла Ремизова «Посолонь»

музыкант идет под руку с Алазионом ~ Коловертыш — В тексте дана система ремизовских прозвищ участников планировавшегося спектакля Терещенко — "Алазион", Лядов — "Кикимора", Ремизов —-"Куринас", Мейерхольд — "Гад", Головин — "Дад", Фокин — "Коловертыш" Семантика прозвищ построена на соединении символики и описаний внешнего вида мифологических существ и чудищ из «Посолони» с символическим осмыслением внешности, рода деятельности реальных людей, а также их взаимоотношений с Ремизовым Эти прозвища неоднократно использовались для обозначения данных лиц в текстах и личной переписке Ремизова См также в кн Кодрянской «У Ремизова был особый дар — давать на редкость меткие прозвища Даже все его "шкурки", кофты, душегрейки имели каждая свое прозвище» (Кодрянская С 102) В Мариинском театре В Э Мейерхольд поставил в декорациях А Я Головина и в соавторстве с М М Фокиным оперу Глюка «Орфей и Эвридика» (1911) и балет «Арагонская хота» на музыку Глинки (1916)

Буроба — персонаж «Посолони»

наши тайные собрания на Дворцовой набережной у Терещенки и на Подьяческой у Головина не скрылись от любопытных глаз — Адрес М Терещенко Английская наб, д 34 О встречах Ремизова, Блока и Терещенко по поводу балетных либретто см письма Блока и Ремизова 1912 г (ЛН Т 92 Кн 2 С 102–103) См также письмо А Я Головина Ремизову от

4 апреля 1911 г «Мейерхольд говорил с Лядовым и он в восторге, что есть сюжет Лядов свободен только от 1 до 4-х в среду и я предлагаю завтракать у меня в 1 дня, но Вам, кажется, можно кушать только в 3, то к этому времени Вам подадут обед и мы покойно побеседуем» (РНБ Ф 634 Оп 1 Ед хр 91 Л 1 об — 2)

С 239 *Блок был привлечен в свиту Агазиона* — Речь идет о работе Блока над либретто балета, которое затем трансформировалось в драму «Роза и крест» (1913)

Марун — персонаж «Посолони»

«На черном бархате ~ под скрипку, вспыхнув, спускаются две серебряные звезды, Алалей и Лейла» — Цитата из либретто «Алалей и Лейла»

Мастерская А Я Головина ~ завалена чудищами — См поздние воспоминания Ремизова «"Игрушки появились у меня с "Посолони" Московский психиатр доктор Певзнер затеял "Посолонью" вернуть душевный покой у одной здравомыслящей, впавшей в "изумление ума" на нее нападала тоска, перед ней копошились и мучили ее чудища По предписанию доктора она должна была сделать куклы упоминаемых в Посолони сверхъестественных существ За несколько месяцев усидчивой работы образы Посолони обернулись в чудища-куклы С игрушек была сделана копия, и со стены перед моим столом глянул — весь мир "Посолони" Я спросил психиатра о причине болезни Доктор ответил — на эротической почве И я подумал в моей Посолони заключены семена жизни" / Когда затеяли балет для Мариинского театра на ремизовский посолоний сценарий "Алалей и Лейла", Ремизов отдал игрушки художнику А Я Головину для вдохновения» (Кодрянская. С 119–120) О периоде нахождения игрушек у Ремизова см его шуточное письмо В А Пясту от 20 мая 1906 г «Игрушки мои поехали на дачу Разложил их по коробкам, моли боюсь, травки сушеной положил к ним, пускай себе на воле поживут, а осенью раскрою коробки и их выпущу по столу походить» (РГАЛИ Ф 405 Оп 1 Ед хр 16 Л 2)

в царский день — день коронования, а также именин царя и царицы, объявлявшийся праздничным

Доремидоша, Крикса-Варакса, Ховала, Коща, Буроба, Чучела-чумичела — персонажи сказок кн «Посолонь»

С 240 *читала за обедней Апостол* — Апостол — богослужебная книга, содержащая в себе Деяния Апостолов и их Послания

. *стояли ~ в Ново-Девичьем монастыре — за гробом* — А К Лядов был похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище при Воскресенском Новодевичьем женском монастыре (Забалканский <ныне Московский> пр , 100), где похоронены многие деятели культуры, в частности, Н А Некрасов В 1937 г его прах перенесен в «Некрополь мастеров искусств» при Александро-Невской лавре М Е Салтыков-Щедрин и А И Тургенев похоронены в сев -вост части Волковского православного кладбища (Расстанная ул , 30), в некрополе, называемом «Литераторские мостки»

С 241 *«Бесприданница»* (1879) — пьеса А. Н Островского Роль главной героини — Ларисы Огудаловой была одной из коронных в репертуаре В Ф Коммиссаржевской

«Балаганчик» (1906) — драма А А Блока

С 241 *Я читал Коммиссаржевской «Иуду» В пьесе есть роль «Ункрада»* — Речь идет о пьесе Ремизова «Трагедия о Иуде принце Искариотском» (1908) См авторское изложение ее творческой истории «принята была к постановке театром В Ф Коммиссаржевской (†10 II 1910 г) Эскизы декораций написаны академиком Н К Рерихом < > Трагедия о Иуде под названием "Проклятый принц" — имя Иуды, как имя Пилата, попало в разряд нецензурных! — поставлена была 14 окт 1916 г в Москве в Студии Ф Ф Коммиссаржевского Ф Ф Коммиссаржевским и А П Зоновым Прошла пьеса 16 раз в Москве и один раз в Харькове» (Ремизов А Трагедия о Иуде принце Искариотском Пб, 1919 С 57) Главная женская роль в трагедии — Ункрады, племянницы царя Искариотского

Плач Адама на проклятой Богом земле — Имеется в виду памятник древнерусской переводной литературы, пришедший на Русь в XIV в — «Плач Адама о рае» — часть ветхозаветного апокрифического цикла «Слово о Адаме от начала и до конца и како изгнан бысть из рая»

Мейерхольд заворачивал голову наукой ~ «Наука» довела до слез, тут и произошел разрыв с Мейерхольдом. — В сезон 1906/07 г Мейерхольд был режиссером Театра Коммиссаржевской, в котором развивал практику условного театра Его конфликт с актрисой произошел на почве неприятия ею основополагающего принципа символистского театра — подчинения актера доминирующей воле режиссера После премьеры спектакля по пьесе Ф Сологуба «Победа смерти», 8 ноября 1907 г Коммиссаржевская написала Мейерхольду письмо, в котором сообщала о разрыве с ним в связи с разными воззрениями на природу театра и которое было зачитано труппе (см Рыбакова Ю Коммиссаржевская Л, 1971 С 167–168)

С 241–242 *Перед погибельным Самаркандом* — В конце 1909 г Коммиссаржевская с труппой отправилась на гастроли в южные города России, Кавказ и Среднюю Азию В Самарканде она заразилась оспой и умерла в Ташкенте 10 февраля 1910 г

С 242 *о создании Театральной школы* — В 1909 г Коммиссаржевская задумала создать Театральную школу См воспоминания Андрея Белого: « опыт свой и все силы стремлений решила она посвятить воспитанию нового человека — актера; перед ней носилась картина огромного учреждения, чуть ли не детского сада, переходящего в школу и даже в театральный университет» (РГБ Ф 375 Карт 5 Ед. хр 33)

«Горькая судьбина» (1859) — драма А Ф Писемского

«Макбет» (1606) — трагедия В Шекспира

«Мария Стюарт» (1801) — трагедия Ф Шиллера

на похоронах отца — Об М А. Ремизове см коммент к кн «Подстриженными глазами» (Т 8 наст изд С 559)

входил ~ Блок медленно и трепетно лунным лучом — «Лунный» — постоянный символический эпитет, сопровождающий изображение Блока в текстах Ремизова В художественном мировосприятии писателя символика образа Блока как поэта «Прекрасной Дамы» восходит к образности кн В В Розанова «Люди лунного света» В ней Розанов раскрыл понимание древних об Астарте как «о божестве *лунных свойств*, о божестве *лунного характера*, вот этого *не рождающего и светящего*, грустного, манящего, нежного, *влюбляющего в себя* и как бы *ласкающего влюбленных* < > до сближения.

<...> Луна — вечное "обещание", греза, <...>: что-то совершенно *противоположное действительному* и — очень *спиритуалистическое*» (Розанов В. В. Люди лунного света // Розанов В. В. Уединенное. В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 14–15). Ср. также название главы о Блоке в книге воспоминаний З. Н. Гиппиус — «Мой лунный друг. О Блоке» (1922). Вырезка публикации воспоминаний Гиппиус сохранилась в архиве Ремизова (ЦРК АК).

С. 242. *...красная лента на память (хранится в Пушкинском доме).* — Не сохранилась.

«Строитель Сольнес» (1892) — драма Г. Ибсена.

«Зимы там долги и темны — белый снег...» — Цитата из монолога Ункрады («Трагедия об Иуде принце Искариотском». Действ. 1. Сцена 3).

Баю-бай, медведевы детки... — Цитата из ремизовской «Медвежьей колыбельной песни» («Посолонь»).

С. 244. *«Радуйся благодатная».* — Приветствие Архангела Гавриила Деве Марии (Благовещение) (Лк. 1; 28).

Послушный самокей — точный цитатный источник названия не установлен. Постоянный эпитет «послушный» — рефрен цитируемого в тексте «Петербургского буерака» стихотворения Кузмина. Можно также выдвинуть гипотезу, что источником может быть ремизовское переосмысление заглавий двух ключевых сказок-притч из сборника М. Кузмина «Покойница в доме. Сказки. Четвертая книга рассказов» (СПб., 1914). Первая из них — «Послушный подпасок» — повествование об обреченном пассивном сопротивлении злу. Вторая притча «О совестном лапландце и патриотическом зеркале» — история лапландца по имени Кей — посвящена размышлениям о «всеядности» русского национального характера. Возможно, Ремизов контаминировал имя героя этой притчи (Кей) с дореволюционным обобщенным названием народностей Русского Севера — «самоеды» и создал на этой основе неологизм «самокей». Таким образом, в названии «Послушный самокей» соединены ремизовская оценка творчества Кузмина-стилизатора и осмысление неприкаянности и трагизма его судьбы — существования в Советской России.

«Александрийские песни» (1906) — стихотворный цикл М. А. Кузмина.

...«тихим стражем»... — аллюзия на название романа М. Кузмина «Тихий страж» (1916).

С. 245. *Антифон* — поочередное (диалогическое) пение солиста и хора или двух частей хора, как бы отвечающих одна другой.

«О, дороги, обсаженные березами, осенние, ясные дали ~ ни нежно поговорить с моей Луизой, которая к тому же жаловалась всю дорогу на головную боль». — Цитата из «Приключений Эме Лебефа» (1906) (см.: Кузмин М. Первая книга рассказов. СПб., 1910. С. 16).

...в одной руке левкой... — Ср. в стихотворении М. Кузмина «Разговор» (1907): «Маркиз гуляет с другом в цветнике / У каждого левкой в руке».

«Если мне скажут: ~ Я не поверю запрету и вымолвлю: "нет"». — Полностью процитировано стихотворение М. Кузмина «Если мне скажут...» (1908).

С. 246. *Таким я вижу Кузмина и в «Сове» (Бродячей собаке), веселом ночном подвале «Плавающих и путешествующих»...* — Имеется в виду

изображение петербургского литературно-артистического кабаре «Бродячая собака» (1912–1915), открытого при активном участии Кузмина и выведенного под именем «Сова» в его романе «Плавающие и путешествующие» (1915).

С. 246. *...Андрей Белый ~ глассолалия...* — Отсылка к названию кн.: Андрей Белый. Глоссалолия. Берлин, 1922. На обложке и титульном листе слово-название воспроизведено неверно. Правильно, как у Ремизова: Глассолалия.

«...средь шумного бала...» — Цитата из стих. А. К. Толстого «Средь шумного бала, случайно...» (1851).

«Нежный Иосиф» (1908–1909) — повесть М. Кузмина.

«О прекрасной ясности. Заметки о прозе» (1910) — статья М. Кузмина, ставшая манифестом «кларизма» — «аполлонической» концепции искусства.

С. 247. *«Подвиги великого Александра»* (1906) — произведение Кузмина. Приведена точная цитата.

«Рассказы о маркизе д'Антеркер» — цикл новелл Анри де Ренье. В переводе М. Волошина опубл.: Аполлон, 1910. № 6. Приведена точная цитата.

«Шестерка» — название слуги в трактире, ресторане и т. п.

«causerie» (*фр.*) — непринужденный разговор.

«Ракета! Рассыпалась розой, роем разноцветных родинок, рождая радостный рев ротозеев» — цитата из повести Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзама, графа Калиостро» (1916).

Старообрядки ~ Марья Дмитриевна и Устинья... — Марья — героиня романа М. Кузмина «Крылья» (1906); Устинья — героиня романа «Тихий страж».

С. 248. *manuels érotiques* (*фр.*) — пособия по сексу.

...от песен Билитис... — Имеется в виду сборник «Песни Билитис» (1894) — мистификация французского писателя Пьера Луиса, выдавшего свою книгу за перевод текстов вымышленной куртизанки и поэтессы Билитис, жившей в VI в. до н. э. Ремизов отметил подражательность «Александрийских песен» «Песням Билитис».

«Имея душу спокойной ~ Молосса». — Цитата из «Повести о Елевсиппе» (1907) М. Кузмина.

...Блок написал рецензию... — Рецензия А. Блока на «Зеленый сборник» (СПб; Щелканово, 1905) — Вопросы жизни. 1905. № 7 (см.: Блок А. А. Собр. соч. В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 586–587).

С. 249. *...повеяло ~ Рогожской...* — Имеется в виду район в Москве за Рогожской заставой, где был центр старообрядцев-филипповцев, находилось Рогожское старообрядческое кладбище, церкви и дома старообрядцев.

«Башня» Вяч. Иванова — см. коммент. к с. 480–481.

С. 250. *«Муаллякат»* — см. коммент. к кн. «Мышкина дудочка». С. 435.

«Когда мне говорят Александрия...» — Цитата из стих. Кузьмина «Когда мне говорят Александрия...», цикл «Александрийские песни» (Разд. I. Вступление. № 1).

С. 251. *«Знает ли нильский рыбак ~ Кружитесь, кружитесь...»* — Цитаты из стих. Кузьмина «Кружитесь, кружитесь...», цикл «Александрийские песни» (Разд. VI. Канопские песенки. № 5).

С 252 *приколотым «ангельской булавкой»* — словесная игра Ремизова Ср с идиомой «английская булавка»

С 253 *Валахтантарарахтарандаруфа* — Как установил С Доценко, имя царя Асыки взято из текста народной песни в сборнике «Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (см Доценко С Проблемы поэтики А М Ремизова Автобиографизм как конструктивный принцип творчества Tallinn, 2000 С 56)

«Действо о Егории Храбром» — пьеса Ремизова впервые опубл Литературный альманах Издание «Аполлона» СПб, 1912

«Царь Максимилиан Театр Алексея Ремизова по своду В В Бакрылова» — Впервые опубл Пг, 1920

«Конек-горбунок» (1864) — балет по одноименной сказке П П Ершова Композитор — Ч Пуньи

С 254 *«Ясня Русалия в 3-х действиях»* — опубл Скифы Сб 1 Пг, 1917

«Гори-цвет Весенняя русалия» — опубл Московский альманах Кн I М, 1922

если вспомнить московских «философов», собиравшихся на Собачьей площадке в годы революции — Собачья площадка — существовавшая ранее небольшая площадь в районе улиц Арбат и Б Молчановка Уничтожена в 1960-х гг Вероятно, в тексте идет речь о круге философов, группировавшихся вокруг Н А Бердяева, чья квартира была рядом с Собачьей площадкой Бердяев писал «В течение всех пяти лет моей жизни в России советской у нас в доме в Малом Власьевском переулке собирались по вторникам < >, читались доклады, происходили собеседования < > Я был инициатором образования Вольной Академии Духовной Культуры, которая просуществовала три года (1918–1922 гг) < > Это своеобразное начинание возникло из собеседований в моем доме» (Бердяев Н А Самопознание Л, 1991 С 230, 233)

« жил старик со своею старухой » — Цитата из «Сказки о рыбаке и рыбке» А С Пушкина

Кто знает или хотя бы слышал о «Бесовском действе»? И никого-то из свидетелей не осталось . — В своей книге М В Добужинский посвятил памяти о спектакле специальную главу под заглавием «Ремизовское “Бесовское действо”» (см Добужинский М В Воспоминания М, 1987 С 229–232).

С 255 *«Подвиги Великого Александра»* — Имеется в виду стилизация М Кузмина

получило в войну и революцию сатирический характер — См Т 5 наст изд С 641–650

Гуигнгнмы — наделенные разумом и добродетелями лошади — персонажи книги Дж Свифта «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726)

царь Асыка издавал — манифесты и ~ декреты — См воспроизведение грамот в кн Обатнина Е Р Царь Асыка и его подданные Разд «Коллекция»

С 256 *Был случай, обезьянья палата держалась на ниточке* — См вос-

поминания М Горького в изложении К Федина «Горький рассказывал мне однажды — В году восемнадцатом ~ ночью зовут меня к телефону Некий матрос, видите ли, непременно желает со мной разговаривать — “< > Мы сейчас в одном доме на Троицкой обыск делаем, так попали в комнату — ничего понять не можем с потолка чегонашки разные свешиваются, картонные, а то — шерстяные, на стенках — ведьмаки да лешие, письмена в закорючках, может, научные, не разберешь И хозяин сам — не то колдун, не то домовой, а говорит — я, дескать, писатель < >” — “Постойте, — говорю, фамилия его не Ремизов ли?” Матрос даже повеселел “< .> Неужели он — писатель?” — “Да, — говорю, — и притом писатель известный, выдающийся”. < .> — “Как же с ним быть?” — “Оставьте его в покое” — “А с чертями что теперь делать? < .>” — спрашивает < > “И чертей, — говорю, — оставьте в неприкосновенности”» (Федин К Горький среди нас М, 1967 С 99–100)

С 259 *«Дворецкий»* — О написании этой главки см в письме Ремизова Н В Зарецкому от 12 февраля 1951 г «Я написал свою память о Дягилеве (“Дворецкий”), там и <о> собраниях у А Н Бенуа на Адмиралтейском канале На Святках приезжал Бенуа, я не читал, а рассказывал ему для проверки Ему 82 года, все помнит» (Письма А М Ремизова к Н В Зарецкому (1949–1951) Публ и коммент И С Чистовой // Рисунки писателей Сборник научных статей СПб, 2000 С 331)

стоит он, левую в карман ~ И тут же в сторонке ~ его нянька — Описание облика Дягилева и его няни соответствует его изображению *Л С. Бакст* Портрет С П Дягилева с няней 1906 (Русский музей, Санкт-Петербург)

С 260 *Талан* — счастье, удача

«Вопросы Жизни» (СПб, 1905) — ежемесячный литературно-общественный журнал С № 6 — изд Д Е Жуковский

«Мир Искусства» (СПб, 1899–1904) — художественный иллюстрированный журнал Ред — С П Дягилев С 1903 — совместно с А Н Бенуа

«Северный Вестник» (СПб, 1885–1898) — журнал литературно-научный и политический Изд — А В Сабашникова, ред — А М Евреинова, С 1891 г — изд Л Я Гуревич, ред — Б Б Глинский

С 260 *«Новый Путь»* (СПб, 1903–1904) — общественный, политический, литературный ежемесячный журнал Ред -изд — П П Перцов С 1904 — совместно с Д В Философовым

разжиженная пародия на монументальных «Головлевых» — роман Ф К Сологуба «Мелкий бес» — Подобное негативное отношение Ремизова к произведению Сологуба во многом было вызвано тем, что оно публиковалось в журнале «Вопросы жизни» параллельно с «Прудом» и, по мнению писателя, почти полностью заслонило собой его роман в глазах критиков и читателей Подробнее см · Грачева А М К истории отношений Алексея Ремизова и Федора Сологуба. (Введение к теме) // Блоковский сб Вып XV Русский символизм в литературном контексте рубежа XIX–XX вв Тарту, 2000 С 171–181

на моих руках хозяйство . — Ремизов не просто работал в журнале «Вопросы жизни», но и жил в квартире при редакции См воспоминания о нем Г Чулкова «Нам довелось с ним жить в одной квартире в 1905 году, когда я принимал близкое участие в журнале “Вопросы жизни”, а он был в

этом журнале секретарем Я прекрасно помню его комнату < > На стенах висели кусочки парчи и старых шелковых тканей, пропитанных пряными и душными духами На полочках торчали всевозможные кустарные игрушки < > А М Ремизов вечно кого-нибудь мистифицировал, вечно выдумывал невероятные истории, интриговал ради интриги, шутил и ловко умел извлекать из людей и обстоятельств все, что ему нужно, прикидываясь иногда казанскою сиротою Хитрец порою любил пошалить, как школьник» (Чулков Г И Годы странствий Вступ ст, сост, подгот текста, коммент. М В Михайловой М, 1999 С 184)

С 261 *«Валерий, Валерий, тебе поклоняются гады и звери, студенты, купцы, гимназисты »* — Ремизов цитирует по памяти пародийное стихотворение З Н Гиппиус, адресованное Брюсову Ср «< > / Тебе поклонились, восторженно чисты, / Купчихи, студенты, жиды, гимназисты < > / Валерий, Валерий, Валерий, Валерий! / Тебя воспевают и гады и звери» (Антон Крайний [З Гиппиус] Литературный дневник (1889–1907) СПб, 1908 С 104–105 Стих опубл в составе статьи «Два зверя» (1903)

С 262 *« веревки под рукой не оказалось ~ "Христос воскресе из мертвых"»* — Неточная цитата из Второй редакции (1907 г) романа «Пруд» (Т 1 наст изд С 362–363)

«Пруд это вереск и крик пробудившейся души ~ и Россию Горького» — Отрывок варианта предисловия к редакции романа (НР — Собр Резниковых), в 1925 г подготовленного к публикации в издательстве «Пламя» («Подорожие История моего "Пруда"») Ср Т I наст изд С 505–506)

С 263 *Имя Дягилев ~ с выставки портретов в Таврическом дворце* — Имеется в виду историко-художественная выставка русских портретов в Таврическом дворце (февраль 1905 г)

православие — самодержавие — народность — Формула-девиз теории «официальной народности», выдвинутой графом С С Уваровым (1786–1855) в бытность его министром народного просвещения (1833–1849)

за границей он кинется за старопечатными книгами — Речь идет о знаменитой дягилевской коллекции редких книг и рукописей, после его смерти в основном перешедшей к С Лифарю и распавшейся после смерти последнего См Лифарь С Список редких изданий из библиотеки С П Дягилева // Лифарь С С Дягилевым СПб, 1994 С. 176–179

С 264 *повез огреметь мир Россией ~ Мусоргский — Шаляпин* — Речь идет о «Русских сезонах», проводившихся С Дягилевым в Париже с 1907 г Так, в 1908 г он показал на сцене «Grand-Opéra» оперу М Мусоргского «Борис Годунов», в которой главную партию пел Ф И Шаляпин

С 265 *В канун войны (1914) я увижу в Париже ~ Нижинский — людоптица* — Имеется виду «Русский сезон» 1913 г, представление «картин языческой Руси» — балета в 2 частях «Весна священная» Музыка — И Ф Стравинский Либретто его и Н К Рериха. Хореография — В Ф Нижинский Декорации и костюмы — Н К Рерих

А Н Бенуа ~ Версалец — Намек на Версальский цикл — серию гуашей и акварелей А Н Бенуа (1896–1899, 1905–1906)

С 266 *При обсуждении постановки «Жар-птицы» я показал всю мою «Посолонь» с лешими, травяниками и водыльниками.* — Ремизовская ска-

зочная демонология является основой образов Кащеева царства в одноактном балете И Ф Стравинского «Жар-птица» (1910) Либретто, хореография — М М Фокин Декорации — А Я Головин Костюмы — А Я Головин и Л С Бакст Премьера (25 июня 1910) в Париже, во время «Русского сезона» Дягилева Об истории создания балета см воспоминания А Н Бенуа « необходимо было как-то использовать Стравинского для Парижа < > После нашего первого парижского сезона было принципиально решено, что настал момент создать русскую хореографическую сказку < > основные элементы сюжета были подсказаны молодым поэтом Потемкиным Разработкой этих элементов занялась своего рода "конференция", в которой приняли участие Черепнин, Фокин, Стеллецкий, Головин и я Очень зажегся нашей мыслью и превосходный наш писатель, великий знаток всего исконно русского и вместе с тем величайший чудак А М Ремизов, обладавший даром создавать вокруг себя сказочное настроение даже тогда, когда беседа ведется на самые обыденные темы В двух заседаниях, которые происходили у меня с Ремизовым, самый его *тон* способствовал *оживлению* нашей коллективной работы, а оживление выразилось затем в том, что мы уже не только теоретически приблизились к задаче, но *зажглись* ею» (Бенуа А Н Из воспоминаний // Сергей Дягилев и русское искусство В 2 т Т 2 Сост, вступ ст и коммент И С Зильберштейна и В А Самкова М, 1982 С 252–253)

С 267 *«Зефир и Флора»* — балет Музыка — В Дукельский Либретто — Б Кохно Хореография — Л Ф Мясин Декорации и костюмы — Ж Брак Премьера — Русский балет Дягилева (Монте-Карло, 1925)

улыбка легким воздухом покрыла наше прощайте — Здесь «воздух» в значении подобный платку покров, которым в Православной церкви покрывают сосуды со Св Дарами Согласно обряду «воздухом» закрывают лица умерших архиереев и священников, а затем опускают с ними в могилу

«Свадебка» — хореографические сцены с пением и музыкой на основе народных текстов из собрания П В Киреевского Музыка и сценография — И Ф Стравинский Хореография — Б Ф Нижинская Декорации и костюмы — Н С Гончарова Премьера — Русский балет Дягилева (Париж, 1923)

С 268 *«Пульчинелла»* — одноактный балет с пением на музыку Дж Перголези в аранжировке И Ф Стравинского Хореография — Л Ф Мясин Декорации и костюмы — П Пикассо Премьера — Русский балет Дягилева (Париж, 1920)

С 269 *«Соловей»* — опера Музыка — И Ф Стравинский Либретто — С Митусов, по сказке Г Х Андерсена Хореография — Б Г. Романов Декорации и костюмы — А Н Бенуа. Премьера — Русский балет Дягилева (Париж, 1914)

я прочитал у Л Н Толстого «письмо к китайцу» ~ «ночью спит без кровати в корзинке» — Цитата из «Письма к китайцу» (1906) Л Н Толстого

«Матросы» — балет Музыка — Ж Орик Либретто — Б Кохно Хореография — Л Ф Мясин Декорации, занавес и костюмы — П Прюн Премьера — Русский балет Дягилева (Монте-Карло, 1925)

«A bord de L'étoile Matutine» (фр) — «На борту "Утренней звезды"»

С 270 *«Ода»* — представление в 2-х картинах Музыка — Н Набоков

Либретто — Б. Кохно, по поэме М. В. Ломоносова. Хореография — Л. Ф. Мясин. Декорации и костюмы — П. Ф. Челищев в сотрудничестве с П. Шарбонье. Премьера — Русский балет Дягилева (1928).

С. 270. *Лице свое скрывает день; / Поля покрыла мрачна ночь; / Взошла на горы черна тень...' ~ Лучи от нас склонились прочь; / Открылась бездна, звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна.* — Цитата из «Вечернего размышления о Божием Величестве при случае великого северного сияния» М. В. Ломоносова (1743).

С. 271. *«Весна Священная»* — см. коммент. к с. 494.

С. 272. *«Аполлон Мусагет»* — одноактный балет. Музыка — И. Ф. Стравинский. Либретто — А. Р. Больма. Хореография — Дж. Баланчин. Декорации и костюмы — А. Бошан. Премьера — Русский балет Дягилева (Париж, 1928).

«Блудный сын» — одноактный балет. Музыка — С. С. Прокофьев. Либретто — Б. Кохно. Хореография — Дж. Баланчин. Декорации и костюмы — Ж. Руо. Премьера — Русский балет Дягилева (Париж, 1929), также премьера в том же году в Вашингтоне (США).

С. 276. *«О двух стариках»*. — Имеются в виду «Два старика» (1885) Л. Н. Толстого из цикла «Народные рассказы».

«Много ли человеку земли нужно» (1886), «Чем люди живы» (1881) — произведения Л. Н. Толстого из цикла «Народные рассказы».

«Три письма Горького». — О написании этой главки см. письмо Ремизова Н. В. Зарецкому от 1 июля 1950 г.: «“Три письма А. М. Горького” кончил. И примечания. Но есть чего не знаю и о чем пишу отдельно. Хронология главное, не знаю и отчества у Менжинского, забыл имя его сестры. Буду очень благодарен, заполните» (Письма А. М. Ремизова к Н. В. Зарецкому (1949–1951). Публ. и коммент. И. С. Чистовой. С. 327).

Человек человеку бревно. — Афоризм Ремизова. О его генезисе см. коммент. к «Крестовым сестрам» (Т. 4 наст. изд.).

С. 277. *...меня уличали — «врет все»...* — Ср. в поздних воспоминаниях Ремизова эти слова приведены как атрибутированная цитата: «“все врет” (Ф. Сологуб)» (Кодрянская. С. 90). В развернутом виде эта цитата повторена в дневниковой записи Ремизова от 18 сентября 1957 г.: «Однажды, не помню у кого за обедом мы оказались соседями с Ф. К. Сологубом. Помню, я был в таком своем веселом расположении. Ф. К. Сологуб, не обращавший внимания на соседство со мной, вдруг отчетливо повернулся ко мне, как к провинившемуся школьнику <...> С нескрываемым раздражением спросил: — Почему вы все врете? — И я, словно разбуженный, растерянно смотрел, ничего не отвечая. И что я мог ответить?» (Кодрянская. С. 323–324).

С. 278. *...житие Улиании Лазаревской*. — Имеется в виду житийный памятник древнерусской литературы «Повесть об Ульянии Осорьиной» (20 — 30-е гг. XVII в.), созданный ее сыном — Каллистратом (Дружиной) Георгиевичем Осорьиным.

«Как ты свой нрав перемени? ~ нищим и гладным даяше». — Цитата из «Повести об Ульянии Осорьиной» (цит. по: Скрипиль М. О. Повесть об Ульянии Осорьиной: (Исторические комментарии и тексты) // ТОДРЛ. М.; Л., 1948. Т. 6. С. 278–279. Экземпляр ТОДРЛ с пометами Ремизова со-

хранился в его библиотеке (Собр. Резниковых). О привлечении этого источника см. в письме Ремизова А. Ф. Рязановской от 2 июля 1950 г.: «А писал я о тайной милостыне и о вас думал, выписывая из жития Иулиании Лазаревской (1640 г.). Потянуло меня из моей черноты (Ихнелат, Савва Грудцын) о свете человеческом написать. Вспоминаю Горького, повод: его три письма. Если осуществится сборник "Перепел", он и откроется моим "О тайной милостыне"» (Ремизов А. М. Письма А. Ф. Рязановской. Вступ. заметка, публ. и коммент. Соны Аронян / Remizov-II // Russian Literature Triquarterly. Vol. 19. Heatherway, Ann Arbor. 1986. С. 293).

С. 278. *О Карамзине и Жуковском читаю у А. В. Дружинина в отзыве на книгу Е. Я. Колбасина «Ив. Ив. Мартынов».* — См.: Дружинин А. В. Собр. соч. Т. 7. СПб., 1865. С. 140–153. Отзыв 1856 г. О чтении этой книги см. в письме Ремизова В. В. Бучику от 29 августа 1944 г.: «Хочу попросить вас: нет ли в каком словаре: / Елисей Яковлевич Колбасин / Он выступил в Современнике 1856 г. (№ 3–4). Статья: Ив. Ив. Мартынов в переписке с Тургеневым 1854–1857. О нем прочитал у Дружинина т. VII (стр. 65) (Рус[ская] литература)» (Lettres de Remizov a Butčik. P. 301).

С. 280. *«Умножь и взрасти ~ и неблагодарного...» ~ О, моя мягкосердечная Русь, как ты прекрасна!* — Частично закавыченная цитата из хроники Н. С. Лескова «Соборяне» (1867–1872) (Лесков Н. С. Собр. соч. В 11 т. Т. 4. М., 1957. С. 36). См. также письмо Ремизова Кодрянской от 25 июня 1950 г. о ходе переработки воспоминаний о Горьком: «Продолжаю отделывать о "Тайной милостыне" (о А. М. Горьком). И хочу вас просить: во вторник если это возможно, принесите Лескова "Соборяне" <...> Для заключения о Горьком я хочу выписать несколько строк из дневника Туберозова. Лескова Горький любил и особенно "Соборян"» (Кодрянская. Письма. С. 164). См. также письмо от 27 июня: «В третий раз переписал о Горьком» (Там же. С. 164).

(...Обезвелволпал) отметила юбилейный день Горького высшей наградой... — В 1919 г. М. Горькому была дана обезьянья грамота о причислении его к разряду кавалеров Обезвелволпала, подписанная И. Рязановским, З. Гржебиным, Вяч. Шишковым, Е. Замятиным, и вручен «обезьяний знак с глобусом» (ИМЛИ. АГ-КГ-П-65-10-3.). В 1922 г. в ознаменование тридцатилетнего юбилея творческой деятельности Горький был возведен в князья Обезвелволпала, о чем свидетельствовала обезьянья грамота на глаголице (ИМЛИ. АГ-КГ-П-65-10-10).

С. 281. *...рукопись «Плачужная канава» пропала.* — Об истории спасения рукописи см. коммент. к «Плачужной канаве» (Т. 4 наст. изд. С. 528–529). См. также словесную игру Ремизова с названием романа: жемчужная / плачужная. В народных гаданиях «жемчуг» символизирует слезы.

С. 282. *...мою жемчужную «Канаву».* — Следующие опубликованные далее письма М. Горького не сохранились в составе личного зарубежного архива Ремизова. Об истории публикации статьи-воспоминаний о Горьком см. письмо Ремизова Кодрянской от 25 сентября 1951 г.: «Вайнбауму я послал "Три письма Горького". Уверен не напечатают, я никого не ругаю, а это "для читателей скучно". Я говорю о большом сердце Горького и как пример, я привожу свой случай: при его отрицательном отношении к моему,

хотя он и называл мое — "живая лаборатория русского языка" — он спас мою рукопись "Плачужную канаву"» (Кодрянская Письма С 203)

С 284 *Отзыв Горького о наших рассказах* — См письмо М Горького Л. Андреву начала августа 1902 г «Посылаю тебе две рукописи < > "Плач девушки" — ей-Богу — хорош!» (Горький М Полн собр соч Письма В 24 т М, 1997 Т. 3 С 92) Об участии Горького в начале литературной карьеры Ремизова см в кн «Иверень» (Т. 8 наст. изд. С. 452–453).

Еще три письма Горького — 1902–1907 о моем «В плену» и о «Пруде» Письма напечатаны в России в 1933 году без моих комментариев — Горький А М Письма А М Ремизову (3) 1902–1905 // Литературный современник. 1933 № 1 С 151–152

А взяты письма из моего — рукописного архива (1902–1920), хранился в Гос Публичной Библиотеке — Согласно приказу советского правительства об объединении воедино всех материалов, связанных с А М Горьким, его письма Ремизову были 28 марта 1936 г переданы в Комиссию по литературному наследству Горького в Москву При этом документы были вырезаны из ремизовских альбомов

С 286 *дом Юсупова на Литейном* — Имеется в виду особняк (Литейный пр, 42), построенный по проекту архитектора Г А Боссе архитектором Л Л Бонштедтом для кн З И Юсуповой В этом доме в годы революции располагался Петроградский Театральный Отдел (ПТО)

Ремизов А Россия в письменах Парижский клад — Опубл журн «Беседа» (Берлин), 1923, № 3

С 287 *Гржебин (1877–1927)* — дата смерти указана Ремизовым ошибочно Верно 1929

Пильняк (Вогау) (1894–1933) — дата смерти указана Ремизовым ошибочно Верно 1938

С 288 *«пропал Горький» — а это значит — вспомнил того же своего Лунева из «Троих»* — Илья Лунев, герой повести Горького «Трое» (1900), покончил жизнь самоубийством В текст Ремизова включена неточная цитата из финала повести

С 290 *«Всемирная литература»* — издательство, основанное М Горьким 4 сентября 1918 г в Петрограде В 1924 г влилось в Ленгиз Ремизов планировал издать во «Всемирной литературе» книгу своих переводов пьес И Граббе

гениальное воплощение Лифаря «Икара» — «Икар» — одноактный балет Ритмы С Лифаря в обработке Ж Сифера при участии А Онеггера Хореография и сценография — С Лифарь Декорации и костюмы — П Ларт Исполнитель главной роли — С Лифарь Премьера — 9 VII 1935, Парижская Опера

«безумстве храбрых» — Цитата из «Песни о Соколе» (1895) М Горького

С 291 *вспоминаю наши редкие встречи и очарование, какое легло мне на сердце* — См итоговую оценку творчества Ремизова в октябрьском письме М Горького 1922 г «Очень высоко ценю я Вас, А М, великий Вы чародей слова, это Вам говорят часто и не новость это для Вас Мое отношение к Вам, конечно, не исчерпывается тем, что Вам, колдуну, удается подчинить влиянию своему и таких старообрядцев, каков я, ког<да?> в моем отношении к Вам, очень сложном и запутанном, противоречиво сливаются

влекущее и отталкивающее Влечет меня к себе оригинальнейший художник, словотворец, иногда до жути красивый и мощный Есть такая птица — щур, не ярко она оперена, если смотреть издали, но удивительно тиха и задушевна ее песня Отдаленная песня, от пращуров, от какой-то задумчивой древности Когда читаю Ваши книги — предо мною эта странная птица Что отталкивало меня от Вас — не понимаю, не умею сказать Иногда мне казалось, что Вы боитесь читателя и смотрите на него, как и на владыку Вашей жизни, судью Это, разумеется, неверно Иногда же кажется, что Вы, колдун, издеваетесь над ним, но и это, я знаю, неверно Не знаю, зачем пишу это Вы мне простите, если хоть мало задел Вас И поверьте, что хотел я — хочу — сказать Вам что-то от всей души» (ИМЛИ АГ ПГ-рл-37-9-7 Л 1–1 об)

С 291 *«Исповедь»* (1908) — повесть М Горького

С 294 *третью славу третьей кафизмы Боже ~ далече!* — Кафизма — группа псалмов (Псалтырь разделена на 20 кафизм), которые читаются в установленном порядке на вечерне, утрене и на часах Кафизмы разделяются на три части («славы») «Боже, Боже мой, вонми ми, всякую оставил мя еси, далече » (псалом 21) — слова распятого Христа на кресте (Мф 27, 46) — предел человеческой богооставленности

На воздушном океане, // Без руля и без ветрил — ария Демона (неточно цитируемые стихи М Ю Лермонтова) из 2-го акта оперы А Г Рубинштейна «Демон» (1871), либретто Рубинштейна и П А Висковатого на основе одноименной поэмы М Ю Лермонтова Премьера в Мариинском театре — 13 (25) января 1875 г Партия Демона была одной из коронных в репертуаре Шаляпина

С 295 *«Утро туманное, утро седое »* — цитата из романса «В дороге» (слова И С Тургенева (1843), музыка В Абазы), в начале XX в популярного в исполнении В. Паниной В контексте мысленного движения колесницы смерти, которое маркировано перечислением имен умерших литераторов и упоминанием кладбищ, Ремизов как бы включает в подтекст и последнюю строфу романса «Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, // Многое вспомнишь родное, далекое, // Слушая ропот колес непрестанный, // Глядя задумчиво в небо широкое» Необходимо также учесть название-цитату сборника стих А Блока «Седое утро» (Пб , 1920)

Театр «Олимпия» — Возможно, имеется в виду кинематограф «Олимпия» (1915–1918?), располагавшийся по адресу Забалканский (Московский) пр , 42–44, где программы кинематографа сопровождались концертными отделениями, дивертисментом, куда входили вокальные номера, эстрадные монологи, танцы, юмористические сценки

«Хованщина» (первое исполнение — 1886) — опера Либретто и музыка М П Мусоргского Шаляпин исполнял партию главы раскольников — Досифея

«Таже, держав десять недель в Пафнутьеве ~ пострадать» — Цитаты из старообрядческого литературного памятника XVII в — Жития протопопа Аввакума (см Житие протопопа Аввакума Подгот текста и коммент Н К Гудзия, В Е Гусева, Н С Демковой, А С Елеонской, А И Мазунина Иркутск, 1979 С 51–53)

навеянную «Лесами и горами» Мельникова-Печерского — Имеются в виду романы П И Мельникова-Печерского «В лесах» (1871–1875) и «На

горах» (1875–1881) — произведения, посвященные проблемам русского раскола и сектантства.

С 296 *«Что же ты потупилась в смущеньи? ~ путь земной »* — Цитата из стих А А Блока «Перед судом» (1915)

и звезда с звездою говорит . — Цитата из стих М Ю Лермонтова «Выхожу один я на дорогу » (1841), ставшего популярным романсом на музыку Е Шашиной См. также коммент к гл «Выхожу один я на дорогу », с. 503

«Было двенадцать разбойников » — романс на стихи Н А Некрасова (раздел «О двух великих грешниках» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо», 1866–1876)

«Англичанин — хитрец » — Цитата из народной песни «Дубинушка» Известно ее скандально прогремевшее исполнение Ф Шаляпиным на концерте в Императорском Большом театре в разгар революционного движения в октябре 1905 г Об этом инциденте см Теляковский В А Воспоминания Л, М, 1965 С 292 — 295

С 297 *Царский конь* — Газетная публикация этого рассказа, созданного в контексте ремизовской авторской мифологии, вызвала критическую реплику «Звери на русской сцене» (НРС 1953 № 15100 30 авг), подписанную Николаем Андреевичем Малько (1883–1961) — в 1920 г - нач 1930-х гг дирижером Ленинградской филармонии, позже эмигрировавшем Рецензент не понял и не принял ремизовской «игры» и обвинил писателя в том, что тот насочинял никогда не существовавшие обстоятельства и действующих лиц Под статьей было характерное примечание «*Халтура — кажется, татарское слово У нас оно означало случайный заработок при очень низком уровне "продукции" Вообще халтура — работа спустя рукава или работа при условиях, делающих ее невозможной, — только ради денег» После ознакомления с рецензией Ремизов писал Кодрянской 25 сентября 1953 г «Посылаю вам мою "благодарность и объяснения" дирижеру Мариинского театра Н Малько < > Буду благодарен Вайнбауму, прошу его напечатать, как письмо — как отклик За это гонорар не полагается» (Кодрянская Письма. С 327) Ответ Ремизова на «обвинение во вранье» можно считать одним из последних документов Обезвелволпала

«ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО И ОБЪЯСНЕНИЯ

Пишет из Обезьяньей Великой и Вольной
Палаты заштатный канцелярист Обезвелволпала

Кланяюсь и благодарю Малько Рад, что мой "Царский конь" пробудил его память о зверях на оперной сцене С каким любопытством я читал его рассказ (НРС 30 августа) и сочувствуя

Ту ночь мне снилось, я на трапеции, перегибаясь, обращаюсь лицом, то к зверям, то к людям Брунгильда, держа меня под уздцы, поет мне в ухо. Какая тоска — ее гремучее последнее слово. Обезьяны время считают по пальцам, мы, кони, на копыта Прошло тысяча копыт, пройдет еще тысяча — щекотно Я вздыбился и, освобожденный от поводьев, отошел Передохну — и потом опять пускай себе орет — я полюбил ее, мою золотую птицу! И

вижу — прямо мне в глаза машется белый платок и палочкой пограживает, буря музыку на сцену — "англичанин"? Не прыгнуть ли к нему? Но только что я подумал, вдруг замечаю, Хаген на корточках, и уши заткнул себе щитом, видно и ему не очень сладко А не пройтись ли мне погулять? Конюшня просторная, тепло, заря зарест . "А где же Иван Васильевич?"

— Иван Васильевич Ершов — наш петербургский Зигфрид — в свой юбилейный год — 1920 На торжественном спектакле в Мариинском, в антракте, из директорской ложи, ему читает басом Анна Радлова мою разрисованную буквами обезьянью грамоту — свиток, собственнохвостно подписана царем обезьяньим Асыкой — "в знак возведения в кавалеры обезьяньего знака первой степени с синим, синее льдов, ирландским первоцветом".

И я превращаюсь из Гране в Брунгильду Я один без коня — "слава Богу, коня увели за кулисы!" Пылая, одна иду на костер

Г В Чижов-Холмский, действительно существует — бывший директор консерватории — обезьяньей, он же и "куафер", и П К Костанов есть — "Дирижер" — обезьяньей, его заместитель "капельмейстер обезьянский" В Н Емельянов

А "халтура" — слово не татарское, а самое настоящее греческое, как наш огурец, терем, скамья, идол и идолка *Алексей Ремизов»* (НРС 1953 № 15149 18 окт) См также запись в Записной книжке А А Блока от 15 июля 1920 г «Вечер А М Ремизова в Вольфиле, с Ершовым — очень замечательный» (Блок А А Записные книжки 1901–1920 М , 1965 С 496)

С 297 *как «скверные анекдоты»* — Намек на произведение Ф М Достоевского «Скверный анекдот» (1862)

нигде в истории русского театра, ни у Гернгросс-Всеволодского, ни у Вельтер-Евреинова — Имеются в виду книги 1) Всеволодский-Гернгросс В История русского театра Пред и общ ред А В Луначарского В 2 т Л , М , 1929, 2) Евреинов Н Н История русского театра Нью-Йорк, 1954 Ранее издано на фр яз Histoire du Théatre Russe Paris, 1948

«Псковитянка» (1872) — опера на музыку Н А Римского-Корсакова, либретто Н Римского-Корсакова

«Валькирия» (1856) — опера, первая часть тетралогии «Кольцо нибелунга», музыка и либретто Р Вагнера

С 298 *«Сомнамбула»* (1831) — опера В Беллини, либретто Ф Романи.

за белоснежный Эльбрус с памятного Прометея — согласно греческому мифу боги наказали титана Прометея, давшего людям огонь, приковав его к скале на Кавказе

С 300 *«Черный Араб»* (1910) — очерк М Пришвина См о работе над воспоминаниями о Пришвине в письме Ремизова В В Бутчику от 6/23 июля 1945 г «Надо мне решить задачу Я брал в Тург[еневской] Библ[иотеке] сборник Пришвина, изд Знание, кажется, 1913, в нем Черный Араб, Птичье Кладбище и Крутоярский Зверь Сейчас мне надо знать точно название сборника, год издания Нигде не могу найти это издание < > И еще о Пришвине Рожанковский дал мне "Журавлиную родину", издание с иллюстрациями Книга пропала Мне надо точно знать год издания и издательство» (Lettres de Remizov a Butčik P 311).

С 300 *Пила и Сысойка* — герои повссти Ф М Решетникова «Подлиповцы» (1864)

С 301 *«Стоять — негасимую свечу»* — Часть поминального обряда Источник названия — текст П И Мсльникова-Печерского «Марко Данилыч справил по брате доброе помнновенье по тысяче нищих каждую субботу в сго доме кормилось, целый год каионннцы из Комарова "негаснмую" стоялн, помннали покойника по керженским скитам, по черниговским слободам, на Иргизе, на Рогожском кладбище» (Мельников П И <Андрей Печерский> На горах В 2 кн Кн 1 Минск, 1987 С 18)

С. 302 . *это была не канонница Нестерова, «негасимая свеча»* — Вероятно, имеется в виду персонаж картины Нсстерова «Великий постриг» (1897).

Белица — женщина, живущая в монастыре, но еще не пострижеиная в монашество

С 303. . *я писал отчет о его «Огнях св Доминика»* — Имеется в виду рсцензия Ремизова на пьесу Замятина Опубл Ремизов А Ни за нюх табаку / Рсмнзов А Крашеныс рылá С 91–95

. *и мне приснилось* — рсальный сон Рсмизова, навеянный чтенисм текста Замятиина (см Днсвннк Рсмизова от 20 марта 1920 г — Т. 5 наст изд С 508), описаи в его рецензин (Крашеные рылá С 93)

. *я видел, как вынесли дощатый гроб и я вспомнил Некрасова, нашу традицию и жестокую судьбу «сочинителя»* — Аллюзия на стихотворенне Н. А Некрасова «О погоде» (1859–1865), в котором автор забредает на кладбище Он спрашивает сторожа о могиле друга и получает ответ «И смотри где кресты — там мещане, / Офицеры, простые дворяне, / Над чиновииком больше плита, / Под плитой же бывает учитель, / А где нет нн плиты, ни креста, / Там, должно быть, и есть сочинитель»

С 304 .*и только руки, он описал их в «Мы», покрытые шерстью, висят* — Отличительная черта реального облика Замятнна, которой он наделил главного героя романа «Мы» О роли Обезвелволпала Ремизова в формированни утопии «мира за Зелсной стсной» в романс Замятина см Грачева А. М. Алексей Ремизов — читатель романа Е Замятина «Мы» // Творчсское наследие Евгеиия Замятина Кн 5 Тамбов, 1997 С 6–21

Эндефризабль (от *фр* indéfrisable) — перманент

Выступил Замятин впервые — Рсчь идет о рассказе «Один» (Образоваиие, 1908, № 11)

С 306 *роман «Атилла», кончена 1-ая часть* — Роман не был завершен Первая часть — повесть «Бич Божий» опубл Париж, 1938

«Организована была небывалая еще до тех пор в советской литературе травля, ~ возможность служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям » — Контаминация цитат из письма Е И Замятина И В Сталину 1931 г См· Замятнн Е И Письмо Сталину // В мире книг 1988 № 9 С 19–20

С 307 *«Уездное»* (1913) — повссть Замятина

С 311 *«Воистину»* — часть православной пасхальной формулы «Христос Воскрсс!» — «Воистину Воскрес!»

В молодости я всё некрологи писал — Рсчь идст о шуточных «нскрологах» товарищам по вологодской ссылке, покидавшим «места не столь от-

даленные» Часть зачитывавшихся при отъездах друзей шуточных документов Ремизов увез с собой в эмиграцию и потом включил их в состав книги «Иверень» (см · Т 8 наст изд С 485–506) См также Обатнина Е Р Царь Асыка н его подданные С 17–30

С 311 *Пришвин помянул своего приятеля-земляка* — Имеется в виду А М. Коноплянцев.

С 311–312 *«Припаду к лапоточкам берестяным, мир вам, грабли, коса и соха, я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе жениха »* — Цитата из поэмы С Есенина «Русь» (1914) В апреле 1915 г поэт читал ее дома у Ремизовых и переписал текст поэмы для С П Ремизовой-Довгелло (автограф хранится в альбоме Ремизова в РНБ — Сообщено С И Субботиным)

С 312 *«Pensées»* (*фр*) — «Мысли»

С 313 *«О понимании» (1886)* — философское сочинение Розанова Этой работе посвящена статья Ремизова «О понимании» (1954<?>) — см · Ремизов А О понимании Публ А М Грачевой /Алексей Ремизов — Исследования. С. 224–230.

Дионисий Ареопагит — ученик апостола Павла и первый афинский епископ, которому приписывалось авторство четырех трактатов и десяти писем, пользовавшихся огромным авторитетом в средневековой как восточной, так и западной церквах В житии протопопа Аввакума упомянут во «[Вступлении]»

и Аввакум щеголял ~ легендарным римским папою Фармосом латинского летописца — Формос (в тексте Аввакума Фармое) — римский папа (891–896), после смерти был обвинен в узурпации папского престола и проклят, потом реабилитирован Его имя упомянуто в «Первой» челобитной Аввакума царю Алексею Михайловичу (1664)

С 314 *Но и среди русских, живущих за границей, есть та же дума .* — В кн. «Встречи» фраза имеет продолжение «. та же дума. в Америке — Роман Якобсон, в Страсбурге — Б. Г Унбегаун, а в этой самой Англии. » (С 112).

благодаря ему нам разрешение вышло в Петербург до срока переехать — См. письмо Ремизова Г И Чулкову от 15/28 ноября 1911 г «30 V 1903 кончился срок ссылки Получил я ограничение [на проживание в столицах — *А Г*] на 5 лет < > 1 II 1905 с разрешения Святополк-Мирского водворился в Петербурге» (РГБ. Ф 371. Карт 4 Ед хр 46 Л 14 об)

А в России — не в поре ~ и попади Вы в эту категорию «мистическую» — См характеристику Розанова в советской «Философской энциклопедии» Розанов «русский философ-мистик < > Монархист по политическим взглядам, Розанов сотрудничал в то же время в либерально-буржуазной печати, писал антисемитские статьи. Политическое двурушничество Розанова отмечалось как демократической, так и реакционной прессой» (Балакина И В В Розанов / Философская энциклопедия. М, 1967 Т 4 С 516)

С 315 *Когда-то Вы писали, что «заработал на полемике с каким-то дураком 300 рублей»* — Неточная цитата из книги В Розанова «Уединенное» (Розанов В. В Уединенное Т. 2. М, 1990 С 230)

С 316 *«Выхожу один я на дорогу »* — название главы — цитата из стих М Ю Лермонтова (1841) Эта цитата приведена в книге Розанова

«Люди лунного света» как концептуальное отражение в культуре нового времени понимания сути древнеегипетской культуры (см Розанов В В Люди лунного света / Розанов В В Уединенное Т. 2 М, 1990 С 39)

С 316 . *у Достоевского, скрывшего под камнем на Вознесенском проспекте свою тайну* — Аллюзия на сюжетный мотив романа «Преступление и наказание» Раскольников спрятал в указанном месте ценности, похищенные после убийства старухи-процентщицы и ее сестры.

С 317 *«Семейный вопрос».* — Имеется в виду кн. Розанов В В Семейный вопрос в России (СПб, 1903 В 2 т)

С 318 *«Нора»* — русский вариант названия драмы Г Ибсена «Кукольный дом» (1879)

в той то-светной закоптелой бане с пауками .. — представление о «том свете» героя «Преступления и наказания» Свидригайлова.

С 319 *слово Достоевского «Если уж раз мне дали сознать, что "я есмь", то какое мне дело до того, что мир устроен с ошибками и что иначе он не может стоять? Кто и за что меня после этого будет судить?»* — Цитата из романа Ф М Достоевского «Идиот» (Достоевский 8. С 344).

. *вспомнил Розанова ~ с его папироской, которую и отпетый в гробу, подмигнув, закурил бы* — Сравни с текстом кн Розанова «Уединенное» «Покойник в гробу должен быть "руки по швам" Я всю жизнь "руки по швам" (черт знает перед кем) Закапывайте, пожалуйста, поскорее < > Скажут "Иди на страшный суд". Я скажу "Не пойду". — "Страшно?" — "Ничего не страшно, а просто не хочу идти Я хочу курить Дайте адского уголька зажечь папироску"» (Розанов В В Уединенное. Т 2 С 272) См также Кукха С 124–125

С 323 *Из огненной России* — В иной редакции эта глава включена в кн «Взвихренная Русь» См коммент А В Лаврова (Т 5 наст изд С 586–588) Первоначальное название этой главки о Блоке — «К звездам» (сохранено в кн «Встречи» С 91) Символическое истолкование смерти Блока как восхождения его духа к звездам восходит к ремизовской интерпретации мистического трактата Якова Бёмэ «Аврора, или Утренняя заря в восхождении» (рус перевод М, 1914), книги, интересовавшей писателя в годы Второй русской революции Тогда ее осмысление отразилось в названии статьи Ремизова «О человеке — звездах — и о свинье» (1919) Ср название главы в кн Бёмэ «О человеке и звездах» Опираясь на концепцию Бёмэ, Ремизов писал «Звезды — создание духа человеческого — есть искусство < > видеть звезды, слышать музыку — это большое счастье И это счастье — доля человека И это надо помнить человеку И идти за своей счастливой долей» (Крашеные рылá С 14) Для Ремизова смерть Блока, наделенного даром слышать «музыку», — это возвращение поэта на родину его духа — в мир звезд Первоначально статья «К звездам» предназначалась для журн «Записки мечтателей», однако, вероятно, из-за географической удаленности местопребывания писателя (Ремизов находился в Берлине) она не вошла ни в № 4 журнала за 1921 г, ни в номер, специально посвященный памяти Блока (1922, № 6) См берлинское письмо Ремизова С М Алянскому (написано — 18 XI 1921, получено — 26 I 1922) «Дорогой Самуил Миронович Ваше письмо, как видите, дошло до меня с большим запозданием, рукопись мою — память мою о Блоке посылаю < > надо хорошо

обдумать — это я о письмах Алекс<андра> Алекс<андровича> Все, что попадет о А А, все собираю прошу и парижан, и латвийцев < > библиограф<ия> о Блоке понемногу будет печататься в бюллетенях Дома Искус<ств>, а из статей здесь написанных сделаю альбом и Вам пришлю» (РГАЛИ Ф 20 Оп 1 Ед хр 9 Л 15–15 об) См также письмо Аляискому от 3 февраля 1922 г «Понемногу собираю все, что о Блоке Уж I т<ом> есть и в переплете — как в драгоценных камнях Это я все думаю, хорошо бы в музей — в комнату Блока» (РГАЛИ Ф 20 Оп 1 Ед хр 9 Л 16) См Статьи о А А Блоке за границей Журнальные и газетные вырезки с пометами А М Ремизова Тетрадь I (1921–1922), Тетрадь II (1921–1922), Тетрадь III (1921–1922), Тетрадь IV (1922) (РГАЛИ Ф 420 Оп 1 Ед хр 48–51 Всего 147 л)

С 323 *«Девушка пела в церковном хоре ~ О том, что никто не придет назад»* — Эпиграф — цитация первой и четвертой строф из стих А А. Блока «Девушка пела в церковном хоре » (1905). О работе Ремизова над циклом статей-воспоминаний о Блоке для «Петербургского буерака» см в его письме Кодрянской от 26 октября 1950 г· «Сверяю переписанное о Блоке, что и зрячему нелегко, а мне хоть бросай Переписал вступление и заглянул в посвящение, с чего начать Я думаю сразу "не дверью, не воротами"» (Кодрянская Письма С 170–171)

без «музыки» — «Музыка» — одна из центральных категорий философско-эстетической концепции Блока, истоки которой восходят к философии Ф Ницше Ср оценку Б В Асафьева «Я не знаю высшего музыкального наслаждения вне самой музыки, чем слушание стихов Блока Мир, им созданный, заполняет не столько пустоту беспредметности, сколько пустоту беззвучия и своим бытием отрицает мир вне музыки, мир в безмолвии» (Игорь Глебов [А с а ф ь е в Б В] Видение мира в духе музыки / Сб Блок и музыка Сост М Элик Л, М, 1972 С 14) См также воспоминания Ремизова «Редкий вечер не говорили мы с Блоком по телефону Однажды он мне сказал, что слышит музыку и пробует писать Я понял, он в вихре слов < > Когда я прочитал "Двенадцать", меня поразила словесная материя — музыка уличных слов < > Вот она какая музыка, подумал я» (Кодрянская С 103)

Лирова ночь — отсылка к акту 3-му, сцене 2-й трагедии В Шекспира «Король Лир» (1605)

мы подъезжали к границе, ~ дух ваш переходил ~ грань жизни — Ремизовы покинули Петроград 7 августа 1921 г — в день смерти Блока

С 324 *Севпрос* — кооператив служащих в Комиссариате просвещения Северной коммуны *Кубу* — Комиссия по улучшению быта ученых *Сорабис* — Союз работников искусств

в бедующем Злосчастье — Аллюзия на главный образ-символ древнерусской «Повести о Горе-Злочастии» (XVII в).

С 325 *Это хорошо, что на Смоленском ~ и никто-то вас не тронет* — В 1921 г Блок был похоронен на Смоленском православном кладбище В 1944 г его могила была вскрыта, и прах перенесен на северо-восточную часть Волковского (Волкова) православного кладбища — в некрополь «Литераторские мостки»

как вас из вашей-то насиженной выгнали? — Речь идет о переезде Блока в 1919 г из своей квартиры в квартиру матери (см подробнее. коммент А В Лаврова в Т 5 наст изд С 586)

С 325. . *началом всеобщего уравнения ~ изобретение ~ подхваченное ~ примазавшейся «шкурой» и прихвостившейся мразью, загнавшая нас в третью категорию со всякими трудовыми повинностями — сгребать снег на мостовой, сколка льда, разгрузка барок с дровами, чистить загаженные дворы* — Отсылка к тематике Обезвелволпала, которая в 1917–1921 гг представляла собой особую форму противостояния большевистскому режиму и, в частности, законам «военного коммунизма», декларировавшим, в частности, разделение населения на категории, причем умственный труд был отнесен к низшей — третьей категории Ср во включенном в «Взвихренную Русь» «донесении обезьяньего посла обезьяньей вельможе» « у людей — этих напыщенных дураков' — совсем иначе ~ они стали ~ себе жизнь ~ затруднять, ~ заставляя каждого заниматься несвойственным ему делом ~ нам, интеллигентным обезьянам, было смешно, когда писатели скалывали лед на улицах и разгружали барки с дровами» (Т 5 наст изд С 223)

С 326 *Марья Федоровна ~ перед своим уходом из ПТО какую она мне подпись подписала под прошением ~ отказали ~ уж в Ревеле ~ я каблук в руке нес* — См «Валенковое прошение» М Ф Андреевой Автограф А. М Ремизова 24 ноября 1918 (РГАЛИ Ф 420 Оп 1 Ед хр 87)

Радуница — вторник Фоминой недели *Семик* — народный праздник, приходящийся на четверг седьмой недели по Пасхе *Дмитровская (Дмитриевская) суббота* — суббота перед 26 октября, памятью св Димитрия Солунского. Это — дни особого поминовения усопших.

ваш обезьяний знак, Александр Александрович — А А Блок был кавалером обезьяньего знака «I степени с заяшным глазом» Знак присвоен 31 октября 1918 г См. его фотографию в кн Александр Блок Новые материалы и исследования // ЛН Т 92 Кн. 2 С 115

Глаза ваши пойдут цветам ~ слово — человеческому сердцу — Переложение апокрифического сказания о создании Адама (Веселовский Разыскания XI С 48)

С 327 *нарисовал я ~ на каждую строчку «Двенадцати» по картинке* — О судьбе рисунков Ремизова к «Двенадцати» см письмо Ремизова Е Б Сосинскому от 18 июля 1931 г «Я послал Лебедеву рисунок из Единственного экземпляра. < > Я написал Лебедеву письмо, где объясняю, почему так важно отметить память о Блоке в "В<оле> Р<оссии>" (РГАЛИ Ф 420 Оп 4 Ед хр. 37 Л 1) К письму приложена написанная Ремизовым рекламная заметка об издании альбома «7 августа исполняется 10 лет со дня смерти поэта Александра Блока Журнал "Числа" выпускает в Единственном экземпляре книгу А Ремизова "Памяти Блока", 47 рисунков к "12-и" Блока. Рисунки сделаны Ремизовым в 1921 г в Петербурге — май, июнь и июль — в те три месяца, когда умирал Блок Эти рисунки — прощальное слово Блоку Об этом Ремизов рассказывает в своей книге "Взвихренная Русь" < > Книга будет на выставке рисунков французских и русских писателей, устраиваемой изд<ательством> Числа» (РГАЛИ Ф 420 Оп 4 Ед хр 37 Л 2) См также воспоминания Ремизова. «В революцию мне было легче рисовать, чем выражаться я нарисовал "Двенадцать", но не удалось показать Блоку Этот мой альбом еще до войны в 1937 году я передал А Б Кусикову в Париже» (Кодрянская С 104)

Пусто и жутко было в моей комнате ~ и игрушек не было. — О судьбе

ремизовской коллекции игрушек см · Грачева А М Алексей Ремизов и Пушкинский Дом. Статья первая Судьба ремизовского "музея игрушек" // Рус. лит 1997 № 1 С 185–215

С 327 *..каждый вечер друг единственный* — Цитата из стих. А Блока «Незнакомка» (1906)

Чучела-чумичела, Волчий хвост — персонажи кн Ремизова «Посолонь».

С 328. *недаром выпала вам на долю вихревая песня взбаламутившейся вздыбившейся России, а мне — погребальная над краснозвонной отошедшей Русью.* — Ср в воспоминаниях Ремизова в изложении Кодрянской «Вспоминаем "Двенадцать" Блока. Ремизов говорит "< > Я в те дни писал мое прощальное слово о Московской Руси· "Вечная память!" Это слово прозвучало во мне в Кремле после всенощной в Успенском соборе, под красный звон Ивана Великого ("Взвихренная Русь"). Когда я прочитал "Двенадцать", меня поразила словесная материя — музыка уличных слов"» (Кодрянская С. 103). В текст Ремизова включена неточная цитата из стих. Блока «Россия»· «Россия, нищая Россия, // ~ Твои мне песни ветровые ..» (1908)

«И сидим мы, дурачки » — Цитата из стих. Блока «Болотные чертенятки» (1905), посвященного Ремизову

.. и на вечную память — «Вечная память» поется в конце панихиды

Никогда не забуду ~ фонари — Цитата с пунктуационными разночтениями из стих Блока «В ресторане» (1910).

С 329 *.. с вашим «Балаганчиком»* — Пьеса А Блока «Балаганчик» была поставлена в Театре В. Ф Коммиссаржевской (режиссер — В. Э Мейерхольд, премьера — 30 декабря 1906)

весенняя обрядовая поэзия — См название кн. Е В. Аничкова «Весенняя обрядовая поэзия на Западе и у славян» (В 2 ч СПб, 1903–1905).

. помните, вы прислали билеты на «б короля Лира» — См письмо Ремизова Блоку от 6 октября 1920 г «Дайте, если можно, билет на 1-ое представ<ление> б<ывшего> К<ороля> Лира для Серафимы Павловны» (Блок А. А Переписка с А М. Ремизовым. С. 126)

через четырехлетие «Опыта» Алконост — ~ мытарства и огорчения книжные — См коммент А В Лаврова к кн. «Взвихренная Русь» (Т 5 наст изд. С 587)

ведь вы первый ~ отозвались на ~ «Зеленый сборник» — см. коммент к с 248

С 330 *чествование М А Кузмина* — состоялось в Доме Искусств 29 сентября 1920 г См украшенное рисунками поздравление, написанное Ремизовым от себя лично и от имени своих друзей «Михаилу Алексеевичу Кузмину / в 15-летие / 1920 29 IX / многие Ваши почитатели / я, Лавров, Гребенщиков, Максимов / Гребенщиков этот тот самый, альбом которого у Вас годуст, / Не могущие присутствовать на торжестве / Максимов в Касимове / Гребенщиков в Москве / Лавров в типографии / а у меня малярия / Пишем Вам поздравления наши / Алексей Ремизов» (РГАЛИ Ф 420 Оп 1 Ед хр 88 Л 1–1 об) (См также коммент А В Лаврова в Т 5 наст. изд С 587)

я читал «Панельную сворь», а вы стихи про «французский каблук» — Ремизов А. Панельная сворь / Ремизов А Шумы города Ревель, 1921, позднее включено в кн. «Взвихренная Русь» (см Т 5 наст изд С 349–352) Также приведена цитата из стих А Блока «Унижение» (1911)

С 330 *Февральские поминки Пушкина — это ваш апофеоз* — 13 февраля 1921 г Блок выступил с речью «О назначении поэта» на вечере памяти А С Пушкина в Доме литераторов (Петроград)

Алконост женился — С М Алянский женился на Н Л Гинзбург в январе 1921 г

Странные бывают люди — странными они родятся на свет, «странники»! — Ср рукописный вариант из Собр Резниковых. «Странные бывают люди — странными они родятся на свет, дураками»

Лев Шестов, ~ когда он начал печататься в Дягилевском «Мире Искусства» — См коммент А В Лаврова к Т 5 наст изд С 588

Розанов В В, тоже от «странников» — См афоризм-автохарактеристику Розанова в кн «Уединенное» «Странник, вечный странник и везде только странник / (Луга — Петерб, вагон, о себе)» (Розанов В В Уединенное Т 2 С 252) Ср также название главы о Розанове в кн З Н Гиппиус «Живые лица» — «Задумчивый странник О Розанове» (1923)

Розанов ~ возводя Шестова в «ум беспросветный», ~ до того уверился в пороке его винном, всякий раз, как ждать в гости Шестова, вином запасался — Речь идет о розыгрыше Ремизова, который был зафиксирован в его записях из блокнота, использованных в кн «Кукха» — источнике данного отрывка «Петербургского буерака» «16 10 ~ В В все сокрушается, вспомная Шестова помириться не может, что Шестов пьет А было так. приехал Шестов, повел я его к Розанову < > А накануне прошепнул я Розанову, что обязательно надо вина "потому что Шестов без вина не может" Вино было Бутылка красного стояла перед Шестовым И мы с Бердяевым все выпили А у В В осталось без вина Шестов не может! И вот в разговорах с гостями, вспомная, все сокрушается — Ум беспросветный, все понимает и —» (Кукха С 26–27)

С 331 *после убийства Шингарева и Кокошкина говорили мы с Блоком по телефону ~ и Блок сказал мне, что над всеми событиями, над всем ужасом слышит он — музыку ~ А это он «Двенадцать» писал* — См дневниковую запись Ремизова от 9 января 1918 г «Вчера убили Шингарева и Кокошкина ~ Разговор с Блоком о музыке и как надо идти против себя Голгофа!» (Т 5 наст изд С 489–490)

И та же музыка ~ вывела Блока на улицу с красным флагом ~ в 1905 году — См приведенные в коммент. А В Лаврова воспоминания М А Бекетовой о восприятии поэтом событий 1905 г. «Он участвовал даже в одной из уличных процессий и нес во главе ее красный флаг, чувствуя себя заодно с толпой» (Бекетова М А Воспоминания об Александре Блоке М, 1990 С 72)

. *или меня взять — в три дуги согнутый* — Ср в рукописном варианте Собр Резниковых « или меня взять — червяк в три дуги согнутый »

один «Театральный отдел» чего стоит! — См коммент А В Лаврова (Т 5 наст изд С 588)

С 333 *человека, окаменелого в том твердом убеждении, которое движет горами* — В первоначальном варианте НР РГАЛИ было « человека, окаменелого в том твердом убеждении, которое, по слову Блейка, движет горами» (РГАЛИ Ф 420 Оп 5 Ед хр 19 Л 27)

С 333 *«больше так жить невозможно!»* — Цитата из рассказа А П. Чехова «Человек в футляре» (1898) Ср · « нет, больше жить так невозможно!» (Чехов А П ПСС и П В 30 т Сочинения Т 10 М, 1986 С 54)

« черное, черное небо» — Цитата из поэмы Блока «Двенадцать» (Блок А А ПСС и П В 20 т Т 5. М, 1999 С 11)

Одни люди родятся уверенные ~ по Достоевскому, это «деятели» ~ и другие — ~ по Достоевскому, это — «мышь» — Ср рассуждения героя «Записок из подполья» (1864) Ф. М Достоевского «Такой господин так и прет прямо к цели, как азбесившийся бык ~ непосредственные люди и деятели ~ такого-то вот непосредственного человека я и считаю настоящим, нормальным ~ если, например, взять антитез нормального человека, ~ то этот ~ сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека Пусть это и усиленно сознающая мышь, но все-таки мышь, а тут человек, ~ и проч » (Достоевский 5 С 103–104)

«Человек никогда не меняющий своих мнений, подобен стоячей воде и в мыслях своих рождает гадов» — Цитата из книги У Блейка «Бракосочетание Рая и Ада» (1793) Список этого сочинения рукой С П Ремизовой-Довгелло сохранился в Собр Резниковых

С 334 *но у «имеющего внутрь бурю»* — Неточная цитата из «Акафиста ко Пресвятой Богородице» (кондак 4), в точном написании использована Ремизовым как эпиграф к роману «Плачужная канава» (см Т 4 наст изд С 281)

я читал главу из моей «Плачужной канавы» — Ср в рукописном варианте Собр Резниковых « я читал главу из романа “Ров львиный” ».

«Человек человеку бревно ~ дух утешитель» — О генезисе ремизовских афоризмов см коммент И Ф Даниловой и А М Грачевой к «Крестовым сестрам» и «Плачужной канаве» (Т 4 наст изд С 486, 533, 541)

«Находка» (1920) — рассказ Ремизова, позднее вошел в состав кн «Взвихренная Русь»

«Да, так любить, как любит наша кровь — // Никто из вас давно не любит » — Цитата из стих Блока «Скифы» (1918)

Блок умер 7 августа, в день св Гаэтана — Как установили Н А. Кайдалова и Н Н Примочкина, католический св Гаэтан (Каэтано) — основатель монашеского ордена театинцев, канонизирован в XVI в. Память — 7 августа по новому стилю (см Блок А А Переписка с А М. Ремизовым Приложения С 142) Гаэтан — имя героя драмы Блока «Роза и крест» (1912)

С 335 *По серебряным нитям* — Возможно, название главы восходит к библейскому образу отхода души от тела «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, — доколе не порвалась серебряная цепочка < > И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу» (Екк 12, 6–7) Ср также цитату из «Алалей и Лейла» Ремизова « вспыхнув, спускаются две серебряные звезды, Алалей и Лейла»

Лития — в православном церковном богослужении часть всенощного бдения накануне праздников, следующая за ектенией, начинающейся словами «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви», здесь — в значении краткой заупокойной молитвы

«утро туманное, утро седое » — см коммент к с 295

С. 335. *«Я затеплю лампаду ~ твои жалобы».* — Цитата из кн. «Взвихренная Русь» (Т. 5 наст. изд. С. 140).

С. 336. *Вы приходите ко мне по серебряным нитям так же легко и воздушно, как сильфы...* — Согласно учениям мистиков и алхимиков, сильфы — одни из четырех видов духов природы — духи воздуха. См. изображение явления этого духа в повести В. Ф. Одоевского «Сильфида»: «...поверх воды струятся голубые волны, в них отражаются радужные опаловые лучи <...> по зеленоватым волнам потянулись розовые нити, долго переплетались между собой и слились на дне сосуда в прекрасную, пышную розу <...> от розы потянулись зеленые и розовые нити <...> и снова <...> явился мой прекрасный цветок <...> между оранжевыми тычинками покоилось <...> существо удивительное, невыразимое, неимоверное» (Одоевский В. Ф. Город без имени. М., 1987. С. 50–51).

В «Красной свитке» черта выгнали из пекла... — Имеется в виду сюжетный мотив повести Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» (1829–1830).

...а Григорьев под гитару пел свою Венгерку. «Две гитары, зазвенев, жалобно завыли...» (Воспоминания Фета). — См.: Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893. С. 151–155.

С. 337. *Sophie Bonneau «L'univers poétique»* (*фр.*) — Софи Бонно «Поэтический мир».

С. 343. *«Indiana», «Valentine», «Jacques»* (*фр.*) — «Индиана» (1832), «Валентина» (1832), «Жак» (1834) — романы Жорж Санд.

С. 345. *«Я подошел: алела бугорками // По всей спине, усыпанной шмелями, // Густая кровь ~ Да степь кругом.* — Цитата из стих. Н. А. Некрасова «Уныние» (1874).

С. 346. *«У конюшни, на куче навоза, привязанная локтями к столбу, стояла девочка ~ не происходило».* — Цитата из «Пошехонской старины» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. В 20 т. Т. 17. М., 1975. С. 103).

С. 347. *...солнце садилось ~ свете тихии...* — Цитата из «Пошехонской старины» М. Е. Салтыкова-Щедрина (Там же. С. 145–146).

«един чернец сложил, един составил ~ и глаголя». — Неточная цитата о создании пермской азбуки из написанного Епифанием Премудрым «Жития Стефана Пермского» (XV в.).

С. 348. *Святки* — святые дни, зимние праздники, которые отмечаются с 25 декабря по 6 января между двух христианских праздников — Рождества Христова и Богоявления.

Рыжее трехгорное — сорт пива.

С. 349. *Раешник* — человек, показывающий раёк — ящик с увеличительными стеклами для рассматривания картинок и сопровождающий показ пояснениями и прибаутками.

«Самые высокие пискливые ноты ~ людей жалко». — Контаминированная из двух частей цитата из рассказа А. П. Чехова «Свирель» (1884).

Поплавский — герой рассказа Чехова «Оратор» (1886). См. у Чехова: «— А я, братец, к тебе! — начал Поплавский <...> Умер один из наших, сейчас его на тот свет отправляем, так надо, братец, сказать на прощанье

какую-нибудь чепуховину...» (Чехов А. П. ПСС и П. В 30 т. Сочинения. Т. 5. М., 1984. С. 431).

С. 350. *Штольц* — герой романа И. А. Гончарова «Обломов» (1847–1859).

Правда — Палата № 6 — тронула Ленина... — См. передачу восприятия рассказа В. И. Лениным в воспоминаниях А. И. Ульяновой-Елизаровой: «...он определил лучше всего это впечатление следующими словами: “Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6”» (В. И. Ленин о литературе и искусстве. М., 1976. С. 609).

Однажды лето я прожил под одним кровом с братом Чехова Иваном Павловичем. — Речь идет о совместном пребывании в санатории доктора Зернова в Ессентуках летом 1917 г. (см.: Взвихренная Русь, Т. 5 наст. изд. С. 146–147).

С. 353–354. *«О мое детство ~ если бы я могла забыть мое прошлое!»* — Цитата из монолога Раневской в пьесе Чехова «Вишневый сад» (1903–1904).

С. 354. *Его глаза нормальны, пелена Майи сплошь, восприятия ограничены.* — В ведийской мифологии Майя — это иллюзия, обман. «Майя обозначает иллюзорность бытия, вселенной <...> Майя — одно из ключевых понятий древнеиндийской модели мира, вошедшее и в европейскую философию» (Топоров В. Н. Майя / Мифологический словарь. М., 1992. С. 334).

С. 355. *Ирмос* — название богослужебного песнопения, входящего в состав утреннего канона и служащего в нем связью между песнями из Св. Писания и тропарями. Обыкновенно ирмос находится в каноне перед первым тропарем каждой из песен канона.

Кондак — церковное песнопение, излагающее в кратких чертах содержание праздника или жизни святого, а также одна из повторяющихся частей акафиста.

Тропарь — церковное песнопение, излагающее смысл праздника, а также стихи, следующие за ирмосом в каноне.

Икос — богослужебное песнопение, прославляющее праздник или святого. Является частью утреннего канона (после 6-й песни), а также акафиста, где регулярно чередуется с кондаками.

Канон — особая группа христианских богослужебных песнопений, входящих в состав утрени и связуемых в одно целое единством предмета (например, прославление того или иного святого). Каждый канон разделяется на песни, каждая из которых состоит из ирмоса и нескольких более кратких частей, называемых тропарями.

Стихира — церковное песнопение вечерни и утрени, состоящее из многих стихов, связанных с определенным праздником, и предваряемых ветхозаветными стихами, обычно из псалмов.

С. 356. *«Да и аз многогрешный и неразумный, последуя словеси похвалений твоих, слово плетущи и слово плодящи, и словом почтит мнящи, и от словес похваления собирая, и приобретая и приплетая».* — Цитата из «Жития Сергия Радонежского», написанного Епифанием Премудрым.

С 357 *«Дева днесь Пресущественного рождает»* — первые слова кондака Рождества.

«Хмурые люди» — название сборника рассказов А П. Чехова (1890). В основе эта подглавка — ответ Ремизова на анкету о Чехове Опубл. Иллюстрированная жизнь (Париж) 1934 № 18 12 июля Беловой автограф — РГАЛИ Ф 420 Оп. 3 Ед хр 19 Л 1-2 В сопроводительной открытке к тексту Ремизов писал редактору «Иллюстрированной жизни» Е С Хохлову 3 июля 1934 г «Если мой ответ пространен, очень прошу Вас, лучше не печатайте, но без меня не сокращайте» (РГАЛИ. Ф 420 Оп 3 Ед хр 19 Л 3)

С 358 *Мои первые рассказы в рукописи Мейерхольд ~ показывал Чехову Антон Павлович не одобрил*. — Ср в кн «Иверень» «Отзыв Чехова на словах Мейерхольду Мейерхольд, щадя меня, путался, повторяя "надо работать", но я-то за всеми словами чувствовал, что Антону Павловичу мое "декадентское" очень не понравилось» (Т 8 наст изд С 454–455)

Не довелось мне в жизни встретить Чехова, но во сне однажды снился — См коммент к с 411

С 359 *Потихоньку, скоморохи, играйте! // Потихоньку, веселые, пойте!* — Цитата из песни о скоморохах, опубликованной в сборнике А Д Григорьева «Архангельские былины и исторические песни» (М, 1904 Т I С XXIII) Та же цитата использована Ремизовым в повести «Крестовые сестры» (Т 4 наст изд С 139) и в сказке «Скоморох» (Т 2 наст изд С 317)

помер Лев Шестов! — Шестов умер в 1938 г в клинике на ул Буало

ледяной блестящий май — Речь идет о смерти С П Ремизовой-Довгелло См письмо Ремизова Б А и А М Лазаревым от 11 июня 1943 г «В воскресенье (13 VI) месяц, как померла Серафима Павловна < > Только ночь пробыла она в госпитале (12 rue Boileau), прежде клинике, где Лев Исаакович простился с белым светом Hemorragie cérébrale — я видел ее за 6 часов до смерти, но она меня не узнала Так закончился путь все, что было, отошло И в той же мертвецкой она лежала с номерком, где и Лев Исаакович» (РГАЛИ Ф 420 Оп 4 Ед хр 36 Л 19)

С 360 *Тау* — название буквы греческого алфавита

Крокмор — см коммент к кн «Мышкина дудочка» С 438

огонь скорбей расставанья — Ср название посвященного смерти С П Ремизовой-Довгелло произведения Ремизова «Сквозь огонь скорбей»

«Папильон» (от *фр* papillon — бабочка) — ветреник, легкомысленный человек

С 361 *«Пара гнедых, запряженных с зарею ~ жалких на вид»* — Цитата из романса «Пара гнедых», являющегося сделанной А Н Апухтиным переработкой французского романса «Pauvres chevaux» (слова и музыка С И Донаурова), посвященного описанию похорон старой куртизанки

И вот все, что осталось ~ бедный Иорик! — Неточная цитата из трагедии В Шекспира «Гамлет» (акт V, сцена 1)

А ведь это не с какими программами тараканоморов — Имеются в виду догматические требования пуристов в разных областях искусств См полемику с ними в гл «На большую дорогу», подглавка «Крестовые сестры»

мы завели газовую фур — от *фр* «four» — плита

С 361 *я пошел на открытие «Старинного театра» «Чудо о Теофиле», постановка Н Н Евреинова* — См коммент к кн «Мышкина дудочка» С 443

Адонис (греч миф) — прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты

С 362 *путь к Знамению* — Имеется в виду православная церковь Знамения Пресвятой Богородицы на rue Michel Ange, рядом с домом № 7 по улице Буало Там отпевали Евреинова

«Заветы» — см коммент к кн «Мышкина дудочка» С 459

«Новая бурса» (1913) — роман Л М Добронравова (впервые опубл Заветы 1913 № 6–10)

С 363 *Пушкин «прорубил окно в Европу»* — переосмысление цитаты из поэмы А С Пушкина «Медный всадник» (1833) Ср оценку Ремизовым роли Пушкина в отходе литературы от «природного русского лада», аввакумовского «вяканья» «европеец Пушкин советовал учиться у просвирен, но по словам Вяземского сам просвирен не очень жаловал» (Кодрянская С 145)

как выразится один «поэт» про «Что делать?», «трактат-роман» — Цитата из стихотворения В Ангарского (В В Леоновича) Поаторена в кн «Иверень» (Т 8 наст изд С 254)

С 364 *Пушкин — «Балда»* — Имеется в виду «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830) Пушкина

С 365 *слова, как звезды* — См в статье Ремизова «О человеке — звездах — и о свинье» (1919) «Те звезды, какие светят человеку — создание его духа — искусство < > Само слово — эти крылья духа человеческого» (Крашеные рыла С 15–16)

и звезда с звездою говорит — Цитата из стих М Ю Лермонтова «Выхожу один я на дорогу »

дружил с Шаляпиным — См посвященный Шаляпину очерк Л Добронравова «Ты — царь — живи один!» (Аргус 1916 № 4)

С 366 *«Девятая симфония»* (1817 и 1822–1823) — музыкальное произведение Людвига ван Бетховена

«Полунощники» (1891) — произведение Н С Лескова

«Борис Годунов» (1872), *«Хованщина»* (1881, дописана и оркестрована Н А Римским-Корсаковым в 1883 г) — оперы М П Мусоргского

он писал роман из студенческой жизни — 30 листов! — Не сохранился

С 367 *затеял роман ~ «Черноризец»* — Не сохранился

С 368 *Святая неделя* — первая неделя после Пасхи

идешь по Никольской, а у Пантелеймона стоят по стенке — Имеется в виду реалия Москвы начала XX в — выходившая фасадом на Никольскую улицу часовня великомученика Пантелеймона (часовня Афонского Пантелеймоновского монастыря) Освящена в 1883 г, уничтожена в 1934 г

С 369 *На Преполовение (середа 4-й недели) помер* — Преполовение Пятидесятницы — праздник, отмечающий середину между Пасхой и Пятидесятницей (Троицей), приходится всегда на среду 4-й недели после Пасхи

скоротечная чахотка — «Добронравов умер от скоротечной чахотки в нищете, похороны оплатило румынское правительство» (Поливанов К М, Чанцев А В Добронравов Леонид Михайлович // Русские писатели 1800–1917 Биографический словарь Т 2 М, 1992 С 143)

С 369 *известный всему книжному Петербургу под именем «василеостровского книгочия» и знакомый всякому ~ безымянно по бороде и падающим, спускающимся, как на колок, на нос волосам* — Ср в статье Ремизова «Репертуар» «Яков Петрович — книгочий василеостровский, книжный островной владыка, сатрап библиотечный — власы дьякоиовы, а брада колом» (Крашеные рыла́ С 40)

С 370 *«Знаменный распев»* — распев (по-старинному ро́спев) — круг церковных мелодий, постепенно сложившийся в определенный вид в той или другой местности и принятый сначала в местное, а затем и всеобщее церковное употребление Мелодии каждого распева построены на определенных музыкальных основаниях, одинаковых для всего данного распева По происхождению распевы различаются на древнейшие и поздние К древнейшим относятся большой знаменный, греческий, болгарский и киевский

Дума — украинская историческая песня, свободная по ритму и лишенная строфического членения, создававшаяся в казацкой среде в XVI–XVII вв

С 371 *в Казанском* — Имеется в виду Казанский собор (1801–1811, арх А Н Воронихин) в Санкт-Петербурге (Невский пр , Казанская пл , 2)

Бестиарий — см коммент к кн «Мышкина дудочка» С 458

Догматик (воскресный) — Богослужебное песнопение на вечерне, посвященное Богородице

«Ангел вопияше» — Первые слова припева на 9-й песни канона Пасхи

В ~ «узлах и закрутах» моей извечной памяти — Ср подзаголовок кн «Подстриженными глазами» — «книга узлов и закрут моей памяти»

«Величание» — величание (начало «величаем тя», далее следует обращение ко Христу, Богородице или святому, чей праздник) поется на утрене великих праздников

Регент Лебедевского хора, сам Василий Степаныч — См о нем в кн. «Подстриженными глазами» (Т 8 наст изд С 163–165)

С 372 *старший мой брат* — Имеется в виду Николай Михайлович Ремизов

моим звериным прозвищем — Леся

как когда-то моя счастливая ~ рука — см кн «Подстриженными глазами» (Т 8 наст изд С 20–23)

оказались среди книг «Вертер» и «Фауст» — О влиянии на Ремизова произведений И Гете см в кн «Подстриженными глазами» (Т 8 наст изд С 198–201)

Душа моих «снов» — от Новалиса — см кн «Подстриженными глазами» (Т 8 наст изд С 198)

С 373 *«Meine Muttersprache — Deutsch'»* (*нем*) — Мой родной язык — немецкий!

Петер-Пауль шуле — Имеется в виду московская Петропавловская женская гимназия при Евангелическо-Лютеранской церкви Св апостолов Петра и Павла (Космодамианский пер , дом церкви), которую окончила М А Ремизова

От кормилицы я вслушивал русское «природное» ~ опять ломка очки — Рассказ об этапах духовного взросления юного Ремизова См кн «Подстриженными глазами» (Т 8 наст изд)

Вспомните вторую часть только передо мною был не берег океана

с бросаной лачужкой Филимона и Бавкиды — отсылка к трагедии Гете «Фауст» (часть 2, действие 5)

С 373 *«и о всякой душе скорбящей и озлобленной, помощи требующей'»* — Цитаты из прошения из литии (части праздничной вечерни)

С 374 *«Власть земли»* (1882) — цикл очерков Гл И Успенского

«приват-доцент Милюков выслан» — В начале 1895 г за противоправительственную направленность и «намеки на чаяния свободы», содержавшиеся в лекции, П Н Милюков был уволен из Московского университета с запрещением преподавать в учебных заведениях и выслан в Рязань

провели меня по тюрьмам — см. кн и коммент к кн «Иверень» (Т 8 наст изд)

С 375 *На бланке для поступления в кадетскую партию «Ознакомившись с программой и уставом ~ 1 к марка»* — Точная цитата из кн Ремизова «Кукха» (Кукха С 36–37)

Соляной Городок — местность в центральной части Санкт-Петербурга, на левом берегу реки Фонтанка напротив Летнего сада В начале XX в там располагалось несколько музеев и выставочных залов, а также Русское техническое общество, в помещениях которого устраивались общественные мероприятия.

С 376 *«Речь»* (СПб, 1906–1916) — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета

Милюков П Н «Очерки по истории русской культуры» (М, 1896 – 1903)

Милюков П Н Государственное хозяйство в России первой четверти XVIII столетия и реформа Петра Великого (М, 1892) Эта монография была защищена Милюковым как магистерская диссертация

И что же оказывается самый главный «гонитель и мучитель» моей «чертовщины» — называют Милюкова — Речь идет о позиции Милюкова по отношению к изданию произведений Ремизова в газ «Последние новости» (Париж), редактором которой он был Несмотря на неприятие последним «фантазий» Ремизова, писатель постоянно и активно печатался на страницах этой газеты За период с 1921 по 1940 г — 128 публикаций

Дриада (*греч миф*) — нимфа, покровительница деревьев

С 380 *подлинно «карáндыш» – вещь бесполезная* — Ремизовская аллюзия на семантику фамилии персонажа драмы А Н Островского «Бесприданница» — Карандышев

Оленьи рога — в рассказе идет речь о ремизовском подарке Н Кодрянской

С 381 *привез ~ Владимир Васильевич Диксон ~ я взял его за руку ~ рука безразлично упала ему на грудь* — В Париже В В Диксон был близок семье Ремизовых, относившихся к нему по-родственному, и помогал им материально После смерти Диксона от аппендицита Ремизов посвятил его памяти некролог (Памяти Вл Диксона / ПН 1929 № 3196 22 дек) и способствовал составлению и публикации его посмертной книги «Стихи и проза» (Париж, 1930), сопроводив ее своим предисловием

NRF — см коммент к кн «Мышкина дудочка» С 458

С 382 *в юбилейном альбоме «Последние новости» (1920–1930)* — Речь идет о юбилейном номере газеты (27 апреля 1930), где были помещены портреты ее сотрудников, статьи редактора и ведущих авторов

С. 383 *случай на Таврической в Петербурге Мы только что переехали ~ в дом Хренова* — Ремизовы поселились по адресу Таврическая ул , д 3-в, кв 29 («Дом Хренова») в сентябре 1910 г.

«В поле блакитном» — первая часть книги «В розовом блеске» Отд. публ Ремизов А В поле блакитном Берлин, 1922

С. 384 *. сказку про «мышку-морщинку» писал* — См Ремизов А Морщинка Сказка СПб, 1907

С 390 *«Когда оканчивались борщи ~ взаперти сидели четыре мои сестры»* — Цитата с пунктуационными вариантами из «Пана Халявского» Г Ф Квитки-Основьяненко (Квитка-Основьяненко Г. Ф Пан Халявский М, Л, 1930 С 32–36)

Родзынки (укр) — изюм

С 395 *Н В Зарецкий в Праге на выставке рисунков писателей его показывал* — В 1932 г Н В Зарецкий устроил выставку рисунков писателей в Праге, где было выставлено значительное количество рисунков Ремизова О позднем этапе их взаимоотношений см Письма А М Ремизова к Н В Зарецкому (1949–1951) Публ и коммент И С Чистовой / Рисунки писателей Сборник научных статей СПб, 2000. С 326–363

С 397 *О пушкинском «крючке» рассказывает М В Добужинский в своем «Рисунок Пушкина»* — 14 апреля 1937 г в рамках парижских юбилейных торжеств на Пушкинской выставке М В Добужинский прочел доклад о графике поэта Тогда же он написал статью «О рисунках Пушкина», которая была опубликована только в 1976 г (Новый журнал (Нью-Йорк). 1976 № 125 С 145–159) Как отметила И С Чистова «В пушкинских рисунках Добужинский с его графическим восприятием мира видел совершенный пример < > того способа выражения мысли, который был особенно близок ему Пушкину было даровано природой создавать свой особый художественный мир не только с помощью слова, но и причудливой вязью, переплетением быстрых штрихов, легких, льющихся линий < > Добужинский наслаждался свободной игрой линий у Пушкина-графика, их гибкостью, выразительностью, внутренней оправданностью» (Чистова И С М В Добужинский о Пушкине (К историографии темы «Пушкин-рисовальщик») // The Pushkin Journal 1994–1995 № 2–3. С 35) Вероятно, Ремизов основывался на идеях прослушанного им доклада Добужинского

«Треугольник» — выставка, организованная Н Кульбиным (СПб, 1910)

С 397–398 *в Берлине ~ мои начертательные рисунки приютил Вальден ~ в своем «Штурме».* — В 1927 г около 100 рисунков Ремизова экспонировались в галерейной выставке, организованной издателем газеты «Der Sturm» Г Вальденом.

С 398 *в Париже на выставке у Оцупа ..* — В Париже в декабре 1932 — январе 1933 г в галерее «L'époque» в рамках серии выставок художественной группы журнала «Числа» Н А Оцупом и М И Залкиндом была организована выставка русских и французских писателей от В. Гюго до А. Ремизова, Б Поплавского и др (см. Числа 1932. Кн 6 С 254).

в Моравской Тшебове у Перемиловского — Рисунки Ремизова в 1933 г были выставлены в русской гимназии г. Моравска Тшебова (Чехословацкая

Республика) по инициативе ее преподавателя, давнего друга Ремизова — В Перемиловского (См Письма А М Ремизова В В Перемиловскому Вступ статья и комментарий А М Грачевой; подготовка текстов Т С Царьковой) // Рус лит, 1990, № 2 С 197–235, См также анонимную рец Числа 1933 Кн 9 С 197)

С 398 *четыреста тридцать альбомов и в них около трех тысяч рисунков Перечень 157 номеров напечатан* — Опубл · Новь (Ревель) 1935 № 8 Републикация Каталог С. 43–44

В войну я делал в больших размерах абстрактные цветные конструкции — Описание «конструкций», украшавших квартиру на ул Буало, неоднократно встречается в воспоминаниях о Ремизове См, например, их характеристику в статье художника И Левина «Встреча с А М Ремизовым» «Как-то вечером в Париже я пошел на улицу Буало познакомиться с А М Ремизовым < > Он ввел меня к себе в кабинет и усадил на диван против стола, за которым работал На полках стояли книги, а стены сплошь были покрыты рисунками в красках со вклеенными кусками цветной бумаги, местами материалом служило стекло, известка, жесть, полученные от взрыва осколком снаряда, разрушившим угол его комнаты» (НРС 1951 № 14290 10 июня)

С 399 *«Мы видим сны ~ очень скучно»* — Цитата из кн В В Розанова «Темный лик» СПб, 1911

С 401 *«Пол одни ночи»* — см высказывание Ремизова о названии главки «Я хотел назвать книгу· “Полодни ночи”, но слово “полодни” по созвучию сойдет за “полудни” А жаль — “полодни” весеннее дыхание земли, “полодни ночи” — сны Пусть будет “Тонь ночи”» (Кодрянская С 136) В кн «Мартын Задека» после заглавия «Полодни ночи» — эпиграф из Гёте «Was von Menschen nicht gewusst / Oder nicht bedacht, / Durch das Labyrinth der Brust / Wandelt in der Nacht / Goethe An Den Mond [То, что люди не осознают или то, о чем не думают, по лабиринту души бродит ночью Гете «К месяцу», (*нем*)] (Ремизов А Мартын Задека Сонник Париж 1954 С 7)

С 402. *В течение нескольких дней вел графический дневник, рисовал сон, а вокруг события дня* — См альбом Ремизов А М Именинный графический полупряник Тырло 550 снов 22 XII 1933–8 XI 1937 [на обложке дарственная надпись Ремизова Кодрянской 1948 г с пометой «Первые 100 снов у Лифаря»] (РО ИРЛИ Ф 256 Оп I Ед хр 46)

С 403. *Так случилось с С Т Аксаковым, в его Воспоминаниях есть про сон роковой* — В кн С Т Аксакова «Воспоминания» (1856) рассказывается о болезни автобиографического героя, состоявшей из постоянных нервных припадков, переходивших в тяжелые сны, потом забывавшиеся «Проснувшись, я ничего ясно не помнил иногда смутно представлялось мне, что я видел во сне что-то навалившееся и душившее меня или видел страшилищ, которые за мной гонялись» (Аксаков С Т Воспоминания / Аксаков С Т. Собр соч Т 2 М, 1955, С 61).

С 404 *Макбетовское «убить сон»* — Цитата из трагедии В Шекспира «Макбет» (действие 2, сцена 2).

«сниться» значит «быть» А будет «быть» и «видеть сны» одно — Отсылка к тексту монолога Гамлета из одноименной трагедии В Шекспира (акт III, сцена 1) Ср · «Быть или не быть <...> Умереть, уснуть / Уснуть

и видеть сны, быть может? < > Какие сны присиятся в смертном сне?» (Пер М Лозинского)

С 405 *Астарта* — в западно-семитской мифологии богиня любви и плодородия Для Ремизова истолкование символики образа Астарты связано с ее пониманием в исследовании В В Розанова «В темных религиозных лучах» (1909), изданного в виде двух частей — «Темный лик» (1911) и «Люди лунного света» (1911) Розанов связывал лунное начало Астарты с христианским аскетизмом, с отрицанием любви земной Подобное понимание Астарты отразилось в книге Ремизова «Огонь вещей» о снах у русских писателей (подробнее см Грачева А М. Алексей Ремизов и древнерусская культура СПб, 2000. С 285–287).

С 406 *Оракул* — зд «место, обыкновенно в святилище, где получали ответ божества на заданный вопрос, а также само прорицание божества. Оракулы давались в различных формах при помощи жребия, знамений, снов» (Словарь античности М, 1992 С 396)

Мартын Задека — сонник

С 407 *«Wetterprophet»* (*нем*) — «предсказатель погоды»

«гуано» — птичьи экскременты.

С 409 *О смерти моей дочери мне открылось во сне — «О тебе — Наташа»* — см Ремизов А О тебе — Наташа / Ремизов А Мартын Задека Сонник С 63–64.

С 410 *«Ивица»* — см · Ремизов А. Мартын Задека С 19–20.

«*У хвоста*» — Там же С. 29–30

«Медведица» — Там же С 20–21

«Пылесос» — Там же. С 87.

«Жареный лев» — Там же С 83.

О смерти Авраама я читал в апокрифах и мне приснился Авраам ~ я как бы находился в эту минуту с Авраамом ~ («Трава-мурава» и «Плачужная канава») — Имеется в виду апокриф «Смерть Авраама», который был переработан Ремизовым в отдельное произведение — легенду «Авраам» (1918), опубл в сб «Трава-мурава» (1922) — (см Т 6 наст изд С 122–130), а также включен в состав романа «Плачужная канава» (см Т 4 наст. изд С 395)

С 410–411 *я был среди демонов в «воинстве» Сатанаила в тот крестный час смерти Христа* — Имеется в виду ремизовский апокриф «О страстях Господних» (1906) См Т 6 наст изд С 30–35

С 411. *. я был той пичужкой, незатейливой песней пробудившей Богородицу ~ («Звезда надзвездная»)* — Речь идет о легенде «Страды Богородицы» (см · Ремизов А Звезда Надзвездная Stella Maria Maris/ Париж MCMXXVIII С 31)

в толпе скоморохов на пиру у Ирода . — Имеется в виду ремизовский апокриф «О безумии Иродиадином, как на земле зародился вихорь» (1906). См Т 6 наст изд С 5–12

Я с Николой прошел всю русскую землю и путями друидов — Имеются в виду многочисленные ремизовские обработки легенд о Николае Угоднике и его книга-эссе «Образ Николая Чудотворца Алатырь — камень русской веры» (1931) — см. Т 6 наст изд

Ремизов А Три серпа В 2 т Париж, 1927. Т 1 — 160 с, Т 2 — 160 с.

С 411 *по стопам Богородицы, я прошел все подземные дороги — ад* — Речь идет о ремизовском варианте апокрифа «Хождение Богородицы по мукам» (см Т 6 наст изд С 43–50)

«Обезьяны» — см Ремизов А Мартын Задека С 73–74

«Чехов и жареная утка» — Имеется в виду сон «Чехов», см Ремизов А Мартын Задека. С 57

Из парижан мне снились ~ Терешкович художник — Перечислена тематика и персоналии снов из кн «Мартын Задека»

С 412 *«Аристотелевы врата», «Логика Маймонида»* — древнерусские переводные памятники *Аристотель Стагирит* (384/383–322/321 до н э) — знаменитый древнегреческий философ, его имя в Древней Руси пользовалось огромной популярностью *Маймонид* (1135–1204) — еврейский философ, врач и теолог, в своих трудах опирался на постулаты философии Аристотеля

В Петербурге на Таврической ~ входили свободно рассказом — Источник текста — глава «Сны» (Кукха С 116)

С 413 *в книге Натальи Кодрянской* — Имеется в виду кн: Кодрянская Н Сказки Преднсл А Ремизова Париж, 1950 284 с

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. М. РЕМИЗОВА

---

[1] В Указателе фиксируются только имена и лица, реальное существование которых подтверждено документально В скобках указаны также их ремизовские прозвища

---

* В Указатель включено упоминание имени писателя, а не топографическое название улицы.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

Бахметевский архив – Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета г. Нью-Йорка (США). Фонд: Рукописи Алексея Михайловича Ремизова. (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Alexei Mikhailovich Remizov Manuscripts»).

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации (Москва).

ГЛМ – Государственный литературный музей. Отдел рукописей (Москва).

ГРМ – Государственный Русский музей (Санкт-Петербург).

ИМЛИ – Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Отдел рукописей (Москва).

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Литературный музей (Санкт-Петербург).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).

РНБ – Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург).

СПб ГТБ РО – Санкт-петербургская государственная театральная библиотека. Рукописный отдел.

Собр. Резниковых – Собрание семьи Резниковых (Париж).

ЦРК АК – Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-

Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»)

Печатные источники

Алексей Ремизов. Исследования – Алексей Ремизов. Исследования и материалы: Сб. научных статей и публикаций. СПб.: Дмитрий Буланин, 1994

Афанасьев I – III – Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1865–1869.

БВ – «Биржевые ведомости» (Санкт-Петербург).

В розовом блеске – Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1952.

Веселовский. Разыскания I – XVII – Веселовский А Н Разыскания в области русского духовного стиха. Вып. 1–6. Разд I–XVII // Сборник Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук. Прилож. к т. XXXVI–LIII. СПб , 1880–1891.

Встречи – Ремизов А. Петербургский буерак. Париж. LEV, 1981.

Достоевский 1– 30 – Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

Каталог – Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. СПб.: Хронограф, 1992.

КЛЭ – Краткая литературная энциклопедия. Гл. ред. А. А. Сурков. В 9 т. М.: Сов. энциклопедия, 1962–1978.

Кодрянская – Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959].

Кодрянская. Письма – Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977.

Крашеные рылá – Ремизов А. Крашеные рылá. Берлин: Грани, 1922.

Кукха – Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923.

ЛН – «Литературное наследство».

Мышкина дудочка – Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953.

НРС – «Новое русское слово» (Нью-Йорк).

Огонь вещей – Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954.

Пляшущий демон – Ремизов А. Пляшущий демон. Танец и слово. Париж· склад издания «Дом книги», 1949.

ПН – «Последние новости» (Париж).

По карнизам – Ремизов А По карнизам. Белград: Русская библиотека, 1929.

ПСРЛ-1 – Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Григорием Кушелевым-Безбородко. Вып. I СПб , 1860.

Резникова – Резникова Н. В. Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980.

Рус лит – «Русская литература».

СЗ – «Современные записки» (Париж).

Сирин 1–8 – Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: Сирин, 1910–1912

СП – «Советский патриот» (Париж).

ТОДРЛ – Труды Отдела древнерусской литературы.

Чижов – Ремизов А. О происхождении моей книги о табаке. Что есть табак. Paris: Tchijoff, 1983.

Шиповник 1–8 – Ремизов А. Сочинения. В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910–1912].

Lampl – Lampl Horst / Bemerkungen und erganzungen zur

bibliographie A. M. Remizovs (Bibliographie des oeuvres de Alexis Remızov, établie par Hélène Sinany, Paris 1978) // Wiener Slawistischer Almanach 1978. Band 2. P. 301–326.

Sinany – Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov, établie par Hélène Sinany, Paris: Institute d'études slaves, 1978.

АМ – авторизованная машинопись
АН – Академия наук
БА – беловой автограф
БАП – беловой автограф с правкой
Б. д. – без даты
вар. – вариант
Кор. – корректура
НР – наборная рукопись
маш. – авторизованная машинопись
печ. текст – авторизованный печатный текст
ЧА – черновой автограф
ЧН – черновой набросок

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ КНИГ, ЦИКЛОВ И ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ А. М. РЕМИЗОВА (Т. 1—10)

СОДЕРЖАНИЕ

Ремизов А. М.

Р 38 Собрание сочинений. Т. 10. Петербургский буерак. – М.: Русская книга, 2002. – 592 с., 1 л. портр.

В 10-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли последние крупные произведения эмигрантского периода творчества писателя – «Мышкина дудочка» и «Петербургский буерак». В них представлена яркая и во многом универсальная картина художественной жизни периода Серебряного века и первой волны русской эмиграции. Писатель вспоминает о В. Розанове, С. Дягилеве, В. Мейерхольде, К. Сомове, В. Коммиссаржевской, Н. Евреинове, А. Аверченко, И. Шмелеве, И. Анненском и др. «Мышкина дудочка» впервые печатается в России. «Петербургский буерак» в авторской редакции впервые публикуется по архивным источникам.

ISBN5-268-00498-0
ISBN5-268-00482-X

УДК 882
ББК 84Р

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том 10

ПЕТЕРБУРГСКИЙ БУЁРАК

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Е. В. Поляков**
Технический редактор **Г. В. Кулагина**
Корректор **Н. Д. Бучарова**
Компьютерный набор **Г. Н. Злотникова**
Компьютерная верстка **А. В. Демчук**

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 05913 от 24 09 01

Подписано в печать 31 01 2003 с готовых пленок Формат 84x108/32.
Бумага офсетная На вкл мелов Гарнитура Таймс Печать офсетная
Усл печ л 31,19 (в т ч вкл 0,11) Уч-изд л 33,57 (в т ч вкл 0,04).
Тираж 3500 экз С-02 Изд инд ЛХ-231 Зак № 402

ФГУП Издательство «Русская книга»
Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
123557, Москва, Б Тишинский пер, 38

Отпечатано в полном соответствии с
качеством предоставленных пленок на
издательско-полиграфическом предприятии «Правда Севера»
163002, г Архангельск, пр Новгородский, 32